Джозеф Хеллер



Лавочка закрывается

Лавочка закрывается

Джозеф Хеллер

Аннотация
Джозеф Хеллер. ЛАВОЧКА ЗАКРЫВАЕТСЯ
КНИГА ПЕРВАЯ
1. СЭММИ
2. ГАДЕНЫШ
3. МИСТЕР ЙОССАРЯН
КНИГА ВТОРАЯ
4. ЛЮ
5. ДЖОН
6. МИЛОУ
КНИГА ТРЕТЬЯ
7. ОКРКАМИМ
8. «ТАЙМ»
9. АВАП
10. ДЖОРДЖ К. ТИЛЬЮ
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
11. ЛЮ
12. НУДЛС КУК
КНИГА ПЯТАЯ
13. ТРИТИЙ
14. МАЙКЛ ЙОССАРЯН
15. М2

16. ГЭФФНИ
КНИГА ШЕСТАЯ
17. СЭММИ
18. ДАНТЕ
19. АЗОСПВВ
КНИГА СЕДЬМАЯ
20. КАПЕЛЛАН
21. ЛЮ
КНИГА ВОСЬМАЯ
22. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕЙНУ МЕЛИССА
23. КЕНОША
24. «АПОКАЛИПСИС»
25. ВАШИНГТОН
26. ЙОССАРЯН
КНИГА ДЕВЯТАЯ
27. АВАП
28. БОЛЬНИЦА
29. МИСТЕР ТИЛЬЮ
КНИГА ДЕСЯТАЯ
30. СЭММИ
31. КЛЕР
КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ
32. СВАДЬБА
КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ
33. АНТРАКТ
КНИГА ТРИНАДЦАТАЯ

34. ФИНАЛ
БЛАГОДАРНОСТИ
ПРИМЕЧАНИЯ

Аннотация

«Лавочка закрывается» (1994) — это продолжение знаменитого романа «Поправка-22». Действие романа отнесено к нашим дням, постаревшим героям под семьдесят. Но их связывает память о прошлом и войне. Теперь, когда молодым война кажется не то страшноватой сказкой, не то приключенческим сериалом, для участников она сделалась и памятью о юности, и самым сильным переживанием за всю жизнь. Жизнь кончается, лавочка закрывается, все видится отчетливее, и даже в том вывихнутом мире, который всегда занимал Хеллера, вещи встают на свои места. И приходят горькие мысли о том, «что у каждого в этом мире есть права, но никому не позволено ими пользоваться».

Джозеф Хеллер
ЛАВОЧКА ЗАКРЫВАЕТСЯ

КНИГА ПЕРВАЯ

1
СЭММИ

Когда люди нашего возраста говорят о войне, они говорят не о Вьетнамской, а о той, что разразилась более полувека назад и охватила почти весь мир. Она бушевала более двух лет, прежде чем мы вступили в нее. Говорят, что к тому времени, когда мы высадились в Нормандии, погибло более двадцати миллионов русских. Волна уже покатилась назад от Сталинграда и битва за Британию была выиграна, когда мы вступили в Европу. Но до того, как все было кончено, из строя выбыло около одного миллиона, а триста тысяч американцев было убито. Только в Перл-Харборе в тот позорный для нас день полстолетия назад погибло две тысячи триста человек, а ранено было больше двух тысяч пятисот; за тот единственный день наши военные потери превысили все остальные, понесенные нами в тяжелейшей и затянувшейся войне на Тихом океане, превысили наши потери в день высадки во Франции.

Не удивительно, что в конце концов мы все же вступили в войну.

Слава Богу, что у нас есть атомная бомба, радовался я вместе со всем остальным цивилизованным западным миром почти полвека назад, читая возвещавшие о ее взрыве газетные заголовки во всю страницу. К тому времени я уже успел вернуться целым и невредимым и демобилизоваться, а как ветеран войны я был гораздо обеспеченнее, чем раньше. Я мог поступить в колледж. И поступил, и даже два года преподавал в Пенсильвании, а потом вернулся в Нью-Йорк и спустя какое-то время устроился в рекламный отдел журнала «Тайм» составителем рекламных текстов.

Пройдет еще всего лет двадцать, уж никак не больше, и газеты по всей стране будут печатать фотографии старейших местных ветеранов той войны, принимающих участие в немноголюдных парадах на праздник победы. Эти парады уже стали редкостью. Я в них никогда не участвовал. Думаю, мой отец тоже. Давным-давно, когда я был еще мальчишкой, сумасшедший Генри Марковиц, принадлежавший к поколению моего отца и работавший привратником в доме на другой стороне улицы, в День перемирия и День поминовения извлекал свою военную форму времен предыдущей великой мировой, облачался

в нее вплоть до драных обмоток и целый день гордо расхаживал по тротуару туда и обратно от троллейбусной линии к Нортонс-Пойнт на Рейлроуд-авеню до кондитерского магазина и киоска с газированной водой на углу Серф-авеню, что ближе к океану. Красуясь, старик Марковиц — как и моему отцу в те годы, старику Генри Марковицу было чуть больше сорока — до хрипоты выкрикивал команды усталым женщинам, тащившим на распухших ногах в свои маленькие квартирки пакеты с продуктами от мясника или бакалейщика; они не обращали на Марковица ни малейшего внимания. Две его маленькие дочери — младшая моего возраста, а другая на год-полтора старше — смущались и тоже не замечали его. Говорили, что он был контужен при разрыве снаряда, но я не думаю, что это было правдой. Я думаю, мы даже не понимали, что такое «контужен».

В те времена в наших трех-четырехэтажных кирпичных домах не было лифтов, и для пожилых и стариков карабкаться по ступеням, возвращаясь домой, вероятно, было пыткой. В подвалах хранился уголь; его привозили на грузовиках и сгружали на металлические желоба, по которым он под воздействием силы тяжести с грохотом падал вниз; в домах были котельные и бойлеры,

а еще — привратники, жившие либо здесь же, либо в другом месте; мы больше из страха, чем из почтения, всегда уважительно называли их по фамилии, добавляя к ней слово «мистер», потому что они представляли интересы домовладельца, которого все мы в те времена — а некоторые из нас и сейчас — всегда побаивались. Всего лишь в миле от нас располагался легендарный кони-айлендский район отдыха с его сотнями тысяч цветных лампочек и играми, скачками и ларьками со всякой снедью. Большим и знаменитым местом развлечений был в те времена Луна-парк, а заодно с ним и Стиплчез-парк («„Стиплчез“ — лучшее из мест»), принадлежавший некоему мистеру Джорджу К. Тилью, человеку давно умершему, о котором все мы мало что знали. На всех заборах «Стиплчеза» красовалась незабываемая торговая марка — броская, безвкусная картинка и стиле комикса, на которой была изображена карикатурная, розовая, плоская, ухмыляющаяся и немного ненормальная физиономия какого-то типа; сатанинский смех душил его, а его невероятных — подчас чуть ли не с городской квартал — размеров рот, неумело изображенный без какой-либо перспективы, сверкал частоколом огромных зубов. Служители были одеты в крас-

ные пиджаки и зеленые жокейские шапочки, а от многих из них пахло виски. Тилью жил когда-то на Серф-авеню в собственном доме; к крыльцу этого основательного деревянного сооружения вела дорожка, начинающаяся у самой кромки тротуара несколькими каменными ступеньками, которые, казалось, понемногу уходили под землю. К тому времени, когда я подрос и самостоятельно ходил в библиотеку, на станцию метро или на дневной субботний киносеанс, буквы его фамилии, выбитые в цементе нижней ступеньки, покосились и больше чем наполовину ушли в землю. В нашем квартале монтаж мазутных котельных с прокладкой труб в отрытые траншеи и установкой емкостей для топлива неизменно считался большим событием, символом прогресса.

Пройдет еще двадцать лет, и на газетных фотографиях и в телевизионных клипах все мы станем выглядеть хуже некуда, странный будет у нас вид, словно у пришельцев каких-то — дряхлые старики, трясущиеся, облысевшие, вероятно, кажущиеся немного ненормальными, усохшие, с беззубыми улыбками в провалившихся, сморщенных ртах. Некоторые из тех, кого я знаю, уже при смерти, а другие, которых я знал, уже мертвы.

Теперь мы уже не так красивы. Мы носим очки, у нас начинаются трудности со слухом, иногда мы слишком многословны, повторяемся, у нас появляются всевозможные наросты, даже самые слабые царапинки долго не заживают и оставляют после себя неизгладимые следы.

А вскоре после этого никого из нас вообще не останется.

Только записки и сувениры для других и образы, которые время от времени будут возникать перед ними. В один прекрасный день кто-нибудь из моих детей (я законным образом усыновил их, конечно, с их согласия) или подросших внуков найдет нагрудные крылышки стрелка-пулеметчика или медаль ВВС, мои сержантские погоны или этот мой снимок в юности — малютка Сэмми Зингер, первый грамотей Кони-Айленда в своей возрастной группе и всегда среди лучших по арифметике, алгебре и геометрии, в меховом зимнем летном костюме с парашютными лямками, заброшенный почти пятьдесят лет назад за океан на остров Пьяноса к западу от итальянского побережья. Мы сидим рядом с самолетом и улыбаемся в камеру, занимается утро, а сидим мы на низеньком штабеле тысячефунтовых бомб без взрывателей и ждем сигнала к вылету

на очередное задание, с нами наш тогдашний бомбардир, помню его — капитан, смотрит на нас с заднего плана. Это был раздражительный, вспыльчивый армянин, нередко нагонявший на нас страху; он не смог освоить штурманское дело на ускоренных курсах, куда попал неожиданно для себя во время оперативной подготовки на базе ВВС в Колумбии, штат Южная Каролина, где нас соединили в группу как временный экипаж для подготовки к воздушным боям и перелету через океан на театр военных действий. Пилотом был рассудительный техасец по фамилии Эпплби, человек очень методичный и добрый, благослови его Господь, и эти двое сразу же не сошлись. Я сочувствовал Йоссаряну, который отличался чувством юмора и находчивостью; он был немного бешеный, но, как и я, вырос в большом городе и скорее умер бы, чем дал себя убить, так он полушутя сказал однажды уже ближе к концу и решил для себя, что будет жить вечно или по крайней мере будет бороться за жизнь до последнего издыхания. Под этим и я мог бы подписаться. От него я научился говорить «нет». Когда мне предложили еще одну нашивку и еще одну пряжку к моей медали ВВС, если я соглашусь еще на десять заданий, я отказался, и меня отправили

домой. Я не совался в его разногласия с Эпплби, потому что был робок, мал ростом, к тому же я был рядовым и евреем. Я тогда взял себе за правило — прежде как-то утвердиться и освоиться с новыми людьми, а потом уже откровенничать с ними, хотя, по крайней мере в принципе, пусть и не всегда с желаемой уверенностью, я считал себя равным всем другим, и офицерам тоже, даже этому здоровенному прямодушному армянину, который не уставал повторять свою странную шутку, говоря, что на самом деле он — ассириец и уже практически вымер. Я видел, что среди них я самый начитанный и грамотный и, конечно, достаточно сообразительный, чтобы не заострять внимания на этих вещах.

Йоссарян неизбежно терялся на каждом из ночных заданий, на которые мы летали во время оперативных учебных полетов над Южной Каролиной и Джорджией. Это стало анекдотом. В казармах и столовой от солдат из других экипажей я узнал, что и их бомбардиры, которых перевели в штурманы, тоже все как один терялись во время своих ночных учебных полетов, и это тоже стало анекдотом. Третьим офицером в нашем экипаже тогда был застенчивый второй пилот по фамилии Крафт, которого уже за оке-

аном произвели в первые пилоты, а потом его сбила зенитка, когда он, выполняя задание над Феррарой в северной Италии, пошел на второй заход на мост и его убили. Йоссарян, бомбардир ведущего самолета, не сумевший отбомбиться с первого захода, получил за это медаль, потому что когда он увидел, что все другие промахнулись и мост стоит целехонек, он пошел на второй заход. Во время тех учебных полетов в Южной Каролине Эпплби благополучно находил дорогу домой по радиокомпасу. В один из полетов темной ночью мы потерялись и больше часа у нас не было радиокомпаса. В воздухе носились какие-то электрические помехи от грозы, бушевавшей поблизости, и я по сегодняшний день слышу голос Йоссаряна в наушниках: «Вижу внизу берег реки. Поверни налево и пересеки ее, я сориентируюсь по какому-нибудь объекту на той стороне».

Берегом этой реки оказалось побережье Атлантического океана, и мы направились прямо в Африку. Эпплби в который раз потерял терпение, по прошествии еще получаса взял на себя обязанности штурмана, а когда, наконец, разобрался в радиосигналах и привел самолет домой, топлива оставалось ровно на столько, чтобы мы с посадочной полосы добрались до места нашей стоянки.

Двигатели заглохли, прежде чем их выключили.

Мы все чуть-чуть не отправились на тот свет.

До меня это дошло, только когда я достиг среднего возраста, и впоследствии, рассказывая этот анекдот, я совсем не смеялся.

На этой фотографии со мной и мой дружок, Билл Найт, тогдашний башенный стрелок, он был года на два старше меня и уже женат, у него был ребенок, которого он и видел-то всего неделю; а еще на фото — тощий парнишка моего возраста, Ховард Сноуден, фюзеляжный стрелок и радист, родом откуда-то из Алабамы, его убьют во время выполнения задания на пути в Авиньон примерно через месяц, и он будет медленно умирать, крича от боли и жалуясь, что ему холодно. Нам по двадцать лет, и мы выглядим как дети, которым всего по двадцать лет. Хови был первым мертвецом, которого я видел, и единственным мертвецом из всех, каких я видел с тех пор за стенами траурного зала. Моя жена умерла ночью, и ее уже увезли из палаты, когда я приехал в больницу, чтобы подписать бумаги и заняться подготовкой к похоронам. Она умерла точно так, как говорил онколог, почти день в день. Ее тошнило, но особых болей не было, и нам хочется думать, что она была избавлена от этих болей,

потому что она всегда была таким хорошим человеком, по крайней мере по отношению ко мне и детям, обычно веселая и с добрым сердцем. А если и сердилась, то только на своего первого мужа, да и то лишь изредка, в особенности потому, что у него часто не хватало денег на детей, но находилось на новых подружек и нашлось еще на две женитьбы. Лю сразу же после войны сказал, что мне повезло с мертвецами; Лю был моим дружком с самого детства, он воевал в пехоте, попал в плен и, прежде чем его доставили домой, повидал сотни мертвецов в Европе, американцев и немцев, и десятки гражданских немцев в Дрездене, когда его послали разбирать завалы после британской бомбежки, о которой я впервые узнал от него, воздушного налета, от которого погибли почти все в городе, кроме этих пленных и их охранников; я тогда ничего об этом не знал и даже не сразу поверил.

— Больше ста тысяч? Лю, ты, наверно, спятил. Это больше, чем Хиросима и атомная бомба.

Я потом нашел об этом в книгах и признал, что он был прав.

Но это было почти пятьдесят лет назад. Не удивительно, что наше потомство не особо интересуется Второй мировой. Из них тогда еще почти

никто и не родился. А если бы родился, то сейчас ему было бы под пятьдесят.

Но может быть, когда-нибудь в далеком будущем, в которое я и заглядывать-то боюсь, кто-нибудь из детей или внуков наткнется на эту коробочку или ящичек, в котором лежат мои крылышки, медаль ВВС, сержантские нашивки и фотография военных времен, и, возможно, что натолкнет его на мучительные раздумья о некоторых семейных недоразумениях, которые когда-то возникли между нами, или которые не возникли, но должны бы были возникнуть. Как это случилось со мной и противогазом, привезенным моим отцом с Первой мировой войны.

Интересно, что с ним стало. Когда я был маленьким, я любил играть с этим противогазом как с игрушкой, и потихоньку занимался этим, пока отец был на работе и городе, где вырезал по выкройке материал для детской одежды. У меня есть и его солдатская фотография. После того как я еще в начальной школе прочел биографию немецкого аса времен Первой мировой войны барона Манфреда фон Рихтхофена, я какое-то время хотел выучиться на военного летчика и каждый день вылетать на воздушную дуэль с ним над окопами во Франции и каждый день заново сби-

вать его. Он был моим героем, и я мечтал сбивать его. Вскоре после войны, моей войны, умер мой отец, врачи сказали — от рака. Он любил курить сигары. Он покупал их в маленькой лавочке по соседству, за углом на Серф-авеню, где с довольной улыбкой мистер Левинсон сидел за своим рабочим столиком с ножом и табачными листьями, которые размечал и свертывал вручную, а миссис Левинсон, невозмутимая веснушчатая карлица с темными волосами, продавала купальные шапочки, затычки для ушей, дыхательные трубки для плавания, а также ведерки, лопатки и всякие другие пустячки для игры в песок на пляже, который находился всего лишь в квартале от их лавки. Они были бездетны.

Все работали. Мальчишкой я какое-то время гонял по улицам и пляжным барам, продавая газеты. Летом наши сестры продавали с лотков на улицах замороженный крем, шипучку. Дейви Голдсмит торговал хот-догами. На берегу не имеющие лицензии мальчишки, торгующие вразнос, вели, как спартанцы, свое сражение в парах сухого льда, поднимающегося из громоздких коробок в их загорелых руках; они пытались за никель сбыть мороженое в брикетах и разовых бумажных стаканчиках, прежде чем их схватят

полицейские, преследовавшие их по рыхлому песку на глазах сочувствующих в пляжных костюмах, которые всем сердцем желали беглецам удачи. Многие из этих быстроногих старших парней, занимавшихся таким опасным делом, были мне знакомы.

Из нашей квартиры мы всегда слышали шум океанского прибоя и звук колокола с буя (мы называли его «бой», и мне до сих пор кажется, что так правильнее). Если же вдруг изредка наступало полное затишье, то во второй половине дня или уже ближе к ночи мы даже могли слышать отдаленные, неясные, призрачные звуки, доносившиеся с ближайшей к нам, находящейся от нас почти в полумиле, карусели, где играла диковинная каллиопа; сама эта громадная карусель располагалась на дощатом настиле, а на поворотном круге красовались кони цвета золотых карамелек с мазками ярко-черного и броскими оттенками синего и розового, напоминавшими цвета других сладостей, как, например, мармелада, лакричных конфет и леденцов; откуда взялись эти великолепные стремительные кони? существовала ли где-то корпорация, которая изготовляла их специально для каруселей? приносил ли этот бизнес хороший доход? Никто

вокруг не был богат.

2
ГАДЕНЫШ

Новый президент законным образом вступал в должность, сменяя своего предшественника и испытывая при этом раздражение, вызванное душевной усталостью, происходящей от необходимости непрерывно объяснять, почему же он в конце концов в качестве вице-президента выбрал того, кого он выбрал.

— Ну, почему ты взял его? — Ближайший друг президента, государственный секретарь, считал своим долгом повторять этот вопрос. — Ну, скажи хотя бы мне. Я сохраню это в тайне.

— Да нет тут никакой тайны, — со слезами в голосе отбивался верховный руководитель страны. — В этом не было ничего закулисного, никакого политиканства. Просто я пораскинул мозгами. Даю тебе слово, в этом не было никаких преступных намерений.

— Вот именно это и пугает больше всего.

3
МИСТЕР ЙОССАРЯН

В середине второй недели пребывания в больнице Йоссаряну приснилась мать, и он еще больше уверился, что скоро умрет. Когда он сообщил эту новость докторам, они расстроились.

— Мы не находим у вас никаких заболеваний, — сказали ему они.

— Продолжайте поиски, — проинструктировал он их.

— Вы в прекрасной форме.

— А вы подождите, — посоветовал он.

Йоссарян снова лег в больницу под врачебное наблюдение; он вернулся туда еще раз, спасаясь от невротической лавины противоречивых симптомов, которые стали особенно множиться, когда он снова, всего второй раз за всю жизнь, остался один, но которые, казалось, исчезали один за другим, как туман, когда он рассказывал о них или когда его обследовали на предмет этих самых симптомов. Всего за несколько месяцев до этого он вылечил себя от неизлечимой болезни под названием радикулит только лишь тем,

что позвонил одному из своих докторов, чтобы пожаловаться на свой неизлечимый случай радикулита. Он не мог привыкнуть к жизни в одиночестве. Он не умел постелить себе постель. Он предпочел бы голодать, чем готовить себе еду.

На этот раз он стремглав бросился в больницу, испуганный кошмарным видением другого кошмарного видения, посетившего его вскоре после того, как он услышал, что президент, который ему не нравился, собирается уйти на покой и что вице-президент, который не нравился ему еще больше, непременно займет президентское кресло; и вскоре после того, как он совершенно случайно узнал, что Милоу Миндербиндер, с которым он тоже был теперь нерасторжимо и неразрывно связан, — вот уже лет двадцать пять, — расширяется и, помимо проталкивания имеющегося у него в избытке несвежего товара, вроде старого шоколада и лежалого египетского хлопка, собирается заняться военным бизнесом — наладить производство нового боевого самолета, который намеревается продавать правительству, — конечно, любому правительству, которое сможет его купить.

В Европе были страны, которые могли себе поз-

волить такие расходы, а еще в Азии и на Ближнем Востоке.

Видение кошмарного видения, посетившего его, было видением паралича или удара, снова погрузившим его в размышления о стойком, старом Густаве Ашенбахе, пребывавшем в одиночестве на своей мифической полоске средиземноморского побережья, и об обессмертившей его смерти в Венеции, о пятидесятилетнем Густаве Ашенбахе, чья жизнь догорела в городе, пораженном чумой, о которой никто не хотел говорить. Давным-давно в Неаполе, стоя в колонне и ожидая посадки на корабль, который должен был отвезти его домой, после того как он отлетал свои семьдесят заданий и остался живым, он обнаружил перед собой пожилого солдата по имени Швейк и человека, который сменил свою семейную фамилию Краутхаймер на Джозеф Кэй, чтобы не казаться чужаком в своей культуре, но это имя, как и имя Швейка, ничего тогда не говорило Йоссаряну.

Будь у Йоссаряна выбор, он все еще предпочел бы жить. Он не ел яиц и, хотя у него и не было головных болей, через день глотал слабенькую дозу аспирина.

Он не сомневался в том, что у него есть масса поводов для беспокойства. Родители его умерли,

а также все дяди и тети.

Гаденыш в Белом Доме? Это будет уже не в первый раз. Потерпел крушение еще один нефтяной танкер. Радиация пронизывала все. Мусор. Пестициды, токсичные отходы и свободное предпринимательство. Появились противники абортов, требовавшие смертной казни для всех, кто выступает против жизни. В правительстве сидели посредственности и корыстолюбцы. В Израиле было неспокойно. Все это были не просто иллюзии. Он их не сам выдумывал. Скоро начнут выращивать человеческие эмбрионы для продажи, развлечения и замены органов. Люди зарабатывали миллионы, не производя при этом ничего, кроме передачи собственности. Холодная война закончилась, но мир на земле так и не наступил. Ничто не имело смысла, и все остальное тоже было бессмысленно. Люди делали что-то, не зная зачем, а потом уже пытались выяснить.

Когда Йоссаряну становилось скучно в его больничной палате, он играл этими возвышенными мыслями, как играет своими гениталиями грезящий наяву подросток.

Не реже одного раза каждое утро они толпой собирались вокруг него — его доктор, Леон Шумахер, со своей бодрой и серьезной свитой

многообещающих молодых врачей, которых сопровождала энергичная, привлекательная дежурная сестра по этажу с хорошеньким личиком и великолепной попкой; она откровенно, несмотря на его годы, тянулась к Йоссаряну, а он, несмотря на ее молодость, коварно способствовал тому, чтобы ее симпатия к нему усиливалась. Высокая, с волнующими бедрами, она помнила Перл Бейли, но не Перл-Харбор, из чего следовало, что ей где-то между тридцатью пятью и шестью-десятью, а по мнению Йоссаряна, это был лучший период в жизни женщины, при условии, конечно, что она сохранила здоровье. У Йоссаряна было довольно туманное представление о том, что она представляет собой на самом деле, и тем не менее он беззастенчиво пользовался каждой возможностью, чтобы как можно приятнее провести с нею время в течение тех нескольких спокойных недель, которые намеревался оставаться в больнице, отдыхая и собираясь с мыслями, пока великие мировые державы не установят на земле раз и навсегда новое равновесие сил и новый порядок.

Он взял с собой в больницу радиоприемник, и в его палате почти все время звучал Бах или очень хорошая камерная, фортепьянная, а то и хоровая

музыка, передаваемая той или иной станцией. Слушать оперы, в особенности Вагнера, он сейчас не мог, потому что потрясений ему и так хватало. На сей раз, с удовлетворением решил он, палата ему досталась хорошая, соседи были вполне приемлемыми, а их болезни не оскорбляли чувств; к тому же на этаже была привлекательная дежурная сестра, отвечавшая на его заигрывания скромным хихиканьем и показным высокомерием и в то же время явно гордившаяся своей великолепной попкой.

Йоссарян не видел никаких причин не соглашаться с этим.

К середине первой недели он вовсю начал флиртовать с нею. Доктор Леон Шумахер не всегда одобрял эти непристойные фривольности.

— Зря я вас сюда положил. Нам обоим должно быть стыдно: вы, совершенно здоровый человек…

— Это кто говорит, что я здоровый?

— …лежите в этой палате, а по улицам бродит столько больных.

— Вы возьмете сюда одного из них, если я уйду?

— А вы оплатите счет?

Йоссарян предпочел оставить все, как есть.

Крупный специалист по ангиографии, здоровенный, высокий мужчина, холодно сообщил Йоссаряну, что ангиографического обследования ему не требуется, невропатолог с таким же угрюмым видом проинформировал его, что с мозгами у него все в порядке. Леон Шумахер снова с гордостью предъявлял его своим ученикам как редкий образец, с какими они не часто будут встречаться в своей медицинской практике: мужчина шестидесяти восьми лет без всяких симптомов каких-либо заболеваний, даже ипохондрии.

В конце дня, а иногда в начале вечера Леон заглядывал к нему немного поболтать; монотонно жалуясь на бесконечный рабочий день, мерзкие условия и несправедливо низкие заработки, он самым бестактным и эгоистичным образом изливал свою душу человеку, который, как они оба прекрасно знали, должен был скоро умереть.

Деликатностью он не отличался.

Его медицинскую сестру звали Мелисса Макинтош; умудренному жизнью и предрасположенному к романтическому мировосприятию мужчине все хорошенькие женщины кажутся неправдоподобно прекрасными, и Мелисса в этом смысле не была исключением.

К началу второй недели она, стоя или сидя

рядом с его кроватью или стулом, уже позволяла ему ласкать кончиками пальцев кружевную каемку своей комбинации, когда заглядывала поболтать с ним и ответить на его ухаживания, позволяя ему заходить в них все дальше и дальше. Раскрасневшись от неловкости и оживившись от озорства, она не поощряла и не запрещала этих игр изящной частью своего нижнего белья, но чувствовала себя не в своей тарелке. Она опасалась, что кто-нибудь застанет их в момент этой недопустимой близости. Он молился Богу о том, чтобы кто-нибудь застал их в такой момент. Он скрывал от сестры Макинтош слабые симптомы начинавшейся у него эрекции. Он не хотел, чтобы у нее возникла мысль о серьезности его намерений. Она согласилась с ним, когда он сказал, что ей повезло с таким пациентом. Он доставлял ей беспокойств меньше, чем другие пациенты в отдельных и полуотдельных палатах на этом этаже. И он видел, что был для нее большей загадкой, — а потому, сделал он вывод, до которого, вероятно, не додумалась она, и большим соблазном, — чем все те немногие мужчины, с которыми она встречалась за стенами больницы, и даже чем тот один или те двое мужчин, с которыми она встречалась особым или почти особым образом в течение ря-

да лет. Она никогда не была замужем, ни дважды, ни даже единожды. Йоссарян так мало отягощал ее, что совсем не был ей в тягость; ей и другим сестрам с этого этажа всего-то и нужно было раз в смену заглянуть в его палату, чтобы убедиться, что он не умер и ему не требуется никакой помощи для того, чтобы жить дальше.

— Все в порядке? — спрашивала каждая из них.

— Все, кроме здоровья, — вздыхал он в ответ.

— Здоровье у вас прекрасное.

В этом-то и было главное несчастье, и он с несчастным видом объяснял: это означало, что его здоровье неизбежно должно расстроиться.

— Это не шутка, — шутил он, когда они смеялись, услышав его объяснения.

На следующий день после того, как он, движимый эстетическими мотивами, попросил ее об этом, она сменила комбинацию на черную. Часто, желая ее появления, он обнаруживал в себе жгучую потребность в том, чтобы испытывать какую-нибудь потребность. Когда он нажимал кнопку вызова сестры, вполне могла появиться другая сестра.

— Пришлите мне мою Мелиссу, — требовал он.

Другие сестры охотно приходили к нему на

помощь. Он не испытывал недостатка в сестринском уходе. Доктора не уставали ежедневно повторять, что он абсолютно здоров, и он в мрачном разочаровании, чувствуя себя обманутым, приходил к выводу, что на сей раз они, кажется, правы.

У него был хороший аппетит и нормальное пищеварение. Его слуховой нерв и спинно-мозговой аппарат были просканированы с помощью компьютера. Его носовые пазухи были чисты, а поиски каких-либо симптомов артрита, бурсита, ангины или неврита не дали результата. Даже насморка у него не было. Его кровяному давлению завидовали все обследовавшие его доктора. Он давал мочу, и они брали ее. Холестерин у него был низким, гемоглобин — высоким, его РОЭ была выше всяких похвал, а содержание азота в крови приближаюсь к идеалу. Они объявили его совершенным человеческим существом. Он подумал, что у первой его жены и его второй, с которой он расстался год назад, вероятно, нашлись бы на этот счет кой-какие возражения.

В больнице был светило-кардиолог, который не нашел у него никаких отклонений, для его патологий был патолог, который не обнаружил никаких поводов для беспокойства, был еще

и предприимчивый гастроэнтеролог, который вернулся в его палату еще раз, чтобы уточнить мнение Йоссаряна о наиболее перспективной стратегии инвестирования применительно к недвижимости в Аризоне, а для его психики был психоаналитик, которого Йоссарян рассматривал как свою последнюю возможность доверительного разговора.

— А как насчет этих периодических периодов анемии, усталости, депрессии и отсутствия интереса к жизни? — торопливым, срывающимся шепотом начал Йоссарян. — Меня перестают интересовать вещи, к которым другие относятся серьезно. Я устаю от информации, которой не могу воспользоваться. Мне хочется, чтобы ежедневные газеты были поменьше и выходили раз в неделю. Меня больше не волнует все то, что происходит в мире. Комики не вызывают у меня смеха, а длинные рассказы приводят в бешенство. Дело во мне или в моем возрасте? Или может быть наша планета сходит с ума? Телевизионные новости полны идиотизма. Все и повсюду несут вздор. Мои восторги ослабли. Я и правда чувствую себя таким здоровым или мне это только представляется? У меня не выпало ни одного волоса. Док, я должен знать правду. Моя

депрессия — это чисто ментальное явление?

— Это не депрессия, и вы не ослабли.

Психоаналитик должным образом посовещался с главой психиатрического отделения, а тот проконсультировался со всеми другими врачами, и они в один голос решили, что в его прекрасном физическом состоянии нет никаких психосоматических отклонений и к тому же что волосы у него на голове настоящие.

— И тем не менее, — добавил, откашлявшись, глава психиатрического отделения, — я обязан вам сообщить, что у вас все симптомы предрасположенности к старческим депрессиям.

— К старческим депрессиям? — Йоссарян с удовольствием произнес этот термин. — И когда же это приблизительно может произойти?

— Приблизительно теперь. Есть что-нибудь, что вам по-настоящему нравится делать?

— Кое-что, не очень многое, к сожалению. Я бегаю за женщинами, хотя и не очень быстро. Я зарабатываю денег больше, чем мне надо.

— Вам это нравится?

— Нет. Я лишен честолюбия, и осталось не так уж много вещей, которые мне хочется делать.

— Гольф, бридж, теннис? Коллекционирование предметов искусства или антиквариата?

— Об этом не может быть и речи.

— Мой прогноз неблагоприятен.

— Я это всегда знал.

— Как мы сейчас представляем себе ваш случай, мистер Йоссарян, — сказал главный врач, говоря от имени всего заведения; лысая на три четверти голова Леона Шумахера нависала над его плечом, — вы можете жить вечно.

Казалось, ему не о чем беспокоиться, кроме инфляции и дефляции, более высоких процентных ставок и более низких процентных ставок, дефицита бюджета, угрозы войны и опасностей мира, неблагоприятного торгового баланса, нового президента и старого капеллана, а также усиления доллара и ослабления доллара, наряду с трением, энтропией, радиацией и гравитацией.

Но он беспокоился и о своей новой подружке, медицинской сестре Мелиссе Макинтош, потому что она не сумела накопить денег. У ее родителей денег тоже не было, и если она проживет достаточно долго, то ей придется жить на социальное обеспечение и жалкую пенсию, которую ей будет выплачивать больница, при условии, что она проработает здесь следующие двадцать или триста лет, а такая жизнь представлялась невозможной, если только до этого она не выйдет замуж за

какого-нибудь приятного мужчину с достатком, который будет для нее не менее привлекателен, чем теперь Йоссарян, что тоже представлялось ему абсолютно невозможным. Очень немногие могли так мило говорить ей непристойности. Не раз с болью в сердце поглядывал он на нее: она была слишком чиста для этого бездушного вихря финансовых обстоятельств, слишком невинна, нерасчетлива и бескорыстна.

— Вот что вам совершенно необходимо сделать, — сказал он ей как-то после того, как она попросила у него совета: следует ли ей и ее подружке, с которой они на пару снимали квартиру, открыть индивидуальные пенсионные счета, а Йоссарян посоветовал ответить, что в перспективе не видит ни малейшей пользы от индивидуальных пенсионных счетов ни для кого, кроме этих сраных банков, которые за них агитируют. — Вам необходимо выйти замуж за кого-нибудь, вроде меня, за мужчину, у которого есть кой-какие деньги и который разбирается в страховых полисах и наследствах и был до этого женат только один раз.

— Неужели вы были бы для меня слишком стары? — с испугом спросила она.

— Это вы были бы для меня слишком молоды.

Сделайте это поскорее, сделаете это сегодня. Для этого может сгодиться даже какой-нибудь доктор. Вы и оглянуться не успеете, как станете такой же старой, как я, и у вас не будет ни гроша.

Его беспокоила и эта безрассудная сентиментальность, заставлявшая его простирать свои заботы на человека, который в них нуждался.

Это было не по-американски.

Меньше всего нужен был ему еще один иждивенец. Или два, потому что она с гордостью говорила о своей привлекательной, веселой подружке, делившей с ней крохотную квартирку; звали ее Анджела Мор, она была естественной — и более роскошной, чем Мелисса, — блондинкой из Австралии, выше ее и раскованнее и с большей грудью, она носила туфли на гвоздиках и пользовалась бледной помадой и бледными тенями, а работала торговым представителем фирмы, специализирующейся на изготовлении галантерейных новинок; новые изделия, выпуск которых она предлагала освоить, были столь непристойны, что два пожилых, семейных еврея, владевших фирмой на правах партнерства, только теряли дар речи, впадали в недоумение и краснели. Ей нравилось производить впечатление, появляясь в дорогих барах, куда она нередко

захаживала после работы для встреч с бесшабашными бизнесменами, которых она после застолья и танцев безжалостно отвергала у дверей своего дома, когда ее вечер заканчивался. Ей почти не удавалось встретить кого-нибудь, кто понравился бы ей настолько, чтобы она пожелала остаться с ним подольше, потому что она почти никогда не позволяла себе напиться допьяна. Номер телефона, который она давала как свой, был номером телефона городского морга. Рассказ Мелиссы Макинтош о самонадеянных и буйных выходках ее подружки был полон такого радостного одобрения, что Йоссарян знал — он влюбится в эту женщину с первого взгляда, при условии, что она никогда не попадется ему на глаза, и будет горячо любить ее до того момента, как увидит во второй раз. Но у высокой блондинки под сорок в бледной косметике и черных чулках с рисунком в змейку тоже не было богатых родителей или отложенных денег, и Йоссарян задавал себе вопрос:

«Да что в конце концов такое с этим сраным миром?»

По его разумению, у всех, к кому он не испытывал антипатии, должно было быть достаточно денег, чтобы они могли без страха смотреть в будущее, и он вешал голову в благородных грезах

сострадания и желал заключить эту необыкновенную полногрудую бродяжку в свои объятия, осушить ее слезы, унять все ее тревоги и, поглаживая ее ягодицы, расстегнуть молнию на платье.

Интересно, как понравилась бы эта картинка частным детективам, которые выслеживали его в последнее время? Первый частный сыщик выследил его до самой больницы, заявившись туда в часы для посетителей, и был немедленно поражен серьезной стафилококковой инфекцией, которая свалила его в постель в другом крыле этой же больницы вместе с тремя бывшими посетителями других пациентов, также пораженными серьезной стафилококковой инфекцией, а эти посетители, насколько о том мог догадываться Йоссарян, также вполне могли быть частными детективами. Йоссарян всем им четверым мог бы сообщить, что больница — опасное место. Люди здесь умирали. Лег сюда один бельгиец, а ему разрезали горло. Частного детектива, отправленного на замену первого, подкосила сальмонелла из сэндвича с яичным салатом, который он съел в больничном кафетерии; теперь он тоже был прикован к постели и выздоравливал медленно. Йоссарян подумывал — не послать ли им цветы.

Вместо этого он написал «Альберт Т. Таппман» на открытках с пожеланиями выздоровления и послал их каждому. Так звали капеллана из их группы бомбардировочной авиации, и Йоссарян добавил и это звание и принялся размышлять о том, что будут думать получатели этих открыток; еще он думал о том, куда увезли капеллана, запугивают ли его, как с ним обращаются, не мучают ли его голодом, не пытают ли. На следующий день он послал обоим частным детективам новые открытки с пожеланиями выздоровления, подписав их именем «Вашингтон Ирвинг». А еще через день отправил еще пару открыток, подписав их «Ирвинг Вашингтон».

За вторым частным детективом прибыли еще два, которые делали вид, что не знают друг друга, а один из них, приглядывая за Йоссаряном, испытывал, казалось, необъяснимое любопытство относительно всех остальных.

Он не мог понять, что они хотят узнать о нем такого, о чем он не пожелал бы сказать им напрямую. Если им нужен был адюльтер, он был готов предоставить им адюльтер, и его начало так беспокоить доброе сердце и ненадежное финансовое будущее Мелиссы Макинтош, что он стал волноваться и о собственном будущем и

решил снова потребовать к себе онколога, чтобы тот дал ему стопроцентные гарантии от этого главного убийцы и, может быть, порассуждал еще немного о ведущей роли биологии в поведении человека и тирании генов в управлении обществом и историей.

— Вы сошли с ума, — сказал Леон.

— Тогда пришлите ко мне и психиатра.

— У вас нет рака. Зачем вам нужен онколог?

— Чтобы сделать для него доброе дело, умник вы мой. Вы что, не верите в добрые дела? От этого сукина сына так и веет угрюмостью. Как вы думаете, сколько он встречает за неделю пациентов, которым может сообщить хорошую новость? Несчастья этого типа относятся к тем немногим, что я могу развеять.

— Это вовсе не мои несчастья, — сказал безрадостный онколог; зловещее выражение, обосновавшееся в мелких чертах его лица, было таким же естественным, как тьма ночью и серое небо зимой. — И тем не менее, вы удивитесь, узнав, сколько людей считают, что заболели по моей вине. Даже коллеги меня не любят. Не многие хотят говорить со мной. Может быть, по этой причине я и стал таким нелюдимым. У меня мало практики общения.

— Мне нравится ваше настроение, — сказал Йоссарян, который не считал, что у него самого такой практики больше. — Вам станет легче, если вы будете знать, что рано или поздно вы, вероятно, сыграете важную роль в моей жизни?

— Лишь немного. — Его звали Деннис Тимер. — С чего вы хотите, чтобы я начал?

— С любого места, если только мне не будет больно или неудобно, — весело ответил Йоссарян.

— У вас нигде нет ни одного симптома, который мог бы предполагать необходимость более тщательного обследования.

— Зачем нам ждать каких-то симптомов? — спросил Йоссарян, сразу ставя этого профессионала на место. — Разве не может быть, что после завершения наших последних исследований где-то что-то возникло и теперь, пока мы с вами сидим здесь и самодовольно медлим, оно мужественно зреет?

Деннис Тимер с легким сердцем согласился.

— Кажется, с вами мне веселее, чем со всеми остальными моими пациентами, да?

— Я говорил об этом Леону.

— Но может быть, это потому, что на самом деле вы — вовсе не мой пациент, — сказал доктор

Тимер. — То, о чем вы говорите, конечно, возможно, мистер Йоссарян. Но вероятность того, что это случится с вами, ничуть не выше вероятности того, что это случится с кем-нибудь другим.

— А мне-то какая разница, — возразил Йоссарян. — Не слишком большое утешение знать, что мы все в опасности. Леон считает, я стану чувствовать себя лучше, если буду знать, что моя ситуация не хуже, чем его. Приступим.

— Что, если мы начнем с еще одного рентгена грудной клетки?

— Ни в коем случае! — воскликнул Йоссарян с деланной тревогой. — От этого как раз все и может начаться! Вы же знаете мое отношение к рентгену и асбесту.

— И к табаку. Хотите, я вам приведу статистику, которая доставит вам удовольствие? Вы знали, что от табака каждый год умирает больше американцев, чем погибло за всю Вторую мировую войну?

— Да.

— Ну, тогда, я полагаю, мы могли бы продолжить. Хотите, я проверю молоточком ваши коленные рефлексы?

— Сколько?

— Бесплатно.

— А не могли бы мы сделать хотя бы биопсию?

— Чего?

— Чего угодно, что доступно и просто.

— Если вам это добавит уверенности.

— Я буду спать спокойнее.

— Мы можем сделать еще один соскоб с вашей веснушки или с одного из ваших родимых пятен. Или, хотите, проверим еще раз простату? Простата довольно часто встречается.

— Моя — единственная в своем роде, — возразил Йоссарян. — Другой у меня нет. Давайте лучше родинку. У Шумахера простата моего возраста. Дайте мне знать, когда у него с ней начнутся осложнения.

— Я могу сообщить вам и сейчас, — сказал любимый онколог Йоссаряна, — что мне доставит большое удовольствие известить вас, что результаты отрицательны.

— Я могу сообщить вам и сейчас, — сказал Йоссарян, — что буду счастлив услышать это.

Йоссарян желал поглубже углубиться вместе с этим мрачным человеком в мрачную природу патологий в мрачном мире профессиональных занятий онколога и в мрачную природу мироздания, в котором им обоим посчастливилось дожить до сего времени и которое с каждым днем

становилось все более ненадежным — в озоновом слое появлялись дыры, человечеству не хватало места для мусора; начни сжигать мусор, начнешь загрязнять и воздух; человечеству не хватало воздуха, — но он опасался, что доктор сочтет этот разговор мрачным.

— Все это, конечно, стоит денег.

— Конечно, — сказал Йоссарян.

— Откуда у вас берутся деньги? — с нескрываемым завистливым раздражением недоумевал вслух Леон Шумахер.

— У меня теперь возраст, достаточный для «Медикеар».

— «Медикеар» не покроет и части этих расходов.

— А остальные деньги поступают благодаря имеющейся у меня превосходной медицинской программе.

— Хотел бы я иметь такую программу, — проворчал Леон.

Деньги на программу, как объяснил Йоссарян, поступали от компании, в которой он работал и где все еще числился в качестве полуотставного полуконсультанта на полуадминистративной должности; он мог оставаться там бесконечно долго, при условии, что никогда не стал бы слиш-

ком усердствовать.

— Хотел бы я иметь такую работу. Что, черт возьми, это значит? — Леон скорчил издевательскую гримасу: — Йоссарян, Джон. Занятия — полуотставной полуконсультант. Что, черт побери, будут с этим делать наши эпидемиологи?

— Это еще одна из моих профессий. Я работаю неполное время за полную плату, и никто не слушает и половины из того, что я говорю. Я бы назвал это полуотставной полуконсультант, а вы? Компания платит за все. Мы ничуть не меньше, чем «Партнерство Гарольд Стрейнджлав» и ничуть не менее любвеобильны. Мы называемся «Предпринимательство и Партнерство М и М». Я один из партнеров. Другие заняты предпринимательством. Я партнерствую, они предпринимательствуют.

— А что они делают на самом деле?

— Я думаю, все, что приносит деньги и не является бессовестно криминальным, — ответил Йоссарян.

— В этом есть хоть крупица правды?

— Понятия не имею. Они могут врать мне так же, как и всем остальным. Мы все держим в тайне друг от друга. Я это не выдумываю. Вы можете проверить. Привяжите меня к кардиографу и

посмотрите, будет ли искривляться кривая, когда я буду врать.

— А она будет искривляться? — с удивлением спросил Леон.

— Не вижу причин, почему бы ей не искривляться.

— А чем вы занимаетесь в этой компании?

— Я возражаю.

— Не будьте таким обидчивым.

— Да нет же, я просто отвечаю на ваш вопрос, — дружелюбно сообщил ему Йоссарян. — Я в этой компании возражаю против дел, которые не отвечают моим этическим стандартам. Иногда я возражаю до седьмого пота. И тогда они или делают то, что решили, или не делают. Я — совесть компании, ее нравственный стержень, и это еще одна из моих обязанностей там с тех пор, как я больше двадцати лет назад заглянул туда в поисках противозаконной помощи, чтобы спасти моих детей от Вьетнамской войны. Как вам удалось спасти ваших?

— Медицинский колледж. Они, конечно, оба ушли в бизнес, как только опасность миновала. Кстати, тут ходят слухи, что вы, кажется, неплохо проводите время с одной из наших лучших медицинских сестер.

— Лучше, чем с вами и вашими коллегами.

— Она очень милая девушка и очень хорошая медицинская сестра.

— Кажется, я это заметил.

— И привлекательная.

— На это я тоже обратил внимание.

— У нас здесь есть несколько прекрасных специалистов, которые откровенно мне говорят, что не прочь залезть к ней под юбку.

— Грубо, Леон, ах, как это грубо. Вам должно быть стыдно, — с отвращением и укоризненно сказал Йоссарян. — Это наигнуснейший способ сказать, что вы все хотели бы ее оттрахать.

Леон смутился, и из временной его потери самообладания Йоссарян извлек выгоду для себя, получив у доктора табличку «Не беспокоить», которую успел повесить на дверь прежде, чем к нему явился следующий посетитель.

Услышав очень робкий стук в дверь, Йоссарян на мгновение даже подумал, что вернулся капеллан, отпущенный на свободу из тех мест, где его законным образом незаконно удерживали. У Йоссаряна больше не было ни одной идеи относительно вызволения капеллана, потому что и сам он теперь чувствовал себя почти столь же беспомощным.

Но это оказался всего лишь Майкл, младший сын, самый неудачливый из его четверых взрослых детей, когда-то бывших частью семьи. Кроме Майкла, была еще дочь, Джиллиан, работавшая судьей в суде очень низкой инстанции, Джулиан, его старший, типичный везунчик, и Адриан, который был серединка-наполовинку и вполне доволен собой, остальные же дети его не уважали, потому что он был всего лишь серединка-наполовинку. Майкл, неженатый, неустроенный, не работающий и симпатичный, заглянул узнать, что Йоссарян снова делает в больнице, и признаться, что собирается бросить юридический колледж, так как занятия там оказались ничуть не более интересными, чем в медицинском колледже, школе бизнеса, художественном колледже, высшей архитектурной школе и нескольких других высших учебных заведениях самых разных направлений, которые он, немного помучившись, бросал одно за другим вот уже столько лет, что никто и не помнил его в другом состоянии.

— Это свинство, — сокрушенно сказал Йоссарян. — Я нажимаю на кнопки, чтобы тебя принимали, а ты только и делаешь, что бросаешь.

— Я ничего не могу с собой поделать, — пону-

рился Майкл. — Чем больше я узнаю о юриспруденции, тем больше удивляюсь тому, что она не считается противозаконной.

— По этой причине и я когда-то бросил юридический колледж. Сколько тебе сейчас?

— Около сорока.

— У тебя еще есть время.

— Я не уверен, шутишь ты или нет.

— И я тоже, — сказал ему Йоссарян. — Но если ты до самой пенсии сможешь откладывать решение о своих планах на жизнь, то тебе и не придется его принимать.

— Я так и не понимаю, шутишь ты или нет.

— Я тоже не всегда понимаю, — ответил Йоссарян. — Иногда я имею в виду то, что говорю, и в то же время не имею. Скажи мне, о моя зеница моего ока, неужели ты думаешь, что я за свою пеструю жизнь действительно хотел делать хоть одну из тех работ, которые мне приходилось делать?

— Ты что, даже сценарии для фильмов не хотел писать?

— Не особенно и очень недолго. Это было притворство, и оно быстро кончилось, и я не был в таком уж восторге от конечного продукта. Неужели ты думаешь, что я и в самом деле хотел делать рекламу, или работать на Уолл-стрите, или за-

ниматься такими проблемами, как подготовка участков под застройку или двойные опционы? Неужели ты думаешь, что кто-нибудь с юности вынашивает мечту сделать карьеру в информационном агентстве?

— Ты и правда когда-то работал на Нудлса Кука?

— Это Нудлс Кук работал на меня. Вскоре после окончания колледжа. Ты что, и правда считаешь, что мне и Нудлсу Куку *хотелось* писать политические речи? Нам хотелось писать пьесы и печатать их в «Нью-Йоркере». Ты думаешь, у человека есть большой выбор? Мы берем лучшее из того, что можем, Майкл, а вовсе не то, что нас привлекает. Будь ты хоть сам принц Уэльский.

— Это чертовски неприятный образ жизни, па, разве ты так не думаешь?

— Иного способа жить у нас нет.

Минуту Майкл молчал.

— Я испугался, когда увидел у тебя на дверях табличку «Не беспокоить», — признался он чуть обиженным тоном. — Кто, черт возьми, ее повесил? Я уж было подумал, что ты действительно болен.

— Так я понимаю шутку, — пробормотал Йоссарян, который фломастером сделал к табличке

приписку, сообщавшую, что нарушители будут расстреливаться. — Так сюда заходит меньше людей. А то лезут целый день, даже не сообщив предварительно по телефону. Кажется, они даже не понимают, что лежать целый день в больнице — это очень напряженная работа.

— Ты ведь все равно не снимаешь трубку. Ты, наверно, единственный пациент в этой больнице, у которого автоответчик. Сколько ты еще собираешься здесь пробыть?

— Мэр по-прежнему остается мэром? Кардинал — кардиналом? Этот гаденыш все еще в своем кресле?

— Какой гаденыш?

— Любой, который все еще в своем кресле. Я хочу, чтобы всех гаденышей выперли.

— Ты не можешь здесь столько оставаться! — воскликнул Майкл. — И вообще, что, черт побери, ты здесь делаешь? Ты ложился на полное ежегодное обследование всего пару месяцев назад. Все думают, что ты спятил.

— Я возражаю. Кто так думает?

— Я.

— Ты спятил.

— Мы все так считаем.

— Возражаю еще раз. Вы все спятили.

— Джулиан говорит, что если бы у тебя было честолюбие и мозги, ты давно мог бы стать первым лицом в компании.

— Он тоже спятил. Майкл, на сей раз я действительно испугался. У меня было видение.

— Видение чего?

— Не того, что я становлюсь первым лицом в «М и М». Мне что-то привиделось или почудилось, и я испугался того, что у меня удар или новообразование, и я не был уверен, кажется мне это или нет. Когда на меня находит тоска, я становлюсь беспокойным. У меня появляются болезни — всякие конъюнктивиты и дерматофитозы. Я плохо сплю. Ты не поверишь, Майкл, но когда я не влюблен, на меня находит тоска, а я не влюблен.

— Я вижу, — сказал Майкл. — Ты не на диете.

— Ты так определяешь?

— Это один из признаков.

— Знаешь, я думал об эпилепсии и о СИБе, скоротечной ишемической болезни, о которой ты ничего не знаешь. Потом я стал опасаться удара — все всегда должны опасаться удара. Я что, слишком много говорю? У меня возникло ощущение, что я все вижу дважды.

— Ты хочешь сказать, у тебя двоилось в глазах?

— Нет, пока еще нет. Такое чувство, будто все это уже было со мной раньше. В новостях для меня не было практически ничего нового. Каждый день, казалось, проводили очередную политическую кампанию или собирались проводить, или еще одни выборы, а если не это, то еще один теннисный турнир или снова эти сраные Олимпийские игры. И я подумал, что неплохо прийти сюда провериться. Во всяком случае, я в здравом уме, мысли у меня чисты и совесть тоже.

— Все это очень хорошо.

— Не будь таким уж уверенным. Великие преступления совершаются людьми с чистой совестью. И не забывай, что мой отец умер от удара.

— В девяносто два?

— Ты думаешь, он при этом прыгал от радости? Майкл, чем ты собираешься заниматься в этой жизни? Мое душевное равновесие нарушается от того, что я не знаю, куда ты, черт побери, приткнешься.

— Вот теперь ты действительно слишком много говоришь.

— Ты единственный в семье, с кем я могу говорить, а ты никак не хочешь слушать. Все остальные знают, что им нужно, даже твоя мать,

которая всегда хочет выколотить побольше алиментов. Деньги — вещь действительно важная, может быть, важнее всего остального. Хочешь дельный совет? Найди работу в какой-нибудь компании с хорошей пенсионной программой и хорошей медицинской программой, в любой компании и любую работу, даже если ты будешь люто ее ненавидеть, и оставайся там, пока не одряхлеешь настолько, что дальше уже не сможешь продолжать. Это единственный способ жить — готовясь к смерти.

— Черт, па, неужели ты и правда веришь в это?

— Нет, не верю, хотя, может быть, так оно и есть на самом деле. Но люди не могут выжить на социальное обеспечение, а у тебя даже его не будет. Даже бедняжка Мелисса будет обеспечена лучше.

— Кто такая бедняжка Мелисса?

— Это замечательная медицинская сестра, та, что привлекательна и моложава.

— Она не так уж привлекательна и старше меня.

— Старше?

— Ты сам, что, не видишь?

К концу второй недели пребывания Йоссаряна

в больнице они состряпали заговор, с помощью которого выжили его оттуда.

Они выжили его с помощью бельгийца из соседней палаты. Этот бельгиец был человеком, умудренным в финансовых вопросах, и работал в Европейском Экономическом Сообществе. Этот умудренный в финансовых вопросах человек был очень болен и почти не говорил по-английски, что не имело значения, так как у него была удалена часть горла и он вообще не мог говорить, да и понимал-то по-английски с трудом, что имело большое значение для сестер и нескольких докторов, которые не могли общаться с ним так, чтобы это общение имело хоть какой-нибудь смысл. Весь день и большую часть ночи у его постели находилась его бледная и миниатюрная бельгийка-жена в неглаженной модной одежде; она непрерывно курила сигареты и тоже не понимала по-английски, непрестанно и истерично бормотала что-то сестрам, впадая в панический ужас каждый раз, когда он стонал, или кашлял, или засыпал, или просыпался. Он приехал в эту страну, чтобы поправить здоровье, и врачи вырезали у него целый ломоть гортани, потому что он непременно умер бы, оставь они этот ломоть на своем месте. Теперь никто не мог с уверенностью

сказать, будет ли он жить. Господи, подумал Йоссарян, как он может выносить это?

«Господи, — подумал Йоссарян, — как это могу выносить *я*?»

У бельгийца не было иной возможности сообщать о том, *что* он чувствует, кроме как кивая или отрицательно качая головой в ответ на многочисленные вопросы, которыми осыпала его жена, не имевшая какой-либо возможности передать его ответы. Ему грозили такие многочисленные опасности и он испытывал столько неудобств, что у Йоссаряна не хватило пальцев на обеих руках, чтобы пересчитать их. В первый раз когда Йоссарян начал считать, у него кончились пальцы, и он не стал больше пробовать. Новые пальцы у него не отросли. Вокруг бельгийца обычно была такая шумная суета, что у Йоссаряна почти не оставалось времени, чтобы подумать о себе. Йоссарян беспокоился об этом бельгийце больше, чем сам того хотел. Он прямой дорогой шел к стрессу, зная, что стресс не полезен для здоровья. В условиях стресса люди подвержены раку. Беспокоясь о своем стрессе, Йоссарян испытывал еще больший стресс и начинал жалеть и себя.

Бельгиец страдал от боли, какую и не мог себе представить Йоссарян, которому не давали

никаких обезболивающих от этой боли, и он чувствовал, что долго так не протянет. Бельгийца просто накачивали обезболивающими. Ему делали переливания. Его пичкали лекарствами и стерилизовали. Он всем вокруг задавал столько дел, что у медицинской сестры Макинтош почти не оставалось времени на Йоссаряна, который поэтому почти перестал играть кружевной каемкой ее комбинации. Дело было прежде всего, а больной бельгиец был делом серьезным. Мелисса стала рассеянной, она носилась туда-сюда, не зная передышки. Он чувствовал, что было бы некорректно обманом завлекать ее к себе, когда за соседней дверью происходят столь серьезные события, и, не обделенный прежде ее вниманием, теперь страдал без нее. Никто другой не испытывал бы подобных чувств.

Бельгиец, который едва мог двигаться, загонял всех. Чтобы он не умер от голода, ему давали питание через трубку, вставленную в шею. Беднягу поили внутривенно водой, чтобы он не обезвоживался, а из легких у него отсасывали жидкость, чтобы он не захлебнулся.

Этот человек всем задавал работу. У него была трубка в груди и трубка в животе, он постоянно требовал ухода, и у Йоссаряна почти не

оставалось времени, чтобы подумать о капеллане Таппмане и его трудностях, или о Милоу и Уинтергрине и их эскадрильях невидимых бомбардировщиков, или о высокой, полногрудой австралийке, снимавшей квартиру вместе с Мелиссой, и ее бледных тенях и туфлях на гвоздиках, или о ком-нибудь другом. Несколько раз в день Йоссарян отваживался выходить в коридор и заглядывать в соседнюю палату, чтобы узнать, что там происходит. Сделав это, он с трудом добирался до своей кровати и падал на нее в полуобморочном состоянии, прикрывая рукой глаза.

Когда его взор прояснялся и он снова открывал глаза, на него пристально смотрел наиболее таинственный из частных детективов. Этот секретный агент был щеголем и носил хорошо сшитые костюмы и неяркие галстуки, у него был нездешний цвет лица и темные глаза на скуластом лице, которое казалось немного восточным и напоминало Йоссаряну орех, миндаль в скорлупе.

— Ты что еще за хер? — не раз хотел воскликнуть Йоссарян при виде этого типа.

— Эй, а вы кто такой? — действительно спросил он один раз дружеским тоном, выдавив из себя улыбку.

— Вы со мной говорите? — последовал величественный ответ, произнесенный мягким голосом на прекрасном английском.

— Могу я вам чем-нибудь помочь?

— Да нет. Просто я разыскиваю одного плотного лысоватого джентльмена с желтыми волосами. Он часто шатался здесь в коридоре, а пару дней назад исчез.

— Другого частного детектива?

— Понятия не имею, кого вы имеете в виду! — ответил человек и исчез.

— Ты что еще за хер? — крикнул ему вслед Йоссарян, но тут в коридоре послышался знакомый крик и возобновился топот туфель на каучуковой подошве.

«По-французски кто-нибудь говорит? По-французски кто-нибудь говорит?» — десяток раз в день прокатывался по коридору этот обреченный вопль; он исходил от сестры Макинтош, сестры Креймер, или кого-либо из других сестер, или сонма врачей, технических работников или санитаров, по происхождению афро-американцев, латиноамериканцев или уроженцев тихоокеанского побережья, а также других разновидностей экономических беженцев, штатно прикрепленных к бельгийцу в этой странной,

неестественной больничной цивилизации, которая была абсолютно естественной. Теперь, когда на каждом этаже рядом с автоматами по продаже конфет и напитков стояли банкоматы, пациенту с кредитной карточкой и хорошей медицинской страховкой можно было больше вообще никогда не выходить за стены больницы.

Секретный агент с безупречным произношением и в безукоризненной английской одежде ни разу не признался, что говорит по-французски, хотя Йоссарян готов был поклясться, что тот говорит, да еще к тому же умеет читать чужие шифры.

Йоссарян немного и очень плохо умел говорить по-французски, но решил не соваться в чужие дела. Он опасался что-нибудь переврать. Кто знает? Не исключено, что ошибка в переводе может привести к предъявлению ему обвинения в занятиях медицинской практикой без лицензии. Йоссарян знал, о себе он точно знал, что если бы ему в его возрасте пришлось когда-нибудь терпеть подобное в течение четырех или четырнадцати дней для того, что потом прожить Бог его знает какую малость с голосовыми связками или без них, то он, как ему казалось, стал бы возражать. Он бы предпочел отказаться. В конце концов, все было

элементарно. Просто он больше не мог выносить боль бельгийца.

Он собирался во что бы то ни стало бежать от нее.

Йоссарян был человеком мнительным и знал об этом. Через день он осип.

— Что с вами такое? — озабоченно бросила медицинская сестра Макинтош на следующее утро, явившись на работу, наложив на лицо косметику, поправив швы на своих бесшовных чулках и уже потом в лучшем своем виде заглянув к нему в палату, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. — У вас что-то с голосом. Почему вы не едите?

— Я знаю. Я охрип. Сейчас я есть не хочу. Я не знаю, почему я так хриплю.

У него не было температуры, он не испытывал никаких физических неудобств, вызванный к нему ухогорлонос не обнаружил никаких видимых следов воспаления в его ушах, горле или носу.

На следующий день у него заболело горло. Он чувствовал, что у него там образовалась опухоль и ему стало трудно глотать, и по-прежнему нигде у него не обнаруживалось ни следа инфекции или нарушения, и он ни минуты не сомневался в том — как ни минуты не сомневался он и во

всем остальном, — что если задержится здесь еще немного и не уберется из больницы к чертям собачьим, то вскоре и его гортань будет пожрана злокачественной опухолью.

Медицинская сестра Мелисса Макинтош была убита горем. Он заверил ее в том, что в его решении не было ничего личного. Он галантно пообещал пригласить ее вскоре в хороший ресторан, и в Париж, и во Флоренцию, и, может быть, в Мюнхен, чтобы побродить по магазинам и прикупить кружевного нижнего белья, если они увидят, что между ними сложились хорошие отношения, и если она не будет возражать против того, что частные детективы будут повсюду следовать за ними. Она думала, что он шутит, говоря о частных детективах, и сказала, что будет скучать без него. Он любезно ответил, что не даст ей для этого ни малейшей возможности, и, искренно глядя в ее голубые серьезные глаза и тепло пожимая на прощание ее руку, задавал себе вопрос: возникнет ли у него когда-нибудь желание увидеть ее еще раз.

КНИГА ВТОРАЯ

4
ЛЮ

Я родился сильным и бесстрашным. И по сей день, кажется, я не знаю, что такое бояться другого человека. Своими мускулами, крепкими костями и широкой грудью я обязан не тому, что мальчишкой увязывал в кипы старые газеты и таскал тяжести на отцовском складе старья. Если бы я не был сильным, он бы не заставлял меня делать все это. Он заставил бы меня вести бухгалтерию и быть на побегушках, как заставил моих сестер и старшего брата Айру. Нас в семье было четверо братьев и две сестры, а из братьев я по возрасту был вторым с конца. Моя мать всем говорила, что не видела младенца сильнее меня и с таким волчьим аппетитом. Она с трудом двумя руками оттаскивала меня от своей груди.

— Как Геракл в своей колыбели, — сказал както раз Сэмми Зингер.

— Кто?

— Геракл. Младенец Геракл.

— Ну и что твой Геракл?

— Когда он родился, ему в колыбель наслали

пару больших змей, чтобы его убить. А он задушил их — каждую одной рукой.

— Все это враки, умник.

Малютка Сэмми Зингер знал много таких вещей, даже когда мы были еще совсем мальчишками и учились в третьем или четвертом классе. Все мы писали сочинения по «Тому Сойеру» и «Робинзону Крузо», а он писал по «Илиаде». Сэмми был умный, а я был смышленый. Он вычитывал обо всем в книгах, а я обо всем догадывался своей головой. Он хорошо играл в шахматы, а я — в картишки. Я перестал играть в шахматы, а он продолжал проигрывать мне деньги в карты. Так кто из нас был смышленее? Когда мы пошли на войну, он пожелал стать летчиком-истребителем и выбрал авиацию. Я выбрал наземные войска, потому что хотел драться с немцами. Я надеялся стать танкистом и мчаться прямо сквозь их полчища. Он стал хвостовым стрелком-пулеметчиком, а я оказался в пехоте. Один раз его сбили, он упал в воду и вернулся домой с медалью; я попал в плен, и меня держали там до конца войны. Может быть, смышленее все же был он. После войны он поступил в колледж, и правительство платило за его обучение, а я купил лесной склад за городом. Я купил участок под застройку и постро-

ил наудачу дом на паях с некоторыми из моих заказчиков, разбиравшихся в строительстве лучше меня. Я больше разбирался в бизнесе. Получив прибыль от этого, следующий дом я уже построил один. Я обнаружил, что существуют кредиты. Мы на Кони-Айленде не знали, что банки сами так и рвутся давать деньги в долг. Он бегал в оперный театр, а я ездил стрелять утку и канадского гуся с местными водопроводчиками и банкирами-янки. Пленным в Германии я каждый раз, когда меня переводили на новое место, волновался, *что* будет, когда новые охранники по моему личному знаку узнают, что я еврей. Я волновался, но я не помню, чтобы я когда-нибудь испытывал страх. Каждый раз, когда меня переводили в новый лагерь, все глубже и глубже в страну, все ближе к Дрездену, я обязательно находил способ сообщить им об этом прежде, чем они дознаются сами. Я не хотел, чтобы они подумали, будто я от них что-то скрываю. До тех пор, пока Сэмми не спросил меня об этом позднее, мне даже и в голову не приходило, что они могут плюнуть мне в лицо, или размозжить мне череп прикладом, или просто отделить меня своими винтовками и штыками от остальных, отвести в лесок, а там заколоть или пристрелить. Ведь почти все мы

тогда были совсем мальчишками, и я говорил себе: пусть они задираются или издеваются надо мной какое-то время, но в конечном счете мне, может, придется свернуть пару челюстей и отучить их от этого. Я никогда не сомневался, что мне это по силам. Я был ЛР, Льюис Рабиновиц с Мермейд-авеню на Кони-Айленде в Бруклине, Нью-Йорк, и я ни секунды не сомневался тогда в том, что непобедим и мне удастся все, что я захочу сделать.

Я всегда так думал, с самого детства. С самого начала я был крупным и сильным, с громким голосом, а чувствовал я себя еще больше и сильнее, чем был на самом деле. В школе я своими глазами видел, что в старших классах есть ребята покрупнее меня, а может, они были и посильнее, но я этого никогда не чувствовал. И я никогда не боялся парней из тех немногих итальянских семей, что жили по соседству с нами, всех этих Бартолини и Паламбо, о которых остальные и говорить-то побаивались, выйдя за двери своего дома. Ходили слухи, что они, эти итальяшки, носят ножи. Я этого никогда не видал. Я к ним не лез, и они меня не трогали. И никто другой меня не трогал, насколько мне было известно. Правда, однажды один из них сунулся. Тощий такой па-

рень постарше меня — из восьмого класса; я после ланча сидел на тротуаре напротив школьного двора и ждал, когда откроются двери и начнутся занятия, а он шел, вихляясь, мимо и нарочно наступил мне на ногу. У него на ногах были тенниски. Нам не разрешали приходить в школу в теннисках, мы их надевали только на физкультуру, но все эти Бартолини и Паламбо носили их, когда хотели. «Ага», — сказал я сам себе, когда увидел, что что-то затевается. Я наблюдал, как он приближается ко мне. Я видел, как он повернул в мою сторону с вредным и невинным видом. Я не заметил, как моя рука метнулась, ухватила его за коленку и сжала, не очень сильно, а так, чтобы удержать его на месте, когда он попытался высвободиться и идти дальше, даже не взглянув на меня, словно у него было право, словно меня там и не было. Он здорово удивился, когда увидел, что я его не пускаю. Он попытался напустить на себя крутой вид. Нам не было и тринадцати.

— Эй, ты чего делаешь? — сердито сказал он.

Но у меня вид был покруче.

— Ты что-то уронил, — сказал я с холодной улыбкой.

— Да? Что?

— Свои подошвы.

— Очень смешно. Отпусти мою ногу.

— И одна из них упала на меня. — Другой рукой я постучал по месту, на которое он наступил.

— Да?

— Да.

Он попытался вырваться, я сжал его ногу сильнее.

— Если так получилось, то я не хотел.

— А мне показалось, что хотел, — сказал я ему. — Если ты поклянешься и скажешь мне еще раз, что не хотел этого, то я, пожалуй, тебе поверю.

— Так ты крутой парень? Ты так думаешь?

— Да.

На нас смотрели другие ребята, и девчонки тоже. Я чувствовал себя прекрасно.

— Ладно, я не хотел этого, — сказал он и перестал вырываться.

— Тогда я тебе верю.

После этого мы какое-то время ходили в дружках.

Однажды Сэмми решил научить меня боксу, надумал в деле показать мне, насколько у него это получается лучше, чем у меня.

— Для этого недостаточно одной силы, Лю.

У него был учебник, который он прочитал, а

еще он достал где-то боксерские перчатки. Он показал мне стойки, удары — короткий прямой, хук, апперкот.

— Ну ладно, титр, ты мне все показал. Что теперь?

— Мы устроим раунд минуты на три, потом одну отдохнем, и я покажу тебе, что ты делал неправильно, а потом устроим еще один раунд. Помни, ты должен все время двигаться. В клинчах удары не разрешены, и никакой борьбы тоже. Это запрещено. Поставь левую руку вот так, повыше, не опускай ее и выдвигай подальше. Иначе я тебя нокаутирую. Вот так. А теперь давай.

Он встал в стойку и начал прыгать туда-сюда. Я пошел прямо на него и своей левой легко отжал обе его руки вниз. А правой, открытой перчаткой, я ухватил его за физиономию и шутливо потряс ее.

— Это клинч, — завопил он. — Захватывать лицо не разрешается. Ты должен либо бить, либо ничего не делать. Теперь мы расходимся и начинаем все с самого начала. Помни, ты должен пытаться наносить мне удары.

На этот раз он принялся прыгать вокруг меня быстрее, ударил меня прямым сбоку по голове и отскочил назад. Я снова пошел прямо на него,

одной рукой без труда отвел обе его и начал легонько молотить его по лицу другой. Глядя на него, я не мог сдержать смех. Я ухмылялся, он задыхался от ярости.

— Давай займемся чем-нибудь другим, — жалко сказал он. — Из этого у нас ничего не получается, да?

Иногда я беспокоился о малыше Сэмми, потому что он ничего не умел и любил подкалывать людей. Но он был парень смышленый, и оказалось, что он подкалывает только тех, кто на него не мог разозлиться. Вроде меня.

— Слушай, Лю, как поживает твоя подружка с большими сиськами? — говорил он мне во время войны, когда я начал встречаться с Клер и показал ее друзьям.

— Ты у нас такой умник, — говорил я ему с деланной улыбкой, скрежеща зубами. Когда я начинал закипать, у меня ходили желваки на челюсти под ухом и сбоку на шее. И когда в картишки играл, если заказывал большую игру и мне нужно было все мое искусство, чтобы не проиграть, у меня тоже там ходили желваки.

— Эй, Лю, передай привет своей жене с большими сиськами, — говорил он, когда мы с Клер поженились. Уинклер тоже стал таким же об-

разом подтрунивать надо мной, и я не мог его осадить, потому что я ни разу не осадил Сэмми, а Сэмми я никак не мог осадить. Я бы его пригласил к себе на свадьбу шафером, но мои родители хотели моих братьев, и все мы в нашей семье делали то, что хотели от нас другие.

Родители дали мне имя Льюис, а называли меня Луи, словно мое имя было Луис, и я так и не чувствовал никакой разницы, пока Сэмми не сказал мне. Но даже и после этого я так и не вижу особой разницы.

Сэмми читал газеты. Он любил цветных и говорит, что на Юге им нужно позволить голосовать и разрешить жить там, где они хотят. Мне было безразлично, где они живут, до тех пор, пока они не жили рядом со мной. Вообще-то я никогда не любил никого, если не знал его лично. Мы какое-то время любили Рузвельта, после того как он стал президентом, но любили мы его в основном потому, что он был не как Герберт Гувер, или кто-нибудь другой из этих республиканцев, или как кто-нибудь из этих провинциальных антисемитов на Юге или Среднем Западе, или как этот отец Кофлин из Детройта. Но мы ему не верили, мы на него не полагались. Мы не верили банкам, мы не верили их расчетам и по возможности вели все

дела наличными. Немцев мы не любили еще до прихода Адольфа Гитлера. А из немцев больше всего мы не любили немецких евреев. И это даже после Гитлера. В детстве я часто о них слышал.

— Я в жизни никому не желала зла, — нередко говорила моя мать. Она повторяла это много раз, но на самом деле это было не так. Она всех осыпала страшными проклятиями, даже нас. — Но если кто и заслуживает наказания, так это они. Когда мы из Польши приехали в Гамбург, они даже смотреть на нас не хотели. Мы были для них что грязь. Они стыдились наших чемоданов и нашей одежды, и мы не умели говорить по-немецки. Они все нас стыдились и не скрывали этого. Некоторые из них, когда им это удавалось, крали у нас деньги. Если где-нибудь в поезде или на скамейке в парке было свободное место, они клали на него шляпу, чтобы казалось, что кто-то его уже занял, и мы не сели рядом. Мы могли стоять там часами, даже с детьми. Люди с деньгами всегда так делали. И они все даже притворялись, что не знают идиша.

Когда Сэмми не так давно заглянул ко мне домой, он сказал, что, по его мнению, немецкие евреи, возможно, и не знают идиша. Услышь это моя мать, она бы притворилась глухой.

Когда в Европе разразилась война, все мы еще были слишком молоды, и до призыва нам оставалось еще пару лет. В школе я вместо испанского стал изучать немецкий — готовиться начал — и начал приводить в бешенство ребят, вроде Сэмми, своими achtung, wie geht, hallo, nein и jawohl.[1] Когда они кричали, чтобы я прекратил, я бросал им пару danke schön.[2] Я не оставил немецкий даже в армии. Когда я попал в армию, я достаточно хорошо знал немецкий, чтобы задирать военнопленных, которые были в Форт-Нокс, Форт-Силл, Форт-Райли и Форт-Беннинг. Когда я сам стал военнопленным под Дрезденом, я мог немного говорить с охранниками, а иногда и переводить для других американцев. Поскольку я знал немецкий, меня послали в Дрезден старшим по команде, несмотря на то, что я был сержантом и мог отказаться.

Пока я еще был мальчишкой, старьевщицкий бизнес процветал. Мать Сэмми откладывала старые газеты и отдавала алюминиевые кастрюли и сковородки, а мой отец продавал их. Старик обнаружил, что на старье можно было непло-

---

[1] Примечания: 1
Внимание, как поживаешь, привет, нет, конечно. *(нем.).*

[2] Примечания: 2
Большое спасибо. *(нем.).*

хо жить, а на металлоломе можно сколотить неплохое состояние, и не одно. Мы обшаривали здания, предназначенные к сносу. Мы носились за пожарными машинами. Большие пожары на Кони-Айленде всегда были золотой жилой, а для нас — медной жилой и свинцовой жилой, потому что после пожара оставались трубы. Когда вскоре после войны сгорел Луна-парк, у нас были горы металлолома. Нам платили за то, чтобы мы вывезли его оттуда, а второй раз нам платили перекупщики, которым мы сдавали лом. Все пожароопасное было завернуто в асбест, а мы брали и асбест и укладывали его в кипы. На этом пожаре мы неплохо заработали, и отец смог дать мне в долг на лесной склад десять тысяч долларов под хорошие проценты, потому что он всегда таким был, и ему вообще не нравилась эта идея со складом. Он не хотел, чтобы я уходил из его бизнеса, и не хотел, чтобы мы переезжали на новое место почти в трех часах езды. Особенно хороши были старые школы и больницы. Мы купили второй грузовик и наняли живших поблизости здоровенных ребят, чтобы им были по силам тяжести и чтобы они прогоняли других старьевщиков. Мы даже наняли одного здоровен-

ного *шварца*,[3] сильного, молчаливого черного парня по имени Санни, который сам пришел к нам в поисках работы. Мы молотком и зубилом разрубали штукатурку и асбест, добираясь до медных и свинцовых труб, а потом срывали их нашими крюками, ломами или спиливали ножовками. Мой отец выгнал Смоки Рубина.

Я пустил об этом слушок. От Смоки пришло известие, что он будет искать меня и лучше бы мне не попадаться ему на глаза. На следующий вечер я отправился в кафетерий «Хэппис» на Мермейд-авеню и уселся там его ждать. Сэмми и Уинклеру стало плохо, когда они пришли и увидели меня. Я думал, они упадут в обморок.

— Ты что здесь делаешь? — сказал Уинклер. — Мотай отсюда, мотай скорее.

— Ты что, не знаешь, что Смоки тебя ищет? — сказал Сэмми. — И с ним пара его дружков.

— Я сам иду к нему в руки. Если хотите подождать здесь, я куплю вам лимонад и сэндвичи. Или можете сидеть, где хотите.

— Если уж ты хочешь вести себя, как псих, то по крайней мере нужно позвать твоих братьев, — сказал Сэмми. — Хочешь, я сбегаю к тебе домой?

---

[3] Примечания: 3
Негра. *(идиш).*

— Лучше сиди и пей.

Долго нам ждать не пришлось. Смоки увидел меня, как только вошел — я сидел лицом к двери, — и сразу же направился ко мне, а за ним парень по имени Рыжий Бени и один псих, известный как Вилли Джип.

— Я тебя искал. Хочу сказать тебе кое-что.

— Я тебя слушаю. — Наши глаза неподвижно застыли друг на друге. — Я как раз и пришел послушать.

— Тогда выйдем. Я хочу поговорить с тобой с глазу на глаз.

Я обдумал это предложение. Им всем было по тридцать, или больше. А нам было по семнадцать с половиной. Смоки раньше выступал на ринге. Он сидел в тюрьме, и по крайней мере один раз его сильно порезали в драке.

— Ладно, Смоки, если ты так хочешь, — решил я. — Но пусть твои ребята посидят здесь немного, если ты хочешь поговорить со мной с глазу на глаз и если ты хочешь именно этого.

— Ты тут про меня говорил всякие гадости, да? Только не ври. И твой отец тоже говорил.

— Какие гадости?

— Что меня выгнали и что я приворовывал. Твой отец меня не выгонял. Давай-ка расставим

все на свои места. Я сам ушел. Я больше не собираюсь работать ни на кого из вас.

— Смоки, — я почувствовал, как начали ходить желваки у меня на щеке и на шее, — старик просил меня обязательно тебе передать, что если ты еще хоть раз переступишь порог его склада, он тебе сломает шею.

Услышав это, Смоки замолчал. Он знал старика. Если старик это сказал, то значит, он это и имел в виду. Мой отец был невысок ростом, но плечи у него были такие мощные и широкие, каких я больше ни у кого не видел, а его маленькие голубые глаза смотрели с лица, напоминавшего торпеду или артиллерийский снаряд. Веснушчатый, иссеченный морщинами, в родинках, он был похож на чугунную чушку, на наковальню высотой в пять с половиной футов. Раньше он был кузнецом. Все мы большеголовые, с крупными квадратными челюстями. Мы похожи на поляков, но знаем, что мы евреи. В Польше отец одним ударом кулака в лоб убил казака, повысившего голос на мою мать, а в Гамбурге он чуть не проделал то же самое с каким-то эмиграционным чиновником, допустившим такую же ошибку — грубость по отношению к моей матери, но отец все же сдержался. Оскорбления в адрес кого-ни-

будь из нашей семьи никому не сходили с рук, кроме, пожалуй, Сэмми Зингера с его шуткой о больших сиськах моей жены.

— Марвин, как поживает твой отец? — спросил Рыжий Бенни у Уинклера под взглядами всех присутствовавших в кафетерии, и после этого у Смоки появилась еще одна причина вести себя осторожно.

Уинклер начал постукивать пальцами по столу и не произнес ни слова.

Его отец был букмекером и зарабатывал больше всех в нашем квартале. Одно время у них даже было пианино. Рыжий Бенни был курьером, билетным контролером, ростовщиком, должником и взломщиком. Однажды летом он со своей бандой обчистил все номера одного курортного отеля, кроме единственного, который снимали родители Уинклера, после чего все в городе стали задавать себе вопрос: чем же таким занимается отец Уинклера, что именно его не тронули.

Смоки к этому моменту стал мало-помалу сбавлять обороты.

— Ты и твой отец… вы всем говорите, что я украл у вас какой-то дом, верно? Я его не крал. Я нашел дворника и заключил с ним сделку от своего имени.

— Ты нашел этот дом, работая на нас, — сказал я ему. — Ты можешь работать на нас, а можешь открыть собственный бизнес. Но делать и то, и другое одновременно ты не можешь.

— Теперь перекупщики ничего у меня не берут. Твой отец не дает им.

— Они могут делать, что хотят. Но если они будут покупать у тебя, то они не смогут покупать у него. Вот все, что он сказал.

— Мне это не нравится. Я хочу поговорить с ним. Я хочу поговорить с ним сейчас. Я и его хочу поставить на место.

— Смоки, — начал я, медленно выговаривая слова и чувствуя вдруг уверенность, большую уверенность в себе, — если ты хоть раз, единственный раз, повысишь голос на моего отца, то я отправлю тебя на тот свет. А если ты хотя бы палец поднимешь на меня, то на тот свет отправит тебя мой отец.

Казалось, это произвело на него впечатление.

— Хорошо, — сдался он, и лицо его помрачнело. — Я вернусь к нему на работу. Но ты должен ему сказать, что с этого времени я должен получать шестьдесят в неделю.

— Ты не понял. Он теперь тебя, может, и на пятьдесят не возьмет. Мне придется попытаться

уговорить его.

— А если он даст мне пять сотен, то может брать дом, что я нашел.

— Он может дать тебе две, как обычно.

— Когда я могу начать?

— Дай мне завтрашний день, я попытаюсь его уломать. — Мне и на самом деле пришлось долго убеждать старика, напоминать ему, что Смоки неплохо работал, что он и наш черный парень неплохо действовали сообща, когда нужно было отваживать других старьевщиков.

— Одолжи мне сейчас полсотни, Луи, а? — попросил Смоки. — Тут рядом продается неплохая травка из Гарлема, я бы хотел вложить в нее деньги.

— Я могу тебе дать только двадцатку. — Я мог бы дать ему больше. — Вот ерунда какая, — сказал я, когда они вышли. Я разминал себе пальцы. — Что-то у меня с рукой. Когда я давал ему эти двадцать долларов, я ею едва мог шевелить.

— Ты держал сахарницу, — сказал Уинклер. У него зубы стучали.

— Какую сахарницу?

— Ты что, не заметил? — почти рассерженно бросил мне Сэмми. — Ты так сжимал эту сахарницу, будто собирался ею проломить ему голову.

Я думал, ты ее раздавишь.

Я со смехом откинулся к спинке стула и заказал нам пирожные с мороженым. Нет, я не заметил, что во время нашего разговора сжимал в руке эту тяжеленую круглую сахарницу. Голова у меня была холодной и ясной, и сам я был сосредоточен, а когда смотрел ему в глаза, рука моя была готова к действию, хотя я даже не знал об этом. Сэмми перевел дух и, подняв с колен руку, положил на стол нож. Он был бледен.

— Тигр, ты зачем его прятал? — со смехом спросил я. — Какая мне могла быть польза, если ты его прятал?

— Я не хотел, чтобы они видели, как у меня руки трясутся.

— Ты хоть знаешь, как с ним нужно обращаться?

Сэмми покачал головой.

— И узнавать не хочу. Лю, я хочу тебе прямо сейчас сказать. Если когда-нибудь, когда я буду рядом, ты надумаешь драться, можешь быть уверенным, я больше не буду стоять в стороне.

— И я тоже, — сказал Уинклер. — Рыжий Бенни ничего бы не стал делать, пока я был тут, но за остальных я не был так уж уверен.

— Братва, — сказал я им, — на этот раз я на вас

не рассчитывал.

— А ты бы ему действительно вмазал этой сахарницей?

— Сэмми, я бы ему вмазал всем этим кафетерием, если бы было нужно. Я бы ему вмазал тобой.

Мне уже было шестьдесят пять с гаком, два года назад, когда я задержат того карманника, высокого, быстроногого, лет двадцати с небольшим. Я это хорошо помню, потому что это случилось перед самым моим днем рождения. В качестве подарка самому себе я должен был отвезти Клер на какое-то там представление с песнями, куда она хотела попасть, а я — нет. Мы приехали туда загодя и стояли на улице вместе с другими людьми под козырьком у театра, неподалеку от автобусного вокзала Администрации нью-йоркского порта. До сих пор меня при виде этого автовокзала смех берет, потому что мне сразу вспоминается, как Сэмми обчистили здесь, когда он возвращался от нас, а потом чуть не упрятали за решетку, потому что он кричал на полицейских, пытаясь заставить их сделать что-нибудь. К тому времени я уже заключил мир с немцами и ездил на «мерседесе». У Клер тоже был модный «мерседес» с откидным верхом. Внезапно какая-то женщина

издала *гешрей*.[4] Я увидел, как двое ребят несутся на всех парах и хотят проскользнуть за моей спиной. Недолго думая, я схватил одного из них. Я его развернул, приподнял и уложил лицом вниз на капот машины. И только уложив его, я увидел, что он молодой, высокий и сильный. Парень был цветной.

— Если ты шелохнешься, я тебе кости переломаю, — сказал я ему прямо в ухо. Он не шелохнулся.

Когда я увидел, как тщательно обыскивают его полицейские, меня затрясло, похоже, от страха. Они общупали его волосы в поисках бритвы или какой-нибудь заточки. Они облазали все его карманы, осмотрели воротник, все швы его рубашки и брюк, всего его снизу доверху в поисках пистолета, или ножа, или чего-нибудь маленького и острого. Я понял, что меня вполне могли убить. И только обшарив его тенниски, они, наконец, успокоились.

— Вам крупно повезло, сэр, — сказал мне молодой полицейский, главный среди них и старше остальных.

Люди мне улыбались, а я улыбался им в ответ.

---

[4] Примечания: 4
Крик. *(идиш).*

Я чувствовал себя героем.

— Ну, хватит, Лю, твое представление закончилось, — сухо сказала мне Клер; я и не сомневался, что именно это она и скажет. — Давай теперь пойдем в театр на настоящее.

— Еще одну минуту, Клер, — громко ответил я ей с гордым видом. — Тут, я вижу, есть одна хорошенькая блондиночка, которая, кажется, не прочь познакомиться со мной поближе.

— Лю, ты, наконец, войдешь в театр, — сказала она, — или я пойду без тебя.

Мы смеясь вошли внутрь. А две недели спустя все мои симптомы вернулись, и я опять лег в больницу на химиотерапию.

5
ДЖОН

За стенами больницы все было по-прежнему. Люди сходили с ума и получали награды. Специалисты по интерьеру были героями культуры, а модельеры стояли на социальной лестнице выше своих заказчиков.

— А почему бы и нет? — уже успела ответить на это замечание Йоссаряна Фрэнсис Бич, демонстрируя свое близкое к совершенному произношение, нередко вызывавшее у других недоумение: как это кому-то удастся так безупречно говорить по-английски и при этом не гнусавить. — Ты что, забыл, как мы выглядим, когда голые?

— Если бы это сказал мужчина, — сказал Патрик Бич, ее муж, лишний раз восхищаясь своей женой, — то его бы сожрали живьем.

— Мужчины тоже говорят такие вещи, дорогой, — сказала Фрэнсис Бич, — на показах своих весенних и осенних коллекций и зарабатывают миллиарды, одевая нас.

Бедняков по-прежнему было много.

Йоссарян скосил глаза на компанию, устроившуюся на тротуаре у дверей больницы, и направился к проезжей части, где его ждал длиннющий лимузин с черными стеклами, прибывший, чтобы отвезти его на другой конец города в роскошный многоэтажный дом, где он теперь обосновался. Он заказал обычный седан, а они снова прислали лимузин; никаких дополнительных счетов за это не будет выставлено. Многоэтажный дом, в котором он жил, назывался роскошным, потому что стоимость проживания там была высока. Квартиры были маленькими. Потолки были низкими; в двух его ванных отсутствовали окна, а в кухне не было места для стола или стула.

Менее чем в десяти кварталах от этого дома располагался автобусный вокзал Администрации нью-йоркского порта, сооружение с посадочными площадками в семи уровнях. На уровне первого этажа находилось отделение полиции с тремя обычно переполненными камерами для особо опасных преступников; обитатели этих камер сменялись по несколько раз в день, а год назад в одну из них угодил Майкл Йоссарян, направлявшийся в архитектурную фирму, для которой делал рисунки; он попал в автовокзал через вы-

ход из метро и попытался вернуться назад, когда понял, что вышел не на своей остановке.

— Вот это был денек, — до сих пор вспоминал он, — ты спас мою жизнь и вывел меня из душевного равновесия.

— Ты что, хотел, чтобы тебя там держали взаперти со всеми остальными?

— Я бы умер, если бы это случилось. Но смотреть на то, как ты там раздувался от важности, петушился и все это сошло тебе с рук, было нелегко. И еще знать, что сам бы я так никогда не смог.

— Когда мы сердимся, мы себя не контролируем, Майкл. Не думаю, что у меня был выбор.

— Я легко впадаю в депрессию.

— У тебя был старший брат, который тебя застращал. Может быть, в этом все дело.

— Почему же ты не остановил его?

— Мы не знали, как. Мы не хотели застращать его.

Майкл издал что-то вроде смешка.

— На тебя тогда стоило посмотреть, да? — осуждающим голосом с завистью сказал Майкл. — Вокруг тебя собралась небольшая толпа. Кто-то даже аплодировал.

После этого оба они чувствовали себя опустошенными.

Теперь на автовокзале жили люди — мужчины и женщины, беспризорные мальчишки и малолетние проститутки; многие из них проводили ночи, забравшись в мрачные глубины автовокзала, а утром появлялись, словно жители пригорода, приезжающие в Нью-Йорк на работу, и большую часть дня занимались своими обычными делами под открытым небом.

В уборных на разных уровнях была горячая и холодная вода и избыток шлюх и гомосексуалов на любой вкус; в бесчисленных лавочках продавались такие предметы первой необходимости, как жевательная резинка, сигареты, газеты и жареные пирожки. Туалетной бумагой можно было пользоваться бесплатно. Из своих хваленых городков регулярно приезжали многодетные матери с малолетними детьми и снимали себе жилье. Автовокзал служил пристанищем бродягам, попрошайкам и малолетним беглецам. Сотни приезжих и тысячи прибывающих на работу, направлялись каждый день на свои рабочие места или возвращались вечером домой, старались не обращать на них внимания. Богатые здесь не появлялись, потому что никто из богатых не ездил на работу автобусом.

Из высоких окон его квартиры в многоэтаж-

ном доме Йоссаряну открывался вид на другой роскошный дом, еще более многоэтажный, чем его. Между двумя этими сооружениями внизу был широкий проезд, который теперь кишмя кишел шумными бандами воинственных и отвратительных нищих, проституток, наркоманов, торговцев наркотиками, сутенеров, грабителей, распространителей порнографии, всякого рода извращенцев и сбитых с толку психопатов; все они отправляли свое преступное ремесло на улице среди растущих потоков оборванных и грязных людей, которые теперь в прямом смысле жили на улице. Среди бездомных были теперь и белые, и они тоже мочились на стены и испражнялись в проулках, а другие из их числа в тех же самых проулках устраивались на ночлег.

Йоссарян видел, как даже в более благопристойном квартале Парк-Авеню женщины присаживались, чтобы облегчиться на ухоженных клумбах островков безопасности посреди улиц.

Трудно было не ненавидеть их всех.

И это был Нью-Йорк, Большое яблоко, имперский город имперского штата, финансовое сердце, и мозги, и мускулы страны, и этот же город был первым в мире, обскакавшим, пожалуй, даже Лондон, по своим культурным достижениям.

Йоссарян нет-нет да вспоминал, что никогда в жизни, даже в военные времена в Риме или на Пьяносе, или даже в этом проклятом Неаполе или на Сицилии, не видел он такого ужасающего убожества и запустения, какое с ненасытной жадностью пожирало все б***о***льшие и б***о***льшие пространства вокруг него. Такого он не видел даже — не раз цинично говорил он Фрэнсис Бич, своей стародавней подружке, — на бесполых ланчах, организуемых для сбора пожертвований, и на официальных приемах, которые он посещал столько раз, что ему и вспоминать об этом было тошно; он приходил туда по необходимости, будучи единственным презентабельным лицом в компании «Предпринимательство и Партнерство М и М», вполне сносным мужчиной и человеком, который мог достаточно живо болтать на темы, не имеющие отношения к бизнесу, с хорошо информированными людьми, которые с большим самомнением воображали, что, говоря о мировых событиях, они влияют на них.

Ничьей вины в этом, конечно, не было.

— Господи Боже мой, это что такое? — воскликнула Фрэнсис Бич, возвращавшаяся вместе с Йоссаряном в своем взятом напрокат лимузине со своим взятым напрокат шофером с очередного

приема; этот прием, на котором подавали чуть теплый чай и вино, был устроен для тех попечителей и друзей попечителей Нью-йоркской публичной библиотеки, которые все еще не разъехались и после долгих сомнений и колебаний пришли к выводу, что все же хотят присутствовать на этом приеме.

— Автовокзал, — сказал Йоссарян.

— Он ужасен, правда? На кой черт он нужен?

— Для автобусов. А ты что думала? Знаешь, Фрэнсис, — беззлобно поддразнил ее Йоссарян, — почему бы тебе не спонсировать проведение твоего следующего показа мод в автовокзале? Или одного из твоих блестящих благотворительных балов? Я знаю Макбрайда.

— О чем ты говоришь? Кто такой Макбрайд?

— Бывший полицейский, который теперь там работает. А может быть, свадьбу? — продолжал он. — По-настоящему шикарную? Вот это действительно будет сногсшибательно. Ты уже устраивала свадьбы…

— Я не устраивала.

— …в музее и опере. Автовокзал более живописен.

— Светская свадьба в автовокзале? — возразила она с усмешкой. — Ты, видно, рехнулся. Я знаю

— ты шутишь, а поэтому я должна подумать. Оливия и Кристофер Максон скоро, вероятно, будут искать новое место. Посмотри на этих людей! — Она внезапно выпрямилась. — Это мужчины или женщины? А вот те — почему они делают это на улице? Они что, не могут дотерпеть до дома?

— Фрэнсис, дорогая, у многих из них нет дома, — с любезной улыбкой сказал Йоссарян. — А очереди в туалеты автовокзала длинные. На часы пик нужно подавать предварительные заявки. Никто без предварительной заявки не допускается. А уборные в ресторанах и отелях, как гласят объявления, только для клиентов. Ты никогда не замечала, что те, кто писают на улице, обычно делают это очень долго?

Нет, она не замечала, холодно сообщила она ему.

— Ты теперь говоришь такие неприятные вещи. Раньше с тобой было веселее.

Много лет назад, еще до того как Йоссарян женился, а Френсис вышла замуж, они упивались друг другом; у них было то, что сегодня назвали бы романом, хотя в те времена ни один из них и не подумал бы дать столь пышное наименование тому, что они с такой страстью и усердием делали друг с другом, ни на минуту не задумываясь о

совместном будущем. Вскоре он отказался от многообещающей работы начинающим в арбитраже и инвестиционном банке ради второй попытки найти себя на преподавательской работе, прежде чем вернуться в рекламное агентство, а потом перейти в информационную службу и заняться на вольных хлебах сочинительством, после чего он стал браться за любые работы, кроме тех, что создавали конечный продукт, который можно было видеть, щупать, использовать или потреблять, продукт, который занимал бы пространство и в котором общество испытывало потребность. А она с любопытством, энергией и не без врожденного таланта стала обнаруживать в себе привлекательность, на которую клевали театральные продюсеры и другие джентльмены, чье влияние, по ее мнению, могло оказаться полезным для нее на сцене, на экране или на телевидении.

— А ты раньше была великодушнее, — напомнил он ей. — Ты забыла свое прошлое.

— И ты тоже.

— И радикальнее.

— И ты тоже. Ты теперь стал таким нигилистом, — довольно равнодушно заметила она. — Ты всегда саркастичен, да? Не удивительно, что

люди часто чувствуют себя неловко в твоем присутствии. Ты все обращаешь в шутку, и люди никогда не могут понять, в самом ли деле ты с ними согласен. Ты постоянно кокетничаешь.

— Нет!

— Нет, кокетничаешь, — гнула свое Фрэнсис Бич; чтобы придать своим словам убедительность, ей нужно было бы повернуть голову, но она этого не сделала. — Ты кокетничаешь почти со всеми, кроме меня. Это сразу видно, кто кокетничает, а кто — нет. Вот Патрик и Кристофер не кокетничают. А ты кокетничаешь. Ты всегда кокетничал.

— У меня такая манера шутить.

— Некоторые женщины воображают, что у тебя есть любовница.

— Любовница? — Йоссарян обратил это слово в хрипловатый гогот. — Да мне и одной было бы слишком много.

Фрэнсис Бич тоже рассмеялась, и спровоцированная ею неловкость исчезла. Им обоим уже перевалило за шестьдесят пять. Он знал ее, когда ее звали Фрэнни. Она помнила, когда его звали Йо-Йо. С тех пор они не заигрывали друг с другом даже между своими браками, и ни у него, ни у нее никогда не возникало потребности опробовать

гнездышко, свитое другим.

— Кажется, этих людей повсюду становится все больше и больше, — кротко пробормотала она с отчаянием, от которого, судя по ее тону, было совсем нетрудно избавиться. — Они на глазах у всех творят Бог знает что. На Патрика напали прямо перед нашим домом, а днем и ночью у нас на всех углах стоят шлюхи, отвратительные, уродливо одетые, вот вроде этих у того дома.

— Высади меня у того дома, — сказал Йоссарян. — Я в нем живу.

— В нем? — Когда он утвердительно кивнул, она добавила: — Переезжай в другое место.

— Я только что переехал. А в чем дело? На вершине моей волшебной горы расположились два клуба здоровья, а один из них — храм любви. А в подножье — шесть кинотеатров, в двух — повышенный радиоактивный фон, а в третьем собираются голубые, еще у нас есть брокерские фирмы, юридические фирмы, а между ними рекламные агентства. Врачи всех специализаций. Есть банк с банкоматом и огромный супермаркет. Я предложил устроить еще и дом для престарелых. Когда у нас будет дом для престарелых, я смогу прожить здесь всю жизнь и практически никогда не выходить на улицу.

— Бога ради, Джон, ну хоть изредка прекращай шутить. Переезжай в приличный район.

— А где я такой найду? В Монтане? — Он снова рассмеялся. — Фрэнсис, это и есть приличный район. Неужели ты думаешь, что я бы обосновался в неприличном?

Вид у Френсис внезапно стал утомленный и разочарованный.

— Джон, когда-то ты знал все, — задумчивым голосом сказала она, оставив неестественность культурной речи. — Что с этим можно сделать?

— Ничего, — услужливо предложил он ей в ответ.

Потому что все было прекрасно, напомнил он ей: по официальным меркам, не часто дела обстояли лучше. Сегодня только бедные были бедны, а потребность в новых тюремных камерах была насущнее, чем потребности бездомных. Проблемы были безнадежны; расплодилось слишком много людей, нуждавшихся в пище, а пищи было слишком много, чтобы накормить всех, получив при этом прибыль. В чем чувствовалась острая потребность, так это в нехватках, добавил он с жалкой улыбкой. Он не стал распространяться на тот счет, что теперь, будучи одним из представителей крепкого среднего класса, он ничуть

не был расположен к тому, чтобы налоги с него повысили и тем самым уменьшили невзгоды тех, кто вообще не платил никаких налогов. Он предпочитал, чтобы строили больше тюрем.

Йоссаряну исполнилось шестьдесят восемь, и ему было чем гордиться, потому что он выглядел моложе, чем многие мужчины в шестьдесят семь, и лучше, чем все женщины приблизительно его возраста. Его вторая жена все еще разводилась с ним. Третьей обзаводиться он не собирался.

Все дети родились у него в первом браке.

Его дочь Джилиан, судья, разводилась со своим мужем, который, несмотря на свой значительно более высокий доход, так ничего толком и не добился в жизни и вряд ли имел шансы стать чем-нибудь иным, кроме верного мужа, отца, главы семейства и добытчика.

Его сын Джулиан, хвастунишка, первый среди его потомства, был мелкой шишкой крупного калибра на Уолл-стрите, и зарабатывал все еще слишком мало, чтобы по-королевски обосноваться на Манхеттене. Он и его жена занимали теперь разные крылья их ветшающего пригородного особняка, а адвокаты каждого изготовились к подаче исков и встречных исков на развод и безуспешно пытались найти абсолютно удо-

влетворительное для обеих сторон решение по разделу детей и имущества. Жена была хорошенькой вздорной женщиной модных вкусов, она происходила из семейства, привыкшего беспечно тратить деньги, была такой же шумливой, как Джулиан, и столь же деспотично безапелляционной; их сын и дочь были не меньшими задирами, но на удивление нелюдимыми.

Йоссарян чувствовал, что неприятности в семейной жизни назревают и у другого его сына, Адриана, недоучки-химика, который работал в Нью-Джерси у одного производителя косметики и всю свою сознательную жизнь искал формулу для крашения волос в цвет седины; его жена непрестанно записывалась на всевозможные курсы обучения для взрослых.

Но больше всех остальных его беспокоил Майкл, который, казалось, не мог пробудить в себе желание стать хоть чем-нибудь и совершенно не замечал опасностей, подстерегающих человека, не имеющего цели. Майкл как-то в шутку сказал Йоссаряну, что собирается начать откладывать деньги на развод, еще не начав откладывать на женитьбу, а Йоссарян сдержал в себе желание ответить шуткой на шутку, сказав, что это вовсе не смешно. Майкл не сожалел о том, что никогда

не прикладывал особых усилий, чтобы добиться чего-нибудь в качестве художника. Эта роль тоже не слишком привлекала его.

Женщин, в особенности тех, кто уже успел раз побывать замужем, тянуло к Майклу, и они жили с ним, потому что он был спокойный, отзывчивый и нетребовательный, но скоро они уставали от жизни с ним, потому что он был спокойный, отзывчивый и нетребовательный. Он решительно отказывался ссориться, а в конфликтных ситуациях погружался в молчание и становился грустным. Уважая Майкла, Йоссарян подозревал, что тот, хотя и не говорит об этом вслух, прекрасно знает, как ему поступать и с женщинами, и с работой. Но не с деньгами.

Что касалось денег, то Майкл жил на вольных хлебах, заключая контракты на разного рода рисунки для агентств и журналов или художественных студий, или с чистой совестью принимал сколько ему было нужно от Йоссаряна, отказываясь верить в то, что в один прекрасный день для него может больше не найтись контрактов или что Йоссарян может вдруг не захотеть спасать его от полного финансового краха.

В целом же, решил Йоссарян, это была типичная, современная, послевоенная семья, в которой

царил разлад и никто, кроме матери, не любил по-настоящему всех остальных и не видел никаких причин для любви, и каждый, подозревал Йоссарян, как и он сам, по крайней мере тайно и время от времени, пребывал в тоске и печали.

Он любил жаловаться на то, что его семейная жизнь была идеальной. Как у Густава Ашенбаха из новеллы Томаса Манна, семейной жизни у него не было никакой.

Слежка за ним все еще продолжалась. Он не знал, сколько человек его пасет. К концу недели появился даже какой-то ортодоксальный еврей, бродивший туда-сюда по тротуару напротив его дома, а еще на его автоответчик позвонила медицинская сестра Мелисса Макинтош, которую он отнюдь не забыл; на тот случай, если он все еще собирается пригласить ее на обед — а также в Париж и Флоренцию за нижним бельем, добавила она с ехидным смешком, — Мелисса информировала его, что ее временно перевели в вечернюю смену, и сообщала невероятную новость: больной бельгиец был все еще жив, и, хотя боли у него не прошли, температура упала до нормы.

Если бы не этот звонок, Йоссарян голову бы дал на отсечение, что бельгиец уже мертв.

Он мог объяснить присутствие лишь немногих

из всех, кто висел у него на хвосте: тех, кого наняли адвокаты разводящейся с ним жены, и тех, кого нанял этот псих, разводящийся муж одной матери семейства, женщины, с которой Йоссарян однажды не так давно переспал в подпитии; он без особого энтузиазма признавал, что переспал бы с ней и еще, если бы у него когда-нибудь возникло поползновение еще раз переспать с женщиной; этот тип нанимал детективов для слежки за всеми знакомыми мужчинами своей жены, потому что у него была навязчивая идея получить свидетельства супружеской неверности для нейтрализации свидетельств супружеской неверности, которые ранее были добыты на него его женой.

Йоссаряну не давал покоя вопрос: откуда взялись другие, и после нескольких новых приступов мрачного ожесточения он взял быка за рога и позвонил в офис.

— Есть какие-нибудь новости? — начал он разговор с сыном Милоу.

— Насколько мне известно, нет.

— Ты мне говоришь правду?

— По мере сил.

— И ничего не скрываешь?

— Насколько я знаю, нет.

— А ты бы мне сказал, если бы скрывал?

— Сказал бы, если бы мог.

— М2, когда сегодня позвонит твой отец, — сказал он Милоу Миндербиндеру Второму, — скажи ему, что мне нужен хороший частный детектив. Это для личных дел.

— Он уже звонил, — сказал Милоу младший. — Он рекомендует Джерри Гэффни из Агентства Гэффни. Только ни в коем случае не говорите ему, что его рекомендовал мой отец.

— Он тебе это уже сказал? — Йоссарян был ошарашен. — Откуда он знал, что я попрошу?

— Вот это я не могу сказать.

— Как ты себя чувствуешь, М2?

— Трудно быть уверенным.

— Я имею в виду — в общем. Ты не заезжал больше на автовокзал посмотреть в эти телевизионные мониторы?

— Я должен еще прохронометрировать их. Я хочу съездить туда снова.

— Я могу устроить это еще раз.

— А Майкл со мной поедет?

— Если ты ему заплатишь за рабочий день. Как дела, все в порядке?

— Неужели бы я не захотел вам сказать, если все было в порядке?

— Захотеть-то, может, и захотел бы, а вот сказал бы?

— Это зависело бы от некоторых обстоятельств.

— От каких?

— От того, мог ли бы я сказать вам правду.

— А ты бы сказал мне правду?

— А откуда бы я узнал, правда это или нет?

— А солгать мне ты бы мог?

— Только если бы знал правду.

— Ты со мной откровенен?

— Этого хочет мой отец.

Когда Йоссарян набрал номер, жизнерадостный, мягкий голос, принадлежащий человеку по имени Джерри Гэффни, сказал:

— Мистер Миндербиндер предупреждал, что вы должны позвонить.

— Это странно, — сказал Йоссарян. — Какой из них?

— Мистер Миндербиндер старший.

— Тогда это совсем странно, — сказал Йоссарян более жестким голосом. — Потому что мистер Миндербиндер старший категорически настаивал, чтобы я в разговоре с вами не называл его имени.

— Эта была проверка вашего умения хранить

секреты.

— Вы не дали мне возможности пройти ее.

— Я доверяю своим клиентам и хочу, чтобы все они знали: они всегда могут доверять Джерри Гэффни. Что еще есть в нашей жизни, кроме доверия? Я всегда все говорю напрямик. Я немедленно предоставлю вам доказательства этого. Вы должны знать, что эта телефонная линия прослушивается.

Йоссарян затаил дыхание.

— Как вы но обнаружили, черт возьми?

— Это моя телефонная линия, и я хочу, чтобы она прослушивалась, — дал логичное объяснение мистер Гэффни. — Ну, теперь вы видите? Вы можете положиться на Джерри Гэффни. Прослушиваю эту линию только я сам.

— А *моя* телефонная линия прослушивается? — Йоссарян счел, что должен задать этот вопрос. — Я веду много деловых разговоров.

— Дайте-ка я проверю. Да, ваша организация прослушивает вашу линию. Вероятно, и в вашей квартире стоят «жучки».

— Мистер Гэффни, откуда вы все это знаете?

— Зовите меня Джерри.

— Откуда вы все это знаете, мистер Гэффни?

— Потому что, мистер Йоссарян, я ставил на

вашу линию прослушивающую аппаратуру и, по всей видимости, я — одна из сторон, которая и оборудовала вашу квартиру «жучками». Я вам дам один совет. У любой стены могут обнаружиться уши. Если вы хотите, чтобы ваш разговор никто не прослушал, говорите только с открытым краном. Если хотите заняться любовью, то делайте это только в ванной комнате, или на кухне, или под кондиционером, а вентилятор ставьте на макси… Именно так! — одобрительно сказал он, когда Йоссарян со своим беспроводным телефоном перешел на кухню и до предела вывернул оба крана, чтобы его разговор не стал достоянием других. — Наша аппаратура ничего не принимает. Я вас едва слышу.

— А я ничего и не говорю.

— Научитесь читать по губам.

— Мистер Гэффни…

— Называйте меня Джерри.

— Мистер Гэффни, вы прослушиваете мой телефон, вы понатыкали «жучков» в мою квартиру?

— *По всей видимости*, понатыкал. Я дам одному из моих следователей указание проверить. Я ничего не утаиваю. Мистер Йоссарян, у вас имеется переговорное устройство для связи с обслуживающим персоналом в холле. Вы уверены, что в

настоящий момент оно не включено? Видеокамеры за вами сейчас не наблюдают?

— Кому бы это могло понадобиться?

— Во-первых, мне, если бы мне за это заплатили. Теперь, когда вы знаете, что я говорю правду, мы можем стать близкими друзьями. Только так и можно работать. Я думал, вы знаете, что ваш телефон прослушивается, что ваша квартира, по всей видимости, оборудована «жучками», что ваша корреспонденция перлюстрируется, ваши поездки контролируются, а ваши кредитные карточки и банковские счета находятся под наблюдением.

— Проклятье, я сам не знаю, что я знаю. — Йоссарян с протяжным стоном впитывал эти отвратительные сведения.

— А вы будьте оптимистом, мистер Йоссарян. Всегда будьте им. Насколько мне известно, скоро вы станете одной из сторон брачного процесса. Вы можете считать все это само собой разумеющимся, если у вашего руководства имеются финансовые возможности платить нам.

— Вы и такими вещами занимаетесь?

— Я часто занимаюсь такими вещами. И это ведь только ваша компания. Почему вас должно беспокоить, что там слышит «П и П М и М», если

вы никогда не говорите ничего такого, что вам хотелось бы утаить от вашей компании? Пока что вы мне верите, правда?

— Нет.

— Нет? Не забывайте, мистер Йоссарян, я все это записываю, хотя и буду счастлив стереть все, что вы попросите. Как вы можете скрывать что-то от «П и П М и М», если вы участвуете в ее доходах? Разве все не участвуют в ее доходах?

— Я никогда не делал публичных заявлений на этот счет, мистер Гэффни, и не собираюсь их делать теперь. Когда мы можем встретиться, чтобы начать?

— Я уже начал, мистер Йоссарян. Сеньор Гэффни не теряет времени даром. Я послал в правительство запрос на ваше досье в рамках Закона о свободе информации, а еще мне должны прислать данные на вас из одного из лучших агентств по оценке кредитоспособности граждан. У меня уже есть номер вашего социального обеспечения. Ну, вам это нравится?

— Я нанимаю вас не для того, чтобы вы собирали информацию на меня!

— Я хочу выяснить, *что* знают о вас те, кто вас выслеживает, до того, как я выясню, кто все они такие. Сколько их, вы сказали?

— Ничего я не говорил. Но я насчитал не меньше шести, но двое или четверо из них, может быть, работают вместе. Я заметил, что они ездят в дешевых автомобилях.

— Малолитражки, — пунктуально поправил Гэффни, — чтобы не так бросаться в глаза. Вероятно, именно поэтому они и бросились вам в глаза. — Гэффни казался Йоссаряну исключительно точным. — Значит, вы говорите, шесть? Шесть — хорошее число.

— Для чего?

— Для дела, конечно. В числах заключена безопасность, Мистер Йоссарян. Например, если один или двое из них вдруг решат прикончить вас, то у нас будут свидетели. Да, шесть — очень хорошее число, — радостным голосом продолжал Гэффни. — Лучше, конечно, если бы их было восемь или десять. Не думайте пока о встрече со мной. Я не хочу, чтобы кто-нибудь из них догадался, что я работаю на вас, если только не выяснится, что они работают на меня. Я люблю иметь решения прежде, чем задача сформулирована. Пожалуйста, выключите воду, если только вы не занимаетесь сексом. А то я уже охрип от крика и едва вас слышу. И потом, вода вам совершенно не нужна, когда вы говорите со мной.

Ваши друзья называют вас Йо-Йо? А некоторые — Джон?

— Только мои близкие друзья, мистер Гэффни.

— Мои называют меня Джерри.

— Должен вам сказать, мистер Гэффни, что разговор с вами действует мне на нервы.

— Я надеюсь, это пройдет. Если вы позволите, то это сообщение вашей медицинской сестры было весьма обнадеживающим.

— Какой медицинской сестры? — быстро ответил Йоссарян. — Нет у меня никакой сестры.

— Ее зовут Мелисса Макинтош, сэр, — поправил его Гэффни, неодобрительно кашлянув.

— Вы и мой автоответчик прослушивали?

— Это делала ваша компания. Я всего лишь выполняю заказ. Я бы не стал это делать, если бы мне не платили. Пациент выздоравливает. Никаких признаков инфекции не обнаружено.

— Я думаю, это просто феноменальный случай.

— Мы счастливы, если вы довольны.

* * *

А о месте пребывания капеллана по-прежнему ничего не было известно; его где-то удерживали с целью обследования и допросов, после того как, благодаря Закону о свободе информации, он

нашел Йоссаряна в больнице и снова ворвался в его жизнь с проблемой, решить которую сам был не в силах.

Йоссарян лежал на своей больничной кровати, уставившись в потолок, когда его нашел капеллан; Йоссарян, не ответив на осторожный стук, с выражением крайней враждебности смотрел, как приоткрылась на дюйм дверь, и увидел, что в его палату робко заглядывает лошадиное вежливое лицо с шишковатым лбом и редкими пучками соломенных волос, обесцвеченных блеклой сединой. Глаза под розовыми веками загорелись, как только увидели Йоссаряна.

— Я так и знал! — сразу же радостно воскликнул обладатель лица. — Я непременно хотел увидеть вас еще раз. Я знал, что найду вас! Я знал, что узнаю вас. Как хорошо вы выглядите! Как я рад, что мы оба все еще живы! Я хочу возрадоваться!

— Вы что еще за хер? — строго спросил Йоссарян.

Ответ последовал мгновенно.

— Капеллан, Таппман, капеллан Таппман, Альберт Таппман, капеллан? — капеллан Альберт Таппман был многословен. — Пьяноса? ВВС? Вторая мировая?

Наконец, Йоссарян позволил осмысленному

выражению появиться на своем лице.

— Черт меня побери! — В голосе у него появилась некоторая теплота, когда он, наконец, понял, что снова, после более чем сорокапятилетнего перерыва, видит армейского капеллана Альберта Т. Таппмана. — Входите. Вы тоже хорошо выглядите, — великодушно сообщил он этому тощему, изможденному, измученному старику. — Да садитесь же, Бога ради.

Капеллан покорно сел.

— Ах, Йоссарян, я сожалею, что нашел вас в больнице. Вы очень больны?

— Я вообще не болен.

— Это хорошо, правда?

— Да, это хорошо. А вы как?

Капеллан моментально смутился.

— Начинаю думать, что неважно, да, может быть, совсем неважно.

— Значит, плохо, — сказал Йоссарян, обрадованный тем, что время говорить о деле наступило так быстро. — Тогда расскажите мне, капеллан, что привело вас сюда. Если вы по поводу еще одной встречи ветеранов, то вы пришли не к тому человеку.

— Это не по поводу встречи, — вид у капеллана был несчастный.

— А по поводу чего?

— У меня неприятности, — просто сказал он. — Думаю, это может быть серьезно. Я не понимаю, что происходит.

Он, конечно, уже был у психиатра, который сказал ему, что он весьма вероятный кандидат на старческую депрессию и уже слишком стар, чтобы ждать каких-либо других депрессий, получше.

— Это у меня тоже есть.

Было высказано предположение, что капеллан, вероятно, воображает все это. Капеллан, как он воображал, не воображал, что воображает что-либо из происходящего с ним.

Одно, по крайней мере, было вполне определенно.

Когда оказалось, что никто из непрерывного и пугающего потока все новых и новых посетителей, материализующихся в Кеноше с официальным заданием допросить его в связи с его неприятностями, не имеет ни малейшего намерения помочь ему хотя бы понять, в чем собственно состоят его неприятности, он вспомнил Йоссаряна и подумал о Законе о свободе информации.

Закон о свободе информации, как объяснил

капеллан, — это федеральное установление, обязывающее все правительственные учреждения предоставлять любому, обратившемуся к ним с запросом, всю имеющуюся у них информацию, кроме той имеющейся у них информации, которую они не хотят предоставлять.

И, как обнаружил впоследствии Йоссарян, благодаря этой единственной уловке в Законе о свободе информации, технически они не были обязаны предоставлять вообще хоть какую-нибудь информацию. Еженедельно к запрашивающим направлялись сотни тысяч страниц, в которых было вымарано все, кроме синтаксических знаков, предлогов и союзов. Это была хорошая уловка, со знанием дела подумал Йоссарян, потому что правительство могло не предоставлять никакой информации по информации, которую оно предпочитало не предоставлять, и невозможно было определить, исполняет ли кто-нибудь это либеральное федеральное установление, называемое Законом о свободе информации.

Капеллан вернулся в Висконсин и успел пробыть там всего один или два дня, как откуда ни возьмись явился отряд коренастых секретных агентов и похитил его. Они, по их словам, были посланы в связи с делом столь деликатным и

имеющим такую государственную важность, что даже не имели права сказать о том, кто они такие, не поставив при этом под угрозу раскрытия агентство, на которое, по их словам, они работали. Ордера на арест у них не было. Закон не обязывал их иметь ордер. Какой закон? Тот же самый закон, который освобождал их от необходимости называть его.

— Странно, не правда ли? — задумчиво сказал Йоссарян.

— Да? — удивленно сказала жена капеллана, когда они разговаривали по телефону. — Почему?

— Пожалуйста, продолжайте.

Они сообщили ему о его правах и сказали, что прав у него никаких нет. Он что, хочет затеять скандал? Нет, он не хотел затевать скандала. Тогда он должен заткнуться и следовать за ними. Ордера на обыск у них тоже не было, но они тем не менее обыскали его дом. Они и другие, вроде них, приходили после этого еще несколько раз с командами технических специалистов, у них были значки их ведомств, защитные комбинезоны, перчатки, счетчики Гейгера и респираторы. Они взяли пробы почвы, краски, дерева, воды и почти всего остального, разложили их по мензуркам, пробиркам и другим специальным контейнерам.

Они раскопали землю. Все соседи недоумевали.

Проблема капеллана была в тяжелой воде.

Он мочился тяжелой водой.

— К сожалению, так оно и есть, — доверительно сообщил Йоссаряну Леон Шумахер, когда был сделан полный анализ мочи. — Где вы взяли этот образец?

— У приятеля, который был у меня на прошлой неделе когда вы сюда заглянули. Это мой старый капеллан из армии.

— А он где его взял?

— У себя в мочевом пузыре, наверно. А что?

— Вы уверены?

— Как я могу быть уверен? — сказал Йоссарян. — Я за ним не следил. А где еще, черт возьми, мог он его взять?

— Я думаю, в Гренобле во Франции. В Джорджии, в Теннесси или Южной Каролине. Основное ее количество там и получают.

— Основное количество чего?

— Тяжелой воды.

— Что, черт возьми, все это значит, Леон? — захотел узнать Йоссарян. — Вы абсолютно уверены? Тут не может быть какой-нибудь ошибки?

— Судя по тому, что я здесь читаю, — не может. Они почти сразу определили, что она тяжелая.

Два человека с трудом подняли пипетку. Конечно, они уверены. Там в каждой водородной молекуле воды присутствует лишний нейтрон. Вы знаете, сколько молекул содержится всего в нескольких унциях? Этот ваш приятель должен весить на пятьдесят фунтов больше, чем кажется.

— Послушайте, Леон, — сказал Йоссарян, предусмотрительно понизив голос. — Вы об этом никому не скажете, да?

— Конечно, не скажем. Это же больница. Мы не скажем никому, кроме федерального правительства.

— Правительства? Вот они-то как раз его и донимают. Их-то он и боится больше всего!

— У них нет выхода, Джон, — Леон Шумахер автоматически перешел на тон, каким врач разговаривает с пациентом. — Лаборатория послала образец в радиологический центр, чтобы убедиться в его безопасности, а радиологический центр должен был поставить в известность комиссию по ядерному контролю и министерство энергетики. Джон, ни в одной стране мира не разрешено производство и хранение тяжелой воды без лицензии. А этот тип вырабатывает ее по несколько кварт ежедневно. Эта окись дейтерия — настоящий динамит, Джон.

— Это опасно?

— С точки зрения медицины? Кто знает? Могу вас заверить, что я ни о чем подобном никогда не слышат. Но ему следует все выяснить. Может быть, он превращается в атомную станцию или ядерную бомбу. Вы должны немедленно его предупредить.

Но когда Йоссарян позвонил отставному капеллану ВВС США Альберту Т. Таппману, чтобы предупредить его об опасности, в доме оказалась одна лишь миссис Таппман, она рыдала и пребывала в истерике. Капеллана ушли всего лишь несколько часов назад.

С тех пор он так ни разу и не дал о себе знать, хотя какие-то люди пунктуально, каждую неделю посещали миссис Карен Таппман, заверяли ее, что с капелланом все в порядке, и давали ей деньги — немного больше того, что приносил бы домой капеллан, если бы все еще оставался на свободе. Агенты приходили в восторг, когда она, заливаясь слезами, говорила, что он не дает о себе знать. Именно такое подтверждение того, что он не общается ни с кем, находящимся на свободе, им и требовалось.

— Я буду и дальше искать его для вас, миссис Таппман, — каждый раз обещал Йоссарян. — Хотя

и не представляю, что для этого нужно делать.

Адвокаты, с которыми она проконсультировалась, не поверили ей. Полиция Кеноши тоже была настроена скептически. Ее дети также выражали сомнение, хотя и не могли ничем подтвердить гипотезу полиции, согласно которой капеллан, как и множество других пропавших, зарегистрированных в их журнале регистрации пропавших, убежал с другой женщиной.

Все, что удалось узнать Йоссаряну с тех пор, сводилось к следующему: если капеллан и представлял какой-нибудь интерес для своих облаченных официальными полномочиями тюремщиков, то этот интерес был только финансовым, военным, научным, промышленным, дипломатическим и международным.

Он узнал об этом у Милоу.

Прежде всего он обратился к своим давним и добрым вашингтонским друзьям, имевшим кое-какое влияние, — адвокату, сборщику средств в благотворительные фонды, газетному обозревателю и имидж-мейкеру; все они заявили, что ничего не хотят об этом слышать, а впоследствии перестали отвечать на его звонки и не пожелали более иметь его в друзьях. Один лоббист и один консультант по связям с общественностью потре-

бовали большие гонорары и гарантировали, что не могут гарантировать, что сделают что-нибудь, чтобы их отработать. От его сенатора не было никакой пользы, от его губернатора — никакой помощи. Союз американских гражданских свобод также устранился от участия в деле пропавшего капеллана; они, как и полиция Кеноши, выразили мнение, что капеллан, вероятно, убежал с другой женщиной. Наконец, Йоссарян в отчаянии отправился к Милоу Миндербиндеру, который пожевал сначала верхнюю, потом нижнюю губу и сказал:

— Тяжелая вода? Почем сейчас тяжелая вода?

— Цены колеблются, Милоу. Сильно колеблются. Я справлялся. Из нее выделяется газ, который ст***о***ит еще больше. Я думаю, сейчас — около тридцати тысяч долларов за грамм. Но дело не в этом.

— А грамм это сколько?

— Около одной тридцатой унции. Но дело не в этом.

— Тридцать тысяч долларов за одну тридцатую унции? Звучит заманчивее наркотиков. — Милоу говорил, задумчиво устремив куда-то в даль косящий взор; карие его глаза уставились в разные стороны, словно согласованно перенесли к линии горизонта бесконечное разнообразие всего, что

доступно человеческому взору. Половинки его усов подрагивали в разных ритмах, отдельные рыжевато-седоватые волоски осторожно колебались, словно сенсоры электронного прибора. — А спрос на тяжелую воду высок? — спросил он.

— Она нужна каждой стране. Но дело не в этом.

— Для чего она используется?

— В основном для производства ядерной энергии. И изготовления ядерных боеголовок.

— Звучит заманчивее наркотиков, — как зачарованный повторял Милоу. — Как ты считаешь, тяжелая вода — это такая же перспективная отрасль, как незаконный оборот наркотиков?

— Я бы не сказал, что тяжелая вода — это перспективная отрасль, — криво усмехнулся Йоссарян. — Но я говорю о другом. Милоу, я хочу узнать, где он находится.

— Кто он?

— Таппман. Тот самый, о котором я тебе говорю. Он был вместе с нами в армии, служил капелланом.

— С кем я только не был в армии.

— Он дал тебе положительную служебную характеристику, когда ты чуть не попал в переделку за бомбардировку нашей воздушной базы.

— Кто только мне не давал служебных характеристик. Тяжелая вода? Правильно? Она так называется? Что такое тяжелая вода?

— Это тяжелая вода.

— Так, понимаю. А что это за газ?

— Тритий. Но дело не в этом.

— Кто производит тяжелую воду?

— Капеллан Таппман в том числе. Милоу, я хочу его найти и вернуть, пока с ним ничего не случилось.

— А я хочу помочь, — пообещал Милоу, — прежде чем это сделает Гарольд Стрейнджлав, «Дженерал Электрик» или кто-нибудь другой из моих конкурентов. Ты не можешь себе представить, как я тебе благодарен за то, что ты обратился с этим ко мне. Йоссарян, ты чистое золото. Скажи-ка мне, что дороже — тритий или золото?

— Тритий.

— Тогда ты — чистый тритий. Сегодня я занят, но я должен найти этого капеллана и вместе с допрашивающими его учеными заслать к нему тайного агента, чтобы заполучить его в собственность.

— Как тебе это удастся?

— Я просто скажу, что это в интересах страны.

— А как ты это докажешь?

— Я повторю это дважды, — ответил Милоу и улетел в Вашингтон на вторую презентацию задуманного им секретного бомбардировщика, который не производил шума и был невидим.

6
МИЛОУ

— Его нельзя увидеть и нельзя услышать. Он будет летать быстрее звука и медленнее звука.

— Вы поэтому говорите, что ваш самолет досверхзвуковой?

— Да, майор Боус.

— А когда нужно, чтобы он летел медленнее звука?

— Когда он садится и, вероятно, когда взлетает.

— Вы уверены, мистер Уинтергрин?

— Абсолютно, капитан Хук.

— Спасибо, мистер Миндербиндер.

Заседание проходило на первом подземном этаже АЗОСПВВ, нового Административного здания особо секретных проектов военного ведомства, в круглом помещении, стены которого были обиты люситом цвета морской волны с узором из искривленных меридианов над деформированными континентами и с яркими декоративными скульптурными панелями, выполненными в свободной манере и изображающими бойцовых рыб, сражающихся с пикирующими на них хищными

птицами. На стене за неровным рядом аккуратно подстриженных голов членов комиссии был изображен кондор с огромными крыльями и хищными золотыми когтями. Все присутствующие были мужского пола. Записывать что-либо было запрещено. Эти люди обладали острым интеллектом, а их коллективная память вполне заменяла стенографический протокол. Двое из членов комиссии уже с трудом подавляли зевоту. Все считали само собой разумеющимся, что помещение так или иначе напичкано «жучками». Заседания подобного рода были слишком секретными, а потому не могли оставаться конфиденциальными.

— Будет ли он летать быстрее света? — спросил полковник, сидевший в полукружье экспертов, сбоку от расположенной в мертвой точке фигуры председателя на самом высоком стуле.

— Он будет летать почти с такой скоростью.

— Мы его можем модернизировать до такой степени, что он будет летать даже быстрее света.

— При этом несколько возрастет расход топлива.

— Одну минуту, прошу вас, мистер Миндербиндер, одну минуту. Я хочу спросить у вас кое-что, — неторопливо вставил недоумевающий

штатский с профессорскими повадками. — Как это ваш бомбардировщик будет бесшумным? У нас теперь есть сверхзвуковые самолеты, а они производят страшный шум, когда берут звуковой барьер, разве нет?

— Он будет бесшумным для экипажа.

— А почему это важно для врага?

— Это может быть важно для экипажа, — подчеркнул Милоу, — ведь никто не печется об этих ребятах так, как мы. Некоторые из них месяцами находятся в воздухе.

— А может быть, и годами, если используются рекомендуемые нами дозаправщики.

— А они тоже будут невидимыми?

— Если хотите.

— И бесшумными?

— Экипаж не будет их слышать.

— Если только не сбавит скорость, позволив тем самым звуку догнать самолет.

— Понимаю, мистер Уинтергрин. Все это очень хитро придумано.

— Спасибо, полковник Пикеринг.

— Сколько человек у вас в экипаже?

— Всего два. Двух подготовить дешевле, чем четырех.

— Вы уверены, мистер Уинтергрин?

— Абсолютно, полковник Норт.

На сидевшем в центре председателе были генеральские погоны. Он откашлялся, заявляя таким образом о своем намерении высказаться. Все присутствующие замолчали. Генерал выдержал паузу.

— Разве свет движется? — спросил он наконец.

Наступила мертвая тишина.

— Свет движется, генерал Бингам, — выдавил, наконец, из себя Милоу Миндербиндер, испытав облегчение от того, что ему это удалось.

— Быстрее всего остального, — с готовностью добавил экс-рядовой первого класса Уинтергрин. — Быстрее света почти ничего нет.

— И ярче тоже.

Бингам с сомнением повернулся к сидящим слева. Некоторые из них утвердительно закивали. Он нахмурился.

— Вы уверены? — спросил он, спокойно повернув лицо к специалистам справа. Некоторые из этих тоже испуганно закивали. Некоторые отвели глаза. — Это странно, — медленно сказал Бингам. — Вон на столике в углу стоит лампа, но что-то я не вижу там никакого движения.

— Это все потому, что он движется очень быстро, — предложил Милоу.

— Он движется быстрее света, — сказал Уинтергрин.

— Разве может свет двигаться быстрее света?

— Конечно.

— Вы не можете видеть свет, когда он движется, сэр.

— Вы уверены, полковник Пикеринг?

— Абсолютно, генерал Бингам.

— Вы можете видеть свет, только когда его там нет, — сказал Милоу.

— Позвольте я вам продемонстрирую, — нетерпеливо вскакивая, сказал Уинтергрин. Он выключил лампу. — Видите? — Он снова включил лампу. — Почувствовали разницу?

— Я понимаю, что вы хотите сказать, Джин, — сказал Бингам. — Да, я начинаю видеть этот свет, а? — Генерал Книгам улыбнулся и оперся на ручку кресла. — Объясните попроще, Милоу, как выглядит ваш самолет.

— На радаре? Противник его не увидит. Даже если на нем будет ядерное оружие.

— Как он выглядит для нас. На фотографиях и чертежах.

— Это секрет, сэр, до тех пор, пока вы не предоставите нам финансирования.

— Ом невидимый, — добавил Уинтергрин,

моргнув.

— Понимаю Юджин. Невидимый? Это становится похоже на старину «Стелса».

— Да, он немного похож на старину «Стелса».

— На Б-2 «Стелс»? — ошеломленно воскликнул Бингам.

— Но только чуть-чуть!

— Он лучше, чем «Стелс», — поспешно вставил Милоу.

— И гораздо красивее.

— Нет, он не похож на старину «Стелса».

— Он ничуть не похож на старину «Стелса».

— Это меня радует, — с облегчением сказал Бингам и снова принял расслабленную позу в своем кресле. — Милоу, я могу с уверенностью сказать, что всем нам понравилось то, что я услышал от вас сегодня. Как вы называете ваш замечательный новый аэроплан? Уж это-то мы должны знать.

— Наш новый замечательный самолет мы называем Досверхзвуковой невидимый и бесшумный оборонительно-наступательный атакующий бомбардировщик второго удара «П и П М и М».

— Вполне подходящее название для оборонительно-наступательного атакующего бомбардировщика второго удара.

— Оно как бы само собой напрашивалось, сэр.

— Одну минуту, мистер Миндербиндер, — запротестовал тощий штатский из Совета национальной безопасности. — Вы говорите о враге так, словно он у нас есть. У нас больше нет врагов.

— У нас всегда есть враги, — возразил сварливый геополитик, который тоже носил очки без оправы и считал себя не менее умным. — Мы должны иметь врагов. Если у нас нет врагов, мы должны их создать.

— Но ни одна сверхдержава больше не противостоит нам, — возразил толстяк из государственного департамента. — Россия потерпела крах.

— Значит, снова наступило время для Германии, — сказал Уинтергрин.

— Да, у нас всегда есть Германия. А деньги у нас есть?

— Займите, — сказал Милоу.

— Немцы дадут, — сказал Уинтергрин. — И японцы тоже. А когда мы получим их деньги, — восторженно добавил Уинтергрин, — им придется обеспечить нашу победу в войне против них. Это еще одно прекрасное секретное оборонительное свойство нашего замечательного наступательно-оборонительного бомбардировщика.

— Я рад, что вы обратили на это наше внимание, Джин, — сказал генерал Бингам. — Милоу, я хочу выбить деньги под этот проект и сам буду его рекомендовать.

— Гаденышу? — с надеждой выкрикнул Милоу.

— Нет-нет, — с добродушным юмором ответил Бингам. — Для гаденыша пока рановато. Нам понадобится как минимум еще одно заседание со стратегами из других служб. А потом рядом с президентом всегда эти проклятые штатские, вроде Нудлса Кука. Нам понадобятся утечки информации в газетах. Я собираюсь начать искать поддержку. Ведь вы же знаете, что вы не единственный претендент.

— А кто еще?

— Один из них — Стрейнджлав.

— Стрейнджлав? — сказал Милоу. — У него ничего не получится.

— Стрейнджлав врет, — выдвинул свое обвинение Уинтергрин.

— Он в свое время проталкивал «Стелс».

— Что он еще надумал?

— У него это называется Многоцелевой доступный оборонительный несбиваемый фантастический новейший наступательно-атакующий

бомбардировщик первого, второго или третьего удара Б-страшный Стрейнджлава.

— Он не будет летать, — сказал Уинтергрин. — Наш лучше.

— У Стрейнджлава название лучше.

— Над нашим названием мы еще работаем.

— Его Многоцелевой доступный оборонительный несбиваемый фантастический новейший наступательно-атакующий бомбардировщик первого, второго или третьего удара Б-страшный Стрейнджлава ни в какое сравнение не идет с нашим Досверхзвуковым невидимым и бесшумным оборонительно-наступательным атакующим бомбардировщиком второго удара «П и П М и М», — резко возразил Милоу.

— Что бы Стрейнджлав ни сделал, оно никогда не работает, верно?

— Я рад это слышать, сказал генерал Бингам, — потому что именно вы — те ребята, которых я поддерживаю. Вот его новая визитная карточка. Один из наших секретных агентов выкрал ее у одного из секретных агентов из другого снабженческого подразделения, с которым мы почти готовы вступить в открытую войну. Ваш бомбардировщик нам поможет.

Пущенная по столу визитная карточка была

украшена двойным орлом Австро-Венгерской империи и тиснеными рыжевато-золотыми буквами, гласившими:

> Партнерство Гарольд Стрейнджлав
> БЛЕСТЯЩИЕ СВЯЗИ И СОВЕТЫ
> ПРОДАЖА И ПОКУПКА ВТОРИЧНОГО ВЛИЯНИЯ
> ВЫСОКОПАРНОСТЬ ПО ТРЕБОВАНИЮ
> Примечание: информация на этой визитной карточке имеет ограниченное хождение.

У Милоу был удрученный вид. Эта визитка была лучше, чем его.

— Милоу, мы все участвуем в гонке века, целью которой является создание совершенного оружия, которое может уничтожить весь мир и принести неувядающую славу победителю, который первым им воспользуется. Тот, кто ведет эту игрушку, может быть назначен начальником Объединенного комитета начальников штабов, и я, Бернард Бингам, хотел бы стать этим человеком.

— Поддерживаем! Поддерживаем! — хором закричали офицеры по обе стороны от генерала Бингама, который излучал смущенное удивле-

ние; плотный штатский и тощий штатский тем временем угрюмо помалкивали.

— Тогда вам нужно пошевеливаться, сэр, — грубовато пошутил Уинтергрин. — Нам не нравится попусту протирать штаны, когда у нас есть такая горячая штучка, как этот самолет. Если вам, ребятки, он не нужен…

— Конечно, Юджин, конечно. Только дайте мне хороший рекламный материал, чтобы мы знали, о чем говорим, когда будем говорить с людьми о том, что вы говорили нам сегодня. Не очень подробный, чтобы нам не нарваться на неприятности. Парочку сочных абзацев, чтобы было броско и било в цель, и, может быть, какие-нибудь чертежи в цвете, чтобы у нас было представление о том, как он будет выглядеть. Чертежи совсем не должны быть точными, нужно только, чтобы они производили впечатление. И тогда дело пойдет вперед на полных парах. Со скоростью света, а? И, Милоу, у меня есть еще один неприятный вопрос, который я должен задать.

— И у меня, — сказал толстый.

— У меня тоже есть, — сказал тонкий.

— Дело деликатное, так что я заранее прошу прощения. Ваш самолет будет летать? Будет ли он выполнять то, о чем вы говорите? От этого может

зависеть будущее мира.

— Неужели я стал бы вам врать? — сказал Милоу Миндербиндер.

— Тем более, что от этого может зависеть будущее мира, — сказал бывший рядовой первого класса Уинтергрин. — Я бы скорее соврал своей бывшей жене.

— Именно такие заверения мне и были нужны.

— Генерал Бингам, — сказал Уинтергрин со страдальческой торжественностью незаслуженно обиженного человека, — я знаю, что такое война. На Второй мировой я копал окопы в Колорадо. Я служил за океаном рядовым первого класса. Во время высадки в Нормандии я сортировал почту на Средиземноморье. В день Д я был на своем посту, я говорю о сортировочном помещении, и оно было ничуть не больше, чем это помещение, где мы сидим с вами сегодня. Я не щадил себя, доставая ворованные зажигалки «Зиппо» для наших парней, которые сражались в Италии.

— А я делал то же самое с яйцами, — сказал Милоу.

— Нам не нужно напоминать о том, что поставлено на карту. Никто здесь не осознает в такой

степени моих обязанностей и не испытывает большего желания выполнить их.

— Извините, сэр, — почтительно сказал генерал Бингам.

— Разве что вы, генерал, или вот мистер Миндербиндер. Или ваши коллеги за столом с вами, сэр. Черт побери, я был уверен, что эти суки к чему-нибудь обязательно станут цепляться, — с тоской сказал Уинтергрин, когда они вдвоем вышли из зала заседаний.

Они вместе шли по извивающемуся коридору подземного комплекса, который кишмя кишел спешащими по служебным делам мужчинами и женщинами в штатском и в форме, их манеры свидетельствовали о неуемной энергии. «Вся эта сраная шайка, — недовольно буркнул Уинтергрин, — выглядела безбедно, стерильно и охеренно самоуверенно. Все женщины в форме казались миниатюрными, кроме тех, что носили офицерские погоны; эти выглядели пугающе огромными. И у всех у них, — бормотал Уинтергрин, виновато опустив глаза, — был охеренно сомнительный вид».

Направляясь к лифту, они миновали указатель со словами «Министерство юстиции». В следующем коридоре они увидели еще одну стрелку,

на этот раз черную, указывающую на переход, ведущий к новому Национальному военному кладбищу. Открытые для посетителей части АЗОСПВВ с их сверкающими магазинами в парящем атриуме уже стали вторым по популярности местом среди гостей столицы. Первым по популярности был недавно открытый военный мемориал. Требовался специальный, совершенно секретный пропуск АЗОСПВВ, чтобы подняться выше или опуститься ниже забитых людьми прогулочных площадок и открытых балконов, изобилующих газетными киосками, буфетами и магазинчиками сувениров в стиле нуво арт деко и знаменитыми выставочными стендами, диорамами и тирами «виртуальной реальности», которые на международных архитектурных конкурсах уже были признаны непревзойденными.

Справа от них в цокольном этаже их внимание привлекла похожая на огнедышащую ракету переливчатая красная стрелка, которая указывала на табличку, гласившую:

Подземные этажи A — Z.

Стрелка резко устремлялась вниз, указуя на закрытую металлическую дверь с надписью:

ЗАПАСНЫЙ ВХОД
НЕ ПОДХОДИТЬ
НАРУШИТЕЛИ
БУДУТ РАССТРЕЛИВАТЬСЯ

Дверь охранялась двумя вооруженными часовыми, которые стояли там, казалось, только для того, чтобы никого не подпускать к запасному входу. Большая желтая буква Б на глянцевитом черном фоне утешительно напоминала, что для удобства и защиты гостей и служащих здесь оборудовано новейшее бомбоубежище в стиле ретро.

У лифтов тоже стояли охранники, которые не говорили даже друг с другом. В лифте был установлен телевизионный монитор. Милоу и Уинтергрин не разговаривали и не шевелились, даже когда снова оказались наверху в главном вестибюле реального мира, где экскурсионные гиды вели экскурсионные группы от экскурсионных автобусов, припаркованных за вращающимися дверьми на зарезервированной площадке перед главным входом. Они так и не обменялись ни словом, пока не оказались на улице под моросящим весенним дождичком и не отошли подальше от величественного здания особых секретных

проектов, где происходило заседание.

— Уинтергрин, — прошептал наконец Милоу, — а эти наши самолеты будут летать?

— А хер их знает.

— А как они будут выглядеть?

— Наверно, нам и это потребуется выяснить.

— Если от этого будет зависеть будущее мира, — сказал Милоу, — то нам, пожалуй, нужно заключить эту сделку, пока мир еще цел. Иначе нам никогда не заплатят.

— Нам понадобятся какие-нибудь чертежи. Ах, уж этот херов Стрейнджлав!

— И какой-нибудь текст для рекламной брошюрки. Кого бы нам для этого раздобыть?

— Йоссаряна.

— Он, наверно, будет возражать.

— Ну и хер с ним, — сказал Уинтергрин. — Хочет возражать — пусть себе возражает. Мы насрем на этого хера еще раз. К херам собачьим! Пусть себе этот херов хер возражает, это все равно ни хера изменит. Мы что, не можем насрать на этого хера еще раз? Вот дерьмо.

— Напрасно ты столько ругаешься в столице, — сказал Милоу.

— Никто, кроме тебя, меня не слышит.

Вид у Милоу был не очень уверенный. Мягкий

грибной дождичек сеялся вокруг него, проникая сквозь призматическую дымку, венком обосновавшуюся у него на челе.

— Йоссарян в последнее время опять слишком много возражает. Я чуть голову сыну не оторвал, когда он сказал Йоссаряну, что это бомбардировщик.

— Не отрывай сыну голову.

— Я бы хотел нанять какого-нибудь второразрядного толкача на хорошей правительственной должности. И не слишком разборчивого, когда речь идет о деньгах.

— Нудлса Кука?

— Именно Нудлса Кука я и имел в виду.

— Нудлс Кук теперь слишком крупная фигура для таких штук. И нам понадобится Йоссарян, чтобы с ним связаться.

— Меня беспокоит Йоссарян, — задумчиво сказал Милоу. — Кажется, я ему не доверяю. Боюсь, он все еще честный.

КНИГА ТРЕТЬЯ

7
ОКРКАМИМ

Йоссарян поехал на такси через весь город в музей искусств Метрополитен на ежемесячное заседание ОКРКАМИМ; он успел на чтение анонимного предложения по созданию фонда разукрупнения с целью уменьшения музея, абсурдно разросшегося до невероятных размеров. Йоссарян заметил какое-то движение, нарушающее установившийся порядок, и увидел, что Оливия Максон повернулась и осуждающе устремила на него свои сверкающие черные глаза, потому что он, пряча улыбку, поглядывал на Фрэнсис Бич, которая вопросительно и восторженно подняла брови, глядя на Патрика Бича, разглядывавшего свои ногти и не обращавшего никакого внимания на Кристофера Максона, который, не слыша сдавленных смешков и шепота, размял в пальцах воображаемую сигару, послюнил ее воображаемый кончик, насладился воображаемым ароматом табака, вставил воображаемую сигару во вполне реальный рот и, глубоко затянувшись, погрузился в дремотный кайф.

ОКРКАМИМ, элитарный Общественный комитет по расширению культурной активности в музее искусств Метрополитен, являлся эксклюзивным органом, всего тридцать или сорок из семидесяти или восьмидесяти членов которого прибыли сюда сегодня, чтобы попытаться решить все тот же трудный вопрос: можно ли и каким образом, если можно, увеличить доходы от использования здания для проведения разнообразных встреч, свадеб, обручений, бридж-классов, показов мод и дней рождения или раз и навсегда прекратить эти несообразные с местом мероприятия.

Самой насущной потребностью была, как всегда, потребность в деньгах.

Для более подробного обсуждения на следующих заседаниях были представлены и включены в программу такие темы, как искусство сбора пожертвований, искусство заключения сделок, искусство связей с общественностью, искусство восхождения по социальной лестнице, искусство создания моделей одежды, искусство костюма, искусство обслуживания торжеств и искусство проведения без трений и своевременного завершения продолжающегося два часа заседания, которое было приятным, спокойным, ненужным

и прошло без неожиданностей.

Возникшие шероховатости были аккуратно сглажены.

На рассмотрение исполнительного комитета было предложено последнее анонимное предложение, предусматривающее прекращение даже беглого рассмотрения всех анонимных предложений.

В баре соседнего отеля, куда скрылся после заседания Йоссарян с Патриком и Френсис Бич, Фрэнсис заказала джин с тоником, А Патрик Бич сидел со скучным лицом.

— Конечно, мне скучно, — с брюзгливой гордостью сообщил он жене. Я стал ненавидеть картины не меньше, чем разговоры о них. Господи, Фрэнсис, — капризно вздохнул он, приняв мученический вид, — ну зачем тебе нужно таскать нас двоих на такие сборища?

— Разве у нас есть занятия лучше? — мягко возразила мужу Фрэнсис Бич. — Благодаря этому мы получаем приглашения на массу других сборищ, которые даже хуже этого, разве нет? А если нас приглашают, это значит, что наши имена мелькают в газетах, и люди знают, кто мы такие.

— Это значит, *мы* знаем, кто мы такие.

— Это божественно.

— Я пообещал ее убить, если она будет употреблять это слово.

— Давайте о деле, — серьезно сказала Фрэнсис.

— Он, вероятно, просто пошутил.

— Ничего он не шутил. Джон, ты разве шутил, когда предлагал устроить свадьбу в этом автовокзале?

— Конечно, — солгал Йоссарян.

— И ты считаешь, что там можно устроить свадьбу? Шикарную?

— Вне всяких сомнений, — снова солгал он.

— Оливия Максон, — с кислой миной сказала Фрэнсис, — устраивает свадьбу для своей приемной племянницы или кого-то другого, и ей нужны свежие идеи. Она хочет провести свадьбу на какой-нибудь необыкновенной и оригинальной территории. Это ее собственные слова. Музей недостаточно хорош, потому что эти два еврея устраивали там прием, а два других еврея назначены опекунами. Это тоже ее слова. Бедняжка Оливия, разговаривая со мной, она всегда забывает, что я тоже еврейка.

— А почему ты ей не напоминаешь? — сказал Йоссарян.

— Я не хочу, чтобы она знала.

Все трое фыркнули от смеха.

— Зато ты хотела, чтобы это знал я, — с нежностью заворчал Патрик. — И все мое семейство.

— Тогда я была бедной и озлобленной актрисой, которая росла на драматических конфликтах, — сказала Фрэнсис. — Теперь я замужем за богатым человеком и храню лояльность классу, которому он принадлежит.

— У тебя дар на ходульные остроты, — сказал Патрик. — У нас с Фрэнсис самые счастливые совместные дни, когда я плаваю на яхте, а она остается дома.

— Я никогда не доверял высокой комедии, — задумчиво сказал Йоссарян, — потому что люди там говорят смешные вещи, а никто не смеется. Они даже не знают, что они часть комедии.

— Как и мы.

— Вернемся к нашей повестке, — Фрэнсис взяла бразды правления в свои руки. — Ради удовольствия Оливии я бы хотела посмотреть на эту свадьбу в автобусном вокзале. А ради собственного удовольствия я бы хотела, чтобы эта свадьба закончилась сокрушительным провалом.

— Я могу помочь с автовокзалом, — сказал Йоссарян. — Но вот провала я не гарантирую.

— Оливия внесет свою лепту. Она уверена, что сможет заинтересовать нашего новейшего

президента. А Кристофер, с тех пор как получил отсрочку приговора и избежал общественных работ, раздает деньги направо и налево.

— Для начала это неплохо.

— Мэр непременно придет.

— Это тоже будет способствовать.

— И кардинал будет настаивать.

— У нас на руках все козыри, — сказал Йоссарян. — Если ты и правда хочешь, то я начну обследовать это заведение.

— У тебя там есть знакомые? — пожелала узнать Фрэнсис.

— Макмагон и Макбрайд, один — тот самый полицейский, а второй — заместитель директора. Макбрайд работал там детективом на полицейском участке…

— Там есть полицейский участок? — воскликнул Патрик.

— Это будет в новинку, — заметила Фрэнсис. — У нас под рукой будет своя охрана.

— К тому же это удобно, — сказал Йоссарян. — Когда мы все соберемся, они смогут дактилоскопировать гостей. Макбрайд должен знать, можно ли это устроить. Мы все очень сблизились, после того как моего сына Майкла там арестовали.

— За что?

— За то, что он вышел из метро и попытался вернуться, когда понял, что ошибся остановкой. Они пристегнули его наручниками к стене.

— Господи! — с гневом в голосе воскликнул Патрик. — Наверно, это было ужасно.

— Это чуть не убило нас обоих, — сказал Йоссарян с нервным, прорвавшимся помимо воли смешком. — Поехали туда со мной, Патрик. Я еду посмотреть там кое-что новенькое, а ты увидишь, что такое сегодня настоящая жизнь. Это не одни музеи.

— Я бы предпочел пройтись на яхте.

Патрик Бич, который был на четыре года старше Йоссаряна и Фрэнсис, родился богатым и умным и, в ранние годы осознав свою бесполезность, предался праздности. Как-то он заметил Йоссаряну, что в Британии, или в Италии, или в одном из немногих сохранившихся демократических обществ с истинно аристократическими традициями он, возможно, смог бы прославиться как ученый в какой-нибудь отрасли знаний. Но в этой стране, где любые интеллектуальные притязания считались лакейством, он от рождения был обречен стать дилетантом или профессиональным дипломатом, что, по его пониманию, было почти одно и то же. После трех скоротечных,

поверхностных браков с тремя поверхностными женщинами он остановил окончательный выбор на Фрэнсис Розенбаум, чье сценическое имя было Фрэнсис Рольф, которая легко поняла его периодическую тягу к одиночеству и занятиям. Он с удовольствием и преувеличенной доброжелательностью говорил своим новым знакомым, с которыми, по его мнению, должен был обходиться корректно: «Я унаследовал свои деньги. Мне не пришлось в поте лица трудиться, чтобы оказаться здесь с вами».

Патрика не беспокоил тот факт, что многие его не любили. Но его патрицианское лицо могло принимать холодное выражение, а тонкие губы — дрожать от бессильного разочарования, когда он сталкивался с людьми, которые или были слишком тупы, а потому не чувствовали, что его снисходительность оскорбительна, или же слишком толстокожи, а потому пропускали его оскорбления мимо ушей.

— Оливия Максон, — подытожила Фрэнсис, — согласится на все, что я пожелаю, если только я ей внушу, будто инициатива исходит от нее самой.

— А Кристофер Максон всегда согласен на что угодно, — дал гарантию Патрик, — если ему есть с чем соглашаться. Когда у меня возникает же-

лание поесть в одиночестве, я часто завтракаю с ним.

Когда у него возникало желание поесть в компании с кем-нибудь, он часто вспоминал о Йоссаряне. Они любили поболтать друг с другом, высказывая пренебрежительные суждения о настоящем или делясь воспоминаниями о пережитом во время Второй мировой войны — Йоссарян как удостоенный знаков отличия бомбардир на острове вблизи Италии, а Патрик как сотрудник военного информационного бюро в Вашингтоне. Патрик все еще испытывал почтительное восхищение каждый раз, когда разговаривал с человеком, который вызывал у него симпатию, который умел читать газеты с не меньшим скептицизмом, чем он сам; который получил одно боевое ранение, а один раз был ранен итальянской проституткой, ударившей его ножом; с человеком, который бросил вызов своим командирам и в конце концов вынудил их отправить его домой.

Фрэнсис с изрядным оживлением продолжила:

— Оливия будет счастлива, когда узнает, что ты участвуешь в этом деле. Она тобой очень интересуется, Джон, — лукаво заметила она. — Ведь ты уже год как разошелся с женой, но все еще не

прилепился к другой женщине. У меня это тоже вызывает недоумение. Ведь ты говоришь, что боишься жить один.

— Но еще больше я боюсь жить не один. Я ведь знаю, что и следующей будут нравиться кинофильмы и телевизионные новости! А я не уверен, что смогу влюбиться еще раз, — жалобно сказал он. — К сожалению, все эти восторги, вероятно, принадлежат прошлому.

— А что, по-твоему, чувствует женщина моего возраста?

— А что бы ты сказала, — поддразнил ее Йоссарян, — если бы я тебе сообщил, что влюбился в сестру-сиделку по имени Мелисса Макинтош?

Френсис приняла предложенную игру.

— Я бы тебе напомнила, что в нашем возрасте после второго уикэнда от любви обычно мало что остается.

— А еще я испытываю влечение к привлекательной блондинке из Австралии; ее зовут Анджела Моркок, и она снимает квартиру вместе с Мелиссой.

— Ну, в эту я и сам мог бы влюбиться, — отважился вставить Патрик. — Ее действительно так зовут? Моркок?

— Мор.

— Мне показалось, ты сказал Моркок.

— Нет, я сказал Мор.

— Он сказал Моркок, — укоризненно сказала Фрэнсис. — И я бы предъявила тебе обвинение в безжалостном использовании невинных молодых трудящихся девушек для развратных целей.

— Она не невинна и не так уж молода.

— Тогда ты мог бы с таким же успехом начать волочиться за одной из наших вдовушек или разведенных дам. Ими можно манипулировать, но использовать их в своих целях — никогда. У них есть адвокаты и финансовые советники, которые никому не позволят втирать им очки, так как делают это сами.

Патрик скорчил гримасу.

— Джон, а как она разговаривала до поступления на сцену?

— Именно так, как я знаю. Некоторые люди сказали бы, что тебе повезло, Патрик, потому что ты женат на женщине, которая говорит одними афоризмами.

— И нас на это провоцирует.

— Это божественно.

— Дорогая, фу, какое говно.

— Милый, это непристойность, какую Джон никогда не позволил бы себе в присутствии нас

двоих.

— Со мной он позволяет себе всякое.

— И со мной тоже. Но никогда в присутствии нас двоих.

Патрик бросил удивленный взгляд на Йоссаряна.

— Это правда?

— Клянусь своей задницей, — рассмеявшись, сказал Йоссарян.

— Так ты все разузнаешь? О нашей свадьбе в автобусном вокзале?

— Я отправляюсь прямо туда.

Рядом с отелем не было свободных такси. В конце квартала располагался Похоронный дом Фрэнка Кэмпбелла, зловещее заведение, старающееся угодить как можно большему числу отошедших в мир иной выдающихся жителей города. Перед дверьми этого заведения два человека, один в скромной одежде служащего, а другой — плебейской наружности с рюкзаком и туристской палкой, не поделив что-то, молча напирали друг на друга грудью, и ни один из них не взглянул на Йоссаряна, когда тот поднял руку и остановил такси.

8
«ТАЙМ»

Здание, в котором располагался офис М и М, куда Йоссарян собирался зайти позднее в тот же день, представляло собой сооружение средних размеров в японском комплексе недвижимости, известном теперь под названием Рокфеллеровский центр. Прежде здесь располагались журналы «Тайм» и «Лайф» и штаб-квартира издательства «Тайм Инкорпорейтед», компании, куда давным-давно — и в это же здание — поступил работать сочинителем рекламных текстов Сэмми Зингер, который незадолго до этого оставил преподавательскую работу в Пенсильвании, не согласившись подписать присягу на лояльность, из-за чего ему отказали в месте, приносившем всего три тысячи двести долларов в год; здесь же он встретил женщину, которая пять лет спустя стала его женой. Гленда была на год старше Сэмми, что было бы неприемлемо для его матери, будь она все еще жива, к тому же Гленда не была еврейкой, что могло бы расстроить его мать еще больше.

И Гленда уже успела побывать замужем. У нее было трое маленьких детей, один из которых, к несчастью, был обречен стать шизофреником, нередко впадавшим в пограничные состояния, человеком слабой воли, склонным к наркотикам, одержимым навязчивой идеей самоубийства; у двух других оставшихся в живых детей вскоре обнаружились особенности, грозившие с чрезвычайно высокий степенью вероятности развиться в новообразования. Единственным несчастьем своего долгого супружества Сэмми считал его трагическое и внезапное окончание. У Сэмми не было никаких твердых убеждений относительно присяги на лояльность, у него вызывали глубокую антипатию лишь люди, ее пропагандирующие. Точно так же относился он к Корейской и Вьетнамской войнам — он особо не сочувствовал ни одной из сторон, но непреодолимое отвращение у него вызывали демагоги в обеих политических партиях, нахально требовавшие, чтобы он думал так же, как и они. Он невзлюбил Гарри Трумена после упоения его победной предвыборной кампанией в 1948 году, а потом уже не интересовался ни Эйзенхауэром, ни Никсоном. Кеннеди интересовал его не больше, чем Эйзенхауэр, и он перестал участвовать в го-

лосовании на президентских выборах. Вскоре он прекратил голосовать вообще, и в дни выборов испытывал высокомерную снисходительность по отношению к другим. Гленда прекратила голосовать задолго до того, как познакомилась с ним, и находила всех претендентов на высокие кресла вульгарными, скучными и вызывающими отвращение.

Его начальная ставка в журнале «Тайм» составила девять тысяч долларов в год, почти в три раза больше, чем он зарабатывал бы преподавателем в колледже, а кроме того ему предоставляли месячный отпуск летом. В конце своего третьего года работы там он с признательностью обнаружил, что от щедрот компании-работодателя имеет накопления в пенсионном фонде и фонде участия в прибылях. Получив, благодаря закону о правах ветеранов войны, университетское образование, оплаченное федеральным правительством, и устроившись на работу в знаменитую фирму, известную во всей стране, он, по всем меркам своих друзей детства с Кони-Айленда, уже в двадцать пять лет добился выдающихся успехов. Переехав в собственную квартирку на Манхеттене, он чудесным образом вознесся в поднебесный элитарный мир, и даже Лю Рабиновиц

стал поглядывать на него с некой почтительной завистью. Сэмми нравился этот окружавший его мирок, нравилась его жена. Обзаведясь семьей, он любил свою жену, своих приемных детей и, пока оставался с Глендой, ни разу не ложился в постель с другой женщиной, во что никак не мог поверить Лю.

Работая в Нью-Йорке, Сэмми впервые в жизни оказался среди республиканцев. Семейное воспитание и университетские годы утвердили его в мысли о том, что только бандит, социопат или неуч может пойти в республиканцы. Но его коллеги были образованны и ничем не напоминали бандитов или социопатов. На долгих ланчах он пил мартини с другими служащими компании, в течение нескольких лет нередко ночами покуривал марихуану со старыми и новыми друзьями, сокрушался, что некоторые из его прежних знакомых по Бруклину пристрастились к героину. Христиане, с которыми он пил виски и курил марихуану, никак не могли поверить, что среди еврейской молодежи из нью-йоркского Бруклина могут быть наркоманы. Он возил друзей из Манхеттена в Бруклин, показывал им местных наркоманов, потом они ели моллюсков на Шипсхед-Бей и хот-доги на Кони-Айленде, прыгали

с парашютной вышки, катались на колесе обозрения и смотрели, как другие, набравшись храбрости, носятся на русских горках, от одного вида которых захватывало дух. Он водил их в парк «Стиплчез» Джорджа К. Тилью. При свете дня и по ночам он ложился в постель с молодыми женщинами, которые пользовались контрацептивными колпачками и мазями, и все никак не мог преодолеть себя и покончить с этим. В отличие от своих друзей детства, он женился не сразу же, вернувшись с войны живым, а лишь почти к тридцати годам. Нередко он был одинок в своей холостой жизни, но почти никогда не чувствовал себя несчастным.

Его босс умел хорошо формулировать мысли, обладал хорошими манерами и с презрением относился к редакторам главным образом потому, что сам не принадлежал к их числу, и был начитан больше, чем все остальные; на заседаниях он красноречиво доказывал, что сочинители рекламных текстов и деловых бумаг из его отдела пишут лучше, чем редакторы, и гораздо больше знают. В это время все авторы рекламы, включая и Сэмми, писали — или рассуждали о том, как надо писать — книги, статьи, рассказы и сценарии; мужчины и женщины из художественного

отдела рисовали и ваяли по уикэндам и мечтали о выставках. Их зануду-руководителя, которым все они гордились, рано выпроводили на пенсию. Вскоре после этого он умер от рака. Как только их босс покинул компанию, Сэмми, еврей с Кони-Айленда, попавший в организацию, где доминировали зажиточные христиане, имевшие собственные дома в ближнем пригороде, оказался начальником небольшого отдела и отчимом трех детей христианки со Среднего Запада, решительной женщины, которая в одно прекрасное утро отправилась к врачу и сделала операцию по перевязке фаллопиевых труб, чтобы исключить новую беременность в неблагополучном браке с гулякой-мужем, скорый разрыв с которым считала неизбежным. К тому, что муж похаживает на сторону, она могла бы привыкнуть, сказала она — и Сэмми не поверил ей, — но она никак не могла смириться с отсутствием у мужа такта. Вскоре после развода у него обнаружилась меланома. Он был еще жив, когда Сэмми сошелся с Глендой, и не торопился умирать, когда они уже были женаты.

Сэмми с удовольствием работал в «Тайм»; он сочинял листовки, чтобы привлечь больше рекламы в журнал, который считал лишь потре-

бительским товаром высшего качества, почти не думая об остальном. Ему нравилась его работа, ему нравились люди, с которыми он работал, он радовался высокому и все возрастающему жалованью и наслаждался мыслью о том, что хорошо обеспечен и может не бояться завтрашнего дня. Его участие в международных изданиях «Тайм» и «Лайф» дало ему возможность путешествовать и обзавестись хорошими друзьями в других странах. Как и многие другие представители его поколения, он был воспитан в духе прагматических идеалов, утверждавших, что лучшая работа — это лучшая работа из тех, что удалось найти.

Он работал до тех пор, пока и его раньше срока, в возрасте шестидесяти трех лет, не вытолкали на пенсию — процветающая компания желала процветать еще сильнее и поэтому уменьшала штат и избавлялась от стареющих сотрудников вроде него; счастливчик Сэмми ушел на покой, имея на остаток жизни высокий доход, гарантированный пенсионным фондом и фондом участия в прибылях; кроме этого, он владел тремя тысячами акций компании стоимостью более сотни долларов каждая и получал немалые медицинские страховые пособия, которых хватило для покрытия практически всех расходов, связанных

с последней болезнью Гленды, и которые давали ему пожизненное медицинское обеспечение, а также распространялись на двух его оставшихся в живых приемных детей до достижения ими девятнадцатилетнего возраста или до окончания колледжа.

9
АВАП

Стоящие у кромки тротуара носильщики пронзили его ледяными взглядами, когда он вышел из машины без всякого багажа. Внутри автобусного вокзала жизнь шла нормальным ходом. Потоки пассажиров устремлялись к своим целям, отъезжающие спускались вниз к автобусам, которые увозили их во все стороны, или поднимались на второй, третий и четвертый этажи к автобусам, которые увозили их по всем другим направлениям.

— Хотите отжариться за никель, мистер? — робко заговорил с ним худенький мальчик лет четырнадцати.

Никель на его языке означал пять долларов, и Йоссаряну не хватило духа сказать парню, что, на его взгляд, тот не стоит таких денег.

— Хотите отжариться за никель, мистер? — сказала плоскогрудая девица, возникшая из-за спины мальчика; она была на несколько лет старше, но без округлостей, свойственных цветущему женскому возрасту; и сразу же появилась крупная

женщина с крашеными веками, нарумяненными щеками и жирными в ямочках складками вокруг пухлых коленок, выглядывавших из-под тесной юбки; посмеиваясь, она предложила:

— Я тебе отсосу. — Йоссарян прошел мимо, а она кокетливо закатила глаза. — Мы можем пойти на пожарную лестницу.

Он сдерживал в себе растущий гнев. «Мне шестьдесят восемь», — сказал он себе. Что в нем наводило этих людей на мысль, будто он пришел в автовокзал, чтобы отжариться или отсосаться? Чем тут занимается этот херов Макмагон?

Капитан Томас Макмагон из полицейского подразделения администрации порта вместе с гражданским заместителем директора Лоренсом Макбрайдом находился в полицейском участке, где они смотрели, как Майкл Йоссарян делает карандашный рисунок на листе бумаге; они наблюдали за Майклом с тем особым уважением, что нередко испытывают неискушенные люди к самым обыкновенным художественным навыкам, которыми не обладают. Йоссарян мог бы им сказать, что Майкл, вероятно, бросит рисунок, не закончив его. Майкл имел привычку не заканчивать начатые вещи и предусмотрительно не начинал много.

Он целиком ушел в создание рисунка, изображая самого себя, объятого ужасом, в наручниках, которыми все еще был прикован к стене, когда в день его ареста в полицейский участок вошел, пылая гневом, Йоссарян. Круговыми движениями карандаша Майкл трансформировал прямоугольник камеры в вертикальный ствол наполненной каким-то грязным месивом шахты с вращающимися стенками; внутри этого сооружения, представавшего взгляду зрителя под углом, находилась оцепеневшая, застывшая человеческая фигурка — контуры которой он только что набросал — самого Майкла, погруженного в себя и всеми забытого.

— Оставьте его там, где он есть! — прогремел в телефонную трубку Йоссарян за полчаса до этого, разговаривая с полицейским, позвонившим ему для установления личности Майкла, потому что в приемной архитектурной фирмы, для которой Майкл выполнял чертежи, не знали, что его приняли на внештатную работу. — И только посмейте посадить его в камеру!

— Минуту, сэр, одну минуту! — начал возражать срывающимся голосом оскорбленный полицейский. — Я звоню, чтобы установить личность задержанного. У нас существуют правила.

— Засуньте в жопу ваши правила! — командным тоном сказал Йоссарян. — Вы меня поняли? — Он был так взбешен, так напуган и испытывал такое чувство беспомощности, что был готов на убийство. — Или вы будете делать то, что говорю я, или я вас размажу по стенке! — в бешенстве прорычал он, не сомневаясь, что так и сделает.

— Эй-эй-эй, приятель, минуту, эй, постой-ка, приятель! — Молодой полицейский кричал теперь дурным голосом, находясь в состоянии, близком к истерике. — Что это ты себе позволяешь, черт возьми, да кто ты такой?!

— Я майор Джон Йоссарян из Пентагоновского Военно-воздушного проекта «М и М», — ответил Йоссарян жестким, четким голосом. — Ах ты, наглая скотина. Где твое начальство?

— Капитан Макмагон слушает, — сказал с бесстрастным удивлением голос постарше. — В чем дело, сэр?

— Капитан, говорит майор Джон Йоссарян из Пентагоновского Военно-воздушного проекта «М и М». У вас там находится мой сын. Я требую, чтобы к нему никто не прикасался, я требую, чтобы его оставили там, где он есть, я требую, чтобы от него удалили всех, кто может его обидеть. А

это включает и ваших полицейских. Я понятно говорю?

— Я-то вас понимаю, — холодно ответил Макмагон. — Только вот я думаю, что вы меня не понимаете. Как вы назвались?

— Джон Йоссарян, майор Джон Йоссарян. И если вы будете и дальше морочить мне голову, то я и вас размажу по стенке. Я буду у вас через шесть минут.

Он дал водителю такси сотню долларов и, слыша тяжелые удары своего сердца, вежливо сказал:

— Пожалуйста, проезжайте под любые сигналы светофоров, если это будет безопасно. Если вас остановит полицейский, я дам вам еще сотню и остальную часть дороги пройду пешком. У меня ребенок попал в беду.

То, что ребенку было за тридцать семь, не имело значения. Имело значение то, что он был беззащитен.

Но Майкл был еще в безопасности; его пристегнули наручником к стене, словно без этой удерживающей цепочки он свалился бы на пол, и он был бледен, как смерть.

В участке царил хаос. Все было в движении, и повсюду стоял крик. В зарешеченных клет-

ках двигалось множество рук, потных лиц, поблескивали глаза, мелькали рты, то же самое происходило и в коридоре, в воздухе носились самые разные запахи; полицейские и охранники, тоже взмокшие и снующие туда-сюда, трудились в поте лица, отбирая, расталкивая, распихивая и вышвыривая задержанных, чтобы на улице рассадить их по фургонам и доставить в центр для передачи в другие руки. Из всех, кто там находился, только Майкл и Йоссарян демонстрировали какие-то признаки удивления происходящим. Казалось, что даже задержанные идеально приспособились к этой бурлящей атмосфере и насилию. Многие откровенно скучали, другие презрительно посмеивались, некоторых охватывал ораторский раж. Несколько скандальных молодых женщин, корчась от смеха, нагло выкрикивали оскорбительные непристойности, пытаясь подколоть и разозлить взмыленных охранников, которым приходилось, молча снося все это, заниматься своим делом.

Макмагон и дежурный сержант ждали его с каменными лицами.

— Капитан… это вы? — начал Йоссарян, встретив взгляд светло-голубых глаз Макмагона таким же тяжелым взглядом. — Слушайте меня вни-

мательно! В камеру он не пойдет. И я не хочу, чтобы он ехал в фургоне со всеми остальными. Патрульная машина меня устроит, но я поеду с ним. Если хотите, я найму частную машину, и вы сможете посадить туда своих полицейских.

Макмагон слушал, скрестив руки.

— Это все? — тихо сказал он. Ростом он был больше шести футов, сухопар, строен, на скулах его скуластого, с мелкими чертами лица проступили слабые розоватые пятна, словно он загорался предвкушением надвигающегося конфликта. — Скажите мне еще раз, сэр, кто вы такой?

— Майор Джон Йоссарян. Я работаю в Пентагоновском Военно-воздушном проекте «М и М».

— И вы полагаете, что поэтому ваш сын является исключением?

— Он и есть исключение.

— Неужели?

— Вы что, слепы? — взорвался Йоссарян. — Да посмотрите вы, Бога ради, как следует. Он здесь единственный с сухими штанами и сухим носом. И он здесь единственный белый.

— Нет, капитан, не единственный, — кротко поправил сержант. — У нас там задержаны еще двое белых, которые по ошибке избили полицей-

ского. Они искали деньги.

Взгляды всех вокруг были теперь устремлены на Йоссаряна, словно он представлял собой нечто необыкновенное. Когда он, наконец, понял, почему, — он нависал над ними, подняв руки и приняв позу боксера, словно готовясь нанести удар, — ему захотелось горестно рассмеяться. Он забыл о своем возрасте. Майкл тоже с удивлением смотрел на него.

И в этот момент обескураживающего отрезвления Йоссаряна в помещение вошел Макбрайд; мягким голосом, прозвучавшим одновременно твердо и примирительно, он сказал:

— Что случилось, ребята?

Йоссарян увидел крепко сложенного человека среднего роста с красноватым лицом, в костюме из химического волокна уныло-серого цвета, с широкой грудью, распиравшей пиджак вширь и вперед, отчего от шеи до талии его фигура напоминала волнолом.

— Вы-то что еще за шишка? — в отчаяньи выдохнул Йоссарян.

Макбрайд с бесстрашной уверенностью человека, искушенного в обуздании беспорядков, мягко ответил:

— Привет. Я Лоренс Макбрайд, заместитель

директора автобусного вокзала Администрации порта. Привет, Томми. Что происходит?

— Он думает, что очень крутой, — сказал Макмагон. — Говорит, что он майор. Он считает, что может нам указывать, что мы должны делать.

— Майор Йоссарян, — представился Йоссарян. — Макбрайд, он здесь приковал моего сына наручниками к этой стене.

— Ваш сын был арестован, — любезно сказал Макбрайд. — Чего же вы еще хотели?

— Я хочу, чтобы его оставили там, где он сейчас, пока мы не решим, что будем делать. Это все. У него нет задержаний и судимостей. — Ближайшему к Майклу охраннику Йоссарян рявкнул: — Снимите с него наручники. Прошу вас, сделайте это немедленно.

Макмагон минуту помедлил, а потом махнул рукой и знак согласия.

Йоссарян дружеским тоном продолжил:

— Скажите нам, где он должен находиться. Мы не собираемся убегать. Я не хочу никаких неприятностей. Мне нанять машину? Может, я слишком много говорю?

Майкл был удручен.

— Они даже не сказали мне о моем праве не отвечать на вопросы.

— Вероятно, они и не задавали вам никаких вопросов, — объяснил Макбрайд. — Разве задавали?

— И наручники ужасно жмут руки! Не эти. Настоящие наручники, черт побери. Это зверство.

— Томми, в чем он обвиняется? — спросил Макбрайд.

Макмагон повесил голову.

— Уклонение от оплаты проезда в метро.

— Что за бред, Томми? — с мольбой в голосе сказал Макбрайд.

— Где Гонсалес? — спросил у сержанта Макмагон.

— Это тот парень, который меня схватил.

Сержант покраснел.

— Он у выхода из метро, капитан. Выполняет план.

— Я *знал*, что у них есть этот сраный план.

— Майор, пусть ваш сын помолчит, пока мы не уладим это дело, — уныло попросил Макмагон.

— Томми, — сказал Макбрайд, — не мог бы ты вручить ему повестку и отпустить под подписку? Мы же знаем, что он явится.

— А что, ты думаешь, мы собирались делать, Ларри? — ответил Макмагон и обратился к Йос-

саряну так, словно тот был его союзником. — Вы слышите, майор? Я — капитан, он когда-то был сержантом, а теперь учит меня, как я должен работать. Сэр, а вы действительно майор?

— Отставной, — признался Йоссарян. Из нескольких визиток, которые у него были с собой, он выбрал подходящую. — Моя визитка, капитан. И одна вам, мистер Макбрайд… Макбрайд, я верно сказал? На случай, если и я смогу быть вам полезен. Вас послал сам Господь.

— Возьмите мою, майор, — сказал Макбрайд и протянул вторую Майклу. — И одну вам, если еще раз попадете у нас в какую-нибудь историю.

Майкл дулся, когда они втроем, вместе с Макбрайдом, вышли из участка.

— Хорошо, что у меня до сих пор есть нянька, правда? — хмуро и задиристо бросил он Йоссаряну. Йоссарян пожал плечами. — Я чувствую себя как последний слабак.

— Ты все правильно делал, малыш, — вмешался Макбрайд; он фыркнул, потом рассмеялся погромче. — Вряд ли *тебе* в наручниках удалось бы убедить нас в том, что ты нам руки-ноги переломаешь.

— Неужели это удалось мне? — испуганно сказал Йоссарян.

Макбрайд снова рассмеялся.

— Откуда такая достоверность? Такой напор, майор Йоссарян?

— Бога ради, называйте меня Йо-Йо, — шутливо сказал Йоссарян. — Вероятно, я забыл, сколько мне лет.

— Вот уж точно, — с упреком сказал Майкл. — Я испугался ужасно. А вы тут смеетесь. Но ты был высший класс, па, — сардонически продолжал он. — А я даже и кричать-то не умею. Когда меня остановил этот полицейский, у меня руки так тряслись, что он испугался, как бы меня не хватил удар, и чуть меня не отпустил.

— Мы все такие, когда пугаемся или сердимся. Я теряю разум и начинаю слишком много говорить.

— Я даже не мог назвать им свое имя так, чтобы они поверили. А с каких это пор ты стал майором?

— Посмотри мою визитку, — скромно усмехнулся Йоссарян и повернулся к Макбрайду. — Я был майором минуты полторы, — объяснил он. — Перед самым концом мне дали временное повышение, потому что не знали, что еще со мной делать. Потом меня отправили домой, вернули мне мое постоянное звание и демоби-

лизовали честь по чести. У меня были медали, у меня были стрелочки, у меня даже было «Пурпурное сердце».

— Вы были ранены? — воскликнул Макбрайд.

— Да, и еще он был психом, — с гордостью ответил Майкл. — А еще он разгуливал голым.

— Вы разгуливали голым? — воскликнул Макбрайд.

— А его наградили медалью, — похвастался Майкл, который теперь вполне освоился. — Медалью за храбрость.

— Вы получили медаль за храбрость? — воскликнул Макбрайд.

— И не мог ее пришпилить.

— Потому что был голый?

— Так и был голый.

— И вас это не смущало? Они вам ничего не сделали?

— Он был психом.

— За что вы получили медаль, майор? Как вы получили «Пурпурное сердце»? Почему вы разгуливали голым?

— Прекратите вы называть меня майором, Макбрайд, — сказал Йоссарян, которому сейчас вовсе не хотелось говорить о фюзеляжном стрелке с Юга, убитом над Авиньоном, и о хвостовом стрел-

ке, маленьком Сэме Зингере с Кони-Айленда, терявшем сознание всякий раз, когда, приходя в себя, он видел умирающего фюзеляжного стрелка и Йоссаряна, который изблевал весь свой летный костюм, накладывая повязки умирающему в тщетных усилиях спасти его. Иногда все это виделось ему в каком-то жутковато-комическом свете. Раненый стрелок страдал от боли и холода, а Йоссарян не мог ничего придумать, чтобы согреть его. Всякий раз, приходя в себя, Зингер видел Йоссаряна, занятого чем-то таким, от чего Сэм сразу же снова терял сознание: Йоссаряна либо рвало, либо он бинтовал мертвую плоть, либо орудовал ножницами. Смертельный холод пронизывал умирающего, который лежал на полу самолета в лучике средиземноморского солнца, Сэм Зингер все терял сознание, а Йоссарян стащил с себя всю одежду, потому что вид блевотины и крови на летном костюме вызывал у него новые позывы к рвоте и чувство тошнотворной уверенности в том, что он никогда больше не захочет надеть военную форму, никогда и ни за что, а когда они, наконец, приземлились, медики никак не могли решить, кому из них троих оказывать помощь в первую очередь. — Поговорим лучше о вас.

Теперь Йоссарян знал, что жена бросила

Макбрайда, — от распиравшей ее злости, о существовании которой тот и не подозревал, она почти в один день превратилась в желчную фурию, — и с тех пор он жил один, потому что его дочь вместе со своим парнем переехала в Калифорнию, где работала физиотерапевтом. Неожиданный крах его брака стал для Макбрайда еще одной мучительной и неразрешимой загадкой этого мира, изобилующего разного рода жестокостями, объяснения которым он не мог найти. Бывшему сержанту полиции при Администрации нью-йоркского порта Ларри Макбрайду уже исполнилось пятьдесят, и у него было мальчишеское, пухлое лицо задумчивого серафима, переживающего трудные времена. Будучи полицейским, он никак не мог подавить в себе сочувствие, которое испытывал ко всем жертвам, встречавшимся на его пути, — даже теперь он не находил себе покоя, вспоминая об одноногой женщине, живущей в автовокзале, — и всегда после завершения уголовного дела он, помимо морального ущерба, оставлявшего ранящий след в его душе, начинал испытывать и сострадание к преступникам, какими бы злобными, жестокими, тупыми, какими бы закоренелыми в преступлениях они ни были. Он смотрел на них с жалостью,

словно они были детьми. Когда подвернулась возможность уйти на полную пенсию и занять хорошо оплачиваемую административную должность в автобусном вокзале — в котором он в том или ином качестве стража порядка провел по существу всю свою рабочую жизнь, — он с радостью ухватился за нее.

Распад семьи, которая казалась Макбрайду вполне благополучной, был для него большим ударом, и поначалу ему думалось, что от этого удара он никогда не оправится. Теперь, когда Майкл был готов ждать, Йоссарян спрашивал себя, какую новинку собирался продемонстрировать ему Макбрайд.

— Вот вы мне и скажете, — загадочно ответил Макбрайд.

В прошлый раз он поделился с Йоссаряном планами о родильной камере; он собирался переоборудовать одну из двух расположенных в глубине запасных тюремных клеток в помещение для рожениц, которые обычно избавлялись от ненужных им младенцев, оставляя их на помойках и в туннелях или выбрасывая в корзины для отходов, мусорные бачки и дампстеры. Он за свой счет уже перевез туда из своей квартиры кой-какую мебель, в которой у него больше не

было нужды. Йоссарян, слушая, кивал, втягивал щеки, а потом снова кивал. Он мог бы сказать Макбрайду, что эти младенцы никому не нужны и что всем наплевать и на этих матерей, которые, выбрасывая своих новорожденных, на самом-то деле лишь оказывают обществу услугу.

Вторую тюремную камеру, продолжал Макбрайд, он собирается переоборудовать в нечто вроде дневного педиатрического стационара для нескольких ребят, постоянно обитавших в автобусном вокзале; он хотел, чтобы у их матерей было безопасное, чистое место, где они могли бы оставлять своих отпрысков, пока сами выпрашивают милостыню, добывают наркотики, выпивку и еду; здесь же можно было бы принимать и убежавших из дома детей, которые мелькали в этом сердце города, пока не устанавливали крепких связей с подходящим торговцем наркотиками или сутенером.

— Макбрайд? — горестно воскликнул Йоссарян.

— Вы думаете, я сошел с ума? — тут же начал оправдываться Макбрайд. — Я знаю, Томми считает, что я сошел с ума. Но мы могли бы приобрести подвесные и мягкие игрушки и книжки-раскраски для маленьких. А для тех, кто

повзрослее, — телевизоры и видеоигры, может быть, компьютеры, нет, правда, даже текстовые процессоры, ведь они могли бы их освоить, а?

— Макбрайд? — повторил Йоссарян.

— Йоссарян? — Макбрайд, сам того не желая, перенимал разговорную манеру у Йоссаряна.

— Игрушки и текстовые процессоры для ребят, которым нужны наркотики и секс?

— Ну, это только пока они тут болтаются, общаясь с кем ни попадя. Ведь здесь они будут в большей безопасности, чем в другом месте, правда? Ну, что в этом плохого? Йоссарян, что в этом плохого?

Йоссарян устало вздохнул, чувствуя, что теряет самообладание.

— Вы хотите в полицейском участке оборудовать помещение для подающих надежды юных проституток? Ларри, да публика завопит благим матом. И я тоже.

— А вы можете предложить что-нибудь получше? Ведь они все равно приходят сюда, разве нет?

Поскольку Макбрайд с тех пор больше не говорил об этих гуманитарных проектах, Йоссарян решил, что они либо отложены, либо отвергнуты.

Сегодня в запасе у Макбрайда был новый сюрприз, и Йоссарян направился следом за ним из участка во вместительное здание автобусного вокзала, где уже в самых разнообразных своих проявлениях вовсю бурлила жизнь. Люди здесь двигались быстрее, и их становилось все больше; они перемещались автоматически, как призраки, которые выбрали бы совершенно иной путь, будь у них свобода решать. Многие, роняя крошки и обертки, ели на ходу шоколадки, яблоки, хот-доги, пиццы, сэндвичи, чипсы. Всевозможные темные личности занимались делами в соответствии со своей специализацией; лучшие из них, ни на минуту не расслабляясь, всевидящим взором обшаривали толпу, точно выбирая объекты для своих махинаций, другие тупо бродили туда-сюда в поисках того, что подвернется, а третьи, мужчины и женщины, белые и черные, с пустым взором, как сомнамбулы, болтались по автовокзалу и были больше похожи не на хищников, а на искалеченные жертвы.

— Карманники, — сказал Макбрайд, сделав движение подбородком в направлении группки из трех мужчин и двух девушек, все они по виду были латиноамериканцами и выглядели вполне прилично. — Они б***о***льшие профессионалы,

чем мы. И даже в законах разбираются лучше. Смотрите.

Веселая группка трансвеститов двигалась вверх по эскалатору, их лица лоснились от косметики; лица и одежда этих самовлюбленных гермафродитов были вызывающе наглыми, а своей игривостью и кокетством они напоминали переполненных гормонами девиц-скаутов.

Макбрайд провел его по пустому пространству между колонн, поддерживающих площадку наверху со стеклянным фонарем, где размещался наблюдательный пост диспетчерского центра связи, в котором несколько служащих автовокзала, покуривая травку, следили за пятью десятками мониторов. Сотни безмолвных видеокамер совали синие пятачки своих объективов во все щели всех этажей хаотично построенного семиэтажного комплекса, оседлавшего два городских квартала; камеры, не краснея, заглядывали даже в мужские туалеты и на печально известные пожарные лестницы, куда большинство живущих в автовокзале забиралось для ночевки, дружеской беседы или бесстрастного совокупления. Милоу и Уинтергрин уже подумывали о том, как бы преобразовать диспетчерский центр связи в прибыльное предприятие за счет увеличения

количества мониторов и почасового проката их любопытным и игрокам, которые заменили бы сотрудников автовокзала и позволили бы получить экономию на их жалованьях, их дорогостоящих медицинских программах, их отпускных и пенсионных. Люди будут стоять в очередях, чтобы поиграть в полицейского и Любопытного Тома. Это развлечение можно было бы назвать «Жизнь в натуре». А когда уровень преступности будет падать, можно будет ставить маленькие сценки и таким образом гарантировать секс и насилие в количестве достаточном, чтобы удовлетворить даже самых кровожадных клиентов.

Они могли бы оформлять заказы для групп японских туристов. А по прошествии какого-то времени они могли бы с выгодой продать все предприятие какой-нибудь японской киностудии.

Макбрайд миновал принадлежащий индейцам газетный киоск, витрина которого была уставлена газетами и красочными периодическими изданиями, вроде «Тайм» и «Уикли Ньюсмэгазин», заголовки которых кричали о крушении русского социализма, величии американского капитализма, недавних банкротствах, пестрели цифрами количества безработных, извещениями

о продаже иностранцам еще одного национального исторического памятника; наконец, они остановились перед входом на одну из пожарных лестниц. У Йоссаряна не было ни малейшего желания повторять это путешествие.

— Всего один этаж, — пообещал Макбрайд.

— Наверно, что-нибудь ужасное?

— На это я бы не пошел.

Сверху сюда доносились гулкие звучные голоса праздношатающихся. Лестница была практически пустой, а пол почти чистым. Но у этой цивилизации были сильные ароматы, воздух был напитан запахом табачного дыма, немытых тел и продуктов их жизнедеятельности, смрадом гниения и разложения, который вызывал непреодолимое отвращение и был совершенно непереносим для всех, кроме массы, ежедневно генерирующей его. К полуночи ни для одного из лежащих здесь тел не оставалось жизненного пространства, достаточного для того, чтобы оно могло не соприкасаться с другим телом, еще более непотребным и зловонным. Люди ругались. Здесь были крики, ссоры, поножовщина, ожоги, секс, наркотики, пьянство, битое стекло; к утру на полу оставались убитые или раненые и всевозможные отходы, кроме промышленных. Здесь

не было воды или туалета. Мусор не убирали до утра, пока не поднимались обитатели и не направлялись к раковинам и туалетам, чтобы подготовиться к рабочему дню и — несмотря на запрещающие объявления — пополоскаться и постирать в раковинах.

К этому времени уборщики в респираторах и со шлангами уже заканчивали свою работу, смывая накопившуюся за ночь смесь экскрементов, грязи и мусора — обгоревшие спички, пустые пузырьки из-под наркотиков, жестяные банки, иглы, винные бутылки, использованные презервативы и грязные бинты. Неискоренимый вяжущий запах хлорки, словно дезинфицирующий предвестник безжалостного разложения, висел в воздухе.

Макбрайд направился вниз по лестнице, минуя двух бродяг, которые с нагловатым и скучающим видом курили марихуану и пили вино; оценивающе взглянув на Макбрайда, они погрузились в молчание, выражая таким образом свое смирение перед исходившими от него скрытой силой и мужественностью. Внизу лестничного пролета, прислонившись спиной к перилам, спал человек.

Они спустились на бетонную площадку, не потревожив его, а потом на цыпочках обогнули

одноногую женщину, с которой совокуплялся человек с тощими белыми ягодицами и иссиня-серой мошонкой, а всего в нескольких шагах крупная темнокожая женщина, раздевшись, протирала спину и подмышки мокрыми бумажными полотенцами, разложенными на газете рядом с сухими и двумя пакетами из супермаркета. Кожа вокруг ее опухших глаз была усеяна бледными веснушками, а спина и шея испещрены рубцеватыми цвета дегтя родинками, напоминавшими меланомы. Она посмотрела сначала на одного, потом на другого, с будничной приветливостью кивнув каждому. Ее отвисшие груди в розоватом бюстгальтере были громадны, а подмышки черны и волосаты. Йоссарян не хотел смотреть вниз на ее обнаженный лобок. Не зная, кто она, он знал, что нет такого предмета, о котором он хотел бы с ней поговорить.

На последнем перед наружным подземным уровнем пролете одиноко сидела женщина; это была костлявая блондинка с подбитым глазом и в драном красном свитере, она сонно латала дыру в грязной белой блузе. В самом низу, где лестница заканчивалась перед ведущей на улицу дверью, кто-то уже наложил кучу в углу. Они отвели глаза и пошли, глядя под ноги, словно

опасаясь наступить на Бог знает что. Макбрайд направился не на улицу, а повернул и в густом полумраке прошел дальше почти до конца этой последней лестничной площадки, пока не уперся в выцветшую дверь, которую Йоссарян ни за что бы не заметил.

Он включил слабый желтоватый свет. В небольшом помещении, где они оказались, был лишь стоявший у стены металлический шкафчик с проеденной коррозией дверцей на поломанных петлях. Макбрайд с усилием открыл железную дверцу и шагнул в этот проржавевший остов. Задней стенки у него не было. Макбрайд нащупал защелку и распахнул встроенные в стену створки.

— Это нашел один наркоман, — невнятно пробормотал он. — Я ему внушил, что все это ему привиделось. Входите.

Йоссарян с изумлением взирал на тесный тамбур, перекрытый широкой противопожарной дверью всего в нескольких футах перед ним. Гладкая поверхность была покрыта армейской зеленой краской, а на уровне глаз крупными буквами было написано предостережение, не заметить которое не мог ни один человек, умеющий читать.

ЗАПАСНЫЙ ВХОД
НЕ ПОДХОДИТЬ
НАРУШИТЕЛИ
БУДУТ РАССТРЕЛИВАТЬСЯ

Тяжелая дверь казалась новой, а буквы на чистой поверхности — свежими.

— Идемте. Именно это я и хотел вам показать.

— Мне запрещено.

— И мне тоже.

— А где ключ?

— А где замок? — победно усмехнулся Макбрайд, вскинув голову. — Идемте.

Ручка повернулась, и массивная дверь открылась, словно приводилась в действие системой противовесов и поворачивалась на бесшумных подшипниках.

— Все специально сделано, чтобы войти было легко, — еле слышно прошептал Йоссарян.

Макбрайд держался сзади, пропуская Йоссаряна вперед. Йоссарян отпрянул, обнаружив, что стоит на крохотной лестничной площадке из кованого чугуна почти у крыши вертикального туннеля, казавшегося гораздо выше, чем на самом деле, потому что лестница, на которой стоял Йоссарян, уходила вниз под головокру-

жительным углом. Он инстинктивно ухватился за перила. Пролеты здесь были маленькими и резко изменяли направление на элипсовидных крохотных площадках, изготовленных из металлических решеток, переходящих внизу под ним в новый пролет под углом в сто восемьдесят градусов, а затем вообще исчезающих из виду все под тем же отвесным углом. Он не видел, где кончается лестница в этой подземной пропасти, темный пол которой отсюда казался засыпанным какой-то вулканизированной крошкой. Глядя вниз сквозь чугунные виноградные листья, которые, казалось, подсмеивались над собственным немалым весом, он сразу же странным образом вспомнил один из тех вертикальных желобов в каком-нибудь старом парке аттракционов; нужно было, сложив руки, лечь навзничь в черноту цилиндрического короба и с возрастающей скоростью лететь, раскручиваясь, вниз, чтобы попасть, наконец, на плоскую круглую площадку из полированного дерева с дисками, вращающимися в противоположных направлениях, где на потеху публике крутиться то в одну, то в другую сторону, а затем вылететь на неподвижный огороженный участок вокруг этого аттракциона. Из аттракционов такого рода ярче всего запомнился

ему «Человеческий бильярд» в принадлежавшем Джорджу К. Тилью старом парке «Стиплчез» на Кони-Айленде. Там один из одетых в красные пиджаки и зеленые жокейские шапочки служителей, сочтя момент подходящим, пропускал безопасный ток по металлическим перильцам, отгораживавшим аттракцион от зазевавшихся зрителей. Эти внезапные уколы множества вонзающихся в ладони иголок были невыносимы и памятны, и все, наблюдавшие этот секундный испуг и паническое замешательство, смеялись; жертвы смеялись тоже, но уже потом. Из громкоговорителей тоже несся смех. Всего в нескольких кварталах оттуда демонстрировали уродцев с маленькими головами.

Йоссарян стоял теперь у вершины какого-то необычного подземного проезда высотой почти в два этажа, внушительной ширины и непонятного назначения; сводчатый потолок был покрыт шероховатой, с дырочками, звукоизолирующей плиткой персикового цвета и обведен по периметру четкой светло-зеленой линией. Высокие плоские каменные стены имели темно-красный оттенок. У основания стены были выложены белым кафелем, как на станциях подземки. Странный проход был не ***у***же проезжей части улицы.

Он вполне мог бы служить железнодорожным вокзалом, но Йоссарян нигде не видел ни рельсов, ни платформы. Вблизи пола на другой стороне он заметил длинную светоотражающую стрелку красного цвета, которая сначала показалась ему похожей на пылающий пенис, а потом на огнедышащую ракету; стрелка явно показывала налево, а потом резко изгибалась перпендикулярно вниз, где черные буквы провозглашали:

Подземные этажи A — Z.

Над стрелкой, где заканчивался кафель, и футах в тридцати справа, он различил написанную люминесцентной янтарной краской крупную трафаретную букву Б в глянцевитом черном квадрате. Он понял, что они явно попали внутрь старого бомбоубежища, но, увидев вскоре вблизи пола металлическую дверь того же уныло-зеленоватого цвета, что и дверь за ними, с белой надписью, он не поверил своим глазам, даже после того, как водрузил на нос свои трифокальные очки, чтобы лучше видеть на расстоянии.

ОПАСНО
ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА ЗАПРЕЩЕНЫ

— Это может означать по крайней мере две взаимоисключающие вещи, да? — сказал он.

Макбрайд мрачно кивнул головой.

— Я тоже об этом подумал. — Он неожиданно самодовольно хохотнул. — А теперь посмотрите на эту табличку.

— Какую табличку?

— С темными буквами. Она вделана в стену около дверей и сообщает о том, что здесь был человек по имени Килрой.

Йоссарян обшарил Макбрайда взглядом.

— Килрой? Так там написано? Здесь был Килрой?

— Вы знаете Килроя?

— Я служил с Килроем в армии, — сказал Йоссарян.

— Может быть, это другой Килрой.

— Тот самый.

— За океаном?

— Повсюду. Черт, мне ли его теперь не знать? Куда бы я ни попадал, он оказывался рядом. Это всегда написано на стене. Когда меня арестовали и на неделю посадили в тюрьму, оказалось, что он там уже побывал. В колледже после войны, когда я рылся в библиотечном каталоге, я видел его автографы.

— Не могли бы вы найти его для меня?

— Я с ним никогда не встречался. Не знаю ни одного человека, который его видел.

— Я мог бы его найти, — сказал Макбрайд. — По Закону о свободе информации. Если бы я узнал его номер социального страхования, я бы его из-под земли достал. А вы придете с ним встретиться, когда я его найду?

— А он еще жив?

— А с чего ему умирать? — спросил Макбрайд, которому было всего пятьдесят. — Я хочу побольше узнать об этом, я хочу узнать, что он здесь делал. Я хочу узнать, что это за чертовщина такая.

— И как глубоко вниз это идет?

— Не знаю. На плане этого нет.

— А почему это вас беспокоит?

— Наверно, во мне еще жив сыщик. Сойдите еще на несколько ступенек, — распорядился Макбрайд. — Попробуйте еще на одну.

Заслышав шум, Йоссарян оцепенел. Это был какой-то зверь, набирающая силу ярость живого существа, злобный рык опасного, потревоженного животного, ворчание, которое с самого начала переходит в протяжный рев. Потом послышался страшный гортанный хрип, потом он почувство-

вал возбужденную дрожь проснувшейся мощи и топот ног, меняющих направление движения там внизу, где он не мог видеть. Потом к первому зверю присоединился второй; может быть, их было три.

— Спуститесь еще на одну ступеньку, — прошептал Макбрайд.

Йоссарян покачал головой. Макбрайд легонько подтолкнул его. Носком ноги Йоссарян коснулся следующей ступеньки и услышал резкий звук, похожий на скрежет металла по камню и царапанье металла по металлу; эти шумы быстро нарастали до дьявольского крещендо какой-то катастрофической разновидности, а потом внезапно, словно бы без всякого знака, хотя эти знаки беспрестанно накапливались, последовал грохот, взрыв, яростное и ужасающее безумие пронзительного лая и оглушительного рева, неистового скока мощных лап, стремительно несущих вперед отпущенное на свободу кровожадное исступление; вдруг, будто кто-то из милосердия застопорил лязгнувшую цепь, движение вперед было пресечено — отчего Йоссарян испуганно подпрыгнул, — а потом раскатистые звуки, словно издаваемые субстанцией огромной баллистической массы, прокатились по сгустившемуся мраку, отдаваясь в обоих концах

помещения, в котором они находились. А дикий гвалт внизу стал еще свирепее, разбушевавшиеся бестии вымещали свою ярость на прочных оковах, из которых теперь бешено рвались со всей своей сверхъестественной силой. Они рычали и выли, они ворчали и огрызались. А Йоссарян напрягал слух в безумном, необъяснимом желании услышать больше. Он знал, что никогда больше не сможет пошевелиться. Как только ом смог пошевелиться, он, затаив дыхание, бесшумно сделал шаг назад и оказался на площадке рядом с Макбрайдом; он нащупал руку Макбрайда и вцепился в нее. Йоссаряна бил холодный озноб, а еще он знал, что с него капает пот. Его охватило головокружительное, страшное предчувствие, что сердце его захлебнется и остановится, что артерия в его голове разорвется. Он знал, что может придумать еще восемь причин своей мгновенной смерти, если только не умрет до того, как перечислит все. Грубая ярость свирепой страсти, бушевавшей внизу, казалось, стала постепенно стихать. Дикие монстры поняли, что упустили его, и он с облегчением слушал, как невидимые опасности идут на убыль и как, смиряясь, эти неизвестные плотоядные существа внизу, волоча за собой цепи, пятятся назад в темные берлоги,

откуда недавно устремились на ускользнувшую от них жертву. Наконец, наступила тишина, последние звенящие звуки слились в мягкий звон, похожий на звон колокольцев, а потом растворились в затихающей звучной мелодии, которая странным образом напоминала ритмичную, навязчивую балаганную музыку какой-то далекой, одинокой карусели, а вскоре и этот звук оборвался тишиной.

Он подумал, что теперь знает ощущения человека, которого разрывают на куски. Он дрожал.

— Что вы об этом скажете? — вполголоса спросил Макбрайд. Губы его были белы. — Они всегда здесь. Это происходит каждый раз, когда касаешься этой ступеньки.

— Это запись, — сказал Йоссарян.

Несколько мгновений Макбрайд не мог произнести ни слова.

— Вы уверены?

— Нет, — сказал Йоссарян, сам удивившись той внезапной догадке, которую только что высказал. — Слишком уж достоверно, правда?

— Что вы имеете в виду?

Йоссарян не имел сейчас ни малейшего желания говорить о Данте, Цербере, Вергилии или Хароне или о реках Ахероне и Стиксе.

— Может быть, оно там для того, чтобы отпугнуть нас.

— Могу вам сказать, что оно до смерти напугало того наркомана, — сообщил Макбрайд. — Он был уверен, что галлюцинирует. Я всем, кроме Томми, внушил, что так оно и было.

Потом они услышали новый шум.

— Слышите? — сказал Макбрайд.

Йоссарян услышал скрежет колес на поворотах и посмотрел на основание противоположной стены. Откуда-то из-за нее доносился ослабленный расстоянием и преградами, приглушенный звук несущихся по рельсам колес.

— Подземка?

Макбрайд покачал головой.

— Слишком далеко. А что вы скажете, — задумчиво продолжил он, — о русских горках?

— Вы сошли с ума?

— Может быть, это тоже запись, — гнул свое Макбрайд. — Почему это такая уж сумасшедшая мысль?

— Потому, что это не русские горки.

— Откуда вы знаете?

— Я думаю, русские горки я бы узнал. Прекратите разыгрывать из себя сыщика.

— Когда вы в последний раз катались на рус-

ских горках?

— Миллион лет назад. Но звук слишком ровный. Не слышно никакого ускорения. Чего вам еще надо? Я сейчас рассмеюсь. Пусть это будет поезд, — продолжил Йоссарян, когда звук поравнялся с ними и стал удаляться влево. Это вполне мог бы быть Метролайнер, направляющийся из Бостона в Вашингтон, но Макбрайд знал бы об этом. А когда Йоссарян подумал о русских горках, он и в самом деле начал смеяться, потому что вспомнил, что прожил уже гораздо дольше, чем рассчитывал.

Он перестал смеяться, когда увидел мостик с перильцами, расположенный футах в трех над полом и исчезающий в туманной, золотой неизвестности выгородок по обеим сторонам.

— Это все время было там? — Он был озадачен. — Я подумал, что галлюцинирую, когда только что заметил его.

— Он все время был там, — сказал Макбрайд.

— Тогда я, вероятно, галлюцинировал, когда считал, что его там нет. Идемте отсюда к чертям собачьим.

— Я хочу спуститься туда, — сказал Макбрайд.

— Я с вами не пойду, — сказал ему Йоссарян.

Он никогда не любил сюрпризы.

— И вам ничуть не любопытно?

— Я боюсь этих собак.

— Вы же сами сказали, — сказал Макбрайд, — что это только запись.

— А это может напугать меня еще больше. Идите туда с Томом. Это его работа.

— Это не его участок. А мне сюда и заходить-то нельзя, признался Макбрайд. — Мое дело — следить за порядком, а не нарушать его. Ничего не замечаете? — добавил он, когда они повернули вверх по лестнице.

На внутренней стороне металлической дверцы Йоссарян увидел теперь два мощных запора, один пружинный, а другой представлял собой засов. А над запорами под лаковым прямоугольником он увидел белые буквы на алом фоне в тонкой серебряной рамочке:

ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД
ВХОД ЗАПРЕЩЕН
В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ ЭТА ДВЕРЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАКРЫТА
И ЗАПЕРТА НА ЗАСОВ

Йоссарян почесал в затылке.

— А с этой стороны кажется, будто они никого не хотят выпускать отсюда, а?

— Или впускать.

Выходя наружу, он сказал себе, что он бы сказал, что это старое бомбоубежище, не показанное на старых планах. Когда Макбрайд тихо закрыл пожарную дверь и добросовестно погасил свет, чтобы все было так, как до их прихода, он признался, что у него нет объяснения увиденному и услышанному. Откуда эти собаки, эти звуки, издаваемые сторожевыми собаками-убийцами?

— Наверно, чтобы отпугнуть людей, как того наркомана и нас с вами. Зачем вам было нужно, чтобы я это увидел?

— Чтобы вы знали. Мне кажется, вы знаете все.

— Этого я не знаю.

— И потом, вы — человек, которому я верю.

По доносившимся сверху голосам они поняли, что на лестнице стало многолюднее. Они ясно слышали похабный смех, вялые приветствия, ругательства; они почувствовали запах горелых спичек, наркотиков и сожженных газет, они услышали, как бьется бутылочное стекло, они услышали, как этажом выше мочится мужчина или женщина, и запах мочи тоже ударил им в ноздри. На верху нижнего пролета сидела одноногая белая женщина, которую они видели раньше; она пила вино с черным мужчиной и

двумя черными женщинами. На ее лице застыло тупое выражение, и говорила она заторможенно, теребя покоящейся на колене рукой свою ярко-розовую комбинацию. Рядом с ней на лестнице лежали ее деревянные костыли, старые и поколотые, ущербные и побитые.

«Она достает себе кресло-каталку, — рассказал еще раньше Макбрайд, — потом это кресло у нее крадут. Потом друзья крадут для нее кресло у кого-нибудь другого. Потом у нее крадут и это ворованное».

На сей раз Макбрайд не стал подниматься по лестнице, а направился наружу, и Йоссарян оказался на пешеходной дорожке; они пошли по подземному этажу мимо автобусов, въезжающих на пандус, где звуки выхлопов и работающих двигателей были слышнее, а воздух был насыщен дизельными газами и запахом горячей резины; они миновали посадочные площадки дальних рейсов на Эль-Пасо и Сент-Пол, где можно было пересесть на другие автобусы, направляющиеся еще дальше — на север, в Канаду, или на юг через всю Мексику в Центральную Америку.

Макбрайд, испытывавший администраторское удовлетворение от эффективной работы автовокзала, так и сыпал цифрами: пятьсот посадочных

площадок, шесть тысяч восемьсот автобусов и почти двести тысяч пассажиров в день. «Работа не прекращается ни на секунду, — поспешил заверить он, — и это самое главное, разве не так?»

Йоссарян не был уверен.

Эскалатор поднял их обратно на главный этаж. Проходя мимо диспетчерского центра связи, они окинули смущенными взглядами шлюх мужского и женского рода, уже кучковавшихся в излюбленных местах, где число этих жалких и лукавых созданий будет все увеличиваться, а стайки их будут все разрастаться, словно молекулы в человеческом обличье, притянутые массой вещества, от которой они не могут и не хотят оторваться. Они прошли мимо съежившейся черной женщины в тапочках с развязанными шнурками; она стояла у столба между киосками лотереи штата Нью-Йорк и Лотто, держа в руке грязную бумажную шапочку, и бесстрастно тянула: «Пятнадцать центов. Дайте пятнадцать центов. Какой-нибудь еды? Объедков?» Седоволосая обрюзгшая женщина в зеленом шотландском берете, зеленом свитере и юбке, с язвами на заляпанных грязью ногах радостно и фальшиво напевала ирландскую песенку, рядом с ней на полу спал немытый подросток, а стройный шо-

коладного цвета высокий человек с безумными глазами, безукоризненно чистый, казавшийся гибким, как тростинка, и говоривший с карибским акцентом, проповедовал о спасении христиан коренастой черной женщине, которая кивала ему, и тощему белому южанину, который слушал, закрыв глаза, и то и дело прерывал проповедника выкриками восхищенного согласия. Недалеко от полицейского участка Йоссарян с капризным злорадством вспомнил о том, что собирался кое о чем расспросить своего опытного проводника.

— Макбрайд?

— Йоссарян?

— Я тут разговаривал с друзьями. Они хотят устроить свадьбу здесь, в автовокзале.

Макбрайд от удовольствия зарделся.

— Конечно. Прекрасная мысль. Да, Йо-Йо. Я мог бы взяться за дело и помочь кое в чем. Мы могли бы устроить для них очень милую свадьбу, думаю, что смогли бы. Эта камера для ребят у меня пока еще пустует. Из нее мы могли бы сделать часовню. И, конечно же, рядышком у меня найдется кровать для первой брачной ночи. Мы могли бы устроить для них шикарный свадебный завтрак в одном из буфетов и, может быть, купить им

несколько лотерейных билетов на счастье. Что тут смешного? Почему им это не подойдет?

Йоссарян целую минуту не мог унять душивший его смех.

— Нет, Ларри, нет, — объяснил он. — Я говорю о большой свадьбе, гигантской. Высшее общество, сотни гостей, лимузины на автобусных пандусах, репортеры и телевизионные камеры, этаж под танцы и большой оркестр, может быть, два этажа под танцы и два больших оркестра.

— Йо-Йо, вы сошли с ума? — Теперь от смеха давился Макбрайд. — Совет директоров не разрешит этого.

— Эти люди знают совет директоров. А директора будут приглашены на свадьбу. И мэр, и кардинал, и, может быть, даже новый президент. Люди из секретной службы и сотни полицейских.

— Если здесь будет президент, то нам позволят спуститься туда вниз и все обследовать. Секретная служба потребует этого.

— Конечно, вы и это сможете сделать. Это будет свадьба века. Ваш автовокзал станет знаменитым.

— Придется освободить все помещение! Остановить движение автобусов!

— Нет-нет, — Йоссарян покачал головой. — Автобусы и толпы людей будут частью развлечения. Все попадет в газеты. Может быть, ваша с Макмагоном фотография где-нибудь в зале, если мне удастся вас удачно расположить.

— Сотни гостей? — громко и взволнованно повторил Макбрайд. — Оркестр и этаж под танцы? И лимузины?

— Может быть, полторы тысячи! Они могли бы парковаться на автобусных пандусах и в гаражах наверху. Поставщики провизии и торговцы цветами, официанты и бармены. Они могли бы спускаться и подниматься по эскалаторам под музыку. Я мог бы переговорить с оркестрантами.

— Это невозможно! — заявил Макбрайд. — Все пойдет наперекосяк. Это будет не свадьба, а катастрофа.

— Отлично, — сказал Йоссарян. — Это как раз то, что мне надо. Узнайте все для меня, пожалуйста. Прочь с дороги!

Последняя фраза была обращена к лоснящемуся латиноамериканцу перед ним, соблазнительно помахивающему ворованной кредитной карточкой Американ Экспресс; латиноамериканец улыбался с вкрадчивой и оскорбительной фамильярностью и радостно тянул:

— Только что украдена, только что украдена! Не уходите без нее. Можете проверить, можете проверить!

Новых сообщений о мертвых новорожденных младенцах в участок не поступало, и полицейский за столом обратился к Макбрайду с наглой шуткой:

— И о живых тоже.

— Ненавижу этого типа, — пробормотал Макбрайд, побагровев от чувства неловкости. — Он тоже считает, что я сумасшедший.

Макмагона куда-то срочно вызвали, и Майкл, который закончил свой незаконченный рисунок, мимоходом спросил:

— Где вы были?

— На Кони-Айленде, — весело ответил Йоссарян. — И знаешь, Килрой там уже побывал.

— Килрой?

— Правда, Ларри?

— Кто такой Килрой? — спросил Майкл.

— Макбрайд?

— Йоссарян?

— Как-то раз в Вашингтоне я отправился поискать одно имя во Вьетнамском мемориале, где записаны имена всех погибших. Там был и Килрой, человек по фамилии Килрой.

— Тот же самый?

— Откуда мне знать, черт возьми.

— Я это выясню, — пообещал Макбрайд. — И давайте подробнее обсудим эту свадьбу. Может быть, у нас все получится. Я думаю, получится. Я и это выясню.

— Что это за свадьба? — требовательно спросил Майкл, когда они вышли из участка и направились к выходу из автовокзала.

— Не моя, — рассмеялся Йоссарян. — Я слишком стар, чтобы жениться еще раз.

— Ты слишком стар, чтобы жениться еще раз.

— Именно это я и сказал. А ты, наверно, все еще слишком молод? Женитьба, может быть, — дело не очень хорошее, но и не всегда такое уж плохое.

— Вот теперь ты говоришь слишком много.

Йоссарян выработал свои правила протискивания через толпу нищих: ежедневно он заготовлял и засовывал в карман пачку денег, выдавая из нее по доллару тем, у кого был робкий вид, и тем, у кого вид был угрожающий. Плотный человек с красными веками и тряпочкой в руках предложил Йоссаряну за доллар протереть очки или разбить их на мелкие кусочки, если Йоссарян откажется. Йоссарян дал ему два доллара и спря-

тал очки в карман. В этой живущей по своим законам зоне свободного предпринимательства самые удивительные вещи казались вполне обыденными. Он знал, что над ним висит смертный приговор, но попытался преподнести это известие Майклу эвфемистически.

— Майкл, я хочу, чтобы ты закончил юридический колледж, — серьезно и решительно сказал он.

Майкл отшатнулся от него.

— Па, черт побери, не хочу я этого. К тому же это дорого. Со временем, — продолжил он после удрученного молчания, — я бы хотел заняться какой-нибудь стоящей работой.

— Знаешь что? Я заплачу за учебу.

— Ты меня не поймешь, но я не хочу чувствовать себя паразитом.

— Пойму. Именно поэтому я и сам бросил сферу обслуживания, валютные спекуляции, игру на бирже, арбитраж и инвестиции. Майкл, я тебе обещаю еще есть семь лет крепкого здоровья. Но это максимум того, на что ты можешь рассчитывать.

— А что будет потом?

— Спроси Арлин.

— Кто такая Арлин?

— Женщина, с которой ты живешь. Разве ее не так зовут? С кристаллами и гадальными картами.

— Ее зовут Марлин, и она уже не живет со мной. А что будет со мной через семь лет?

— Со мной, остолоп. Мне будет семьдесят пять. Майкл, мне уже шестьдесят восемь. Я тебе гарантирую еще семь лет моего крепкого здоровья, и за эти семь лет ты должен научиться жить без меня. Если не научишься, ты — конченый человек. После этого я тебе ничего не могу обещать. Без денег жить нельзя. К деньгам привыкаешь, стоит только раз попробовать. Люди воруют, чтобы добыть денег. Каждому из вас после вычета налогов я смогу оставить не больше пятисот тысяч.

— Долларов? — Майкл чрезвычайно оживился. — Да это же целое состояние!

— При восьми процентах, — меланхолично сказал Йоссарян, — ты будешь получать сорок тысяч годовых. По крайней мере треть пойдет на налоги, и у тебя будет оставаться двадцать семь тысяч.

— Но это же гроши! На такие деньги мне не прожить!

— Я тоже это знаю. Поэтому-то я и говорю так много. Что ждет тебя в будущем? Ты видишь

что-нибудь впереди? Посторонись-ка.

Они уступили дорогу молодому человеку в тапочках, который улепетывал от дюжины полицейских, бежавших с не меньшей скоростью и окружавших его, Потому что он только что зарезал кого-то в другом конце автовокзала. Среди полицейских, топая тяжелыми черными ботинками, бежал Том Макмагон, у которого от натуги был жуткий вид. Увидев, что путь вперед ему отрезан, проворный парень оставил их всех с носом, сделав крутой вираж и нырнув на ту самую пожарную лестницу, по которой недавно спускались Йоссарян и Макбрайд, и вероятно, принялся фантазировать Йоссарян, теперь уже никогда не появится на свет Божий, или еще того лучше — уже вернулся на этот этаж и как ни в чем не бывало следует за ними в своих тапочках. Они прошли мимо сидящего на полу человека, который спал в лужице собственной мочи, потом мимо еще одного бесчувственного подростка, а потом дорогу им преградила костлявая женщина лет сорока с жесткими светлыми волосами и похожим на кровавую рану ртом.

— Хотите отжариться за никель, мистер? — предложила она.

— Пожалуйста, — сказал Йоссарян, делая шаг

в сторону.

— Хотите отжариться за никель каждый? Можете отжариться одновременно за никель каждый. Папашка, можете отжариться оба за один никель.

Майкл с натянутой улыбкой пытался увильнуть от нее. Она уцепилась за рукав Йоссаряна и не выпускала его.

— Хочешь, отсосу?

Йоссарян в смертельном ужасе вырвал руку. Лицо у него горело. И Майкл был поражен, увидев, как потрясен его отец.

10
ДЖОРДЖ К. ТИЛЬЮ

Глубоко под землей Джордж К. Тилью, предприниматель с Кони-Айленда, умерший почти восемьдесят лет назад, сидя за шведским бюро, считал свои деньги и пребывал на верху блаженства. Его капитал никогда не уменьшался. Перед глазами у него находились посадочная и конечная площадки русских горок, которые он взял с собой из своего парка аттракционов «Стиплчез». Рельсы, поднимающиеся к точке, откуда начинался самый крутой спуск, и исчезающие из вида в занимаемом им похожем на пещеру тунеле, выглядели как новенькие. Он исполнялся гордостью, взирая на свою замечательную карусель, на «Эльдорадо». Сооруженная в Лейпциге для германского кайзера Вильгельма II, она, возможно, все еще была лучшей каруселью в мире. Три платформы с лошадьми, гондолами, резными утками и поросятами вращались каждая со своей скоростью. Нередко он запускал «Эльдорадо» без людей, только для того, чтобы получше рассмотреть отражения в серебряных зеркалах

сверкающего осевого цилиндра и упиться зычным голосом каллиопы, который, как любил он шутить, был для его ушей прекраснее любой музыки.

Он переименовал русские горки в «Ущелье дракона». В другом месте парка у него была «Пещера ветров», а у входа вертелась «Бочка смеха», в которой неумелые, ступив на крутящееся днище, сразу падали на колени, а потом, сбившись в беспорядочную кучу, натыкались друг на друга, пока не отползали к малому радиусу или пока им не помогали служители или более искушенные посетители аттракциона. Тот, кто знал как, мог пройти по кругу без всяких неприятностей, выбрав путь по пологой диагонали и против направления вращения, но это было совсем не интересно. Можно было упорно шагать вверх по уходящему вниз основанию, никуда не попадая и вечно оставаясь на одном месте, но это тоже было не очень интересно. Зрители обоих полов с особым удовольствием любили смотреть на страдания хорошеньких дамочек, которые, пытаясь удержаться на ногах, обеими руками прижимали к бедрам юбки в те дни, когда брюки еще не получили признания как благопристойная часть женского одеяния.

Он помнил, как в качестве выдающегося представителя и менеджера аттракционного бизнеса утверждал: «Если Париж — это Франция, то Кони-Айленд между июнем и сентябрем — это весь мир».

Деньги, которые он пересчитывал каждый день, никогда не испортятся и не состарятся. Его наличность была не уничтожима и никогда не могла потерять свою ценность. За его спиной поднимался литой стальной сейф, который был выше, чем его владелец. У него были охранники и служители из прежних дней, одетые в красные куртки и зеленые жокейские шапочки из прежних дней. Многие из них были его друзьями с самого начала и провели с ним целую вечность.

Проявив сверхъестественные упорство и вдохновение, он бросил вызов экспертам, своим юристам и своим банкирам, опроверг их доводы и успел в***о***время забрать все с собой, удержать все, чем он особенно дорожил и что хотел сохранить. По завещанию он оставил своей вдове и детям достаточное наследство. Свидетельства о владении, долговые обязательства и большие суммы наличности были по его распоряжению замурованы в водонепроницаемый, не подверженный гниению ящик, и погребены вместе с ним в его

склепе на бруклинском кладбище Грин-Вуд, а на его надгробье была сделана надпись:

ЗДЕСЬ
ПОХОРОНЕНЫ МНОГИЕ НАДЕЖДЫ

Пока наследники и душеприказчики спорили друг с другом и с чиновниками налоговой службы, парк аттракционов Стиплчез («Лучшее из мест») неумолимо по частям исчезал с лица земли, остался только фаллической формы остов обанкротившейся парашютной вышки, которая появилась много лет спустя после его смерти и как аттракцион была бы отвергнута им. Вышка была ручной и предсказуемой, она не пугала и не щекотала посетителей или зрителей. Мистер Тилью любил аттракционы, которые ошарашивали людей, приводили их в замешательство, уничтожали человеческое достоинство, швыряли ошеломленных юношей и девушек в объятия друг другу, а при удачном стечении обстоятельств выставляли напоказ оголенную икру или нижнюю юбку, а иногда даже женские трусики, к удовольствию такой же, как и потерпевшие, публики, которая смотрела на комедию их полной, нелепой беспомощности с радостью и смехом.

Мистер Тилью всегда улыбался, вспоминая

надпись на своем надгробье.

Он теперь вспоминал и никак не мог назвать хоть что-нибудь, чего у него не было. Теперь у него были вторые русские горки — «Торнадо». Он слышал, как где-то там, над головой, беспрестанно останавливаются и отправляются поезда подземки, которые в летние воскресенья привозили на берег стотысячные толпы, слышал он и фырчанье автомобильных моторов и более крупных транспортных средств, спешащих туда-сюда. С уровня чуть выше доносились до него журчание и плеск воды в канале (он не забыл взять с собой свои плоскодонки и открыл под землей свой «Туннель любви»). Были у него здесь «Кнут» и «Водоворот», которыми он похлестывал и расшвыривал клиентов, «Человеческий биллиард» с вертикальным спуском и вращающимися дисками, раскидывавшими в разные стороны людей, которые, получая необъяснимое удовольствие, визжали и молились о том, чтобы это поскорее кончилось. Для доверчивых он подвел электрический ток к железным перильцам, а для нормальных людей установил кривые зеркала, которые деформировали их в веселых и смешных монстров. Была у него и ухмыляющаяся, розовощекая торговая марка, демоническое плоское

лицо с плоской головой, расчесанными на пробор волосами и широким ртом, полным квадратных зубов, похожих на белые кирпичи; увидев эту марку в первый раз, люди отшатывались в недоумении, но во второй — уже принимали ее с добродушным юмором, как нечто само собой разумеющееся. С какого-то неизвестного уровня снизу постоянно доносился до него размеренный шум движущихся вагонов, колеса которых крутились денно и нощно, но это не вызывало у него никакого любопытства. Его интересовало только то, чем он мог владеть, а желал он владеть только тем, что мог видеть и чем мог управлять простейшим поворотом рукоятки или нажатием кнопки. Он любил запах электричества, хрустящее потрескивание электрических разрядов.

Денег у него было больше, чем он мог истратить. Он никогда не верил в трестирование трестов и не видел никакого проку в фондировании фондов. Теперь к нему регулярно наведывался Джон Д. Рокфеллер выпросить десятицентовик или выклянчить разрешение прокатиться бесплатно; искал его благосклонности и Дж. П. Морган, который вручил свою душу Господу, не сомневаясь, что она будет с восторгом принята и обласкана. Почти не имея к существованию средств, не

имели они к нему и особых стимулов. Их дети не присылали им ничего. Мистер Тилью мог бы им давно это сказать, часто говорил им мистер Тилью. Без денег жизнь могла быть кошмаром. Мистер Тилью всегда подозревал — для бизнеса всюду найдется место, и он мог бы им давно это сказать, говорил он им.

Он выглядел щеголем, одевался с иголочки, был опрятен и всегда в форме. Его шляпа, его котелок, которым он гордился, висел безукоризненно чистый на крюке вешалки. Теперь он каждый день надевал белую рубаху со стоячим воротничком, широкий, идеально завязанный и аккуратно заправленный под жилетку галстук, а кончики его тонких каштановых усов были обязательно нафабрены.

Его первым большим успехом было чертово колесо в половину размера того, что привлекло его внимание в Чикаго, и он дерзко провозгласил свое — еще не достроенное — самым большим в мире. Он украсил его ослепительными гирляндами из сотен недавно изобретенных мистером Эдисоном лампочек накаливания, и зачарованные посетители были вне себя от восторга.

«Я в жизни не обманул ни одной души, — любил заявлять он, — и не отпустил ни одного

простофилю, не обобрав его».

Ему нравились аттракционы, в которых посетители возвращались в ту точку, откуда начинали. Ему казалось, что в природе все — от самого малого до самого грандиозного — движется по кругу и возвращается в свою исходную точку, может быть, для того, чтобы начать все снова. Он находил, что люди смешнее стаи обезьян, и любил разыгрывать их с учетом людских особенностей, ставя в безобидно-неловкие ситуации, которые всем доставляли удовольствие и за которые все готовы были платить: шляпа, сорванная потоком воздуха, или юбка, вздувшаяся вдруг на плечи, двигающиеся полы и складывающиеся лестницы, перепачканная помадой парочка, вернувшаяся на свет из темного туннеля любви и недоумевающая — почему это все, увидев их, трясутся от смеха, и недоумение их длится до тех пор, пока какой-нибудь любитель непристойных шуток не огласит принародно причину всеобщего веселья.

И он по-прежнему владел своим домом. Мистер Тилью жил когда-то на Серф-авеню напротив своего парка аттракционов «Стиплчез»; у него был просторный деревянный дом с ведущей к нему узкой дорожкой и невысокими каменными ступеньками; казалось, что все это после его смерти

начало уходить в землю. На вертикальной части нижней ступеньки камнерез высек его фамилию — ТИЛЬЮ. Обитатели квартала, направлявшиеся в кинотеатр или на станцию подземки, первыми по положению букв в фамилии сделали вывод о том, что ступеньки, кажется, оседают. К тому времени, когда дом исчез, никто уже не обращал внимания на еще один свободный участок в трущобном районе, пережившем свой расцвет.

К северной оконечности узкой полоски земли, составлявшей Кони-Айленд, который на самом деле вовсе не был островом, а представлял собой косу длиной около пяти миль и шириной в полмили, примыкал залив, называвшийся Грейвсенд-Бэй. Расположенная там красильная фабрика потребляла много серы. Старшие мальчишки подносили горящие спички к желтым холмикам, образовывавшимся возле здания фабрики, и, словно зачарованные, смотрели, как эти холмики тут же схватывались голубоватым пламенем, выделяя серный запах. Неподалеку находилась изготовлявшая лед фабрика, которая стала однажды сценой эффектного вооруженного ограбления; налетчики скрылись на быстроходном катере, исчезнувшем в водах Грейвсенд-Бэй. Так еще до появления доступных домашних хо-

лодильников здесь были огонь и лед.

Огня здесь всегда побаивались, и на Кони-Айленде регулярно вспыхивали сильные пожары. Прошло всего несколько часов с того момента, как первый парк аттракционов мистера Тилью был уничтожен огнем, а предприимчивый хозяин уже развесил рекламные щиты, зазывавшие на его новейший аттракцион — пожар на Кони-Айленде, и продавцы билетов не успевали взимать входную плату в десять центов с рвущихся попасть в разоренный парк и посмотреть на дымящиеся руины. Как это он сам не додумался до этого, сокрушался Дьявол. Даже Сатана называл его мистер Тилью.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

11
ЛЮ

Мы с Сэмми поступили в армию одновременно. Нас было четверо. И всех нас отправили за океан. И все мы вернулись домой, хотя я и побывал в плену, а самолет Сэмми один раз был сбит и упал в воду, а в другой раз совершил аварийную посадку, потому что забывчивый пилот, которого звали Заморыш Джо, забыл о существовании запасного рычага выпуска шасси. Сэмми говорит, что никто не пострадал, а Заморыша Джо наградили медалью. Такие прозвища прилипчивы. Милоу Миндербиндер служил офицером по столовой, и тогда он вовсе не был таким уж большим героем, какого строит из себя сегодня. Командиром эскадрильи у Сэмми был майор Майор, которого невозможно было найти, когда кто-нибудь хотел его видеть; был у него и бомбардир, которого звали Йоссарян, и Сэмми говорит, что этот Йоссарян мне бы понравился. После того как один парень в их самолете истек кровью и умер, Йоссарян снял с себя форму и даже на похороны пошел голым и сидел там на дереве, так Сэмми говорит.

Мы решили записаться добровольцами и поехали подземкой на Манхеттен в огромный призывной пункт, располагавшийся на вокзале Грэнд-Сентрал. В эту часть города большинство из нас почти никогда не наведывалось. На призывном пункте мы прошли медицинский осмотр, о котором были наслышаны от призванных раньше старших ребят. Мы вертели головой и кашляли, показывали головку члена, нагибались и растягивали руками ягодицы, не понимая, чего они там ищут. От наших дядюшек и тетушек мы слыхали о геморроях, но так толком и не знали, что это такое. Психиатр, говоривший со мной наедине, спросил, нравятся ли мне девушки. Я ответил, что они мне так нравятся, что я их трахаю.

Он с завистью посмотрел на меня.

Сэмми тоже нравились девчонки, только он ничего не умел с ними делать.

Нам исполнилось по восемнадцать, и если бы мы дождались до девятнадцати, то нас все равно призвали бы по набору, так сказал ФДР, а мы так это и объяснили нашим родителям, которые не очень-то хотели нас отпускать. Мы читали о войне в газетах, слышали о ней по радио, смотрели про нее шикарные фильмы, сделанные в

Голливуде, и нам казалось, что отправиться на войну лучше, чем вкалывать на отцовском складе утиля, как это делал я, или торчать в тесной клетушке страховой компании, как Сэмми, или, как Уинклер, в табачной лавке, которая служила крышей для букмекерских операций его отца. В конечном счете, для меня и большинства из нас оно и обернулось лучше.

Вернувшись на Кони-Айленд с призывного пункта, мы отпраздновали этот день хот-догами и отправились кататься на русских горках — «Торнадо», «Циклоне» и «Молнии». Мы прокатились на большом колесе обозрения, хрустя глазированным попкорном и глядя в сторону океана — в одном направлении, а в сторону Грейвсенд-Бэй — в другом. Мы топили субмарины и сбивали самолеты в дешевых игорных залах, а потом ринулись в парк «Стиплчез», где покрутились в бочках, повращались в «Водовороте» и «Человеческом бильярде», половили колечки на большой карусели, самой большой карусели на острове. Мы прокатились на плоскодонке по «Туннелю любви», издавая громкие и непристойные крики, чтобы рассмешить других.

Мы знали, что в Германии есть антисемитизм, но мы не знали, что это такое. Мы знали, что они

делают с людьми что-то плохое, но не знали, что именно.

Тогда мы не очень много знали и о Манхеттене. Если мы и ездили в центр, то, в основном, в «Парамаунт» или «Рокси» послушать большие оркестры и посмотреть новые фильмы, которые в нашем районе шли с опозданием на шесть месяцев в «Кони-Айленд» Лоува или в «РКО» Тилью. Большие кинотеатры на Кони-Айленде были в те времена безопасны, прибыльны и удобны. Теперь они обанкротились и больше не работают. Некоторые старшие ребята иногда по субботам возили нас на своих машинах на Манхеттен в джаз-клубы на Пятьдесят второй улице или в Гарлем послушать музыку в цветных дансингах или театрах или купить марихуану, дешево поесть мяса на ребрышках, а при желании потрахаться и отсосаться за доллар, но я в этом почти не участвовал, даже если речь шла только о музыке. Как только началась война, многие принялись делать деньги; и мы тоже. После войны точно так же отсосаться и получить все остальное можно было прямо здесь, на Кони-Айленде, где свои услуги стали предлагать белые девчонки из еврейских семей; эти девчонки успели пристраститься к героину и повыходили замуж за

местных наркоманов, у которых тоже не было денег, только цена теперь была уже два доллара, и больше всего дохода приносили им маляры, штукатуры и другие рабочие, приезжавшие из других районов, они не ходили в школу с этими девчонками, и им было наплевать. Некоторые ребята из моей компании, например, Сэмми или Великолепный Марвин Уинклер, сынишка букмекера, начали курить марихуану еще до войны, и если уж ты знал, как пахнет эта штуковина, то всегда мог учуять этот запах, сидя на местах для курящих в кинотеатрах Кони-Айленда. Этими вещами я тоже не занимался, и мои дружки никогда не закуривали в моем присутствии своих начиненных марихуаной сигарет, хотя я им и говорил, пусть себе курят, если хотят.

«А что проку? — канючил Уинклер, прикрывая свои красные глаза. — Ты мне весь кайф портишь».

Один деятель по имени Тилью, который, наверно, был уже мертв, стал для меня примером для подражания, когда я о нем узнал. Когда все вокруг были бедны, он владел кинотеатром, он владел большим парком аттракционов «Стиплчез» и собственным домом напротив парка, и я думал, что это все разные люди, и лишь совсем

недавно, когда все они уже давно померли, и Джордж Тилью тоже, я узнал, что это один человек, о чем мне поведал Сэмми во время одного из своих благотворительных визитов. Сэмми стал частенько к нам наведываться после того, как его жена умерла от рака яичника, и он не знал, куда себя девать по выходным, а особенно часто он заходил после моей очередной выписки из больницы, когда мне и самому нечего было делать, кроме как бездельничать и набираться сил после их облучений и химиотерапии. А в промежутках между больницами я мог себя чувствовать, как огурчик, и снова был сильным, как бык. Когда мне становилось худо, я ложился в городскую больницу на Манхеттене к онкологу по имени Деннис Тимер и проходил у них курс лечения. Если же я чувствовал себя нормально, все было замечательно.

Теперь это уже перестало быть тайной, и все знают, что у меня такая болезнь, услышав о которой другие бегут, как от огня. Мы никогда не называем ее, мы даже говорим о ней как о чем-то таком ничтожном, у чего и названия-то нет. Даже на приемах у врачей мы с Клер никогда не называем ее. Я не хочу спрашивать Сэмми, но я уверен, что сколько много мы бы ему ни врали

все эти годы, он обо всем знает, *сколько* бы ни врали, поправил бы он меня, как он это всегда делает, если я ему позволяю. Иногда я и помню, как правильно, но, чтобы подразнить его, все равно говорю с ним так, как мне нравится, *сколько много* он бы меня ни поправлял.

— Тигр, я знаю, как надо, — смеясь, говорю я ему. — Ты думаешь, я все еще зеленый мальчишка? Я ж над тобой издеваюсь, как хочу. *Сколько много* раз нужно повторить, чтобы ты это наконец понял?

Сэмми — парень толковый и замечает всякие мелочи, как, например, имя Тилью или шрам у меня на губе, пока я не отпустил здоровенные, пушистые усы, чтобы спрятать его, или не отрастил сзади оставшиеся у меня волосы, чтобы закрыть следы разрезов и синие метки ожогов на лимфатических узлах. Может быть, я много потерял в жизни из-за того, что не учился в колледже, но меня никогда туда не тянуло, и думаю, я не потерял ничего такого, что было бы для меня важным. Разве что девчонок, которые там учились. Но недостатка в девчонках у меня и так не было. Я их никогда не боялся, я знал, как их добиваться, как с ними говорить, как получать от них удовольствие, и от тех, что постарше, тоже. Сэмми

мне сказал, что я всегда был полон либидо.

— Ладно, тигр, я не спорю, — ответил я. — Только ты мне скажи, что это значит.

— Ты весь был как один сплошной член, — сказал он так, будто ему нравилось меня оскорблять, — и никаких конфликтов.

— Конфликтов?

— У тебя никогда не было проблем.

— У меня никогда не было проблем.

У меня никогда не было сомнений. Моя первая, по имени Блоссом, была постарше меня, и жила она в соседнем квартале. Моя вторая была постарше меня, мы звали ее Грелка. Еще одну девушку я заарканил в страховой компании, когда там работал Сэмми, она тоже была старше и знала, что я моложе, но все равно лезла ко мне еще и еще и подарила мне две рубашки на Рождество. Вспоминая теперь те годы, я думаю, что получал всех девушек, которых хотел. Ведь с девушками — как и со всем остальным — я обнаружил, что даже в армии, если ты даешь людям понять, чего хочешь, и они видят твою уверенность в себе, то они скорей всего не будут тебе мешать. Когда я был еще капралом в Европе, мой сержант стал понемногу позволять мне принимать все решения за нас двоих. Вот кого у меня никогда не было, так это

студенток, таких, которых показывали в кино. До войны никто из наших знакомых не учился в колледже и даже не помышлял об этом. А вот после войны все стали учиться. Те девушки из журнала «Тайм», с которыми я знакомился через Сэмми до того, как он женился, да и после, не всегда находили меня таким привлекательным, каким я, по моему мнению, должен был им казаться, а потому я стал их избегать, чтобы не смущать Сэмми, и даже его жена, Гленда, в отличие от наших знакомых в Бруклине и Орандж-Вэлли, поначалу ничего такого не находила во мне или Клер. Клер считала, что Гленда задается, потому что она не еврейка и не из Бруклина, но потом выяснилось, что все совсем не так. Когда к нам стали приходить болезни, сначала ко мне, потом к ней, мы все здорово сблизились, и даже еще раньше, когда их парнишка, Майкл, наложил на себя руки. Мы были той супружеской парой, с которой им было легче всего, а Клер она могла доверить почти все.

На Кони-Айленде, на Брайтон-Бич и всюду у меня всегда были девушки, столько, сколько мне хотелось, и я даже мог находить их для других, даже для Сэмми. В особенности в армии — в Джорджии, Канзасе и Оклахоме; и замужние тоже, у

которых мужья были в отлучке. Правда, с такими уже после мне было вроде как неловко, но все же я никогда не упускал своего и всегда хорошо проводил время. «Только ты не вставляй», — пытались они иногда уговорить меня, но я делал все, как мне было надо и к обоюдному удовольствию. В Англии, до того как нас перевезли в Европу, девушек у меня перебывало видимо-невидимо. В Англии во время войны каждый американец мог отжариться, даже Эйзенхауэр, а иногда и во Франции, в деревне или на ферме, когда мы быстро шли с боями вперед, пока нам не пришлось отходить назад и меня взяли в плен вместе со многими другими, а потом я узнал, что все это называлось Бюльжская битва. Вот только в Германии ничего такого не было, хотя и там у меня чуть было не получилось в Дрездене, где я военнопленным работал на фабрике жидких витаминов. Мы делали сиропы для беременных немецких женщин, которым нужно было питаться, а есть было нечего. Это было уже в конце войны, и я тогда ненавидел немцев сильнее, чем прежде, но должен был не показывать виду. Даже там я мог бы трахаться, потому что был на короткой ноге с охраной и мог найти себе какую-нибудь польку или еще кого-нибудь из пригнанных туда

на работы; мне ничего не стоило договориться с кем-нибудь из охраны, с кем у меня были самые хорошие отношения, — они все были или старики, или покалеченные на русском фронте, — и они закрыли бы глаза, чтобы я ненадолго проскользнул в комнату или чуланчик с кем-нибудь из женщин. Эти женщины не то чтобы рвались, но, казалось, особо и не возражали, а потом в одну ночь всего этого не стало, в ту ночь была страшная бомбежка, и все вокруг сровняли с землей за одну ночь, и все женщины тоже исчезли. Другие ребята думали, будто я спятил, что так кобелюсь, но нужно же было хоть чем-то занять время, пока война не кончилась и нас не отправили домой. Англичане из команды военнопленных никак не могли меня понять. Охранники тоже устали и даже начали получать удовольствие от моих выходок. Они знали, что я — еврей. Я всем об этом трезвонил.

— Herr Reichsmarschall,[5] — так я называл всех немецких солдат; это стало моей постоянной шуткой, когда мне нужно было говорить с ними, если я переводил или что-то просил. «Сраный Фриц», — так я называл их про себя уже без вся-

---

[5] Примечания: 5
Господин рейхсмаршал. (*нем.*).

ких шуток. Или «нацистский ублюдок».

— Herr Rabinowitz, — отвечали они с шутливым почтением.

— Mein Name ist Lew,[6] — добродушно, в тон им, отвечал я. — Так меня и называйте.

— Рабиновиц, ты с ума сошел, — говорил мне мой помощник Воннегут из Индианы. — Доиграешься до того, что тебя угрохают.

— Вы что, не хотите повеселиться? — пытался я подбодрить их всех. — Как вы можете выносить такую скуку? Спорим, я смогу устроить здесь танцы, если уговорю их принести сюда музыку.

— Только без меня, — говорил один старик по имени Швейк. — Я хороший солдат.

Оба этих парня знали немецкий лучше меня, но Воннегут был робок и застенчив, а Швейк, все время жаловавшийся на геморрой и боли в ногах, не хотел, чтобы его впутывали.

Как-то мы узнали, что в город приезжает цирк. Мы видели афиши, когда шли работать на пищевую фабрику из отведенного нам жилья в укрепленном подвале, который когда-то был подземным хранилищем при бойне, когда у них еще был скот, чтобы его забивать. К тому време-

---

[6] Примечания: 6
Меня зовут Лю. (*нем.*).

ни охранники уже трусили больше нашего. По ночам мы слышали, как над нами пролетают самолеты из Англии, направляясь к военным объектом неподалеку. А иногда мы с удовольствием слушали, как где-то поблизости рвутся сотни бомб. А еще мы знали, что с востока наступают русские.

Когда я увидел эти веселенькие афишки, мне в голову пришла прекрасная мысль.

— Давайте поговорим со старшим охранником, может быть, и нам удастся попасть на представление. И женщинам тоже. Нам нужно передохнуть. Я сам с ним поговорю. — Эта возможность привела меня в возбужденное состояние. — Давайте попытаемся.

— Только без меня, — сказал этот хороший солдат Швейк. — На неприятности я могу нарваться и без цирка, даже если буду делать только то, что мне говорят.

Работавшие с нами женщины были исхудалыми, оборванными и такими же грязными, как мы, и, наверно, ни в ком из нас не осталось даже мыслей о сексе. И я тоже похудел, и почти все время у меня был понос, но я думал, что было бы здорово оттянуться хоть разик, чтобы потом дразнить Клер или хвастаться теперь. Я мог бы,

конечно, и соврать, только я не люблю врать.

Мы с Клер поженились еще до моей демобилизации, сразу после того как мне в Форт-Дике вырезали двойную грыжу, когда я вернулся из Европы и немецких тюрем, и я тогда просто до белого каления дошел из-за этих двух немецких военнопленных в Нью-Джерси, потому что они похотливо поглядывали на Клер и говорили что-то по-немецки, когда она дожидалась меня и мы еще были обручены.

Впервые я увидел их в Оклахоме, я имею в виду немецких пленных, и я тогда глазам своим не поверил. Они были на улице, с лопатами в руках, и выглядели на этой большой армейской базе лучше, чем мы, и веселее. Это у них называлось войной? Я думал иначе. Я считал, что военнопленные должны сидеть в тюрьме, а не весело разгуливать под открытым небом и отпускать в наш адрес разные шутки. Я на них сильно рассердился. Их сопровождала пара расхлябанных солдатиков, они явно томились от безделья, а винтовки несли, словно это были гири. Предполагалось, что фрицы должны работать, но они себя вовсе не утруждали. Там повсюду были и заключенные-американцы, посаженные за самоволку, и их в наказание заставляли рыть ямы, а потом

закапывать, и эти американцы всегда работали больше, чем немцы. Я прямо бесился, глядя на них, а в один прекрасный день, даже не сознавая, что делаю, решил попрактиковаться с ними в немецком и пошел прямо к ним.

— Эй, солдат, это запрещено, — сказал нервно выпрыгнувший мне навстречу охранник, который был ближе всего к тем двоим, что я выбрал; он говорил с тем непонятным южным выговором, к которому я только начал привыкать. Он даже стал поднимать свою винтовку.

— Приятель, у меня семья в Европе, — сказал я ему. — Все будет в порядке. Ты послушай, сам увидишь. — И, прежде чем он успел мне ответить, я начал говорить по-немецки, с трудом связывая слова, но он не знал этого. — Bitte. Wie ist Ihr Name? Danke schön. Wie alt sind Sie? Danke vielmals. Wo Du kommst hier? Danke.[7] — К нам стали стягиваться другие пленные, и даже пара других охранников подошла поближе послушать, они даже скалились, словно приятно проводили время на одном из представлений ОСКОВ.[8] Мне

---

[7] Примечания: 7

Пожалуйста. Как вас зовут? Спасибо. Сколько вам лет? Тысяча благодарностей. Откуда ты приехал? Спасибо. (*искаж. нем.*).

[8] Примечания: 8

Объединенная служба культурно-бытового обслуживания войск.

и это не понравилось. Черт побери, подумал я, это что — мир или война? Я все говорил и говорил. Когда они меня не понимали, я изменял слова, пока до них не доходило, и тогда все они начинали кивать и улыбаться, а я делал вид, что сияю от удовольствия, когда видел, что они ставят мне хорошие отметки. «Bitte schön, Bitte schön»,[9] — говорили мне они, отвечая на мои «Danke. Danke»[10] в благодарность за их сообщения о том, что я «Gut, gut».[11] Но прежде, чем все это закончилось, я дал им наверняка понять, что здесь есть один человек, которому это не так уж и нравится, и что этот человек — я. — So, wie geht jetzt?[12] — спросил я у них, показывая рукой на базу. — Du gefällt es hier? Schön, ja?[13] — Когда они ответили, что им здесь нравится, что им нравится, как мы все практикуемся здесь в немецком, я задал им один вопросик: — Gefällt hier besser wie zuhause

---

[9] Примечания: 9
Пожалуйста. Пожалуйста. (*нем.*).

[10] Примечания: 10
Спасибо. Спасибо. (*нем.*).

[11] Примечания: 11
Хорошо, хорошо. (*нем.*).

[12] Примечания: 12
Ну, как дела? (*нем.*).

[13] Примечания: 13
Тебе здесь нравится? Хорошо здесь, да? (*нем.*).

mit Krieg? Ja?[14] — Я мог бы поклясться, что здесь им нравится больше, чем на войне, там, в Германии. — Еще бы, — сказал я им по-английски, и тогда они перестали улыбаться и вид у них стал смущенный. Я глядел прямо в глаза тому, с кем заговорил первым. — Sprechen Du![15] Я сверлил его глазами, пока он в ответ не начал тихонько кивать. Когда я увидел, что он сломался, я решил высмеять его при всех, хотя сам и не считал, что это смешно. — Dein Name ist Fritz? Dein Name ist Hans? Du bist Heinrich?[16] — А потом я сказал им о себе: — Und mein Name ist Rabinowitz, LR, von Coney Island in Brooklin, New York. Du kennst?[17] — А потом я заговорил на идиш: — *Унд их бин эйн ид. Фаршстест?*[18] — А потом по-английски: — Я — еврей. Понятно? — А потом на моем ломаном

---

[14] Примечания: 14
Нравится здесь больше, чем дома, на войне? Да? (*нем.*).

[15] Примечания: 15
Отвечай! (*искаж. нем.*).

[16] Примечания: 16
Тебя зовут Фриц? Тебя зовут Ганс? Ты — Генрих? (*нем.*).

[17] Примечания: 17
А меня зовут Рабинович, ЛР, с Кони-Айленда, в Бруклине, штат Нью-Йорк. Знаешь такое место? (*нем.*).

[18] Примечания: 18
И я — еврей. Понимаешь? (*идиш*).

немецком: — Ich bin Jude. Verstehst?[19] — Теперь они не знали, куда глаза девать, но поднимать их на меня они никак не хотели. У меня синие глаза, и Клер до сих пор говорит мне, что они могут быть холодны, как лед, и у меня белая, европейская кожа, которая быстро краснеет, если я хохочу или злюсь, и я не был уверен, что они мне поверили. Поэтому я расстегнул еще одну пуговицу на своем мундире и вытащил из-за пазухи свой жетон, чтобы показать им буковку J, выгравированную там рядом с группой крови. — Sehen Du? Ich bin Rabinowitz, Lew Rabinowitz, und ich bin Jude.[20] Ясно. Вот и хорошо. Danke, — язвительно сказал я, не сводя с них холодного взгляда, пока они не отводили глаза. — Danke schön, danke vielmals, für alles и bitte, и bitte schön[21] тоже. И матерью моей клянусь, я вам всем еще отплачу. Спасибо, дружище, — сказал я капралу на прощание.

— И что все это значило?

— Да так, попрактиковался немного в немец-

---

[19] Примечания: 19

Я — еврей. Понимаешь? (*нем.*).

[20] Примечания: 20

Видишь? Я — Рабиновиц, Лю Рабиновиц, и я — еврей. (*искаж. нем.*).

[21] Примечания: 21

Спасибо, тысяча благодарностей всем, пожалуйста, очень прошу.(*нем.*).

ком.

В Форт-Дикс с Клер я уже не практиковался. Я сразу же полез на стенку, когда увидел, как они ухмыляются и говорят что-то о ней, и был готов броситься на них, и, направляясь к ним, я чувствовал, что меня охватило такое бешенство, какого я не испытывал даже в бою. Голос у меня был негромкий и очень спокойный, а жилка на шее и на щеке уже подергивалась, как стрелка часового механизма у бомбы, которая вот-вот взорвется.

— Achtung,[22] — сказал я мягким и неспешным голосом, растягивая это слово, чтобы оно звучало как можно дольше, пока я не остановился перед ними там, где они стояли со своими лопатами на траве, у грунтовой дороги, которую прокладывали.

Они переглянулись, почти не скрывая улыбок, так как думали, что мне это ничего.

— Achtung, — снова сказал я, чуть выделяя голосом второй слог, словно ведя вежливую беседу с кем-нибудь глухим в гостиной матери Клер в ее доме на севере штата Нью-Йорк. Я остановился прямо перед ними, лицом к лицу, всего в

---

[22] Примечания: 22
Внимание.(*нем.*).

нескольких дюймах. Губы у меня растянулись и побелели, словно я собирался рассмеяться, хотя я даже не улыбался, но думаю, они этого еще не поняли. — Achtung, aufpassen,[23] — сказал я, чтобы было яснее.

Они сразу же пришли в чувство, когда услышали, что я сказал это спокойным голосом. Они стали понимать, что я не шучу. И с них сразу слетело их ленивое спокойствие, и вид у них тут же стал немного растерянный, будто они никак не могли понять, чего я хочу. Я только потом узнал, что сжимал кулаки, когда увидел кровь на ладонях в тех местах, где в них впились ногти.

Теперь они уже не были так уверены в себе, а я был. Война в Европе уже закончилась, но они все еще были военнопленными, и они были здесь, а не там. Стояло лето, и они ничего себе выглядели — ходили голыми по пояс и были бронзовыми от загара, как я когда-то на пляже Кони-Айленда до войны. На вид они были сильными, мускулистыми ребятами, не то что те сотни и сотни пленных за океаном. Они были из первых и здоровели себе в плену, отъедаясь на американских харчах, а я в это время болел траншейной стопой из-за вечно

---

[23] Примечания: 23
Внимание, слушайте. (*нем.*).

мокрых носков и ботинок и был весь покрыт насекомыми, которых не знал раньше, — вшами. Я понял, что они здесь уже давно, что они из элитных войск устрашения начала войны, все их поколение к этому времени уже было перебито, взято в плен или покалечено, и, на мой вкус они выглядели слишком уж благополучно и беззаботно, но таковы были правила Женевской конвенции для военнопленных, и с этим ничего нельзя было поделать. Эти двое были постарше и поздоровее меня, но я не сомневался, что если дойдет до дела, то я разорву их на куски, хотя я и ослаб после операции и исхудал на войне, но, может, я ошибался. Когда я был в плену, кормили меня не так хорошо, как их.

— Wie gehts?[24] — небрежно сказал я, глядя то на одного, то на другого таким взглядом, чтобы они поняли — я не такой уж компанейский парень, как это может показаться. К этому времени я уже достаточно поднаторел в немецком. — Was ist Dein Name?[25]

Одного звали Густав, а другого — Отто. Я до сих пор это помню.

---

[24] Примечания: 24
Как поживаете? (*нем.*).

[25] Примечания: 25
Как вас зовут? (*нем.*).

— Wo kommst Du her?[26] — Один был из Мюнхена, а место, которое назвал другой, было мне не знакомо. Я говорил начальственным тоном и видел, что им не по себе. По званию они были не старше меня. Офицеров не гоняли на работы, даже унтер-офицеров, если только они не занижали себе специально звание, как это сделал я в последнем лагере, чтобы иметь возможность выходить куда-нибудь на работу. — Warum lachts Du wenn Du siehst Lady hier?[27] И ты тоже, — я указал на второго. — Почему вы только что смеялись, глядя на эту леди, и что ты сказал ему такого, отчего он развеселился еще больше?

Я забыл сказать это по-немецки и говорил на английском. Они прекрасно поняли, о чем я говорю, хотя, может быть, разобрали и не все слова. Но мне было все равно. Это трудно было сказать на чужом языке, но я знал, до них все дойдет, если я постараюсь.

— Warum hast Du gelacht wenn Du siehst mein[28] подружку?

---

[26] Примечания: 26
Ты откуда? (*нем.*).

[27] Примечания: 27
Ты почему смеялся, когда увидел эту даму? (*нем.*).

[28] Примечания: 28
Ты почему хохотал, когда увидел мою. (*нем.*).

Теперь мы все знали, что они поняли, потому что они не хотели отвечать. Охранник с винтовкой не понимал, что происходит, и не знал, как ему с этим быть. Казалось, он больше боялся меня, чем их. Я знал, что мне и говорить-то с ними было запрещено. Клер хотелось бы, чтобы я прекратил все это. Но я и не собирался. Ничто не могло меня заставить. Молодой офицер с нашивками за участие в разных кампаниях быстро подошел к нам, но замер, когда увидел мое лицо.

— Лучше не лезьте к нему, — услышал я, как остерегла его Клер.

У меня тоже были нашивки, а еще и Бронзовая звезда, которой меня вместе с одним парнем по имени Дэвид Крейг наградили во Франции за подбитого «тигра». Я думаю, этот офицер читал мои мысли и сообразил, что лучше ему не соваться. Казалось, что я — лицо официальное, а говорил я чертовски весомо. Мой немецкий сбил их всех с толку, а уж я старался говорить погромче.

— Antworte! — сказал я. — Du verstehst was ich sage?[29]

— Ich verstehe nicht.[30]

---

[29] Примечания: 29
Отвечай! Ты понимаешь, что я сказал? (*нем.*).

[30] Примечания: 30
Ничего не понимаю. (*нем.*).

— Wir haben nicht gelacht.[31]

— Keiner hat gelacht.[32]

— Отто, ты лжец, — сказал я ему по-немецки. — Ты все прекрасно понимаешь, и ты смеялся. Gustav, sag mir, Gustav, was Du sagen, — я показал на Клер, — über meine Frau hier? Beide lachen, was ist so komisch?[33] — Мы еще не были женаты, но я специально так сказал, чтобы потуже закрутить гайки. — Она моя жена, — повторил я по-английски, чтобы услышал офицер. — Какую гадость ты про нее сказал?

— Ich habe nichts gesagt. Keiner hat gelacht.[34]

— Sag mir![35] — потребовал я.

— Ich habe es vergessen. Ich weiss nicht.[36]

— Gustav, Du bist auch ein Lügner, und Du wirst gehen zu Hölle für Deine Lüge.[37] Вы оба отправи-

---

[31] Примечания: 31
Ничего мы не смеялись. (*нем.*).

[32] Примечания: 32
Никто тут не смеялся. (*нем.*).

[33] Примечания: 33
Густав, скажи мне, Густав, что ты сказал о моей жене? Вы оба смеялись. Что вы тут нашли смешного? (*искаж. нем.*).

[34] Примечания: 34
Я ничего не говорил. Никто не смеялся. (*нем.*).

[35] Примечания: 35
Отвечай! (*нем.*).

[36] Примечания: 36
Я забыл. Я ничего не знаю. (*нем.*).

[37] Примечания: 37
Густав, ты — лжец и ты отправишься в ад за свою ложь.(*нем.*).

тесь в ад за вашу ложь и за ваши грязные слова об этой молодой леди, даже если мне самому придется спровадить вас туда. А теперь — Schaufeln hinlegen![38]

Я показал пальцем на землю. Они покорно положили лопаты и стали ждать. Я тоже ждал.

— Schaufeln aufheben![39] — сказал я, сделав строгое лицо.

Они с несчастным видом поглядывали вокруг. Они взяли лопаты и застыли, не зная, что с ними делать дальше.

— Dein Name ist Gustav? — сказал я, выждав еще с полминуты. — Dein Name ist Otto? Jawohl? Du bist von München? Und Du bist von… Ach wo![40] — Да плевать мне было, откуда он. — Mein Name ist Rabinowitz. Люис Рабиновиц. Ich bin Lewis Rabinowitz, с Кони-Айленда с Западной Двадцать пятой улицы между Рейлроуд-авеню и Мермейд-авеню, bei Karussell, карусель на пляже. — Я чувствовал, как у меня что-то пульсирует

---

[38] Примечания: 38
Положите лопаты! (*нем.*).

[39] Примечания: 39
Возьмите лопаты! (*нем.*).

[40] Примечания: 40
Тебя зовут Густав? А тебя Отто? Ну, хорошо. Ты, значит, из Мюнхена. А ты из… Неважно! (*нем.*).

в больших пальцах, когда достал жетон, чтобы показать им буковку J, чтобы они точно поняли, что я говорю, когда я сказал им на идише: — *Унд их бин эйн ид*[41] — А потом по-немецки: — Ich bin Jude, jüdisch. Verstehst Du jetzt?[42] — Теперь они не были такими уж бронзовыми и не казались очень уж сильными. А я почувствовал абсолютное умиротворение, и я никогда так не был уверен в себе, в ЛР, Луи Рабиновице с Кони-Айленда. С ними можно было уже не драться. Я начал говорить со своей злобной ухмылкой, о которой Клер говорит, что она хуже ухмылки скелета и похожа на гримасу мертвеца. — Jetzt… noch einmal![43] — Когда я им сказал, они положили свои лопаты, а потом снова подняли, словно я выдрессировал их до совершенства. Я показал на Клер. — Hast Du sclilecht gesagt wie als er hat gesagt wie Du geschen Dame hier?[44]

---

[41] Примечания: 41
Я еврей. (*идиш*).

[42] Примечания: 42
Я еврей. Ты понимаешь? (*нем.*).

[43] Примечания: 43
А теперь — еще раз. (*нем*).

[44] Примечания: 44
Ты сказал что-то нехорошее, когда он тебе показал на эту даму? (*нем.*).

— Nein, mein Herr.[45]

—

Hast Du mitgelacht als er hat gesagt schlecht?[46]

— Nein, mein Herr.[47]

— Вы снова врете. Оба. Но для вас это к лучшему, потому что я бы вам обоим шеи свернул, если бы вы мне сказали, что смеялись над ней или говорили гадости. Geh zur Arbeit.[48] — Я с отвращением отвернулся от них. — Капрал, они снова в твоем распоряжении. Спасибо, что не мешал.

— Лю, это было нехорошо, — сразу же сказала мне Клер.

Потом заговорил офицер:

— Сержант, такие вещи запрещены. Так говорить с ними запрещается.

Я вежливо отдал ему честь.

— Я знаю правила Женевской конвенции, капитан. Я был у них военнопленным, сэр.

— Что тут между вами происходило?

---

[45] Примечания: 45
Ничего, мой господин. (*нем.*).

[46] Примечания: 46
Ты смеялся, когда он сказал нехорошее? (*нем.*).

[47] Примечания: 47
Нет, мой господин. (*нем.*).

[48] Примечания: 48
Идите работать. (нем.).

— Они посмотрели на мою невесту, сэр, и сказали какую-то гадость. Я только что вернулся. У меня еще с головой не все в порядке.

— Лю, у тебя *действительно* с головой не все в порядке, — начала Клер, как только мы остались одни. — А что если бы они не сделали то, что ты им говорил?

— Успокойся, маленькая. Они ведь сделали то, что я говорил. У них не было выхода.

— Почему? А если бы тебя остановил охранник? Или этот офицер?

— Они не могли.

— Откуда тебе это было известно?

— Догадайся.

— Почему это они не могли?

— Ты должна верить мне на слово. Некоторые вещи происходят именно так, как я говорю. Не спрашивай меня, почему. Для меня это просто. Они оскорбили тебя и тем самым оскорбили меня, и я должен был им показать, что им это не дозволяется. — Мы уже были обручены. — Ты же моя невеста, n'est-ce pas?[49] Моя Fraulein.[50] Я оторву голову любому, кто посмотрит на тебя

---

[49] Примечания: 49
Верно? (*франц.*).

[50] Примечания: 50
Девушка. (*нем.*).

и скажет какое-нибудь пакостное слово, и мой отец с братьями поступят так же, если увидят, что какой-нибудь тип ухмыляется, как они, глядя на тебя или на моих сестер. Хватит болтать, детка. Идем назад в госпиталь. Идем простимся с германцем Германом.

— Лю, хватит нам на сегодня Германа. Я подожду внизу и выпью лимонаду, если ты считаешь, что должен повторить с ним все это еще раз. Я не нахожу это смешным.

— Ты все еще мне не веришь, детка, но я тоже не нахожу это смешным. Я делаю это с ним по другой причине.

Проблема с Клер была в том, — как считали Сэмми и Уинклер, о чем они мне и сообщили, — что у нее и вправду были большие сиськи. А моя беда была в том, что я сразу же заводился и готов был убить любого, кто их замечал, включая Сэмми и Уинклера.

Итак, в тот день мы, все вчетвером, поехали записываться добровольцами и все четверо вернулись с войны. А Ирвинг Кайзер из соседнего дома был убит во время артобстрела в Италии, и я его больше никогда не увидел, и точно так же погиб там Сонни Болл. Фредди Розенбаум потерял ногу, а Мэнни Шварц до сих пор носит протез с

крюками вместо пальцев и больше уже не любит шутить по этому поводу, а Солли Мосс был ранен в голову, и с тех пор у него плохо со слухом и зрением, и, как сказал однажды Сэмми, когда мы вспоминали прошлое, это, наверно, немалые потери всего лишь для нескольких домов из очень небольшой части очень небольшого квартала, а значит, многие другие из других мест тоже были убиты или ранены. Я тоже так думаю. Но в тот день, когда наша четверка ушла в армию, мы и не думали о том, что нас ждут опасности и потери.

Мы отправлялись на войну и не знали, что такое война.

Большинство из нас поженились в юности. И никто из нас в те времена не думал про разводы. Разводы были для неевреев, для богатеев, о которых мы читали в газетах и которые ездили на шесть недель в Рено, штат Невада, потому что там с разводами было проще. И для таких людей как Гленда, в которую влюбился Сэмми, и для ее гулящего первого муженька, который кобелил напропалую и, казалось, ничуть не заботился о том, чтобы все было шито-крыто. Теперь даже одна из моих дочерей в разводе. Когда я впервые услышал о том, что их брак вот-вот распадется, я поначалу хотел тут же отправиться к моему

бывшему зятю и своими руками выбить из него документы о разделе имущества. Но Клер заперла меня и увезла на Карибское море, чтобы я немного остыл. Сэмми Зингер был единственный из тех, кого я знал, кто женился не сразу, да еще нашел себе *шиксу*[51] с тремя детьми и светло-русыми волосами, почти блондинку. Но Сэмми Зингер всегда был немного особенный, невысокого росточку и особенный, спокойный и думал много. Странный он был парень и в колледж пошел учиться. Я тоже был не так уж глуп и по закону о ветеранах мог пойти учиться бесплатно, но я уже успел жениться и для меня нашлись вещи поинтереснее, чем продолжение учебы, и я так спешил побыстрее чего-нибудь добиться. Вот еще одна причина, по которой я никогда не любил Джона Кеннеди или людей из его окружения, когда он выскочил на свет рампы и начал вести себя как актер, и красоваться там, и охорашиваться. Я сразу видел, если человек спешит. Я оторопел слегка, когда его убили, сказал себе: ну, дела, но в тот же день отправился на работу, а когда у меня выдалось свободное время, тут же начал готовиться к тому, чтобы не любить Линдона Джонсона. Не

[51] Примечания: 51
Не еврейку. (*идиш*).

люблю врунов и людей, которые много говорят, а президенты именно это и делают. Я теперь почти не читаю газет. Но даже и в те времена я никак не мог понять, зачем парню с мозгами, как у Сэмми Зингера, идти в какой-то там колледж, чтобы изучать там что-нибудь вроде английской литературы, когда он и так мог прекрасно читать эту литературу для отдыха.

Когда к тринадцати годам мне надо было поступать в среднюю школу, я поступил в Бруклинскую техническую школу, что по тем временам было не так-то просто, и я там успевал по таким предметам, как математика, черчение и по некоторым научным программам, но я и не сомневался, что так оно и будет. Я забыл почти все, кроме арифметики, когда закончил школу и пошел работать на склад утиля к моему отцу вместе с братом и одним из зятьев, мужем старшей сестры, они жили в полуподвальном этаже четырехквартирного кирпичного дома с крылечком, который наша семья уже приобрела в собственность. Арифметика была мне, наверно, нужна главным образом для пинокля, когда нужно было торговаться или разыгрывать, и я не давал себя в обиду, играя на тротуарах или пляже с далеко не последними евреями Старого света, приехавшими из России,

Венгрии, Польши и Румынии; они говорили, и говорили, и говорили, даже во время игры, говорили о картах, и о еврейских газетах, и о Гитлере, которого я возненавидел почти одновременно с ними, и о Сталине, Троцком, Муссолини и Франклине Делано Рузвельте, который им нравился, а потому нравился и мне. Могу поспорить, на Кони-Айленде никогда не было ни одного еврея, голосовавшего за республиканцев, кроме разве что моего зятя Фила, который всегда был против всего, за что были все остальные вокруг него; он и до сих пор такой.

Мой отец не очень-то ценил мои карточные способности. Когда я спросил его, чем мне еще заниматься в свободное от работы время, он не знал. А если он чего не знал, то и говорить об этом не любил. В армии в настоящий пинокль не играли, и поэтому я выигрывал денежки в очко, покер и кости. Я почти всегда выигрывал, потому что всегда был уверен в себе. А если я не был уверен в себе, то и не играл. А если я и проигрывал, то немного. Я уже через минуту знал, *что* за игроки передо мной — хуже или лучше меня и пойдет ли им карта сегодня, а еще я умел выжидать. Теперь математика мне нужна для расчета скидок, стоимости, уровня прибыльности, для ухода от

налогов, и подсчеты я могу делать машинально, как мой бухгалтер или продавщицы со своими компьютерами, и почти так же быстро. Я не всегда бываю прав, но я почти никогда не ошибаюсь. В чем я так и не был уверен, так это в своей идее использовать счетчики расхода мазута в обогревательных системах для застройщиков и строителей, и даже после того, как я нашел надежный счетчик, уверенности у меня не прибавилось. Если есть счетчик, то не будет нужды в каждом доме на застроечном участке устанавливать баки для топлива, а компания, владеющая счетчиком, будет продавать туда мазут. Но у меня было предчувствие, что я столкнусь с большими трудностями, пытаясь убедить людей из крупных нефтяных компаний отнестись ко мне серьезно; трудностей мне хватило, а серьезно они ко мне так и не отнеслись. Когда мы встретились, я был сам не свой. Я надел костюм и жилетку и был совсем другим и все из-за моего предчувствия, что я, такой какой я есть, им не понравлюсь. Но я не произвел на них никакого впечатления и в том обличье, в котором явился перед ними. Я перескочил из низшей лиги в высшую и сразу почуял, что здесь игроки другого класса. Всему есть свои пределы, и я с самого начала понял, что

мне здесь ничего не светит.

Война здорово помогла даже мне, потому что начался строительный бум, а строительных материалов не хватало. Мы сделали неплохие деньги на разборке подлежащих сносу домов и на первом пожаре в Луна-парке, случившемся сразу после войны, когда мне уже удалили грыжу и я вернулся на склад отца и снова был здоров, как бык. Я обнаружил, что по-прежнему люблю вкалывать с моими братьями, зятем и отцом. Смоки Рубина и того черного парня с нами уже не было, но когда было нужно, к нам приходили другие, а еще у нас было два грузовика и один мы арендовали понедельно. Но я ненавидел грязь, всякий мусор и отбросы, я ненавидел вонь океанской гнили, которой несло от газет — их мусорщики собирали в урнах на берегу и привозили к нам на продажу в тележках. Я боялся всякой грязи и воздуха, которым мы дышали. Я боюсь микробов. В старых газетах иногда попадались мертвые крабы и слипшиеся комки мидий с песком и водорослями, и апельсиновыми корками, и другим мусором, и мы засовывали все это в середину больших кип бумаги, которые мы все еще вручную обвязывали проволокой, закручивая ее плоскогубцами. Потом появились машины для

увязки газет в кипы, о чем нам с видом многоопытного знатока сообщил Уинклер в один из дней, когда у него не нашлось дел поинтереснее и он заглянул к нам, чтобы посмотреть, как мы надрываем наши задницы, и послоняться, пока я не закончу. Уинклер мог найти машины для чего угодно, и подержанные тоже. Машины на уровне новейших достижений, так он их называл. А я толком и не понимал, что это значит.

Уинклер нашел какие-то машины на уровне новейших достижений и применил их для разрезки фотопленки из армейских излишков, эта пленка использовалась в аэросъемке, а он нарезал ее под размер бытовых фотоаппаратов и собирался зашибить на этом свои первые миллионы еще до того, как Истман Кодак образумился, снова перешел на стандарт, которым пользовалось все население, и вернул себе рынок. Люди женились, рожали детей и хотели иметь их фотографии.

— Оставь ты эти машины, мне твои машины не нужны, — ворчал мой старик на Уинклера, скрежеща зубными протезами и говоря с сильным польско-еврейским акцентом, какого Клер и не слыхивала до того, как стала гулять со мной и приходить к нам, оставаясь на ночь в комнате моей другой сестры. В этом доме никто бы не поз-

волил нам спать вместе. Она была еврейкой из северной части штата, а их обычаи отличались от кони-айлендских, и ее старики родились на севере, а это тоже была большая разница. Мы познакомились, когда они как-то снимали дом на Си-Гейт, чтобы провести лето на океанском пляже; у нас был один из лучших океанских пляжей, пока его не загрязнили презервативами и другими нечистотами из сточных труб и туалетов на больших океанских лайнерах, заходящих в гавань почти каждый день. Презервативы мы называли «кони-айлендская белорыбица». А мусор и другую плавучую грязь мы называли «берегись!». Для презервативов у нас было и другое название. Мы называли их гондонами. Теперь мы так называем всех этих вашингтонских гадов. Вроде Нудлса Кука и, может быть, этого новенького в Белом Доме тоже.

— У меня есть мои собственные машины — вон их здесь целых две, — говорил старик, поигрывая мускулами и улыбаясь. Он имел в виду свои плечи и руки. — А вон и еще три. — Он имел в виду меня, моего брата и зятя. — Мои машины живые и стоят недорого. Давай, налегай, — кричал он. — Хватит там стоять и слушать его. Нам еще нужно нарезать трубы и привезти бойлеры.

И он с тремя своими живыми машинами вновь хватался за крюки, длинные плоскогубцы и тонкие стальные прутья, которые мы завязывали в узлы, не забывая беречь глаза и черепушки на тот случай, если проволока сорвется. Мы сваливали тюки бумаги один на другой, и они раскачивались и подрагивали, и Клер говорила мне, что, по ее мнению, в этом есть что-то сексуальное, словно большой парень, вроде меня, ложится на девушку, вроде нее.

Клер сразу же понравилась старику, с того самого дня, как стала приходить к нам, чтобы посмотреть, как мы работаем, и помочь, чтобы я закончил пораньше, когда мы собирались погулять, а еще потому, что она много говорила с моей матушкой, с которой говорить уже было вовсе не легко. И она умела упаковывать в подарочные обертки разные безделушки, которые покупала нам на дни рождения и праздники. Подарочные обертки? До Клер мы не знали никого, кто заворачивал бы подарки. Кто до появления Клер во всей нашей большой семье, да и на всем Кони-Айленде, слышал о подарочных упаковках? Или о «столовом стекле»? Никто в семье толком не знал, что такое столовое стекло, но я был уверен, если оно нужно Клер, то нужно и мне, и я говорил

о нашем «столовом стекле» с одним парнем, у которого мы покупали всякие вещи, его звали Роки, и он был итальянцем из семьи побогаче нашей. Я нравился Роки, и еще ему нравились бесхитростность Клер, и когда мы с ним разъехались и каждый сам по себе занялся покупкой участков и строительством, то иногда мы оказывали друг другу услуги. Роки нравились девушки — блондинки и рыжеволосые, густо намазанные косметикой, на высоких каблуках и с большими грудями, и он очень уважительно относился к женам, вроде Клер и его собственной.

Ее отец уже умер, а мой отец сразу же воспротивился тому, чтобы я ночевал в их доме, даже когда там была ее мать.

— Слушай, Луи, — сказал мне мой отец Морис, — слушай меня хорошо. Эта девушка — сирота. У нее нет отца. Либо женись на ней, либо оставь ее в покое. Я не шучу.

Я решил жениться на ней, и когда задумался об этом, то обнаружил, что хочу, чтобы моя жена была девственницей. Я сам на себя удивлялся, но, как выяснилось, таким уж я был парнем. Должен признаться, что все девушки, которых я уговорил, потом падали в моих глазах, хотя обычно я был и не против повторить это с ними еще раз.

Даже шесть лет спустя, когда Сэмми женился на Гленде с ее тремя детьми, я не мог понять, как это мужик, вроде него, мог жениться на женщине, которую трахал кто-то другой, да к тому же если этот другой был еще жив, и трахал ее не раз и не два, да и не он один. Я знаю, это глупо, но вот таким уж парнем я оказался.

Я и до сих пор такой, потому что есть вопросы, о которых мы с Клер больше даже и не пытаемся спорить, когда речь заходит о наших дочерях. Они мне не поверили, когда я им сказал, что их мать была девственницей, пока мы не поженились. И Клер заставила меня поклясться, что я больше никому не скажу об этом.

Обычно я шел на попятный перед характером Клер, но никогда перед опасностью. Я не боялся ни в армии, ни в лагере, я не боялся даже во время перестрелок или когда нас накрывали заградительным артиллерийским огнем, когда мы наступали во Франции и Люксембурге, продвигаясь к немецкой границе, я не испугался даже после большого декабрьского сюрприза, приподнявшись на снегу и увидев вокруг немецких солдат с чистенькими автоматами и в новых белых формах, солдат, которые взяли нас в плен.

Но я боялся крыс на нашем складе. И я нена-

видел всякую грязь, особенно когда вернулся с войны. Даже при виде мышки у плинтуса у меня начиналась тошнота и я целую минуту не мог унять дрожь, как и теперь, когда что-нибудь напоминает мне вкус зеленых материнских яблок или даже когда они просто приходят мне на ум. И когда я, наконец, основал собственный бизнес в городке в двух с половиной часах езды от нашего дома в Бруклине, я не смог найти ничего лучше, чем здание обанкротившейся фабрики, изготовлявшей раньше мышеловки и расположенной вблизи погрузочной ветки железнодорожной станции, где было множество мышей.

День за днем меня выводила из себя грязь у меня под ногтями, и я стеснялся. Все мы стеснялись. Каждый день после окончания работы мы отмывались под холодной водой из шланга, ничего другого у нас там не было. На это уходило около часа. Даже зимой мы намыливались и обливались, растираясь жесткими щетками, предназначенными для промышленных целей, и щелочным мылом. Мы не хотели выходить на улицу и идти домой во всей этой грязи. Я ненавидел черную кромку у себя под ногтями. В Атланте, в армии, я обнаружил, что существует маникюр, а еще салат из креветок и бифштекс с хрустящей

корочкой из вырезки — в Англии я узнал об этом еще раз, и во Франции, когда мы наступали, я делал себе маникюр, как только предоставлялась возможность. И вернувшись на Кони-Айленд, я уже не представлял себе жизни без маникюра. И всегда его делал. Даже в больнице, когда мне бывает совсем уж худо, я все еще забочусь о чистоте и обязательно делаю маникюр. Клер уже знала о маникюре. После нашей свадьбы маникюр стал частью наших любовных игр. Ей и педикюр тоже нравился, а еще ей нравилось, когда я чесал ей спинку и массировал ноги, а я любил держать ее за пальцы ног.

Как только я накопил денег, я купил себе хорошую машину, а потом, когда у меня появились деньги и для этого, еще одну хорошую, для Клер, и нам уже не нужно было ездить гулять на грузовичке фирмы, а когда я узнал о существовании ателье индивидуального пошива, я уже не хотел одеваться в костюмы из магазинов. Когда Кеннеди стал президентом, обнаружилось, что наши костюмы сшиты в одном и том же нью-йоркском ателье, но я должен был признать, что он в своем выглядел гораздо лучше, чем я в своем. Сэмми всегда говорил, что я не умею одеваться, и Клер то же самое говорила; может быть, они правы,

потому что я никогда не уделял особого внимания таким вещам, как цвет и стиль, и оставлял это на усмотрение портных. Но я разбирался достаточно, чтобы знать, что чувствую себя великолепно в сшитом на заказ костюме стоимостью более трехсот долларов, включая налог на продажи, такой костюм вполне мог бы стоить и все полтысячи. Теперь такие костюмы стоят за полторы, а подчас и две тысячи, но меня цена мало беспокоит, и их у меня теперь больше, чем я успею износить, потому что между ремиссиями мой вес здорово изменяется, а мне всегда хочется выглядеть наилучшим образом — в костюме и с маникюром, если я иду куда-нибудь.

Я ношу хлопчатобумажные рубашки, только хлопчатобумажные. Никакого нейлона, никакого полиэфирного волокна, никогда не надену рубашку из материала, не требующего глажки. Но я никогда не ношу рубашек из египетского хлопка, ни разу не надел после Израиля и войны 1948 года. Когда Милоу Миндербиндер наладил через свою фирму «М и М» крупные поставки египетского хлопка, я перестал использовать их унитазы и раковины в моем водопроводном бизнесе и их строительные материалы на моем лесном складе. Уинклер знает, что мне это не нра-

вится, но до сих пор покупает у Миндербиндера бобы какао для изготовления своих пасхальных шоколадных зайчиков, только мы выбрасываем их в мусорную корзину, когда он их присылает в подарок.

Я обнаружил, что существуют сыры, когда обнаружил, что существует карибский и французский сыр. Я любил французские сыры с того самого дня, как попробовал их и первый раз. А Мартиника, Гваделупа и позднее Сент-Бартс стали нашими любимыми местами зимнего отдыха на Карибах. И все из-за сыров. Я никогда не горел желанием ездить в Европу. Я съездил раз во Францию, раз в Испанию и Италию, и больше меня не тянуло ни туда, ни в какое другое место, где не говорят на моем языке и не могут хотя бы приблизительно понять, что я, по моему мнению, собой представляю. А как-то раз на Сент-Бартсе, где мы с Клер просто великолепно проводили время, после того как я за вполне приличную, я в этом был уверен, цену оторвал два жирных кусочка земли на Сент-Маартене, я съел кусочек сыра, который мне всегда нравился, на кусочке хлеба, который мне тоже нравился, кажется, что был сыр «Сент-Андре», и вот сразу же после этого у меня во рту появился тот привкус зеленых

яблок, который я никогда не забывал, жгучий, кисловатый привкус, который я помнил с самого детства, когда болел и боялся, что внутри меня происходит что-то не то. И горло у меня онемело, словно бы вспухло и раздулось. Сэмми сказал бы, что и должно было раздуться, ведь если вспухло, то не могло же оно ввалиться. Теперь это может вызвать у меня улыбку. Это было кое-что похуже, чем несварение. До этого времени у меня почти никогда не бывало тошн***о***ты, сколько бы я ни съел и ни выпил, и, насколько мне помнится, во взрослом возрасте я всегда себя чувствовал отменно. В армии мне досталось и грязи, и холода, часто я недосыпал и кормежка там оставляла желать лучшего, но, пожалуй, я всегда чувствовал себя, как огурчик, и был уверен, что ничего необычного или худого со мной никогда не случится. Даже когда снайпер попал прямо в голову капралу Хаммеру, когда мы стояли рядом у джипа разведвзвода всего в футе друг от друга и разговаривали. Он мне как раз докладывал, что немцев в городе нет и, он уверен, туда можно входить. Меня вовсе не удивило, что убили его, а не меня, вовсе не удивило. Я не считал, что это везение. Я считал, что так оно и должно было случиться.

— Детка, давай-ка вернемся завтра домой, —

сказал я Клер, когда снова почувствовал этот напоминавший о болезни привкус зеленых яблок, а потом уже, когда мы вернулись в наш номер и опять отжарились, я наврал ей с три короба. — Мне пришла в голову мысль съездить в Ньюбург и провернуть там одно дельце, которое может принести неплохие доходы.

После того как мы в тот раз занимались любовью, я почувствовал себя прекрасно, и когда мы домой вернулись, ничего такого у меня уже не было. Но для уверенности я заглянул к врачу. Эмиль обследовал меня и ничего не нашел. Я так и не знаю — может, он меня плохо обследовал, а может, от этого ничего бы и не изменилось. Эмиль легко поверил в то, что мой приступ на острове никак не связан с тем, что у меня теперь.

Я не боюсь людей, но я все больше и больше боюсь зеленых яблок. Во время первой моей болезни, которую я помню, моя мать сказала мне, что я заболел, потому что поел зеленых яблок, которые она держала в ведерке, чтобы запечь или с чем-нибудь приготовить. Не знаю в точности, ел ли я их на самом деле. Но каждый раз, когда я так вот заболевал и у меня была тошн***о***та и рвота от свинки, или ветрянки, или один раз от воспаления горла, она говорила, что во всем виноваты

те самые зеленые яблоки, и вскоре я начал ей верить, потому что привкус при рвоте был всегда одинаковый, хотя я и не ел никаких зеленых яблок. И я до сих пор этому верю. Потому что каждый раз, когда у меня начинает болеть желудок, перед облучением или химиотерапией, во время облучения или химиотерапии и после облучения или химиотерапии я чувствую привкус зеленых яблок. Я чувствовал привкус зеленых яблок, когда мне вырезали двойную грыжу. И когда я в первый раз почувствовал себя по-настоящему плохо, возвращаясь от Сэмми после уикэнда в его доме на Файр-Айленд с парочкой его веселых друзей из «Тайм», и у меня вдруг раздулось горло, так что я не мог повернуть голову и вести машину, а потом потерял сознание и уронил голову на баранку, а потом меня рвало прямо рядом с машиной и я начал бормотать что-то в полубреду, то бормотал я, как мне потом сказала Клер, про зеленые яблоки. И дети, сидевшие сзади в нашем микроавтобусе — их тогда у нас уже было трое, — сказали то же самое. Мы сказали всем, кто спрашивал, почему мы так поздно вернулись в тот день, что у меня расстроился желудок, потому что думали, что так оно и было на самом деле. Потом мы сказали, что это была ангина. Потом — мононуклеос. По-

том — туберкулез щитовидки. А когда семь лет спустя меня скрутило по-настоящему и я лежал в городской больнице, а Клер сказала Гленде, *что* у меня на самом деле, оказалось, что они с Сэмми уже давно знали или догадывались. У Гленды был кое-какой опыт в этом деле с первым мужем, который умер от рака, хотя и от другого, а Сэмми, как мы знали, был парень толковый, потому что каждую неделю читал журнал «Тайм».

Клер никогда прежде не встречала такую семью, как наша, где говорили с бруклинско-еврейским акцентом, доставшимся нам от отца и матери; не встречалась она никогда и с таким парнем, как я, который увел ее со свидания, устроенного для нее подружкой, мог сделать с ней все, что хотел, и чье будущее строилось на утиле. Последнее мне не нравилось, но я не показывал этого, пока мы но поженились.

— У утиля нет будущего, потому что его слишком много, — не уставал говорить нам Уинклер до своей первой неудачи в бизнесе. — Луи, излишки — это всегда плохо. Экономике нужен дефицит. Этим-то и хороши монополии — они уменьшают поставки продуктов, нужных людям. Я за гроши покупаю излишки армейской фотопленки Истмена Кодака, эта пленка никому не нужна, потому

что ее слишком много, а я делаю из нее цветную фотопленку стандартного размера, которой ни у кого нет. Все женятся и рожают детей, даже я, и все хотят иметь цветные фотографии, но пленки не хватает. Истмен Кодак ничего не может поделать. Ведь это его пленка, и он не может ухудшить качество. Я использую имя Кодака, а они даже не могут приблизиться ко мне по ценам. Первый заказ, который я получил, разослав рекламу, был от Истмена Кодака, он просил выслать ему четыре упаковки — хотел разобраться, что же это я такое делаю.

Уинклер и Истман Кодак вскоре обнаружили, что армейская пленка, которая была хороша для съемок с высоты десять тысяч футов, оставляет зернистые пятна на младенцах и невестах, и тогда Уинклер вернулся к нам и водил наш грузовик, когда нам было нужно, а потом стал делать медовую глазурь и пышки в шоколаде для первых пекарен, которыми решил заняться, а потом переехал в Калифорнию и купил первую из своих фабрик по производству шоколадных конфет, но и из этой затеи у него тоже ничего не получилось. В течение двадцати лет я время от времени потихоньку от Клер давал ему в долг. В течение двадцати лет Клер, когда они просили, посылала

им деньги и ни разу мне об этом не сказала.

Перед моей демобилизацией Клер, тогда совсем еще девчонка, стала всерьез уговаривать меня остаться на сверхсрочную, потому что ей нравилась возможность путешествовать.

— Ты, наверно, шутишь, — сказал я; я тогда недавно вернулся из Дрездена и еще лежал в госпитале, не успев оправиться после операции. — Может, я и дуб, но не так уж глуп. Куда путешествовать? В Джорджию? Канзас? Форт-Сил, штат Оклахома? Ничего у тебя не выйдет.

Клер помогала нам на складе — сидела на телефоне и вела деловые записи, когда моей старшей сестре Иде нужно было побыть дома с матерью. А еще она ухаживала за матерью, когда Ида была занята на складе. Клер лучше, чем кому-либо из нас, удавалось развлечь матушку. Старуха с каждым днем становилась все более странной, и доктор сказал, это у нее от затвердения стенок артерий в голове, что естественно в ее возрасте, правда, теперь мы думаем, что у нее была болезнь Алцхеймера, что, как мы считаем теперь, тоже вполне естественно, так же как Деннис Тимер думает про рак.

У Клер с арифметикой до сих пор нелады, и сейчас меня это беспокоит. Вычитает и скла-

дывает она еще ничего, особенно если ей дать калькулятор, она даже немного умножает и делит, но с дробями, десятичными и процентами у нее полный провал, она ничего не понимает про надбавки, скидки и начисления. Но в те времена она вполне справлялась с бухгалтерией, а старик больше ничего от нее и не требовал после того, как выяснилось, что она начала подбрасывать куски меди и латуни в последнюю увязанную нами за день кипу бумаги, чтобы помочь нам поскорее закончить. Старик никак не мог в это поверить, от его стона сотрясались стены, а все крысы, мыши и тараканы, наверно, повыпрыгивали со страху на Макдональд-авеню.

— Я же пытаюсь помочь, — оправдывалась она. — Я думала, вам нужно, чтобы кипы были потяжелее.

Я громко рассмеялся.

— Но не от латуни же.

— Может быть, от меди? — спросил мой брат и тоже рассмеялся.

— *Чочкеле*,[52] в какой школе ты училась? — спросил ее старик, и его зубные протезы заскрежетали со звуком, не похожим на тот, что мы слы-

---

[52] Примечания: 52
Здесь: глупенькая. (*идиш*).

шали, когда он был в веселом настроении. — Медь и латунь продаются по четырнадцать центов за фунт. А за газеты дают *бобкес*,[53] ерунду. Так что стоит больше? Чтобы это сообразить, не нужно учиться в Гарварде. Иди сюда, *чочкеле*, сядь здесь, детка, пиши цифирки и говори, кто нам должен платить, а кому должны мы. Не волнуйся, натанцеваться еще успеешь. Луи, подойди-ка сюда. Где это ты нашел такую цацку? — Он взял меня за руку своей мертвой хваткой и отвел в уголок, чтобы поговорить наедине, лицо у него было красным, веснушки стали еще заметнее. — Слушай меня хорошо, Луи. Если бы ты не был моим сыном, а она была бы моей дочерью, то я бы не пускал ее гулять с таким *томмлером*,[54] как ты. Ты не должен ее обижать, ни чуть-чуть.

Однако провести ее было совсем не так просто, как он думал, хотя я мог, наверно, делать с ней все, что хотел. От своего двоюродного брата, жившего где-то неподалеку, она слышала о кони-айлендских ребятах и их клубах, где тебя затанцовывали в заднюю комнату с дверью и кушетками, а там быстренько снимали что-нибудь из одежды,

---

[53] Примечания: 53
Здесь: гроши. (*идиш*).

[54] Примечания: 54
Здесь: пустозвоном. (*идиш*).

чтобы тебе было не убежать, не опозорившись перед всеми, и тебе приходилось отдавать им хоть немного из того, что они хотели. Когда во время первой встречи она сказала, что не пойдет со мной в эту комнату, я, не прекращая танца, просто поднял ее на руки и пронес по всему залу в нашу каморку для того, чтобы показать ей — эти рассказы не всегда точны, во всяком случае, не со мной и не сейчас. Но я ей не сказал, что около часа назад был там совсем с другой девушкой.

Да, в арифметике она была слаба, но вскоре я обнаружил, что всякие деловые вопросы мне лучше перекладывать на ее плечи, а не оставлять на братьев или партнеров, а я всегда доверял моим братьям и партнерам. Ни один из них, насколько я знаю, ни разу меня не обманул, и я думаю, ни у кого из них и в мыслях такого не было, потому что я всегда выбирал людей щедрых, которые любили посмеяться и выпить, как и я.

У Клер были стройные ноги и красивая грудь, они до сих пор такими и остались. Она раньше меня сообразила, что почти все итальянские строители, с которыми мы вели дела, всегда приезжали к нам на деловые встречи с яркими блондинками или с рыжеволосыми девицами, и она стала вносить свою лепту в наш бизнес,

подкрашиваясь под блондинку, когда я начал брать ее на встречи поважнее. Она обвешивала себя всякими побрякушками и со всеми ними, с мужчинами и женщинами, могла говорить на их языке.

— Я всегда его надеваю, когда еду с ним куда-нибудь, — с легкой, усталой иронией говорила она об обручальном кольце, которое выставляла напоказ, и о платье или костюме с глубоким вырезом, которые надевала в таких случаях, и все мы смеялись. — Свидетельства о браке, чтобы доказать это, у меня с собой нет, — отвечала она, если кто-нибудь из них спрашивал, действительно ли мы женаты. Я обычно не вмешивался и забавлялся ее ответами, а иногда, если сделка была хорошей и ланч затягивался, мы заезжали в ближайший местный мотель и остаток вечера проводили там, но всегда в тот же день возвращались домой. — Он должен вернуться домой, — так она это объясняла. — Здесь на всю ночь он никак не может остаться. — В ресторанах, ночных клубах, на отдыхе она всегда умела здорово завязать разговор в дамской комнате и найти подружку для любого из наших спутников, если у него никого не было, а желание возникало. И она раньше меня просекла, какие мысли начали бродить у

меня в голове при виде одной сногсшибательной высокой австралийки; жизнерадостная, энергичная, в бледной косметике, на высоких каблуках, с великолепной парочкой буферов эта блондинка была подружкой одного из итальянских строителей, она ни минуты не стояла спокойно, ей все хотелось танцевать, даже когда не было никакой музыки. Она все время отпускала двусмысленные остроты по поводу всяких непристойных игрушек, которые придумывала для фабрики игрушек, где работала.

— Она снимает квартиру вместе с подружкой, — сказал мне, не шевеля губами, этот итальянец. — Та работает сестрой в больнице и просто сногсшибательна. Они обе дают. Мы могли бы отправиться куда-нибудь вместе.

— Мне нужна эта конфетка, — сказал я так, чтобы она слышала.

— Я не против. Тогда я займусь медицинской сестрой, — сказал он, и я сразу же понял, что особого желания водить с ним дружбу у меня нет. Он не понимал, что мне интересно обаять ее, а не получить в качестве подарка.

Клер обо всем догадалась.

— Нет, Лю, только не это, — категорически заявила мне она, как только мы оказались в

машине. — Нет, никогда, во всяком случае не на моих глазах.

Я ее понял, и этого больше никогда не было на ее глазах.

В госпитале в Форт-Дикс она поставила меня на место, когда я начал заводиться из-за этого германца Германа. Остыв и перестав кипятиться, я понял, что она права.

— Кто здесь за тобой ухаживает? — пожелала она узнать во время одного из своих приездов из города на уикэнд. — Что ты делаешь, когда тебе что-нибудь нужно? Кто к тебе приходит?

Я заверил ее, что мне доставит огромное удовольствие продемонстрировать это. А потом я заорал:

— Герман! — Я услышал испуганные шаги санитара еще до того, как успел закричать во второй раз, и мой германец Герман был тут как тут — щупленький, робкий, запыхавшийся, нервничающий, лет пятидесяти, совсем не похожий на супермена-арийца, ничего похожего на Übermensch,[55] вовсе нет.

— Mein Herr Rabinowitz, — с места в карьер начал он, как я его научил и как я того хотел. — Wie

---

[55] Примечания: 55
Сверхчеловека. (*нем.*).

kann ich Ihnen dienen?[56]

— Achtung,[57] Герман, — как бы походя приказал я. А когда он щелкнул каблуками и принял стойку смирно, я отдал приказ, который он понимал: — Anfangen![58] — И он начал рассказывать мне о себе. А я повернулся к Клер. — Так как ты доехала, детка? А где остановилась? В том же отеле?

Он заливался соловьем, а она таращила глаза и никак не могла поверить в это, даже когда все поняла. Вид у нее был не очень довольный. Я чуть не рассмеялся — таким смешным было выражение ее лица. Герман назвал свое имя, звание, солдатский номер, а потом дату и место рождения, происхождение, место работы и все остальное, что я требовал всякий раз, когда ставил его по стойке смирно и приказывал доложить о себе. А я продолжал болтать с Клер, словно в упор его не видел и, уж конечно, совершенно не интересовался, что он там говорит.

— Так вот, я тебе скажу, о чем я думал. На сверх-

---

[56] Примечания: 56
Господин Рабиновиц, что я могу для вас сделать? (*нем.*).

[57] Примечания: 57
Внимание. (*нем.*).

[58] Примечания: 58
Начинай! (*нем.*).

срочную я оставаться не собираюсь, и не мечтай. Первое время, наверно, я буду помогать старику на складе.

Клер никак не могла понять, кого из нас ей слушать. Я сохранял невозмутимость. В палате наступила тишина. Герман закончил и стоял, помаргивая и потея.

— Ах, да, — сказал я, не поворачивая головы, словно только что вспомнил о нем. — Noch einmal.[59]

И он начал снова:

— Mein Name ist Hermann Vogeler. Ich bin ein Soldat der deutschen Armee. Ich bin Bäcker. Ich wurde am dritten September 1892 geboren und ich bin dreiundfünfzig Jahre alt.[60]

— Лю, прекрати… хватит, — не выдержала наконец Клер; она была и вправду сердита. — Прекрати! Прекрати сейчас же!

Мне не нравилось, что она так со мной говорит в присутствии Германа или кого бы то ни было. Желваки у меня на шее и на щеке задергались.

— Так что, думаю, я снова начну работать у

---

[59] Примечания: 59

Еще раз. (*нем.*).

[60] Примечания: 60

Меня зовут Германн Фогелер. Я солдат немецкой армии. Я пекарь. Я родился третьего сентября 1982 года и мне пятьдесят три года. (*нем.*).

старика, — сказал я сразу после нее. — Чтобы иметь какой-нибудь доход, пока я буду пытаться решить, чем мы с тобой хотим заняться.

— Лю, отпусти его, — потребовала она. — Я серьезно!

— Мой отец держал коров и продавал молоко, — разливался по-немецки Герман. — Я учился в школе. После школы я поступал в колледж, но не был принят. Я был не достаточно умен.

— Не волнуйся, — с невинным видом сказал я ей, в то время как Герман продолжал так же послушно, как и в первый раз. — Его этому специально учили. В армии его учили пекарить. А здесь я его учил этому. Когда он закончит, я заставлю его повторить все сначала еще несколько раз, чтобы никто из нас ничего не забыл. Мы какое-то время можем пожить со всем семейством, займем верхнюю квартиру в доме. Мы ведь младшие, вот и будем взбираться на самый верх. Мне что-то не хочется тратить время на колледж, если мы собираемся пожениться. Ты хочешь за меня замуж?

— Лю, я хочу, чтобы ты его отпустил! Вот что я хочу! Я тебя предупреждаю.

— А ты попробуй заставь меня.

— И заставлю. Ты меня лучше не заводи!

— Как?

— Я разденусь, — решила она, и я понял, что так она и сделает. — Прямо здесь. Сниму с себя все. С меня хватит! Я разденусь догола и заберусь на кровать, на тебя, сейчас же, если ты не позволишь ему прекратить. И усядусь прямо на тебя, и Бог с ними, с твоими швами, пусть расходятся. И пусть он видит все, что видел ты, я все ему покажу, клянусь тебе. Отошли его прочь.

Эта ловкачка знала, что я думаю по этому поводу. Когда в моду вошли бикини, мне и говорить ей было не нужно, чтобы она их не носила, а насчет дочерей я, наконец, сдался и перестал их разубеждать, я просто не ходил с ними на пляж.

Она начала расстегиваться. Она продолжала расстегиваться и расстегнула еще несколько пуговиц. И когда я увидел белую сорочку с низким вырезом и кружевами, а ниже выступы ее действительно больших сисек, которые не должен был не то что видеть, но даже и замечать ни один мужчина в мире, кроме меня, мне пришлось отступить. Я вполне мог представить себе, как она расстегивает молнию и перешагивает через юбку — а он все еще находится в палате, — потом она стягивает через голову сорочку, и я испугался этого, эта мысль была мне невыносима, и мне пришлось остановить Германа, и я его остановил,

но так, чтобы он понял, что я сердит на него, а не на нее, словно это он во всем виноват, а не она или я, и поэтому мне приходится отсылать его прочь.

— Все, хватит, застегивайся, — я и на нее был зол. — Все, Герман. Genug. Fertig. Danke schön. Убирайся отсюда. Schnell! Mach schnell![61] К чертовой матери.

— Danke schön, Herr Rabinowitz. Danke Vielmals.[62] — Меня смутило то, что он дрожал мелкой дрожью и выходил, пятясь и кланяясь.

— Это было не смешно, Лю, мне было совсем не смешно, — сообщала она мне, застегиваясь.

— Я это делал вовсе не для смеха. — Я тоже чувствовал себя отвратительно.

— Тогда для чего же?

Я не знал, для чего.

К тому времени, когда он уезжал, я даже стал жалеть беднягу, оставил свои привычки и пожелал ему счастья, прежде чем его погрузили на пароход и отправили домой, что у них называлось репатриацией.

К тому времени я уже испытывал к нему состра-

---

[61] Примечания: 61
Хватит. Конец. Спасибо. Быстро! Потарапливайся! (*нем.*).

[62] Примечания: 62
Спасибо, герр Рабиновиц. Большое спасибо. (*нем.*).

дание. Он был слаб. Даже другие немцы сочли бы его слабым, а в его годы ему уже трудно было надеяться стать сильным. Он мне даже немного напоминал отца Сэмми, седоволосого, милого, тихого старичка, который летом, придя с работы, каждый день отправлялся поплавать в океане. Мать посылала Сэмми, его брата или сестру приглядеть за отцом и напомнить ему прийти домой к ужину. Нам с Сэмми повезло. У каждого из нас была старшая сестра, чтобы, когда придет время, заботиться о родителях. Отец Сэмми читал все еврейские газеты, и в его доме все любили слушать по радио классическую музыку. В библиотеке Кони-Айленда Сэмми непременно оставлял заявки на книги, переведенные на идиш, это были, главным образом, романы и, главным образом, русские. Он был человеком общительным. А мой отец — нет. Моя родня вообще почти не читала, а я все никак не мог найти для этого время. Сперва, когда Сэмми начал сочинять рассказы и юморески для журналов, он опробовал их на мне. Я никогда не знал, что ему сказать, и я рад, что он прекратил эти пробы.

У Сэмми была та старая фотография его отца в форме времен Первой мировой войны. На вас глядел забавный молодой человек, похожий на всех

солдат того времени, в каске, которая казалась слишком большой для его маленькой головы, с противогазом и флягой на поясе. Старый Джекоб Зингер приехал в эту страну, чтобы избежать армии в Европе, а здесь все равно попал под ружье. У него были добрые, со смешинкой глаза, и они смотрели в ваши. Сэмми не всегда смотрит вам в глаза. Когда мы еще были мальчишками и начали играть во всякие игры с поцелуями, нам пришлось объяснять Сэмми, что он должен смотреть прямо в глаза девчонке, которую держит и обнимает, а не косить куда-то вбок. Сэмми в свои шестьдесят восемь уже старше своего отца, который умер, не дожив до этих лет. А я уже знаю, что не проживу столько, сколько мой.

Мы с Сэмми жили в разных кварталах, и наши родители никогда не встречались. Никто в нашей семье никогда не приглашал гостей на ланч или обед, разве что родственников, которые жили в других местах и приезжали на выходной, чтобы провести денек на пляже.

Старик был не особо дружелюбен со всеми, кто не был членом семьи, а мои друзья, вроде Сэмми и Уинклера, чувствовали себя не совсем в своей тарелке, приходя ко мне, если старик был дома. Я был его любимчиком, и он рассчитывал, когда

состарится, передать дело мне, чтобы под моим началом бизнес приносил пропитание ему, всем братьям и сестрам и их детям, которым оно было необходимо, потому что они не могли найти ничего другого. Рабиновицы были дружным семейством. А я лучше всех подходил для ведения дел с внешним миром, я был переговорщиком, *шмейхлером*, продавцом, *шмуцером*, общительным парнем, который обходил один за другим старые дома, чтобы подмаслить какого-нибудь бедолагу дворника, подбрасывающего уголек в топку подвальной котельной и выносящего мусорные бачки, вежливо спросить его, не он ли здесь «главный» или «управляющий». Я хотел бы поговорить с «джентльменом», который здесь командует, и объяснить ему, как мы бы могли помочь друг другу. Я оставлял ему визитку, какие Уинклер за полцены заказывал для меня у знакомого печатника, и пытался познакомиться с ним поближе, чтобы заполучить старые трубы и всякие старые причиндалы, вроде раковин, унитазов и ванн, сломанных паровых котлов и бойлеров, иногда еще до того, как они будут сломаны. Мы знали людей, которые могли починить что угодно. Если же что-то нельзя было починить, то мы продавали это как утиль. Мы

с Клер сдерживали улыбки, когда наш отец как истинный оптимист обещал нам, что утиль будет всегда, что всегда найдется кто-нибудь, готовый заплатить, чтобы утиль этот вывезли, и кто-нибудь, готовый заплатить, чтобы его приобрести. После моего возвращения, когда он заводил разговор о деньгах, то обязательно делал это в присутствии нас обоих. Теперь, когда я вышел из детского возраста, он поднял мне жалованье до шестидесяти долларов в неделю, почти удвоив его. А когда мы поженились — до шестидесяти пяти. И конечно же, он не возражал против того, чтобы мы жили наверху, пока не сможем себе позволить приобрести что-нибудь свое.

— Слушай, Моррис, слушай меня хорошо, — сказал я ему, когда он закончил. У меня в банке было почти четыре тысячи долларов — мои карточные выигрыши и армейское жалованье. — У меня есть для тебя предложение повыгоднее. А со временем, может, и ты предложишь что-нибудь повыгоднее мне. Я целый год буду работать на тебя бесплатно. Но через год я сам решу, какое у меня будет жалованье. И сам скажу, где, когда и как я хочу работать.

— Бесплатно?

Его это устроило. Отсюда пошел и наш переезд

через какое-то время на бывшую фабрику мышеловок в Орандж-Вэлли, штат Нью-Йорк, а потом из этого возникла идея продавать вторичные строительные материалы, сантехнику, бойлеры и обогреватели туда, где почти ничего не было, но спешно что-нибудь требовалось.

Клер водила машину лучше, чем все мы — она родилась на севере штата и права получила в шестнадцать, — и когда я был очень занят, гоняла грузовик туда-сюда по Бруклину. Она была крепкая и сметливая и, когда было нужно, за словом в карман не лезла, а еще она, ничего не обещая и не навлекая на себя неприятностей, умела пользоваться своей красотой, общаясь с полицейскими и слесарями-ремонтниками на заправках, если с машиной что-то случалось. Я до сих пор не могу без смеха вспоминать наше первое рекламное объявление в газете, составленное с помощью Сэмми:

РЕЖЕМ ТРУБЫ ПО СХЕМЕ В РАЗМЕР.

— Что это значит? — спросил он.

— То, что написано, — сказал я ему.

Эта строчка принесла нам такое увеличение и расширение бизнеса, на какое никто, кроме меня, и не рассчитывал.

Отсюда пошел и лесной склад, а потом и компания, поставляющая сантехнику, на что отец ссудил мне под хорошие проценты десять тысяч долларов. Он говорил, что его беспокоит наступающая старость. У него уже тряслась голова от небольшого удара, который с ним случился, но об этом никто, кроме него самого, не упоминал.

— Луи, поговори-ка со мной, скажи мне честно, — спрашивал он у меня. — Ты замечаешь, что у меня голова немного трясется и рука?

— Не, па, не больше, чем у меня.

Я помню, что когда моя мать совсем лишилась разума, она все еще причесывалась, мыла голову осветляющим шампунем и выщипывала волосы с лица. Теперь я сам знаю это желание — выглядеть наилучшим образом. И вот уже тридцать лет я стараюсь не показываться на глаза людям, пока снова не приду в форму и не буду выглядеть здоровым человеком.

— Ты хороший мальчик, Луи, — сказал он с напускным отвращением. — Ты врешь, как всегда, но я тебя все равно люблю.

Мы сняли дом в новом месте и родили двух детей, потом купили дом и родили третьего, а потом я построил дом на продажу и еще один, строил по очереди, сначала с партнерами, и дома продава-

лись и приносили прибыль. Прибыль всегда была движущим мотивом. Я вдруг обнаружил, что обедаю и выпиваю с людьми, которые ходят на охоту, а голосуют в основном за республиканцев и в дни национальных праздников вывешивают флаг, считая, что таким образом служат стране. Они прикалывали себе желтые ленточки каждый раз, когда Белый Дом объявлял кому-нибудь войну, и корчили из себя героев, которые воюют на этой войне. Почему желтые, поддразнивал я их, это что, национальный цвет трусости? Но у них был отряд добровольной пожарной охраны, всегда оказывавшийся там, где он был нужен, и скорая медицинская помощь, которой мне пришлось воспользоваться, когда у меня вдруг во второй раз начался приступ тошн***о***ты, силы полностью покинули меня, а Клер запаниковала и быстро отправила меня в больницу. В тот раз меня снова перевели в манхеттенскую больницу к Деннису Тимеру, который опять поставил меня на ноги и отправил домой, когда я пришел в норму. Когда мы переехали, я вступил в Американский легион, чтобы обзавестись друзьями и чтобы было куда ходить. Они научили меня охотиться, и мне это понравилось, и мне нравились люди, с которыми я охотился, и я испытывал прекрасное чувство,

когда попадал в цель. Они подбадривали меня всякий раз, когда я приносил гуся, а однажды подстрелил и оленя. Им пришлось освежевать его для меня. Я даже смотреть на это не мог. «Нет, это занятие для христиан», — говорил я, и мы все смеялись. Когда я брал с собой сына, то всегда с нами был кто-нибудь еще, чтобы заниматься этим. Сыну не очень нравилась охота, а скоро и я перестал ездить.

Потом в соседнем городке построили гольф-клуб. Я обзавелся новыми друзьями, многие из них переехали сюда из Нью-Йорка, и у нас появились новые места, куда мы могли ходить поесть и выпить с другими супружескими парами.

Я узнал кое-что новое про банки и банкиров. Поначалу они — даже женщины-кассиры — давали нам понять, что им не очень-то нравится обслуживать клиентов с фамилиями вроде Рабиновиц. Должен признаться, что теперь это изменилось. Но не изменился я. По мере того как район разрастался, они привыкли ко мне и ко многим другим. Они уважали меня больше, когда я брал деньги, а не вкладывал. Когда я вкладывал в банк деньги, я был всего лишь еще одним трудягой, старающимся выжить в малом бизнесе. Когда же я вырос настолько, что стал брать кредиты, я стал мисте-

ром Рабиновицем, а потом Лю — для банковских служащих, мистера Клинтона и мистера Харди, клиентом со средствами и с недвижимостью, и я, как только сам туда вступил, приводил их в качестве гостей в свой гольф-клуб и представлял как моих банкиров — Эда Клинтона и Гарри Харди, это так льстило им, что они даже краснели. Я узнал кое-что и о банкротствах. Когда я в первый раз обнаружил, что меня облапошивают, я никак не мог поверить, что это делается по закону.

Я узнал про Статью 11 от одного строителя по имени Хансон и его адвоката, а они узнали кое-что про меня. Когда они в начале рабочего дня вышли из дома, я появился из своей машины и успел перехватить их еще на крыльце.

— Лю? — Хансон так удивился, что на его лице даже появилась улыбка, исчезнувшая, когда он увидел, что я-то вовсе не улыбаюсь. Это был высокий парень, с короткой стрижкой, какую нас заставляли носить в армии, а мне еще в армии это не нравилось. Того, кто был с ним, я не знал. — Как дела?

— Хансон, вы мне должны четыре тысячи двести долларов, — с места в карьер начал я. — За доски, дранку, сантехнику и трубы. Я посылал вам счета и говорил с вами по телефону, а теперь

я вам говорю прямо в лицо — мне нужны эти деньга сегодня, сейчас. Немедленно. Я приехал их забрать.

— Лю, это мой новый адвокат. А это Рабиновиц.

— Ах, да, — сказал новый адвокат с улыбкой, какую всегда видишь у адвокатов; от этой улыбки у них становится такой лицемерный вид, что хочется удавить их на месте. — Мой клиент подпадает под Статью 11, мистер Рабиновиц. Я думаю, вы это знаете.

— Сообщите вашему клиенту, сэр… Как вас зовут? Кажется, он вас не назвал.

— Брюстер. Леонард Брюстер.

— Так вот, скажите вашему клиенту, Брюстер, что Статья 11 — это для него, для его адвокатов, для суда и, может быть, для других людей, которым он должен. Но не для Рабиновица. Она не для меня. Хансон, мы с вами заключили сделку, вы и я. Вы взяли мои материалы и воспользовались ими, вы не жаловались ни на сроки поставки, ни на качество. Я привык работать так. А теперь слушайте меня внимательно. Мне нужны мои деньги.

— Вы не можете их получить, мистер Рабиновиц, — сказал Брюстер, — разве что через суд.

Позвольте, я вам объясню.

— Хансон, я их могу получить.

— Лю… — начал Хансон.

— Объясните вашему адвокату, что я их могу получить. На суды у меня нет времени. Если потребуется, то я получу их, выдавливая их из вас по капле, как кровь, если вы будете упрямиться. Вы сохраняете за собой дом? Но не с помощью моих четырех тысяч двухсот долларов. Вы хорошо слушаете?

— Ленни, я хочу поговорить с вами в доме.

Когда они появились, Брюстер говорил, опустив глаза.

— Вам придется взять наличными, — сказал он вполголоса. — Мы не можем пропустить их через бухгалтерию.

— Думаю, на это я пойти могу.

Теперь я верил банкам чуть больше, хотя не так уж и сильно, а наличные хранил в депозитном банковском сейфе, потому что не хотел зависеть от честности своего бухгалтера. Клер чуть в обморок не упала, когда узнала, где я был.

— Ты ведь не был уверен, что они заплатят.

— Если бы я не был уверен, я бы туда не поехал. Я не трачу время попусту. Не спрашивай, откуда у меня эта уверенность. Люди делают то, что

мне нужно. Разве ты еще не заметила? Нет? Кто там у нас еще — этот *гониф*[63] Мелман? Если уж сегодня день платежей.

— Та же история.

— Позвони ему. Я с ним тоже поговорю.

— Сколько у него просить?

— Сколько будет шестью семь?

— Не путай ты меня. Скидка у него еще есть?

— Ты что, не знаешь, как ее рассчитать?

— Он проценты платит или нет? Я тебя только об этом и спрашиваю. Не надо меня отправлять назад в школу.

Клер тоже не очень-то жаловала всяких паразитов и мошенников, независимо от их вероисповедания, так же как и я в те дни, когда мы трудились в поте лица и она помогала мне на телефоне, когда лесной склад был еще мал и ей не нужно было собирать в школу детей, а потом нестись домой к их возвращению. Позднее, когда у нее появилось больше свободного времени и денег стало побольше, она купила маленькую художественную галерею, на прибыль от которой мы не рассчитывали, да она нам ничего и не приносила, а потом я даже купил ей долю в какой-то

---

[63] Примечания: 63
Мошенник. (*идиш*).

художественной школе в Лукке, в Италии, чтобы у нее было что-нибудь еще, чем занять голову, когда здесь уже накопилось много всего такого, от чего нужно было отвлечься. Когда Мелман перезвонил, я отобрал у нее трубку. Она была слишком вежлива, словно это мы должны были в чем-то извиняться.

— Мелман, вы лжец, — сразу же начал я, даже не зная, *что* он говорил. — Слушаете меня хорошо. Если вы меня вынудите, то вам придется повеситься, потому что вам больше не к кому будет обратиться и вы уже не сможете выдумать новую ложь, а я сделаю так, чтобы вам было стыдно. Мелман, я знаю, вы человек религиозный, поэтому я объясню вам ситуацию на языке религии. Если днем в четверг у меня не будет денег, то в эту *шаббос*[64] вы приползете в *шуль*[65] на коленях, и все в храме будут знать, что Рабиновиц переломал вам ноги, потому что вы лжец и плут.

Я не знаю, врал Мелман или нет, но деньги были мои и я получил их.

Конечно, потом я стал относиться к Статье 11 гораздо терпимее, когда я и сам наконец обанк-

---

[64] Примечания: 64
Субботу. (*идиш*).

[65] Примечания: 65
Синагогу. (*идиш*).

ротился, но среди моих кредиторов не было ни одного частного лица. Это все были корпорации. Люди радовались за меня и похлопывали меня по спине.

К тому времени я стал старше и у меня уже была эта болезнь, потихоньку убивавшая во мне все желания. У меня оставалось все меньше энергии, и я уже не видел большого смысла в том, чтобы заводить новые знакомства с людьми, которые были моложе, ненасытнее и готовы были работать на износ, так же как и мы раньше. Я был бы не прочь сохранить склад и водопроводный бизнес, чтобы передать их детям, если бы они захотели продолжать дело или продать его. Но мы оба чувствовали, что цена слишком высока и что рисковать не стоит.

К тому времени все тайное уже стало явным. В нашей семье моя болезнь уже ни для кого не была секретом. Дети все знали, но не знали, что им с этим делать, а они уже — все трое — были достаточно взрослыми. Какое-то время они, вероятно, считали, что мне ничего не известно. Даже Клер не сразу осмелилась заглянуть мне в глаза и сказать то, что я уже знал и не хотел, чтобы узнала она — что я болен этой болезнью, которая называется болезнь Ходжкина, и что это очень

серьезно. Я не знал, как она к этому отнесется. Я не знал, как я отнесусь к тому, что на ее глазах буду болеть и терять силы.

Я продержался дольше, чем кто-либо предполагал. Я веду счет. С тех пор я разделяю свою жизнь на отрезки по семь лет.

— Послушай-ка меня, — сказал я ей во время первой недели своего пребывания в больнице. — Я не хочу, чтобы кто-нибудь знал.

— Ты думаешь, я хочу?

— Мы что-нибудь придумаем.

К тому времени, когда мы перестали заниматься бизнесом и замкнулись в пределах нашего участка и нашего дома, о моей болезни уже все знали, и мы, наконец, могли прекратить притворяться и говорить всем, будто у меня грудная жаба, которая нередко укладывала меня в постель и вызывала рвоту, или возвратный мононуклеос с осложнениями, или небольшой воспалительный процесс, и я решился и стал всем говорить о туберкулезе лимфатических желез, лечение которого и оставило эти небольшие шрамы и голубые ожоги на шее, губах и груди. Мои мускулы быстро восстанавливались, и мой аппетит тоже. Между ухудшениями я на всякий случай поддерживал избыточный вес и все еще

казался человеком крупного сложения.

— Ладно, Эмиль, хватит этих сказочек для детей, — сказал я своему доктору в больнице, после того как мне сделали анализы и когда я увидел фальшивую улыбку на его лице. Он часто глотал слюну и откашливался. Если бы я пожал ему руку, она наверняка оказалась бы потной. — Слушайте меня хорошо, Эмиль. Дело было не в зеленых яблоках, как я вам говорил, потому что я не ем зеленых яблок и даже не знаю теперь, какой у них вкус. Шея у меня распухла и болит. Если это не аллергия, а вы считаете, что это и не пищевое отравление, то это что-то другое, ведь так?

— Это болезнь Ходжкина, — сказал Эмиль, и больше я за следующие двадцать восемь лет ни от кого не слышал этого названия. — Так ее называют, — добавил Эмиль.

— Рак? — И мне тоже было трудно выговорить это слово. — Именно этого мы все и боялись.

— Это одна из форм.

— Я боялся, что это лейкемия.

— Нет, это не лейкемия.

— Я не знаю симптомов, но я боялся, что это лейкемия. Эмиль, я не хочу это слышать, но, по-видимому, придется. Сколько времени у меня осталось? Только не надо меня обманывать,

Эмиль, пока еще не надо.

Эмиль вздохнул с облегчением.

— Может быть, много. Не хочу строить догадки. Многое зависит от индивидуальной биологии.

— Я не знаю, что это значит, — сказал я ему.

— Это ваши клетки, Лю. Мы не всегда можем сказать, как они себя поведут. Многое зависит от вас. Сколько вы сможете вынести? Насколько сильно будет сопротивление вашего организма.

Я безотчетно держал его за руку, а потом по-приятельски сдавил ее, и тогда он слегка побледнел. Отпустив его, я слегка рассмеялся. Я все еще был очень силен.

— Такого сопротивления вы еще не видели, Эмиль.

— Тогда, Лю, вы можете прожить еще долго, очень долго. И большую часть времени будете себя хорошо чувствовать.

— Пожалуй, именно это я и собираюсь делать, — сообщил я ему, словно принимая деловое решение. — Только не говорите Клер. Я не хочу, чтобы она знала, что у меня.

— Она знает, Лю. Вы оба взрослые люди. Она не хотела, чтобы знали вы.

— Тогда не говорите ей, что сказали мне. Я хочу посмотреть, как она будет лгать.

— Лю, когда вы повзрослеете? Это все не шутки.

— Разве я этого не знаю?

Эмиль снял очки.

— Лю, в Нью-Йорке есть один врач, я хочу, чтобы вы ему показались. Его зовут Тимер, Деннис Тимер. Вы поедете к нему в больницу. Он знает об этой болезни больше, чем кто-либо другой.

— Я не хочу ехать в карете скорой помощи.

Мы поехали в лимузине, в огромной машине жемчужно-серого цвета с тонированными стеклами, сквозь которые мы видели всех, а нас не видел никто; я растянулся на заднем сиденье, а места там было столько, что вполне вошел бы гроб, а может, и два.

— Мы его иногда так и используем, — сообщил водитель, который рассказал нам, что сам он из Венеции, а брат у него гондольер. — Сиденья откидываются, а задняя дверца открывается.

Клер дала ему хорошие чаевые. Мы всегда даем хорошие чаевые, но в тот раз сделали это на счастье.

У Тимера был офис на Пятой авеню, напротив музея Метрополитен, и приемная, полная притихших пациентов. В квартале от его больницы находился Дом похоронных услуг Фрэнка Кэмп-

белла — они это называли «домом», — и я в шутку сказал себе, что здесь все удобно расположено в одном месте. Теперь, когда я слышу о всяких светских сборищах в музеях и других подобных местах, у меня возникает чувство, будто меня опрокинули вверх ногами в перевернутом вверх тормашками мире. В городе появились большие новые здания, которых я даже не узнаю. Там, где были Рокфеллер и Дж. П. Морган, появились новые мультимиллионеры, а я и не знаю, откуда они взялись и чем занимаются.

После первого визита к доктору Тимеру я больше не позволял Клер ходить туда со мной. Она шла в музей на противоположной стороне улицы, а я, закончив свои дела, находил ее там, и мы смотрели картины, если у нее еще было желание, а потом завтракали где-нибудь и уезжали домой. В этой приемной никто никогда не смеется, и я тоже никогда не чувствую желания устроить там какой-нибудь розыгрыш. Тимер так до сих пор и остался худеньким мрачноватым человечком, а когда он пытается меня подбодрить, мне всегда от этого становится не по себе.

— Может быть, вам будет интересно узнать, мистер Рабиновиц, — начал он, когда мы познакомились, — что мы больше не считаем это

неизлечимым.

Я сразу же почувствовал себя лучше.

— Я придушу Эмиля. Он мне об этом не сказал.

— Он не все знает.

— Значит, есть какое-то лекарство, да?

Тимер покачал головой, и у меня перехватило горло.

— Нет, я бы так не сказал. Мы не считаем, что это лекарство.

Теперь я был готов пристукнуть *его*.

— Я весь внимание, мистер Тимер. Болезнь теперь излечима, но лекарства против нее у вас нет?

— Это вопрос терминологии, — продолжат он. — У нас есть методы лечения. — Он изо всех сил, может быть, слишком уж сильно, старался быть любезным. — И эти методы обычно дают результат. Они вам помогут, но мы не знаем, в какой степени. Или на какой период времени. Мы не можем вылечить вас совсем. Мы можем подавить болезнь. Это не то же самое, что лекарство. Мы никогда не бываем уверены, что избавились от него навсегда, потому что генезис заболевания, его корни, они всегда в вас.

— И как долго вы сможете ее подавлять?

— Очень долго, если лечение будет эффектив-

ным. Здесь есть ряд трудностей, но мы справимся с ними. В периоды ремиссии вы будете чувствовать себя абсолютно здоровым. А когда симптомы вернутся, вы снова пройдете курс лечения.

— Вы уверены, что они вернутся?

— Чаще всего с большой степенью вероятности они возвращаются.

Это было не из-за асбеста, с которым я работал. В этом Тимер был почти уверен, если только можно быть уверенным хоть в чем-нибудь, когда речь идет о чьих-то генах, которые всегда себялюбивы и к тому же не ведают, что творят.

— Они не будут делать то, что нужно мне? — я чуть не рассмеялся нервным смехом. — Это мои гены, и им на меня наплевать?

— Они о вас не знают, мистер Рабиновиц, — он едва заметно улыбнулся. — Это могло развиться по целому ряду причин. Табак, радиация.

— От чего?

— От радия, электричества, урана, может быть, даже трития.

— Что такое тритий?

— Радиоактивный газ, выделяющийся из тяжелой воды. Может быть, какое-то его количество есть в ваших ручных или стенных часах.

— Радиация вызывает ее и радиация ее лечит…

извините, подавляет? — пошутил я.

— И химия тоже, — сказал он. — Или — я не люблю об этом говорить, потому что некоторые не хотят этого слышать, — причина может быть в вашей естественной биологической судьбе, ничего более зловещего.

— Естественной? Вы называете это естественным?

— В естественном мире природы, мистер Рабиновиц, все болезни естественны. — В тот момент мне его слова показались убедительными, но слышать это было неприятно. — Ну, страху я на вас нагнал. А теперь позвольте мне вам помочь. Вы ляжете в больницу. У вас есть транспорт? Ваша жена собиралась остаться здесь?

В тот первый раз она остановилась в отеле, а в следующий раз, семь лет спустя, когда мы оба уже думали, что она теряет меня, она остановилась у Сэмми и Гленды, потому что ей необходимо было с кем-нибудь говорить. В последний раз Гленды уже не было, и поэтому Клер снова остановилась в отеле с моей старшей дочерью, но ели они вместе с Сэмми, и он приходил ко мне каждый день. Тимер и Гленду лечил.

Через три дня мне стало лучше, а через пять я был уже дома. Но в тот день, когда я понял,

что выживу, мне было очень плохо, потому что именно тогда я и понял, что умру.

Я и раньше знал, что умру. Но тогда я *понял*, что умру. В ту ночь, когда я осознал это, я проснулся утром с мокрыми глазами, и одна из ночных медицинских сестер заметила это, но ничего не сказала, и я тоже никому об этом не сказал, кроме Клер. После моего завтрака мы уезжали домой.

— Этой ночью я пролил слезу, — признался я ей.

— А ты думаешь, я — нет?

* * *

Это было больше двадцати восьми лет назад, и большую часть первых семи из них я чувствовал себя не хуже, чем прежде. Я и сам не мог поверить в то, что так отлично себя чувствую, и в конце концов поверил, что это будет продолжаться вечно. Когда я чувствовал себя неважно, я раз в неделю ездил на полдня в город к Тимеру. А когда я чувствовал себя хорошо, я примерно раз в неделю играл в гольф или карты с Эмилем и таким образом поддерживал с ним связь. Когда у Клер соскочил колпачок и она забеременела, мы, не сговариваясь, решили не делать аборта, и у нас родился наш маленький Майкл, и тогда

я чувствовал себя великолепно. Мы таким образом демонстрировали уверенность в себе. Мы назвали его в честь моего отца. Мы называли его Майки и до сих пор так зовем, когда валяем дурака. Я чувствовал в себе столько энергии, что готов был сделать еще сотню. Его еврейское имя — Мойше, и так по-еврейски звали моего отца. К тому времени старика уже тоже не было в живых, и мы могли взять его имя, не опасаясь, что кому-нибудь покажется, будто мы хотим навлечь на него проклятие. Мы, евреи с востока, не называем детей в честь живых родителей. Но теперь я беспокоюсь за Майкла, малютку Майки, потому что не знаю, что, кроме денег, оставлю ему в смысле генов и его «естественной биологической судьбы», и другие дети меня тоже беспокоят, и даже внуки. Ох, уж эти сраные гены! Они мои, но не слушаются меня? Никак не могу в это поверить.

Мне не очень-то нравится Тимер, но я больше не боюсь ни его, ни его болезней, и когда Сэмми понадобился для Гленды врач, вроде Тимера, я порекомендовал им обратиться к нему, хотя у них уже и был врач, и то короткое время, пока это продолжалось, они держались за Тимера. Теперь я больше боюсь тех зеленых яблок, все время, тех зеленых яблок, которые, согласно сумасшедшей

теории моей матушки, вызывают у людей всякие болезни. Потому что больше всего другого я теперь боюсь рвоты. Меня уже тошнит от этой тошн***о***ты.

— Неплохо сказано, Лю, — похвалил меня Сэмми, когда приезжал сюда к нам в последний раз.

И тогда я понял, в чем здесь шутка.

Сэмми зачесывает волосы назад и на боковой пробор, и они у него тоже серебрятся и редеют, как, помнится, было и у его отца. Сэмми особо нечего делать после смерти жены, к тому же его еще вытолкали на пенсию из журнала «Тайм», и поэтому он часто приезжает сюда. Я не хочу, чтобы он приезжал ко мне в больницу, но он все равно приезжает, иногда с Клер, и мы врем напропалую, пока он не поймет, что я наелся по уши. Мы говорим про старые, добрые времена на Кони-Айленде, теперь они и правда кажутся добрыми, говорим о Луна-парке, и «Стиплчезе», и о большом старом кинотеатре «РКО», принадлежавшем Тилью, и о том, как это все ушло, исчезло, *ин дерд*,[66] как говорили мои родители, в землю, вниз. Он приезжает на автобусе и, если не остается на ночь, возвращается вечером на автовокзал, в этот

---

[66] Примечания: 66
В землю. (*идиш*).

ирреальный город, как он его называет, а потом в свою современную квартиру, которую купил в многоэтажном здании, где есть все, включая сногсшибательных красоток-фотомоделей и потаскушек; он переехал туда, когда обнаружил, что остался один в пустом доме, который ему больше был не нужен. Сэмми до сих пор не знает, куда ему себя девать, а мы не знаем, как ему помочь. Кажется, он еще не надумал найти себе кого-нибудь, хотя и поговаривает о том, что не против. Моя старшая дочь знакомила его с некоторыми своими знакомыми незамужними дамами и старшая дочь Гленды тоже, но это так ничем и не кончилось. Они всегда находят друг друга только «милыми», но не больше. А свободные подружки Клер слишком стары. Мы так решили, даже не обсуждая этого. Он все еще не прочь трахнуться и старается намекнуть, что у него это иногда получается, когда я проезжаюсь на этот счет. Теперь мы с Сэмми посмеиваемся, когда он рассказывает, что в юности, бывало, спускал себе в штаны — мне этого ни разу не приходилось делать — и как в первые разы, набравшись, наконец, храбрости, находил девчонок, чтобы ему отдрочили; он нравился девчонкам, но не знал, что с ними делать. Вспоминаем мы и о той ночи, когда его обокрали

на автовокзале и он остался без бумажника и без денег даже на такси, чтобы добраться домой, и его арестовали и заперли там в полицейском участке. И позвонил он тогда именно мне. Я отчитал полицейского, поручившись сначала за Сэмми, и потребовал, чтобы позвали сержанта, я отчитал сержанта и потребовал старшего начальника, и я отчитал капитана Макмагона и сказал, что если он не образумится и не даст Сэмми денег, чтобы доехать на такси домой, я напущу на него Американский легион, Национальную гвардию, Пентагон и сам не пожалею сил, не будь я Люис Рабиновиц, бывший сержант из прославленной Первой дивизии. Сэмми до сих пор восхищается тем, как здорово я действую в таких ситуациях.

— Этот капитан Макмагон, — клялся Сэмми, — лежал на кровати в задней камере этого полицейского участка, камера была превращена в спальню, а вид у капитана был больной. А соседняя камера была обставлена, как небольшой класс, детский садик, там были парты и игрушки, но среди всего этого полицейские курили и играли в карты. Над ними в этой камере были развешаны на ниточках изображения всяких зверьков и машинок, одно из них представляло собой черно-белую корову, перепрыгивающую

через луну, и игрушки эти были люминесцентные, они словно бы отражали свет и могли светиться в темноте, — объяснил Сэмми, — как старые радиевые часы, что мы носили раньше, до того как обнаружили, что они опасны. Там был и еще один человек, которого звали Макбрайд, он смахивал пыль с вещей и переставлял их и именно он дал мне денег, чтобы я мог добраться до дому. Когда я отправил ему чек, возвращая долг, он даже прислал мне благодарственную записку. Как тебе такое нравится?

Когда их парень, Майкл, одурел от наркотиков и укатил куда-то на север штата — примерно через год после этого он-таки повесился, — я проделал по телефону такой же фокус, хотя если бы было нужно, я бы поехал прямо в Олбани, но ехать туда не пришлось. Я позвонил в приемную губернатора, главе Национальной гвардии и в главное управление полиции штата. Конечно, вопрос был сугубо личный, но ведь звонил бывший сержант Рабиновиц из прославленной Первой дивизии в Европе, Большой красной единицы, как мы ее называли, и речь шла о жизни и смерти. Они нашли его в больнице в Бингхемтоне и в принадлежащей штату машине бесплатно перевезли в городскую больницу. Сэмми не

переставал восхищаться тем, как здорово я проделываю такие штуки.

— Я, бывало, шутил и посмешнее, — сказал я ему в тот раз, когда он оценил мою шутку насчет того, что меня уже тошнит от этой тошн***о***ты. — А вот тут я и не острил совсем.

— А говорить нужно, тошноты, — сказал он мне.

— Что? — я понятия не имел, о чем это он толкует.

— Говорить нужно не тошн***о***ты, а *тошноты*, — объяснил он.

Мне больше нравилось так, как говорил я.

Сэмми, брось ты эту тягомотину, — сказал я ему, — пусть у тебя будет тошнот***а***, а у меня будет тошн***о***та, если мне так хочется. Ты только подумай, Сэмми. Ведь совсем не так давно я скрутил в городе того парня с украденным бумажником. Я его схватил, приподнял, перевернул в воздухе и грохнул о капот моей машины с такой силой, что он сразу же понял, что такое Лю Рабиновиц. «Шевельнешься, и я тебе шею сверну», — пригрозил я ему и держал, пока не подбежали полицейские. Кто в это поверит, глядя на меня сейчас? Сейчас я чувствую себя так, будто мне и фунта масла не поднять.

Мой вес возвращается не очень быстро, и Тимер с Эмилем хотят опробовать что-то новенькое. Аппетит мой тоже не вошел в норму. Большую часть времени у меня его вообще нет, и я уже начинаю подумывать, что со мной происходит что-то новое, о чем я еще не знаю. Сэмми, может быть, уже знает больше, чем все мы, потому что он, кажется, тревожится за меня, но он ничего не говорит. Единственное, что он говорит, сопровождая свои слова кривой улыбкой, это:

— Ты так ослаб, Лю, что у меня даже возникает желание побороться с тобой.

— У меня еще хватит сил положить тебя на лопатки, — парирую я и смеюсь. — А если ты вдруг снова захочешь побоксировать со мной, то я тебя и тут отлуплю.

Он тоже смеется, и мы доедаем остатки сэндвичей с тунцом. Но я знаю, что здорово похудел. Мой волчий аппетит так и не вернулся ко мне, как это было в прошлые разы, и теперь я, кажется, начинаю понимать — раньше со мной этого не случалось, — на этот раз я, кажется, начинаю понимать, что на этот раз я, наверно, помру.

Я не говорю об этом Клер.

Я ничего не говорю Сэмми.

Мне уже далеко за шестьдесят, а за окном девя-

ностые годы, и на этот раз я начинаю чувствовать то, что чувствовали, старея, мой отец и его брат: что на этот раз придется закругляться.

12
НУДЛС КУК

Восхождение человека с кодовым именем «Гаденыш» в тронный зал Белого Дома происходило не без церемониальных ляпсусов и вызывавших злорадные смешки сюрпризов, что и мог бы документально и с подробностями подтвердить Г. Нудлс Кук, если бы не его извечная склонность к осторожности, корысти, расчетливости, лжи и жадности — всем тем качествам, которые неизбежно обрекали его на занятие высокой должности в качестве десятого из девяти старших наставников человека, ставшего новейшим президентом страны. Йоссарян проинформировал ФБР о том, что его старый друг и коллега по бизнесу Г. Нудлс Кук — злющая змеища и что администрации не найти более подходящего человека для назначения на ту должность, на которую она его собирается назначить. Нудлсу Куку можно было верить, потому что он всегда врал.

Он получил эту работу.

Еще на семинарах в аспирантуре, где они и познакомились, Нудлс разоблачил себя как чело-

века, склонного демонстрировать свои таланты лишь в присутствии назначенного ему ментора, чтобы тот мог отметить, как он не по годам развит и оригинален. Нудлс, который, пока Йоссарян был на войне, неплохо успевал в далеко не элитарной школе, работал над докторской диссертацией, но вскоре обнаружил, что годится она лишь для того, чтобы он мог стать преподавателем.

К этому времени Йоссарян, который ушел из аспирантуры всего лишь со званием магистра, уже занимал положение, позволившее ему выступить в роли работодателя и принять Нудлса в свою группу в рекламно-информационном агентстве, когда Нудлс благоразумно решил испытать себя на этом поприще. У его семьи были хорошие связи, и рекламно-информационное агентство представлялось ему хорошей стартовой площадкой для чего-нибудь побольше и получше.

Коллеги вскоре пронюхали, что Нудлс никогда ничего не предлагает, если рядом нет Йоссаряна, который мог бы услышать его идею, а еще чаще Нудлс откладывает всякие предложения, дожидаясь даже не Йоссаряна, а того момента, когда они вдвоем окажутся в присутствии клиента или кого-нибудь из руководителей компании. Очень часто, когда они вместе работали над своими

сценариями и телевизионными роликами, Нудлс произносил решающую фразу так, что возникало подозрение, будто ключ к решению проблемы был у него в кармане еще днем раньше. Говорить ему, чтобы он изменился, говорил себе Йоссарян, все равно что говорить горбуну, чтобы он распрямился. Нудлс он и есть Нудлс, что с него взять. Он был по-своему предан Йоссаряну, который его не любил, но и не имел против него ничего, и они продолжали оставаться друзьями.

Йоссарян покинул аспирантуру, сделав прозаическое открытие: оказалось, чтобы пойти выше, ему не нужно было высшее образование; Йоссарян поработал немного преподавателем, а потом перешел в рекламный бизнес. Дела у него шли неплохо, он радовался ежегодным прибавкам к жалованью и малым продвижениям по службе, люди в агентстве ему нравились больше, чем университетские, а в конце третьего года он получил еще одну малую прибавку и решил отправиться на поиски более высокооплачиваемой работы другого рода. Он быстро нашел новую более высокооплачиваемую работу в другом агентстве, которое проводило точно такую же финансовую политику, что и предыдущее. Он оставался там до тех пор, пока не получил свою годовую прибавку,

после чего отправился на поиски новой работы и новой быстрой прибавки к жалованью.

Каждый раз, оставляя одну работу и начиная поиски другой, он испытывал обескураживающую решимость не растрачивать остаток своих дней, употребляя свой ум, изобретательность и привлекательность для проталкивания на рынок изделий, которыми сам он не пользовался, и изданий, которые сам он ни за что не стал бы читать. С другой стороны, он никак не мог представить себе изделия или дела, которым хотел бы себя посвятить и которые приносили бы ему доход, достаточный для приобретения того, к чему он, его жена и дети уже успели привыкнуть. Эта дилемма была не такой уж мучительной.

И оправдываться он не собирался.

Он работал, потому что альтернативы не существовало.

Конечно, на Уолл-стрите имелась экзотическая приманка в виде невообразимого количества рафинированного изделия, лишенного каких-либо предосудительных свойств. Изделие это называлось деньгами, и горы его могли быть произведены из ничего почти таким же фантастическим и естественным образом, каким растущее дерево производит тонны древесины

из воздуха, солнечного света и дождевой воды. Может быть, деньги и были говном, как это мог бы объяснить на вечеринке или семейном сборище какой-нибудь заблуждающийся университетский студент, прослышавший о Фрейде, но на это говно можно было много чего купить: друзей, занимающих высокое положение и владеющих средствами, фирменный герб торговца мехами и ювелирными изделиями или светского модельера, баронские имения в Коннектикуте, Вирджинии, Мексике, Ист-Хэмптоне и Колорадо и щегольские титулы, в которых имя усечено до простого инициала, а второе имя произносится с изящным нажимом, как в случае с Г. Нудлсом Куком и С. Портером Лавджоем, с этим самым седым из седеющих знаменитостей в вашингтонской Коза Лоро.

Снисходительный Нудлс Кук не уставал повторять, что его мать происходила из знаменитой семьи Гудмана Нудлса, а его отец был побочным отпрыском британских Куков, основавших Бюро путешествий Кука, а сам он был кем-то вроде наследника и Нудлсов, и Куков, обладавшим некоторыми средствами и собственностью, которые достались ему вполне законным образом. В колледже Нудлс Кук был Гуди, в бизнесе — Гудма-

ном, а в колонках газетных сплетен, освещающих определенного рода общественные события, о которых сообщается регулярно, он был известен как Нудлс. А сегодня в издании «Кто есть кто» и в канцелярии Белого Дома он значился как Г. Нудлс Кук.

Нудлс, начавший работать в правительстве в качестве десятого из девяти старших наставников новичка вице-президента, неизменно откликался на просьбу в тех редких случаях, когда у Йоссаряна возникала необходимость обратиться к нему по телефону, и Йоссарян знал, что этот канал все еще сохраняется для него, несмотря на теперешнее положение Нудлса, ставшего одним из наиболее доверенных лиц нового человека, недавно обосновавшегося в Белом Доме.

— Как у тебя дела с разводом? — обязательно спрашивал один из них во время очередного разговора.

— Отлично. А у тебя?

— Прекрасно. Хотя мой и доставляет мне хлопоты.

— И мой тоже.

— А как у тебя складываются отношения с тем парнем, на которого ты работаешь? — непременно спрашивал Йоссарян.

— Все лучше и лучше… Я знаю, тебя это удивляет.

— Нет, меня это не удивляет.

— Я не знаю, как этим воспользоваться. Тебе нужно приехать к нам в Вашингтон, если я изыщу способ впихнуть тебя в команду. Наконец-то здесь появилась реальная возможность сделать какое-нибудь доброе дело.

— Для кого?

Ответом всегда было скромное хихиканье. Эти двое умели понимать друг друга без слов.

В период службы в агентстве ни одного из них не беспокоили этические вопросы в связи с работой, что заказывали им корпорации, никогда не заботившиеся об общественных интересах, идущие на выборы политики, за которых они никогда не стали бы голосовать, и большие табачные фабрики, принадлежавшие главным образом нью-йоркцам, которым не нужно было выращиванием табака, зарабатывать на пропитание. Йоссарян и Нудлс зарабатывали деньги, общались с состоятельными людьми и радовались преуспеванию. Составление речей для людей, которых они нередко презирали, казалось им разновидностью творчества.

Но время шло, и эта работа — как и любая другая

для умного, без предрассудков человека — стала для них утомительной. Когда никто уже не сомневался в том, что табак является канцерогеном, их дети начали гневно на них посматривать, и неприглядность их деятельности стала очевидной. Они, не сговариваясь, начали подумывать о каком-нибудь ином поле деятельности. Прекрасно понимая, что рекламный бизнес, связи с общественностью и политическая работа, которыми они занимались, вещи пошлые, незначительные и лживые, оба они никогда не делали вида, будто думают иначе. Нудлс первым снял с себя маску.

— Если я пошл, незначителен и лжив, — заявил Нудлс, — то почему бы мне не поработать в правительстве?

С рекомендательными письмами, одно из которых было от Йоссаряна, он поехал в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы там, используя родственные связи, удовлетворить свое честолюбивое стремление и просочиться в тамошнюю Коза Лоро.

Йоссарян тем временем сделал вторую попытку заколотить легкие и большие деньги, устроившись к одному уоллстритовскому дельцу, который проворачивал верные дела во време-

на, когда верные дела еще были. Он продолжал писать рассказы и небольшие статьи сатирически-язвительного характера вполне подходящие для престижного журнала «Нью Йоркер»; каждый раз, когда его творения отвергались, и каждый раз, когда ему отказывали там в редакторской должности, его уважение к журналу возрастало. Два его сценария имели полный успех, один — половинчатый, он набросал план очень острой пьесы, которую так никогда и не смог закончить, и большого комического романа, который так и не смог начать.

Он неплохо подрабатывал, консультируя клиентов, плативших ему либо оговоренную сумму, либо проценты, либо комиссионные; кое-что он заработал, и скромно участвуя в нескольких прибыльных слияниях недвижимости, понять которые ему было не по силам. Когда политический курс страны снова стал опасным, Йоссарян вдруг обнаружил, что, измученный отцовскими тревогами, направляет свои стопы к старому знакомому времен войны, Милоу Миндербиндеру. Милоу встретил его с воодушевлением.

— Я ведь даже никогда не был уверен, что ты всегда относился ко мне с симпатией, — чуть ли не с благодарностью поведал он.

— Мы всегда были друзьями, — уклончиво отвечал Йоссарян, — а для чего же еще существуют друзья?

Милоу со свойственной ему природной проницательностью, которая, казалось, никогда его не подводила, мгновенно насторожился.

— Йоссарян, если ты пришел, чтобы я помог твоим сыновьям освободиться от отправки во Вьетнам на войну…

— Это единственная причина, по которой я пришел.

— Я ничем не могу тебе помочь. — Йоссарян понял, что Милоу таким образом дает ему понять, что уже исчерпал свою квоту незаконно-законных освобождений от призыва. — Мы все должны нести свою ношу. Я выполнил свой долг, когда понял, в чем он состоит.

— У нас у всех есть обязанности, — добавил Уинтергрин. — В жеребьевке все зависит от везенья.

Йоссарян помнил, в чем состояли обязанности Уинтергрина во время последней большой войны — его основное занятие было рытье и последующее закапывание ям, что он делал в качестве осужденного за самоволки, в которые уходил одна за другой, чтобы оттянуть свою отправку за океан, туда, где было опасно, а оказавшись за

океаном, он продавал ворованные зажигалки «Зиппо» и служил кем-то вроде заведующего канцелярией на военной почте, где аннулировал не соответствовавшие его представлениям о целесообразности распоряжения высоких инстанций, просто выкидывая их в корзину.

— Я говорю всего лишь об одном парне, черт побери, взмолился Йоссарян. — Я не хочу, чтобы он туда попал.

— Я понимаю, что ты чувствуешь, — сказал Милоу. — У меня тоже есть сын, о котором я беспокоюсь. Но мы уже исчерпали наши возможности.

Йоссарян в отчаянии понял, что стучится в закрытые двери и что, если Майклу не повезет с жеребьевкой, то им обоим, вероятно, придется бежать в Швецию. Он вздохнул.

— Значит, ты ничем не можешь мне помочь? Абсолютно ничем?

— Нет, кое-чем *ты* мне все же можешь помочь, — ответил Милоу, и на мгновение Йоссаряну показалось, что он ослышался. — Ты знаешь людей, с которыми мы не знакомы. Мы бы хотели, — продолжал Милоу, и его голос стал вкрадчивее, даже каким-то сакральным, — нанять очень хорошую юридическую фирму в

Вашингтоне.

— Разве у вас там нет хорошей юридической фирмы?

— Мы хотим нанять все хорошие юридические фирмы, чтобы ни одна из них никогда не смогла принять участие в действиях против нас.

— Нам нужно влияние, — объяснил Уинтергрин, — а не какое-то сраное крючкотворство. Если у нас будет это сраное влияние, то нам никогда не понадобится ни это сраное крючкотворство, ни эти сраные адвокаты. Йоссарян, с чего мы должны начать, если мы хотим заполучить всех лучших законников в Вашингтоне?

— Вы уже думали о Портере Лавджое?

— О С. Портере Лавджое? — При звуке этого имени не устоял даже Уинтергрин, которого на мгновение охватил священный трепет.

— А *ты* можешь связаться с Лавджоем?

— Я могу связаться с Лавджоем, — небрежно бросил Йоссарян, который ни разу не встречался с Лавджоем, а лишь однажды связался с ним, просто позвонив в его юридическую фирму как представитель богатого клиента, ищущего за соответствующее вознаграждение услуг кого-нибудь, искушенного в вашингтонских интригах.

Милоу сказал, что Лавджой — волшебник. Уин-

тергрин сказал, что Лавджой охеренно хорош.

— Мы с Юджином сходимся в том, — сказал Милоу, — что хотим заполучить еще и тебя в качестве консультанта и представителя, конечно, на неполный рабочий день. Только когда ты нам будешь нужен.

— Для особо важных дел.

— Мы дадим тебе кабинет. И визитную карточку.

— Вы дадите мне кое-что побольше, — сказал Йоссарян подчеркнуто вежливым тоном. — Вы уверены, что я вам по средствам? Вам это будет стоить кучу денег.

— У нас есть куча денег. А для старого друга, вроде тебя, мы готовы раскошелиться. Сколько ты хочешь, если мы возьмем тебя с испытательным сроком на один год?

Йоссарян сделал вид, что задумался. Цифра, которую он собирался назвать, пришла ему в голову мгновенно.

— Пятнадцать тысяч в месяц, — отчетливо выговорил он наконец.

— Пятнадцать долларов в месяц? — еще более отчетливо произнес Милоу, словно уточняя.

— Пятнадцать *тысяч* в месяц.

— Мне послышалось «сотен».

— Юджин, скажи ему.

— Он сказал тысяч, Милоу, — мрачно сделал одолжение Уинтергрин.

— У меня плохо со слухом, — Милоу сильно подергал себя за мочку уха, словно наказывая непослушного ребенка. — Я подумал, что пятнадцать долларов будет маловато.

— Тысяч, Милоу. И за все двенадцать месяцев, хотя я, вероятно, и буду работать только десять. Летом я обычно беру двухмесячный отпуск.

Он порадовался собственной наглости. Но будет здорово иметь свободное лето; может быть, он вернется к своим старым литературным замыслам — пьесе и комическому роману.

В задуманной им пьесе, перекликающейся с «Рождественской песней», он собирался изобразить Чарльза Диккенса и его многочисленную родню за рождественским обедом, когда это семейство пребывало в крайнем разладе незадолго до того, как сей меланхоличный литературный архитектор сентиментальных добрых чувств возвел внутри дома кирпичную стену, чтобы отделиться от жены. Блестящий комедийный роман Йоссаряна уходил корнями в роман «Доктор Фаустус» Томаса Манна и строился вокруг юридического спора о правах на вымышленный

и зловещий шедевр для хорового пения, созданный Адрианом Леверкюном и названный на этих страницах «Апокалипсис»; этот шедевр, предвосхищавший появление Гитлера, исполнялся, по утверждению Манна, один лишь раз в Германии в 1926 году и этот раз, вероятно, был и последним. Одной стороной этого судебного процесса были наследники музыкального гения Леверкюна, создавшего это поразительное сочинение, а другой — преемники Томаса Манна, который выдумал Леверкюна и описал и озвучил этот пророческий, вызывающий ужас и благоговейный трепет, незабываемый и единственный в своем роде опус прогресса и уничтожения, в котором нацистская Германия была одновременно символом и темой. Йоссаряна в обоих этих замыслах привлекала их полная неосуществимость.

— Пятнадцать в месяц, — подвел, наконец, итог Милоу, — из расчета двенадцати месяцев в год даст…

— Сто восемьдесят, — лаконично подсказал ему Уинтергрин.

Милоу кивнул; по его лицу трудно было догадаться о его чувствах.

— Тогда мы согласны. Ты поработаешь на нас в течение года за сто восемьдесят долларов.

— *Тысяч*, Милоу. Сто восемьдесят тысяч долларов в год плюс расходы. Скажи ему еще раз, Юджин. И выпиши аванс на три месяца. Мне всегда так платят — поквартально. Считайте, что С. Портер Лавджой уже у вас в кармане.

Выражение страдания на лице Милоу было привычным. Йоссарян знал, хотя и не собирался в этом признаваться, что, начиная с этого дня, у него ни разу не было серьезного недостатка в деньгах, за исключением таких необычных ситуаций, как разводы и последовательные протечки налоговых крыш через двенадцать лет после их сооружения безупречными специалистами.

— Да, кстати, — в конце Уинтергрин отвел его в сторону, — по поводу твоего сына. Пусть он официально обоснуется в черном квартале, где у призывных комиссий нет проблем с выполнением квот. А остальное обеспечат боли в пояснице и письмо от доктора. Один из моих сыновей сейчас технически проживает в Гарлеме, а два племянника формально обитают в Ньюарке.

Йоссарян чувствовал, что они с Майклом предпочтут бегство в Швецию.

С. Портер Лавджой и Г. Нудлс Кук с того самого дня, когда Йоссарян свел их, испытывали друг к другу симбиотическую приязнь; ответного тепло-

го чувства у Йоссаряна не возникало ни к Нудлсу, ни к С. Портеру Лавджою, которого он и видел-то всего несколько раз.

— Я перед тобой в долгу за это, — сказал ему впоследствии Нудлс.

— И не только за это, — счел необходимым напомнить ему Йоссарян.

С. Портеру Лавджою, седоволосому, двухпартийному и здравомыслящему, как неизменно характеризовала его дружественная пресса, несмотря на его годы, по-прежнему жилось легко. Он был своим человеком в Вашингтоне и в течение почти полувека — привлеченным членом Коза Лоро, а к сегодняшнему дню заслужил право, как любил он размышлять вслух в присутствии слушателей, несколько сбавить темп.

Общественности было известно, что его часто приглашали в правительственные комиссии, чтобы найти оправдания, и в соавторы докладов, чтобы отстоять позиции.

Частным же образом он был ведущим партнером и главным советником принадлежащей Коза Лоро вашингтонской юридической фирмы Атуотера, Фицуотера, Дишуотера, Брауна, Джордана, Куэка и Капоне. Благодаря своему аристократическому авторитету и безукоризненной репутации,

он в этом своем качестве мог свободно представлять любых понравившихся ему клиентов, даже если их интересы и шли вразрез друг другу. Происходя из одного из пограничных штатов, он не отрицал своих многосторонних семейных связей — с северянами он мог говорить с мягким акцентом южного джентльмена голубых кровей, а в разговорах с южанами речь его приобретала нотки бостонской изысканности. Его партнер Капоне был смуглолиц и плешив и вид имел довольно непрезентабельный и мрачноватый.

— Если вы пришли ко мне в поисках влияния, — подчеркивал Портер Лавджой всем питающим надежду добиться его благосклонности, — то вы пришли не к тому человеку. Однако если вы хотите получить услуги искушенных людей, которые могут вслепую найти путь в здешних коридорах власти, которые накоротке с нужными вам людьми и могут сообщить, кто именно вам нужен, свести вас с ними, сопроводить на встречу и провести за вас б***о***льшую часть разговора, которые могут узнать, *что* говорят о вас там, куда вас самих не допускают, и которые, если вам не понравились принятые решения, могут через головы подчиненных пробраться к самому высокому начальству, то я могу вам помочь.

Именно С. Портер Лавджой приложил максимум усилий, чтобы распалить честолюбивые устремления Г. Нудлса Кука и придать им масштабность. Он с присущей ему проницательностью определил параметры дарования младшего коллеги и со щедрым проворством предпринял действия, имеющие целью поместить его рядом с другими знаменитостями в семейство Коза Лоро, которое могло наилучшим образом использовать его глубинное понимание механики действия политической рекламы и создания имиджей — его умение придумывать демагогические лозунги, злобные инсинуации, ловкие и утонченные оскорбления, его умелое и совершенно незаметное для глаза жонглирование логикой, его коварную ложь. Если только ему предоставлялся шанс, то Нудлс никогда не разочаровывал ни одного человека, который, как С. Портер Лавджой, ждал от него наихудшего.

В отношениях между Йоссаряном и главным гангстером Коза Лоро, каким был Нудлс Кук, уже давно образовалась трещина спокойной неприязни, но заделывать эту трещину ни одна из сторон не считала нужным. И тем не менее Йоссарян, ни секунды не колеблясь, позвонил теперь Нудлсу, чтобы поговорить о смешной воз-

можности склонить нового президента к тому, чтобы тот сделал вид, будто всерьез принимает приглашение Кристофера Максона на свадьбу приемной племянницы в автовокзале Администрации ньюйоркского порта.

— Нудлс, он собирает миллионы для вашей партии.

— А почему бы и нет? — весело сказал Нудлс. — Это похоже на шутку. Скажи им, он говорит, что серьезно подумает об этом приглашении.

— И тебе не нужно даже спрашивать у него?

— Нет, — в голосе Нудлса послышалось удивление. — Джон, не родился еще такой человек, чей мозг мог бы охватить все, что президент якобы понимает. Я все еще в фаворе, поскольку сильно помог ему на инаугурации.

В качестве десятого и самого новоиспеченного из девяти старших наставников с одиннадцатью докторскими степенями в мозговом тресте будущего президента, Г. Нудлс Кук еще не успел приобрести тот презрительный тон, который, как утверждают, есть порождение фамильярности.

Именно С. Портер Лавджой, обозрев потускневший лоск девяти изначальных наставников, предложил назначить Г. Нудлса Кука десятым, чтобы высокая власть вновь засияла иллюзор-

ным блеском; это назначение, настаивал он с веским безразличием, должно быть выгодным вице-президенту, администрации, стране, самому Нудлсу Куку и — это не говорилось, но подразумевалось — С. Портеру Лавджою, принеся ему пользу как партнеру принадлежащей Коза Лоро юридической и лоббистской фирмы Атуотера, Фицуотера, Дишуотера, Брауна, Джордана, Куэка и Капоне. Капоне, который, как и Лавджой, был одним из основателей, играл в престижных гольф-клубах с лидерами бизнеса и высокими правительственными чиновниками, и проигрывать ему позволялось редко.

Трудности с формальной стороной инаугурации возникли из-за вполне объяснимого каприза вице-президента, который пожелал, чтобы при его вступлении в более высокую должность присягу у него принимал председатель Верховного суда. Достопочтенный джентльмен, занимавший этот пост, суровый и властный человек с высоким лбом и в очках, вместо того, чтобы проявить готовность участвовать в действе, которое, по его мнению, не отвечало не только букве, но и духу закона, немедленно ушел в отставку.

Этот неожиданный поступок не оставил перед главой исполнительной власти страны иного

выбора, как только обратиться к другим юридическим светилам Верховного суда из близких ему партийных кругов.

Через четырнадцать минут после проведенного зондирования единственная женщина — член Верховного суда — добровольно ушла в отставку. Она объяснила свой поступок непреодолимым желанием вернуться на поприще, которое предпочитала всем другим — домашнего хозяйства. Всю свою жизнь, утверждала она, она стремилась к одному — стать домохозяйкой.

Другая крупная величина в этом блестящем созвездии юридических светил — из тех, на кого привыкли взирать снизу вверх, достопочтенный джентльмен, о котором доброжелательные газетчики часто отзывались с похвалой из-за его, как они говорили, остроумия и артистически-забавного буквоедства, — отправился на рыбалку.

Афро-американец для этой роли, конечно, не годился совершенно. Белая Америка не приняла бы президента, легитимность которого в его должности была подтверждена черным, а в особенности черным вроде этого, который был не совсем юристом и не совсем судьей, и, как показалось присутствовавшим на его утверждении, обладал лишь двумя свойствами, которыми при-

рода наделила его в равной мере, — желчностью и лживостью.

Другие члены суда, являвшиеся и верными членами партии, были с презрением отвергнуты просто как недостаточно колоритные и малоизвестные. Отказ от них стал тем более окончательным, когда из их судейских кабинетов через анонимные источники и неопознанных мелких чиновников просочилось конституционное сомнение в том, что какой-либо из достопочтенных членов какого-либо суда в стране обладал правом приведения к присяге подобного человека, долженствующего занять высший административный пост страны. В редком единодушии они приветствовали отставку председателя, уход в домохозяйки судьи-женщины и отъезд на рыбалку остроумца.

Оставалось лишь прибегнуть к услугам демократа, назначенною еще мнимым либералом Джоном Кеннеди и голосовавшего с тех пор как консерваторы.

Мог ли президент вступить в должность, не принося должностной присяги? Оставшихся членов суда было не достаточно, чтобы ответить на этот вопрос. И тогда Нудлс Кук, только Нудлс, единственный из старших наставников, вышел

со смелым предложением, которое он придерживал до критического момента, хотя оно и созрело у него в самом начале. Это предложение и привело, в конечном счете, к удовлетворительному выходу из создавшегося затруднительного положения.

— Все же я не понимаю, — повторил вице-президент, когда они снова совещались наедине. К тому времени все остальные его девять старших наставников с одиннадцатью докторскими степенями потеряли в его глазах всякий вес. — Объясните мне, пожалуйста, еще раз.

— Мне кажется, я не могу, — мрачно сказал Нудлс Кук. Ему нравилась должность, которую он занимал, но он уже не был уверен ни в своей работе, ни в своем нанимателе.

— Постарайтесь. Кто назначает нового председателя Верховного суда?

— Вы, — угрюмо сказал Нудлс.

— Верно, — сказал вице-президент, который после отставки своего предшественника технически уже был президентом. — Но я не могу его назначить, пока я не принес присягу?

— И это тоже верно, — уныло сказал Нудлс.

— А кто принимает у меня присягу?

— Тот, кого вы выберете.

— Я выбираю председателя Верховного суда.

— У нас нет председателя, — хмуро сказал Нудлс.

— И у нас не будет председателя, пока я его не назначу? А назначить я его не могу, пока…

— Кажется, теперь вы поняли.

Молча и с выражением мрачного разочарования Нудлс еще раз пожалел, что поссорился и не разговаривает со своей третьей женой Кармен, с которой он теперь мучительно-горько разводился. Он жаждал общения с кем-нибудь заслуживающим доверия, кому он мог бы безопасно и с блеском излагать свои идеи. Он подумал о Йоссаряне, который, к сожалению, сейчас, вероятно, считал его полным дерьмом. Нудлс был достаточно умен и понимал, что он был бы не особо высокого мнения о себе, если бы он был не он, а кто-нибудь другой. Нудлс был достаточно честен и знал, что он бесчестен, а остатков прямоты ему хватало, чтобы понимать: никакой прямоты у него нет.

— Да, кажется, я понял, — со слабым проблеском надежды сказал вице-президент. — Кажется, у меня снова включились все цилиндры.

— Меня бы это не удивило. — Интонация Нудлса была менее утвердительной, чем он сам того

хотел.

— А почему бы нам не сделать и то, и другое сразу? Не мог бы я принять у него присягу как у председателя Верховного суда, а он у меня — как у президента?

— Нет, — сказал Нудлс.

— А почему нет?

— Его должен утвердить Сенат. Сначала вам нужно было бы его назначить.

— Тогда, — сказал вице-президент; он сидел прямо с широкой и торжествующей улыбкой на лице, появлявшейся у него обычно после очередного побитого им рекорда за пультом управления видеоигрой, — не мог бы Сенат утвердить его в тот самый момент, когда я буду его назначать одновременно с принятием им у меня присяги?

— Нет, — твердо сказал ему Нудлс. — И пожалуйста, не спрашивайте у меня, почему. Это невозможно. Поверьте мне на слово, сэр.

— Это просто стыд и позор! Мне кажется, что президент должен иметь право быть приведенным к присяге председателем Верховного суда.

— Никто из известных мне людей не возражает против этого.

— Значит, я могу быть приведен к присяге, как я хочу, да? Ах, нет! У нас же нет председателя

Верховного суда! Как такое могло произойти?

— Не знаю, сэр. — Нудлс не мог не упрекнуть себя за ноту саркастичности. — Вероятно, это еще один просчет наших отцов-основателей.

— Что за чушь вы несете? — Тут вице-президент подпрыгнул так, словно какое-то немыслимое святотатство вызвало у него холерический припадок. — Ведь никаких просчетов быть не могло, да? Наша конституция всегда была совершенна. Разве не так?

— У нас двадцать семь поправок к конституции, сэр.

— Да? Я этого не знал.

— Это ни для кого не секрет.

— Откуда мне было знать? А что такое поправка? Изменение?

— Да.

— Ну, так откуда мне было знать? — Он снова впал в мрачное отчаяние. — Значит, мы на том же месте? Я не могу назначить…

— Не можете. — Нудлс счел за лучшее оборвать его, чтобы на сей раз обойтись без этой словесной канители.

— Значит, это что-то вроде уловки 22, да? — неожиданно выпалил вице-президент и тут же просветлел при этом свидетельстве собственного

вдохновения. — Я не могу назначить председателя Верховного суда, пока не стану президентом, а он не может принять у меня присягу, пока я его не назначу. Разве это не уловка 22?

Нудлс Кук свирепо уставился в стену и пришел к выводу, что лучше ему оставить свою престижную должность в грядущей администрации, чем иметь дело с человеком, вроде этого, выдвигающим предположения, вроде подобного.

Он вдруг понял, что смотрит на повешенную здесь для красоты большую упрощенную схему диспозиции войск в Геттисбергском сражении. Нудлс начал размышлять об историческом прошлом. Может быть, думал он, так оно и было всегда между сувереном и советником, последний из которых неизменно оказывался на голову выше первого. Именно тогда доведенный до крайности Нудлс и выкрикнул, словно команду, решение, которое, в конечном счете, и спасло ситуацию.

— Воспользуйтесь этим демократом!

— *Что?*

— Воспользуйтесь этим сраным демократом. — Он отмел в сторону все возражения, предвосхитив их. — Что с того, что он был демократом Кеннеди? Этот тип ничуть не хуже всех нас. Ваша деятель-

ность будет освещаться еще шире, потому что этим займутся издания обеих партий. А когда вы утратите популярность, то сможете обвинить его в том, что это он приводил вас к присяге.

Опять подтвердилась прозорливость Портера Лавджоя. Представляя в свое время Нудлса, он подчеркивал, что тот может быть весьма полезен для вице-президента. Потребность в нем была самая насущная, а возможности его — безграничны. «Что я могу ему говорить?» — пожелал узнать Нудлс. «Все, что он позволит. Вообще-то вы еще должны будете проинтервьюировать его, чтобы понять, нужна ли вам эта работа, но так проинтервьюировать, чтобы он об этом и не догадался». А как, недоуменно спрашивал себя Нудлс, мне это удастся? В ответ Портер Лавджой лишь еще раз лучезарно улыбнулся. Кодовое имя?

— Пока это не трогайте, — предостерег его Портер Лавджой. — Он сам его выбрал. У вас не будет никаких затруднений.

— Входите, входите, входите, — весело сказал вице-президент Нудлсу Куку после дружеских приветствий в приемной, озадачивших Нудлса своей неформальностью.

Его удивило то, что сия более молодая по сравнению с ним высокопоставленная особа

стремглав выскочила из кабинета, чтобы тепло его приветствовать. Нудлс лишь краем глаза ухватил школьные и университетские вымпелы, развешанные на стенах приемной. Он не успел сосчитать огромное число телевизионных экранов, настроенных на разные каналы. «Ждем старых клипов и музыкальных шлягеров», — со смехом объяснили ему сидевшие там девушки, и Нудлс не понял, серьезно ли они говорят или нет.

— Я с нетерпением ждал встречи с вами, — убедительно продолжал вице-президент. — Жми, жми, жми, — доверительно сказал он, когда двери за ними закрылись и они оказались одни. — Это из видеоигры, в которой я непобедим. Она называется «Индианаполисские гонки». Знаете ее? Еще узнаете. Вы хорошо играете в видеоигры? Могу поспорить, я вас обыграю. Ну, расскажите мне о себе. До смерти хочу узнать о вас побольше.

Для Нудлса все это были детские забавы.

— Что бы вы хотели узнать обо мне, сэр? С чего мне начать?

— Вот я, например, — ответил вице-президент, — если я что-то намечаю, то всегда добиваюсь своего. Я никогда не плачу над пролитым молоком. Что прошло, то прошло. Когда цель определена, я преследую ее, забыв обо всем на

свете.

— Понимаю, — сказал Нудлс после минутной удивленной паузы, за время которой он догадался, что ему предоставляется шанс для комментариев. — И вы хотите сказать, что поставили перед собой цель стать вице-президентом?

— О да, именно, именно. И я преследовал эту цель, забыв обо всем на свете.

— И что же вы делали?

— Я ответил согласием, когда мне предложили занять эту должность. Понимаете, мистер Кук… можно я буду называть вас Нудлс? Спасибо. Это большая честь… мне кажется, что институт вице-президентства наилучшим образом описан словом «будь готов». Или это два слова?

— По-моему, два.

— Спасибо. Думаю, что ни один из других моих наставников не смог бы дать мне столь ясный ответ. И именно эту цель я и собираюсь преследовать, забыв обо всем на свете. Быть готовым. Очевидно, что чем больше дней ты был вице-президентом, тем больше ты подготовлен к посту президента. Вы согласны?

Нудлс искусно увернулся от ответа.

— И теперь вы собираетесь, забыв обо всем на свете, преследовать именно эту цель?

— Ведь в этом и состоит смысл работы вице-президента, верно? Мои другие наставники согласны.

— А президент знает?

— Я бы не преследовал эту цель, забыв обо всем на свете, если бы не получил его одобрения. Может быть, вы хотите узнать обо мне еще что-нибудь такое, что поможет мне решить, годитесь ли вы для этой работы. Портер Лавджой говорит, что годитесь.

— Прекрасно, сэр, — сказал Нудлс Кук и осторожно продолжил. — Есть ли у вас какие-нибудь планы, для осуществления которых в одиночку вы, может быть, чувствуете себя не вполне оснащенным?

— Нет, ничего такого мне не приходит в голову.

— Тогда почему же вы считаете, что вам нужен еще один наставник?

— Чтобы помочь мне с вопросами, вроде этого. Понимаете, в колледже я совершил ошибку, уделяя учебе недостаточно внимания, и теперь сожалею об этом.

— Но ведь вы получали удовлетворительные оценки на экзаменах, да?

— Оценки я получал не хуже, чем когда все же

уделял учебе некоторое внимание. Ведь вы закончили колледж, мистер Кук? Вы образованный человек?

— Да, сэр, закончил. Я получил степень.

— Отлично. Я тоже учился в колледже. У нас много общего, и я надеюсь, мы сойдемся с вами ближе… — здесь в его голосе послышались раздраженные нотки, — чем со всеми остальными. У меня такое ощущение, что они издеваются надо мной у меня за спиной. Оглядываясь назад, я считаю, что в колледже должен был больше времени уделять философии, истории, экономике и тому подобным вещам. Я теперь наверстываю упущенное.

— Каким образом… — хотел было спросить Нудлс, но передумал. — Мой жизненный опыт, сэр…

— Я не собираюсь плакать над пролитым молоком, что прошло, то прошло.

— Мой жизненный опыт, — подобострастно продолжал гнуть свое Нудлс, — студента и даже какое-то время преподавателя подсказывает мне: люди делают то, что им по душе. Человек, который интересуется спортом, гольфом и вечеринками, будет проводить время на спортивных состязаниях, в гольф-клубах и на вечеринках.

Довольно трудно в зрелом возрасте развить в себе интерес к философии, истории или экономике, если эти предметы не привлекали тебя ранее.

— Да, и никогда не бывает слишком поздно, — сказал вице-президент, и Нудлс не понял, придерживаются ли они одинакового мнения или нет. — Последнее время я изучал наполеоновские войны, чтобы немного пополнить образование.

Секунду или две Нудлс сидел недвижимо.

— Какие именно? — Никакой другой ответ ему не пришел в голову.

— Разве там были разные?

— Вообще-то это не моя область, — ответил Нудлс Кук, и надежда стала покидать его.

— И еще я занимаюсь Антиетамским сражением, — услышал Нудлс голос человека, который должен был сменить президента на его посту. — А после этого я собираюсь разобраться с битвой при Булл-Ране. Вот уж действительно великая была война — Гражданская. После нее ничего подобного у нас не было, да? Вас это может удивить, но Булл-Ран всего в двух часах езды отсюда, если на машине с полицейским сопровождением.

— Вы готовитесь к войне?

— Я расширяю кругозор. И я верю в то, что нужно готовиться. Все остальное в работе президента

мне кажется довольно трудным и скучноватым. Мне все эти битвы записывают на видеокассеты и превращают в игры, где выиграть может любая из сторон. Жми, жми, жми! И Геттисберг тоже. Вы любите видеоигры? Какая ваша любимая?

— У меня нет любимой, — подавленно пробормотал Нудлс.

— Скоро будет. Идемте, покажу.

На бюро под видеоэкраном — в кабинете был видеоэкран с пультами управления во множестве специальных ниш, — к которому вице-президент подвел Нудлса, лежала игра под названием «Индианаполисские гонки». Нудлс увидел и другие — «Сбросить бомбы» и «Уйти от призыва».

И еще одну под названием «Умри от смеха».

Его хозяин издал смешок.

— У меня в штате девять человек с университетским образованием и с одиннадцатью докторскими степенями, и ни один из них ни разу не смог меня победить в какой-нибудь из этих игр. Это говорит вам что-нибудь о современном уровне высшего образования в стране?

— Да, — сказал Нудлс.

— И что это вам говорит?

— Многое, — сказал Нудлс.

— Я чувствую то же самое. Скоро выйдет еще

одна, новая, под названием *Триаж*.[67] Просто как для меня придумана. Вы ее знаете?

— Нет.

— *Триаж* — это французское слово, и в случае, если разразится большая война и нам придется решать, кому из немногих избранных суждено выжить в наших подземных бомбоубежищах…

— Я знаю, что означает это слово, мистер вице-президент! — прервал его Нудлс с большей, чем собирался, резкостью. — Просто я не знаю этой игры, — пояснил он, выдавив на лице улыбку.

— Скоро узнаете. С нею я вас познакомлю в первую очередь. Это очень интересная и захватывающая игра. У вас будут свои фавориты, а у меня — свои, и только один из нас сможет выиграть и решать, кто будет жить, а кто умрет. Нас это развлечет. Пожалуй, я хочу, чтобы вы овладели *Триажем*, потому что никто не знает, когда мы начнем применять ее на практике, а мне кажется, что все остальные для этого не годятся. Договорились?

— Да, мистер вице-президент.

— И не будьте вы таким официальным, Нудлс. Называйте меня Гаденыш.

---

[67] Примечания: 67

Разборка, сортировка (*франц.*), здесь — установление приоритетов.

Нудлс был потрясен.

— Ни за что! — с чувством ответил он в интуитивном порыве неповиновения.

— Попытайтесь.

— Нет.

— Даже если от этого будет зависеть, примут вас на работу или нет?

— Даже если от этого будет зависеть, примут меня на работу или нет, мистер Гаденыш… то есть, мистер вице-президент.

— Ну, видите, а скоро совсем привыкнете. Взгляните-ка сюда. Портер Лавджой говорит, что вы с этим справитесь. Что вы знаете о тяжелой воде?

— Почти ничего, — сказал Нудлс, чувствуя себя теперь на более твердой почве. — Это каким-то образом связано с ядерной реакцией, да?

— Не спрашивайте об этом меня. Здесь что-то вроде этого и написано. Я тоже не очень много об этом знаю, так что здесь мы сходимся.

— А в чем тут дело?

— Да вот задержали одного человека, который производит ее без лицензии. Здесь написано, что это отставной капеллан из воздушного корпуса времен Второй мировой войны.

— Так заставьте его прекратить.

— Он не может прекратить. Он ее производит

как бы биологически, если вам это понятно.

— Нет, мне это не понятно.

— Так написано в этом резюме выжимок того, что находится в этой секретной папке, кодовое название которой «Водопроводная вода». Он ест и пьет, как и все мы, но вот выходит из него, кажется, тяжелая вода. Его исследовали и разрабатывали в частной корпорации «П и П М и М», которая подала на него патентную заявку и в настоящее время владеет им.

— Где они его держат?

— Где-то под землей, на тот случай, если он вдруг станет радиоактивным. Перед тем как его схватили, у него был контакт с каким-то сообщником, и теперь его жена и этот второй тип регулярно разговаривают по телефону зашифрованными фразами и делают вид, что ни о чем таком не знают. Пока еще никаких вольностей между ними не было. Еще этот тип разговаривает по телефону с одной медицинской сестрой, и вот между ними, может быть, вольности как раз и начинаются. Словно они никогда не слышали о СПИДе. Здесь еще может быть замешан один бельгийский шпион из нового Европейского Экономического Сообщества. В последний раз, когда они разговаривали, она ему сообщила: «Бельгиец

снова начал глотать».

— И что вы собираетесь с ним делать?

— Ну, мы, конечно, легко могли бы его убить с помощью одного из наших антитеррористических подразделений, если дело дойдет до этого. Но он может нам понадобиться, потому что у нас проблемы с нехваткой трития. Что вы знаете о тритии, Нудлс?

— О тритии? Никогда о нем не слышал.

— Хорошо. Вы умеете быть объективным. Я думаю, это какой-то радиоактивный газ, который нам нужен для нашей водородной бомбы и других вещей. Его можно получать из тяжелой воды, и этот капеллан может оказаться очень полезным, если ему удастся обучить и других производить тяжелую воду. У президента для этого не хватает терпения, и он хочет, чтобы этим делом занялся я. У меня для этого тоже не хватает терпения, а поэтому я передаю его вам.

— Мне? — удивленно воскликнул Нудлс. — Вы хотите сказать, что я принят?

— Ведь мы поговорили, не правда ли? Сообщите мне, какие, по вашему мнению, рекомендации я должен дать.

Он протянул Нудлсу довольно увесистую красную папку, на наклейке обложки которой в одном

предложении было изложено резюме выжимок сводки дайджеста рапорта сжатого изложения сообщения об отставном военном капеллане семидесяти одного года, производящем тяжелую воду внутренним способом без лицензии и в настоящее время задержанном для обследования и допроса. Нудлс слабо разбирался в тяжелой воде и совсем не разбирался в тритии, но он достаточно разбирался в жизни и ничем не выдал своего знания, прочтя имена Джона Йоссаряна и Милоу Миндербиндера, хотя и погрузился в мрачную задумчивость, прочтя о медицинской сестре Мелиссе Макинтош, о которой никогда раньше не слышал, и о ее подружке, Анджеле Мор или Моркок, с которой они на пару снимали квартиру, и о находящемся в нью-йоркской больнице таинственном бельгийском агенте с раком горла, о котором медицинская сестра регулярно передавала шифрованные сообщения по телефону, и об обходительном, хорошо одетом таинственном незнакомце, который, кажется, вел наблюдение за всеми остальными либо как шпион, либо как телохранитель. Как знаток описательной прозы Нудлс по достоинству оценил талант автора, который умел вмещать в одно предложение так много.

— Вы хотите, чтобы решение принял я? — пробормотал, наконец, озадаченный Нудлс.

— А почему бы и не вы? Потом здесь есть еще кое-что о ком-то, у кого есть великолепный военный самолет, и этот кто-то хочет, чтобы мы купили его самолет, а потом есть еще один, у которого есть великолепный самолет получше первого, и он тоже хочет, чтобы мы его купили, но мы можем купить только один.

— А что говорит Портер Лавджой?

— Он занят, готовится к судебному процессу. Я хочу выслушать ваше мнение.

— Мне кажется, я не компетентен в таких вопросах.

— Я верю в потоп, — ответил вице-президент.

— Кажется, я ослышался.

— Я верю в потоп.

— Какой потоп? — Нудлс был снова сбит с толку.

— Ноев потоп, конечно. Тот, о котором написано в Библии. И моя жена тоже. Разве вы о нем не знаете?

Прищурив глаза, Нудлс пытался отыскать в простодушном выражении лица вице-президента хоть какой-нибудь намек на шутку.

— Я не уверен, что понял вас. Вы считаете, что

тогда было сыро?

— Я верю, что это правда. До последней детали.

— Что он взял с собой каждой твари по паре?

— Так там сказано.

— Сэр, — вежливо сказал Нудлс, — науке сегодня известно такое количество животных и насекомых, что их невозможно собрать и за всю жизнь и поместить на судно такого размера. Как он их собрал, где он их разместил, я уж не говорю о том, что там должно было быть место для него и его детей с семьями. А как быть с проблемой хранения съестных припасов и удаления отходов в течение этих сорока дождливых дней и ночей?

— Так, значит, вы знаете об этом!

— Наслышан. А сто пятьдесят дней и ночей после того, как дождь кончился?

— Так вы и об этом знаете! — Вице-президент посмотрел на него с одобрением. — Тогда вы, вероятно, знаете, что эволюция — вздор. Я ненавижу эволюцию.

— Откуда же взялись все эти известные нам животные? Одних только видов жуков существует триста или четыреста тысяч.

— Ну, они, наверно, просто эволюционировали.

— Всего за семь тысяч лет? Ведь по Библии все

началось именно семь тысяч лет назад.

— Вы можете прочитать об этом, Нудлс. Все, что нам нужно знать о сотворении мира, написано в Библии, черным по белому на чистом английском языке. — Вице-президент спокойно разглядывал его. — Я знаю, что существуют скептики. Но все они красные. Все они не правы.

— А как же быть с Марком Твеном? — не мог сдержаться Нудлс.

— Ага, я знаю это имя! — с тщеславной радостью воскликнул вице-президент. — Марк Твен — это тот самый великий американский юморист из соседнего со мной штата Миссури, верно?

— Миссури не соседствует с Индианой, сэр. А ваш великий американский юморист высмеивал Библию, с пренебрежением относился к христианству, испытывал отвращение к нашей империалистической внешней политике и камня на камне не оставил от всей этой истории с Ноем и его ковчегом, а в особенности от мухи.

— Очевидно, — ответил вице-президент, не теряя хладнокровия, — мы говорим о разных Марках Твенах.

Нудлс пришел в ярость.

— Был только один Марк Твен, сэр, — мягко сказал он и улыбнулся. — Если хотите, я приготовлю

сводку его изречений и оставлю ее у одного из ваших секретарей.

— Нет, я ненавижу все письменное. Запишите это на видео, и, может быть, нам удастся сделать из этого игру. Я вот диву даюсь, почему это люди, которые читают, никак не могут осознать простые истины, изложенные там так ясно. И, пожалуйста, не называйте меня «сэр». Вы на столько старше меня. Вы не будете называть меня Гаденыш?

— Нет, сэр, я не буду называть вас Гаденыш.

— А все остальные называют. У вас есть на это право. Я давал присягу защищать это конституционное право.

— Послушайте, Гаденыш… — Вскочив, Нудлс стал затравленно озираться в поисках доски, мела, указки — чего угодно. — Вода стремится к покою.

— Да, я слышал об этом.

— Гора Эверест имеет высоту около пяти миль. Чтобы покрыть всю землю водой, глубина водного слоя должна быть около пяти миль.

Его будущий наниматель кивнул, довольный тем, что, наконец, кажется, стал что-то понимать.

— Значит, тогда было столько воды.

— А потом воды спали. Куда бы они могли спасть?

— Конечно, в океаны.

— А где же, по-вашему, были океаны, если весь мир был покрыт водой?

— Под потопом, конечно, — последовал решительный ответ, и радушный вице-президент поднялся. — Если вы посмотрите на карту, Нудлс, то увидите, где находятся океаны. И вы увидите также, что Миссури граничит с моим штатом Индиана.

— Он верит в потоп! — Нудлс Кук все еще не мог успокоиться и, разговаривая с Лавджоем, почти переходил на крик. Впервые в их взаимоотношениях он явился перед своим спонсором, испытывая чувство, отличное от заговорщицкого удовлетворения.

Портер Лавджой был невозмутим.

— И его жена тоже.

— Вы должны будете увеличить мне жалованье.

— Эта работа не заслуживает большего.

— Измените работу!

— Я поговорю с Капоне.

Здоровье у него было отличное, жил он не на социальное пособие, и все, так или иначе участ-

вовавшие в его назначении, чувствовали, что в качестве министра, ответственного в новом кабинете за здравоохранение, образование и социальное обеспечение, Нудлс сосредоточит все свои усилия на образовании нового президента.

КНИГА ПЯТАЯ

13
ТРИТИЙ

«Тяжелая вода поднялась еще на два пункта», — сообщал факс, пришедший в офис «М и М» в Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке, на том же этаже и почти в том же кабинете, в котором Сэмми Зингер провел большую часть своей зрелости, работая в журнале «Тайм», в кабинете, окна которого, как снова видел теперь Майкл Йоссарян, выходили на легендарный каток, расположенный далеко внизу, сверкающий, замороженный кружок в центре вызывающего почтение японского комплекса недвижимости, выкупленного ранее у вымирающей финансовой династии Рокфеллера. Это был тот же каток, на котором много лет назад Сэмми, придя сюда с Глендой, впервые встал на коньки и не упал, а потом приходил еще не раз во время обеденного перерыва, когда они начали встречаться регулярно и она все еще убеждала его переехать жить к ней в ее квартиру в Уэст-Сайде, где с ней жили трое ее детей и ее необыкновенная матушка, еще сохранившая в своем характере дух колонистов

Висконсина; Сэмми матушке понравился, и она с радостью снова уехала жить к своей сестре на маленькую семейную ферму, когда Сэмми поддался, наконец, на уговоры Гленды, — никто из известных ему нью-йоркских родителей не был способен на такое благородное самопожертвование, — и когда тритий, газ, получаемый из тяжелой воды, на международных товарных биржах радиоактивных материалов в Женеве, Токио, Бонне, Ираке, Иране, Нигерии, Китае, Пакистане, Лондоне и Нью-Йорке поднялся еще на *двести шестнадцать пунктов*. Оптимистичный рост трития объяснялся природной способностью этого изотопа водорода с заранее известной скоростью терять свои свойства в атомном оружии, что и обусловливало необходимость периодического пополнения его запасов, и соблазнительной предрасположенностью этого газа уменьшаться в объеме за временной промежуток между моментом, когда его закупоривал поставщик, и моментом, когда его получал покупатель, который чаще всего был производителем новых галантерейных товаров или указательных знаков, имевших неискоренимо люминесцирующие поверхности, или изготовителем и поставщиком ядерных боеголовок.

Клиенты часто сообщали о том, что получали больше чем на сорок процентов меньше трития, чем ими было оплачено, и на сорок процентов меньше, чем было запаяно и отправлено, при этом никаких свидетельств хищения, диверсии или утечки не обнаруживалось.

Просто, при получении ими груза, трития там не хватало.

Незадолго до этого в ходе экспериментальной отправки опытной партии всего лишь из одного здания в другое с целью выяснения причины потерь, никаких новых результатов не было получено и исчезновение трех четвертей от общего количества отправленного трития так и осталось необъясненным. Было бы неточно утверждать, заявил сконфуженный источник, что тритий как сквозь землю проваливался. Они брали пробы земли. Трития там не обнаруживалось.

Несмотря на радиацию и, как следствие, опасность заболевания раком, тритий продолжали использовать для светоотражающих указателей и часовых циферблатов, для пушечных прицелов, для приборов ночного видения, для значков в виде свастики, крестов, звезды Давида и венчиков, светящихся в темноте, а также для колоссального увеличения взрывной мощности ядерных

зарядов.

Сногсшибательная подружка Мелиссы Макинтош, Анджела Мор, о которой Йоссарян не мог уже думать иначе как об Анджеле Моркок, уже предложила своим пожилым и благочестивым нанимателям идею создания игрушек с люминесцентными накладками, фосфоресцентно высвечивающими наиболее активные органы совокупления, кроме того, Анджела уже успела опробовать на посетителях ярмарки игрушек — мужчинах и женщинах — другую свою идею: часы для спальной со светящимся эмалево-тритиевым циферблатом, на котором часовая и минутная стрелки изображали обрезанные мужские члены, а цифры были вовсе не цифрами, а обнаженными женскими фигурками, чувственные позы которых приобретали в зависимости от часа все более откровенный характер, пока эти последовательные стадии эротического транса не завершались полным удовлетворением в решающий двенадцатый час. Йоссарян возбудился, слушая, как она рассказывает об этом рожденном в порыве вдохновения предмете ширпотреба; это происходило в коктейль-баре задень или два до того, как она впервые сделала ему минет и отослала домой, потому что он был старше

мужчин, к которым она привыкла, и она не была уверена, есть ли у нее желание познакомиться с ним поближе, а впоследствии, и из-за растущего к нему чувства Мелиссы и возрастающего у самой Анджелы осознания опасности СПИДа, она отказалась делать ему минет во второй раз или удовлетворить его каким-либо иным равноценным способом; в тот первый раз, сидя рядом с Анджелой на бархатной банкетке в роскошном коктейль-баре и слушая ее бред, он вдруг почувствовал слабое шевеление у себя в штанах и, взяв ее за руку, потер ее ладонью ширинку своих штанов, чтобы и она почувствовала это.

Огромный рост мощности заряда атомных боеголовок благодаря действию трития сделал возможным эстетическое уменьшение размера и веса бомб, ракет и всевозможных снарядов, позволив на один носитель, вроде предполагаемого бомбардировщика Милоу или Стрейнджлава, устанавливать большее число зарядов, не принося при этом в жертву ядерную разрушающую способность.

Стоимость капеллана многократно возросла, и он был в полной безопасности.

14
МАЙКЛ ЙОССАРЯН

— Когда я смогу его увидеть? — услышал Майкл Йоссарян настойчивый голос отца. У его отца волосы были гуще, чем у него самого, и курчавые их завитки отливали цветом, для которого его брат Адриан неустанно искал химическую формулу, чтобы получить краску молодой, естественной проседи, которая не казалась бы молодой у любого человека в возрасте Йоссаряна и не выглядела бы естественной.

— Как только не будет никакой опасности, — ответил М2, одетый в чистую, белую рубашку, которая еще не успела помяться, пропотеть и не требовала глажки.

— Майкл, разве он только что не сказал, что никакой опасности для капеллана нет?

— Мне показалось, что именно это я и слышал.

Майкл улыбнулся про себя. Он прижался лбом к оконному стеклу, чтобы получше разглядеть каток внизу с его красочным калейдоскопом катающихся, неторопливо убивающих время; Майкл с мрачным предчувствием человека,

много упустившего в жизни и заранее знающего ответ, спрашивал себя, смог ли бы он забыться и найти хоть какое-то утешение в подобных милых развлечениях, если бы ему когда-либо удалось заставить себя искать их. Отражающий свет ледяной овал в последние годы окружала кочующая толпа нищих и бродяг вперемежку с вышедшими прогуляться на обед или попить кофейку и с конными полицейскими на грозных лошадях. Майкл Йоссарян не танцевал — он не чувствовал ритма. Он не играл в гольф, не катался на лыжах, не занимался теннисом и заранее знал, что никогда не будет кататься на коньках.

— Я имею в виду опасности для нас, — услышал он жалобный, оправдывающийся голос М2, и повернулся, чтобы взглянуть на него. Казалось, М2 был великолепно подготовлен к вопросу, который ему задали. — Как только не будет опасности для «М и М», и его не сможет присвоить ни «Мерседес-Бенц», ни «Н энд Н Дивижн ов Ниппон энд Ниппон». Когда будет блокирован сам Стрейнджлав. Мы запатентуем капеллана, когда узнаем, как он работает, а сейчас мы ищем торговую марку. Мы подумываем о венчике. О светящемся венчике, конечно, поскольку он священник. Может быть, о таком, который будет

светиться в темноте всю ночь.

— Почему же не использовать для этого тритий?

— Тритий дорого стоит, и он радиоактивен. Майкл, ты можешь нарисовать венчик?

— По-моему, это не трудно.

— Нам понадобится что-нибудь веселенькое, но серьезное.

— Я постараюсь, — сказал Майкл, снова улыбнувшись, — сделать его серьезным, а вот нарисовать венчик, который не был бы веселеньким, довольно трудно.

— Где его держат? — пожелал узнать Йоссарян.

— Наверно, все в том же месте. По правде говоря, я не знаю.

— А твой отец знает?

— А я знаю, знает ли он?

— А если бы ты знал, то сказал бы мне?

— Если бы он разрешил.

— А если бы нет?

— Тогда я бы сказал, что не знаю.

— Как говоришь сейчас. По крайней мере, ты честен.

— Стараюсь.

— Даже когда врешь. В этом есть парадокс. Мы говорим кругами.

— Я прослушал курс богословия.

— И что же, — сказал Йоссарян, — я должен говорить жене капеллана? Я с ней скоро встречаюсь. Если есть кто-нибудь еще, к кому я могу ей посоветовать обратиться с жалобой, я ей обязательно скажу.

— А кого она могла бы найти? Полиция здесь беспомощна.

— Стрейнджлава.

— Ах, нет, — сказал М2, став бледнее обычного. — Придется мне выяснить. А пока вы можете сказать Карен Таппман, что…

— Карен?

— Здесь у меня в шпаргалке так написано. Вы можете, не кривя душой, сказать Карен Таппман…

— Я не думаю, что стал бы ей лгать.

— Мы всегда выбираем правду. Так и записано в нашей инструкции в статье «Ложь». Вы должны сказать Карен Таппман, — стал услужливо излагать М2, — что он себя хорошо чувствует и скучает без нее. Он с нетерпением ждет возвращения к ней, что и произойдет, как только он не будет представлять угрозы для себя и общества, а его присутствие дома и в супружеской постели не нанесет ущерба ее здоровью.

— Еще одна сраная хитрость, да?

— Прошу вас, — М2 передернуло. — Это и на самом деле правда.

— Но ты бы так сказал, если бы это и не было правдой?

— Вы абсолютно правы, — признался М2. — Но если в нем из тяжелой воды начнет образовываться тритий, то он может оказаться радиоактивным, и нам всем так или иначе придется держаться от него подальше.

— М2, — резко сказал Йоссарян. — Мне скоро нужно будет поговорить с капелланом. Твой отец видел его? Я знаю, что ты ответишь. Ты должен выяснить.

— Сначала я должен выяснить, могу ли я это выяснить.

— Выясни, можешь ли ты выяснить, может ли он это устроить. Стрейнджлав смог бы.

М2 снова побледнел.

— Вы собираетесь пойти к Стрейнджлаву?

— Стрейнджлав сам придет ко мне. А капеллан перестанет производить эту воду, если я его попрошу.

— Я должен сообщить отцу.

— Я ему уже сообщил, но он не всегда слышит, что ему говорят.

М2 был потрясен.

— Мне сейчас кое-что пришло в голову. Зачем мы говорим об этом в присутствии Майкла? Капеллан сейчас секретный объект, и я не думаю, что уполномочен позволять кому-нибудь слышать о нем.

— О ком? — шаловливо спросил Майкл.

— О капеллане, — ответил М2.

— О каком капеллане?

— О капеллане Альберте Т. Таппмане, — сказал М2. — Это армейский приятель твоего отца, он без всякой лицензии производит внутри себя тяжелую воду и теперь задержан для проведения тайного обследования и расследования, а мы тем временем пытаемся его запатентовать и зарегистрировать торговую марку. Ты о нем знаешь?

Майкл осклабился.

— Ты говоришь о том армейском приятеле моего отца, который стал незаконно внутри себя производить тяжелую воду, а теперь…

— Именно о нем! — воскликнул М2 и замер, словно увидел перед собой призрака. — А как ты узнал?

— Ты сам мне только что рассказал, — рассмеялся Майкл.

— Значит, я опять проболтался, да? — пробор-

мотал М2 и в скорбном пароксизме покаянного стенания шумно рухнул на стул у своего стола. Его сияющая чистотой белая рубашка, изготовленная из синтетического материала, была теперь помятой, влажной и требовала глажки, а внешние проявления волнения и горячей тревоги уже проступали темными пятнами под мышками на белой футболке, которая тоже была обязательным атрибутом его костюма. — Я просто не умею хранить тайны, да? Мой отец все еще сердится на меня из-за того, что я рассказал вам о бомбардировщике. Он говорит, что чуть не убил меня. И моя мать тоже. И сестры. Но знаете, в этом есть и ваша вина. Его задача в том, чтобы останавливать меня, если я начинаю выбалтывать ему секреты, вроде этого.

— Вроде какого?

— О бомбардировщике.

— Каком бомбардировщике?

— О нашем Досверхзвуковом невидимом и бесшумном оборонительно-наступательном атакующем бомбардировщике второго удара «П и П М и М». Надеюсь, ты о нем не знаешь.

— Теперь уже знаю.

— Как же ты узнал?

— Есть у меня свои способы, — сказал Майкл и,

нахмурившись, повернулся к отцу. — Мы теперь и на армию работаем?

Йоссарян раздраженно ответил:

— Они говорят, что нравится нам это или нет, но кто-то должен работать на армию, так почему бы и не они; кто-нибудь так или иначе будет сотрудничать с ними в этом, независимо от того, скажу я «да» или «нет», так что почему бы тебе или мне не сотрудничать с ними, и это абсолютная истина.

— Даже несмотря на то, что это ложь?

— Мне они сказали, что это будет экскурсионный самолет.

— Он и будет экскурсионный, — объяснил Майклу М2.

— Экскурсионный самолет на двух человек? — возразил ему Йоссарян. — Но во всем этом есть одно обстоятельство, которое может успокоить твою совесть, — добавил Йоссарян, обращаясь к Майклу. — Он не будет летать. Верно, М2?

— Мы это гарантируем.

— А кроме того, — не скрывая негодования сказал Йоссарян, — тебя просят всего лишь нарисовать этот самолет, а не летать на этой вонючей штуковине и не сбрасывать с нее бомб. Этот самолет для нового века. На такие проекты уходит

целая вечность, и мы оба, вероятно, успеем по сто раз загнуться, прежде чем он поднимется в воздух, даже если они и подпишут контракт. Сейчас их не волнует, будет он летать или нет. Им нужны только деньги. Верно, М2?

— И конечно же, мы тебе заплатим, — пообещал М2, вскочив со своего места и снова разволновавшись. Он был строен, худощав, имел покатые плечи и выступающие ключицы.

— А сколько вы заплатите? — смущаясь, спросил Майкл.

— Столько, сколько попросишь, — ответил М2.

— Он это серьезно, — сказал Йоссарян, когда Майкл с глуповатой улыбкой посмотрел на него в ожидании пояснений.

Майкл хихикнул.

— Как насчет оплаты года обучения в юридическом колледже? — вдруг отважился он и посмотрел на отца, чтобы видеть его реакцию.

— Если ты этого хочешь, — немедленно согласился М2.

— И расходов на жизнь тоже?

— Конечно.

— Он это опять серьезно, — подбодрил Йоссарян своего недоумевающего сына. — Майкл, ты, может быть, и не поверишь — я сам в это не

верю, — но иногда в этом мире бывает столько денег, что трудно себе представить, как эта планета может вместить такую уйму и не провалиться в тартарары.

— А откуда они берутся?

— Этого никто не знает, — сказал Йоссарян.

— А куда они уходят, когда их нет?

— Это еще одно белое пятно в науке. Они просто исчезают. Как и молекулы трития. Сейчас их много.

— Ты пытаешься меня купить?

— Я думаю, я пытаюсь тебя спасти.

— Ладно, я тебе поверю. Что я должен делать?

— Несколько эскизов, — сказал М2. — Ты разбираешься в технических кальках?

— Попробую разобраться.

На столе для заседаний в соседнем наружном внутреннем зале для заседаний сразу же за ложной задней стенкой второго пожаробезопасного щита из толстого железобетона с кнопками сигнализации и светящимися тритиевыми циферблатами были разложены заранее отобранные пять калек, необходимых для того, чтобы воображение художника могло трансформировать их во внешний вид самолета.

Майклу потребовалась минута, чтобы уловить

связь между бездушно переплетающимися белыми линиями на ярко-синем фоне, поначалу показавшимися диковинным орнаментом с таинственными письменами на не поддающихся расшифровке алфавитах.

— Мне кажется, это довольно уродливо. — Майкл испытал позыв заняться чем-нибудь другим, что отвечало бы его способностям. — Так вроде бы смахивает на летающее крыло.

— Разве есть крылья, которые не летают? — поддразнил его Йоссарян.

— Крылышки отложного воротника, — ответил Майкл, не отрывая от калек аналитического взора. — Крыло здания. Крыло политической партии.

— Ты что, еще и книга читаешь?

— Иногда.

— А как выглядит летающее крыло? — М2 стал человеком-губкой, на его лбу и подбородке сверкали капельки пота.

— Как самолет без фюзеляжа, Милоу. У меня такое чувство, будто я уже видел это раньше.

— Надеюсь, что нет. Наш самолет новый.

— А это что? — показал Йоссарян. В нижнем левом углу всех пяти листов экспликация перед копированием была прикрыта черной лентой, на

которой была напечатана белая буква «Ш». — Я уже видел эту букву.

— Ее все видели, — беспечно ответил Майкл. — Это обычный трафарет. А вот это что за чертовщина?

— Я и об этом говорю.

Справа от буквы «Ш» виднелся след крошечных буковок, похожих на сплющенные загогулинки, и пока Йоссарян водружал на нос очки, Майкл сквозь увеличительное стекло рассмотрел строчную букву ш, многократно повторенную от руки с восклицательным знаком в конце.

— Значит, — заметил он, все еще пребывая в веселом настроении, — вот как вы собираетесь назвать свой самолет — «М и М Шшшшшшш!»

— Ты же знаешь, как мы его назвали. — М2 был оскорблен. — Он называется Досверхзвуковой невидимый и бесшумный оборонительно-наступательный атакующий бомбардировщик второго удара.

— Мы бы сэкономили время, назвав его «Шшшшшшш!» Скажи мне еще раз, чего вы хотите.

М2 говорил неуверенно. Требовались симпатичные изображения самолета в полете — вид сверху, снизу, сбоку, и по крайней мере одно — самолета на земле.

— Рисунки не должны быть подробными. Но сделай их похожими на самолеты в комиксах или научных фильмах. Детали опусти. Отец не хочет, чтобы они видели детали, пока не заключен контракт. Он больше не очень-то верит правительству. И еще они хотят иметь вид самолета, как он будет выглядеть на самом деле, если они все же захотят его сделать.

— А почему вы не попросите ваших инженеров? — задумчиво сказал Майкл.

— Мы не очень-то верим нашим инженерам.

— Когда Иван Грозный, — начал размышлять вслух Йоссарян, — завершил строительство Кремля, он повелел казнить всех архитекторов, чтобы никто из них не мог повторить это творение.

— И что же в нем было такого грозного? — недоуменным голосом спросил М2. — Я должен рассказать об этом отцу.

— Оставьте меня одного, — сказал Майкл, потирая подбородок и сосредотачиваясь. Он уже стягивал свой вельветовый пиджак, насвистывая про себя мелодию из Моцарта. — Если закроете дверь, помните, что я здесь заперт, и не забудьте меня когда-нибудь выпустить. — А для себя он вслух заметил: — Очень миленькая штучка.

Он цинично предвкушал многомесячные бес-

смысленные праздничные церемонии конца века, которые приобретут к тому же характер политических кампаний, и военный самолет «М и М» мог бы стать идеальным гвоздем программы. Нет сомнений в том, что первый младенец, рожденный в новом веке, родится на востоке, но на сей раз гораздо восточнее Эдема.

Он снова посмотрел на схемы этого оружия для нового века и увидел конструкцию, которая показалась ему эстетически незавершенной. Многого не хватало в предполагаемой форме, многое отсутствовало. А бросая попеременно взгляд то на кальки, то в будущее, в котором будет летать этот самолет, он нигде не находил места, куда он, по набившему оскомину выражению его отца, мог бы пристроиться, где мог бы преуспевать хотя бы с той же мерой безопасности и благополучия, какой довольствовался теперь. Развиваться ему было куда, вот только возможностей для этого не было. Он вспомнил Марлен с ее астрологическими и гадальными картами и почувствовал — ему снова не хватает ее, хотя он и не испытывал уверенности в том, что когда-либо любил ее больше, чем какую-нибудь другую подружку из череды своих моногамных романов. Его начинало пугать то, что у него, вероятно, нет будущего, что он

уже пребывает в этом будущем; как и его отец, к которому он всегда питал смешанные чувства, он уже прибыл в это будущее. Он должен рискнуть и позвонить Марлен.

Даже его брат Джулиан переживает трудные дни, делая столько денег, сколько он сам себе, кичливо, определил. И его сестре придется отложить свой развод, пока она неспешно раздумывает, устраивает ли ее частная практика в одной из юридических фирм, с владельцами которой она время от времени вступала в связь.

Его отец будет уже мертв. Папа Джон не раз давал понять, что далеко углубляться в этот самый двадцать первый век не собирается. Большую часть своей жизни Майкл прожил с уверенностью, что его отец будет жить вечно. У него и теперь было такое же ощущение, хотя он и понимал, что оно обманчиво. Такого с реальными человеческими существами никогда не случалось.

А кто еще у него останется? Не было ни одного человека, который вызывал бы у него уважение, ни одной личности, которая после пятнадцати минут общения оставалась бы безупречной. Существовали люди, обладавшие властью даровать другим огромные преимущества, как, например,

постановщики фильмов и президент, но это было все.

Те полмиллиона долларов, что отец надеялся завещать ему, уже не казались неисчерпаемым состоянием. На проценты он жить не сможет, хотя девять десятых жителей страны и жили на меньшие деньги. Придет время, и у него не останется ничего и никого, *никого*, подчеркивал его отец, кто помог бы ему. Отец неизменно поражал его своей необычностью, рациональной иррациональностью, алогичной логикой, и Майклу казалось, что его сентенции не всегда исполнены смысла.

— Нигилисту легко побеждать в споре, — говорил он, — потому что столько людей вопреки здравому смыслу отстаивают свои точки зрения.

Он остроумно рассказывал о таких вещах, как новообразования Ивинга, болезни Ходжкина, амиотрофический латеральный склероз, СИБы и остеогенические саркомы, и говорил о собственной смерти свободно и с такой будничной отстраненностью, что Майкл не мог воспринимать эти разговоры иначе, как самообман или притворство. Майкл не всегда знал, когда отец говорит серьезно, а когда шутит, когда прав, а когда ошибается, и когда прав и ошибается одно-

временно. А Йоссарян открыто признавал, что и сам не всегда это знает.

— Моя беда в том, — покаянно, но не без гордости, говорил его отец, — что я почти всегда вижу обе стороны почти любого вопроса.

И он почти всегда испытывал слишком уж горячее стремление пофлиртовать с той или иной женщиной, по-прежнему был одержим мечтой найти работу, которая бы ему нравилась, и потребностью быть, как он это называл, «влюбленным». Майклу так и не удалось найти работу, которая бы ему нравилась; юриспруденция была для него не хуже, чем все остальное, а искусство — не лучше. Он писал сценарий, но пока не хотел, чтобы его отец знал об этом. Но в одном, самом главном, Йоссарян, казалось, попадал в самую точку.

— Ты и оглянуться не успеешь, дурачок, — с раздражительной нежностью выговаривал он Майклу, — как станешь таким же старым, как я, и у тебя не будет ничего.

Даже детей, мог бы с сожалением добавить Майкл. Насколько он понимал, карты не сулили ему и этого — ни гадальные карты Марлен, ни какие-либо другие. Майкл снова, прищурившись, посмотрел на лежащие перед ним кальки, подо-

двинул поближе свой блокнот и взял карандаш. Он не завидовал людям, которые хотели работать гораздо больше, чтобы гораздо больше получать, но ему снова и снова приходилось задавать себе вопрос — почему же он не похож на них.

15
M2

— Тебе ведь нравится Майкл, правда?

— Да, мне нравится Майкл, — сказал М2.

— Давай ему работу, когда есть возможность.

— Я так и делаю. Мне понадобится еще поработать с ним на тех видеомониторах в автовокзале. Я оплачу еще один год его обучения в юридическом колледже.

— Не думаю, что он захочет. Но давай, попытайся.

У всех известных ему родителей, имевших взрослых детей, был по крайней мере один, чьи сомнительные перспективы вызывали их постоянное беспокойство, а у многих родителей было и по два таких ребенка. У Милоу — вот этот, у него — Майкл.

Изучая новые послания от Джерри Гэффни из Агентства Гэффни, Йоссарян чувствовал, что к его раздражению примешивается недоумение. В первом из этих посланий ему рекомендовалось позвонить домой на свой автоответчик, чтобы услышать хорошую новость от своей медицин-

ской сестры и плохую новость от сына о его первой жене. Хорошая новость от медицинской сестры состояла в том, что Мелисса была сегодня свободна и готова поужинать с ним или сходить в кино и что пациент-бельгиец неплохо выздоравливал после тяжелой дизентерии, возникшей вследствие применения неплохих антибиотиков, введенных для подавления тяжелой пневмонии, спровоцированной спасительным удалением голосовых связок в ходе насильственной — и пока что успешной — попытки спасти его жизнь. Второй факс сообщал, что теперь он правомочен получать закладные заемы. Йоссарян понятия не имел, что это значит.

— И вообще, как он узнал, что я здесь? — услышал он свою мысль вслух.

— Я думаю, Гэффни знает все, — убежденно ответил М2. — Он и наши факс-линии контролирует.

— Вы ему за это платите?

— Кто-то, наверно, платит.

— Кто?

— Понятия не имею.

— И тебе все равно?

— А должно быть не все равно?

— А выяснить ты можешь?

— Мне нужно будет выяснить, могу ли я выяснить.

— Меня удивляет, что ты не хочешь узнать.

— А я должен хотеть?

— М2, Майкл зовет тебя Милоу. А тебе какое имя больше нравится?

Единственный сын Милоу чувствовал себя не в своей тарелке.

— Я бы предпочел, — сказал он, шумно дыша, — чтобы меня называли Милоу, хотя это имя моего отца. Но это и мое имя, вы же знаете. Он мне его дал.

— Почему же ты ничего не говорил об этом? — спросил Йоссарян, подавляя возникшее вдруг в нем помимо воли чувство вины.

— Вы же знаете, я робкий. Моя мать говорит, что я пуглив, как кролик. И сестры говорят то же самое. Они все просят меня изменить характер и стать сильным, чтобы, когда будет нужно, занять место отца.

— Они хотят, чтобы ты стал больше похож на отца?

— Они не очень-то высокого мнения о моем отце.

— Тогда на кого? На Уинтергрина?

— Они ненавидят Уинтергрина.

— На меня?

— Вас они тоже не любят.

— На кого же тогда?

— Им в голову не приходит, кто мог бы для этого подойти.

— Скажи-ка мне, — попросил Йоссарян, — у вас все еще есть ваша компания по поставкам продовольствия?

— Кажется, есть. Вы же знаете, ведь это и ваша компания. Там у всех есть своя доля.

Коммерческая компания «М и М» по поставкам продовольствия была старейшей круглосуточной службой в истории страны; компания эта корнями уходила в деятельность Милоу во время Второй мировой войны в офицерской столовой, где он осуществлял успешные и темные финансовые операции, покупая на Мальте свежие итальянские яйца с Сицилии по семь центов за штуку и продавая их своей столовой на Пьяносе по пять центов за штуку с неплохой прибылью, позволявшей улучшить общее снабжение эскадрильи; по его словам, все имели свою долю в этой прибыли, повышая таким образом качество и поднимая уровень жизни; подобную же операцию он осуществлял, покупая шотландский виски для Мальты у поставщика на Сицилии в

обход посредников.

— М2, — сказал Йоссарян и пожалел о своей забывчивости. Он не хотел его обижать. — Как ты хочешь, чтобы я тебя называл в присутствии отца? Может оказаться, что два Милоу — это на одного больше, чем нужно. Может быть, на двух.

— Мне нужно выяснить.

— Ты и правда не знаешь? Даже этого?

— Я не могу решать. — М2 не находил себе места. Его сцепленные руки покраснели. Покраснели и кромки его век. — Я не умею принимать решения. Вы помните, что было в последний раз, когда я попытался.

Однажды, давным-давно, когда Йоссарян пришел за помощью к Милоу, пытаясь спасти Майкла от Вьетнамской войны, гораздо более молодой М2 предпринял попытку принять самостоятельное решение по вопросу первостепенной важности. Ему его идея казалась великолепной — он собирался ответить на зов того, что, как ему говорили, было его родиной, и записаться добровольцем в армию, чтобы убивать азиатских коммунистов в Азии.

— Ты не сделаешь ничего подобного! — решила его мать.

— Если хочешь лучше послужить своей

стране, — сказал его отец тоном более рассудительным, — то нужно выяснить, кого призывные комиссии не призывают, и тогда ты поймешь, кто нужен стране на самом деле. Мы выясним это для тебя.

Два с половиной года, что М2 провел в богословском колледже, искалечили его на всю жизнь и внушили ему невротическое отвращение ко всему духовному, а также страх и недоверие к мужчинам и женщинам, которые не курят и не пьют, не ругаются, не пользуются косметикой, не ходят по улице хотя бы чуточку оголенными, не отпускают непристойных шуток, страшно много улыбаются, даже когда не говорится ничего смешного, улыбаются наедине с самими собой и обнаруживают самомнение и дружную блаженную веру в гигиеническую добродетель, которую он находил злобной и омерзительной, а они считали своей исключительной принадлежностью.

Он ни разу не был женат, а женщины, с которыми он встречался, неизменно были дамами приблизительно его возраста, непритязательно одетыми в юбки со складками и строгие блузки, они почти не пользовались косметикой, были застенчивы, бесцветны и быстро исчезали.

Йоссарян, как ни пытался, не мог до конца про-

гнать грязные подозрения, что М2 принадлежат к тому разряду одиноких и мстительных мужчин, что в основном и составляли менее шумливый из двух главных разрядов решительных сторонников и покровителей проституции, которых Йоссарян часто видел в своем многоэтажном доме, они поднимались в лифте для получения дозы сексуальных процедур в роскошном храме любви на верху здания или спускались в недра сооружения в три или четыре сомнительных массажных салона, расположенных в подземных этажах под несколькими кинозалами первого подцокольного этажа, находящегося ниже уровня тротуара.

Как-то раз Майкл презрительно заметил Йоссаряну, что, по его мнению, у М2 все типичные признаки маньяка-убийцы: он — белый.

— Когда мы ходили на автовокзал, — признался он, — его интересовали только женщины, он все время на них смотрел. Мне кажется, что он не мог отличить их от трансвеститов. Отец у него такой же?

— Милоу знает, что такое проститутка, и ему не нравилось, когда мы к ним ходили. Он всегда был целомудренным. Вряд ли он знает, что такое трансвестит, а если бы и узнал, то не понял бы

разницы.

— А почему вы спросили, — спросил у Йоссаряна М2, — про нашу компанию по поставке продовольствия?

— Возможно, она мне понадобится. Тут намечается эта свадьба…

— Хорошо, что вы напомнили. Я бы мог забыть. Мама просила меня поговорить с вами о нашей свадьбе.

— Это не твоя свадьба, — поправил его Йоссарян.

— Моей сестры. Мама хочет, чтобы сестра вышла замуж, и еще она хочет, чтобы свадьба была в музее искусств Метрополитен. Она хочет, чтобы вы все это организовали. Она знает, что вы состоите в ОКРКАМИМ.

Йоссарян искренне изумился.

— Церемония бракосочетания?

— Ведь это уже делалось раньше?

— Сама церемония? Мне об этом не известно.

— Но вы ведь знакомы с попечителями?

— Я состою в ОКРКАМИМ. Но не исключено, что это окажется невозможным.

— Мама не примет этого. Она говорит — я зачитываю по ее факсу, — что если вы не сможете это устроить, то она не знает, на что вы еще го-

дитесь.

Йоссарян кротко покачал головой. Он ничуть не чувствовал себя оскорбленным.

— На это потребуются время и деньги. Пожалуй, вам придется начать с пожертвования музею десяти миллионов долларов.

— Двух долларов? — спросил М2, как бы повторяя слова Йоссаряна.

— Десяти *миллионов* долларов.

— А мне послышалось — двух.

— Я сказал — десяти, — повторил Йоссарян. — На строительство еще одного нового крыла.

— Это мы осилим.

— Но без всяких там подставок.

— Там еще и подставки будут?

— Я говорю — без подставок с вашей стороны, хотя подставки там, конечно, будут. Твой отец большой специалист по подставкам. Ведь вы фактически чужаки, а они не станут брать десять миллионов у первого встречного с улицы, который хочет всучить им эти десять миллионов.

— А не могли бы вы их убедить, чтобы они взяли?

— Пожалуй, мог бы. Но и после этого никаких гарантий.

— Высокие гарантии?

— Никаких гарантий, — снова поправил его Йоссарян. — У тебя с отцом, кажется, избирательное ухудшение слуха, да?

— Собирательное ухудшение слуха?

— Да. И свадьба должна быть расточительной.

— Рачительной?

— Да. Расточительной. Она должна быть пышной и достаточно безвкусной, чтобы о ней написали газеты и модные журналы.

— Я думаю, именно этого они и хотят.

— Есть и другая возможность, о которой они еще не знают, — решил, наконец, Йоссарян. — Та свадьба, о которой говорил я, состоится в автовокзале.

При этих словах М2, как и предполагал Йоссарян, вздрогнул.

— А что в этом может быть хорошего? — пожелал узнать М2.

— Новизна, Милоу, — ответил Йоссарян. — Для некоторых людей музей уже не достаточно хорош. А для Максонов автовокзал — как раз то, что нужно.

— Для Максонов?

— Оливии и Кристофера.

— Семья известного промышленника!?

— Который ни разу не бывал на заводах и не

видел ни одного изделия, изготовленного их компанией, кроме, разве что, кубинских сигар. Я помогаю Максонам с организацией и планированием, — беззаботным тоном приврал он. — Конечно, об этом напишут все. Вы возьмете автовокзал, если не удастся заполучить музей?

— Мне нужно будет спросить у матери. Так вот сразу…

— Если это устраивает Максонов, — искушал Йоссарян, — с мэром, кардиналом, даже, может быть, с Белым Домом…

— Ну, тогда дело другое.

— Конечно, первыми вы быть не сможете.

— Мы сможем быть первыми?

— Вы не сможете быть первыми, разве что твоя сестра выйдет замуж за девицу Максон или вы пожелаете устроить двойную свадьбу. Я мог бы замолвить за тебя словечко Максонам, если твоя мать пожелает.

— А что вы будете делать, — спросил М2, посмотрев на Йоссаряна взглядом, который показался тому настороженным, — со шлюхами из автовокзала?

Из-за невинного огонька, появившегося в серых глазах М2, когда он произнес слово «шлюхи», он мгновенно стал похож на голодного человека,

одержимого сладострастными желаниями.

Йоссарян дал ответ, показавшийся ему наиболее подходящим:

— А ты их используй с пользой, — беспечно ответил Йоссарян. — На всю катушку. Полиция возражать не будет. Возможности безграничны. А по поводу музея, я не хочу переоценивать ваши шансы. Твой отец, Милоу, занимается *торговлей*, а это не очень-то изысканно.

— Моя мать его за это ненавидит.

— А она живет в Кливленде. Когда твоя сестра выходит замуж?

— Когда скажете.

— Это даст нам простор для действий. За кого она выходит замуж?

— За кого будет нужно.

— Это может расширить наши возможности.

— Моя мать потребует, чтобы вы составили список приглашенных. Мы здесь никого не знаем. Все наши ближайшие друзья живут в Кливленде, и многие не смогут прибыть.

— Так и устраивайте свадьбу в Кливлендском музее. И тогда ваши ближайшие друзья смогут прибыть.

— Уж лучше мы пригласим ваших, незнакомых. — М2 осторожно опустился на стул перед

компьютером. — Я отправлю факс матери.

— А позвонить ей ты не можешь?

— Она не отвечает на мои звонки.

— Узнай-ка, — сказал Йоссарян, у которого родилась новая озорная мысль, — устроит ли ее кто-нибудь из Максонов. Может быть, у них есть один лишний.

— А их устроит кто-нибудь из Миндербиндеров?

— А ты бы породнился с Максонами, если все, что у них есть, это девица?

— А я их устрою? У меня ведь кадык.

— Очень вероятно, что устроишь, даже с кадыком, если вы раскошелитесь на эти десять миллионов для строительства еще одного крыла.

— А как они его назовут?

— Крыло Милоу Миндербиндера, конечно. Или, может быть, Храм Милоу, если вам так больше понравится.

— Я думаю, они предпочтут второе, — высказал предположение М2. — Это было бы вполне уместно. Вы же знаете, мой отец как-то раз во время войны был халифом Багдада.

— Да, знаю, — сказал Йоссарян. — И имамом Дамаска. Я был вместе с ним, и где бы он ни появлялся, его шумно приветствовали.

— А что у них будет в этом крыле музея?

— То, что вы им пожертвуете, или всякий хлам из запасников. Им нужно увеличить площади, чтобы расширить кухню. И конечно, они поставят туда несколько из этих великолепных статуй твоего отца перед каменными алтарями, красными от человеческой крови. Сообщи мне ответ как можно скорее.

М2 чуть быстрее застучал по клавиатуре, а Йоссарян направился в свой кабинет, чтобы по телефону уладить кой-какие собственные дела.

16
ГЭФФНИ

— Она хочет больше денег, — сразу же сказал ему в своей деловой манере Джулиан.

— Она их не получит, — Йоссарян был не менее бесцеремонен.

— Во что это тебе обойдется? — с вызовом сказал его сын.

— Джулиан, я не собираюсь с тобой спорить.

— Я ей посоветую подать в суд, — сказала его дочь, судья.

— Она проиграет. У нее будет достаточно денег, если она отзовет этих частных детективов.

— Она клянется, что не нанимала никаких детективов, — сказал другой его сын, Адриан, химик без степени в косметической фирме; жена Адриана, прослушав курсы для взрослых «Уверуй в свои силы», пришла к выводу, что на самом деле вовсе не так уж счастлива, как полагала раньше.

— Но это мог сделать ее адвокат, мистер Йоссарян, — сказал мистер Гэффни, когда Йоссарян позвонил ему и рассказал последние новости.

— Ее адвокат отрицает это.

— Мистер Йоссарян, общеизвестно, что адвокаты врут. Из восьми человек, что следят за вами, Йо-Йо…

— Меня зовут Йоссарян, *мистер* Гэффни. *Мистер* Йоссарян.

— Я уверен, это изменится, сэр, — сказал Гэффни все тем же дружелюбным тоном, — стоит нам только встретиться, и мы быстро подружимся. А пока, мистер Йоссарян, — продолжал он без всяких оскорбительных инсинуаций, — у меня для вас хорошие новости, очень хорошие новости из обеих служб проверки кредитоспособности. Проверка прошла прекрасно, хотя и обнаружилось, что один раз вы запоздали с выплатой алиментов своей первой жене и несколько раз запаздывали с отдельными выплатами содержания второй, но в конце концов выяснилось, что у вас остался лишь один неоплаченный чек на восемьдесят семь долларов и шестьдесят девять центов одной прекратившей существование розничной фирме, ранее известной как «Безукоризненная Женщина», а это грозит вам — или грозило — статьей 11.

— Я должен восемьдесят семь долларов фирме «Безукоризненная Женщина»?

— И шестьдесят девять центов, — сказал склон-

ный к педантизму мистер Гэффни. — При вынесении приговора вас могут признать виновным в этом по обвинению вашей жены Мариан.

— У меня не было жены Мариан, — сообщил ему Йоссарян, поразмыслив на всякий случай несколько секунд. — У меня не было жены по имени Мариан. Ни одну из них так не звали.

Мистер Гэффни поспешил его успокоить.

— К сожалению, вы ошиблись, мистер Йоссарян. Матримониальные воспоминания у людей часто путаются.

— Ничего у меня не пугается, мистер Гэффни, — ответил Йоссарян, начиная заводиться. — У меня никогда не было жены по имени Мариан Йоссарян. Вы можете это проверить, если мои слова для вас ничто. Я есть в справочнике «Кто есть кто».

— Я считаю, что Закон о свободе информации гораздо более надежный источник, но я обязательно проверю хотя бы для того, чтобы рассеять недоразумение между нами. А пока… — Последовала короткая пауза. — Я уже могу называть вас Джон?

— Нет, мистер Гэффни.

— Все остальные отчеты благоприятны, и вы можете получить заем под закладную в любое удобное для вас время.

— Какую закладную? Мистер Гэффни, ни в коей мере не желая вас оскорбить, я категорически заявляю, что понятия не имею, что за херню вы несете, говоря о закладной!

— Не нужно бояться долговой ямы, мистер Йоссарян. Иногда лавина неожиданностей погребает нас под собой.

— Вы говорите как владелец похоронного бюро.

— Я, конечно же, говорю о заеме под недвижимость. Для покупки дома в пригороде или на побережье, а может быть, и гораздо более роскошной квартиры прямо здесь, в городе.

— Я не собираюсь покупать никакого дома, мистер Гэффни, — ответил Йоссарян. — И я не думаю ни о какой квартире.

— Тогда, может быть, вам пора начать думать об этом, мистер Йоссарян. Иногда сеньор Гэффни знает лучше других. Цены на недвижимость могут только расти. Как говорил мой отец, на этой планете не так уж много земли, а с точки зрения дальней перспективы, он дело понимал. Нам понадобятся всего лишь ваше заявление и образец вашей ДНК.

— Моей ДНК? — повторил Йоссарян, голова у него шла кругом. — Признаюсь, я в полном

недоумении.

— Это ваша дезоксирибонуклеиновая кислота, мистер Йоссарян, она содержит ваш полный генетический код.

— Я знаю, что это моя дезоксирибонуклеиновая кислота, черт побери! И я знаю, что она содержит.

— Никто не может ее подделать. Она докажет, что вы — это вы.

— А кем же еще, по-вашему, я могу быть?

— Кредитные учреждения в наше время осторожны.

— Мистер Гэффни, где я возьму образец своей ДНК, чтобы представить его вместе с заявкой на заем для покупки дома, о котором я впервые слышу и который не собираюсь покупать?

— И даже дом в Ист-Хэмптоне? — тоном искусителя сказал Гэффни.

— Даже весь Ист-Хэмптон.

— Там сейчас великолепная недвижимость. А с ДНК я вам могу помочь.

— Как вы ее достанете?

— По Закону о свободе информации. Она содержится в вашей сперме, образец которой имеется в вашем деле вместе с вашим номером социального страхования. Я могу получить заверенную

фотокопию…

— Моей спермы?

— Вашей дезоксирибонуклеиновой кислоты. Клетка спермы — это всего лишь средство доставки. В расчет идут только гены. Я смогу получить фотокопию вашей ДНК, когда вы составите заявление. Уж я-то это дело смогу довести до конца. Кстати, на этом хорошие новости еще не исчерпаны. Джентльменов, что следят за вами, стало на одного меньше.

— Я не понимаю эту остроту.

— Не вижу здесь никакой остроты.

— Вы хотите сказать, что один из них уже не джентльмен или что он уже не следит за мной.

— Я по-прежнему не вижу здесь никакой остроты. Он следит не за вами. Он следит за одним или несколькими из тех, что следят за вами.

— Зачем?

— Это нам и придется выяснить. В материалах, что я получил по Закону о свободе информации, это место было вымарано. Может быть, чтобы защитить вас от похищения, пыток или убийства, а может, просто для того, чтобы узнать, что пытаются узнать о вас другие. Этому может быть тысяча объяснений. А тот ортодоксальный еврей… извините меня, мистер Йоссарян, вы

еврей?

— Я ассириец, мистер Гэффни.

— Да. А тот джентльмен, по виду напоминающий ортодоксального еврея, что расхаживает перед вашим домом, и на самом деле ортодоксальный еврей и живет он в вашем квартале. Но он к тому же агент ФБР и дьявольски ловок. Так что будьте осторожны.

— А что ему от меня надо?

— Спросите у него, если хотите. Может быть, он просто прогуливается, если только он не на задании. Вы же знаете, что это за люди. Может быть, он и не за вами следит. В вашем здании находится отделение ЦРУ, маскирующееся под отделение ЦРУ, а еще офис администрации социального страхования, не говоря уже обо всех секс-салонах, проститутках и других предприятиях. Постарайтесь держаться за свой номер социального страхования. Осторожность никогда не помешает. Осторожность — это другая сторона храбрости, так сеньор Гэффни говорит своим друзьям. Ничего не бойтесь. Он будет с вами на связи. Служба — второе «я».

Йоссарян почувствовал необходимость проявить настойчивость.

— Мистер Гэффни, — сказал он, — когда я смогу

вас увидеть? Прошу прощения, но я вынужден настаивать.

Несколько секунд в трубке слышалось фырканье, размеренное бульканье, в котором проскальзывали какие-то самодовольные нотки.

— Вы уже видели меня, мистер Йоссарян, и не заметили, да?

— Где?

На автовокзале, когда спускались вниз с Макбрайдом. Вы посмотрели прямо на меня. На мне был бежевый однобортный шерстяной пиджак в елочку с тонким лиловым квадратиком, коричневые брюки, светло-голубая рубашка из швейцарского шамбре, сотканного из тончайших египетских шелковых нитей, а в завершение — галстук цвета густой ржавчины и носки в цвет ему. У меня ровный загар и плешь на макушке, черные волосы по бокам коротко острижены, а глаза и брови — очень темные. У меня благородный овал лица и четко очерченные скулы. Вы меня не узнаете, нет?

— Как я могу вас узнать, мистер Гэффни, если я вас не видел раньше?

Тихий смех возобновился.

— Да нет же, видели, мистер Йоссарян, и не раз. У ресторана в отеле, куда вы зашли в тот

день с мистером и миссис Бич после заседания ОКРКАМИМ в музее искусств Метрополитен. Напротив Похоронного дома Фрэнка Кэмпбелла на другой стороне улицы. Вы помните там рыжего человека с тростью и зеленым рюкзаком на спине, он стоял у входа рядом с охранником в форме?

— Вы были тот рыжий с рюкзаком?

— Я был охранником в форме.

— Вы были переодеты?

— Я и сейчас переодет.

— Не уверен, что понял последнее, мистер Гэффни.

— Считайте, что это шутка, мистер Йоссарян. Она очень широко применяется в моей профессии. Может быть, моя следующая острота будет лучше. И я считаю, вы должны позвонить вашей медицинской сестре. Она снова работает в дневную смену и сегодня сможет с вами поужинать. Она может привести с собой эту свою подружку.

— По квартире?

— Нет, не мисс Моркок.

— Ее зовут мисс Мор, — холодно отрубил Йоссарян.

— Вы ее называете мисс Моркок.

— А вы ее будете называть мисс Мор, если хоти-

те работать на меня. Мистер Гэффни, не суйтесь в мою частную жизнь.

— Частной жизни больше ни у кого нет. Говорю об этом с грустью.

— Мистер Гэффни, когда мы встретимся? — категорическим тоном вопросил Йоссарян. — Я хочу посмотреть вам в глаза и увидеть, с кем, черт возьми, я имею дело. Я с вами чувствую себя не в своей тарелке.

— Я уверен, это пройдет.

— А я не уверен. Вы мне что-то не нравитесь.

— Это тоже пройдет после нашего разговора в Чикаго.

— В Чикаго?

— Когда мы встретимся в аэропорту и вы увидите, что мне можно доверять, что я предан, полезен, надежен, услужлив, вежлив и добр. Так лучше?

— Нет. Я не собираюсь в Чикаго.

— А я думаю, что собираетесь, мистер Йоссарян. Вы могли бы заказать билет прямо сейчас.

— Что я буду делать в Чикаго?

— Пересаживаться на другой самолет.

— Куда?

— Назад, в Нью-Йорк, мистер Йоссарян. Из Кеноши, штат Висконсин, после посещения миссис

Таппман. Возможно, вы надумаете лететь оттуда прямо в Вашингтон, чтобы встретиться с мистером Миндербиндером и мистером Уинтергрином, а может быть, и Нудлсом Куком.

Йоссарян вздохнул.

— Вы теперь знаете обо мне все это?

— В моей работе мне многое приходится слышать, мистер Йоссарян.

— На кого еще вы работаете, когда слышите всякие подробности обо мне?

— На того, кто мне платит, мистер Йоссарян. Я не сторонник дискриминации. У нас теперь есть законы против дискриминации. И я не завожу любимчиков. Я всегда объективен и не делаю никаких различий. Различия — вещь одиозная. И оскорбительная.

— Мистер Гэффни, я вам еще ничего не платил. Счетов вы мне не присылали и о цене со мной не говорили.

— У вас высокая платежеспособность, мистер Йоссарян, если только можно верить фирмам по оценке платежеспособности, и закладной заем вы можете получить в любое удобное для вас время. Сейчас продаются прекрасные дома на берегу водоемов в Нью-Йорке, Коннектикуте и Нью-Джерси, а еще по хорошим ценам на мор-

ском побережье в Санта-Барбаре, Сан-Диего и на Лонг-Айленде. Если хотите, я вам помогу с заемными бланками, а также с вашей ДНК. Сейчас прекрасное время для закладных заемов и для покупок.

— Мне не нужны закладные заемы и не нужны покупки. А кто эта подружка, о которой вы упомянули?

— Вашей медицинской сестры?

— Нет у меня никакой медицинской сестры, черт побери. Я прекрасно себя чувствую, если вы все еще следите за этим. Теперь она моя приятельница, Мелисса.

— Медицинская сестра Макинтош, — выразил свое формальное несогласие мистер Гэффни. — Передо мной лежит донесение, мистер Йоссарян, а донесения никогда не лгут. В них могут быть ошибки, они могут устаревать, но они никогда не лгут. Они не люди, мистер Йо.

— Не смейте меня так называть!

— Они не умеют лгать и всегда официальны и авторитетны, даже когда они ошибочны и противоречат друг другу. Ее подружка — это та самая медицинская сестра, которая работает в реанимации хирургического отделения и которую вы хотели видеть. Зовут ее Вильма, но люди склонны

ее называть ангелочек или зайчик, в особенности пациенты, отходящие от анестезии после операции, а еще два-три больничных врача, которые время от времени лелеют честолюбивые помыслы залезть, по их — не по моему — выражению, к ней под юбку. Может быть, это медицинский термин. К вам может присоединиться и мисс Мор.

— Мисс Мор? — В голове у Йоссаряна все смешалось, и ему все труднее было удерживать нить разговора. — Кто такая мисс Мор, черт возьми?

— Вы ее называете Моркок, — напомнил ему Гэффни, понизив голос, в котором послышался легкий упрек. — Извините, что задаю вам этот вопрос, мистер Йоссарян. Но наши слухачи в последнее время не слышали в вашей квартире звуков сексуальной активности. С вами все в порядке?

— Я занимался этим на полу, мистер Гэффни, — ровным тоном ответит Йоссарян, — под кондиционером, как вы мне советовали, и в ванной с включенными кранами.

— Вы меня успокоили. А то я уже начал волноваться. Теперь вы просто обязаны позвонить мисс Макинтош. Ее телефон в настоящую минуту свободен. У нее не лучшие новости о составе крови этого бельгийца, но она, кажется, жаждет

встречи с вами. Я бы сказал, что, несмотря на разницу в возрасте…

— Мистер Гэффни!

— Извините. Майкл сейчас как раз заканчивает и готовится вернуться. Напоминаю, чтобы вы о нем не забыли.

— Вы и это видите?

— Я вижу все, что происходит, мистер Йоссарян. Это важнейшая часть моей работы. Он надевает пиджак и скоро вернется с первыми набросками нового крыла, прорезавшегося у Милоу Миндербиндера. Вы позволите сеньору Гэффни эту маленькую остроту? Я подумал, что вам она покажется смешнее моей первой.

— Я вам признателен… Джерри, — сказал Йоссарян; теперь у него не оставалось сомнений в том, что, по его мнению, мистер Гэффни гораздо хуже геморроя. Свое враждебно-саркастическое отношение он оставил при себе.

— Спасибо… Джон. Я рад, что мы стали друзьями. Вы позвоните сестре Макинтош?

— О кружевном нижнем белье речи пока нет? — поддела его Мелисса, когда он позвонил. — О Париже и Флоренции тоже?

— Наденьте на сегодня свое, — поддразнил ее в ответ Йоссарян. — Прежде чем отправиться в

путешествие, мы должны понять, устраиваем ли мы друг друга. И приведите свою подружку, если она захочет прийти.

— Можете называть ее Анджела, — язвительно сказала ему Мелисса. — Я знаю, чем вы с ней занимались. Она мне все рассказала.

— Пожалуй, это плохо, — сказал несколько ошарашенный Йоссарян. Он понял, что с этими двумя ему нужно держать ухо востро. — Если уж на то пошло, — начал контрнаступление Йоссарян, — то она мне все рассказала о вас. Кошмар, да и только! Вам место в монастыре. Ваши антисептические страхи почти невероятны.

— Меня это не волнует, — сказала Мелисса с ноткой фанатической уверенности в голосе. — Я работаю в больнице и вижу больных. Я больше не собираюсь рисковать, когда вокруг все эти лишаи, СПИД, или даже хламидиоз с вагинитом, или стрептококковая ангина, или какая-нибудь другая зараза, которую вы, мужчины, так любите разносить. В болезнях я разбираюсь.

— Делайте, что хотите. Только приведите с собой эту вашу другую подружку. Ту, что работает в реанимации хирургического отделения. Может быть, я и с ней теперь подружусь.

— Вилму?

— Ее называют «ангелочек», да? И зайчик?

— Только когда приходят в себя после операции.

— Я тоже буду ее так называть. Надо смотреть вперед.

КНИГА ШЕСТАЯ

17
СЭММИ

Независимая подвеска колес.

Вряд ли я знаю больше десятка людей из прошлого, которые могут помнить эту автомобильную рекламу независимой подвески колес, потому что, думаю, нас и осталось-то всего не больше десятка, а других и не разыщешь. Никто из нас теперь не живет на Кони-Айленде. Все это прошло, исчезло, кроме, разве что, тротуаров, пляжа и океана. Мы живем теперь в многоэтажных домах, вроде того, в котором живу я, или в пригороде, в двух-трех часах езды от Манхеттена, как Лю и Клер, или в поселках для пенсионеров в кондоминиумах в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, как мой брат и сестра, или, если у кого денег побольше, в Бока-Рейтон или Скотсдейле, штат Аризона. Большинство из нас добилось в жизни гораздо большего, чем мы рассчитывали, а наши родители даже и не мечтали о таком.

Спасательное мыло.
Халитозис — средство от дурного запа-

ха изо рта.

Фермент Флейшмана, от угрей.

Зубная паста Ипана — и улыбка белозуба, Сэл Гепатика и улыбка облегченья на устах.

Когда природа забывает, вспомни про Экс-Лакс.

Пепси-кола вам не трюк,
От нее могучий пук.
*Больше стало в два раз**а**,*
Хватит выпить за глаза.

Никто из наших кони-айлендских умников тогда и не верил, что этот новый напиток, Пепси-кола, даже несмотря на оригинальную рекламную частушку по радио — «Десять полных унций — это целый пруд» — имел хоть какие-то шансы в конкуренции против Кока-колы, напитка, который мы знали и любили, в ледяных маленьких бутылочках из зеленоватого стекла с тоненькими прожилками, эта бутылочка точно подходила к руке любого размера и пользовалась огромной популярностью. А сегодня я не различаю их по вкусу. Обе компании разрослись до непозволительно могущественных размеров, какие никогда

нельзя позволять иметь предприятию, а шестиунциевая бутылочка стала еще одним почти исчезнувшим приятным воспоминанием. Никто больше не хочет продавать ходовой напиток в бутылочке всего в шесть унций за пять центов, и никто, кроме, вероятно, меня, не захочет такую купить.

«Залоговая» цена каждой маленькой бутылочки была два цента, а залоговая цена бутылок большего размера, в которых продавался лимонад за десять центов, была пять центов, и никто в семьях, обитавших в районе Западной Тридцать первой улицы Кони-Айленда, не оставался безучастным к стоимости этих пустых бутылочек. В те времена какую-нибудь ценную вещь можно было купить за два цента. Иногда мы, тогда еще совсем мальчишки, отправлялись на поиски пустых бутылочек и обшаривали наиболее вероятные места их скопления на пляже. Мы сдавали их в кондитерской Стейнберга прямо на моей улице на углу Серф-авеню, а полученные монетки использовали для игры в покер или в очко, когда научились это делать, или тратили на что-нибудь вкусненькое. За два цента можно было купить довольно большую шоколадку «Нестле» или «Хершис», пару крендельков, или заморо-

женных булочек, или, если дело было осенью, добрый кусок халвы, от которой мы все некоторое время сходили с ума. За никель можно было купить «Милки Уэй» или «Кока-колу», «Мелорол» или пирожное из мороженого, хот-дог в лавке деликатесов Розенберга на Мермейд-авеню или у Натана на милю подальше в сторону парка аттракционов, или прокатиться на карусели. За два цента можно было купить газету. Когда отец Робби Клайнлайна работал в «Стиплчезе» Тилью, мы получали контрамарки на свободный вход и за несколько центов обычно могли выиграть кокос, накидывая кольца на колышки. Мы приобрели в этом сноровку. Цены тогда были ниже, и доходы тоже. Девчонки прыгали через скакалку и играли в фантики и классы. Мы играли в панчбол, ступбол и стикбол, а еще на губных гармошках и казу. Ранним вечером после обеда — мы называли это ужин — мы иногда играли в жмурки на тротуаре, а родители смотрели за нашей игрой, и все мы знали, а родители видели, что мы, подглядывая сквозь повязки на глазах, использовали игру в основном как возможность пощупать буфера у девчонок за те несколько секунд, пока мы делали вид, будто не узна*е*м, кого поймали. Это было еще до того, как мы, мальчишки, начали мастурбиро-

вать, а у девчонок начались месячные.

По утрам в будние дни все отцы из нашего квартала и все братья и сестры, уже закончившие школу, начинали бесшумно материализовываться, выходя из своих домов, и направлялись на Рейлроуд-авеню к остановке «Нортон-Пойнт», откуда троллейбусы отвозили их к надземной станции «Стилуэй-авеню», где сходились четыре разных маршрута линий подземки, заканчивавшихся на Кони-Айленде; они садились в вагоны, которые развозили их к разным местам работы в городе или, как это было со мной, когда мне было семнадцать с половиной и я уже успел получить аттестат об окончании средней школы, в разные агентства по трудоустройству на Манхеттене, где мы робко искали работу. Некоторые шли целую милю пешком до электрички, чтобы прогуляться или сэкономить пять центов. По вечерам, в час пик, они усталые тащились домой. Зимой в это время было уже темно. Почти каждый день с поздней весны до ранней осени мой отец вечерами один уходил на пляж, он надевал на себя махровый купальный халат, на плечо накидывал полотенце и со своей извечной улыбкой на лице отправлялся, чтобы расслабиться и нырнуть поглубже, иногда он не возвращался до самой

темноты, и все мы прятали тревогу от матери, думая, что на этот раз он и вправду утонул, если только кто-нибудь не успел его вытащить.

— Сходи-ка за ним, — бывало говорила она тому из нас, кто оказывался у нее под рукой. — Скажи ему, пусть идет есть.

Вероятно, это был единственный час на дню, когда он мог насладиться одиночеством и отдаться тем своим оптимистическим мыслям, от которых и происходили эта его обходительность и спокойная улыбка на загорелом лице. Здоровье у нас у всех было тогда отличное, и этот факт тоже, несомненно, придавал ему оптимизма. У него была работа. У него были его еврейские газеты, и у обоих родителей была их музыка по радио, которую они так любили, в особенности Пуччини; «Час музыки Белл Телефон», Симфонии в эфире Эн-би-си, радиостанция «Нью-Йорк Таймс» и радиостанция Нью-Йорка, по словам диктора, «города, где в мире и согласии, пользуясь благами демократии, обитают семь миллионов человек».

Я пошел в музыке дальше них, от Каунта Бейси, Дюка Эллингтона и Бенни Гудмана к Бетховену и Баху, к их камерной музыке и фортепьянным сонатам, а теперь еще и к Вагнеру и Малеру.

А Гитлер и его бравые молодцы могли бы убить

нас всех.

Сорокачасовая рабочая неделя стала вехой социальной реформы, преимущества которой я едва успел оценить, и шагом к благосостоянию, которое мои дети и внуки принимают как нечто само собой разумеющееся. Это мои приемные дети, потому что, когда мы встретились с Глендой, она уже сделала себе операцию по перевязке труб. Вдруг оказалось, что те места, где мы работаем, закрываются по субботам. И в пятницу мы могли не ложиться допоздна. Целые семьи могли теперь гулять целые уикэнды. Законы о минимальной заработной плате и о детском труде тоже стали подарками от ФДР в рамках его Нового курса, хотя последний и казался туманным. Только в колледже я узнал, что в индустриализированном западном мире детей двенадцати лет и младше *повсеместно* и *всегда* заставляли работать по двенадцать и больше часов в день в угольных шахтах и на фабриках.

Минимальная оплата тогда была двадцать пять центов в час. Когда Джои Хеллеру из дома напротив в шестнадцать лет выдали разрешение на работу и он после окончания школы устроился на четыре часа в день в «Вестерн Юнион» разносить телеграммы, он каждую пятницу приносил до-

мой свои пять долларов в неделю. И из этих денег он почти всегда покупал в комиссионке новую пластинку для нашего клуба на Серф-авеню, где мы учились танцевать линди-хоп, курить сигареты и тискать девчонок в задней комнате, если нам удавалось заманить или заставить какую-нибудь из них пойти с нами туда. А мой дружок Лю Рабиновиц, и другой его дружок Лео Вейнер, и еще пара ребят посмелее уже вовсю трахали их на кушетках и в других местах. Отец Джои Хеллера уже умер, а его старший брат и сестра тоже работали, когда удавалось найти место, устраивались они в основном на неполный рабочий день к «Вулворту», а летом торговали в киосках замороженным кремом и хот-догами. Его мать, в юности белошвейка, теперь работала у моей матери, подшивая и выпуская платья, подбивая рубчики, переставляя наизнанку поношенные воротнички у рубашек для местной прачечной; получала она, кажется, по два или три цента за штуку, может быть, и по пять.

Кое-как они перебивались. Джои тоже хотел стать писателем. Именно от Джои я впервые услышал то самое подражание рекламной песенке про Пепси-колу, которую передавали по радио. Я помню и первое четверостишие еще

одной пародии, что он написал на популярную песенку, которая заняла одно из первых мест в хит-параде «Лаки Страйк», записи таких песенок еще и сегодня можно услышать в исполнении лучших певцов того времени:

Когда проворна и легка
В твоей ширинке ее рука,
Глаза ее сверкают вновь,
Ты знаешь, к ней пришла любовь.

Жаль, что я не запомнил остальное. Он хотел писать комедийные сценки для радио, кино и театра. Я хотел заниматься этим вместе с ним, а еще когда-нибудь начать писать рассказы, хорошие рассказы, чтобы их печатал «Нью-Йоркер» или какой-нибудь другой журнал. Мы с ним вместе писали скетчи для нашего бойскаутского отряда, Отряда номер 148, а позднее, когда стали постарше, для вечерней развлекательной программы с танцами в нашем клубе, когда мы брали входную плату по десять или двадцать пять центов с тех, кто приходил к нам из десятков других клубов на Кони-Айленде или Брайтон-Бич, а девушек впускали бесплатно. Один из наших самых длинных бойскаутских скетчей «Испытания и несчастья Тоби Тендерфута» был таким смешным, что, я

помню, нас попросили исполнить его еще раз на одном из регулярных сборов, которые проводились каждую пятницу в нашей государственной начальной школе — Г. Ш. 188. Джои тоже пошел в ВВС и стал офицером и бомбардиром, и он тоже преподавал в колледже в Пенсильвании. К тому времени он уже перестал быть «Джои», а я — «Сэмми». Он был Джо, а я — Сэм. Мы были моложе, чем казались сами себе, но мы уже не были мальчишками. Но Марвин Уинклер, вспоминая прошлое, по-прежнему называет его Джои, а обо мне думает как о Сэмми.

«Они рассмеялись, когда я уселся за пианино».

Этот текст был самым удачным из тех, что рассылались рекламными агентствами по почте, вероятно, он и до сих пор остается таким. Вы заполняли купон и получали пакет с инструкциями, по которым, как в них утверждалось, можно было научиться играть на пианино всего за десять нетрудных уроков. Лучше, конечно, было, если у вас, как у Уинклера, имелось пианино, хотя он так никогда и не научился.

У всех у нас в будущем было по «Форду», так нам сказал их производитель, а на заправках «Галф» или на заправках с плакатами, изображающими

летящего красного коня, продавался высокооктановый бензин для машин с независимой подвеской — автомобили эти были нам пока не по карману. Марка «Лаки Страйк» в те времена машин с независимой подвеской означала отличный табак, и люди повсюду искали «Филипп Моррис» и могли пройти милю, чтобы купить «Кэмел» и другие сигареты и сигары, от которых у моего отца начался рак легких, распространившийся в печень и мозг и быстро сведший его в могилу. Ему уже было немало лет, когда он умер, но Гленда была совсем не старой, когда заболела раком яичников и умерла ровно тридцать дней спустя после того, как ей был поставлен этот диагноз. У нее стало побаливать то здесь, то там после того, как Майкл покончил с собой, и сегодня мы бы наверно сказали, что ее болезнь стала следствием стресса. Она сама и нашла Майкла. На заднем дворе дома, что мы снимали в то лето на Файр-Айленде, стояло одно чахлое деревце, и он умудрился повеситься на нем. Я сам снял его, понимая, что это не следовало делать, но я не хотел, чтобы он там висел и чтобы мы, женщины и дети из соседних домов смотрели на него в течение тех двух часов, которые могли понадобиться полиции и медэксперту, чтобы добраться туда на

своих вездеходах.

Доллар в час… миля в минуту… сотня в неделю… сто миль в час — блеск!

Все это стало возможно. Мы знали, что есть машины, которые могут мчаться с такой скоростью, и у всех нас, ребят с Кони-Айленда, были более обеспеченные родственники, жившие в других местах, и у них были машины, развивавшие скорость до мили и больше в минуту. Наша родня жила в основном в Нью-Джерси, Пейтерсоне и Ньюарке, и летом по воскресеньям они приезжали к нам, чтобы прогуляться до карусели или даже до «Стиплчеза», полежать на пляже или побродить босиком по океанской водичке. Они, бывало, оставались на обеды, которые любила готовить моя мать, а моя сестра помогала ей, они подавали вкуснющие панированные телячьи котлеты с хрустящей, поджаристой картошкой, и мать приговаривала: «пусть поедят по-человечески». Больше всею ценилась государственная служба, потому что там хорошо платили, работа была надежной, беловоротничковой, там предоставлялись отпуска и гарантированная пенсия, к тому же они брали и евреев, и на тех, кто получал такую работу, все смотрели с почтением как на

профессионалов. Можно было начать учеником в федеральной печатной службе, как прочел мне из газеты этого ведомства мой старший брат, а потом работать печатником с начальной зарплатой шестьдесят долларов в неделю, — вот он был уже в пределах досягаемости, этот доллар в час и больше, — когда обучение заканчивалось. Но для этого нужно было жить и работать в Вашингтоне, и никто из нас не был уверен в том, что ради этого стоило уезжать из дома. Предлагался и более короткий путь к заветному доллару в час — через Норфолкскую военную верфь в Портсмуте, штат Вирджиния, где можно было устроиться помощником кузнеца в компании с другими парнями с Кони-Айленда, которые тоже там работали; эта перспектива казалась более заманчивой, пока мы ждали, закончится ли война до того, как мне исполнится девятнадцать и призовут меня или нет в армию или на флот. Говорили, что на Бэнк-стрит, 30 в городе Норфолк, куда можно было добраться на пароме прямо из Портсмута, был публичный дом, бордель, но у меня ни разу не хватило смелости отправиться туда, да и времени на это не было. Я продержался там на тяжелой физической работе почти два месяца, проработал подряд пятьдесят шесть дней

— полных по будням и по полдня в субботы и воскресенья, а потом, дойдя до полного изнеможения, сдался и вернулся домой, где, наконец, за гораздо меньшую плату нашел работу клерком в компании, страховавшей транспортные происшествия, эта компания по случайному стечению обстоятельств располагалась в том же здании на Манхеттене — старом здании «Дженерал Моторс» на Бродвее, 1775, — где раньше в своей форме рассыльного «Вестерн Юнион» работал Джои Хеллер, доставляя и принимая телеграммы.

Где были вы?

Когда узнали про Перл-Харбор. Когда взорвали атомную бомбу. Когда убили Кеннеди.

Я знаю, где был я, когда во время второго задания над Авиньоном убили стрелка-радиста Сноудена, и для меня это значило больше, чем потом убийство Кеннеди, да и теперь значит больше. Я был без сознания в хвостовом отсеке моего бомбардировщика Б-25 среднего радиуса действия, приходил в себя после удара по голове, который вырубил меня на какое-то время, когда второй пилот потерял контроль над собой и пустил самолет в вертикальное пике, а потом кричал по интеркому, чтобы все, кто был в само-

лете, помогли всем остальным в самолете, кто ему не отвечал. Каждый раз, когда я приходил в себя и слышал, как стонет Сноуден и как Йоссарян пробует то одно, то другое в тщетных усилиях помочь ему, я снова терял сознание.

До этого задания у меня уже была аварийная посадка с пилотом, которого мы называли Заморыш Джо, у него были буйные ночные кошмары, когда он не был на боевом дежурстве, а один раз я сделал вынужденную посадку на воду с пилотом по имени Орр, который позднее, как говорили, каким-то образом благополучно объявился в Швеции; но ни в первый, ни во второй раз я не был ранен, и я до сих пор не могу заставить себя поверить, что все это было взаправду, а не в кино. Но тогда я видел Сноудена с развороченным животом, а после видел одного тощего парня, который валял дурака на плотике у берега, и его разрубило пополам пропеллером, и теперь я думаю, что, знай я заранее о том, какие случаи могут произойти на моих глазах, то, может быть, я бы и не рвался так на эту войну. Мои мать и отец знали, что война пострашнее, чем это думали мы, мальчишки из нашего квартала. Они пришли в ужас, когда я им сказал, что меня взяли в авиацию стрелком. Никто из них никогда не был

в самолете. И я тоже, и никто из тех, кого я знал.

Они вдвоем пошли проводить меня до троллейбусной остановки на Рейлроуд-авеню рядом со второй кондитерской лавкой, открывшейся на нашей улице. Оттуда я с тремя другими доехал до Стилуэлл-авеню, где мы сели на линию подземки Си-Бич, чтобы добраться до «Пенсильвания-стейшн» на Манхеттене и явиться для прохождения службы в мой первый армейский день. Много лет спустя я узнал, что после того, как мать с неестественной улыбкой на окаменевшем лице обняла меня на прощанье и я уехал в троллейбусе, она разразилась слезами и рыдала безутешно, и лишь через полчаса мой отец и сестры смогли увести ее домой.

В тот день, когда я оказался в армии, мое благосостояние выросло практически в два раза. Клерком в страховой компании я зарабатывал шестьдесят долларов в месяц, и мне из этих денег приходилось платить за проезд и покупать или брать с собой завтраки. В армии мне как имевшему звание ниже рядового первого класса с первого дня платили семьдесят пять долларов в месяц, кормили, одевали, обеспечивали жильем, а доктора и дантисты обслуживали нас бесплатно. И еще до демобилизации как сержант, получаю-

щий летные, заокеанские и боевые выплаты, я зарабатывал в месяц больше, чем печатник на федеральной службе, и приблизился к той сотне долларов в неделю настолько, насколько и мечтать не мог.

Откуда брались все эти деньги?

Вот что сказала бы об этом на идише моя мать: в понедельник треть нации живет в плохих домах, плохо одевается и питается. А в четверг десять миллионов человек в армии, а вместе с ними и два миллиона гражданских, зарабатывают больше, чем могли заработать раньше; танки, аэропланы, корабли, авианосцы, сотни тысяч джипов, грузовиков и других машин выезжали за ворота заводов с такой скоростью, что их и сосчитать-то было почти невозможно. Внезапно всего оказалось больше, чем достаточно. Неужели это заслуга Гитлера? Капитализма, с покорной улыбкой ответил бы, вероятно, мой отец, словно для этого человечного социалиста все напасти неравенства объяснялись одним этим безобразным словом. «Для войны всегда всего достаточно. Вот мир — тот слишком дорог».

С первой же поездки на электричке, когда нас везли с «Пенсильвания-стейшн» в мобилизационный пункт на Лонг-Айленде, я почувствовал,

что в армии ты теряешь всякую значимость и индивидуальность, и я, к своему удивлению, обнаружил, что даже рад этому. Я ощутил себя частью управляемого стада и почувствовал облегчение от того, что все для меня уже расписано и мне говорят, что я должен делать, а я делаю то же, что и другие. Я чувствовал, что груз свалился с моих плеч и я стал свободнее, чем на гражданке. И времени свободного у меня было больше, а когда прошли первые дни притирки, я стал испытывать еще большую свободу.

Мы все вчетвером, вместе записавшиеся добровольцами, вернулись живыми и невредимыми, хотя мне и досталось во время двух авиньонских заданий, а Лю попал в плен, и полгода, пока его не освободили русские, оставался в плену у немцев. Он знает, что уцелел чудом, когда был в Дрездене во время бомбежки. А вот Ирвинга Казера, который исполнял роль Тоби Тендерфута в нашем с Джои Хеллером скетче, разнесло на куски в Италии взрывом артиллерийского снаряда, и я так его больше и не увидел, там же был убит и Санни Болл.

К тому времени, когда начался Вьетнам, я уже прекрасно знал, что такое война и что такое коварство Белого Дома, и я поклялся Гленде, что

сделаю все возможное, все законное и незаконное, чтобы спасти Майкла от армии, если его признают годным хотя бы на четверть и призовут. Я сомневался, что это может случиться. Даже в детстве, когда он еще был мал для наркотиков и всяких там препаратов, вид у него был такой, будто он принимал и то, и другое. Он хорошо ориентировался в фактах и цифрах, но совершенно терялся при виде географических карт и планов. У него была феноменальная память на всякие статистические данные. Но в алгебре, геометрии и прочих абстрактных вещах он соображал плохо. Я не стал разубеждать Гленду, которая считала, что так на него повлиял ее развод. Я наметил героические планы переезда в Канаду на тот случай, если его призовут. Я бы даже поехал с ним в Швецию, если бы это было надежнее. Я дал ей слово, но сдержать его не пришлось.

Лю хотел в десантники или танкисты, чтобы на танке была пушка и он разделался бы с немцами, преследовавшими евреев, но после учебной подготовки в полевой артиллерии он оказался в пехоте. За океаном, когда убили его сержанта, его произвели в сержанты. Но командовать взводом он начал даже еще раньше, в Голландии, когда его сержант стал терять уверенность в себе и

начинал полагаться на Лю и его приказания. Я хотел быть пилотом истребителя и летать на П-38, потому что он казался таким быстрым, молниеносным. Но я не обладал чувством объема и потому стал башенным стрелком. Я видел множество плакатов, сообщавших о нехватке, и записался добровольцем. По слухам, это была самая опасная из всех игр, и шансов у меня было мало. И слухи эти подтвердились.

Я был невысокого роста и вполне мог оказаться башенным стрелком на «Летающей крепости» в Англии, но, к счастью, никто не заметил моего роста, и меня отправили в места более солнечные — Средиземноморье — летать хвостовым стрелком на более легких в управлении и безопасных Б-25.

На ученьях мне всегда очень нравилось это чувство, когда я держал в руках пулемет калибра 0,50. Мне нравилось быть наверху и стрелять настоящими пулями по буксируемым целям в воздухе и неподвижным целям на земле, подводя к ним с фронта след трассирующих пуль с их белыми бликами. Я быстро узнал об инерции и относительном движении, что бомба или пуля с самолета, летящего со скоростью три сотни миль в час, начинает двигаться в том же самом направ-

лении с такой же точно скоростью и что сила тяжести начинает действовать с самого первого мгновения, и наш старший артиллерийский офицер время от времени заставлял меня работать у доски в классе, чтобы помочь разобраться тем, у кого возникали трудности. Я узнал потрясающие вещи о законах движения Исаака Ньютона: если цель или ты находишься в движении, то ты никогда не попадешь, если будешь целиться прямо в нее. Один пример до сих пор поражает меня: если пуля выстреливается из горизонтального оружия и такая же пуля в тот же момент просто роняется с той же высоты, то они упадут на землю одновременно, хотя первая и может приземлиться где-нибудь в полумиле от второй. Тренажеры-имитаторы боя мне нравились меньше, потому что оружие там было ненастоящее, хотя они и были почти такими же забавными, как и одноцентовые игровые автоматы у нас на Кони-Айленде. Вы сидите в закрытой кабине, а на экране на вас с разных сторон и разной высоты несутся истребители различных моделей, исчезающие за доли секунды, и практически невозможно так быстро отличить своего от чужого, навести прицел и нажать на спуск. Никому на этих тренажерах не удавалось добиться хо-

рошего результата, но, с другой стороны, никого это и не волновало. Я знал двух ребят, которых перевели на другие специальности, потому что они боялись. Эти тренажеры породили у меня сомнения: если все и на самом деле будет так, то единственное, что оставалось — это двигаться с максимальной скоростью в заданном направлении и расстреливать за те несколько секунд, что у тебя были, как можно больше боеприпасов. Так оно и получалось в жизни, почти повсюду. Та сторона, которой удавалось ввести в действие больше огневой мощи, обычно и побеждала.

Люди и слышать не хотят о том, что древняя битва при Фермопилах и героическая оборона спартанцев до последнего человека были не триумфом греков, а сокрушительным их поражением. Вся эта доблесть была растрачена впустую. Я люблю ошеломлять людей такими фактами, чтобы они начали думать и шарики у них завертелись.

Я верил в свой пулемет, но как-то не задумывался о том, что буду стрелять в кого-то, кто поднимется в воздух, чтобы стрелять в меня.

Я любил всякие розыгрыши и вскоре сдружился с большим числом людей, чем прежде на Кони-Айленде. В армии у меня были некоторые личные

преимущества. Я читал больше и знал больше, чем другие. Я обнаружил, что людям лучше сразу же говорить, что я, как они могли догадаться, и в самом деле еврей, и находил возможность вставить это в разговор и добавить, что я с Кони-Айленда в Бруклине, штат Нью-Йорк. У меня установились безоблачные и близкие отношения с людьми, которых звали, например, Брюс Саггс из Хай-Пойнта, Северная Каролина, и Холл А. Муди из Миссисипи, с Джеем Мэтьюсом и Брюсом Дж. Палмером из разных мест в Джорджии, которые не очень-то любили друг друга, с Артом Шрёдером и с Томом Слоуном из Филадельфии. В казармах в Лоури-Филд, штат Колорадо, куда меня отправили на огневую подготовку, я столкнулся с враждебным отношением и угрозами со стороны Боба Боуэрса, тоже из Бруклина, но из более буйного района, где обитали норвежцы и ирландцы, известные у нас своим антисемитизмом, и со стороны Джона Рупини, происходившего откуда-то с севера штата, и мы изо всех сил старались как можно реже попадаться друг другу на глаза. Я знал, *что* они чувствуют, а они знали, что я это знаю; они почти с такой же неприязнью относились чуть ли не ко всем остальным. Лю, наверно, сразу же выяснил бы с ними отношения. Во время

игры в покер на второй или третий день в воинском эшелоне, перевозившем меня из Аризоны в Колорадо, мне послышалось, как один из игроков сказал что-то о евреях, но я не был уверен. Потом другой, сидевший напротив меня, уже сообщивший, что он откуда-то из маленького городка на юге, ухмыльнулся и заметил:

— У нас тоже есть один, они владеют магазином готового платья. Посмотрел бы ты на них. — Теперь я *был* уверен и знал, что должен высказаться.

— Подожди-ка минуту, если ты не против, — резко и немного напыщенно начал я. Внутренне меня всего трясло. И голос у меня был чужой. — Дело в том, что я тоже еврей и мне не нравится слушать такие разговоры. Если хочешь, я сейчас же брошу играть. Но если ты хочешь, чтобы я остался, ты должен прекратить разговоры, которые оскорбляют меня и портят мне настроение. И вообще я не понимаю, зачем тебе нужно так обращаться со мной.

Игра прекратилась, мы чуть раскачивались, прислушиваясь к стуку колес. Если бы я вышел из игры, то со мной вышел бы и Леско, а если бы дело дошло до драки, то они знали, что Леско был бы на моей стороне. Но тот, к кому я обращался,

Купер, почувствовал себя виноватым и пробормотал извинение:

— Извини, Зингер, я не знал, что ты еврей.

Лю, наверно, размозжил бы ему голову и угодил за решетку. А я на время стал приятелем человека, который всегда был готов признать свою вину. Лю — это Лю, а я — это я.

Меня зовут Сэмьюэл Зингер, без всякого второго имени — никаких там Сэмми Н. М. И. Зингер, — я родился маленьким и остался меньше многих других, ничем физически не выделившись. Не таким, как еще один хороший приятель детства, Айк Соломон, который был ничуть не выше меня, но имел здоровенные бицепсы и грудь пошире, чем у остальных, и мог поднимать тяжести и сколько угодно подтягиваться на турнике. Всю свою жизнь я побаивался драк, а потому делал все возможное, чтобы их избегать. Я умел пошутить и показать свое дружелюбие и всюду умудрялся заводить друзей. У меня был дар создавать непринужденную атмосферу, поддев кого-нибудь из компании, и поддержать разговор, ошеломив собеседников нетривиальностью суждений.

«Как вы думаете, жилось бы в стране лучше, если бы мы *проиграли* британцам Революционную войну?» — пытливо спрашивал я, словно меня и

в самом деле мучила эта проблема, а наготове у меня уже были критические вопросы на любой ответ.

«Если Линкольн был так умен, то почему он не позволил Югу отделиться? Неужели отделение нанесло бы стране больше вреда, чем война?»

«Конституционна ли конституция?»

«Может ли демократия создаваться демократическим путем?»

«А разве дева Мария не была еврейкой?»

Я знал много всякого, чего не знали другие. Я знал, что если нас в казарме оказывалось не меньше сорока человек, то почти всегда находились двое, у кого день рождения приходился на одно число, а часто была и еще одна пара с днем рождения в другой день. Я мог биться об заклад даже с людьми из Невады и Калифорнии, что Рено в штате Невада находится западнее Лос-Анджелеса, а после, когда мы уже проверяли это по карте, готов был биться об заклад во второй раз, настолько сильно в них было устоявшееся представление. У меня был заготовлен вопросик и для кардинала, окажись я рядом с ним и приди мне в голову мысль подурачиться.

«Чьи гены были у Иисуса?» И, получив любой ответ, какой мог бы придумать этот бедняга, я с

невинным видом напомнил бы ему, что Иисус был рожден младенцем и стал мужчиной, а обрезан был на восьмой день.

Я чуть-таки не нарвался на неприятности в артиллерийской школе на занятиях, которые проводил один орденоносец уоррант-офицер; он как-то заметил, что в среднем авиационного стрелка убивают после трех минут боя, а потом предложил задавать вопросы. Он закончил боевую службу в Англии на Б-17 с потрепанной в боях восьмой воздушной армией, и я даже не пытался поддеть его, просто мне было любопытно.

— Откуда это известно, сэр? — спросил я, и с тех пор я не верю никаким сводкам и оценкам.

— Что ты имеешь в виду?

— Как это можно измерить? Сэр, вы провели в бою, наверно, не меньше часа.

— Гораздо больше часа.

— Тогда на каждый ваш час в бою должно приходиться девятнадцать убитых в первые секунды, чтобы получилась средняя цифра в три минуты. И почему бой опаснее для стрелков, чем для пилотов или бомбардиров? Ведь они же обстреливают весь самолет, не правда ли, сэр?

— Зингер, ты, кажется, большой умник, да? Останешься после занятий.

Он сообщил мне, что я никогда не должен противоречить ему в классе, и познакомил меня с тем, что позднее я — вместе с Йоссаряном — стал называть «законы Корна», в честь подполковника Корна с Пьяносы: по закону Корна вопросы могли задавать только те, кто никогда не задавал никаких вопросов. Но он дал мне задание обучать других, и я на простых примерах из алгебры и геометрии должен был объяснять, что метиться всегда нужно с опережением цели, движущейся относительно тебя, а при стрельбе из летящего самолета линия прицеливания должна запаздывать относительно цели. Если самолет находится от тебя в стольких-то ярдах, а снаряд летит со скоростью столько-то ярдов в секунду, то сколько секунд потребуется твоему снаряду, чтобы настичь самолет? Если самолет летит со скоростью столько-то футов в секунду, то сколько футов он пролетит к тому моменту, когда снаряд настигнет его? Они увидели все это на полигоне, когда мы стреляли по тарелочкам и вели артиллерийский огонь с движущегося грузовика. Но хотя я сам учил этому правилу и знал его, даже у меня были трудности с пониманием того, что при стрельбе из атакующего самолета метиться нужно в точку позади цели, между целью и твоим хвостом с

учетом скорости твоего самолета, а метясь впереди цели, будешь только попусту расходовать боеприпасы.

Все мои приятели были людьми широкой души. И как-то так уж получалось, что рядом со мной на всякий случай всегда оказывался дружок покрупнее и покрепче меня, например, Лю Рабиновиц или Санни Бартолини, задира-итальянец, чья семья жила на Кони-Айленде. Или Леско, молодой шахтер из Пенсильвании, с которым я познакомился в артиллерийской школе. Или Йоссарян на учебных полетах в Каролине, а потом на Пьяносе во время боевых действий после того, как мы впятером — Йоссарян, Эпплби, Крафт, Шрёдер и я — одним экипажем перелетели за океан.

Меня всегда пугало, что меня могут побить, и этот страх в моих мыслях принимал очертания даже более угрожающие, чем страх быть убитым. Однажды ночью в Северной Каролине это чуть не произошло. Дело было после очередного ночного полета, во время которого Йоссарян никак не мог сориентироваться и найти дорогу к таким местам, как Афины, штат Джорджия, и Рейли, Северная Каролина, и Эпплби из Техаса пришлось возвращаться по радиокомпасу. И вот в полночь мы отправились в нашу солдатскую столовую

— Шрёдер, я и Йоссарян. Офицерский клуб был закрыт. Йоссарян всегда был голоден. Он снял с себя знаки различия, чтобы сойти за солдата и получить право пройти туда с нами. По ночам ребята всегда толклись на улице. И когда мы шли сквозь эту толпу, меня неожиданно толкнул здоровенный пьяный наглец, рядовой, он пихнул меня с такой силой, что не осталось никакого сомнения в преднамеренности его поведения. Я повернулся в инстинктивном удивлении. Но я и слова не успел сказать, как он налетел на меня и грубо затолкал в группу солдат, которые уже встали в кружок, чтобы посмотреть, что будет. Все происходило слишком быстро, и я даже не успевал осознавать происходящее. Я еще не успел прийти в себя от удивления и неожиданности, как он бросился на меня, подняв руки, и уже завел одну назад, сжав в кулак для удара. Он был выше и плотнее меня, и защититься я никак не мог. Это было как в тот раз, когда я учил Лю боксировать. Я даже убежать не мог. Я не знаю, почему он выбрал именно меня, могу только догадываться. Но тут, прежде чем он успел ударить, между нами появился Йоссарян, чтобы прекратить это, он простер руки с раскрытыми ладонями, пытаясь усмирить его. Но не успел Йоссарян произнести

и первой фразы, тот тип ринулся вперед и со всей силы съездил его по голове, а потом стукнул еще раз другой рукой. Йоссарян, потрясенный этим ударом, стал беспомощно отступать, а тот все не останавливался продолжал молотить его по голове обеими руками, и Йоссарян только пошатывался от каждого удара, и прежде чем я понял, что делаю, я бросился вперед и повис на одной руке этого громилы. Но он отшвырнул меня в сторону, и я соскользнул вниз, обхватил его за талию и, изо всей силы упершись ногами в землю, попытался сбить его с ног. К этому моменту Шрёдер набросился на него с другой стороны, и я слышал слова Шрёдера: «Ты, мудила, он же офицер, мудила!» Я слышал, как он хрипло шепчет в ухо драчуна: «Он же офицер!» И тут Йоссарян, которому силы тоже было не занимать, пришел в себя и умудрился схватить его за обе руки; Йоссарян наступал на него, пока тот не потерял равновесия и не сдался. Я почувствовал, что он сник, как только слова Шрёдера дошли до него. Когда мы его отпустили, видок у него был далеко не лучший.

— Лучше вам надеть ваши полоски, лейтенант, — мягко напомнил я Йоссаряну, все еще тяжело дыша, а увидев, что он ощупывает свое

лицо, добавил: — Крови нет. Вам бы лучше уйти отсюда и надеть свои полоски, пока никто не пришел. А еду мы вам можем вынести.

С тех пор я всегда был на стороне Йоссаряна, когда он ссорился с Эпплби, даже во время того, что мы оба стали называть «Славное атабринское восстание», хотя сам я сознательно принимал эти антималярийные таблетки, когда мы пересекали экваториальную зону на пути за океан, а он этого не делал. Атабрин смягчал протекание малярии, так нам сказали перед первой посадкой в Пуэрто-Рико, но не оказывал никакого воздействия на саму болезнь. Что бы там ни было написано в уставах, но Йоссарян не видел никакой разумной необходимости устранять симптомы еще до их появления. Несогласие между ними выкристаллизовалось в противостояние ради спасения лица. Крафт, второй пилот, хранил, как всегда, нейтралитет. Крафт говорил мало, много улыбался и, казалось, не замечал и половины того, что происходит вокруг. Когда он вскоре после этого был убит в бою над Феррарой, я так и продолжал думать о нем как о человеке, хранящем нейтралитет.

— Я командир этого корабля, — имел неосторожность сказать Йоссаряну Эпплби в присут-

ствии всех нас в Пуэрто-Рико, где мы совершили первую посадку после взлета во Флориде для четырнадцатидневного перелета за океан. — И ты должен выполнять мои приказы.

— Дерьмо это собачье, — сказал Йоссарян. — Это самолет, Эпплби, а не корабль. — Тогда они были в одном звании — второго лейтенанта — и одного роста. — И мы на земле, а не в море.

— И все равно командир — я. — Эпплби говорил медленно. — Как только мы снова поднимемся в воздух, я прикажу тебе принять таблетки.

— А я их не приму.

— Тогда я подам на тебя рапорт, — сказал Эпплби. — Мне это не очень нравится, но я подам на тебя рапорт старшему офицеру, как только он у нас будет.

— Подавай, — продолжал упрямое сопротивление Йоссарян. — Это мое тело и мое здоровье, и я могу делать с ним все, что захочу.

— По уставу — нет.

— Устав противоречит конституции.

Когда мы пересекали карибский бассейн, направляясь в Южную Америку, нам показали аэрозольную бомбу, тогда я ее впервые и увидел, а теперь это называется аэрозольный баллончик, и проинструктировали, как ее использовать внут-

ри самолета сразу же после посадки в него, чтобы защититься от комаров и болезней, которые они могут переносить. На каждом из этапов перелета в Наталь в Бразилии нас просили смотреть в оба, не увидим ли мы останков самолета или двух, которые за день или два до этого исчезли здесь, в море или джунглях. Жаль, что задание это не отрезвило нас как следует. То же относилось и к перелету из Бразилии через океан на остров Вознесения; этот перелет состоял из нескольких восьмичасовых этапов, а самолет был рассчитан всего на четыре часа полета; отдохнув два дня на острове Вознесения, мы полетели в Либерию в Африке, а оттуда — в Дакар в Сенегале. И в течение всех этих долгих, утомительных перелетов мы, когда вспоминали об этом, смотрели в оба — не увидим ли где обломков и желтых плотиков. Во Флориде у нас было свободное время и вечера, а там в салунах и кафе были танцплощадки.

У меня возникло желание начать трахаться. Старшие ребята с Кони-Айленда, например, Чики Эренман и Мел Мандлбаум, ушедшие в армию раньше, приезжали в отпуска со своих далеких мест службы, вроде Канзаса и Алабамы, и рассказывали всякие истории о женщинах, которые были полны желания лечь под наших бравых

парней в военной форме, и теперь, когда и я был бравым парнем в военной форме, я тоже хотел трахаться.

Но я все еще не знал, как. Я был застенчив. Я умел пошутить, но был робок. Я воспламенялся при виде любой более или менее хорошенькой мордашки или фигуры. Я слишком быстро возбуждался, и меня пугала мысль о том, что это будет заметно. Я знал, что, наверно, кончу, еще не успев начать, но для большинства из нас это все же было лучше, чем ничего. Когда я танцевал практически с любой девушкой, тесно прижимаясь к ней, у меня почти сразу же появлялась эрекция, и я в большом смущении отстранялся подальше, чтобы девушка ничего не почувствовала. Теперь-то я знаю, что нужно было прижимать его к ним сильнее, чтобы у них не оставалось сомнений — с этим у меня все в порядке, и начинать двусмысленно шутить о том, чего я хочу и что получу, и тогда мои дела шли бы успешнее. Когда я уединялся с какой-нибудь девушкой в задней комнате и начинал ее тискать или приходил к ней на квартиру, куда ее приглашали посидеть с ребенком, я обычно быстро получал то, чего хотел, и был доволен собой, пока меня не заставили вспомнить, что ведь это еще далеко не

все. Я знал, что невысок ростом, и всегда считал, что петушок у меня маловат, а у большинства других он куда как поздоровее, пока как-то летом в раздевалке стиплчезского бассейна я бесстрашно не скосил глаза в зеркало, стоя рядом с Лю, когда мы мылись, и увидел, что мой ничуть не хуже, чем у него.

Но он-то свой пускал в дело. А я всегда слишком быстро кончал, или у меня вообще ничего не получалось. В первый раз, когда Лю и другой его приятель, Лео Вейнер, подыскали для меня девчонку, которая приехала на Кони-Айленд поработать летом в киоске с газированной водой и ничуть не возражала лечь под любого, кто ее просил об этом, — они оба здорово умели уламывать девчонок, — я и презерватив не успел надеть, как у меня обвисло. Первый раз, когда я договорился обо всем сам и устроился в задней комнате нашего клуба с одной девчонкой и действовал рукой, а она дала мне понять, что хочет всего, эрекция у меня прошла, когда мы еще и раздеться-то не успели, хотя до того, как мы сняли штаны, я был в полной боевой готовности. Гленде нравились эти мои истории.

Я уверен не на все сто, но, вероятно, в первый раз по-настоящему я трахнулся только уже за

океаном. Там это было просто, потому что ты был один из многих ребят, которые все делали одно и то же с юношеской самоуверенностью и в общем стремлении шумно и весело провести время, а неподалеку, в главном городе острова, Бастии, вились стайки местных девчонок, не знавших нашего языка, а в особенности просто это было потом, в Риме, где женщины, которых мы видели на улицах, улыбались, давая нам понять, чем они тут занимаются, и ждали, когда мы подойдем к ним с нашими разговорчиками, деньгами, сигаретами, шоколадками, беспечным весельем и уже расстегнутыми ширинками. Мы вовсе не считали их проститутками или шлюхами, для нас они просто были женщинами на улице. Я уверен не на все сто, что делал это раньше из-за того случая с одной миленькой южанкой в танцевальном зале Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, куда мы прилетели, чтобы испытать самолет перед полетом за океан и откалибровать различные приборы на всякие отклонения и ошибки.

Я так до сих пор и не знаю, считается тот случай или нет. Она была ужасно разбитная — девчонка чуть пониже меня, волосы очень черные, глаза почти сиреневые, а вдобавок еще и ямочки на щеках; она была под сильным впечатлением от

моей резкой нью-йоркской манеры танцевать линди-хоп, она такого и представить себе не могла и ей сразу же захотелось научиться. Шрёдер тоже раньше такого не видел, как и лейтенант Крафт, который реквизировал в технической части джип, чтобы мы могли добраться на танцы. Спустя какое-то время мы вышли подышать свежим воздухом. Я шел, все еще обнимая ее за талию, и мы, ни о чем таком не говоря, направлялись к одному из затененных местечек на парковочной площадке. Мы миновали несколько парочек, обнимавшихся в разных укромных уголках. Я подсадил ее на крыло низкого спортивного автомобиля.

— Нет-нет, Сэмми, милый, мы не будем заниматься этим сегодня, не здесь, не сейчас, — сразу же без обиняков сообщила она мне, удерживая меня на расстоянии двумя руками, упертыми мне в грудь, и по-дружески поцеловала меня в нос.

Я протиснулся между ее ногами поближе к ней, чтобы можно было целоваться, мои руки проскользнули ей под платье прямо к резиночке в ее штанах, а большими пальцами я гладил ее изнутри. Пока она не заговорила, я и не надеялся на что-то большее на этой парковочной площадке.

Гладя ей прямо в глаза, я с улыбкой признался:

— Я ведь все равно даже не знаю как. Я никогда не делал этого раньше. — На следующий день мы вылетали в Пуэрто-Рико, и я мог позволить себе откровенность.

Она рассмеялась, услышав эти слова, словно я сказал какую-то остроту. Ей и в голову не приходило, что такой шустрый парень, как я, мог быть девственником.

— Ах, ты бедняжка, — сладкозвучно посочувствовала она мне. — Ты был многого лишен в этой жизни, да?

— Я учил тебя танцевать, — намекнул я.

— Тогда я тебе покажу, как это делается, — согласилась она. — Только ты не должен вставлять. Пообещай мне это. Отойди-ка чуть-чуть, а я устроюсь поудобнее. Вот так лучше. Видишь? Ух ты, да он у тебя совсем неплох, да? Он так и рвется в бой.

— Мне его обрезал лучший скульптор.

— Только не спеши, Сэмми, мальчик. И не так быстро. Не сюда, маленький, не сюда. Это же почти мой пупок. Тебе нужно научиться не мешать мне подставлять себя так, чтобы ты мог туда добраться. Поэтому-то мы и называем это «давать», понял, глупышка? Но сегодня я тебе ничего не дам. Ясно? Чуть поближе. Вот так-то

лучше, правда? Только ты не должен вставлять! *Не вставляй! Ты вставляешь!*

Последнее она прокричала так, что могла бы разбудить всю округу. Она секунд пятнадцать бешено извивалась подо мной, изо всех сил стараясь вырваться, а я всего лишь пытался приподняться, чтобы помочь ей встать, а потом я вдруг понял, что уже стою на ногах и увидел, как пускаю струю высоко в воздух через капот. Эта штука пролетела целую милю. Пустить струю — точное выражение для мальчишки девятнадцати или двадцати лет. Когда мужчине больше шестидесяти восьми, он кончает. Когда может. Если он хочет.

Никогда не думал, что буду таким старым, что буду просыпаться с одеревеневшими суставами и что мне б***о***льшую часть дня нечем будет себя занять, кроме как сбором на общественных началах пожертвований для облегчения положения раковых больных. Я читаю чуть не всю ночь напролет, как сказал поэт, а часто и по утрам тоже, езжу зимой на юг к одной знакомой даме, у которой дом в Неаполе, штат Флорида, чтобы быть поближе к океану, а иногда гощу у дочери в Атланте, а иногда в Хьюстоне, штат Техас, где живет с мужем другая моя дочь. Я играю в

бридж и так знакомлюсь с людьми. У меня есть маленький летний домик в Ист-Хэмптоне вблизи океана, там одна гостевая комната с отдельной ванной. Когда Лю ложится в больницу, чтобы пройти очередной курс лечения, я навещаю его не реже раза в неделю, езжу к нему автобусом с автовокзала. На это уходит целый день. Я никогда не думал, что переживу его, а, может быть, еще и не переживу, потому что в течение тех длительных периодов ремиссии, которые у него бывали за больше чем двадцать лет, что я знаю о его болезни Ходжкина, он чувствует себя получше, чем я, и делает гораздо больше. Хотя на этот раз он, кажется, никак не может набрать свой вес, упал духом и настроен фаталистически, но Клер разговаривает с Тимером, и ее больше беспокоит настроение Лю, а не его болезнь.

— Меня уже тошнит от этой тошн***о***ты, — сказал он мне в тот последний раз, когда мы разговаривали наедине, он словно готовился к тому, чтобы сдаться, и я никак не мог понять, шутит он или нет.

И тогда пошутить попробовал я.

— Нужно говорить тошнот***ы***.

— Что?

— Лю, нужно говорить не тошн***о***ты, а тошно-

ты.

— Сэмми, ну тебя к черту с этими глупостями. Не теперь.

Я почувствовал себя полным дураком.

Мне не суждено жить в старости с детьми, и поэтому я отложил деньги на дом для престарелых. Я жду своего рака простаты. Может быть, скоро я снова женюсь, если моя состоятельная вдовая подружка преодолеет свое меркантильное недоверие ко мне и скажет, что пора. Но надолго ли? Еще на семь лет? Я скучаю по семейной жизни.

Гленда решила, что тот случай у танцзала не в счет. Каждый раз, когда мы с ней вспоминали об этом впоследствии, она недоверчиво качала головой и со смехом говорила:

— Господи, ты ведь тогда ничего не знал, да?

— Не знал.

— Только ты больше не пробуй ни на ком этот свой спектакль «научите несчастненького».

Это не всегда был только спектакль. Почти все женщины, с которыми у меня что-то было, всегда, казалось, были опытнее меня. Я думаю, есть два типа мужчин, и я принадлежу ко второму.

Сама она впервые испытала это в колледже, когда впервые оказалась вдали от дома, с человеком, за которого вскоре после выпуска вышла

замуж; раковая болезнь — меланома — свела его в могилу раньше ее, но он еще успел дважды жениться и даже родить еще одного ребенка. У меня возможность поступить в колледж появилась только после войны, а к тому времени переспать с девчонкой для меня уже не составляло большого труда, потому что у меня уже был кое-какой опыт, да и большинство девчонок вовсю этим занималось.

Эпплби проделал путь из Наталя в Бразилии до острова Вознесения, ориентируясь только по радиокомпасу, а в бомбовом отсеке у нас был установлен дополнительный топливный бак для увеличения дальности полета. Он больше не верил показаниям компаса Йоссаряна. Йоссарян тоже не верил, и потому обиделся лишь чуть-чуть. А Эпплби копил в себе раздражение. Полагаться только на радиокомпас было довольно рискованно — как сказал мне Йоссарян; уж это-то ему вдолбили в голову, — что мы и испытали на собственной шкуре, выйдя на остров не прямо, а с отклонением на сто двадцать градусов, и израсходовав больше топлива.

В войне, капитализме и западной цивилизации я стал лучше разбираться, когда попал в город Маракеш, в Марокко, и увидел богатых францу-

зов, пьющих аперитивы на террасах роскошных отелей, спакойненько убивающих время вместе с детьми и своими стройными женами, пока другие высаживались в Нормандии, а потом в южной Франции, чтобы освободить их страну и дать им возможность вернуться и снова вступить во владение своей собственностью. В огромном американском центре пополнений в Константине, в Алжире, где мы провели две недели, ожидая окончательного назначения в авиационную бомбардировочную группу, я впервые услышал о Зигмунде Фрейде и о всяких интересных вещах, связанных с ним. Я там жил в одной палатке с санитаром, тоже ожидавшим назначения, он был постарше меня и тоже хотел писать рассказы, как Уильям Сароян, и к тому же был уверен, что это ему по силам. Никто из нас не понимал, что второй Сароян никому не нужен. Сегодня, судя по числу поклонников Сарояна, можно было бы сделать вывод, что и в одном-то Сарояне не было особой нужды. Мы обменивались прочитанными книжками.

— Тебе когда-нибудь снится, что у тебя выпадают зубы? — лукаво и как бы между прочим спросил он однажды у меня без всякой связи с нашим предыдущим разговором. Делать нам в

нашем ожидании было нечего, разве что играть в софтбол или волейбол. Ходить в Константину и гулять Бог знает где по городу в поисках виски или женщин не следовало, это мы поняли, услыхав об одном убитом солдате, которого якобы нашли кастрированным с засунутой в рот мошонкой, что нам, по-видимому, показалось маловероятным. Мы ели из столовской посуды.

Его вопрос попал в цель. Я вздрогнул, словно увидел перед собой волшебника, читающего чужие мысли.

— Да, снится, — доверчиво признался я. — Как раз прошлой ночью.

Он самодовольно кивнул.

— Ты вчера дрочил, — не колеблясь сообщил он мне.

— Ах ты дерьмо собачье! — запальчиво ответил я, а сам виновато спросил себя — как это он догадался.

— Это же не преступление, — примирительным тоном и как бы оправдываясь сказал он. — Это даже не грех. Женщины тоже этим занимаются.

Тогда я отнесся к последнему замечанию с недоверием. Он уверял меня, что так оно и есть на самом деле.

Приземлившись на Пьяносе, мы во все глаза

принялись смотреть на горы и лес, подступавшие к самому морю; мы ждали машин, которые отвезут нас с вещами в штаб нашей эскадрильи, где после нашего доклада о прибытии нас должны были распределить по палаткам. Стоял май, было солнечно и все вокруг было прекрасно. Все было спокойно. Мы с облегчением увидели, что здесь мы в безопасности.

— Хорошая работа, Эпплби, — смиренно заметил Йоссарян, говоря за всех нас, — мы бы никогда не добрались, если бы тебе пришлось полагаться на меня.

— Этот вопрос меня мало беспокоит, — мстительно сказал ему Эпплби своим неторопливым техасским говорком. — Ты нарушил устав, и я сказал, что подам на тебя рапорт.

В штабе, где нас встретил любезный первый сержант, сержант Таусер, Эпплби с трудом сдерживал себя, ожидая завершения формальностей. А потом сквозь сжатые губы на дрожащем от обиды и ярости лице попросил, потребовал встречи с командиром эскадрильи по вопросу неподчинения члена экипажа, который отказался принимать таблетки атабрина и не выполнил прямой приказ сделать это. Таусер с трудом скрывал удивление.

— Он у себя?

— Да, сэр. Но вам придется немного подождать.

— И я бы хотел поговорить с ним, пока все мы еще здесь, чтобы он мог услышать свидетельские показания.

— Да, я понял. Вы все можете присесть, если хотите.

Командиром эскадрильи был майор, и фамилия у него, как я увидел, тоже была Майор; меня развеселило это странное совпадение.

— Да, я, пожалуй, посижу, — сказал Эпплби. Остальные из нас хранили молчание. — Сержант, а сколько мне придется ждать? Мне еще сегодня нужно многое успеть, чтобы полностью подготовиться и завтра с самого раннего утра идти в бой в ту минуту, когда мне прикажут.

Мне показалось, что Таусер не верит своим ушам.

— Сэр?

— В чем дело, сержант?

— Вы задали какой-то вопрос?

— Сколько мне придется ждать, прежде чем мне можно будет идти к майору?

— Пока он не пойдет на ланч, — ответил сержант Таусер. — Тогда вы сможете войти.

— Но ведь тогда его не будет. Разве нет?

— Не будет, сэр. Майор Майор вернется к себе только после ланча.

— Понятно, — не очень уверенно решил Эпплби. — Тогда я, пожалуй, приду после ланча.

Шрёдер и я стояли, окаменев, как и всегда, пока офицеры улаживали свои проблемы. Йоссарян слушал с ехидным любопытством.

Эпплби вышел первым. Он резко остановился, как только я вышел за ним, и изумленно отступил назад, чуть не сбив меня с ног. Я проследил за направлением его взгляда и ясно увидел высокого темноволосого офицера с золотыми листьями майора на погонах, который выпрыгнул из окна штабной палатки и рысью скрылся с глаз за углом. Эпплби зажмурил глаза и потряс головой, словно опасаясь того, что он заболел.

— Ты не… — начал он, но тут сержант Таусер похлопал его по плечу и сказал, что он, если все еще хочет, может пройти на прием к майору Майору, поскольку майор Майор только что ушел. Эпплби усилием воли вернул себе присутствие воинского духа.

— Спасибо, сержант, — очень формально ответил он. — Он скоро вернется?

— Он вернется после ланча. И тогда вам придется выйти и подождать, пока он не уйдет на

обед. Майор Майор никого не принимает в своем кабинете, когда он у себя в кабинете.

— Сержант, что вы только что сказали?

— Я сказал, что майор Майор никого не принимает у себя в кабинете, пока он в кабинете.

Эпплби несколько мгновений внимательно разглядывал сержанта Таусера, а потом заговорил строгим, начальственным тоном.

— Сержант, — сказал он и замолчал, словно для того, чтобы убедиться, что внимание Таусера ничто не отвлекает, — вы издеваетесь надо мной только потому, что я новенький в эскадрилье, а вы здесь уже давно?

— Нет-нет, сэр, — ответил Таусер. — Именно такой приказ я получил. Можете спросить у майора Майора, когда его увидите.

— Именно это я и собираюсь сделать, сержант. Когда я могу его увидеть?

— Никогда.

Но Эпплби при желании мог подать свой рапорт и в письменной форме. Но через две или три недели мы практически были ветеранами, и этот вопрос уже не имел никакого значения даже для Эпплби.

Эпплби скоро стал первым пилотом в паре с бомбардиром, у которого был больший опыт

— с Хэвермейером. Йоссарян поначалу был достаточно хорош, и его назначили ведущим бомбардиром, а в пару дали пилота с уступчивым характером. Звали пилота Макуотт. Впоследствии я предпочитал Йоссаряна, потому что он всегда бомбился быстрее других.

Мне казалось, что у нас было все. Палатки были удобными, и я не наблюдал признаков враждебности по отношению к кому-либо. Мы жили в мире друг с другом, что было бы невозможно в каком-нибудь другом месте. Там, где находился Лю, в пехотных частях в Европе, были смерть, ужас, дрязги. Мы все большей частью любили повеселиться и не очень глубоко горевали над редкими потерями. Тогда нашим офицером, отвечавшим за обе столовые, был Милоу Миндербиндер, ставший теперь промышленником и крупным экспортером и импортером, а тогда он работал блестяще, все знали, что лучше него нет никого на всем средиземноморском театре военных действий. У нас каждое утро были свежие яйца. На кухне под руководством капрала Снарка работали итальянцы, нанятые Милоу Миндербиндером, а еще он нашел жившие неподалеку семьи, в которых были рады стирать наше белье, получая за это какие-то гроши. Чтобы нас

кормили, нам нужно было всего лишь выполнять приказы. Каждый уикэнд у нас был лимонад с мороженым, а у офицеров — каждый день. Только после того как мы с Орром сделали вынужденную посадку у побережья Франции, мы узнали, что углекислый газ для лимонада Милоу брал из баллончиков, которые должны были находиться на наших спасательных жилетах, чтобы их надувать. Когда умер Сноуден, мы обнаружили, что Милоу из наших пакетов первой помощи забрал и весь морфин.

Направляясь в тот первый день в свою палатку, я остановился, услышав рокот множества летящих самолетов, и, посмотрев вверх, увидел три звена по шесть штук, возвращающиеся с задания в идеальном строю на фоне голубой заставки безветренного неба. В то утро они вылетели бомбить железнодорожный мост неподалеку от городка Пьетразанта, и теперь возвращались назад к ланчу. Зениток там не было. Вражеские самолеты их не преследовали. Я ни разу не видел вражеского самолета за все время моего пребывания там. Эта война, как я и надеялся, была как раз для меня, чреватой риском, но безопасной. У меня была профессия, которая пользовалась уважением и приносила мне удовольствие.

Два дня спустя я летел на свое первое задание к мосту неподалеку от местечка под названием Пьямбино. Я жалел, что там не было зениток.

И только когда я увидел, как парнишка моего возраста, Сноуден, истек кровью и умер в нескольких ярдах от меня в хвосте самолета, я наконец осознал, что они пытаются убить и меня, что они в самом деле пытаются убить меня. Люди, которых я не знал, стреляли в меня снарядами каждый раз, когда я поднимался в воздух, чтобы сбрасывать на них бомбы, и это уже было не смешно. После этого мне захотелось домой. Были и другие вовсе не смешные обстоятельства, потому что число боевых вылетов, которые я должен был совершить, сначала подняли с пятидесяти до пятидесяти пяти, а потом до шестидесяти и шестидесяти пяти, а могли, вероятно, поднять и еще выше, прежде чем я хотя бы эти шестьдесят пять отлетаю при том, что шансы дожить до этого были весьма невелики. Тогда у меня было тридцать семь боевых вылетов, и оставалось налетать еще двадцать три, а потом — двадцать восемь. Полеты становились все опаснее, а после Сноудена я начал молиться каждый раз, как только мы поднимались на борт и я занимал свое велосипедное сидение в хвосте лицом назад,

прежде чем зарядить и сделать пробную очередь из моего пулемета, когда мы, уже построенные в боевой порядок, летели над водой. Я помню свою молитву: «Дорогой Боженька, пожалуйста, дай мне вернуться домой живым, и я клянусь, что больше не сяду в самолет». Позднее я, ни минуты не задумываясь, нарушал эти обещания, отправляясь на конференции по организации сбыта. И ни Гленде, и никому я не говорил, что тогда молился.

Через неделю после прибытия я отправился в Бастию на джипе с лейтенантом по фамилии Пинкард, с которым уже успел подружиться во время одного из полетов; лейтенант взял машину в технической части и пригласил меня прокатиться. Когда у нас не было полетов, наше время принадлежало нам. Вскоре после этого Пинкард отправился вместе с Крафтом на самолете в Феррару, и его вместе с остальными сочли погибшим. На прямом и низком участке идущей на север дороги неподалеку от берега мы встретили двух улыбающихся девчонок на прогулке, и он со скрипом тормозов остановил машину и подсадил их. Несколько минут спустя он свернул с дороги на плоскую площадку, заросшую со всех сторон кустами, где он еще раз резко остановил машину,

показывая рукой наружу и вниз и неся какую-то тарабарщину.

— Трах-трах? — спросила старшая из них, когда догадалась, что поняла.

— Трах-трах, — ответил Пинкард.

Девушки посмотрели друг на дружку и согласились; мы вышли из машины и парами пошли в разные стороны. Мне досталась старшая, и мы пошли, обнимая друг дружку. Моя направилась к ржавым железнодорожным путям, которые проходили вдоль берега и были теперь заброшены. Между рельсами проходил трубопровод, по которому нам подавали бензин из доков в Бастии. Она знала, что делать. Она быстро приготовилась и впустила меня к себе. Я думал, что буду чувствовать более сильное соприкосновение, чем оно оказалось на самом деле, но сомнений в том, что я наконец делаю это, у меня уже не было. Я один раз даже приподнялся, чтобы увидеть и убедиться. Я кончил раньше Пинкарда, но зато и ко второму разу я был готов скорее. К тому времени мы уже снова были в джипе и никто из остальных не хотел останавливаться еще раз.

Неделю или около того спустя немцы оставили Рим, и туда вошли американцы, по случайному совпадению это произошло в день высадки во

Франции. Казалось, не прошло и нескольких часов, как начальник штаба нашей эскадрильи — я до сих пор не знаю, что это такое, но у нас на этой должности был майор де Коверли — снял там две квартиры, чтобы мы могли пользоваться ими во время краткосрочных отпусков; та, что была для офицеров, представляла собой элегантное помещение с четырьмя спальнями для четырех человек, отделанное мрамором, с зеркалами, шторами и сверкающими кранами в ванной; эта квартира располагалась в доме на широкой улице, называвшейся Виа-Номентана и находившейся на окраине, так что ходить туда было довольно далеко. Наша квартира занимала два полных этажа на верху здания со скрипучим лифтом неподалеку от Виа-Венето, в центре города, и из-за удобства расположения офицеры-отпускники любили бывать там, они даже ели там и иногда проводили время с девушками, недостатка в которых никогда не было. Мы приезжали группами побольше, взяв с собой продовольственные пайки, а благодаря Милоу и майору де Коверли там весь день были женщины, которые для нас готовили. Для уборки у нас были горничные, которые неплохо устроились, работая там и находясь с нами, а их подружки приходили к нам в гости

и оставались на вечер, а часто и на ночь, чтобы поесть и развлечься. Любое неожиданное желание могло быть легко удовлетворено. Однажды я зашел в комнату Сноудена и увидел Йоссаряна на кровати верхом на горничной, которая все еще держала в руке швабру, а ее зеленые трусики лежали на матрасе рядом с ними.

Я никогда так хорошо не проводил время, как в той квартире, и вряд ли с тех пор я когда-либо проводил время лучше.

На второй день моего первого отпуска я вернулся после короткой прогулки в одиночестве и у дверей столкнулся с пилотом по имени Заморыш Джо, как раз выходившим из запряженной лошадью коляски с двумя девушками, которые казались веселыми и беззаботными. У него был фотоаппарат.

— Эй, Зингер, Зингер, иди-ка сюда, — завопил он возбужденным, высоким голосом; помнится, он всегда так разговаривал. — Нам понадобятся здесь две комнаты. Я заплачу, и тебе тоже достанется. Они обещали позировать.

Он позволил мне начать с хорошенькой — черноволосой, пухленькой, с ямочками на круглом лице и полногрудой — и все было очень здорово, как мог бы сказать об этом Хемингуэй;

захватывающе, расслабляюще, полноценно. Мы понравились друг другу. Когда мы поменялись и я оказался с худенькой, то все было еще лучше. Я увидел, что женщины и в самом деле тоже могут этим наслаждаться. И уже после этого у меня больше не было никаких трудностей, в особенности, когда я переехал в Нью-Йорк в собственную маленькую квартиру и с удовольствием работал в рекламном отделе журнала «Тайм». Я умел разговаривать, умел флиртовать, умел тратить деньги, я умел обольстить женщину так, чтобы она сама приняла решение обольстить меня, именно так я и соблазнил Гленду на то, чтобы она соблазнила меня переехать к ней после многих проведенных вместе уикэндов, а потом соблазнила и на женитьбу.

Вернувшись потом в эскадрилью, я почувствовал себя уверенно и раскованно, этаким дамским угодником и сорвиголовой. Мне выпала достойная роль в неплохом фильме. Мы их тогда называли «киношка». Мне казалось, что все шло прекрасно без всяких усилий с моей стороны. Каждое утро у нас были свежие яйца, а когда мы садились в самолет, бомбы уже были загружены. За всем необходимым присматривали другие, и никакой умственной работы от меня не тре-

бовалось. Я жил с неевреями и вполне с ними уживался.

Когда я прибыл, среди нас было несколько авиационных стрелков и офицеров, уже отлетавших свои боевые задания. У них было по пятьдесят вылетов, и многих из них обхаживали, пытаясь уговорить вылететь на еще одно-два задания, когда в тот или иной день по той или иной причине была нехватка персонала, а они ждали приказа собираться и отправляться домой, в Штаты. До перевода нашей бомбардировочной группы с континента на остров, они вылетали на задания в Монте-Кассино и Анцио, когда у немцев в этом районе еще были истребители и они нас атаковали, а незадолго до моего прибытия большинство других летало в горячие точки, о которых они часто говорили, — в Перуджу и Ареццо, а Феррара, Болонья и Авиньон были еще впереди, в моем будущем. Когда число боевых вылетов было поднято с пятидесяти до пятидесяти пяти, тем, кого еще не отвезли в Неаполь для отправки домой, приказали снова встать на боевое дежурство и отлетать дополнительно назначенные задания. И они подчинились, эти ветераны-летчики, которые знали больше меня, подчинились без страха или гнева с некоторым

раздражением на причиненное им неудобство, но без всякой паники или протеста. Мне это показалось обнадеживающим. Они остались живы и здоровы и со временем уехали домой. Большинство из них было не намного старше меня. Они прошли войну без царапинки, как пройду и я. Я чувствовал, что у меня вот-вот должна начаться взрослая жизнь. Я прекратил мастурбировать.

18
ДАНТЕ

— На каком языке?

— Конечно, в переводе. Я же знаю, что ты не читаешь по-итальянски.

— Три или четыре раза, — Йоссарян вспоминал о «Божественной комедии» Данте, дожидаясь лифта вместе с Майклом после того, как тот отдал свой законченный рисунок. — Один раз еще ребенком — я тогда читал столько, что ты и представить себе не можешь. Один раз, слушая вместе с Нудлсом Куком курс литературы Возрождения. А с тех пор, может быть, всего пару раз, да и то только «Ад». И я никогда не получал от этой книги столько удовольствия, сколько следовало бы. А почему ты вдруг спросил?

— Он вызывает у меня ассоциации с этой книгой, — сказал Майкл, имея в виду здание АВАП, куда они оба теперь направлялись, хотя и по разным делам — Майкл с М2, чтобы прохронометрировать действие на видеомониторах, а Йоссарян — на встречу с Макбрайдом, которого сопровождали одетые на всякий случай в броне-

жилеты полицейские, вооруженные винтовками с усыпляющими пулями против собак, обитающих внизу первой лестницы. — Даже название. Порт, администрация, автовокзал. Или «терминал», как его еще называют. Я знаю, что означает «терминал». Сам я никогда не пробовал, — напористо и хвастливо продолжал он, — но каждый раз, вспоминая об этом автовокзале, я думаю, что с него вполне можно списать дантов ад.

— Это свежая концепция, — сухо заметил Йоссарян. Они были единственными пассажирами.

— Но есть и одно различие, — поправил его Майкл, когда лифт пошел вниз. — Здание АВАП стоит на земле открыто. Как что-то обычное.

— Что еще хуже, верно? — сказал Йоссарян.

— Чем ад? — Майкл покачал головой.

— Сартр говорит, что ад — это другие люди. Ты должен его почитать.

— Я не хочу его читать. Глупо, если он писал это серьезно. Так говорят те, кто хочет, чтобы их цитировали люди, вроде тебя.

— Какой ты умный.

— К *этому* мы начинаем привыкать, — сказал Майкл.

— А поэтому оно должно становиться еще хуже? Ты что, думаешь, те, кто в аду, не привы-

кают к нему? — со смехом добавил Йоссарян. — У Данте они отвечают на вопросы, их мучения прерываются, и они рассказывают о себе длинные истории. Ничто из сделанного Богом так толком и не получилось, да? Ни ад. Ни даже эволюция.

Майкл был образованным человеком, не находившим ничего волшебного в «Волшебной горе». Он не читал «Швейка», хотя и имел о нем благоприятное мнение. Он находил, что Кафка и Джозеф К. забавны, но неуклюжи и скучны, Фолкнер устарел, а «Улисс» — это отжившее новшество, но Йоссарян тем не менее любил сына.

Став отцом в молодости и обзаведясь со временем четырьмя детьми, Йоссарян и не помышлял — никогда, — что на склоне лет все еще может быть связан с ними.

— И то же самое я начинаю чувствовать при виде здания, где расположен твой офис, — сказал Майкл, когда они вышли из лифта и покидали вестибюль.

— Наш, — поправил его Йоссарян. Походка у Майкла была пружинистой, в кармане у него лежал чек от «М и М», и его приподнятое настроение резко контрастировало с его мрачными замечаниями.

— И при виде всех остальных зданий здесь,

в Рокфеллеровском центре. Раньше они были выше, как настоящие небоскребы. А сейчас они тоже, кажется, проваливаются в ад, оседают.

Может быть, Майкл в чем-то и прав, подумал Йоссарян, когда они вышли на залитую светом улицу, забитую машинами и кишащую пешеходами. И в самом деле, стройные здания с выверенными пропорциями и однородный, отливающий серебром камень первоначального, настоящего Рокфеллеровского центра теперь терялись среди более высоких сооружений более экстравагантного стиля и более смелой конструкции. Старые дома уступали место новым. Теперь они уже не имели того значения, что прежде. Их крыши и в самом деле казались ниже, и Йоссарян задал себе глупый вопрос — а в самом деле, уж не погружаются ли они медленно куда-то в таинственные болотистые глубины какого-то ирреального моря забвения.

В квартале отсюда в направлении Шестой авеню, пройдя собеседование на занятие административной должности, на своих позициях уже обосновался ряд хорошо одетых нищих в строгих тройках, некоторые из них выпрашивали милостыню, протягивая разовые бумажные стаканчики от Макдональдса, другие, чей слиш-

ком уж безучастный вид казался несовместимым с попрошайничеством, прятали свои головы с внимательными глазами глубоко в плечи. На другой стороне улицы находился каток, с замечательной ясностью отражающий собственное сверкающее пространство. Устремленные вверх коробчатые сооружения конторских зданий вокруг него были похожи на громоздящиеся друг на друга каменные кубы с прорезанными окнами, словно плоские однообразные каменные монолиты, вырубленные одним каменщиком. Остановившись и прислушавшись, можно было без труда различить звук проходящих под землей поездов и почувствовать вибрацию от их движения. На стене каждого здания были вырезаны на камне или выложены мозаикой на небольших закругленных декоративных досках голубого и золотистого цвета названия основной разместившейся здесь корпорации. Скоро, когда заново будут оговариваться условия аренды, прежний штаб «Тайм-Лайф» будет переименован в новое «Здание М и М».

На самом грандиозном из сооружений всего этого сложного архитектурного ансамбля, в номере 30 Рокфеллеровского центра, уже произошли существенные и примечательные перемены.

Юридическое название исконно обитавшего здесь арендатора, Американской радиокорпорации, прославленной организации, пионера теле- и радиовещания и производства популярных, низкопробных развлечений для благодарных зрителей в Америке и за ее пределами, исчезло без следа и было заменено наименованием более могущественного предпринимателя — «Дженерал Электрик Компани», ведущего изготовителя вооружений, локомотивов, реактивных авиационных двигателей, загрязнителей рек и электрических тостеров, одеял и лампочек, пригодных для бытового употребления.

Синтетическое золото, использованное в буквах нового названия, было более долговечным материалом, чем настоящее, и хотя оно и было хуже, но стоило больше. Над катком разместилась легкая металлическая скульптура, изображающая сверкающую мужскую фигуру лимонно-желтоватого цвета; утверждали, что это фигура мифологического Прометея, хотя такой выбор и представлялся несообразным с ледяным катком, поскольку этот полубог принес человеку огонь.

— Посторонись, — сказал предусмотрительный Йоссарян при виде подогретых наркотиками

юнцов в тапочках, бесстрашно шествующих им навстречу сквозь толпу белых и черных пешеходов, поспешно расступающихся перед ними.

На самом катке, ледяном овале, расположенном ниже уровня тротуара, был технический перерыв — уборка, которой занимались улыбающиеся служители-японцы на коньках, в зеленых жокейских шапочках и красных пиджаках, на лацканах которых были приколоты бросающиеся в глаза глянцево-белые значки с карикатурным изображением ухмыляющейся розовой физиономии с избытком зубов. На выступающих скулах одетых в красное и зеленое азиатских рабочих, словно замерзшие слезы, сверкали блестки влаги. Эти облаченные в форму служители с подобострастными физиономиями, щеголяющие теперь стиплчезской фирменной маркой Тилью на снежно-белых значках, мягкими согласованными движениями ровно скользили по иссеченной коньками поверхности льда со своими машинами, нанося свежее водное покрытие, чтобы, заморозив его до блеска, принять новых посетителей. Самые первые из них уже ждали в очереди, и поскольку делать им до окончания перерыва было абсолютно нечего, почти все что-нибудь ели — сырую рыбу с рисом, покрытые

солью рогалики или «сэндвичи по-южному» — с жареной свининой.

Заговорив о Данте, Йоссарян никак не мог вспомнить, что находилось в аду под ледяным озером, кажется, там были владения самого косматого и ужасного Сатаны, но он знал, *что* находится под катком и зданиями вокруг него: морозильные трубки для льда, водопровод, электрические кабели, телефонные линии, теплоцентраль для отопления офисов зимой. Под улицей были еще и расходящиеся веером во все стороны пешеходные переходы, с уже переставшими быть опрятными магазинчиками, и по крайней мере одна ветка подземки из другого городского района с переходами к линиям всех других направлений. Может быть, на это потребовались бы годы, но пассажир, имеющий запас времени, сумел бы с пересадками добраться практически до любого нужного ему места.

— Посторонись, — еще раз сказал Йоссарян, предпочитавший избегать соприкосновения с попрошайками из среднего класса, чьи отупевшие лица почти всегда приводили его в неуравновешенное состояние. Он и не подозревал, что капиталистический свободный рынок погубил столько своих приверженцев.

Взрыв птичьего смеха у него за спиной заставил его повернуться в направлении одной из пятнистых мраморных ваз на смотровой площадке. Он увидел рыжеволосого человека с тростью и обвисшим зеленым рюкзаком; человек любезно фотографировал веселую группку смирных, темноволосых восточных туристов. У Йоссаряна возникло подозрение, что он уже видел его раньше. У человека были тонкие губы, рыжеватые ресницы, прямой, острый нос, а лицо у него было нездорового, молочного цвета, какой нередко встречается у людей с такими волосами. Отдав туристам фотоаппарат, он повернулся в сторону Йоссаряна с самоуверенным видом, словно абсолютно точно знал, кого именно собирается отыскать взглядом. Их взгляды встретились, и Йоссарян сразу же подумал, что видел его раньше — на Северном кладбище в Мюнхене у входа в часовню покойницкой в начале знаменитой новеллы Манна; это был тот самый таинственный рыжеволосый человек, чье появление и быстрое исчезновение так взволновали Густава Ашенбаха — один взгляд, и он исчез из вида, из рассказа. Этот человек выставлял напоказ свою дымящуюся сигарету, словно ему в равной мере было наплевать и на Йоссаряна, и на рак. Пока

человек, нагло ухмыляясь, смотрел на Йоссаряна, а Йоссарян, испытывая какую-то внутреннюю дрожь, демонстративно отвечал ему негодующим взглядом, длинный, жемчужно-белый лимузин с тонированными стеклами остановился прямо между ними, хотя машин, мешавших бы ему проехать дальше, не было. Лимузин, за рулем которого сидел смуглый шофер, был длиннее катафалка. Когда лимузин снова поехал вперед, Йоссарян увидел на асфальте широкие красные полосы, рассеченные следами покрышек, словно с колес капала кровь; рыжеволосый человек с зеленым рюкзаком тем временем исчез. Азиаты остались на месте, их головы были задраны вверх, словно они напрягались, пытаясь прочесть какое-то непостижимое послание на голых стенах и зеркальных окнах.

Он знал, что если идти на запад в направлении Восьмой авеню, то они попадут в район секс-салонов и крохотных театриков для взрослых, расположенных на залитой асфальтом эспланаде, связывающей здание АВАП слева с роскошным многоэтажным зданием справа, где находилась его квартира; это здание уже успело обанкротиться, но тем не менее функционировало не хуже, чем прежде.

Дни снова становились короче, и он не хотел, чтобы Майкл знал о его очередной, третьей, встрече с Мелиссой Макинтош, с которой он собирался пообедать и сходить в кино, где снова будет кончиками пальцев ласкать ее шею и уши, от чего в первый раз она окаменела и хмуро улыбнулась самой себе, а ее лицо с маленькими голубыми глазами вспыхнуло до корней волос; он будет гладить ее колени, которые она сжимала на протяжении всего фильма и в такси до самого ее дома, куда, как она дала ему понять еще раньше, она не собиралась его приглашать в ту ночь и куда он, по большому счету, не хотел подниматься и даже намеком не напрашивался на приглашение. Кино ей нравилось больше, чем ему. Двое из детективов, следовавших за ним, вероятно, вообще не выносили кино, но тем не менее они последовали за ним, а женщину в красной «тойоте» лишили душевного покоя поиски места для парковки, где она могла бы дождаться их возвращения, толстея от жадно поглощаемых ею конфет и печенья. Во время второй их встречи Мелисса расслабила колени, словно уже привыкла к его прикосновениям, и просидела весь сеанс, наслаждаясь картиной, но посадка у нее была прямой, руки крепко сцеплены ниже живота, а

локти напряжены. Он по достоинству оценил ее сопротивление. Он уже достаточно наслышался от нее — а еще больше от Анджелы — и теперь знал, что когда Мелисса была моложе, стройнее, беспечнее, резвее и живее, она на основании самых изощренных экспериментов пришла к выводу, что секс — занятие грязное.

— Я должна была ей объяснять, как это делается, — смеялась Анджела. — Большинство мужчин глупы и ничего не знают. А ты?

— Мне иногда на это жалуются.

— Ты хитрый, — Анджела обвела его подозрительным взглядом. — Разве нет? — добавила она с самодовольной ухмылкой.

Йоссарян пожал плечами. Сама же Мелисса отказывалась обсуждать подробности и напускала на себя величественно-непроницаемый вид, когда он намекал на прошлые и возможные грядущие фривольные эскапады.

Заглядывая вперед в предвкушении сладострастных новинок, Йоссарян должен был принимать в грустный расчет такие свои дефекты, как вес, годы, суставы, подвижность и половую потенцию. Но, в конечном счете, он не сомневался, что ему удастся сбить ее на старый рискованный путь восторженного сладострастия

и уступчивой готовности, которые, по слухам, были свойственны ей в прежние годы. Ее формы выше талии не отличались пышностью, что и помогало ему сдерживать свой пыл. Он рассчитывал риски и затраты: вероятно, ему придется раз или два сходить с ней на танцы и, возможно, на рок-концерты и музыкальные комедии, может быть, даже посмотреть вместе с нею телевизор, передачи новостей. Он не сомневался, что победит ее страх перед микробами с помощью дюжин красных роз и соблазнительных обещаний приобрести нижнее белье в Париже, Флоренции и Мюнхене, и что завоюет ее сердце магическими возвышенными заклинаниями из своего комического репертуара, нежно произносимыми в самый подходящий момент: «Мелисса, если бы ты была моей девушкой, то я знаю, что хотел бы трахать тебя еще и еще».

И еще он знал, что это будет ложью.

Но он почти не мог себе представить наслаждений более полных, чем глупое блаженство нового сексуального торжества, разделенное сторонами, которые знают друг друга, испытывают друг к другу симпатию и не устают друг над другом подшучивать. По крайней мере, теперь у него была цель более соблазнительная, чем у большинства

других.

Он добавил еще немного лжи и поклялся себе, что его развод — дело окончательно решенное.

Впереди на углу перед конным полицейским собиралась толпа нищих. Йоссарян дал доллар черному человеку с потрескавшейся кожей на руке и доллар — белому с рукой, как у скелета. Он удивился тому, что эта рука — живая.

— Наверное, — в отчаянии сказал Майкл, — этот вонючий город — худший в мире.

Йоссарян не без борьбы удержался от того, чтобы согласиться с этим.

— Другого у нас нет, — решил он, наконец, — и это один из немногих настоящих городов в мире. Он не хуже худших из них и лучше, чем остальные.

У Майкла был измученный вид, пока они вместе с другими респектабельной наружности людьми петляли между бездельничающих бродяг, нищих и проституток, без особой надежды рассчитывающих на удачу. На многих женщинах и девушках под черными, розовыми и белыми виниловыми дождевиками не было ничего, а несколько из этих соблазнительных мегер, когда за ними не наблюдали строгие полицейские, с готовностью обнажали свои покрытые сыпью

голые тела с пучками волос в соответствующих местах.

— Я бы страшно не хотел быть нищим, — пробормотал Майкл. — Я бы не знал, как это делать.

— А научиться у нас не хватило бы ума, — сказал Йоссарян. Он испытывал сардоническое удовольствие от того, что для него все это скоро кончится. Вот еще одно утешение старости. — Иди-ка сюда, посторонись, у этого вон такой вид, что и ножом пырнуть может. Пусть он пырнет кого-нибудь другого. А *это* что там такое на углу? Мы уже видели это раньше?

Они уже видели это раньше. Жестокосердые зеваки с улыбками смотрели, как тщедушный, одетый в какую-то рванину человек орудовал бритвой, срезая задний карман на брюках лежащего ничком на тротуаре пьяницы, чтобы ненасильственным способом вступить во владение находящимся там бумажником, а двое одетых в аккуратную форму полицейских терпеливо дожидались, когда он закончит, чтобы потом задержать его с поличным с неправедно добытыми плодами его трудов. За этой сценой наблюдал и третий полицейский, тот самый — на крупной гнедой лошади, созерцая происходящее с видом дожа или божества. Он был вооружен

револьвером в кожаной кобуре, а со своим сверкающим поясом, утыканным патронами, казался вооруженным еще и стрелами. Человек с бритвой оглядывался через каждые несколько секунд, чтобы показать ему язык. Все шло заведенным порядком, ничей покой не нарушался. Все согласованно исполняли свои роли, как заговорщики на гобелене, изображающем какое-то полное скрытого смысла, но не поддающееся объяснению символическое таинство. Все было спокойно, как в царствии небесном, и размеренно, как в аду.

Йоссарян и Майкл свернули в направлении от центра, обогнули сидевшую на тротуаре спиной к стене и крепко спавшую пожилую даму; она спала крепче, чем это получалось у Йоссаряна с того момента, как распался — а также начался и продолжался — его последний брак. Она безмятежно похрапывала, и бумажника у нее не было, отметил про себя Йоссарян, и тут его перехватил человек с шоколадной кожей, в сером френче с черной строчкой и темно-бордовом тюрбане, человек бормотал что-то неразборчиво, направляя их к вращающейся двери полупустого индийского ресторана, в котором Йоссарян заказал столик на ланч, в чем, как оказалось теперь, не было никакой необходимости. В просторном кабинете

Йоссарян попросил принести два индийских пива, заранее зная, что выпьет и порцию Майкла.

— Как ты можешь есть все это сейчас? — спросил Майкл.

— С удовольствием, — сказал Йоссарян и положил себе на тарелку еще одну ложку острой приправы. Майклу Йоссарян заказал салат и цыпленка-тандури, а себе после острого супа — баранину-виндалу. Майкл изображал отвращение.

— Я не могу на это смотреть без тошн***о***ты.

— Тошнот***ы***.

— Не будь педантом.

— То же самое сказал и я, когда меня поправили в первый раз.

— В школе?

— В Колумбии, штат Южная Каролина, — сказал Йоссарян. — Это сделал тот маленький умный жопошник, что был у нас хвостовым стрелком, я тебе о нем рассказывал — Сэм Зингер с Кони-Айленда. Он был евреем.

Майкл покровительственно улыбнулся.

— Почему ты это подчеркиваешь?

— В те времена это было важно. А я возвращаюсь в те времена. А как насчет меня с такой фамилией — Йоссарян? Носить такую фамилию

было не так уж просто среди туповатых парней с Юга и чикагских расистов, ненавидевших Рузвельта, евреев, черных и всех остальных, кроме чикагских расистов. Мы думали, что когда война закончится, все уродливое переменится к лучшему. Переменилось не многое. В армии каждый рано или поздно спрашивал у меня про фамилию Йоссарян. Всех устраивало, когда я им сообщал, что я — ассириец. Сэм Зингер знал, что я уже вымер. Он читал рассказ писателя по фамилии Сароян, которого, вероятно, нигде уже больше не печатают. Это тоже уже вымерло, как и Сароян. Как и я.

— Мы не ассирийцы, — напомнил Майкл. — Мы армяне. А я армянин только наполовину.

— Я им для смеха говорил, что я ассириец, дурачок. А они принимали это за чистую монету. — Йоссарян бросил на него ласковый взгляд. — Только Сэм Зингер и догадался. «Готов поспорить, что и я тоже мог бы стать ассирийцем», — сказал он мне как-то раз, и я понял, что он имеет в виду. Я думаю, что вдохновлял его. Когда пришло время показать, кто есть кто, мы с ним единственные отказались выполнять больше семидесяти заданий, которые уже налетали. Черт, ведь война уже практически закончилась. «В

жопу тех, кто командует там наверху», — решил я, когда понял, что большинство из сидящих там наверху вовсе не на высоте. Много лет спустя я прочел у Камю, что единственная свобода, которой мы обладаем, это свобода говорить «нет». Ты когда-нибудь читал Камю?

— Я не хочу читать Камю.

— Ты вообще ничего не хочешь читать.

— Только когда мне по-настоящему скучно. На чтение нужно время. Или когда я чувствую одиночество.

— Это самое хорошее время. В армии я никогда не чувствовал одиночества. Этот маленький умный хер Зингер был книжным червем, и как только он понял, что я не возражаю, он начал вести себя со мной как хитрожопый клоун. «А разве не было бы лучше, если бы страна потерпела поражение в Революции?» — спросил он меня как-то раз. Это было еще до того, как я узнал, что людей тогда сажали в тюрьмы за критику этой новой политической партии. Майкл, а что западнее — Рено, штат Невада, или Лос-Анджелес?

— Конечно, Лос-Анджелес. А что?

— Неверно. Это я тоже узнал от него. Как-то вечером в Южной Каролине один пьяный громила, Бог его знает, откуда уж он был, без всякой причи-

ны набросился на него. Борьба была неравной. Я был офицером, хотя и снял с себя полоски, чтобы поесть в солдатской столовой. Я почувствовал, что должен защитить его, и как только я встал между ними, чтобы прекратить избиение, этот тип принялся размазывать и меня. — Йоссарян разразился добродушным смехом.

— О Господи, — застонал Майкл.

Увидев смятение Майкла, Йоссарян снова тихонько засмеялся.

— Самое забавное в этой истории, что это и правда было забавно; я с трудом удерживался от смеха, когда он меня лупил, я был так удивлен, что нисколько не чувствовал боли. Он бил меня по голове и по лицу, а мне не было больно. Потом я скрутил ему руки, но тут нас растащили. Откуда-то сбоку на него набросился Сэм Зингер, а наш второй стрелок, Арт Шрёдер, налетел на него сзади. Когда они его утихомирили и сказали, что я — офицер, он быстро протрезвел и чуть не помер со страху. На следующее утро еще до завтрака он пришел в мою комнату в офицерской казарме, чтобы просить прощения, и даже на колени упал. Правда. Никогда не видел, чтобы так пресмыкались. Он чуть ли не молиться на меня начал. Я не преувеличиваю. Он все никак не мог

остановиться, даже после того как я ему сказал, чтобы он убирался и забыл эту историю. Думаю, у меня тоже могли бы быть неприятности из-за того, что я снял свои лейтенантские полоски, чтобы поесть в солдатской столовой, но ему это не приходило в голову. Я ему не сказал, какое отвращение у меня вызывает его раболепство. *Вот* когда я его ненавидел, вот когда я разозлился и приказал ему выметаться. Я до сих пор себе повторяю, что больше никогда никого не хочу видеть в таком унизительном положении. — После этого рассказа Майкл перестал есть, и Йоссарян поменялся с ним тарелками, доел его цыпленка и умял оставшийся рис и хлеб. — Слава Богу, на несварение я пока не жалуюсь.

— А на что ты жалуешься?

— На свои сексуальные потенции.

— Ну их в жопу, твои потенции. На что еще?

— На память, я забываю имена и телефоны, я не всегда могу подыскать слово, а я знаю, что я его знаю, я не всегда помню то, что хотел запомнить. Я много говорю и часто повторяюсь. Я много говорю и часто повторяюсь. И еще немного на мочевой пузырь и волосы, — добавил Йоссарян. — Теперь они белые, и Адриан говорит, что меня это не должно успокаивать. Он все еще пы-

тается найти краску, чтобы сделать их седыми. Когда он ее найдет, я ею не воспользуюсь. Я ему скажу, пусть попытается что-нибудь сделать с генами.

— А что такое в этих генах? Ты много о них говоришь.

— Я думаю, это из-за моих генов. Это все Тимер виноват. Боже мой, та драка была сорок лет назад, а кажется, будто вчера. У всех моих старых знакомых по тем дням теперь боли в спине или рак простаты. Малютка Сэмми Зингер, так его называли. Интересно, что с ним стало.

— Через сорок лет?

— Почти пятьдесят, Майкл.

— Ты сказал — сорок.

— Видишь, как быстро пролетают десятилетия? Все верно, Майкл. Ты родился неделю назад — я все помню так, будто это случилось вчера, — а я родился за неделю до тебя. Ты и понятия не имеешь, Майкл, ты и представить себе не можешь — *пока*, — как это смешно, как это обескураживает, когда ты входишь за чем-то в комнату и забываешь, зачем, когда заглядываешь в холодильник, и не можешь вспомнить, что ты хотел, когда говоришь со множеством людей, вроде тебя, никогда не слышавших о Килрое.

— Теперь я о нем слышал, — возразил Майкл. — Но я по-прежнему ничего о нем не знаю.

— Кроме того, что он, вероятно, тоже был в этом ресторане, — сказал Йоссарян. — Килрой был повсюду, куда бы ты ни попадал на Второй мировой — его фамилия была на всех стенах. Мы о нем тоже ничего не знаем. Именно по этой причине мы все еще и любим его. Чем больше узнаешь о человеке, тем меньше хочется его уважать. После той драки Сэм Зингер считал, что лучше меня на всем свете не найти. А я после того случая никогда не боялся ввязаться в настоящую драку. Сегодня я бы побоялся.

— А были еще и другие драки?

— Нет. Правда, один раз до драки чуть-чуть не дошло — с пилотом по имени Эпплби, с тем самым, с которым мы летели в Европу. Мы никак не могли поладить. Я не умел прокладывать курс и не знаю, почему они ждали от меня этого. Как-то раз я потерялся во время учебного полета и дал ему направление, которое вывело бы нас через Атлантический океан в Африку. Мы бы прямо тогда и погибли, если бы он в своем деле не разбирался лучше, чем я в своем. Как штурман я был полное говно. Не удивительно, что он злился. Я слишком много говорю? Я знаю, что много

говорю, да?

— Ты не слишком много говоришь.

— Иногда я действительно слишком много говорю, потому что считаю себя интереснее людей, с которыми говорю, и даже они знают об этом. Ты тоже любишь поговорить. Нет, на самом деле мне так больше никогда и не пришлось драться. Я раньше выглядел довольно здоровым парнем.

— Я бы не стал драться, — чуть ли не с гордостью сказал Майкл.

— И я бы тоже не стал. Теперь. Сегодня просто убивают. Я думаю, ты тоже мог бы ввязаться в драку, если бы увидел какую-нибудь жестокость и не дал себе труда подумать. Вот точно так же этот малыш Сэмми Зингер бросился на того громилу, когда увидел, что тот колотит меня. Если бы мы давали себе труд задуматься, то звонили бы 911 или отворачивались в другую сторону. Твой старший брат Джулиан посмеивается надо мной, потому что я никогда ни с кем не вступаю в споры из-за места для парковки и потому что я всегда предоставляю право проезда первым любому водителю, который хочет забрать это право у меня.

— Из-за этого я бы тоже не стал драться.

— Ты даже водить машину не хочешь научить-

ся.

— Я бы боялся водить.

— А я бы рискнул. Чего еще ты боишься?

— Тебе это не интересно.

— Об одном я догадываюсь, — безжалостно сказал Йоссарян. — Ты боишься за меня. Ты боишься, что я умру. Ты боишься, что я заболею. И я чертовски рад тому, что ты боишься, Майкл. Потому что все это произойдет, хотя я и делаю вид, что нет. Я тебе пообещал еще семь лет быть в добром здравии, а теперь это уже больше похоже на шесть. Когда мне исполнится семьдесят пять, малыш, ты должен стать самостоятельным. И я не буду жить вечно, хотя и собираюсь скорее умереть, чем сдаться.

— А ты хочешь жить вечно?

— А почему бы и нет? Даже когда мне грустно. Ведь кроме жизни ничего нет.

— А когда тебе бывает грустно?

— Когда я вспоминаю о том, что не буду жить вечно, — пошутил Йоссарян. — И по утрам, если я просыпаюсь в одиночестве. Это случается с людьми, в особенности с людьми, вроде меня, предрасположенными к депрессиям в пожилом возрасте.

— К депрессиям в пожилом возрасте?

— Тебе это тоже предстоит узнать, если тебе повезет и ты доживешь до старости. Ты найдешь об этом в Библии. Ты увидишь это у Фрейда. У меня почти совсем не осталось в жизни интересов. Жаль, что я не знаю, чего бы мне такого себе пожелать. Есть тут одна девица, за которой я увиваюсь.

— Не хочу об этом слушать.

— Но я не уверен, что смогу влюбиться еще раз, — продолжал Йоссарян, не обращая внимания на Майкла и зная, что говорит слишком много. — К сожалению, это, вероятно, прошло. Потом у меня недавно появилась эта мерзкая привычка. Нет, я все равно тебе расскажу. Я вспоминаю женщин, которых знал когда-то, и пытаюсь представить себе, как они выглядят сейчас. Потом я начинаю спрашивать себя — а с чего это я когда-то сходил по ним с ума. У меня есть и другая привычка, с которой я ничего не могу поделать; еще похуже первой. Когда женщина поворачивается, я непременно, то есть каждый раз, должен взглянуть на ее попку, прежде чем решить, привлекательна она или нет. Раньше я этого не делал. Не знаю, зачем мне это нужно теперь. И все они почти всегда слишком широки в этом месте. Думаю, мне не хочется, чтобы моя

приятельница, Фрэнсис Бич, знала об этом. Желания начинают отказывать мне, и эта радость, что водворяется наутро, как ты можешь прочесть в Библии…

— Мне не нравится Библия, — прервал его Майкл.

— Она никому не нравится. Попробуй тогда почитать «Короля Лира». Но ты вообще не любишь читать.

— Поэтому-то я и решил стать художником.

— Просто ты никогда и не пытался, верно?

— Просто я никогда не хотел. Гораздо лучше вообще не хотеть никакого успеха, ведь правда?

— Нет. Хорошо, когда человек чего-то хочет. Я начал это понимать. Раньше я просыпался каждый день, и в голове у меня была сотня проектов, за которые я горел желанием взяться. Теперь я просыпаюсь в апатии и никак не могу придумать, чем бы себя развлечь. Это случилось за одну ночь. Проснувшись однажды утром, я обнаружил, что стал старым, вот и все. Моя молодость исчерпала себя, а мне всего лишь без малого шестьдесят девять.

Майкл смотрел на него с любовью.

— Покрась себе волосы. В черный цвет, если не можешь сделать их седыми. Не жди Адриана.

— Как Ашенбах?

— Какой Ашенбах?

— Густав Ашенбах.

— Опять из «Смерти в Венеции»? Мне никогда не нравилась эта новелла, и я не могу понять, почему он нравится тебе. Я могу тебе сказать, что в нем не так.

— И я тоже. Но забыть его невозможно.

— Это тебе невозможно.

— Когда-нибудь и ты, вероятно, будешь чувствовать то же самое.

Ашенбах тоже потерял интерес к жизни, хотя и отвлекал себя своим смешным наваждением и мыслью о том, что у него еще осталась масса дел. Он был художником-интеллектуалом, уставшим работать над проектами, которые более не поддавались даже самым терпеливым его усилиям, и знал, что обманывает себя. Но он не знал, что его настоящая творческая жизнь закончилась, а его эпоха близится к концу, нравится ему это или нет. А ведь ему только-только перевалило за пятьдесят. В этом у Йоссаряна было перед ним преимущество. Он мало чем позволял себе наслаждаться. Странно было, что Йоссарян теперь сопереживает этому странному характеру, этому человеку, чья жизнь была сплошным принужде-

нием; каждый день он начинал с одного и того же холодного душа, работал по утрам и не желал ничего иного, как только продолжить свою работу вечером.

— Он покрасил себе волосы в черный цвет, — вещал, как лектор, Йоссарян, — легко поддался на убеждения парикмахера сделать это, наложить косметику себе под глазами, чтобы создавалась иллюзия блеска, нарумянить щеки, выщипать брови, стереть возраст с лица с помощью кремов и придать округлость губам с помощью помады и теней, но он все равно испустил дух в предназначенное мгновение. И в обмен на свои хлопоты он не получил ничего, кроме мучительного заблуждения, будто влюбился в мальчика с кривыми зубами и сопливым носом. Наш Ашенбах даже умереть не мог с драматическим эффектом, ну, хотя бы от чумы. Он просто склонил голову и испустил дух.

— Мне кажется, — сказал Майкл, — что ты приукрашиваешь, стараешься сделать новеллу лучше, чем она есть.

— Может быть, — сказал Йоссарян, который подозревал, что, вероятно, приукрашивает, — но такова моя позиция. Вот что написал тогда Манн: угроза уже несколько месяцев висела над

Европой.

— Вторая мировая? — высказал предположение Майкл, стараясь угодить отцу.

— Первая, — решительно поправил Йоссарян. — Уже тогда Манн видел, куда направляется эта неуправляемая машина, которую мы называем цивилизацией. И вот в чем состояла моя судьба во второй половине жизни. Я выжимаю деньги из Милоу, которого не люблю, потому что осуждаю его. И я обнаруживаю, что испытываю такую же жалость к себе, какую испытывал и вымышленный немец, не обладавший ни чувством юмора, ни какой-либо другой привлекательной чертой. Скоро я вместе с Макбрайдом спущусь еще глубже в АВАП, чтобы выяснить, что же там есть. Может быть, там моя Венеция? Как-то раз я встретил в Париже человека, культурного книгоиздателя, который из-за этого рассказа никак не мог заставить себя съездить в Венецию. Я знал другого человека, который из-за «Волшебной горы» никак не мог себя заставить отдыхать на каком-нибудь горном курорте больше недели. Его по ночам начинали мучить кошмары, ему казалось, что он умирает и не сможет уйти живым, если останется, и он уносил оттуда ноги на следующий день.

— А что, кто-то из Миндербиндеров собирается сочетаться браком с кем-то из Максонов?

— У них обоих есть молодые на выданье. Я предложил М2.

— Когда ты собираешься идти туда с Макбрайдом?

— Как только президент сообщит, что, может быть, приедет, и мы получим разрешение на обследование этого места. А когда ты идешь туда с М2?

— Как только у него снова засвербит, и он захочет посмотреть грязные картинки. Я получаю жалованье в «М и М».

— Если хочешь жить под водой, Майкл, то должен научиться дышать, как рыба.

— А ты что думаешь по этому поводу?

— Что у нас никогда не было выбора. Я не думаю, что это хорошо, и не думаю, что это плохо. Это, как мог бы сказать Тимер, наша естественная судьба. Биологически мы являемся новым видом, который еще не успел приспособиться к природе. Он думает, что мы раковые опухоли.

— Раковые опухоли?

— Но он все равно любит нас и не любит раковые опухоли.

— Я думаю, он сумасшедший, — запротестовал

Майкл.

— Он тоже так считает, — ответил Йоссарян, — и поэтому, не прекращая работать онкологом, переехал на лечение в психиатрическое отделение больницы. Тебе это кажется безумием?

— Это не кажется здравым.

— Это не значит, что он ошибся. Мы можем видеть социальную патологию. Что еще тебя беспокоит, Майкл?

— Я тебе уже говорил, что здорово одинок, — сказал Майкл. — И мне начинает становиться страшно. И из-за денег тоже. Ты умудрился разволновать меня этими деньгами.

— Я рад, что принес хоть какую-то пользу.

— Я бы не знал, где взять деньги, если бы их у меня не было. Я бы даже ограбить никого не смог. Я не умею.

— А попытавшись научиться, стал бы, вероятно, жертвой ограбления.

— Я даже машину не могу научиться водить.

— А ты бы сделал то, что сделал бы я, если бы у меня не было денег?

— А что это, па?

— Убил бы себя, сынок.

— Ты все шутишь, па.

— Именно это я бы сделал. Это ничуть не хуже,

чем умереть. Я бы тоже не смог научиться быть бедным и скоро сдался бы.

— А что будет с этими моими картинками?

— Они будут напечатаны, сброшюрованы и отправлены в Вашингтон на следующее заседание, посвященное этому самолету. Может быть, и мне придется туда съездить. Ты заработал деньги на этом деле, на этом летающем крыле.

— Я закончил то, что и начинать-то не хотел.

— Если хочешь жить, как рыба… Майкл, есть такие вещи, которые ни ты, ни я не стали бы делать за деньги, но есть такие вещи, которые приходится делать, иначе у нас денег не будет. У тебя осталось еще несколько лет, чтобы понять, как ты хочешь распорядиться собой. Бога ради, научись водить машину! Без этого нигде, кроме Нью-Йорка, жить нельзя.

— А куда я буду ездить?

— К тому, кого захочешь увидеть.

— Я никого не хочу видеть.

— Тогда ты уедешь на машине от людей, с которыми ты не хочешь быть.

— Я уверен, что кого-нибудь перееду.

— Давай рискнем.

— Ты это уже говорил. А что, на автобусном вокзале и правда будет свадьба? Я бы хотел пойти.

— Я тебе добуду приглашение.

— Добудь два, — Майкл застенчиво отвел глаза. — Марлин вернулась в город, и ей какое-то время негде было жить. Ей, наверно, это понравится.

— Арлин?

— Марлин, та, которая недавно уехала. Может быть, на этот раз она останется. Она говорит, что, видимо, не будет возражать, если мне придется работать юристом. Боже мой, свадьба в этом автовокзале. Кто же это стал бы устраивать свадьбы в подобном месте только ради того, чтобы попасть в газеты.

— Они.

— И какому только жопошнику могла прийти в голову такая безумная идея?

— Мне, — загрохотал Йоссарян. — Эта идея принадлежит твоему папочке.

19
АЗОСПВВ

— А на что похоже летающее крыло?

— На другие летающие крылья, — ловко вставил Уинтергрин, тогда как Милоу онемел, услышав вопрос, которого не предвидел.

— А на что похожи другие летающие крылья?

— На наше летающее крыло, — ответил успевший прийти в себя Милоу.

— Оно будет похоже, — спросил майор, — на старину Стелса?

— Нет. Только внешне.

— Вы уверены, полковник Пикеринг?

— Абсолютно, майор Бауэс.

После первого заседания по оборонительно-наступательному атакующему бомбардировщику второго удара «М и М» полковник Пикеринг решил раньше срока выйти в отставку на полную пенсию, чтобы посвятить себя работе более выгодной, хотя внешне и менее эффектной — в Авиационном отделе «Предпринимательства и Партнерства М и М», где его первоначальный годовой доход оказался точно в полсотни раз

выше, чем его жалованье федерального служащего. Генерал Бернард Бингам, по просьбе Милоу, откладывал аналогичный шаг, рассчитывая на повышение и назначение начальником Объединенного комитета начальников штабов, а после этого, при условии небольшой победоносной войны, и на возможность обосноваться в Белом Доме.

Пикеринг оказался здесь очень кстати, поскольку это последнее заседание, посвященное бомбардировщику Миндербиндера, шло не столь гладко, как другие. Намеком на грядущие трудности стало неожиданное появление толстяка из государственного департамента и худощавого из Национального совета безопасности. Теперь уже не было секретом, что они являются сторонниками конкурирующего самолета Стрейнджлава, и они разместились по разным концам закругленного стола, чтобы создать впечатление, будто выступают отдельно и говорят независимыми голосами.

Оба были профессиональными дипломатами и регулярно брали на себя роль представителей Партнерства Стрейнджлав, пополняя вновь обретенными запасами вторичное влияние и блестящие связи, которые вместе с высокопарностью

представляли собой стандартный инвентарь империи Стрейнджлава. Еще одной причиной беспокойства для Милоу было отсутствие союзника, на которого он рассчитывал, — С. Портера Лавджоя, который, возможно, был занят, как того опасался Милоу, на аналогичном заседании в АЗОСПВВ по самолету Стрейнджлава в качестве союзника последнего.

Генерал Бингам был явно удовлетворен возможностью продемонстрировать свои способности перед имеющими более высокие звания офицерами из других отделов и специалистов в области атомных вооружений и других невразумительных научных областях, сопряженных с этой. Бингам, если уж ему доставались пироги и пышки, умел отличать их от синяков и шишек. В этом элитном анклаве находилось еще тридцать два человека, и все они горели желанием сказать слово, хотя здесь и не было телевизионных камер.

— Милоу, расскажите им о технологии, — предложил генерал Бингам, желая сдвинуть камень в нужную сторону.

— Позвольте мне сначала раздать эти картинки, — ответил Милоу, как это было заранее отрепетировано, — чтобы мы могли видеть, как

выглядит наш самолет.

— Миленькие картинки, — сказал очкастый подполковник, имевший опыт в промышленной эстетике. — Кто их рисовал?

— Художник по фамилии Йоссарян.

— Йоссарян?

— Майкл Йоссарян. Он специалист в военно-промышленной эстетике и работает исключительно на нас.

Направляясь на заседание, как им было указано, через дверь, ведущую с цокольного этажа АЗОСПВВ на подземный этаж А, Милоу и Уинтергрин были остановлены тремя вооруженными охранниками АЗОСПВВ в форме, которой они не видели прежде, — красных полевых мундирах, зеленых брюках и черных кожаных полевых ботинках, у каждого из охранников были глянцевитые шелковистые таблички жемчужного цвета, на которых светло-вишневыми буквами были выведены их фамилии. Милоу и Уинтергрина проверили по списку, потом у них спросили пароль, и они дали верный ответ: «Малютка Бингама». Им были выданы круглые картонные пропуска с цифрами на голубом поле и коротеньким белым шнурком, чтобы вешать на шею; им было сказано, чтобы они шли прямо в конференц-

зал «Малютки Бингама» на подземном этаже А, круглое помещение, где теперь картинки Майкла производили столь благоприятное впечатление.

Всем присутствующим напомнили, что самолет этот — оружие второго удара, предназначенное для проникновения через уцелевшую оборону противника и уничтожения оружия и командных постов, не разрушенных первым ударом.

— Итак, все, что вы видите на этих картинках, абсолютно верно, — продолжал Милоу, — за исключением того, что не верно. Мы не хотим показывать ничего такого, что позволило бы другим принять контрмеры или скопировать нашу технологию. Ведь это разумно, генерал Бингам?

— Абсолютно, Милоу.

— Но каким образом мы, здесь присутствующие, — возразил толстяк из государственного департамента, — будем знать, как он выглядит на самом деле?

— На кой хер вам это знать? — нанес встречный удар Уинтергрин.

— Он же невидимый, — добавил Милоу. — Почему же вы должны его видеть?

— Пожалуй, мы и не должны это знать, правда? — согласился генерал-лейтенант и покосился на адмирала.

— Да и зачем нам это знать? — выразил недоумение кто-то еще.

— Рано или поздно, — раздраженно сказал худощавый сторонник Стрейнджлава, — это захочет узнать пресса.

— К херам прессу, — сказал Уинтергрин. — Покажите им вот это.

— Они отвечают действительности?

— Хер с ними. Отвечают эти херовы чертежи действительности или нет, не имеет никакого значения, — сказал Уинтергрин. — Хер с ними, пусть у них будет еще одна история, когда они дознаются, что мы им соврали.

— Я ни хера не понимал, пока вы не заговорили на моем языке, — сказал адъютант командующего корпуса морской пехоты.

— А я аплодирую вашей честности, хер побери, — признался полковник. — Адмирал?

— Меня это устраивает. А где эта херова кабина?

— Внутри этого херова крыла, сэр, вместе со всем остальным.

— А будет ли экипаж из двух человек, — спросил кто-то, — так же эффективен, как херов экипаж из четырех человек?

— Больше, — сказал Милоу.

— Хер с ним. Какого хера? Какая к херам разница, эффективен этот херов экипаж или нет? — спросил Уинтергрин.

— Ваша херова точка зрения мне ясна, сэр, — сказал майор Бауэс.

— А мне нет.

— Меня эта херова точка зрения устраивает.

— Я не уверен, что понял эту херову точку зрения.

— Милоу, под каким углом смотрите вы?

Никаких углов не было. Идея летающего крыла позволяла изготавливать самолет с закругленными краями из материала, отражающего луч радара. Предлагался, хер побери, как объяснил Уинтергрин, херов самолет дальнего радиуса действия для вторжения на херову территорию противника всего лишь с двумя херовыми пилотами. Даже без дозаправки в воздухе самолет с полным грузом бомб мог долететь от Вашингтона до Сан-Франциско.

— Означает ли это, что мы могли бы отсюда разбомбить Сан-Франциско и вернуться без заправки?

— А еще по пути назад разбомбить и Нью-Йорк.

— Ребята, давайте-ка серьезно, — скомандовал

старший из присутствующих генералов. — Это же война, а не социальное планирование. Сколько дозаправок потребуется до Китая или Советского Союза?

— Две или три по пути туда и, может быть, ни одной на обратном, если вы не будете слишком сентиментальны.

И всего лишь один бомбардировщик «М и М» мог нести такую же бомбовую нагрузку, что и все *тринадцать* бомбардировщиков-истребителей, посланных Рейганом бомбить Ливию в… в… апреле 1986.

— А кажется, это было вчера, — мечтательно сказал пожилой военный из BBC.

— Мы можем дать вам самолет, который сделает это вчера.

— Шшшшшшш! — сказал Милоу.

— Шшшшшшш!? — сказал эксперт по военной терминологии. — Идеальное название для бесшумного бомбардировщика.

— Значит, название нашего самолета — «Шшшшшшш!». Он летает быстрее звука.

— Он летает быстрее света.

— Вы можете разбомбить кого-нибудь даже до того, как решите это сделать. Решите сегодня, а вчера это уже сделано!

— Что-то я не думаю, — сказал кто-то, — что нам нужен самолет, который может разбомбить кого-нибудь вчера.

— Но вы подумайте о возможностях, — возразил Уинтергрин. — Они атакуют Перл-Харбор. Вы уничтожаете их за день до этого.

— Пожалуй, меня бы это устроило. Сколько еще…

— Постойте, постойте, — запротестовал кто-то еще из нескольких, среди которых возникло теперь недоуменное движение. — Как же это может быть? Арти, разве что-нибудь может двигаться быстрее света?

— Конечно, Марти, Быстрее света может двигаться свет.

— Почитайте своего херова Эйнштейна! — завопил Уинтергрин.

— И наш первый действующий самолет может встать на боевое дежурство в 2000 году и дать вам настоящий повод для празднования.

— А что случится, если мы ввяжемся в ядерную войну до этого?

— Тогда у вас не будет нашего изделия. Вам придется подождать.

— Значит, ваш бомбардировщик — инструмент мира?

— Да. А в придачу к нему мы дадим вам человека, — доверительным тоном сказал Милоу, — который может внутренне производить тяжелую воду.

— Мне нужен этот человек! Любой ценой!

— Вы уверены, доктор Теллер?

— Абсолютно, адмирал Рикоувер.

— К тому же наш инструмент мира может быть использован для сбрасывания тяжелых бомбовых грузов и на города.

— Мы не любим бомбить гражданских.

— Нет, любим. Это эффективно с экономической точки зрения. И еще наш «Шшшшшшш!» для большей неожиданности при нападении можно загрузить обычными бомбами. Представляете, как все удивятся, когда не последует атомного взрыва. Мы можем пользоваться этим против дружественных наций, избегая долгосрочных последствий радиационного излучения. Разве Стрейнджлав сможет такое?

— А что говорит Портер Лавджой?

— Не виновен.

— Я имею в виду до предъявления обвинения.

— Покупайте оба самолета.

— А на оба есть деньги?

— Это не имеет значения.

— Мне бы не хотелось говорить об этом президенту.

— У нас есть человек, который поговорит с президентом, — предложил Милоу. — Его зовут Йоссарян.

— Йоссарян? Где-то я уже слышал это имя.

— Берни, это же знаменитый художник.

— Конечно, я знаю его работы, — сказал генерал Бингам.

— Это другой Йоссарян.

— Не пора ли нам устроить еще один перерыв?

— Мне может понадобиться Йоссарян, — пробормотал Милоу, прикрыв ладонью рот, — чтобы поговорить с Нудлсом Куком. И где этот херов капеллан?

— Они все время перемещают его, сэр, — прошептал полковник Пикеринг. — Мы не знаем, где этот херов капеллан.

Десятиминутный перерыв превратился в пятиминутный перерыв, во время которого шесть охранников АЗОСПВВ торжественным маршем внесли а конференцзал именинный пирог с тутовыми ягодами для генерала Бернарда Бингама и документы, подтверждающие его повышение с бригадного генерала до генерал-майора. Бингам с первой попытки задул все свечи и весело

спросил:

— Есть что-нибудь еще?

— Да! Определенно есть! — закричал полный чиновник из государственного департамента.

— Есть! Конечно, есть! — так же громко закричал тонкий из Национальной безопасности.

Толстый и Тонкий принялись наперебой вопить о том, что, мол, целый ряд особенностей «Шшшшшшш! М и М» был скопирован со старины «Стелса».

— Сэр, ваши херовы катапультирующиеся сидения изначально планировались для этого херова старины «Стелса». В наших отчетах сообщается, что во время испытаний этих херовых сидений манекены распадались.

— Мы можем, — сказал Милоу, — поставить вам сколько угодно манекенов на замену.

Толстый осел, лицо его искривилось.

— Я полагаю, — вставил декан факультета гуманитарных проблем и социальной работы Военного колледжа, — его беспокоят люди, а не эти херовы манекены.

— Мы можем поставить столько людей, сколько вам нужно.

Тонкий был сбит с толку, а Толстый обескуражен.

— Речь идет о проблеме их безопасности, сэр. Вы говорите, что ваши машины могут находиться в воздухе длительное время, даже годы. В наших машинах с людьми на борту должна быть предусмотрена возможность возвращения.

— Зачем?

— Зачем?

— Да. Для чего?

— На кой хер им возвращаться?

— Что за херня происходит со всеми вами, херовыми идиотами? — недовольным голосом спросил Уинтергрин, недоуменно покачивая головой. — Наш самолет — оружие второго удара. Полковник Пикеринг, можете вы поговорить с этими жопоголовыми и объяснить им?

— Конечно, мистер Уинтергрин. Джентльмены, какая к херам разница, вернется ли этот херов экипаж или нет?

— Никакой, полковник Пикеринг.

— Спасибо, майор Бауэс, хер вы моржовый.

— Не за что, сучий потрох.

— Джентльмены, — сказал Тонкий, — мне нужна магнитофонная запись наших заседаний, чтобы показать, что никогда прежде меня не называли жопоголовым, только в юности.

— Мы ничего не записываем.

— Жопоголовый.

— Говнюк.

— Мудила, куда им возвращаться? — спросил Уинтергрин. — Большинство из того, что есть здесь, к тому времени все равно уже будет уничтожено.

— Позвольте мне, — прорычал Тонкий голосом, не оставлявшим никаких сомнений в том, что он зол. — Вы говорите, что ваши херовы бомбардировщики несут атомные бомбы, которые до взрыва проникают к херам собачьим в землю?

— Ваши херовы ракеты этого не могут.

— Скажите нам, пожалуйста, на кой хер нам такие бомбы.

— Вы, кретины, в своих херовых аналитических докладах всегда подчеркиваете, что у противника имеются подземные бункеры для их херовых политических и военных лидеров.

— На кой хер нам это подчеркивать?

— Президент играет в Триаж?

— Вы бы по крайней мере, читали то, что пишете.

— Мы не любим читать.

— Нас от чтения воротит.

— Мы не можем читать то, что пишем.

— У нас есть бомбы, которые до взрыва проника-

ют вглубь на сто миль. Сегодня вы спланировали жизнь на глубине сорок две мили под землей. Мы можем взрывать наши бомбы настолько глубже сорока двух миль, что они не причинят вреда никому ни на нашей стороне, ни на их. Мы можем развязать ядерную войну, которая не нанесет ущерба ни человеку, ни собственности на земле. Разве это не гуманно, а? Это охеренно гуманно, я бы сказал.

— Я бы назвал это охеренной гуманностью.

— Я бы хотел выяснить, к херам собачьим, одну вещь. Прошу вас, Тонкий, позвольте мне сказать слово. Эти херовы устройства предназначены для нанесения второго удара *нами*!

— Они поднимутся в воздух для уничтожения оставшихся самолетов противника, не использованных в их первом ударе.

— А почему они не будут использованы в их первом ударе?

— С какого хера мне это знать?

— Вы гарантируете, что ваши самолеты будут летать?

— Они уже летают больше двух лет. У нас есть модели, которые все время летают туда-сюда. Вы должны нам немедленно сказать, хотите ли вы продолжать. Иначе мы отдадим этот херов

«Шшшшшшш!» куда-нибудь в другое место.

— Вы этого не сделаете, — сказал Толстый. — Извините меня, Тонкий, позвольте мне продолжать.

— Сейчас моя очередь, Толстый. Это было бы против правил.

Милоу рассмеялся кротким смехом.

— Как бы вы об этом узнали? Наши самолеты невидимы и бесшумны.

— Дерьмо все это собачье, я не верю этим вопросам, — сказал Уинтергрин. — Какая к херам разница, летает он или нет? Его основная ценность в устрашении. К тому времени, когда он будет введен в действие, он уже будет не нужен.

— И все же у меня остается вопрос. Позвольте мне продолжать, Толстый.

— Сейчас моя очередь, тощий сукин сын.

— Нет, не ваша, толстый хер.

— Не слушайте этого жопоголового, — настаивал Толстый. — Если этот самолет невидимый и бесшумный, то что может вам помешать продать его противнику?

— Наш патриотизм.

После этого Бингам объявил последний перерыв.

— Уинтергрин, — прошептал Милоу во время

паузы перед завершением, — у нас и правда есть бомба, которая до взрыва углубляется в землю на сто миль?

— Нужно будет проверить. А что насчет старины «Стелса»? Как ты думаешь, они догадаются?

— Они не очень-то похожи. «Стелс» так никогда и не был построен. Так что наш «Шшшшшшш!» новее.

— Я бы тоже так сказал.

Из членов комиссии некоторым потребовалось больше времени для размышлений, другие, вроде Толстого и Тонкого, настаивали на сравнительном анализе «Шшшшшшш!» и «Б-Страшного» Стрейнджлава. «Им понадобится Йоссарян», — удрученно пробормотал Милоу, а трое старших военных тем временем шепотом вели какой-то конфиденциальный разговор. Бингам напряженно ждал. Уинтергрин заметно кипятился. Милоу посоветовал ему прекратить, поскольку никто на него не смотрел. Наконец, контр-адмирал поднял глаза.

— Джентльмены. — Речь адмирала была неспешна. — Нам нужно оружие нового века, которое сделает все другие вооружения второстепенными и незначительными.

— Теперь вы можете прекратить поиски, — с

надеждой в голосе посоветовал Милоу.

— Лично я, — продолжал адмирал так, словно он ничего и не слышал, — склонен присоединиться к лагерю генерала Бингама. Берни, вы опять получаете пироги и пышки. Я собираюсь рекомендовать ваш «Шшшшшшш!». Но прежде чем я поставлю свою подпись, я хочу выяснить один существенный вопрос. — Он наклонился к ним поближе, упер локти о стол и положил подбородок на сцепленные пальцы. — Этот ваш самолет, мистер Миндербиндер. Вы должны сказать мне откровенно. Если его выпустить в достаточных количествах, то он сможет уничтожить весь мир?

Милоу и Уинтергрин обменялись безумными взорами. Они предпочли выложить все начистоту. Уинтергрин опустил глаза, а Милоу сконфуженно ответил.

— К сожалению, нет, сэр, — признался Милоу и покраснел. — Мы можем сделать его необитаемым, но уничтожить его нам не по силам.

— Меня это устраивает!

— Вы уверены, адмирал Дьюи?

— Абсолютно, генерал Грант.

— Простите меня за то, что я назвал вас тощим сукиным сыном, — почтительно извинился ди-

пломат из государственного департамента.

— Ничего страшного, жирный хер.

КНИГА СЕДЬМАЯ

20
КАПЕЛЛАН

Каждый раз, когда капеллана Альберта Тейлора Таппмана переводили на новое место, у него возникало ощущение, будто он остался на прежнем, и для этого у него имелись достаточно веские основания. Жилое помещение со свинцовыми стенками, в котором он был заключен, представляло собой железнодорожный вагон, и ни до, ни после очередного переезда ему не разрешалось по собственному желанию покидать место своего обитания. Обстановка, в которой он пребывал, не изменялась.

В составе было и несколько лабораторий, вагоны с оборудованием и помещения для медицинских обследований, а еще, рядом с его кухней, кабинеты и спальни чиновников, отвечающих в настоящее время за то, что на официальном языке получило название Висконсинский проект. Двери обиталища капеллана были заперты и охранялись людьми в форме с автоматическим оружием уничтожения, имевшим короткий ствол и большой магазин. О своем поезде он успел

узнать вот что: здесь вообще некуда было пойти, кроме как в другой конец поезда.

Выходить из вагона ему не разрешалось, кроме тех редких случаев, когда ему предлагались ограниченные формы отдыха, которые он теперь неизменно отвергал. Ему дозволялось отказываться от этих предложений. Его никогда не привлекали физические упражнения, и теперь соблазнить его этим было трудно. Пока он сидел в своем удобном кожаном кресле, его мышечный тонус улучшался с помощью безболезненной процедуры электростимуляции. То, что обычно достигалось интенсивными занятиями аэробикой, обеспечивалось без всяких усилий с его стороны за счет специальных установок, ускоряющих сердечный ритм и дыхание, а также усиливающих ток крови. Его физические кондиции улучшились, а бреясь по утрам, он отмечал, что и выглядеть стал лучше.

Иногда на переезд из одного места в другое уходило несколько дней, и он быстро понял, что находится в поезде, который умеет поворачивать плавно, чьи колеса постукивают тихо и убаюкивающе, чей локомотив бесшумно движется по рельсам, уложенным на подушку железнодорожного пути, настолько близкую к совершенству,

насколько это возможно для чего-либо сконструированного и изготовленного в этом мире. В его распоряжение были предоставлены все удобства. Он жил в пульмановском вагоне с проходной спальной и гостиной, пол которой от стены до стены был устлан серым ковром. У него был кабинет, он же комната отдыха; здесь на вытравленном полиуретаном до кремового цвета сучковатом, сосновом полу лежала дорожка в красноватых бутонах роз и белых с желтым полевых цветах. В дальнем конце располагалась пульмановская кухня, площади которой вполне хватало для стола и двух стульев; здесь он регулярно принимал пищу и дополнительное питание, при этом по крайней мере один человек в белом халате, делая пометки в блокноте, обязательно наблюдал за тем, как он жует и глотает. Он не знал ничего из того, что от него скрывали. Все, что он пил и ел, предварительно взвешивалось, опробовалось, анализировалось и исследовалось на радиацию и содержание минералов. Ему сказали, что где-то рядом, ради удобства, может быть, даже в соседнем вагоне, находится по крайней мере одна контрольная группа, состоящая из людей, потреблявших точно то же, что и он, в точно то же время, в тех же пропорциях и комбинациях; эти люди с

утра до вечера делали в точности все то же, что и он. Пока ни у кого из них каких-либо признаков аномалий, подобных его, не обнаруживалось. Во всех его комнатах были встроены счетчики Гейгера, необходимые и для его защиты; счетчики эти проверялись два раза в день. Все приближавшиеся к нему — химики, психиатры, врачи, техники, военные, даже охранники с оружием и официанты, подававшие ему еду и уносившие пустые блюда, а также женщины, приходившие убрать помещение и помочь с готовкой, носили перламутровые именные таблички и значки для немедленной регистрации заразы радиоактивности. Они предоставляли ему все, что он просил, кроме свободы отправиться домой.

«Впрочем…»

Впрочем, жизнь дома, признавал он, уже давно перестала быть такой приятной, как прежде, и они с женой, насмотревшись телевизионных драм, комедий положений и выпусков новостей, часто размышляли о том, как бы им в безмятежный покой своего долгого супружества вернуть хоть малую толику прежних желаний и приятных сюрпризов. Путешествия за границу с группами туристов потеряли для них всякую притягательность. Друзей у них теперь было

меньше, чем раньше, меньше было у них и энергии и желаний, а все их развлечения и удовольствия сводились почти целиком к просмотру телевизионных программ и общению с детьми и внуками, которые (они ежедневно благодарили за это Господа) продолжали жить на расстоянии нескольких часов езды от родительского дома в Кеноше.

Умственное расстройство, развившееся у него, было обычным для американцев его поколения, сообщил ему знающий психиатр в военной форме, посещавший его через день, чтобы смягчить стресс, вызванный заключением, и в то же время, как признавался психиатр, чтобы выведать какие-либо сведения, которые объяснили бы необыкновенное состояние капеллана и которые сам капеллан еще не был готов предоставить сознательно.

— И в возрасте семидесяти двух лет вы — весьма вероятный кандидат на предрасположенность к тому, что мы называем депрессиями пожилого возраста, — сказал дипломированный медик. — Вам объяснить, что я имею в виду?

— Мне уже говорили об этом раньше, — сказал капеллан.

— Мне в два раза меньше, чем вам, а я тоже

весьма вероятный кандидат, если это может вас утешить.

Он скучал без жены, доверительно сообщил он, и знал, что она скучает без него. Его не меньше трех раз в неделю заверяли, что она хорошо себя чувствует. Им не позволяли общаться напрямую, даже письменно. Младшему из троих их детей, который пешком под стол ходил, когда капеллан был в армии, теперь было под пятьдесят. Дети у него были прекрасные, и внуки тоже.

И тем не менее, капеллан безумно беспокоился обо всех членах своей семьи («Патологически? — высказал осторожное предположение психиатр. — Но это, конечно же, тоже было бы нормой».) и, как одержимый, все время мучительно возвращался мыслями к другим надвигающимся опасностям, которые он предчувствовал, но назвать еще не мог.

Но это тоже было нормой.

Помимо воли он постоянно воображал себе те же бедствия, мыслями о которых изводил себя в прошлом, когда, уйдя на службу в армию и впервые расставшись с женой и детьми, испытал потрясение от этого невыносимого чувства одиночества и утраты.

Он не мог отделаться от мыслей о всевоз-

можных несчастных случаях и болезнях, вроде опухоли Юинга, лейкемии, болезни Ходжкина и других раковых образований. Он снова видел себя молодым на Пьяносе и по два или три раза в неделю видел, как умирает ставший снова младенцем его младший сын, потому что его жену не научили останавливать артериальное кровотечение; снова и снова в горестной, гнетущей тишине видел он, как членов его семьи, одного за другим, убивает током из розетки, потому что он не предупредил их, что человеческое тело проводит электричество; все четверо почти каждую ночь погибали в огне пожара, когда взрывался бойлер и загорался их двухэтажный деревянный дом; в отвратительных, безжалостных, мерзких подробностях видел он, как миниатюрная и хрупкая фигурка его несчастной и еще молодой жены превращается в кровавое месиво, когда полоумный, пьяный водитель грузовика расплющивает ее о кирпичную стену магазина; он смотрел, как уводит от этой душераздирающей сцены его рыдающую дочь — которой снова пять, шесть, семь, десять или одиннадцать — добродушного вида джентльмен средних лет с белоснежными волосами, чтобы опять и опять насиловать и убивать ее на заброшенном песчаном карьере, а двое

младших его детей тем временем медленно и долго умирают дома голодной смертью после того, как его теща — которая в те времена нянчилась с ними, а много лет спустя умерла естественной смертью в глубокой старости — скончалась от инфаркта, когда ей по телефону сообщили о гибели в том автопроисшествии его дорогой жены.

Его воспоминания об этих небылицах были безжалостны. Испытывая чувства ностальгии и отвращения, он неизменно и беспомощно, с какой-то разочарованной тоской возвращался в этот начальный период своего молодого отцовства почти полвека назад, когда страдания и надежда ни на минуту не оставляли его.

«Это еще одна характерная особенность депрессий пожилого возраста, — сообщил ему с нежным сочувствием психиатр. — Старея, мы мысленно возвращаемся к тем временам, когда были моложе. Со мной это уже происходит».

Он спрашивал себя, куда заведут его эти воспоминания. Он не хотел рассказывать о своем необычном видении — может быть, это было чудо — голого человека на дереве рядом с воинским кладбищем на Пьяносе во время грустной церемонии похорон юноши по фамилии Сноуден, убитого в самолете при выполнении задания

по уничтожению мостов в районе Авиньона, в южной Франции. Он стоял у отрытой могилы вместе с майором Данби слева от него и майором Майором справа, а напротив него за разверстой в красной земле ямой стоял невысокого роста рядовой по имени Сэмьюэл Зингер, который был на задании в том же самолете, что и убитый; капеллан и сейчас с ужасающей ясностью помнил, какую дрожь ощутил во время своего надгробного слова, когда, воздев глаза к небесам, увидел на дереве эту фигуру; он остановился, не закончив предложения, словно внезапно онемел, и дыхание покинуло его. Ему никогда и в голову не приходило, что на том дереве и в самом деле мог сидеть голый человек. Он держал свои воспоминания при себе. Он не хотел, чтобы его впечатлительный дружок-психиатр счел его сумасшедшим.

Никаких иных знаков божественного происхождения больше ему никогда даровано не было, хотя он и просил теперь хотя бы об одном. Тайно и стыдясь этого, он молился. Ему было стыдно не того, что он молится, а того, что кто-нибудь может узнать, что он молится, и подвергнуть сомнению его искренность. Он молился и о том, чтобы в его жизни еще раз чудесным образом откуда ни возь-

мись явился супермен Йоссарян — никого лучше он и придумать не мог, — положил конец этому необъяснимому кризису, в котором сам он был абсолютно беспомощным, и сделал возможным его возвращение домой. Всю свою жизнь он хотел только одного — быть дома.

Он не был виноват в том, что из него выходила тяжелая вода.

Время от времени, когда поезд не находился в движении, его выводили из вагона вниз на короткую прогулку в двадцать, тридцать, а потом и сорок минут под наблюдением вооруженной охраны, располагавшейся на некотором расстоянии. Рядом с ним обязательно шел кто-нибудь — врач, ученый, агент секретной службы, офицер, а иногда и сам генерал, а периодически на его руке был медицинский наручник для измерения его кровяного давления и пульса, а его нос и рот закрывала маска с баллоном для улавливания выдыхаемого им воздуха. По этим томительным и утомительным прогулкам он понял, что по крайней мере большую часть времени находится под землей.

В своем обиталище он мог подойти к любому окну на любой из сторон всех своих комнат и увидеть, если ему хотелось, Париж, или перспективу

Монмартра, открывающуюся от знаменитой Триумфальной арки, или вид с Монмартра на Лувр и ту же самую Триумфальную арку, Эйфелеву башню и извивающуюся змеей Сену. Впечатляло и зрелище уходящих вдаль крыш. Он мог выглянуть в окно и увидеть, по своему выбору, с самых разных перспектив, испанский город Толедо, университетский город Саламанку, Альгамбру, или перейти к Биг-Бену и зданию Парламента, или к колледжу Святой Екатерины Оксфордского университета. Освоить находящиеся у каждого окна пульты управления не составляло никакого труда. На самом деле это были не окна, а видеоэкраны, предлагающие практически неограниченный выбор.

Перспектива Нью-Йорка устанавливалась по умолчанию и представляла собой вид из венецианского окна на верхнем этаже многоэтажного здания. Капеллан мог перемещаться по городу с такой же скоростью, с какой мог перемещаться и по всему миру. В один из дней вскоре после своего задержания он увидел, как на авеню напротив автобусного вокзала Администрации порта из такси выходит человек, так похожий на Йоссаряна, что капеллан чуть было не окликнул его. В Вашингтоне, округ Колумбия, он смог войти в

АЗОСПВВ, неторопливо побродить по вестибюлю, заглядывая в окна магазинов, и рассмотреть сказочные стенды на этажах, где велась торговля. Во всех местах освещение и цвет изменялись в соответствии со временем суток по его часам. Его любимыми ночными видами были казино Лас-Вегаса и перспектива Лос-Анджелеса с Сансет-Стрип. Он по своему выбору мог смотреть из своих окон на что угодно, кроме того, что было за ними на самом деле. В Кеноше, штат Висконсин, ему открывался вид с веранды его дома, а еще перед его взором представала не менее утешительная картинка из маленького дворика, граничащего с его маленьким садом, где он любил сидеть с женой на качелях в темноте теплыми лунными вечерами и, наблюдая за звездопадом, предаваться печальным размышлениям о том, куда ушло все их время, как быстро завершился век. Он потерял вкус к садоводству. Хотя он по-прежнему любил пропалывать грядки, теперь он быстро уставал, а нередко боли в ногах и нижней части спины — его доктор называл это люмбаго — вообще отбивали у него охоту заниматься этим. Глядя как-то в окно своего поезда с веранды своего дома, он увидел соседа, умершего, как был уверен капеллан, несколько лет назад; на

какое-то время капеллан потерял всякую связь с реальностью. Он был сбит с толку, и ему в голову вдруг пришла мысль о том, что под его родным городом, в котором он провел всю свою жизнь, возможно, проходит эта тайная ветка подземной железной дороги, невольным пассажиром которой он стал.

К этому времени всё и все (хотя большинство и не догадывалось об этом) вблизи и вдали от дома капеллана в Кеноше было просмотрено, обследовано, изучено и проанализировано самыми чувствительными и точными современными приборами и технологиями: пища, питьевая вода из скважин и резервуаров, воздух, которым они дышали, сточные воды и мусор. Были взяты на анализ пробы всех водооттоков от выгребных ям и мусора из каждой домашней мусороперерабатывающей установки. Пока не было обнаружено никаких признаков загрязнения, хотя бы отдаленно связанного с той уникальной аномалией, обладателем которой все еще являлся сам капеллан. Нигде в Кеноше не было обнаружено ни одной молекулы окиси дейтерия, или, на более понятном языке, тяжелой воды.

— Это началось с трудностей при мочеиспускании, — еще раз повторил капеллан Альберт

Тейлор Таппман.

— У меня это тоже было, — признался психиатр и испустил вздох. — Но, конечно, не так, как у вас. Если бы у меня было то же самое, то, вероятно, и меня посадили бы в карантин вместе с вами. Вы и правда не знаете, как вы это делаете или что вы сделали, чтобы это началось?

Капеллан, как бы извиняясь, повторил то, что уже говорил прежде. Он сидел, положив чуть сжатые ладони на бедра, и казалось, что его врач верит ему. Его домашний врач сразу же заподозрил неладное и сделал второй анализ.

— Не знаю, Альберт. Мне она кажется какой-то странной, тяжеловатой.

— Что это значит, Гектор?

— Я не уверен, но мне думается, что без правительственной лицензии вы не имеете права делать то, что вы делаете. Посмотрим, что покажет лабораторный анализ. Возможно, им придется сообщить куда следует.

И мгновенно его дом заполонили правительственные агенты, осмотревшие все уголки; потом появились химики, физики, радиологи и урологи, эндокринологи и гастроэнтерологи. Его моментально подвергли всестороннему медицинскому обследованию, в котором участвовали специали-

сты всех мыслимых направлений — в том числе и по охране окружающей среды, — пытавшиеся решительно и определенно выяснить, откуда в каждой молекуле его мочи берется лишний нейтрон водорода. Этот нейтрон не обнаруживался в выделяемом им поте. Потовыделения были чистыми, как и все прочие жидкости внутри него.

Затем последовали допросы — поначалу вежливые, а потом оскорбительные и исполненные скрытой жестокости. Не пил ли он жидкого водорода? Ах, он об этом не знает? Ну, он бы точно знал, если бы пил. Он бы был уже мертв.

— Тогда зачем же вы спрашиваете об этом?

Это был вопрос с подковыркой, с гордостью прокудахтали они. Они все курили сигареты, и у них были желтые пальцы. Жидкий кислород? Он даже не знает, где его взять.

Ну, чтобы его выпить, он должен был знать.

Он даже не знал, что это такое.

Тогда откуда же у него такая уверенность в том, что он его не пил?

Этот вопрос они тоже внесли в протокол. Это был еще один вопрос с подковыркой.

— И вы попались на нем. Хороший был вопросик, Туз. Правда, Драчун?

— Ты же сам сказал, Громила.

Их было трое, и они пытались выведать у капеллана, есть ли у него друзья, жены или дети в какой-либо из стран, ранее находившихся за железным занавесом, и нет ли у него кого-нибудь в настоящее время в ЦРУ.

— У меня тоже нет друзей в ЦРУ, — сказал психиатр. — Я не знаю, как бы смог себя защитить, если бы они у меня там были.

Они немедленно конфисковали его паспорт и поставили на прослушивание телефон. Его почта перехватывалась, его счета в банке были заморожены, на его банковский сейф повесили замок. Но хуже всего было то, что они забрали у него его номер социального страхования.

— И никаких чеков? — в ужасе воскликнул психиатр.

Чеки поступать продолжали, но он остался без номера социального страхования. А без этого он переставал существовать как личность.

Психиатр посерел лицом и задрожал.

— Могу себе представить, что вы при этом испытываете, — посочувствовал он. — Я бы без своего и дня не прожил. И вы все равно не хотите им сказать, как вы это делаете?

Химико-физики и физико-химики исключили вероятность укуса каким-либо насекомым. Энто-

мологи с ними согласились.

Вначале к нему проявляли доброжелательность и снисходительность и обращались с ним предупредительно. Врачи дружелюбно взирали на него как на некий уникум и любопытную возможность для исследований. Вскоре, однако, приязнь у всех, кроме психиатра и генерала, стала ослабевать и истончаться. Накапливающееся раздражение вытесняло терпимость. Люди огрубели, а на консультациях воцарилась враждебность. В особенности это было справедливо по отношению к агентам секретных служб. Они были не из ФБР и не из ЦРУ, а принадлежали к какому-то еще более законспирированному ведомству. Его неспособность пролить свет на свою аномалию оскорбляла их, и его осуждали за упрямый отказ предоставить объяснения, которых у него не было.

— Вы очень несговорчивы, — сказал самый крупный из хамовито-напористых следователей.

— Все отчеты единогласны, — сказал худощавый, отталкивающего вида смуглый агент с заостренным кривым носом, безумными глазами, горевшими, казалось, каким-то весельем, маленькими, неправильной формы зубами, почерневшими от никотина, и почти без губ.

— Капеллан, — сказал мрачного вида пухлый агент, часто улыбавшийся и моргавший; от него всегда кисло пахло пивом. — По поводу радиации. До того, как мы доставили вас сюда, вы — а нам нужна правда, дружище, пусть уж лучше мы не получим ничего, если не можем получить правду, ясно? — поглощали незаконным образом радиацию?

— Откуда я могу знать, сэр? Что такое «незаконная радиация»?

— Радиация, о которой не знаете вы, но знаем мы.

— В противоположность какой другой?

— Радиации, о которой не знаете вы, но знаем мы.

— Я запутался. Я не чувствую разницы.

— Она заключена в том, как мы это формулируем.

— А вы не почувствовали. Добавь-ка и это тоже к списку.

— Ты его на этом поймал. За самые яйца.

— На сегодня хватит, Туз. Продолжим завтра.

— Конечно, генерал.

В том, как Туз разговаривал с генералом, слышалось нескрываемое высокомерие, что смущало капеллана.

Возглавлял «Проект Висконсин» генерал Лесли Р. Гроувс, ранее возглавлявший «Проект Манхеттен», в рамках которого в 1945 году была создана первая атомная бомба; манеры генерала свидетельствовали об истинной его предприимчивости, доброжелательности и милосердии. Со временем капеллан вполне освоился с генералом. Он многое узнал у генерала Гроувса о том, насколько разумным и обоснованным является его варварское заключение под стражу и не прерывающееся ни на минуту наблюдение за ним, и о различии между реакцией деления и реакцией синтеза, и о трех состояниях водорода, в которые он, по всей вероятности, вляпался, или которые вляпались в него. После водорода шел дейтерий с лишним нейтроном в каждом атоме, что в сочетании с кислородом давало тяжелую воду. А потом шел тритий, радиоактивный газ с двумя лишними нейтронами; этот газ использовался в качестве краски для изготовления светящихся приборов и циферблатов, включая и циферблаты новой серии порнографических часов для спальной, которые и одну ночь пленили похотливое воображение всех американцев, этот же газ использовался и для ускорения процессов детонации в термоядерных устройствах, наподобие

ядерной бомбы, содержащей соединение дейтерия в виде дейтерида лития. Одна из первых бомб такого рода, взорванная в 1952 году, имела мощность, в тысячу раз превосходящую — *в тысячу раз* превосходящую, подчеркнул генерал Гроувс — мощность бомб, сброшенных на Японию. А откуда брали дейтерий? Из тяжелой воды.

А он свою тяжелую воду сливал в унитаз.

— А что вы делаете с моей?

— Отсылаем для превращения в тритий, — ответил генерал Гроувс.

— Теперь вы понимаете, чем вы ссыте, капеллан?

— Ну, все, Туз, хватит.

Как-то раз капеллан в сопровождении генерала Гроувса вышел из своего пульмановского обиталища на небольшую, устланную белыми бетонными плитками площадку, расположенную с тыльной стороны сложенного из галечника здания, над голой стеной которого высился крест; все здание напоминало собой старинную итальянскую церковь. На деревянной стойке, темная краска которой, казалось, была положена совсем недавно, был закреплен баскетбольный щит с кольцом, а на земле были выложены выкрашенные в монотонный зеленый цвет доски для

игры в шаффлборд. В центре, словно в ожидании удара, лежал футбольный мяч, простеганный в черно-белые клетки, что делало его похожим на большую, готовую вот-вот взорваться модель молекулы. В углу загорелый продавец продавал с лотка сувениры, цветные открытки, газеты и бескозырки цвета морской волны с белой окантовкой, на бескозырках белыми буквами было написано ВЕНЕЦИЯ, и капеллан, размышляя вслух, спросил, уж не находятся ли они в Венеции. Генерал ответил, что они не в Венеции, но для разнообразия можно думать, что в Венеции. Несмотря на иллюзию неба и свежего воздуха, они по-прежнему находились в помещении, под землей. Капеллан не хотел играть ни в баскетбол, ни в шаффлборд, желания ударить по мячу или купить сувениров у него тоже не возникло. Вдвоем они минут сорок бродили вокруг вагона, и генерал Гроувс задавал воистину быстрый темп.

В другой раз они вышли около небольшого туннеля, расположенною перпендикулярно железнодорожным путям, и капеллан услышал отдаленные, слабые звуки выстрелов, похожие на разрывы шутих, доносящиеся откуда-то изнутри и приглушенные расстоянием. Это был тир. Капеллан предпочел не испытывать удачу и,

может быть, выиграть набитого опилками плюшевого мишку. Он не хотел растрачивать центы ради возможности выиграть кокос. Он услышал и доносящуюся изнутри музыку карусели, а потом звуки колес и сцепленных вагончиков русских горок, вагончики то с ревом поднимались вверх, то со скрежетом неслись вниз. Нет, капеллан никогда не был на Кони-Айленде и никогда не слышал о парке аттракционов «Стиплчез» Джорджа К. Тилью, и теперь у него не возникло желания побывать там. Не было у него никакой охоты и знакомиться с самим мистером Тилью или кататься на его шикарной карусели.

Генерал Гроувс пожал плечами.

— Вы, кажется, погрузились в апатию, — с долей сочувствия заметил он. — Вас, кажется, ничто не интересует — ни телевизионные комедии, ни новости, ни спортивные события.

— Я знаю.

— Меня тоже, — сказал психиатр.

Во время третьей поездки к его дому в Кеноше ему впервые принесли пакеты с продовольствием от Милоу Миндербиндера. После этого подобные посылки доставлялись регулярно, в один и тот же день недели. Подарочная открытка оставалась неизменной:

ЧТО
ХОРОШО ДЛЯ МИЛОУ МИНДЕРБИНДЕРА,
ХОРОШО И ДЛЯ СТРАНЫ.

Содержимое посылок тоже оставалось неизменным. В стружку была аккуратно уложена новая зажигалка «Зиппо», упаковка стерильных тампонов чистого египетского хлопка на палочках, подарочная коробка конфет, содержащая один фунт конфет из египетского хлопка, облитых шоколадом «М и М» высшего качества, дюжина яиц с Мальты, бутылка шотландского виски, разлитого на Сицилии — все это японского производства, символические количества свинины из Йорка, ветчины из Сиама и мандаринов из Нового Орлеана, также восточного происхождения. Капеллан не стал возражать, когда генерал Гроувс предложил отдать этот пакет людям наверху, которым все еще негде было жить. Капеллан в первый раз удивился.

— Разве в Кеноше сейчас есть бездомные?

— Мы сейчас не в Кеноше, — ответил генерал и подошел к окну, чтобы нажать кнопку местопребывания.

Они снова были в Нью-Йорке и на улице неподалеку от главного входа в автовокзал увидели

ряд чистильщиков сапог и уличных торговцев едой с их дымящимися лотками; за зданием АВАП они увидели две невыразительные башни Всемирного торгового центра, вероятно, все еще самые высокие коммерческие сооружения на земле.

В другой раз, будучи уверен, что находится в АЗОСПВВ в Вашингтоне, капеллан, увидев, какая картинка устанавливается по умолчанию, понял: он находится внутри АВАП, а его пульман, пока меняют локомотив и лабораторные вагоны, стоит где-то внизу. Через свое окно он мог даже заглянуть в диспетчерский центр связи автовокзала и, приняв изображение с любого из расположенных там видеоэкранов, посмотреть, как прибывают и отправляются автобусы, как текут дневные людские потоки; он видел полицейских, переодетых под торговцев наркотиками, и торговцев наркотиками, одетых как работающие под них полицейские, проституток, наркоманов, беглецов, мерзкие, апатичные совокупления и другие отвратительные жизнеотправления на пожарных лестницах; он мог увидеть, что происходит в разных туалетных, где люди мочились и стирали в раковинах, при желании он мог бы заглянуть и в кабинку, чтобы увидеть, как колет-

ся наркоман, как занимаются оральным сексом и испражняются. Но он не хотел это делать. У него были телевизоры, по которым он мог принимать превосходное изображение на трехстах двадцати двух каналах, но он обнаружил, что ему не интересно смотреть телевизор в отсутствии жены. Даже когда они были вместе, телевизор не вызывал у него особого интереса, но тогда они, по крайней мере, могли уставить взгляд в одну точку экрана, подыскивая какую-нибудь новую тему для разговора, которая могла бы облегчить их летаргию. Это была старость. Ему по-прежнему было семьдесят два.

Оказавшись в Нью-Йорке в следующий раз, он выглянул в окно у музея искусств Метрополитен в тот самый момент, когда заканчивалось заседание ОКРКАМИМ, и ему снова показалось, что он видел Йоссаряна, выходившего из здания в компании пожилой дамы в модном платье и мужчины ростом выше их обоих, и капеллан опять чуть было не окликнул его, потому что теперь он увидел рыжеволосого человека с зеленым рюкзаком; рыжеволосый опытным взглядом обшарил всех троих и пустился следом за ними, потом за ними последовали еще двое с еще более рыжими волосами, а за ними показался еще один,

безусловно наблюдавший за всеми остальными. Капеллан не верил своим глазам. Он подумал, что ему снова начали являться видения, как в тот раз, когда он видел голого человека на дереве.

— А что это за шум, который я непрерывно слышу? — спросил, наконец, капеллан у генерала Гроувса, когда они снова были в пути и выезжали из города.

— Вы имеете в виду шум воды? Этот поток или река?

— Я его часто слышу. Может быть, все время.

— Не могу сказать.

— Вы не знаете?

— Мне приказано говорить вам все, что мне известно. Но этот вопрос вне моей компетенции. Это еще секретнее и ниже. По нашим сонарам мы знаем, что это довольно узкое, медленно двигающееся водное тело и что маленькие безмоторные лодки, возможно весельные, регулярно двигаются по нему всегда в одном направлении. Там есть и музыка. Музыка была идентифицирована как прелюдия и свадебный марш из третьего акта оперы «Лоэнгрин». — А откуда-то с еще большей глубины, едва различимый за звуками этой музыки, раздавался никак не связанный с ней, душераздирающий детский хор, кото-

рый федеральные музыковеды пока не смогли идентифицировать. Проконсультировались с Германией, которая теперь тоже мучилась сомнениями в связи с существованием и исполнением хорового опуса повышенной сложности, возможно, творения гениального, о котором они ничего не знали. — Вода в моих документах обозначена как Рейн-река. Это все, что мне известно.

— Река Рейн? — капеллан был потрясен.

— Нет. Рейн-река. Мы сейчас не в Германии.

Они снова вернулись в столицу страны.

У капеллана не было никаких причин не верить генералу Гроувсу, который взял себе за правило обязательно присутствовать на всех допросах с участием Туза, Драчуна и Громилы. Капеллан понимал, что даже дружба генерала может быть ни чем иным, как рассчитанной тактикой в более крупномасштабной стратегии, включающей тайный заговор с тремя секретными агентами, которых он боялся больше всего. У него не было никакой возможности узнать хоть что-нибудь, узнать хотя бы то, что такая возможность существует.

— Я часто чувствую то же самое, — быстро согласился генерал, когда капеллан поделился с ним своими опасениями.

— И я тоже, — признался психиатр.

Неужели сочувствие психиатра тоже было хитростью?

— Вы не имеете никакого права так со мной поступать, — выразил свой протест генералу Гроувсу капеллан, когда они снова остались одни. — Уж это-то, я думаю, я знаю.

— К сожалению, вы ошибаетесь, — ответил генерал. — Я полагаю, вы поймете, что у нас есть право сделать с вами все, что вы не можете предотвратить. В этом случае все, что мы делаем, законно и обоснованно. Вы состояли в армейском запасе. Вас просто призвали на службу.

— Но меня уже уволили из запаса, — с торжеством в голосе ответил капеллан. — У меня есть письмо, подтверждающее это.

— Не думаю, что это письмо все еще у вас, капеллан. И в наших документах его нет.

— Нет, есть, — злорадно сказал капеллан. — Согласно Закону о свободе информации вы можете найти его в моем досье. Я видел его собственными глазами.

— Капеллан, если вы заглянете в свое досье еще раз, то увидите, что ничего подобного там больше нет. Вы не можете считаться полностью невиновным.

— В чем же я виновен?

— В преступлениях, о которых агенты секретных служб еще не знают. Почему бы вам не признать свою вину?

— Как я могу признать свою вину, если они не предъявляют мне обвинений?

— Как они могут предъявить вам обвинения, если они их не знают? Прежде всего, — продолжал генерал Гроувс более жестким тоном, — это вопрос с тяжелой водой, которую вы производите естественным образом, но не говорите, как.

— Я не знаю, как, — запротестовал капеллан.

— Я-то вам верю. Но есть еще и другой вопрос — это человек по фамилии Йоссарян, Джон Йоссарян. Как только мы узнали о вас, вы нанесли ему таинственный визит в Нью-Йорке. Это и была одна из причин, по которой они вас забрали.

— В этом визите не было ничего таинственного. Я поехал к нему, когда со мной стало происходить все это. Он был в больнице.

— А с ним что случилось?

— Ничего. Он не был болен.

— И лежал в больнице? Альберт, вы только постарайтесь представить себе, как все это выглядит. Он находился в больнице в то же самое время, когда там лежал бельгийский агент с

раком горла. Этот агент из Брюсселя, а Брюссель — центр ЕЭС. И это тоже случайное совпадение? У него рак горла, но он не выздоравливает и не умирает. Как это получается? Кроме того, мы имеем закодированные послания о нем вашему другу Йоссаряну. Он получает эти сообщения о бельгийце четыре или пять раз в день от этой женщины, которая делает вид, что ей просто приятно разговаривать с ним по телефону. Я таких женщин еще не встречал. А вы? Только вчера она ему сообщила, что у бельгийца снова отказывает почка. Почему это почка отказывает у него, а не у вас? Ведь это у вас тяжелая вода. У меня нет на этот счет никакого мнения. Я знаю об этом не больше, чем о прелюдии в третьем акте «Лоэнгрина» или о душераздирающем детском хоре. Я задаю вам вопросы, которые подняты другими людьми. Существует даже глубокое подозрение, что бельгиец работает на ЦРУ. Есть даже мнение, что вы работаете на ЦРУ.

— Нет! Клянусь, я никогда не работал на ЦРУ!

— Не меня вам нужно убеждать. Эти послания поступают из больницы через медицинскую сестру Йоссаряна.

— Медицинскую сестру? — воскликнул капеллан. — Разве Йоссарян болен?

— Он здоров, как бык, Альберт, и куда как в лучшей форме, чем вы или я.

— Тогда зачем ему нужна медицинская сестра?

— Для плотских наслаждений. Они тем или иным образом вступают в сексуальную связь четыре или пять раз в неделю, — чтобы не ошибиться, пунктуальный генерал заглянул в лежащий у него на коленях блокнот, — у него в офисе, в ее квартире, часто на полу в кухне, отвернув водопроводный кран, или на полу в одной из комнат под кондиционером. Хотя по этому графику я вижу, что частота их чувственных контактов резко уменьшается. Он теперь не так часто посылает ей красные розы на длинных стеблях и все реже говорит с ней о нижнем белье, о чем свидетельствует этот последний Гэффни-отчет.

Капеллан сгорал от стыда, слушая эти подробности личной жизни.

— Прошу вас.

— Я всего лишь пытаюсь ввести вас в курс дела. — Генерал перевернул страницу. — Потом существует эта секретная договоренность, которая у вас, кажется, есть с Милоу Миндербиндером и о которой вы не считаете нужным упоминать.

— С Милоу Миндербиндером? — Капеллан воспринял это сообщение с удивлением. — Конечно,

я его знаю. Он присылает эти посылки. Я не знаю, почему. Я был вместе с ним на войне, но я его не видел и не говорил с ним почти пятьдесят лет.

— Ах, капеллан, капеллан! — Теперь генерал напустил на себя вид утрированного разочарования. — Милоу Миндербиндер заявляет на вас права собственности, он поддал на вас патентную заявку, зарегистрировал торговый знак на вашу разновидность тяжелой воды, представьте себе, торговый знак с венчиком, ни больше ни меньше. Он предложил вас правительству в сочетании с контрактом на военный самолет, за который он теперь борется, и он ежедневно получает очень, очень весомую плату за каждую пинту тяжелой воды, что мы из вас извлекаем. Вы удивлены?

— Я все это впервые слышу!

— Альберт, он не должен иметь права делать это от своего имени.

— Лесли, теперь я уверен, что понял вас. — Капеллан слабо улыбнулся. — Некоторое время назад вы сказали, что люди имеют право делать то, что мы не можем помешать им делать.

— Верно, Альберт. Но мы можем использовать этот аргумент на практике, а вы — нет. Мы сможем вернуться к этому еще раз завтра на еженедельном заседании.

На еженедельном собрании, проводившемся каждую пятницу, сам генерал первым и пронюхал о неожиданном новом повороте событий.

— Кто это пернул? — спросил он.

— Да, что это за запах?

— Я знаю, что это, — сказал физико-химик, дежуривший в этот день. — Это тритий.

— Тритий?

В помещении потрескивали счетчики Гейгера. Капеллан опустил глаза. Только что произошла ужасающая трансформация. У него в кишечнике вместе с обычными газами стал скапливаться и тритий.

— Это меняет условия игры, капеллан, — мрачно упрекнул его генерал. — Все анализы и процедуры придется повторить и провести новые. И немедленно проверьте всех остальных во всех других группах.

Ни у одного человека из контрольных групп ветры, пускаемые из задницы, не содержали ничего, кроме обычного метана и сероводорода.

— Я с крайней неохотой сообщаю вам об этом, — мрачно сказал генерал. — Но с этого момента, капеллан, пердеть запрещается.

— И ссать на стену.

— Хватит, Туз. Вам не кажется странным, — фи-

лософски заметил генерал Гроувс неделю спустя на симпозиуме, собранном для проведения свободной мозговой атаки, — что человек, который, вероятно, развивает в себе термоядерные способности для уничтожения жизни на этой планете, оказался слугой Господа?

— Нет, конечно же, не кажется.

— А почему это должно казаться странным?

— Вы спятили?

— Да что с вами такое?

— А кем же еще он мог быть?

— Ведь они пристают к мальчикам, прислуживающим в алтаре?

— Разве не должна сила, создавшая этот мир, сама же его и прикончить?

— Было бы еще страннее, — заключил генерал после некоторого размышления, — если бы человек этот оказался кем-нибудь другим.

21
ЛЮ

Вот эта самая тошн***о***та и достает меня больше всего. Теперь я уже знаю разницу. Если я думаю, что ничего страшного не происходит, то она исчезает сама. Если же я думаю, что она — та самая, то это значит, что ремиссия закончилась и наступил рецидив. Скоро я начну чесаться в разных местах, и потеть по ночам, и температурить. Я первый замечаю, что начинаю терять вес. Обручальное кольцо начинает спадать у меня с пальца. Вечерком перед обедом я люблю пропустить стаканчик-другой того самого детского коктейля, над которым люди теперь смеются — виски карстейрс с Колой — «К и К». Если, выпив немного, я чувствую боль в шее или плечах, а теперь еще и в животе, то, я знаю, пришло время звонить доктору и начинать надеяться, что, может быть, обойдется без поездки в город для еще одного обследования у Тимера, а потом, вероятно, курса лечения в его больнице с одним из его снайперов-облучателей. Я всегда сообщаю Клер, если чувствую, что началось что-то серьезное.

Понапрасну я ее не пугаю. Изжогу я переношу легко. Она начинается, если я переем. Тошн***о***та, которая меня изводит, приходит вместе с болезнью и лечебными процедурами. Я узнаю ее безошибочно. Когда я думаю о тошн***о***те, я думаю о моей матери и ее зеленых яблоках. Для меня у них такой же вкус, что появляется у меня во рту, когда меня тошнит. Как-то в детстве у меня был абсцесс в ухе, который вырезал дома специалист, пришедший вместе с доктором Эйбом Левином, и она сказала нам, мне, и докторам, и всем, кто был вокруг, что я, наверно, опять ел ее зеленые яблоки. Потому что, если ты ешь зеленые яблоки, то с тобой случаются такие вещи. Я не могу сдержать улыбки, когда вспоминаю о старушке. Она была умненькой, даже перед самым концом, когда у нее время от времени не все были дома. Она помнила мое имя. Она с трудом узнавала других, даже старика с его водянистыми глазами, но не меня. «Луи, — тихонько звала она. — Мальчик. Луале. *Ким ахер ту дер момма*».[68]

Меня уже тошнит от того, что меня тошнит.

Сэмми получает удовольствие, слыша от меня эти слова, а поэтому я каждый раз, когда его вижу,

---

[68] Примечания: 68
Подойди к маме. (*идиш*).

обязательно их повторяю, чтобы он посмеялся, когда приезжает сюда, или в городе, когда мы приезжаем туда, чтобы развеяться. Теперь мы приезжаем в город на вечерок только для того, чтобы доказать себе, что нам это все еще по силам. Мы там больше никого не знаем, кроме него и одной из моих дочерей. Я хожу с Клер на спектакли и из кожи вон лезу, чтобы не уснуть, делая вид, будто мне интересно, что происходит на сцене. Или я сижу с Сэмми, мы закусываем и выпиваем, пока она ходит по музеям или художественным галереям с моей дочерью Линдой или одна. Иногда Сэмми приводит какую-нибудь милую женщину с добрым характером, но я сразу же вижу, что между ними ничего такого нет. Уинклер звонит время от времени из Калифорнии, чтобы узнать, как дела, сообщить мне, кто там у них умер из тех, кого мы знаем, выслушать последние новости о тех, с кем мы еще поддерживаем связь здесь. Он говорит, что теперь продает туфли, настоящие, кожаные, в магазины и крупные торговые центры, у которых есть обувные отделы, а деньги от продажи туфель использует, чтобы в мертвый сезон затыкать дыры в своем бизнесе по производству шоколадных яиц и пасхальных зайчиков. Он занимается еще чем-то, о чем я не

хочу узнавать подробнее, что-то связанное с излишками замороженных продуктов, в основном, с мясом. И Сэмми тоже по-прежнему посмеивается над деловыми предприятиями Великолепного Марви. У Сэмми, кажется, мало радостей в жизни после того, как он остался один в этом новом многоэтажном доме. Он по-прежнему не знает, куда себя девать, кроме как на общественных началах собирать средства в пользу раковых больных. Он говорит, что получает хорошую пенсию от своего журнала «Тайм» и даже откладывает деньги, так что с этим у него проблем нет. Я выдаю ему идеи. А он и пальцем не шевелит.

— Езжай в Лас-Вегас, погуляй там немного с девочками.

Даже Клер одобряет эту идею. Я все еще без ума от нее. Груди у нее по-прежнему большие и выглядят отлично, после того как ей их недавно подтягивали. Или он мог бы поехать на Бермуды, или Карибы и найти там миленькую секретаршу на время отдыха, чтобы побаловать ее как принцессу. Или в Бока-Рейтон, чтобы найти там какую-нибудь ловкую вдовушку или разведенную даму после пятидесяти, которая всерьез хочет снова выйти замуж.

— Сэмми, тебе всерьез нужно подумать о том,

чтобы снова жениться. Ты не из тех людей, которые могут жить одни.

— Я ведь жил когда-то один.

— Теперь ты слишком стар, — говорит ему Клер. — Ведь ты и приготовить себе ничего не можешь, да?

Мы забываем, что Сэмми по-прежнему робок с женщинами, пока не пробит ледок, и не умеет познакомиться с девушкой. Я ему говорю, что когда мне станет получше, я поеду с ним и помогу найти кого-нибудь, кто нам понравится.

— Я тоже поеду, — говорит Клер, которая всегда готова ехать куда угодно. — Я могу их прощупывать и отсеивать ненадежных.

— Сэмми, — давлю я на него, — оторви ты задницу от стула и соверши кругосветное путешествие. Мы уже больше не мальчишки, и, может быть, у нас уже мало времени, чтобы начать делать то, что нам вроде бы всегда хотелось. Почему бы тебе не съездить снова в Австралию и не повидаться там со своим приятелем?

Когда Сэмми перевели в международный отдел «Тайм Инкорпорейтед», где он работал, ему пришлось поездить по всему миру, и он до сих пор поддерживает знакомство с людьми в разных странах.

Я даже думаю, что и сам мог бы отправиться в кругосветное путешествие, когда снова наберу свой вес, потому что это понравилось бы Клер. Последние годы я радуюсь, видя, как все они получают то, что им хочется.

Может быть, дело и в моем возрасте, а еще в этой болезни Ходжкина, но я чувствую себя спокойнее, зная, что, когда меня не станет, у них у всех не будет проблем. По крайней мере, вначале. Теперь, когда Майкл работает бухгалтером-ревизором и ему нравится место, куда он поступил, все они, кажется, устроены. У Клер сохранились и лицо, и фигура, и все благодаря ее поездкам на фермы здоровья, а еще пробежкам и зарядке, которыми она занимается потихоньку время от времени. Кроме всего этого, у меня во владении есть хороший кусочек побережья на Сент-Мартене, как раз подходящий для застройки, и он тоже записан на ее имя, а еще один кусок в Калифорнии, о котором она еще не знает, хотя и он записан на ее имя. У меня есть несколько депозитных сейфов, в которых есть кое-что, с чем она еще не научена обращаться. Жаль, что она плохо понимает в арифметике, но в этом ей теперь поможет Майкл, и у Энди в Аризоне тоже неплохая хватка. Майкл, кажется, разбирается в

своем деле, а еще знает кое-что, чему научился от меня и чему, как мне известно, его не учили в бухгалтерской школе. Я доверяю своему юристу и другим своим людям, пока я рядом и они понимают, *что* мне надо, и знают, что я прослежу, чтобы все было сделано, но когда меня не станет, я не могу за них поручиться. Они что-то начинают лениться. Эмиль Адлер с возрастом тоже обленился и теперь спешит передать вас другому специалисту. Дети отказались от его услуг и обзавелись собственными домашними докторами. Я учу Клер быть пожестче с юристами, чем я, быть независимой.

«Вызывай к себе, кого хочешь и когда хочешь. С этого момента ты сама можешь вести для меня все дело. И ни на секунду не позволяй им отмахиваться от тебя. Мы им ничего не должны. А уж если мы им будем должны, то они нам обязательно напомнят об этом».

Никто в моей семье не играет в азартные игры, даже на рынке ценных бумаг не играет. Только у Энди есть склонность к экстравагантным поступкам, но он удачно женился на миленькой девчушке с хорошим характером и, кажется, неплохо устроился — партнерствует с тестем в двух бойко торгующих автомобильных дилер-

ских компаниях в Темпе и Скоттсдейле, штат Аризона. Но он никогда не сможет себе позволить развода, что, может быть, и хорошо; а она сможет. Я участвую в его доле, но уже перевел свою часть на него. Дети Сюзен живут рядом с ней, а замужем она за одним хорошо воспитанным плотником, я ему помог устроиться в строительстве и пока не жалею об этом. Линда выбрала профессию учительницы и теперь имеет длинные отпуска и перспективу хорошей пенсии. Она умеет привлекать мужчин и, может быть, выйдет замуж еще раз. Я иногда жалею, что Майкл не похож на меня, что он не так уверен в себе, как я, что у него не такой сильный характер, мне бы хотелось, чтобы он погромче и почаще самоутверждался; может быть, это и по моей вине, да и Клер тоже так считает.

— А по чьей еще, Лю? — говорит она, когда я спрашиваю. — За тобой не каждый угонится.

— Меня бы не порадовало, если бы было иначе.

Клер не нравится, когда я завариваю с ней о моих планах относительно имущества, и она отказывается слушать меня долго.

— Рано или поздно… — говорю я ей.

— Пусть лучше будет поздно. Смени тему.

— Мне она тоже не нравится. Хорошо, я сменю

тему. Сколько ты получишь, вложив сто тысяч долларов из расчета восьми процентов годовых?

— Этого не хватит на новый дом, который я хочу купить! Бога ради, прекрати. Лучше выпей. Сейчас я тебе сделаю.

Она теперь верит в Тимера больше, чем я, и, кажется, больше, чем он сам верит в себя. Деннис Тимер, как он сам мне сказал, лег на лечение в психушку, в отделение своей же больницы, хотя и сохранил все те же приемные часы и больничную практику. Мне это кажется полной дурью. А может, он все же знает, что делает, как острит Сэмми. Когда Эмиль не в силах помочь мне в местной больнице, я по крайней мере раз в неделю начинаю ездить к Тимеру, где меня ГРОбят инъекциями, от которых у меня эта ненавистная тошн***о***та. ГРО — это название смеси, которой меня теперь пичкают на химиотерапии, и Тимер не возражает, когда я говорю, что словечко «гробить» изобрел я, а до этого он ни от кого его не слышал.

Теперь я ненавижу к нему ездить. Мне страшно, и я устаю. Эмиль говорит, что у меня нет выбора, и я знаю об этом. Теперь мне кажется, что я и Тимера ненавижу. Но не настолько сильно, чтобы свернуть ему шею. Он сам стал этой болезнью. У

него в приемной всегда полумрак. Если меня не отвозит туда Клер, то я еду туда и обратно в черном или жемчужно-сером лимузине автосервиса все с тем же водителем, Фрэнком из Венеции, и сама эта дорога тоже не подарок. Чтобы из приемной Тимера в центре города вернуться домой или в больницу, нужно проехать мимо бюро похоронных услуг на углу, а это место мне что-то не нравится. Там у входа всегда торчит по крайней мере один из их служащих, у которого слишком уж опрятный вид, чтобы признать в нем нормального человека, и еще там обычно ошивается какой-то похожий на туриста тип с рюкзаком и палкой, который, вероятно, там работает, они обшаривают глазами каждую машину, замедляющую ход перед перекрестком. Меня они тоже обшаривают глазами.

Теперь я боюсь заходить в больницу Тимера, но никогда этого не показываю. Сейчас, когда Гленда умерла, а Уинклер и его жена живут в Калифорнии, Клер приходится останавливаться в отеле — одной или с какой-нибудь из дочерей, а это ее не очень-то радует. Эта тошн***о***та сведет меня на тот свет. Я помню ее привкус, и от одного этого воспоминания меня начинает тошнить. Я здорово устал, устал, наверно, от старости и от

болезни, а теперь, я думаю, что меня и в самом деле уже тошнит от… всего этого! Я боюсь, что наступит такой момент, когда придется ложиться в больницу, а я не смогу доехать туда на своих ногах.

Мне не нужно говорить, что я прожил дольше, чем кто-нибудь из нас рассчитывал. Никто мне этого и не говорит. А если бы кто и попытался, то я бы взъерепенился, как тот прежний Лю Рабиновиц с Кони-Айленда, и действительно шею бы ему свернул. Тимер считает, что я устанавливаю своеобразный рекорд. А я ему говорю, что рекорд устанавливает он. Последний раз, когда я к нему приезжал, у него сидел специалист по костным тканям, изучавший компьютерный рентгенотомографический снимок моей ноги, и там все оказалось в порядке. Они начинают думать, что причиной моей болезни мог стать вирус. Меня это устраивает. Тимеру это все равно, потому что способ лечения остается неизменным, но меня радует, что я, вероятно, не передам это по наследству. У моих ребятишек появляются симптомы, если они появляются у меня. Я вижу это по их лицам, когда они говорят со мной. Вид у них такой, будто их тошнит. И каждый раз, когда они неважно себя чувствуют или просыпаются с оде-

ревенелой шеей, первая их мысль о том, чтобы сразу же нестись к врачу. Я не самый большой неудачник на свете, но теперь я думаю, это уже не имеет значения.

Я уже больше не молод. Мне нужно помнить об этом. А я все время забываю, потому что между ухудшениями чувствую себя как в молодости, и могу найти больше способов развлечься, чем большинство из тех, кого я знаю. Но теперь, когда Марти Капп умер на площадке для гольфа в Нью-Джерси, а потом от инфаркта умер и Стенли Леви, а Дэвид Гудман чуть не умер в тридцать восемь, а Бетти Абрамс умерла от рака в Лос-Анджелесе и Лила Гросс тоже от рака здесь, а Марио Пьюзо поставили сердечный клапан и Кейси Ли тоже, а у Джои Хеллера развился паралич от этого идиотского синдрома Гийана-Барре, о котором никто прежде не слышал, и теперь Джои нужно думать о том, насколько с возрастом будут слабеть его мускулы, мне пришлось привыкать к мысли о том, что и лавочка Лю Рабиновица закрывается, что я достиг того возраста, когда даже здоровые люди заболевают и умирают, и что я тоже не родился бессмертным. Я почувствовал вкус к французским винам и пристрастился к сырам во время наших карибских поездок на Мартинику

и Гваделупу, а Клер и не заметила, что я начал подчищать все наши лучшие припасы. Я опустошаю свой винный погреб. Сейчас мне труднее, чем раньше, вести счет большим суммам денег, и, может быть, это еще один признак того, что я постарел. Теперь, каждый раз отправляясь куда-нибудь, мы оба набираем с собой все больше всяких лекарств. Нетрудно было догадаться, что такие органы, как мой желудок, прекратят работать нормально, а рано или поздно начнут накапливаться серьезные болезни. Одна такая у меня уже есть.

Раньше я никогда такого не чувствовал, не чувствовал, что могу умереть, даже в армии, когда сражался в Европе простым пехотинцем. Я знал, что там опасно, я понял это сразу, но никогда не думал, что это может коснуться меня. Наше пополнение прибыло во Францию в августе, и мы оказались в городке Фалез после того, как там было большое сражение, и я видел там столько гниющих трупов немцев, сваленных в кучи на земле, что мне этого хватило на всю жизнь. И до окончания войны мертвецов я еще успел повидать немало. Я видел мертвых американцев. Я видел там Эйзенхауэра, обозревающего поле победоносного сражения, и мне показалось, что

его тоже мутит. Уже в Германии, сразу за бельгийской границей, в городке Гроссхау, вблизи другого городка под названием Гуртген, я стоял не дальше, чем в двух шагах от Хаммера, который докладывал мне, что немцы ушли и место чисто, и тут пуля снайпера угодила ему прямо в затылок. Падая мне на руки и оседая на снег, он все еще продолжал говорить, что опасности никакой нет. Меня ничуть не удивило, что убили его, а не меня. Я принимал как само собой разумеющееся, что мне всегда будет везти. Оказалось, что я был прав. Даже в лагере мне везло, и я не очень-то боялся. В тот день, когда мы, наконец, добрались туда после жуткой перевозки по железной дороге и нас построили в шеренгу для регистрации, я увидел, как худощавый офицер в чистой форме холодным своим взглядом уставился на другого пленного еврея по фамилии Сигель, и мне сразу не понравился его взгляд, и, даже не думая, я решил заговорить первым и сделать что-нибудь. Я был грязный, как и все остальные, вшивый и ужасно уставший, и от меня воняло из-за поноса, но я, напустив на себя робкий вид, подошел к офицеру и, очень вежливо улыбнувшись, спросил его:

— Bist Du auch Jude?[69]

Рот у него открылся, и он уставился на меня так, словно я сумасшедший. Ни на одном лице я еще не видел такого удивления. Мне до сих пор смешно, когда я вспоминаю об этом. Не думаю, что его в немецкой армии очень часто спрашивали, уж не еврей ли и он тоже.

— Sag das noch eininal,[70] — резко приказал он. Он не верил своим ушам.

Я сделал, что он сказал, и повторил свой вопрос. Он затряс головой, смеясь беззвучным смехом, и протянул мне печенье из маленького пакета, который был у него в руке.

— Нет, к сожалению, нет, — ответил он по-английски, смеясь. — Почему ты хочешь узнать, не еврей ли я?

Потому что я сам еврей, сказал я ему по-немецки и показал ему буковку J на моем жетоне. Меня зовут Рабиновиц, Люис Рабиновиц, продолжал я, а потом добавил еще кое-что, чтобы дать ему пищу для размышлений.

— Я немного говорю по-немецки.

Он опять ухмыльнулся с таким видом, будто

---

[69] Примечания: 69
Ты тоже еврей? (*нем.*).

[70] Примечания: 70
Повтори еще раз. (*нем.*).

никак не мог мне поверить, а потом отчалил и оставил нас одних.

— Эй, приятель, ты что, спятил? — сказал высокий парень сзади, у него были курчавые жесткие волосы и звали его Воннегут, он еще потом книги писал. Он тоже не мог в это поверить.

Они бы все равно догадались, подумал я, ведь я стоял в первой шеренге.

Я все еще не боялся.

Я влюбился в свою винтовку с первого дня, когда получил ее, и никому не нужно было мне напоминать почистить ее. После всего того старья на складе у старика, я словно на небесах оказался, когда взял в руки машину, которая была как новая, работала и ее можно было употребить с пользой. Я сильно верил во всякое оружие, которое у меня было. Когда я в качестве новичка и пополнения попал во взвод в Европе, я был счастлив получить АВБ — автоматическую винтовку Браунинга, даже после того как увидел, что те, кто понимает в этом толк, шарахаются от нее, а вскоре я узнал и почему. Солдат, имеющий в руках мощное огневое средство, вызывает на себя всю мощь огневых средств противника. Лучше уж было вообще не стрелять, если в этом не возникало необходимости. И я этому быстро

научился. Тот, кто раскрывал нашу позицию, когда не было никакой важной цели, кроме очередного немецкого солдата, рисковал получить от всех нас выволочку. Я верил в свои винтовки, но не помню, чтобы мне много приходилось из них стрелять. Сначала как капрал, а потом и командир взвода, я в основном говорил остальным из двенадцати, где они должны находиться и что делать. Мы пробивались по Франции к Германии, и, должен признаться, мы не часто видели живыми людей, в которых стреляли, мы их видели уже потом, когда шли мимо них, окоченело лежавших на земле. Это было жутковато. Мы видели перед собой пустое пространство, отслеживали вспышки выстрелов и направляли туда огонь, мы прятались от танков и броневиков, зарывались в землю от артиллерийских снарядов, но в своем подразделении мы почти никогда не видели людей, с которыми воевали, и, когда они не атаковали и не бомбардировали нас, это было как тир на Кони-Айленде или дешевый игровой зал.

Только игра эта была не из веселых. Мы жили в сырости, холоде и грязи. Кое-кто от страха сбивался в кучу под огневым валом, и мне приходилось все время орать, чтобы они отошли подальше от меня и друг от друга, как положено. Я не хотел,

чтобы кто-нибудь был поблизости и мог спугнуть мою счастливую судьбу.

Я прибыл как пополнение во взвод, уже получавший пополнения, и быстро сообразил, что это значило. Никому не удавалось провоевать долго. Единственный, кто оставался во взводе со дня Д, был Бьюкенен, мой сержант, и к тому времени, когда я туда попал, он уже был на пределе, а вскоре его срезало пулеметной очередью, когда он перебегал через дорогу из укрытия к какой-то там изгороди у городишка Гроссхау в Гюртгенском лесу, который, как считалось, был чист. Потом еще у нас был Дэвид Крейг, который высадился в Нормандии на девятый день после дня Д и подбил «тигра», а скоро и сам попал в госпиталь с ранением в ногу от разрыва снаряда в окрестностях местечка под названием Лунвиль.

В тот день, когда случилась история с танком, Бьюкенен, получив приказ, не знал, что ему делать, и во все глаза смотрел на меня. Я видел, что беднягу всего трясет. При нас не было бронебойного оружия против «тигров». А этот танк накрыл огнем остальную часть нашего взвода.

Я сам принял решение.

— У кого базука? — спросил я и оглянулся вокруг. — Дэвид! Крейг! Ты пойдешь. Проберись

по улице между домов и подойди к нему сзади или сбоку.

— Черт возьми, Лю! — к этому времени он уже тоже успел наесться.

«Черт возьми», — подумал я и сказал:

— Я пойду с тобой. Понесу снаряды. А ты найдешь, куда бить. — Ракета из базуки не пробивала лобовую броню «тигра».

Наставления были что надо. Стрелять в шов орудийной башни. А еще раз — по гусеницам, если получится, и с расстояния не больше ста футов. Я нес четыре снаряда. Пройдя мимо домов и выйдя на окраину местечка, мы пошли по лощинке, в которой тек тонкий зеленоватый ручеек, потом лощинка делала поворот, а за ним, не дальше, чем в тридцати футах перед нами, мы увидели этот танк, оседлавший наш овражек. Все шестьдесят тонн этой громадины нависали прямо над нами, а из открытого люка торчал солдат с биноклем, на лице у него была улыбка, которая сразу же вывела меня из себя, и желвак у меня на щеке натянулся и стал дергаться. Мы не производили ни звука. Но я все равно приложил палец к губам, вставил снаряд и подключил проводку. Крейг прежде охотился в Индиане. Он попал точно в цель. Когда снаряд взорвался,

бинокль отлетел в сторону, а голова у немца повисла и он провалился вниз и исчез из вида. Танк начал сдавать назад. Второй выстрел попал по гусенице, и колеса перестали крутиться. Мы смотрели достаточно долго и видели, как другие ребята из нашего взвода, пробегая мимо танка, набросали внутрь гранат и он загорелся.

За это меня с Крейгом представили к Бронзовой звезде. Но он, не успев получить свою, был ранен в бедро разрывным снарядом неподалеку от местечка под названием Лунвиль, и я тоже свою не получил, потому что попал в плен. Когда был ранен Крейг, ярдах в пяти от меня с другой стороны убило парнишку, которому тем же снарядом раскроило череп, а меня и не задело. Этот разрывной снаряд выбил восьмерых из двенадцати.

Тот немецкий солдат в танке был одним из немногих немецких солдат из тех, что я видел живым или не захваченным в плен, не считая тех, которые взяли в плен меня, а уж они-то выглядели как новенькие.

В декабре в Гюртгенском лесу выпал снег, и мы знали, что домой на Рождество не вернемся. Дэвид Крейг, может, и вернется, но не мы.

В середине месяца нас в спешке погрузили по машинам, чтобы доставить на юг для пополне-

ния полка рядом с другим лесом, неподалеку от городка под названием Арденны. Когда мы туда прибыли и вылезли из машин, на прогалинке нас встретил капитан, и, как только мы подтянулись, чтобы выслушать его, он заявил:

— Солдаты, мы окружены.

У нас тогда был смешной парень по фамилии Брукс, и он начал вопить:

— Окружены? Как мы можем быть окружены? Мы только что прибыли сюда. Как бы мы смогли сюда прибыть, если мы все окружены?

Оказалось, что мы и правда окружены. Немцы прорвались через этот самый лес, и это уже было совсем не смешно.

А на следующий день мы узнали, нам об этом просто сообщили, что мы сдались, все мы, весь полк.

Как это могло случиться? Мы были вооружены, мы добрались до места назначения, мы были экипированы. Но кто-то за кулисами сдал нас всех. Мы должны были сложить оружие на землю и ждать, когда нас возьмут в плен. Бессмыслица какая-то.

— Капитан, а мы можем попробовать прорваться назад, бежать? — нервно предложил кто-то.

— Когда я бегу, я перестаю быть командиром.

— А куда нам прорываться?

Никто не знал ответа на этот вопрос.

Десятеро из нас забрались в легкий грузовик с двумя водителями, которые везли нас сюда, и мы пустились в путь. Мы слили себе бензин с остальных машин, вот какая спокойная там была обстановка. Мы взяли дополнительные шерстяные шарфы, чтобы замотать лицо и шею, сухие носки. У нас были винтовки, карабины и гранаты. Между рубашкой и плотным армейским бельем я натолкал пакеты с сухим пайком, сигаретами, пакетики «Нескафе», сахар, спички, там же была моя старая надежная зажигалка «Зиппо», чтобы развести костер, пара свечей.

Далеко мы не ушли.

Мы даже не знали, куда едем. Мы направились в обратную сторону по дороге, по которой приехали, а потом, добравшись до перекрестка, повернули налево, на более широкую дорогу, полагая, что едем на запад, к нашей передовой. Но потом дорога запетляла, и скоро мы поняли, что опять едем на север. Мы ехали по следам других машин. Снег падал все сильнее. Нам стали попадаться джипы, штабные машины и грузовики, сброшенные с дороги и оставленные там. Потом стали встречаться разбитые и сожженные

машины. Некоторые все еще дымились. Окна были выбиты. В некоторых мы видели убитых. Мы слышали выстрелы винтовок, минометов, пулеметов, рожки, странные свистки. Когда и наш грузовик затормозил и съехал на обочину, мы вышли и разбились на группки поменьше, чтобы попытаться пробиться по отдельности пешком.

Я хлюпал в грязи по одной стороне дороги, потом, преодолев подъем, бросился в укрытие на другой стороне, скользя и чуть не падая, я что было сил пробирался вперед. Со мной шли двое других. Вскоре мы услышали машины, лай собак, потом голоса, выкрикивающие команды по-немецки. Мы разбежались в разные стороны и попрятались на земле. Они обнаружили нас без труда. Они вышли прямо на нас из вихря падающих снежинок, и не успели мы понять, что к чему, как на нас уже были наставлены их автоматы. Они были одеты в белую форму, которая терялась на фоне снега, и все, что у них было, казалось совсем новеньким. А мы были что собачье дерьмо, как сказал этот парень, Воннегут, когда я его увидел на железнодорожной станции, а потом, позднее, он так и написал в своей книге; мне об этом говорила Клер и мои ребята тоже.

Они всех нас схватили, всех двенадцать чело-

век, и у них еще было несколько сотен, к которым мы присоединились, когда они перевезли нас туда. Они затолкали нас в грузовики, которые перевезли нас через реку, называвшуюся, как я потом выяснил, Рейн, и высадили на большой железнодорожной станции, где мы и сидели в унынии, пока на боковую ветку не подали воинский состав из товарных вагонов. Оттуда высыпали немецкие солдаты и поспешили в грузовики и штабные автомашины, которые их ждали. Мы увидели целое подразделение в американской форме с повязками военной полиции и в белых касках, и мы задавали себе вопрос, что, черт побери, происходит. Это была Бюльжская битва, и они здорово надавали нам по жопе, но мы узнали об этом только полгода спустя.

Мы провели три ночи и целых три дня в этих самых вагонах. Мы спали стоя, сидя, на корточках, лежа, когда удавалось найти место. Туалетной бумаги у нас не было. Им было плевать, как мы оправлялись. Мы пользовались касками. Вместе с носовыми платками у нас кончилась и стыдливость. Столько времени потребовалось, чтобы доставить нас в тот большой лагерь для военнопленных, расположенный в глубоком тылу, почти у другой границы Германии. У них там

был временный лагерь для британских солдат. Мы узнали лозунг на воротах забора из колючей проволоки. Там был и еще один — для русских. Был и еще — для других европейцев, где сидел тот парень по имени Швейк, с которым я познакомился позднее. А мы попали в еще один — для американцев. Некоторые из англичан, с которыми я разговаривал, были в плену уже больше четырех лет. И тогда я подумал, что если смогли они, то смогу и я.

Недели полторы спустя после того, как я туда попал, офицер, с которым я заговорил в первый день, послал за мной. Он начал по-немецки.

— Вы говорите, что знаете немецкий?

— Jawohl, Herr Kommandant.[71]

— Дайте-ка я послушаю, — продолжал он по-английски. — Говорите только по-немецки.

Я говорю немного по-немецки, сказал я ему. Я знаю, что говорю не очень хорошо, но понимаю лучше.

— Как случилось, что вы знаете немецкий?

— Ich lernte es in der Schule.[72]

— Почему вы учили немецкий?

---

[71] Примечания: 71
Да, герр комендант. (*нем.*).

[72] Примечания: 72
Я учил его в школе. (*нем.*).

— Mann musste in der Schule eine andere Sprache lemen.[73]

— Вы сами выбрали немецкий?

— Nein, Herr Kommandante.[74]

— А другие?

— Fast alle studierten Französisch oder Spanisch.[75]

— У вас жуткий акцент.

— Ich weiss. Ich hatte keine Gelegenheit zu üben.[76]

— Почему вы выбрали немецкий?

Я позволил себе улыбнуться, когда сказал ему, что думал, что мне когда-нибудь предоставится случай поговорить на этом языке.

— Как видите, вы оказались правы, — сухо ответил он. — Я говорю сейчас с вами по-английски, потому что не хочу терять время. Вам нравится здесь, в лагере?

— Nein, Herr Kommandant.

---

[73] Примечания: 73
В школе нужно было учить какой-нибудь язык. (*нем.*).

[74] Примечания: 74
Нет, герр комендант. (*нем.*).

[75] Примечания: 75
Почти все учили французский или испанский. (*нем.*).

[76] Примечания: 76
Я знаю. У меня не было возможности попрактиковаться. (*нем.*).

— Почему?

Я не знал как по-немецки «скука», но я знал, как ему сказать, что мне нечего делать.

— Ich habe nicht genug zu tun hier. Hier sind zu viele Männer die nicht genug Arbeit Haben.[77]

— Я могу предложить кое-что получше. Работу в Дрездене, это здесь неподалеку. Как вы думаете, вы бы предпочли это?

— Я думаю, что…

— По-немецки.

— Jawohl, Herr Kommandant. Entschuldigen Sie.[78]

— В Дрездене вы будете в безопасности, так же как и здесь. Там нет военной промышленности, и войска там не дислоцированы, поэтому город бомбить не будут. Питаться вы будете чуть лучше, и у вас будет работа, чтобы вы могли себя занять. Мы посылаем туда человек сто. Нам разрешили это сделать. Вы согласны?

Я уже кивал.

---

[77] Примечания: 77

Мне здесь нечего делать. Здесь слишком много людей, у которых нет никакой работы. (*нем.*).

[78] Примечания: 78

Да, герр комендант. Извините. (*нем.*).

— Ich würde auch gerne gehen.[79]

— Вы будете полезны как переводчик. Охранники там люди необразованные. Они либо старики, либо очень молодые, вы сами увидите. Работа тоже не должна вызвать возражений. Вы будете делать пищевые витамины, в основном для беременных женщин. Вас это все еще устраивает?

— Ja, das gefält mit sehr, Herr Kommandant, wenn es nicht verboten ist.[80]

— Это разрешено. Но, — сказал он после паузы и пожал плечами, чтобы дать мне понять, что здесь есть одно «но», — мы можем отправлять на работы только рядовых. Это все, что разрешается правилами Женевской конвенции. Нам не разрешается посылать на работы офицеров, даже унтер-офицеров. А вы — сержант. Даже когда они изъявляют желание.

— Was kann ich tun? — спросил я. — Ich glaube Sie würden nicht mit mir reden, wenn Sie wüssten dass ich nicht gehen kann.[81] — Зачем же он тогда

---

[79] Примечания: 79

Я бы тоже охотно поехал. (*нем.*).

[80] Примечания: 80

Да, меня это вполне устраивает, если это не запрещено. (*нем.*).

[81] Примечания: 81

Что же я могу сделать? Я думаю, вы бы не стали говорить со мной об этом, если бы знали, что я не могу туда поехать. (*нем.*).

послал за мной, если не знает никакой лазейки?

— Herr Kommandant, — напомнил он.

— Herr Kommandant.

Он снял крышку со стоявшей у него на столе коробочки и пододвинул ко мне половинку лезвия бритвы.

— Если вы спорете сержантские нашивки, то мы сможем поступать с вами как с простым солдатом. Вы ничего не потеряете, нигде не лишитесь никаких привилегий, ни здесь, ни дома. Когда будете уходить, оставьте вон там бритву и ваши сержантские нашивки, если все же решите расстаться с ними.

Дрезден был, наверно, самым приятным городом из тех, что я видел. Конечно, тогда я еще видел не так-то много настоящих городов. Только Манхеттен, а потом несколько улиц Лондона, в основном пивнушки и спальни. Посередине протекала река, а церквей там было столько, сколько я за всю жизнь не видел — со шпилями, куполами и крестами наверху. На большой площади там был оперный театр, а в другом месте вокруг статуи на коне со здоровенным крупом стояли ряды палаток, поставленных для беженцев, которые наводнили город, убегая от русских, которые наступали с востока. Город работал.

Регулярно ходили троллейбусы. Дети посещали школы. Люди по утрам отправлялись на работу, женщины и старики. У единственного парня нашего возраста, который попался нам на глаза, вместо руки была культя, а рукав — приколот булавкой. В театрах давали постановки. Большой металлический щит рекламировал сигареты «Енидзе». А недели две спустя появились афиши, сообщавшие о приезде в город цирка.

Нас поместили в здание, в котором раньше, когда у них еще был скот на убой, находилась скотобойня. Внизу был подвал, вырубленный прямо в скальной породе; раньше в подвале хранили мясо, а мы туда спускались, когда начинали реветь сирены и прилетали самолеты, чтобы бомбить где-то в других местах. Они всегда бомбили где-нибудь неподалеку другие объекты, имевшие большую военную ценность, чем мы. Днем это были американцы. По ночам — англичане. Нам были слышны разрывы бомб где-то вдалеке, и мы радовались, когда их слышали. Часто мы видели самолеты, они летели очень высоко и их было много.

Нашими охранниками были мальчишки до пятнадцати или старики с одышкой за шестьдесят, кроме одного крепкого на вид надзирателя,

который, как говорили, был украинцем и раз в несколько дней наведывался на нашу фабрику или в наше жилище, чтобы убедиться, что мы все еще там и что наше форменное обмундирование в сохранности. Когда кто-нибудь из нас сильно заболевал, они забирали его форму и аккуратно ее складывали. Русские подошли с одной стороны совсем близко, и кое-кто надеялся, в особенности этот украинец, бежать к нам под видом американца. Все женщины и девушки на фабрике были рабской силой. Большинство из них были польками, а некоторые из пожилых были похожи на моих тетушек и бабушку и даже на мою мать, только худее, гораздо худее. Я часто шутил для поддержания настроения и даже как бы пытался немного ухаживать. Когда кто-нибудь отпускал ответную шутку или смотрел на меня страстным взором, я начинал думать: «Черт побери, будет о чем рассказать». Я и с охранниками зубоскалил на этот счет, просил их найти местечко для меня и какой-нибудь Fräulein, чтобы мы там могли заняться Geschmuse.[82]

— Рабиновиц, ты спятил, — не раз говорил мне Воннегут. — Если ты хоть раз сделаешь это с нем-

---

[82] Примечания: 82
Любовью. (*нем.*).

кой, они тебя пристрелят.

Я был рад, что он меня предупредил. Он, вероятно, заметил, как я оглядываю девиц на улице, когда нас водят на работу или назад.

— Давайте устроим танцы, — решил я как-то раз. — Спорим, я смогу устроить здесь танцы, если нам удастся уговорить их дать нам какую-нибудь музыку.

— Только без меня, — сказал Швейк со своим жутким акцентом и опять повторил, что хочет всего лишь оставаться хорошим солдатом.

Воннегут тоже отрицательно покачал головой.

Я решил попробовать провернуть это в одиночку. Самолеты гудели в небе почти каждую ночь, и с каждым днем охранники мрачнели все больше.

— Herr Reichsmarschall,[83] — сказал я самому старому.

— Mein lieber Herr Rabinowitz,[84] — ответил он в тон мне.

— Ich möchte ein Fest haben und tanzen. Können wir Musik haben, zum Singen und Tanzen? Wir

---

[83] Примечания: 83
Герр рейхсмаршал. (*нем.*).

[84] Примечания: 84
Мой дорогой герр Рабинович. (*нем.*).

werden mehr arbeiten.[85]

— Mein lieber Herr Rabinowitz. — Они со мной тоже развлекались. — Es ist veiboten. Das ist nicht erlaubt.[86]

— Fragen Sie doch, bitte. Würden Sic das nicht auch gerne haben?[87]

— Es ist nicht erlaubt.[88]

Они были слишком напуганы и боялись спросить у кого-нибудь. Потом появились афиши о приезде цирка, и я решил по-настоящему попытаться попасть туда с Воннегутом и хорошим солдатом Швейком, втроем. Они и слышать об этом не хотели. А я видел, что нам терять нечего.

— А почему нет? Ей-богу, разве нам всем не хотелось бы? Пойдем, попросим его все вместе. Нам необходимо отдохнуть. Мы все здесь сдохнем от скуки, если нам и дальше придется ждать.

— Только без меня, — сказал Швейк на своем

---

[85] Примечания: 85

Я бы хотел устроить праздник с танцами. Где бы достать музыку, чтобы мы могли попеть и потанцевать? Мы станем лучше работать. (*нем.*).

[86] Примечания: 86

Мой дорогой герр Рабиновиц. Это запрещено. Это не разрешается. (*нем.*).

[87] Примечания: 87

Пожалуйста, узнайте все-таки. Разве вам тоже не было бы веселее? (*нем.*).

[88] Примечания: 88

Это не разрешается. (*нем.*).

замедленном английском. — Я нижайше прошу вашего прощения, Рабиновиц, но считаю, что с меня довольно и тех неприятностей, в которые я могу влипнуть, делая только то, что мне приказывают. Мне это все уже знакомо и больше, чем вы думаете, знакомо так, что вы даже представить себе не можете. Нижайше прошу вашего прощения…

— Ладно, ладно, — оборвал я его. — Я сделаю это сам.

В ту ночь бомбардировщики прилетели по нашу душу.

Днем американские самолеты летали низко и разрозненно и бомбили здания в различных частях города, и нам казалось странным, что бомбы ложатся так далеко друг от друга, а сбрасывают их куда-нибудь на дома. Мы не понимали — зачем это делают. А они просто создавали разрушения для более легкого распространения будущих пожаров, но мы об этом не знали. Когда вечером снова завыли сирены, мы, как обычно, спустились в наш подвал для хранения мяса под скотобойней. На этот раз мы там задержались. Не все было ясно. Сквозь стены нашего прорубленного в скале подвала и бетонные потолки мы слышали странные, сильные, глухие удары и

стуки, и нам казалось, что они не были похожи на разрывы бомб. Это были зажигательные снаряды. Вскоре лампы, свисавшие с потолка, погасли, и жужжание вентиляторов прекратилось. Электростанция перестала работать. Но воздух все равно проходил в вентиляционные отверстия, и мы могли дышать. Стал слышен необычный рев, он приблизился, усилился и продолжался мною часов. Он был похож на шум поезда, который, разрывая воздух, резко влетает в туннель, вот только он не прекращался, или на шум вагончика русских горок, на всем ходу устремляющегося вниз. Но он не ослабевал. Этот рев производил воздушный вихрь шириной в несколько миль, бушевавшим по окраинам огнем его засасывало в город, и он был такой же мощный, как циклон. Когда на рассвете шум, наконец, стал стихать, два охранника осторожно поднялись вверх по лестнице, чтобы попытаться выглянуть наружу. Когда они вернулись, на них лица не было.

— Es brennt. Alles brennt. Die ganze Stadt. Alles ist zerstöit.[89]

— Все горит, — перевел я таким же приглушенным голосом. — Города нет.

---

[89] Примечания: 89

Он горит. Все горит. Весь город. Все разрушено. (*нем.*).

Мы не могли себе представить, что это значит.

Утром, когда они вывели нас наружу под дождь, все остальные были мертвы. Мертвые валялись на улицах, обгоревшие до черноты, как головешки, и засыпанные серым пеплом, все еще выпадавшим из поднимавшегося повсюду дыма. Мертвецы лежали в почерневших домах, где выгорело все дерево, мертвецы лежали в подвалах. Церкви исчезли, а оперный театр покосился и упал на площадь. Лежал на боку троллейбус, тоже обгоревший. Столб дыма поднимался над крышей почерневшего остова железнодорожного вокзала, а капли дождя были черными от сажи и пепла и напомнили мне грязноватую воду из шланга, которой мы умывались, закончив работу на нашем складе старья. Мы увидели, что в дальнем конце парка деревья, все деревья, горят поодиночке, как факелы, как на городском празднике, и я подумал об искрящихся шутихах, о фейерверке на Кони-Айленде у Стиплчезского пирса, этими фейерверками я любовался каждый вторник по вечерам в летний сезон всю свою жизнь, и еще я подумал о сверкающих огнях Луна-парка. Наше здание — скотобойня, в которой мы жили — исчезло, как исчезли и все остальные здания в нашей части города. Мы сто-

яли не двигаясь больше часа, прежде чем кто-то подъехал к нам на машине и сказал, что нам делать, и эти люди в форме были ошеломлены не меньше нашего. Им потребовалось больше часа, чтобы решиться поставить точку и приказать нам выходить из города в направлении холмов и гор. Вокруг нас, насколько мы могли видеть, все были мертвы — мужчины, женщины и дети, все попугаи, кошки, собаки и канарейки. Мне было жалко их всех. Мне было жалко рабынь-полячек. Мне было жалко немцев.

Мне было жалко себя. Им до меня не было дела. Я едва сдержался, чтобы не заплакать. Неужели им было все равно, что здесь могли быть мы? Я так и не знаю, почему мы остались в живых.

Я понимал, что ровным счетом ничего не значил. Все это могло произойти и без меня и с тем же результатом. Я не значил ничего нигде, разве что дома для своей семьи и нескольких друзей. И я знал, что после этого и голосовать даже никогда не захочу. Но я голосовал за Трумена, потому что он был другом Израиля, а после Трумена я не голосовал ни разу. После ФДР я ни о ком из них не был высокого мнения и ни одного не уважал, и я не хочу, чтобы кто-нибудь из этих хвастливых ублюдков в обеих партиях хоть на секунду вооб-

разил, будто я поддерживаю их честолюбивые планы.

— Они не знают об этом, Лю, — сказал мне когда-то давным-давно Сэмми, улыбаясь, как он это нередко делал, этой своей улыбкой образованного человека. Он пытался пробудить во мне интерес к Адлаю Стивенсону, а потом позднее к Джону Кеннеди. — Они не знают, что ты их не поддерживаешь.

— Но я-то знаю, — ответил я. — И голосовать за них не собираюсь. Мы не в счет, и наши голоса тоже будут не в счет. Как ты думаешь, сколько времени тебе понадобится, чтобы тебя начало тошнить от Кеннеди?

Ему понадобилось на это меньше недели, еще инаугурационные торжества не успели закончиться, и я не думаю, что Сэмми голосовал за кого-нибудь после, наверно, Линдона Джонсона.

Я не очень-то слежу за тем, что происходит в мире, а если бы я и стал этим интересоваться, то вряд ли что-нибудь изменилось бы. У меня свои дела. Если случается что-нибудь важное, то мне об этом так или иначе становится известно. То, что я узнал, я запомнил, и это оказалось правдой. То, что я был в армии, не имело никакого значения, это вовсе не шло в счет. Если бы меня там не

было, ничего бы не изменилось, все было бы так же — пепел, дым, мертвые, конечный результат. Я никак не ускорил гибель Гитлера, я ничем не помог государству Израиль. Я не хочу, чтобы меня в чем-то упрекали или приписывали мне несуществующие заслуги. Единственное место, где со мной считались, — это дом с Клер и детьми. Не знаю, может, потом кому и понадобится, может, внукам, а пока я убрал подальше мою Бронзовую звезду, мои знаки различия пехотинца, полученную благодарность, сержантские нашивки, которые были у меня при увольнении, и наплечный знак с красной цифрой 1 Первой дивизии, Большой красной единицы, успевшей пройти сквозь ад, прежде чем я попал туда, и прошедшей через кое-что похуже ада, когда меня там уже не было. Теперь у нас четверо внуков. Я люблю всех в нашей семье, и чувствую, что готов уничтожить, может быть, даже убить по-настоящему, любого, кто надумал бы навредить кому-нибудь из них.

— Ты бы ему шею свернул? — с улыбкой сказал Сэмми во время своего последнего приезда.

— Непременно. — Я тоже улыбнулся. — Даже теперь.

Даже теперь.

Когда у меня вдруг в каком-нибудь месте снова

начинает появляться это, снайперы-радиационщики в больнице могут прицелиться и выжечь то, что им нравится называть новообразованием, но я-то знаю, что это еще одна злокачественная опухоль. Если это появляется снова в том месте, которое они называют диафрагмой, а я — животом, то меня и до, и после процедур мучит тошн***о***та, а когда меня тошнит, мне становится невыносима мысль о том, что, как я знаю, может в конце концов отправить меня на тот свет, не говоря уже о том, что приходится жить с этим. Но если ко мне заявляется Сэмми, то тошн***о***та превращается в тошнот***а***, потому что ему нравится играть роль, по его мнению, педагога, а по моему — хитрожопошника.

— Лю, скажи-ка мне, — спросил он. Он тихонько рассмеялся. — Сколько шей ты свернул за свою жизнь?

— Считая того парня на машине, который спер кошелек?

— Это же не было дракой, Лю. И ты не сворачивал ему шеи. Так сколько?

Я подумал минуту.

— Ни одной. Этого не требовалось. Всегда было достаточно только сказать об этом.

— А сколько раз ты дрался?

— За всю жизнь? — Я снова надолго задумался. — Всего один, Сэмми, — вспомнил я и на сей раз рассмеялся сам. — С тобой. Помнишь, в тот раз, когда ты пытался научить меня боксировать?

КНИГА ВОСЬМАЯ

22
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕЙНУ МЕЛИССА

Йоссарян, которому нравилось сравнивать себя с Зигфридом из «Götterdämmerung»,[90] отправился в собственное, как он стал выражаться впоследствии, путешествие по Рейну, начавшееся скоротечной любовной схваткой в дневное время, каковая у Зигфрида произошла на рассвете в его горном замке, а у Йоссаряна около полудня в его служебном кабинете фирмы «М и М» в Рокфеллеровском центре. Но путешествие Йоссаряна закончилось, к его удовольствию, четыре недели спустя в больнице, где в его истории болезни еще раз, после записей о пограничном состоянии и галлюцинаторном приступе СИБ, появилась запись о прекрасных физических кондициях, и где он получил пятьсот тысяч долларов и продал ботинок.

У Зигфрида была Брунгильда, теперь смертная, и пристанище в горах, которое они разделяли.

У Йоссаряна была его медицинская сестра, Мелисса Макинтош, существо, тоже в высшей

---

[90] Примечания: 90
«Гибель богов». (*нем.*).

степени человеческое, стол, пол, покрытый ковром, кожаное кресло и достаточно широкий старомодный подоконник в его кабинете в здании, недавно переименованном в здание «М и М», а ранее принадлежавшем издательству «Тайм-Лайф»; окно кабинета выходило на каток, на который Сэмми и Гленда ходили столько раз, что Сэмми теперь и счет потерял, Сэмми и Гленда, ставшие впоследствии мужем и женой, пока смерть не разделила их.

Йоссарян, кивая головой и шаря руками по ее телу, и на самом деле согласился с тем, что дверь в его кабинет не заперта, хотя и знал, что заперта, и с тем, что кто-нибудь может на самом деле войти и застать их в этом похотливом соитии, хотя и знал, что никто не войдет и войти не может. Его распаляли ее опасения; ее дрожь, сомнения и нерешительность пьянили его безумно, возбуждая в нем страсть и желание. Мелисса, словно благовоспитанная дама, испытывала ужас при мысли о том, что кто-то может стать нечаянным зрителем ее наготы и этой разнузданной и исступленной сексуальной раскованности; она, краснея, молила Бога о том, чтобы Йоссарян ради разнообразия закончил поскорее, но когда он закончил, рассмеялась и сообщила ему

о своей хитрости, проверяя тем временем, какие лекарства он взял с собой в дорогу, и готовясь вместе с ним отправиться в аэропорт, откуда он должен был вылететь в Кеношу, первый пункт своего путешествия. Наряду с необходимыми туалетными принадлежностями он взял с собой валиум от бессонницы, тиленол и адвил от болей в пояснице, маалокс от геморроя. К немалому его удивлению, в Кеношу, штат Висконсин, теперь был прямой рейс аэробуса.

Когда он застегнул молнию на своей сумке, зазвонил телефон.

— Гэффни, вам-то что надо?

— И вы не хотите меня поздравить? — У Гэффни, несмотря на явно недовольный тон Йоссаряна, был веселый голос.

— Вы опять подслушивали? — спросил Йоссарян, бросив взгляд на Мелиссу.

— Подслушивал что? — спросил Гэффни.

— Зачем вы звоните?

— Вы никак не хотите отдать мне должное, Джон.

— За что? Я наконец-то получил от вас счет. Вы не очень-то много берете.

— Я еще не очень-то много сделал. И потом, я благодарен вам за музыку. Вы и представить себе

не можете, какое наслаждение я испытываю, прослушивая наши записи. В это хмурое время года я люблю слушать «Бориса Годунова» и симфонии Брукнера.

— А «Кольцо» вы бы хотели послушать?

— Главным образом «Зигфрида». Его я слышу не очень часто.

— Я вам сообщу, когда надумаю ставить *Зигфрида*, — язвительно сказал Йоссарян.

— Я буду вам чрезвычайно признателен, Йо-Йо. Но я звоню вам по другому поводу.

— *Мистер* Гэффни, — сказал Йоссарян и сделал паузу, чтобы у собеседника не оставалось сомнений. — О чем вы, черт побери, говорите?

— Джон, мы что, снова перешли на официальный тон?

— Мы никогда не переходили на Джон и Джерри. Что вам надо?

— Похвалы, — ответил Гэффни. — Каждому хочется, чтобы его оценили по достоинству, если он сделал что-нибудь хорошо. Даже сеньору Гэффни.

— Похвалы за что, сеньор Гэффни?

Гэффни рассмеялся. Мелисса, присев на ручку кожаного дивана, заскрежетала по ногтям пилкой. Йоссарян скорчил ей угрожающую гримасу.

— За мои таланты, — говорил Гэффни. — Я предсказывал, что вы поедете в Висконсин на встречу с миссис Таппман. Разве я вам не говорил, что у вас будет пересадка в Чикаго на пути в Вашингтон к Милоу и Уинтергрину? Вы не спрашивали, как я узнал об этом.

— Я что, еду в Вашингтон? — Йоссарян был ошарашен.

— Вы получите факс от Милоу. М2 позвонит в аэропорт, чтобы вам напомнить. Вот он, сейчас как раз идет факс, верно? Я опять попал точно в цель.

— Так вы и в самом деле подслушивали, сукин вы сын?

— Подслушивал что?

— А может быть, и подглядывали. А зачем М2 будет мне звонить, если он сейчас внизу, в холле?

— Он с вашим сыном Майклом вернулся в здание АВАП и пытается решить, хочет ли он там жениться.

— На той девушке из семейства Максонов?

— Ему придется согласиться. У меня есть еще одна неплохая шутка, которая может вам понравиться, Джон.

— Я опоздаю на самолет.

— У вас масса времени. Вылет задержат почти

на час.

Йоссарян разразился смехом.

— Наконец-то вы ошиблись, Гэффни, — прокаркал он. — Я попросил свою секретаршу позвонить в аэропорт. Самолет вылетает по расписанию.

Гэффни тоже рассмеялся.

— Йо-Йо, у вас нет секретарши, а в справочном вам наврали. Вылет задержится на пятьдесят пять минут. А позвонить вы попросили свою медицинскую сестру.

— Нет у меня никакой медицинской сестры!

— Это согревает мне сердце. Пожалуйста, передайте Мелиссе Макинтош, что почка снова функционирует. Она будет счастлива узнать об этом.

— Какая почка?

— Вам должно быть стыдно, Йоссарян. Вы не всегда слушаете, когда она разговаривает с вами по телефону. Почка пациента-бельгийца. И если уж вы летите в Вашингтон, то почему бы вам не пригласить Мелиссу…

— Мелиссу, мистер Гэффни?

— Мисс Макинтош, мистер Йоссарян. Почему бы вам не пригласить ее с собой в Вашингтон? Уверен, она скажет, что ей очень бы этого хотелось. Она, наверно, никогда там не была. Она

может сходить в Национальную галерею, пока вы будете заняты с Милоу и Нудлсом Куком. И в Национальный музей воздухоплавания и аэронавтики Смитсоновского института.

Йоссарян прикрыл трубку рукой.

— Мелисса, я собираюсь заглянуть в Вашингтон на обратном пути. Ты не хочешь взять несколько дней и встретить меня там?

— Очень хочу, — ответила Мелисса. — Я там никогда не была. Пока ты будешь занят, я смогу зайти в Национальную галерею и в музей аэронавтики Смитсоновского института.

— Что она сказала? — спросил Джерри Гэффни.

Йоссарян ответил с ноткой уважения в голосе.

— Я думаю, вы знаете, что она сказала. Вы и правда очень таинственный человек, да? Я вас еще не раскусил.

— Я ответил на ваши вопросы.

— Я должен придумать новые. Когда мы можем встретиться?

— Вы что, не помните? В Чикаго, когда задержат вылет самолета, на который вы будете пересаживаться.

— Его задержат?

— Больше чем на час. Из-за непрогнозируемых снежных заносов в Айове и Канзасе.

— Но вы их уже спрогнозировали.

— Я много вижу и много слышу, Джон. Именно таким способом я и зарабатываю себе на жизнь. Так можно мне теперь испробовать свою шутку?

— Не сомневаюсь, что испробуете. И вы подслушивали, да? А может быть, и подглядывали.

— Что подслушивал?

— Вы что думаете, Гэффни, я такой уж простачок? Хотите услышать *мою* шутку? Джерри, идите в жопу.

— Неплохая шутка, Йо-Йо, — дружески сказал Гэффни, — хотя я и слышал ее раньше.

Йоссарян в жемчужно-сером лимузине, размышляя о всплывшей в разговоре с Гэффни опере «Зигфрид», вспомнил, что там heldentenor,[91] едва пригубив крови убитого дракона, обретает замечательную способность понимать язык птиц. Ему сказали, что он должен похитить золото, убить карлика, проникнуть к горе сквозь огненное кольцо и найти там Брунгильду, спящую заколдованным сном; все это на птичьем языке сообщалось юноше, который ни разу в жизни не видел женщины и отнюдь не с первого взгляда на дебелую Брунгильду сделал поразительное

---

[91] Примечания: 91
Ведущий тенор. (*нем.*).

открытие: *перед ним не мужчина*!

У Зигфрида были его птицы, а у Йоссаряна был его Гэффни, сообщивший, когда Йоссарян позвонил ему из машины, что в ветрах капеллана обнаружился тритий.

Медицинская сестра Мелисса Макинтош никогда прежде не слышала о подобных отклонениях в работе кишечника, но обещала спросить об этом у нескольких гастроэнтерологов, с которыми была в добрых отношениях.

Йоссарян не был уверен, что ему хочется этого.

Он был раздосадован и смущен тем вопросом, что пришел ему на ум, и ему было неловко задать его: назначали ли ей эти доктора свидания и спала ли она с ними, даже если их было всего лишь четверо или пятеро. Это лишний раз, к его неизъяснимому удовольствию, подтвердило, что он и в самом деле считал себя влюбленным. Такие уколы ревности были для него явлением чрезвычайно редким. Даже давным-давно, во время его страстного романа с Фрэнсис Бич, он, хотя сам и оставался почти моногамным, довольно безразлично допускал, что она в то же самое время, по жаргонному выражению той эпохи, «ложится» и под других, которые могут способствовать осуществлению ее честолюбиво-

го замысла сделать карьеру актрисы. Теперь он, как истинный эпикуреец, наслаждался эйфорией любовных иллюзий, которые вновь будоражили его кровь. Его ничто не смущало и не пугало, кроме того, что, пока его чувства пребывают в несвойственном ему взбудораженном состоянии, Майкл или другие могут пронюхать об этом.

В машине она держала его за руку, прижималась к его бедру, трогала пальцами завитки у него на затылке.

Зигфрид же с самого начала оказался в недобрых руках коварного карлика, который сам хотел заполучить золото дракона и вынашивал планы убийства Зигфрида, как только тот завладеет золотом.

Мелисса была предпочтительнее.

Она и ее подружка Анджела Мор, или Моркок, как называл ее теперь Йоссарян, вполне обоснованно не одобряли женатых мужчин, заводящих тайные романы, кроме тех женатых мужчин, которые заводили романы с ними, и Йоссарян был рад, что его последний развод стал делом окончательным. Он счел за лучшее не посвящать ее в то обстоятельство, что по завершении периода обольщения даже самых обаятельных женщин остаются только похоть и секс, а каприз

и фетишизм нередко распаляют мужчин его возраста больше, чем возбуждающие средства. Он уже планировал улететь с ней из Вашингтона последним рейсом и, усадив ее у иллюминатора, в полумраке салона за пятьдесят или около того минут полета предпринять успешную попытку снять с нее трусики. Если только она не наденет джинсы.

В отличие от Анджелы, она никогда не приводила устных свидетельств своего богатого и разнообразного амурного опыта, о наличии какового у них обеих самым откровенным и непристойным образом заявляла ее лучшая подружка, делившая с ней квартиру. В словаре Мелиссы не было непристойных выражений. Но она производила впечатление женщины, искушенной во всем, и ни в чем не обнаруживала неумения или незнания. Напротив, выяснилось, что ей известна пара-другая приемов, о которых он даже не догадывался. И она так неколебимо противилась разговорам о ее сексуальном прошлом, что вскоре он прекратил всякие расспросы.

— Кто такой Борис Годунов? — спросила она в машине.

— Это опера, которую я слушал вчера вечером,

когда ты пришла с работы. Ты заставила меня ее выключить, потому что хотела слушать свои сраные телевизионные новости.

— А когда ты вернешься, мы сможем вместе послушать «Кольцо»? — пожелала узнать она.

И опять, подумал он, у них обоих, по сравнению с их вагнеровскими прототипами, было большое преимущество.

Ведь добрая Брунгильда вкушала мало радостей после того, как Зигфрид отправился совершать свои подвиги, а когда он вернулся, чтобы схватить ее и передать другому мужчине, она знала лишь предательство, несчастья и ярость ревности. Ей и в голову не приходило, что, пока она строила заговор, приведший к его гибели, ему могут подсунуть зелье, от которого он начисто забудет о ней.

Йоссарян делал Мелиссу счастливой.

Ни одну другую женщину Йоссаряну еще не удалось сделать счастливой на долгое время. Он тоже понимал птичий язык.

Мелисса сочла его человеком знающим и великодушным, когда он решил, что она и в самом деле может оставить свою работу в штате больницы и иметь больше денег и свободного времени в качестве частной сестры-сиделки, если — и это

было очень большое *если* — она готова отказаться от оплачиваемых отпусков и гарантированной пенсии. Но ради своего обеспеченного будущего она должна решить, что *должна* вскоре выйти замуж за красивого или нет, да пусть хоть за деревенщину или олуха, об обаянии нужно забыть, главное, чтобы у него *обязательно* была пенсионная программа и чтобы по выходе на пенсию у него *непременно* был устойчивый доход, который он смог бы ей завещать. Мелисса слушала с таким восторгом, словно он ласкал и превозносил ее.

— А у тебя есть пенсионная программа?

— Забудь обо мне. Это должен быть кто-то другой.

Она решила, что он гениален.

Простое, случайно оброненное обещание, которое он ей дал вскоре после их знакомства в больнице, заметив у нее две нуждающиеся в замене серебряные пломбы в передних зубах, значило для нее больше, чем он предполагал; когда она смеялась, эти пломбы обнажались, и он заверил ее, что заменит их на фарфоровые коронки, если она будет следить, чтобы в ходе его лечения не было сделано никаких упущений и чтобы он вышел из больницы живым. И все это, будучи благополучно осуществлено, стало значить для

нее больше, чем все розы на длинных стеблях и нижнее белье от «Сакса», Пятая авеню, из «Секрета Виктории» и от «Фредерикса из Голливуда», и переполнило пьянящей благодарностью, подобную которой он ранее не наблюдал. Даже Фрэнсис Бич, так много получившая от Патрика, не умела быть благодарной.

Джон Йоссарян провел несколько ночей без сна, пребывая в смятенном состоянии: его пугала мысль о том, что эта женщина, с которой он просто развлекался, возможно, уже как бы и влюбилась в него. Он не был так уж уверен в том, что ему было нужно то, что он хотел.

После потрясения в душе ход его истинной любви был столь ровен, что Йоссарян впал в заблуждение, решив, будто происходящие с ним события носят умозрительный, воображаемый и сюрреалистический характер. В тот памятный вечер после разговора с Майклом они с Мелиссой отправились в кинотеатр, расположенный ниже уровня вестибюля в его многоэтажном доме; она не выказала никакого удивления, когда он положил ей руку на плечо, чтобы немного погладить ее шею, потом положил другую руку на ее колено с внутренней стороны — не найдется ли там для него каких-нибудь благ. Удивился *он*,

обнаружив, что ее сопротивление было чисто символическим. С приходом весны она перестала носить колготки. На ее коленях для изящной маскировки лежал жакет. Продвинувшись выше и почувствовав шелковистую ткань трусиков, а под ними — ласкающее прикосновение вьющихся волосков, он достиг всего, чего хотел, и был намерен остановиться. Но тут она сказала:

— Нам не обязательно заниматься этим здесь. — Она говорила с торжественностью хирурга, выносящего окончательный и неизбежный приговор. — Мы можем подняться наверх, в вашу квартиру.

Он обнаружил, что хочет досмотреть картину.

— Здесь нормально. И кино можно смотреть.

Она бросила взгляд на других зрителей.

— Мне здесь неловко. Я буду чувствовать себя лучше наверху.

Они так никогда и не узнали, чем кончилась эта картина.

— Так этим нельзя заниматься, — сказала она в его квартире, когда они успели пробыть там всего ничего. — Ты что, ничего не надеваешь?

— У меня удалены протоки. А ты разве не принимаешь таблетки?

— У меня перевязаны трубы. Но как насчет

СПИДа?

— Можешь посмотреть мой анализ крови. Он у меня висит в рамочке на стене.

— А мой ты не хочешь посмотреть?

— Я готов рискнуть. — Он накрыл ей рот рукой. — Бога ради, Мелисса, прекрати ты столько говорить.

Она согнула ноги, и он вошел между них, а потом уж они оба знали, *что* нужно делать.

Поздним утром на следующий день, когда Йоссаряну не оставалось ничего другого, как поверить, что они закончили, он, перебрав в памяти события прошедшей ночи, пришел к выводу, что никогда еще в своей жизни не выказывал таких мужских достоинств, не испытывал такого желания, не был столь изобретателен, эротичен, предупредителен и романтичен.

Это было замечательно; он насвистывал сквозь зубы, принимая душ после заключительного раза, потом перешел на синкопированный, жизнерадостный ритм возбуждающей и похотливой любовной темы из «Тристана». Во всем его амурном опыте не было ничего замечательнее этого, и в глубине души он знал, что больше никогда, никогда, ни единожды не пожелает пережить ничего подобного еще раз! Он полагал, что она

понимает неизбежность в дальнейшем резкого сокращения его сексуальной активности; возможно, он никогда более не найдет в себе желания, воли, страсти и элементарных физических сил возыметь охоту заняться любовью еще раз с нею или с какой-либо другой женщиной!

Он вспомнил Марка Твена, который в одном из лучших своих произведений использовал сравнение свечи с подсвечником, желая таким образом подчеркнуть, что в сексуальном плане о равенстве между мужчиной и женщиной не может быть и речи. Ведь подсвечник всегда готов.

А потом он услышал ее разговор по телефону.

— И после этого раза стало пять! — жизнерадостно сообщала она Анджеле, и ее лицо горело от возбуждения. — Нет, — продолжала она после нетерпеливой паузы. — Но колени у меня точно болят.

По его собственной субъективной оценке, счет был порядка пяти и трех восьмых, но будущее предстало перед ним в более благоприятном свете, когда он услышал, что и ее кости побаливают.

— Он столько всего обо всем знает, — продолжала она. — Он знает о норме прибыли, и о книгах, и об опере. Андж, я никогда в жизни не испытывала такого счастья.

Это вызвало у него некоторое замешательство, так как он вовсе не был уверен, что желает снова иметь дело с женщиной, которая никогда в жизни не испытывала такого счастья. Но тщеславие его было приятно польщено.

А потом произошло потрясение в душе. Выключив воду, он за закрытой дверью ванной услышал мужские голоса, ведущие какую-то хитроумную дискуссию. Он услышал женский, судя по интонации, голос, явно выражавший согласие. Это был какой-то заговор. Он завязал узлом полотенце у себя на талии и вышел из ванной, готовый встретить любые подстерегавшие его опасности. Но дела обстояли еще хуже, чем он мог предполагать.

Она включила телевизор и слушала новости.

Не было никакой войны, никаких выборов, не происходило расовых беспорядков, не случилось ни крупного пожара, ни шторма, ни землетрясения или авиакатастрофы — никаких новостей не было, а она слушала их по телевизору.

Но потом, одеваясь, он почувствовал аппетитный запах яичницы с беконом и поджариваемых в тосты ломтиков хлеба. Эти прожитые им в одиночестве двенадцать месяцев были самыми одинокими в его жизни, а он все еще продолжал

жить один.

Но потом он увидел, что она приправляет яичницу кетчупом, и ему пришлось перевести взгляд. Он взглянул на экран телевизора.

Две недели спустя он вдруг обнаружил, что начинает ее подготавливать:

— Мелисса, детка. — Его рука снова лежала на ее плече, и он рассеянно ласкал ее шею пальцем. — Позволь мне сказать тебе, что будет дальше. Это никак не связано с тобой. Просто это изменения, которые, как я знаю, происходят с мужчинами вроде меня, даже если у него женщина, которая ему очень не безразлична; мужчина, который большую часть времени предпочитает проводить в одиночестве, который много думает и фантазирует, на самом деле не очень-то любит отношения, в которых приходится идти на взаимные компромиссы, он большую часть времени хранит молчание, размышляет и безразличен ко всему, о чем может говорить кто-то другой; что бы ни делала женщина, его это не будет особенно трогать, до тех пор пока она помалкивает об этом и не действует ему на нервы. Это случалось раньше, со мной это случается всегда.

На каждый его довод она кивала головой, то ли соглашаясь, то ли просто пытаясь его понять.

— Я сама точно такая же, — начала она с серьезным видом, в глазах ее мелькали искорки, а губы блестели. — Я не выношу людей, которые много болтают или говорят со мной, когда я пытаюсь читать, пусть даже газету, или которые звонят по телефону, когда им нечего сказать, или рассказывают мне о том, что я уже знаю, или повторяются и прерывают меня.

— Извини, — прервал ее Йоссарян, поскольку ему показалось, что она высказалась не до конца. Он убил пару десятков минут в ванной. — Я правда думаю, — сказал он вернувшись, — что я слишком стар, а ты слишком молода.

— Ты не слишком стар.

— Я старше, чем кажусь.

— И я тоже. Я узнала, сколько тебе лет, по истории болезни в больнице.

Вот черт, подумал он.

— И еще я должен тебе сказать, что у меня не будет детей и никогда не будет собаки, и я не собираюсь покупать летний дом ни в Ист-Хэмптоне и ни в каком другом месте.

Справа и слева от его квартиры располагались внушительных размеров меблированные комнаты с ванными и местом для персонального телевизора, может быть, он мог перенести туда

свои свидания с Мелиссой и встречаться с ней за ужином. Но тут опять включался телевизор, и раздавались голоса, которые она не слушала. Ей никогда не удавалось попасть на что-нибудь интересное. Хотя любовь к телевидению была одним из тех пороков, которые он не мог простить женщине, он полагал, что с этой женщиной стоит попытаться наладить жизнь.

— Нет, я тебе не скажу, кто она, — ответил Йоссарян на вопрос Фрэнсис Бич после очередного бурного заседания ОКРКАМИМ, на котором Патрик Бич горячо поддержал анонимное предложение Йоссаряна, согласно которому финансовые проблемы музея искусств Метрополитен следовало уладить, избавившись от хранившихся в нем произведений искусства и продав застройщику недвижимость на Пятой авеню. — Она не из того круга женщин, который ты знаешь.

— Это подружка той самой соблазнительной австралийки по фамилии Мор, о которой ты все время говоришь?

— Моркок.

— Что?

— Патрик, ее зовут Моркок, а не Мор.

Патрик в недоумении скосил глаза.

— А я был готов поклясться, ты поправил меня

и сказал, что ее зовут Мор.

— Он и поправил, Патрик. Не обращай на него внимания. Это что, та самая медицинская сестра, о которой ты говорил? Мне было бы грустно думать, что ты упал настолько низко, что решил жениться на одной из моих подружек.

— Разве я сказал хоть одно слово о женитьбе? — запротестовал Йоссарян.

— Сказал, — рассмеялась Фрэнсис. — Ты похож на того слона, который всегда все забывает.

Неужели ему предстояла еще одна женитьба?

Колеблющемуся Йоссаряну не нужно было напоминать о немногих благах жизни в одиночестве. Ему не придется слышать, как кто-то разговаривает по телефону. На своем новом проигрывателе с автоматической заменой компактных дисков он мог целиком прослушивать «Лоэнгрина», «Бориса Годунова» или «Мейстерзингеров», или четыре полных симфонии Брукнера, мог крутить их от начала и до конца, купаясь в райских звуках музыки, которые не прерывал женский голос: «Ну, что это за музыка?», или «Тебе что, и правда это нравится?», или «Сделай, пожалуйста, потише. Я пытаюсь слушать новости по телевизору», или «Я говорю с сестрой по телефону». Он мог читать газету, не

опасаясь, что кто-нибудь может ухватить следующие страницы, которые он собирался прочесть.

Он полагал, что смог бы вынести еще один брак, вот только времени на новый развод у него не было.

23
КЕНОША

Такая неудобоваримая для мятущегося ума пища распирала голову Йоссаряна во время полета на запад в начале его путешествия на встречу с женой капеллана; единственной целью этого визита было теперь выражение сочувствия и взаимное признание позорного поражения. Когда она увидела его в аэропорту, на ее лице отразилось разочарование, которое она не в силах была скрыть.

Каждый из них надеялся встретить кого-нибудь помоложе.

Герой Зигфрид, как вспомнил впоследствии Йоссарян, отправился совершать свои подвиги в роли галерного раба, сидя за веслами лодки, в которой находилась лошадь Брунгильды, и вскоре, оказавшись тет-а-тет с другой женщиной, без излишних проволочек обручился с нею.

Йоссарян сидел в салоне первого класса, и никакие безумные фантазии подобного рода не тревожили его.

Зигфриду, чтобы предъявить свои права на

женщину Брунгильду, пришлось вскарабкиваться на гору и пробираться сквозь огонь.

У Йоссаряна была Мелисса, сама летевшая в Вашингтон.

Когда все это закончилось и, оглядываясь назад, он обдумывал пародию для журнала «Нью-Йоркер», он пришел к выводу, что его путешествие в сравнении с путешествием вагнеровского героя прошло весьма удачно.

Обогатившись на полмиллиона долларов, он оказался перед трудным выбором, но остался при этом в живых и мог этот выбор сделать.

Зигфрид в конце путешествия был мертв; Брунгильда была мертва, была мертва даже лошадь; Вальхалла перестала существовать, вместе с нею ушли и боги; композитор ликовал, а его сладострастная музыка тем временем торжественно затихала, как неуловимый сон, потому что такова уж расчетливая природа искусства и художника.

Йоссарян же мог с нетерпением ожидать в недалеком будущем возможности потрахаться снова. Он получил на это «добро» от своего доктора. Всю свою жизнь он любил женщин и большую часть этой своей жизни он был влюблен больше, чем в одну женщину сразу.

Маленький портовый город Кеноша на озере

Мичиган, штат Висконсин, расположенный всего лишь в двадцати пяти милях к югу от гораздо большего маленького городка Милуоки и имевший теперь аэропорт для приема реактивных лайнеров, переживал экономический подъем, который отцы города не в силах были объяснить. Местные социологи приписывали этот третьестепенный бум, возможно, в шутку, благоприятному климату. Открылось несколько малых предприятий с некоторым техническим уклоном, а в здании заброшенной и давно бездействовавшей фабрики какое-то агентство федерального правительства организовало лаборатории, за которыми, по слухам, стояло ЦРУ.

В зале ожидания нью-йоркского аэропорта Йоссарян обратил внимание на других пассажиров первого класса — все это были мужчины моложе него и в очень хорошем настроении. В нынешние времена так радуются только ученые во время отпуска. Разговаривая, они держали наготове карандаши, а говорили они в основном — что он и отметил с испугом — о тритии и дейтерии, о которых сам он знал мало, и о дейтериде лития, который, как они сказали ему в ответ на его вопрос, представлял собой соединение лития и тяжелой воды и, что еще более важно, являлся

наиболее предпочтительным взрывчатым веществом для наилучших водородных устройств.

— Неужели об этом всем известно? — Он недоумевал — почему это они говорят так открыто.

Да, конечно. Он может прочесть обо всем об этом в «Ядерном альманахе» и «Справочнике атомщика» Хогертона, и то, и другое продается, весьма вероятно, в отделе дешевых изданий.

Во время посадки он узнал нескольких направляющихся в бизнес-класс проституток и двух девиц из секс-клубов в его многоэтажном доме, подрабатывавших в качестве уличных приманок вблизи коктейль-баров и расположенных у входа банкоматов. Девицы проживали в его же доме. В экономическом классе кучковались группки бездомных, которые каким-то образом смогли приобрести авиабилеты, чтобы покинуть неприветливые улицы Нью-Йорка и стать бездомными в Висконсине. Перед путешествием они вымылись, возможно, в туалетах здания АВАП, где плакаты, созданные когда-то Майклом, все еще строго предупреждали, что курить, сорить, трахаться, отсасываться, бриться, мыться и стирать категорически запрещается как в раковинах, так и в туалетных кабинах, что алкоголь может быть вреден беременным женщинам и что анальное

сношение может привести к инфицированию ВИЧ и гепатитом. Плакаты Майкла получили призы за художественные достоинства. Ручной багаж этих пассажиров состоял из тележек, используемых в универсамах, и бумажных пакетов. Йоссарян был уверен, что видел, как в самом хвосте самолета заняла место крупная черная женщина с шишковатыми меланомными родимыми пятнами, та самая, которая в одной розоватой сорочке смывала с себя грязь на пожарной лестнице в тот раз, когда он спускался вниз с Макбрайдом. Он пошарил глазами, но так и не нашел одноногую женщину-калеку, которую обычно три-четыре раза на дню насиловали какие-нибудь бродяги; не нашел он и нездорового вида блондинку, которую тоже видел на лестнице, когда та вяло латала дыру на белой блузе.

Еще Йоссаряну помнилось, что именно от физиков в самолете он услышал, не понимая ничего из сказанного, что в мире науки время непрерывно течет назад или вперед и вперед и назад и что частицы вещества могут двигаться сквозь время назад и вперед, не претерпевая никаких изменений. Почему же он не может делать то же самое? Еще он услышал, что субатомные частицы должны всегда одновременно находиться во всех

местах, где они могут находиться, и, исходя из этого, он начал размышлять о том, что в его ненаучном мире человеческих существ и сообществ все, что могло случиться, случилось, а все, что не случилось, и не могло случиться. Все, что *может* измениться, изменится, а то, что не меняется, не может измениться.

Миссис Карен Таппман оказалась хрупкой, застенчивой и нервной пожилой женщиной, у нее не было устоявшегося мнения относительно многих сторон того затруднительного положения, которое и стало причиной их встречи. Но в отношении одного события все сомнения вскоре могли рассеяться: они оба начинали понимать, что он сожалеет о своем приезде, а она сожалеет о том, что попросила его приехать. Скоро им нечего будет сказать друг другу. Ничего нового им не приходило в голову. Он честно признался, что узнал ее по фотографиям, которые, как он помнил, были у капеллана.

Она улыбнулась.

— Тогда мне было чуть больше тридцати. Теперь я тоже узнаю вас по фотографии в нашем кабинете. — Йоссаряну и в голову не приходило, что у капеллана может быть его фотография. — О, да. Я вам ее покажу. — Миссис Таппман повела

его в заднюю часть двухэтажного дома. — Он часто рассказывает о том, что вы чуть ли не жизнь ему спасли, когда дела там, за океаном, были совершенно ужасны.

— Я думаю, это он помог спасти мою. Он поддержал мое решение отказаться от дальнейших полетов. Я не знаю, обо всем ли он вам рассказывал.

— Я думаю, он никогда от меня ничего не утаивал.

— Я бы все равно настаивал на своем, но он дал мне ощущение моей правоты. А вот это и есть увеличенная копия той вашей фотографии с детьми, что он носил с собой в бумажнике.

Одна из стен кабинета была увешана фотографиями, сделанными на протяжении почти семидесяти лет; на некоторых из них капеллан был маленьким мальчиком, он держал удочку и улыбался щербатым ртом, на других была маленькая девочка — Карен Таппман в вечернем платьице. На фотографии, которую он помнил, была тридцатилетняя Карен Таппман, сидевшая в окружении своих трех маленьких детей, все четверо храбро смотрели в камеру и вид у них был печально одинокий и заброшенный, словно в преддверии близившейся утраты. Военные

фотографии висели отдельно.

Йоссарян остановился перед очень старой, выцветшей коричневатой фотографией отца капеллана на Первой мировой войне; маленькая фигурка в страхе застыла перед камерой, массивная каска была слишком тяжела для детского лица под ней, солдатик неловко держал винтовку с примкнутым штыком, к поясу его с одной стороны была прикреплена обтянутая материей фляга, а с другой — противогаз в матерчатой сумке.

— Мы когда-то хранили этот противогаз как сувенир, — сказала миссис Таппман, — и дети с ним играли. Не знаю, куда он делся. Тесть немного наглотался газа в одном из сражений и какое-то время пролежал в госпитале для ветеранов, но он себя берег и прожил долго. Он умер от рака легких прямо здесь, в этом доме. Теперь говорят, что он слишком много курил. А вот и та самая ваша фотография.

Йоссарян выдавил на лице улыбку.

— Я бы не сказал, что это моя фотография.

— А он так говорит, — сварливо ответила она, выказывая черту характера, о существовании которой у нее Йоссарян и не подозревал. — Он всем рассказывал: «А это мой друг Йоссарян. Он помог мне выжить, когда дела пошли совсем пло-

хо». Он всем это говорил. Боюсь, что и он много повторяется.

Йоссаряна тронула ее искренность. Это была фотография — из тех, что обычно делалась пресс-офицером эскадрильи — экипажа перед вылетом на задание. Он увидел себя на заднем плане между находящимися в фокусе фигурами и бомбардировщиком Б-25. На переднем плане расположились трое солдат, приписанных к экипажу на этот день, в ожидании посадки и взлета они с отсутствующим видом сидели на штабеле тысячефунтовых бомб без взрывателей. Йоссарян был таким же стройным и выглядел так же по-мальчишески, как и все остальные; он стоял с парашютом за спиной и в лихо заломленной офицерской фуражке, чуть повернув голову в сторону камеры. Капеллан под каждой фигурой написал фамилию. «Йоссарян» было написано самыми крупными буквами. Здесь снова был Сэмьюэл Зингер, Уильям Найт и Ховард Сноуден, все — сержанты.

— Один из этих молодых людей впоследствии был убит, — сказала миссис Таппман. — Кажется, вот этот. Сэмюэл Зингер.

— Нет, миссис Таппман. Убили Ховарда Сноудена.

— Вы уверены?

— Я был с ним в том полете.

— Вы все так молодо выглядите. Поджидая вас в аэропорту, я думала, может, вы все еще такой же.

— Мы были молоды, миссис Таппман.

— Слишком молоды, чтобы умирать.

— Я тоже так считал.

— Альберт произнес речь на его похоронах.

— Я тоже там был.

— Он говорил, что для него это было тяжелым испытанием. Он не знал, почему. И он почти не знал, что сказать. Как вы думаете, скоро его освободят и отпустят домой? — Карен Таппман увидела, как Йоссарян пожал плечами. — Он ведь ничего не нарушил. Ему теперь, должно быть, нелегко. И мне тоже. В доме напротив живет одна вдова, и мы вечерами играем в бридж. Наверно, мне тоже рано или поздно придется привыкать к вдовьей жизни. Но я не понимаю, почему я должна делать это сейчас.

— Но их и его здоровье тоже немного беспокоит.

— Мистер Йоссарян, — неодобрительно сказала она, резко сменив настроение. — Моему мужу уже за семьдесят. Если он болен, то почему он не может болеть здесь?

— Не могу с вами не согласиться.

— Но они, наверно, знают, что делают.

— Я никогда, никогда не мог согласиться с этим. Но они еще боятся и того, что он может взорваться.

Она поняла его фигурально.

— Альберт человек не вспыльчивый. Он никогда не взрывался.

Ни ей, ни ему не приходило в голову никаких новых идей по вызволению капеллана, который в местной полиции числился пропавшим, тогда как один из департаментов федерального правительства заявлял, что понятия не имеет ни о каком капеллане, другой департамент каждые пятнадцать дней переводил за него деньги и присылал от него приветы, а третий департамент категорически утверждал, что капеллана снова призвали в резерв армии.

— Они все очень подозрительны, правда? — поделился своими мыслями Йоссарян.

— Почему это? — спросила она.

На газеты, двух сенаторов, конгрессмена и Белый Дом это не произвело впечатления. Йоссарян своими глазами видел изменения в последней версии досье капеллана, составленного по Закону о свободе информации; вся информация о

нем — кроме определенных и неопределенных артиклей — теперь была вымарана. Номер социального страхования отсутствовал, и в досье осталась только копия написанного каракулями личного солдатского письма, датированного августом 1944 года; в письме было вымарано все, кроме обращения «Дорогая Мэри», а в конце оставалась только приписка цензора, которым был капеллан Таппман: «Тоскую по тебе ужасно! А. Т. Таппман, капеллан армии Соединенных Штатов». Йоссаряну показалось, что послание написано его почерком, но он не помнил, писал ли его. Он ничего не сказал Карен Таппман, потому что боялся расстроить ее сообщением о женщине по имени Мэри из прошлой жизни капеллана.

Согласно психологическому стереотипу, составленному ФБР, капеллан соответствовал модели того типа проповедника, который может убежать с другой женщиной, и в бюро возобладала эмпирическая версия, что женщина, с которой он убежал, была органисткой в его церкви.

Миссис Таппман вовсе не была убеждена в этом, потому что в церкви не было органистки, а у ее мужа со времени его ухода на пенсию не было ни церкви, ни прихожан.

Лишь в самом конце обеда Йоссарян преподнес

ей новость, которую узнал от Гэффни, разговаривая с ним по телефону во время полета над озером Мичиган. По ее просьбе они обедали рано и смогли сэкономить три доллара, получив скидку как ранние пташки. Для Йоссаряна это было в новинку. Еще одну скидку они получили как пожилые граждане, при этом от них даже не потребовали никаких удостоверений. Это для него тоже было в новинку. Десерт он заказал только потому, что она сделала это первой.

— Не хочу вас тревожить, миссис Таппман, — сказал он, когда они заканчивали есть, — но они еще думают, что, возможно, это (это слово далось ему не сразу) «чудо».

— Чудо? Почему это может встревожить меня?

— Некоторых людей это уже встревожило.

— Значит, в этом действительно может быть что-то тревожное. Кто это будет решать?

— Мы об этом никогда не узнаем.

— Но ведь они должны знать, что делают.

— Ну, я в этом не очень уверен.

— У них есть право удерживать его, да?

— Нет, у них нет такого права.

— Тогда почему мы ничего не можем сделать?

— У нас нет на это права.

— Не понимаю.

— Миссис Таппман, люди, наделенные властью, имеют право делать все, что мы не можем предотвратить. Эта та самая уловка, о которой мы с Альбертом узнали в армии. Именно это и происходит теперь.

— Тогда у нас не очень много надежды, да?

— Мы можем надеяться на чудо, на то, что они решат, что это чудо. Тогда им, может быть, придется выпустить его. Существует и вероятность того, что они могут назвать это, — он снова запнулся в нерешительности, — естественной эволюционной мутацией.

— Потому что из него выходит тяжелая вода? Из моего Альберта?

— Трудность применения теории чуда к данному случаю состоит в еще одном психологическом стереотипе. Теперь чудеса почти всегда творит женщина, обитающая и теплом климате. Это, если вы мне позволите такую вольность, полногрудая женщина. Ваш муж просто не вписывается в эту модель.

— Неужели? — Это произнесенное с холодным достоинством слово прозвучало резким протестом. — Мистер Йоссарян, — продолжала она с выражением агрессивной уверенности на язвительном лице, — я хочу рассказать вам кое-что, о

чем мы никогда никому не говорили, даже детям. Мой муж один раз уже был свидетелем чуда. Видения. Да. Это видение было ему в армии, и оно возвратило ему веру в тот самый момент, когда он был готов публично отречься от нее, заявить, что больше не может верить. Так-то вот.

Спустя мгновение, во время которого он со страхом думал, что рассердил ее, Йоссарян напитался мужеством от этого проявления воинственного духа.

— А почему он не хотел никому говорить об этом?

— Это видение было только ему, а не всем.

— Могу я передать эти сведения?

— Это было во время похорон на Пьяносе, — рассказывала она, — когда проходила заупокойная служба по юному Сэмми Зингеру, о котором мы недавно говорили.

— Это был не Зингер, миссис Таппман. Это был Сноуден.

— Я уверена, что он говорил о Зингере.

— Это не имеет значения, но я оказывал ему первую помощь. Пожалуйста, продолжайте.

— Так вот, он служил заупокойную по этому Зингеру и чувствовал, что не может найти слов. Он именно так это об этом и рассказывает. И

тогда он взглянул на небеса, собираясь во всеуслышание объявить о том, что оставляет сан, отречься от веры в Господа, от религии, от справедливости, от морали, от сострадания, и вот, когда он уже готов был сделать это в присутствии других офицеров и солдат, смотревших на него, ему был дарован этот знак. Это было видение в образе человека. И этот человек сидел на дереве. Рядом с кладбищем. У него было скорбное лицо, он наблюдал за похоронной церемонией очень печальными глазами, и эти печальные глаза были устремлены на моего мужа.

— Миссис Таппман, — сказал Йоссарян, издав протяжный вздох и почувствовав камень на сердце. — Это был я.

— На дереве? — она издевательски выгнула брови. Такой взгляд он видел прежде у истинно верующих, у истинно верующих во что угодно, но ни у кого из них не было такой глубокой самоуверенности. — Это невозможно, — сообщила она ему с убежденностью едва ли не грубой. — Мистер Йоссарян, эта фигура была обнаженной.

Осторожно он спросил у нее:

— А ваш муж никогда вам не говорил, как это могло произойти?

— А как еще это могло произойти, мистер Йос-

сарян? Это несомненно был ангел.

— С крыльями?

— Вы сейчас богохульствуете. Крылья для чуда ему были не нужны. И вообще, зачем ангелу крылья? Мистер Йоссарян, я хочу, чтобы мой муж вернулся домой. Все остальное меня не интересует. — В голосе ее послышались слезы.

— Миссис Таппман, вы открыли мне глаза, — с жалостью и вновь разгоревшимся пылом сказал Йоссарян. Весь опыт его исполненной скептицизма жизни научил Йоссаряна тому, что убеждения, даже наивные убеждения, в конечном счете более продуктивны, чем пустота их полного отсутствия. — Я сделаю все, что в моих силах. Моя последняя надежда — в Вашингтоне, там, в Белом Доме, у меня есть человек, который кое-чем мне обязан.

— Пожалуйста, попросите его. Я хочу знать, что вы еще не оставили попыток.

— Я буду уговаривать, умолять его. По меньшей мере раз в день он имеет доступ к президенту.

— К гаденышу?

Когда она завезла его в мотель, было еще рано.

Возвращаясь из бара после трех двойных виски, он увидел на парковке красную «тойоту» из Нью-Йорка, в машине сидела уплетавшая что-то

женщина, и когда он остановился, чтобы разглядеть ее, женщина включила дальний свет фар и машина умчалась прочь, и он, пьяненько рассмеявшись, понял, что и «тойота», и женщина, вероятно, привиделись ему.

Он лежал в кровати, переваривая шоколадку с орехами и баночную кока-колу из автомата у входа, и никак не мог уснуть после переживаний дня, а лень мешала ему заняться чтением исполненного скрытого смысла художественного творения, которое он снова взял с собой, надеясь выкроить для него время. Это было дешевое издание произведений Томаса Манна, называвшееся «Смерть в Венеции и семь других рассказов». В последнее время более легкое чтение оказывалось для него даже более тяжелым. Даже почитаемому им «Нью-Йоркеру» лишь изредка хватало сил привлечь его внимание. Сплетни печатались теперь о знаменитостях, которые были ему не знакомы, а награды Академии в большинстве своем присуждались фильмам, которых он не знал, и актерам, которых он не то что не видел, но о которых даже не слышал.

Он скучал без Мелиссы, но радовался тому, что оказался здесь один, или, как он утешал себя, используя более уклончивую формулировку,

радовался тому, что он один, хотя и скучал без Мелиссы. Он отыскал станцию, передающую классическую музыку, и пришел в ужас, услышав, как немецкий хор Баха начинает исполнять отрывки из американской музыкальной комедии «Карусель». Он чуть не сломал свой средний палец, бросившись на ручку настройки. Со второй станцией ему повезло больше: ему попалось попурри, в котором передали детский хор из «La Boheme»,[92] а потом детский хор из «Кармен». А после этого за все усиливающимся аккомпанементом помех от отдаленной грозы он различил звуки наковален из немецкого «Das Rheingold»,[93] звуки, которые сопровождают богов, когда те спускаются в чрево земли, чтобы похитить золото у карликов и оплатить труд гигантов, построивших для них величественный новый дом — Вальхаллу; боги уже начали отступать от изначальных условий контракта, заключенного ими с гигантами. Гигантам была обещана богиня, дарующая вечную молодость, но им пришлось довольствоваться деньгами. Имея дело с богами, снова рассудил Йоссарян, чьи веки становились

---

[92] Примечания: 92
Богема. (*франц.*).

[93] Примечания: 93
Золото Рейна. (*нем.*).

все тяжелее, плату всегда лучше брать авансом.

Когда звуки наковален перешли в помехи, за помехами Йоссарян услышал слабо различимую несуразную музыкальную вакханалию возникающего из мелодии первобытного, дикого смеха, а потом на шипящем фоне электрических шумов неясно возник совершенно другой, одинокий, красивый звук — ангельский плач детского хора в поразительной полифонической скорбной мелодии, которую Йоссарян, как ему показалось, узнал, но не мог идентифицировать. Он помнил роман Томаса Манна, о котором когда-то собирался написать, и теперь в полузабытьи спрашивал себя, уж не скатывается ли он с шариков и не грезится ли ему, что он слушает тот самый «Апокалипсис» Леверкюна, о котором читал прежде. А еще через несколько секунд и этот ослабевающий радиосигнал затих, и в первобытной пустоте человеческого молчания осталось только настойчивое шипение потрескивающих и непобедимых электрических помех.

В эту ночь его действительно мучили сны, ему снилось, что он снова в своем многоэтажном доме в Нью-Йорке и что знакомая красная «тойота» с женщиной, уплетающей сахарные булочки, паркуется на то же самое место рядом с мотелем

в Кеноше, на дальней окраине которой пузатый, коренастый, бородатый средних лет еврей, работающий на ФБР, еле передвигая ноги, бродит туда-сюда, шевеля губами и кивая головой. Долговязый подозрительный рыжеволосый тип в костюме из ткани в полоску посматривал как бы невзначай, стоя на углу, в глазах у него сверкали искорки, а в руке он держал большой пластиковый стакан с оранджем, из которого торчала трубочка, в это же время за всеми ними осторожно вел наблюдение какой-то тип посмуглее и с характерными восточными чертами лица, одет он был крикливо в голубую рубашку с галстуком цвета ржавчины и однобортный пиджак из бежевой в елочку ткани с тонкой фиолетовой нитью. В тени робко прятался какой-то сомнительный тип в темном берете, он курил сигарету, засунув руки глубоко в карманы заляпанного грязью плаща, пуговицы которого были расстегнуты, чтобы одетый в него человек мог мгновенно и похотливо распахнуть полы и обнажить свое волосатое «я», предлагая отвратительное зрелище своего нижнего белья и паха. К концу своего сна Йоссарян имел весьма приятное краткое сношение со своей второй женой. Или это была его первая жена? Или обе? Он проснулся, виновато

думая о Мелиссе.

Когда он вышел из мотеля, чтобы позавтракать, на парковке снова стояла красная «тойота» с нью-йоркскими номерами, а в ней сидела та же женщина, уплетавшая какую-то еду. Когда он остановился, чтобы рассмотреть ее получше, машина рванулась с места, и он понял, что все это только его фантазии. Она не могла быть здесь.

24
«АПОКАЛИПСИС»

— А почему нет? — спросил у него Джерри Гэффни в аэропорту Чикаго. — Вы не можете не понимать, что с бомбардировщиком Милоу, с тяжелой водой капеллана, вашими двумя разводами, медицинской сестрой Мелиссой Макинтош, больным бельгийцем и этими подкатами к замужней женщине вы должны представлять интерес для других людей.

— Из Нью-Йорка до Кеноши всего за один день? Она не могла ехать с такой скоростью.

— Иногда, Джон, методы нашей работы непостижимы.

— Она мне снилась, Джерри. И вы тоже.

— Вы не можете винить за это нас. Ваши сны пока еще принадлежат вам. Вы уверены, что вы все это не нафантазировали?

— Свои сны?

— Да.

— По своим снам я и узнал вас, Гэффни. Я был уверен, что видел вас раньше.

— Я вам все время говорю об этом.

— Когда я в прошлом году лежал в больнице, вы были одним из типов, которые следили за мной, верно?

— Не за вами, Джон. Я проверял своих людей, которые сообщили по телефону о том, что они больны. У одного была стафилококковая инфекция, а у другого — пищевое отравление зараженным сальмонеллой…

— Сэндвичем с яйцом из больничного кафетерия, верно?

Прибыв в аэропорт, где царил хаос из-за отмененных по причине внезапной метели в Айове и Арканзасе рейсов, Йоссарян тут же обнаружил смуглого опрятного, одетого с иголочки человека среднего роста и со слегка восточным типом лица, человек, подняв вверх руку, размахивал билетом, привлекая таким образом внимание Йоссаряна.

— Мистер Гэффни? — спросил он.

— Я не мессия, — сказал Гэффни, рассмеявшись. — Давайте-ка присядем, выпьем кофе. У нас целый час. — Гэффни зарезервировал Йоссаряну место на следующий рейс в Вашингтон и теперь передал ему билет и посадочный талон. — Вы будете рады узнать, — казалось, эти слова доставляют ему удовольствие, — что по завершении

всего этого вы станете богаче. По моим данным, что-нибудь на полмиллиона. За вашу работу с Нудлсом Куком.

— Я не проводил никакой работы с Нудлсом Куком.

— Милоу попросит вас об этом. Я начинаю думать о вашей поездке как своего рода путешествии по Рейну.

— И я тоже.

— Это не может быть простым совпадением. Только у вашего более счастливый конец.

Гэффни был смугл, элегантен, любезен и обладал приятной внешностью; как он сказал Йоссаряну, предки у него, были родом из Турции, хотя сам он и родился в Нью-Йорке, в бруклинском Бенсонхерсте. У него была гладкая кожа, на затылке сияла плешь, а на висках волосы были коротко острижены; у него были черные брови. Его узкие карие глаза вместе с выступающими холмиками точеных скул придавали лицу интригующий вид, делавший его похожим на некоего космополита восточного происхождения. Одет он был безупречно, безукоризненно, в бежевый однобортный пиджак из ткани в елочку с тонкой фиолетовой нитью, бежевые брюки, бледно-голубую рубашку с галстуком цвета гу-

стой ржавчины.

— В моем сне вы были одеты точно так же. Вы были вчера в Кеноше?

— Нет-нет, Йо-Йо.

— Эту же одежду я видел во сне.

— Ваш сон невозможен, Йо-Йо, потому что я никогда не одеваюсь одинаково два дня подряд. Вчера, — продолжал Гэффни, заглянув в свою записную книжку и облизывая губы в явном предвкушении грядущего эффекта, — на мне был более темный твидовый пиджак с оранжевыми вкраплениями, брюки шоколадно-коричневого цвета, рубашка спокойного розового тона в тонкую вертикальную полоску и пестрый галстук красновато-коричневого, кобальтово-синего и янтарного цветов. Вам, Джон, это, может быть, и неизвестно, но я верю в опрятность. Опрятность производит впечатление. Каждый день я одеваюсь для какого-нибудь случая, а поэтому, когда случай представляется, я одет к этому случаю. Завтра, как я вижу по своим записям, если я поеду на юг, то надену костюм из ирландского льна овсяного цвета с зеленью, а если останусь на севере, то на мне будет двубортный синий блейзер с роговыми пуговицами и серые брюки. Трусы будут фланелевые. Джон, это можете сказать только

вы. Занимались ли вы сексом во сне?

— Вас это не касается, Джерри.

— Вы, кажется, занимаетесь этим, куда бы вы ни попали.

— И это вас не касается.

— Мне всегда снятся сексуальные сны в первую ночь, когда я выезжаю куда-нибудь один. Это одна из причин, по которой я люблю выезжать из города.

— Мистер Гэффни, это очень мило. Но меня это не касается.

— Когда я выезжаю куда-нибудь с миссис Гэффни, то видеть сны нет необходимости, она тоже любит заняться сексом сразу же, как только попадает в любую новую обстановку.

— Это тоже очень мило, но я не хочу это знать, и я не хочу, чтобы вы знали это обо мне.

— Вам следует больше думать о своей безопасности.

— Для этого-то я и нанял вас, черт побери. За мной следите вы, за мной следят другие, о которых я ни хера не знаю, и я хочу, чтобы это прекратилось. Я хочу вернуть себе свою частную жизнь.

— Тогда оставьте капеллана.

— У меня нет капеллана.

— Я-то об этом знаю, Йо-Йо, но вот они — нет.

— Я слишком стар для прозвища Йо-Йо.

— Так к вам обращаются ваши друзья.

— Назовите хоть одного, дубина.

— Я проверю. Но, обратившись к Гэффу, вы обратились по адресу. Я могу вам сказать, как они следят за вами, и я могу вас научить, как уходить от слежки, а потом я могу вам показать, к каким способам они прибегают, чтобы препятствовать кому-нибудь вроде вас, кто научился препятствовать их слежке.

— А вы не противоречите себе?

— Противоречу. Но мне удалось обнаружить четверых человек, следящих за вами; они очень ловко маскируются. Смотрите, вон идет человек, известный как «наш еврей из ФБР». Он пытается достать билет на Нью-Йорк. Вчера он был в Кеноше.

— Мне показалось, что я его где-то видел, но я не был уверен.

— Возможно, во сне. Он мерил шагами парковочную площадку у мотеля и читал вечернюю молитву. Сколько человек вы узнаете?

— По крайней мере, одного, — сказал Йоссарян, чувствуя просыпающийся интерес к контрразведывательной деятельности, в каковой они,

кажется, соучаствовали. — Мне даже и смотреть не надо. Высокий, веснушчатый, рыжеволосый, в костюме из ткани в полоску. Уже почти зима, а на нем костюм из ткани в полоску. Да? Готов поспорить, он стоит где-то там у стены или колонны, попивая лимонад из бумажного стаканчика.

— Это наш «Орандж Джулиус». Он хочет, чтобы его обнаруживали.

— Чтобы кто его обнаруживал?

— Я проверю.

— Нет, я сам проверю! — заявил Йоссарян. — Я поговорю с этим сукиным сыном и закрою вопрос раз и навсегда. А вы смотрите.

— У меня есть пистолет в наколенной кобуре.

— И у вас тоже?

— А у кого еще?

— У Макбрайда, моего приятеля.

— Из АВАП?

— Вы его знаете?

— Я там был, — сказал Гэффни. — Вы скоро пойдете туда еще раз, ведь со свадьбой уже решено.

— Решено? — Для Йоссаряна это было новостью.

На лице Гэффни снова появилось довольное выражение.

— Об этом еще не знает даже Милоу, а я знаю.

Можете заказывать икру. Пожалуйста, позвольте *мне* сообщить ему об этом. Нужно получить одобрение СЛУЖБЕЗа. Как вам нравится такое сокращение?

— Я уже слышал его раньше.

— Говорите поменьше этому агенту. Может оказаться, что он из ЦРУ.

Йоссарян был недоволен собой, потому что, направляясь к намеченной жертве, не чувствовал настоящего гнева.

— Привет, — с любопытством сказал ему этот тип. — В чем дело?

Йоссарян заговорил резким тоном.

— Это вас я видел вчера в Нью-Йорке? Вы следили за мной.

— Нет.

И на этом вопрос, казалось, был исчерпан.

— Вы были вчера в Нью-Йорке? — Властности в голосе Йоссаряна сильно поубавилось.

— Я был вчера во Флориде. — Его вежливость казалась маской, которую он никогда не снимал. — В Нью-Йорке у меня брат.

— Он похож на вас?

— Мы близнецы.

— Он федеральный агент?

— Я не обязан отвечать на этот вопрос.

— А вы?

— Я не знаю, кто вы такой.

— Я Йоссарян. Джон Йоссарян.

— Покажите мне ваше удостоверение.

— Вы оба вели за мной слежку, так?

— Зачем нам вести за вами слежку?

— Это-то я и хочу выяснить.

— Я не обязан вам ничего говорить. У вас нет удостоверения.

— У меня нет удостоверения, — упавший духом Йоссарян сообщил об этом Гэффни.

— У меня есть удостоверение. Дайте я попробую.

Не прошло и минуты, а Джерри Гэффни и тот тип в костюме из ткани в полоску идиллически болтали друг с другом, как старые друзья. Джерри вытащил бумажник и дал своему собеседнику что-то, показавшееся Йоссаряну визиткой, а потом, когда к ним резво подскочил полицейский и четыре или пять человек в штатском, которые тоже вполне могли быть полицейскими, Гэффни и им роздал такие же карточки, а потом и каждому в маленькой толпе зевак, окруживших их, и, наконец, двум молодым черным женщинам за прилавком, с которого они продавали хот-доги, сэндвичи в бумажных салфетках, крендельки с

крупными кристаллами кошерной соли и напитки, вроде «Орандж Джулиус». Наконец Гэффни вернулся, безмерно довольный собой. Говорил он приглушенным голосом, но отметил это только Йоссарян, потому что манеры Гэффни остались такими же невозмутимыми, как и прежде.

— Он не ведет за вами слежки, Джон, — сказал он, и если кто-нибудь наблюдал за ним, то вполне мог бы подумать, что он говорит о погоде. — Он ведет слежку за кем-то, кто ведет слежку за вами. Он хочет выяснить, что им удалось выяснить о вас.

— Кто, — потребовал ответа Йоссарян. — Который?

— Он еще не понял, — ответил Гэффни. — Может быть, это я. Кому-нибудь другому это могло бы показаться смешным, но я вижу, что вы не смеетесь. Джон, он думает, что вы, может быть, работаете на ЦРУ.

— Это клевета. Надеюсь, вы сказали ему, что это не так.

— Я не знаю, так это или не так. Но я ему ничего не скажу до тех пор, пока он не станет моим клиентом. Вот все, что я ему сказал. — Гэффни послал по столу еще одну визитку. — Вы тоже должны это взять.

Йоссарян изучал карточку, высоко подняв брови, потому что его собеседник был назван там владельцем агентства по торговле недвижимостью, имеющего отделения на океанском побережье штатов Нью-Йорк и Коннектикут и в прибрежных муниципалитетах Санта-Моники и Сан-Диего в нижней Калифорнии.

— Не уверен, что понял, — сказал Йоссарян.

— Крыша, — сказал Гэффни. — Приманка.

— Теперь я понял, — ухмыльнулся Йоссарян. — Это прикрытие для вашего детективного агентства.

— Вы поняли наоборот. Детективное агентство является крышей для моего бизнеса по торговле недвижимостью. Недвижимость приносит больше денег.

— Кажется, я вам не верю.

— Разве по моему виду похоже, что я шучу?

— Это невозможно понять.

— Я его завлекаю, — объяснил Джерри Гэффни. — Прямо в один из моих офисов. И делаю вид, будто считаю его клиентом, который собирается купить дом, а он тем временем пытается выяснить, кто я на самом деле.

— Вы хотите выяснить, что у него на уме?

— Я хочу продать ему дом, Джон. Именно так

я и получаю основную часть своих доходов. Это должно заинтересовать вас. У нас есть отличные дома в Ист-Хэмптоне для сдачи в сезонную, годовую и краткосрочную аренду следующим летом. А еще есть великолепные дома прямо на берегу, если собираетесь покупать.

— Мистер Гэффни, — сказал Йоссарян.

— Мы снова об этом?

— Теперь я знаю о вас еще меньше, чем знал раньше. Вы сказали, что я совершу эту поездку, и вот, пожалуйста, я ее совершаю. Вы предсказали метель, и вот вам, пожалуйста, метель.

— Ну, метеорология — это проще простого.

— Вы, кажется, знаете обо всем, что происходит на земной поверхности. Вы знаете достаточно, чтобы именоваться Богом.

— Торговля недвижимостью приносит больше денег, — ответил Гэффни. — Вот откуда я знаю, что Бога у нас нет. Потому что он бы тоже занимался недвижимостью. Ну, хорошая шутка, правда?

— Я слышал и похуже.

— У меня есть еще одна, которая может оказаться получше. Я еще немало знаю и о том, что происходит под землей. Я ведь тоже был под АВАП.

— И слышали собак?

— Конечно, — сказал Гэффни. — И видел следы Килроя. У меня есть связь и с ОКРКАМИМ, электронная связь, — добавил он, и его тонкие, чувственные губы, имевшие темно-желтый, болезненный оттенок, снова растянулись в характерной улыбке, которая была загадочной и как бы незавершенной. — Я даже, — не без гордости продолжал он, — встречался с мистером Тилью.

— С мистером Тилью? — повторил Йоссарян. — С каким мистером Тилью?

— С мистером Джорджем К. Тилью, — объяснил Гэффни. — С тем самым, который построил старый парк аттракционов «Стиплчез» на Кони-Айленде.

— Я думал, он уже умер.

— А он и умер.

— Это и есть ваша шутка?

— Вы смеетесь?

— Только улыбаюсь.

— Вы не можете сказать, что я не пытаюсь шутить, — сказал Гэффни. — Ну, идемте. Оглянитесь, если хотите. Это заставит их следовать за нами. Они не будут знать, сесть ли им на хвост Йоссаряну или мне. У вас будет спокойный перелет. Считайте этот эпизод антрактом, интермеццо

между Кеношей и вашими делами с Милоу и Нудлсом Куком. Это как музыка Вагнера к теме путешествия Зигфрида по Рейну, или похоронная музыка из «Götterdämmerung», или эта интерлюдия звякающих наковален в «Das Rheingold».

— Я слышал ее вчера ночью, в номере мотеля в Кеноше.

— Я знаю.

— И я узнал кое-что новое, чем можно помочь капеллану. Его жена считает, что ему уже однажды было явлено чудо.

— Это уже не новость, Джон. В Кеноше повсюду натыканы прослушивающие устройства. Но в этом, возможно, есть что-то полезное. А что касается Милоу, то вы можете предложить ему ботинок.

— Какой ботинок?

— Армейский. Может быть, официальный ботинок правительства США. С сигаретами он опоздал. А вот ботинки военным всегда будут нужны. И женщинам тоже. А может быть, и бюстгальтеры. Пожалуйста, передайте мой привет вашей невесте.

— Какой невесте? — отпрянул Йоссарян.

— Мисс Макинтош. — Гэффни выгнул брови почти в вопросительные знаки.

— Мисс Макинтош не является моей невестой, — запротестовал Йоссарян. — Она всего лишь моя медицинская сестра.

Гэффни затряс головой, изображая смех.

— Нет у вас медицинской сестры, Йо-Йо, — почти шаловливым тоном настаивал он. — Вы мне сто раз об этом говорили. Хотите, я посмотрю свои записи и пересчитаю?

— Гэффни, отправляйтесь на юг в своем ирландском льне или на север — в блейзере и фланелевых трусах. И заберите эти тени с собой.

— Всему свое время. Ведь вы любите немецких композиторов, да?

— А разве есть какие-нибудь другие? — ответил Йоссарян. — Если только вы не считаете итальянскую оперу.

— Шопен?

— Его вы найдете у Шуберта, — сказал Йоссарян. — А их обоих у Бетховена.

— Не совсем так. А как насчет самих немцев? — спросил Гэффни.

— Они не очень-то любят друг друга, правда? — ответил Йоссарян. — Я не знаю других людей с такой ярко выраженной враждебностью друг к другу.

— Кроме нас самих? — предположил Гэффни.

— Гэффни, вы слишком много знаете.

— Мне всегда было интересно учиться. — Гэффни признался в этом как бы неохотно. — Это оказалось полезным для моей работы. Скажите мне, Джон, — продолжал он, устремив на Йоссаряна взгляд, исполненный скрытого смысла, — вы слышали когда-нибудь о немецком композиторе по имени Адриан Леверкюн?

Йоссарян устремил на Гэффни взгляд, полный неподдельного испуга.

— Да, Джерри, слышал, — ответил он, пытаясь на вежливом непроницаемом смуглом лице отыскать хоть какое-то объяснение. — Я слышал об Адриане Леверкюне. Он написал ораторию под названием «Апокалипсис».

— Мне он известен по кантате «Плач Фауста».

— Я не думал, что она исполнялась.

— Исполнялась. Там есть такой трогательный детский хор и эта дьявольская часть — глиссандо взрослых голосов, заливающихся в яростном смехе. Этот смех и печальный хор всегда напоминают мне фотографии нацистских солдат — времен вашей войны, — гонящих в гетто на смерть еврейских детей.

— Это и есть «Апокалипсис», Джерри.

— Вы уверены?

— Абсолютно.

— Придется мне проверить. И не забудьте про ваш ботинок.

— Какой ботинок?

25
ВАШИНГТОН

— Что еще за ботинок, к херам собачьим? — насмешливо спросил Уинтергрин у Йоссаряна на следующем этапе его путешествия по Рейну. — Что такого выдающегося может быть в каком-то херовом ботинке?

— Это всего лишь идея, хер ее побери, — сказал Йоссарян в одном из номеров отеля, являвшегося частью вашингтонских офисов «П и П М и М». Для себя с Мелиссой он предпочел более новый отель сравнимой престижности и с более жизнерадостной клиентурой, отель, гордившийся — как с каким-то блаженным тщеславием вспоминал он впоследствии, лежа в больнице; состояние его стабилизировалось, а опасность повреждения мозга и паралича уже миновала — более разнообразным выбором суперпервосортных порнографических фильмов на всех языках ООН. — Ты же говорил, что тебе нужно изделие массового потребления.

— Но при чем здесь ботинок? Сегодня существует пятьдесят с хером обувных компаний,

выпускающих, к херам собачьим, ботинки для херов вроде нас с тобой.

— Но ни одна из них не наделена эксклюзивным правом выпускать официальные ботинки правительства США.

— Мужские или женские? — Милоу принялся взвешивать эту мысль.

— И те, и другие. Ведь теперь и женщин убивают на поле брани. — Йоссарян уже пожалел, что затеял этот разговор. — Ладно, забудем об этом. В бизнесе есть много такого, чего я не понимаю. Я до сих пор не понимаю, как это вы, ребята, покупали яйца по семь центов за штуку, продавали за пять и получали прибыль.

— Мы до сих пор так делаем, — похвастался Уинтергрин.

— Яйца портятся, — жалобным тоном посетовал Милоу. — И разбиваются. Я бы предпочел ботинки. Юджин, выясни-ка про ботинки.

— Я бы предпочел самолет, — ворчливо сказал Уинтергрин.

— А после самолета? Что, если угрозы войны больше не будет?

— Я это выясню.

— Я не очень доволен этим самолетом, — сказал Йоссарян.

— Ты опять собираешься бросить нас? — с издевкой в голосе спросил Уинтергрин. — Ты все время возражаешь и возражаешь.

Йоссаряна уколола эта насмешка, но он проигнорировал ее.

— Ваш «Шшшшшшш!» может уничтожить весь мир, верно?

— Ты подсматривал, — ответил Уинтергрин.

— И потом, ничего такого он не может, — с душевной болью сказал Милоу. — Мы сделали им эту уступку на заседании.

— Но, может, самолет Стрейнджлава обладает такой способностью? — продолжал язвить Уинтергрин.

— И именно поэтому, — сказал Милоу, — нам нужна встреча с Нудлсом Куком.

Йоссарян снова покачал головой.

— И атомная бомба меня тоже не радует. Она мне больше не нравится.

— Ты бы хотел, чтобы этот контракт достался кому-нибудь другому? — возразил Уинтергрин. — Кому же? Этому херу Стрейнджлаву?

— А бомбы у нас нет, — примирительно сказал Милоу. — Все, что у нас есть, так это планы создать самолет, который будет доставлять ее.

— И наш самолет не будет летать.

— Мы это гарантируем, Йоссарян. Даже письменно. Наши самолеты не будут летать, наши ракеты не будут стартовать. А если они и взлетят, то тут же упадут, а если и долетят, то не попадут в цель. Мы никогда не терпим неудачу. Это девиз нашей компании.

— Ты можешь прочесть его на шапке нашего бланка, — добавил Уинтергрин и продолжил, изображая на лице издевательскую улыбку. — Но позвольте мне спросить у вас, мистер Йо-Йо, какую страну вы бы хотели видеть самой сильной, если не нашу? Это та самая херова уловка, да?

— Та самая, верно, — вынужден был согласиться Йоссарян.

— А если мы не будем продавать наши херовы военные изделия всем и каждому, кто их хочет купить, то это сделают наши херовы друзья-союзники и конкуренты. И ты с этим ничего не можешь поделать. Время твоих херовых идеалов прошло. Если ты такой умный, то скажи мне, что бы ты, хер побери, стал делать, если бы руководил страной.

— Я бы тоже не знал, что делать, — признал Йоссарян и разозлился на себя за то, что уступает в споре. Раньше такого не случалось. — Но я знаю, что хотел бы иметь чистую совесть.

— Наша совесть чиста, — ответили оба.

— Я не хочу чувствовать себя виноватым.

— Это все дерьмо собачье, Йоссарян.

— И я не хочу нести ответственность.

— А это еще большее дерьмо, — возразил ему Уинтергрин. — Ты с этим ничего не можешь поделать, и ты будешь нести ответственность. Если этот мир будет уничтожен, то какая к херам разница, кто это сделает?

— По крайней мере, мои руки будут чистыми.

Уинтергрин грубо расхохотался.

— Они у тебя будут оторваны по локти, к херам собачьим, твои херовы чистые руки. И никто даже знать не будет, что они твои. Тебя даже не найдут.

— Иди ты в жопу, Уинтергрин! — сердито ответил Йоссарян. — Можешь отправляться прямо к чертям на сковородку вместе со своей чистой совестью! — Он отвернулся, кипя от гнева. — Жаль, что ты еще не сдох — хоть раз в жизни я бы получил от тебя хоть какое-то удовольствие.

— Йоссарян, Йоссарян, — заголосил Милоу. — Ну, прояви ты благоразумие. По крайней мере, одну вещь обо мне ты знаешь — я никогда не лгу.

— Если только обстоятельства его не вынужда-

ют, — добавил Уинтергрин.

— Я думаю, он это знает, Юджин. Я ничуть не менее нравствен иных прочих. Верно, Юджин?

— Несомненно, мистер Миндербиндер.

— Милоу, — спросил Йоссарян, — а ты в своей жизни сделал хоть раз что-нибудь бесчестное?

— Никогда, — Милоу ответил, как выстрелил. — Это было бы бесчестно. И в этом никогда не было необходимости.

— И именно поэтому, — сказал Уинтергрин, — нам нужна эта тайная встреча с Нудлсом Куком, чтобы убедить его тайно поговорить с президентом. Мы хотим раскрыть все карты.

— Йоссарян, — сказал Милоу, — разве тебе не безопаснее с нами? Наши самолеты не могут летать. Мы обладаем этой технологией. Пожалуйста, позвони Нудлсу Куку.

— Договорись с ним о встрече и прекрати, к херам собачьим, свою болтовню. И мы тоже хотим присутствовать.

— Вы мне не доверяете?

— Ты же сам говоришь, что ни хера не разбираешься в бизнесе.

— Ты говоришь, что от бизнеса впадаешь в прострацию.

— Да, а от чего я и в самом деле впадаю, к херам,

в пространию, — сказал Йоссарян сдаваясь, — так от того, что типы, вроде вас, очень хорошо разбираются в бизнесе.

Нудлс Кук быстро понял, что от него требуется.

— Знаю, знаю, — начал он после того, как Йоссарян представил их друг другу; Нудлс обращался непосредственно к Йоссаряну. — Ты считаешь, что я говно, да?

— Не совеем так, — без всякого удивления ответил Йоссарян; двое других наблюдали за ними. — Нудлс, когда люди думают о наследнике короля, они не обязательно думают о тебе.

— Не в бровь, а в глаз, — рассмеялся Нудлс. — Но мне нравится быть здесь. Пожалуйста, не спрашивай меня, почему. То, что они хотят, — продолжал он, — совершенно неприлично, неуместно, несостоятельно и, вполне вероятно, противозаконно. В обычной ситуации, джентльмены, я мог бы лоббировать что угодно. Но сейчас у нас в правительстве есть этика.

— Кто возглавляет наше министерство этики?

— Они оставляют эту должность вакантной, пока Портер Лавджой не выйдет из тюрьмы.

— У меня родилась мысль, — сказал Йоссарян, чувствуя, что мысль родилась хорошая. — Ведь тебе разрешено выступать с речами?

— Я выступаю с речами регулярно.

— И получать за них гонорары?

— Я бы не стал выступать, если бы мне не платили.

— Нудлс, — сказал Йоссарян, — мне кажется, эти джентльмены хотят, чтобы ты выступил с речью. В аудитории из одного человека. Президента. Ты должен порекомендовать ему купить их самолет. Мог бы ты произнести убедительную речь на эту тему?

— Я мог бы произнести очень убедительную речь на эту тему.

— А они тебе за это дали бы гонорар.

— Да, — сказал Милоу. — Мы бы дали вам гонорар.

— И какой же это был бы гонорар? — спросил Нудлс.

— Милоу? — Йоссарян отошел в сторону, потому что в бизнесе было много такого, чего он не понимал.

— Четыреста миллионов долларов, — сказал Милоу.

— Это справедливо, — ответил Нудлс таким же безмятежным голосом, словно и он не услышал ничего необычного, и именно тогда — с изумлением вспоминал впоследствии Йоссарян, убивая

время на больничной койке — Нудлс предложил ему заглянуть в игровую комнату президента; остальные уже отбыли на срочное финансовое совещание, на которое они спешили ретироваться еще во время разговора, потому что шутка Гэффни об антитрестовском одобрении женитьбы М2 на Кристине Максон, в конце концов, оказалась вовсе не шуткой.

— А тебе, Йоссарян… — начал Милоу, когда эта парочка расставалась с Йоссаряном.

— За ту замечательную идею, которая пришла тебе в голову… — экспансивно присоединился к Милоу Уинтергрин.

— Вот для чего он нам нужен, Юджин. Тебе, Йоссарян, мы в благодарность даем пятьсот тысяч долларов.

Йоссарян, не ждавший ничего, отреагировал без эмоций — учился он быстро.

— Это справедливо, — разочарованно сказал он.

Милоу, казалось, был смущен.

— Это чуть больше одного процента, — уязвленно настаивал он.

— И чуть меньше полутора процентов, которые мы обычно платим за хорошую идею, — сказал Йоссарян. — Но тем не менее, это справедливо.

— Йоссарян, — попытался убедить его Уинтергрин, — тебе почти семьдесят и ты неплохо обеспечен. Загляни себе в душу. Неужели для тебя имеет значение еще какая-то сотня тысяч долларов, неужели тебя волнует, если весь мир отправится в тартарары от ядерного взрыва после того, как тебя не станет?

Йоссарян хорошенько заглянул себе в душу и честно ответил.

— Нет. Но вы двое не моложе меня. Неужели для вас важно, заработаете вы себе еще больше миллионов или нет?

— Важно, — с чувством сказал Милоу.

— В этом-то и состоит главное различие между нами.

— Ну, теперь, когда мы одни, — сказал Нудлс. — Ты ведь и правда считаешь, что я говно?

— Не большее, чем я, — сказал Йоссарян.

— Ты с ума сошел! — воскликнул Нудлс Кук. — Разве нас можно сравнивать?! Ты посмотри, на что я только что согласился!

— Ведь это я сделал тебе такое предложение.

— Но я-то его принял! — возразил Нудлс. — Йоссарян, кроме меня, здесь есть еще девять наставников, которые так набиты говном, что тебе в жизни не сравняться с ними, да и мне до

них далеко.

— Сдаюсь, — сказал Йоссарян. — Нудлс Кук, ты — большее говно, чем я.

— Я рад, что ты смотришь на это моими глазами. А теперь позволь мне показать тебе нашу комнату для игр. Я становлюсь асом в видеоиграх, я играю лучше, чем кто бы то ни было. Он очень мною гордится.

Обновленный Овальный кабинет главы исполнительной власти был катастрофически уменьшен в размерах, чтобы освободить площадь для игровой комнаты, куда он теперь вел. В сжавшемся в размерах помещении, которое теперь могло с удобствами вместить не более трех-четырех человек, не считая президента, заседания проходили все реже и становились все короче, интриги становились проще, а всевозможные ширмы сооружались на скорую руку. У президента оставалось больше времени на видеоигры, и он находил их более похожими на настоящую жизнь, чем сама жизнь, о чем он как-то раз и заявил публично.

Утраченная в результате этих изменений площадь была компенсирована большим, более внушительным вторым помещением, которое вместе с пристройкой было достаточно про-

сторным и могло вместить кресла с прямыми спинками и игровые столики, самые разнообразные видеоэкраны, пульты управления и другие приспособления, стоявшие теперь в ожидании, словно механические слуги, вдоль овальных стен. Часть помещения, прилегающая ко входу, была названа МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ; здесь размещались отдельные игры, каждая из которых имела свое название — *Наполеоновские войны, Битва при Геттисберге, Битва при Булл-Ране, Битва при Антиетаме, Победа в Гренаде, Победа во Вьетнаме, Победа в Панама-сити, Победа в Перл-Харборе* и *Переигровка Войны в Заливе*. С развеселого плаката смотрел ослепительный морской пехотинец со щеками-яблочками, а под ним было написано:

САДИСЬ И ПОПРОБУЙ
ИГРАТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
ВЫИГРАТЬ МОЖЕТ ЛЮБАЯ СТОРОНА

Йоссарян попробовал игры под названием *Индианаполисские гонки, Бомбы сброшены, Уйти от призыва* и *Умри смеясь*. В самом почетном месте президентской игровой комнаты находился видеоэкран, размерами превосходивший все остальные и расположенный на столе, высотой,

размерами и ножками похожем на бильярдный; здесь же помещалась прозрачная контурная карта США, отливавшая различными оттенками зеленого, черного, синего, красного и коричневого цветов. На этой цветастой копии страны находилось множество электропоездов и путаное переплетение железнодорожных путей, которые пересекали континент в различных плоскостях и уходили в подземные туннели. Когда Нудлс с загадочной улыбкой нажал кнопку, которая включила яркую внутреннюю подсветку и привела в движение поезда, взору Йоссаряна предстала модель нового миниатюрного мира огромной и дьявольской сложности; этот мир функционировал под поверхностью континента на разных уровнях, простирался от границы до границы, вторгался в пределы Канады, достигая на севере Аляски, а на западе и востоке уходил в океаны. Игра эта называлась:

ТРИАЖ

Прежде всего на карте ему бросился в глаза маленький значок в полуостровном штате Флорида; значок имел форму домика, а рядом с ним располагалась надпись «Федеральный цитрусовый резервуар». Большое число железнодорожных

вагонов, двигающихся под землей, было оснащено ракетами, а на многих других стояли пушки и бронетранспортеры. Он увидел несколько санитарных поездов с красным крестом. Его глаза отыскали Федеральный Висконсинский сырный депозитарий на берегу озера Мичиган недалеко от Кеноши. Он заметил еще один Цитрусовый фруктовый резервуар в Калифорнии и всенациональную подземную впадину пицца-кабинетов и мясо-чуланов. На Саванна-ривер располагался ядерный реактор, о котором Йоссарян не знал. Имеющий форму звезды Вашингтон, округ Колумбия, был увеличен, закрашен синим цветом и помещен в белый кружочек; Йоссарян прочел там названия Белого Дома, закрытого загородного клуба «Горящее дерево», АЗОСПВВ, нового Национального военного кладбища, новейшего военного мемориала и госпиталя Уолтера Рида. А в земле, под каждым из них, если только Йоссарян правильно распознал то, что видел, располагалась точная копия наземного объекта, спрятанная в более низком ярусе. Из столичного города исходили стрелы, параллельные железнодорожным путям, ведущим по подземным маршрутам к различным местам назначения, включая закрытый загородный клуб «Сассапа-

рель» в Западной Вирджинии, Ливерморские лаборатории в Калифорнии, Центр медицинского контроля в Атланте, ожоговый центр в нью-йоркском госпитале и, как с огромным удивлением отметил Йоссарян, нью-йоркский же АВАП, автобусный вокзал, расположенный так близко к его нынешнему дому.

Он был поражен, обнаружив, что АВАП соединен с АЗОСПВВ и включен в местную сеть посредством подземного щупальца, который протянулся через засыпанный канал под Кэнал-стрит и стену под вставшим стеной Уолл-стрит. В Бруклине он увидел Кони-Айленд, символом которого на поверхности служила миниатюрная выкрашенная в красный цвет стальная конструкция фаллической формы, в которой Йоссарян узнал бездействующую парашютную вышку старого Стиплчез-парка. А под землей, на том, что показалось ему копией парка аттракционов «Стиплчез», находился рисунок, изображающий ухмыляющуюся физиономию с прямыми волосами и множеством зубов; эту физиономию Йоссарян тоже знал.

— С той разницей, что у нас все работает, — с гордостью сказал ему Нудлс. — Иначе их бы не было на нашей карте. Он заказал себе эту модель,

чтобы убедиться, что она ничуть не хуже той, что в видеоигре. Если и можно одним словом описать его жизненный принцип, так это «будь готов».

— Но это два слова, — поправил его Йоссарян.

— Раньше я тоже так думал, — сказал Нудлс, — но теперь я смотрю на это его глазами. Я и в гольф стал лучше играть.

— Так вот почему там эти клубы!

— Он вводит их в видеоигру для симметрии. Видишь там, в Вермонте? — Йоссарян увидел Федеральный депозитарий мороженого Бена и Джерри. — Он совсем недавно обнаружил его в видеоигре и теперь хочет иметь такой же. И еще у нас будет Häagen-Dazs.[94] Если когда-нибудь дойдет до этого, то мы сможем долго оставаться под землей, и он хочет быть уверенным, что не останется без своего мороженого и гольфа. Это конфиденциально, но у нас под «Горящим деревом» уже закончена площадка с девятью лунками, и она идентична той, что здесь на поверхности. Сейчас он как раз там, внизу, осваивает площадку, чтобы иметь преимущество над другими, когда придет время.

— А кто будет теми другими?

---

[94] Примечания: 94

Добрый день. (*датск.; фирменное название мороженого*).

— Те из нас, кто выбран для дальнейшей жизни, — ответил Нудлс, — и для того, чтобы руководить страной под землей, когда наверху мало что останется.

— Понятно. И когда же это случится?

— Когда он откроет чемоданчик и нажмет кнопку. Видишь эту вторую установку рядом с игрой? Это «Футбол».

— Какой футбол?

— Газетчики любят называть это «Футбол». Это устройство, которое запустит все наши самолеты и наступательно-оборонительное оружие, как только поступит сообщение о крупномасштабном нападении, или когда мы сами решим начать войну. Это непременно произойдет рано или поздно.

— Знаю. И что же будет потом?

— Мы спустимся вниз, Гаденыш и я, и будем там находиться, пока не остынут угли и не спадет радиация. Вместе с другими, которые выбраны для дальнейшей жизни.

— А кто выбирает?

— Национальный двухпартийный триаж-комитет. Они, конечно, выбрали себя и своих лучших друзей.

— А кто состоит в этом комитете?

— Никто толком не знает.

— А что будет со мной и моими лучшими друзьями?

— Всеми вами, конечно, можно пожертвовать.

— Это, по-моему, справедливо, — сказал Йоссарян.

— Жаль, что у нас сейчас нет времени сыграть, — сказал Нудлс. — Ух, посмотреть на нас, когда мы сражаемся за очищенную воду. Хочешь начать?

— У меня встреча с дамой в Смитсоновском музее аэронавтики.

— А я должен дать урок истории, когда он вернется со своего гольфа. Эта часть моей работы не очень легка.

— Ты узнаешь много нового? — поддразнил его Йоссарян.

— Мы оба узнаем много нового, — обиженно сказал Нудлс. — Слушай, Йоссарян, скоро День Благодарения, и мы должны говорить начистоту. Сколько ты хочешь?

— За что?

— За то, что добыл мне эту работу с произнесением речи. Естественно, тебе кое-что причитается. Назови свою цену.

— Нудлс, — осуждающе сказал Йоссарян, — я не

смог бы взять ничего. Это было бы взяткой. Мне не нужно ни цента.

— По-моему, это справедливо, — сказал Нудлс и ухмыльнулся. — Ты видишь, насколько я большее говно, чем ты? Поэтому я обязан тебе еще кое-чем.

— Вот что мне от тебя нужно, — позднее Йоссарян вспоминал, что его просьба была высказана серьезным голосом. — Я хочу, чтобы освободили капеллана.

И в этот момент Нудлс помрачнел.

— Я пытался. Здесь есть кое-какие осложнения. Они не знают, что с ним делать, и теперь даже жалеют, что вообще его нашли. Если бы они могли безопасно от него избавиться, как от радиоактивных отходов, я думаю, они бы это сделали.

После появления трития они вынуждены были ждать, что еще выйдет из капеллана. Плутоний был бы кошмаром. Но еще хуже было то, что литий, это предписанное ему лекарство, которое он принимал от своих депрессий, в сочетании с тяжелой водой давал дейтерид лития, используемый в водородных бомбах, а это могло привести к катастрофе.

26
ЙОССАРЯН

Нудлсу Куку нужно было готовиться к уроку истории, а Йоссаряна ждало свидание в музее. Йоссарян вспомнил Нудлса неделю спустя, когда подъехал близко к зданию АВАП и услышал тонкие звуки паровых свистков на ларьках торговцев жареным арахисом. Это снова вызвало в его памяти мелодичные фразы из «Шорохов леса» в «Зигфриде», и борьбу за то волшебное кольцо из похищенного золота, которое предположительно давало власть над всем миром любому, кто владел этим кольцом, но на самом деле приносило всем своим владельцам одни несчастья и вело их к гибели. Проходя через двери автобусного вокзала, он представил себе этого тевтонского героя, который на самом деле был всего лишь исландцем, у жилища дремлющего дракона; дракон спокойненько лежал себе там и никого не трогал. «Дай мне поспать», — так ворчливо благодарил он злосчастного короля-бога Вотана, который со скорбной, не оправдавшейся надеждой вернуть себе в виде благодарности это кольцо, крадучись

пришел туда, чтобы предупредить дракона о приближении бесстрашного героя.

У молодого Зигфрида был свой дракон, перед которым герой и должен был предстать, а у Йоссаряна были эти свирепые собаки внизу у входа в таинственный подземный мир подземных помещений, на осмотр которых у Макбрайда было теперь разрешение.

Оглядываясь назад, Йоссарян не мог припомнить никаких признаков того, что он отметил в себе позднее, лежа в больнице и размышляя о своем путешествии по Рейну как о литературном анекдоте: в тот самый день у него и начало двоиться в глазах, и в конечном счете он оказался в больнице, имея запутанные отношения с Мелиссой, получив свои полмиллиона долларов и продав ботинок.

Он подумал, что теперь, когда Германия объединилась и снова бурлила неонацистским насилием, «Нью-Йоркер» может ухватиться за эту язвительную мистификацию путешествия по Рейну современного американца — принадлежащего к среднему классу ассирийца Зигфрида сомнительного семитского происхождения, что было явным противоречием. Но сбивающие с толку посетители и врачи вскоре неизбежно

лишили его и свободного времени, и той оптимистической и полной творческой энергии составляющей, которая необходима для возрождения и реализации серьезных литературных замыслов.

Йоссарян не мог не восхищаться манерой, с которой бывалая Мелисса и даже Анджела умели превращаться в нечто невидимое в присутствии его детей или Фрэнсис и Патрика Бич, безропотно отходя на задний план или бесшумно выскальзывая из палаты. А потом люди стали возникать из ниоткуда по чистой случайности; там оказался даже старый Сэм Зингер, хвостовой стрелок, навещавший своего здоровенного приятеля, больного раком, и их странный, чудаковатый приятель из Калифорнии с пухлым лицом и измученными глазами, приехавший, чтобы найти Йоссаряна, который имел доступ к Милоу. Там, в мистической ретроспекции, возвратившей его к еще одной извращенной галлюцинации, произошла даже феерическая схватка с тяжело раненным во время боевых действий, раненый был весь в гипсе и бинтах и назывался Солдат в белом.

Зигфрид, развивал свою аналогию Йоссарян, поспешал, чтобы разбудить Брунгильду поцелуем, а перед этим обзавелся кольцом, которое

заработал убитый дракон, в тяжких трудах построивший вечную Вальхаллу для бессмертных богов, знавших, что и для них наступают сумеречные времена.

Йоссарян же поехал в такси и на уме у него было куда больше, чем всего лишь поцелуй для Мелиссы, которую он нашел практически одну в полутемном кинозале музея, где непрерывно крутили фильм о достижениях авиации. Но его так захватили мигающие старые ленты о первых авиаторах, что он полностью забыл о своих намерениях относительно Мелиссы. Заснятый аэроплан Линдберга был для него удивительнее любого космического аппарата. Мелисса тоже смотрела на экран с почтением. Малыш Линдберг, которому было всего двадцать четыре, летел по перископу, потому что обзор спереди был закрыт дополнительным топливным баком.

Вечером после обеда он чувствовал себя полностью разбитым после своего путешествия, да и их эротический репертуар был для него уже не в новинку, и он вовсе не жаждал секса. Если она и обиделась, то ничем не выдала этого. К его легкому удивлению, она уснула раньше него.

Лежа в одиночестве на спине и размышляя, он неожиданно пришел к приятному решению

удивить ее одной пятой найденного им в этот день золотого клада в полмиллиона долларов, взяв выплату налогов на себя. Он полагал, что дар в сто тысяч долларов, сохраненный на будущее работающей в поте лица своего женщиной с годовым доходом менее шести тысяч, может повлиять на нее так же положительно, как и замена двух серебряных пломб, восемь дюжин роз за два дня и шелковое с оборочкой нижнее для верхней части тела белье от «Сакса», Пятая авеню, из «Секрета Виктории» и от «Фредерикса из Голливуда». Для женщины вроде нее лавина в сто тысяч долларов может показаться немалыми деньгами.

В самолете на ней была юбка, но он потерял желание затевать с ней там любовные игры. Он больше говорил о свадьбе в автобусном вокзале. Она хотела пойти туда, хотя он еще и не просил ее об этом. Больше всего его занимали мысли о том, как бы остаться на несколько вечеров одному.

Острот***а***, с которой Йоссарян похотливо предвкушал свежие, сладострастные ощущения и открытия с Мелиссой, с утратой новизны стала притупляться. Они слишком быстро привыкли друг к другу — это случалось и раньше; это случалось каждый раз, — и Йоссарян решил, что им

нужно начать пореже видеться. Если они не собирались ложиться в постель или не обсуждали, что будут есть, им часто нечем было заняться. И это тоже случалось раньше; это случалось каждый раз. А ничегонеделание нередко было делом, которое приятнее было делать в одиночестве. Он ни за что в жизни не пригласил бы ее на танцы еще раз и скорее умер бы, чем пошел в театр. Возможно, после сотни тысяч будет благоразумнее расстаться друзьями. Он еще ничего не говорил ей о своем альтруистическом порыве. Донкихотские идеи приходили ему в голову и раньше.

А потом его настиг удар.

Вот в чем было еще одно различие двух путешествий по Рейну.

Зигфрид отправился на охоту и был поражен ударом в спину.

Йоссарян направился на автобусный вокзал и был спасен в больнице.

Он получил свое пограничное состояние и свой СИБ, и в течение десяти следующих дней он и его медицинская сестра Мелисса, которую он собирался видеть пореже, были вместе каждое утро, и большую часть каждого дня, и большую часть каждого вечера, пока она не уезжала, чтобы выспаться и на следующее утро снова явить-

ся на работу и ограждать его от смертельных опасностей, исправляя возможные ошибки медицинского персонала. И только в предпоследний день она, наконец, обнаружила, что беременна. Он не сомневался, что этот ребенок от него.

КНИГА ДЕВЯТАЯ

27
АВАП

Собаки, конечно, были записаны на магнитофон. Макбрайд сошел на ступеньки, приводившие этих собак в движение и ярость; потом он сошел пониже, погрузив их тем самым в молчание. Яростное бешенство исходило от трех собак, сообщил им официальный звукометрист. Или от одной с тремя головами, возразил Йоссарян.

— Майкла нет? — спросил Макбрайд в самом начале.

— Джоан не будет?

Джоан, юрист Администрации порта, была новой подружкой Макбрайда. Йоссарян уже успел представить себе, как было бы забавно, если бы и их свадьба состоялась в автобусном вокзале. Он мог вообразить, как в полицейском участке звучит «Свадебный марш» из «Лоэнгрина» и брачная процессия проходит вдоль стены с наручниками к самодельному алтарю в задней камере, переделанной в часовню. Камера для рожениц, обустроенная Макбрайдом, была теперь личными апартаментами Макмагона. Игровая

камера для детей стала комнатой отдыха, где полицейские проводили время перерывов, и пристанищем для тех, кому не нужно было спешить домой. Там были шахматы и головоломки, журналы с голыми девицами, телевизор и видеоплейер, на котором крутили конфискованные порнографические фильмы, покуривая марихуану, изъятую у презираемых ими торговцев наркотиками. Макмагону приходилось закрывать на это глаза. Макбрайд переживал новый приступ разочарования.

— А где ваша подружка? — робко спросил Макбрайд.

— Ей нужно работать, Ларри. Она ведь по-прежнему работает медицинской сестрой в больнице.

— А вы не ревнуете ее, — пожелал узнать Макбрайд, — к пациентам-мужчинам и докторам?

— Постоянно, — признался Йоссарян, думая о любителях приключений, вроде него, и о своих пальцах на ее комбинации. — Что вы знаете об этих агентах?

— Они внизу. Они считают, что я из ЦРУ. Не уверен, что доверяю им. Я думаю, и другой шум — тоже липа.

— Какой другой шум? Карусели?

— Какой карусели? Я говорю о русских горках.

— О каких русских горках? Ларри, никакие это не русские горки, это поезд. Мы что, ждем Томми?

— Он говорит, что его это не касается, потому что на его плане этого нет. Он опять отдыхает.

Йоссарян нашел Макмагона там, где и предполагал — на кровати в его комнате, где был включен телевизор. Капитан Томас Макмагон понемногу перевел всю свою сидячую работу и телефон в эту камеру с кроватью и теперь большую часть своего рабочего дня отдыхал. Он приходил сюда и в выходные. В этом году у него умерла от эмфиземы жена, а жизнь в одиночестве, говорил он, покуривая сигареты и стряхивая пепел в стеклянную пепельницу, поставленную на ручку найденного им кресла-качалки, — занятие не очень веселое. Он нашел это кресло в магазине подержанных вещей, собиравшем деньги на исследования в области рака. Глаза его изменились в размере пропорционально узкому лицу, и сам он стал казаться каким-то сухопарым и изможденным, потому что терял вес. Около года назад, когда он преследовал какого-то юнца, совершившего убийство в другой части автовокзала, у него началась одышка, и дыхание так до сих пор и не восстановилось. Макмагон перестал любить свое

дело, но на пенсию уходить не хотел, потому что теперь, когда стал вдовцом, эта вызвавшая у него отвращение работа была единственной радостью в его жизни.

— Их теперь больше, чем нас, — мрачно повторял он, имея в виду преступников. — А вы с вашей конституцией никогда об этом не думали, хоть и позаканчивали свои университеты. Ну, что там еще? — устало спросил он, убирая в стол бульварную газетенку. Ему доставляло удовольствие прослеживать историю новых, незаурядных преступлений. Раскрывать их ему было скучно.

— Пьяница на полу, три наркомана на стульях. Два цветных, один белый.

— Пожалуй, нужно пойти взглянуть. — Макмагон распрямился и встал и от этого движения, сделанного, наверно, через силу, тяжело задышал. Теперь он казался Йоссаряну еще одним, более чем вероятным, кандидатом на депрессию в пожилом возрасте. — Знаете, мы ведь теперь не арестовываем всех мошенников, которых можем поймать, — повторил он свою дежурную жалобу. — У нас не хватает людей, чтобы работать с арестованными, у нас нет камер, чтобы их сажать, у нас не хватает судов, чтобы признавать их виновными, и тюрем, где они отсиживали

бы свои сроки. Но большинство из вас, которые все время жалуются на полицейских и на суды, не хотят это понимать, даже тот тип из журнала «Тайм», который поднял здесь шум, когда его обворовали. — Макмагон сделал паузу, чтобы хохотнуть. — Нам пришлось его запереть, а ворюги, которые его обчистили, смотрели на нас и посмеивались.

Макмагон тоже ухмыльнулся и рассказал о бывшем главе рекламного отдела из «Уикли Ньюзмэгазин» компании «Тайм»; тот оказался без гроша в кармане, потому что отдал мелочь каким-то попрошайкам, а потом у него украли бумажник. У него был его номер социального страхования, но он не мог доказать, что это его номер. Он разбушевался, когда полицейские и пальцем не пошевелили, чтобы арестовать кого-нибудь из хитроумной банды карманников. Бумажник его был уже где-нибудь миль за сто, и никаких улик против похитителей все равно бы не было.

— Мы по рукам и ногам связаны этими вашими проклятыми законами, по которым человек считается невиновным, пока мы не докажем его вину, — сказал Макмагон. — С каких это пор — вот что хотели бы знать *мы*! Наверно, он поэтому

и вышел из себя. Все было ясно — вот мошенники, вот полицейские. А реальность была такова, что сделать он ничего не мог. И у него не было никаких документов. Он даже не мог доказать, что он — это он. Вот тут-то он и запаниковал и устроил такой скандал, что нам пришлось пристегнуть его к стене наручниками, пока он не облагоразумился и не замолчал. Он быстренько понял, что ожидает его в камере, где качать права у него не было бы ни малейшего шанса. Да и у нас тоже не было бы. Или у вас. И потом, он не мог удостоверить свою личность. За этим всегда интересно наблюдать. Меня это всегда приводит в ужас. Никого из тех, кому мы звонили, не было дома. Он даже имя свое не мог засвидетельствовать. Наконец, — теперь Макмагон давился от смеха, — ему пришлось дать нам имя своего дружка откуда-то из Орандж-Вэлли, и этот его дружок оказался каким-то там героем Второй мировой. Теперь он большая шишка среди чинов запаса в армии. И, как он нам сказал, крупная фигура в строительной промышленности, а еще крупный жертвователь в благотворительный фонд Ассоциации полицейских. Его звали Берковиц или Рабиновиц, и по телефону он выражался точно, как вы, когда звонили сюда в первый раз,

только тот тип говорил правду, из него это говно не перло, как вроде тогда из вас. А потом оказалось, что у этого типа, Зингера, не было денег, чтобы добраться до дома. И тогда Ларри дал ему двадцать долларов на такси, помнишь, Ларри? И знаете что? Тот ему вернул. Верно, Ларри?

— Он отправил их по почте. Томми, я думаю, тебе тоже нужно пойти.

— Я больше ничего ни о чем не хочу узнавать. И мне не нравятся эти ребята. Я думаю, они из ЦРУ.

— А они думают, что это ты из ЦРУ.

— Я лучше пойду в твою комнату для рожениц. — Запас энергии у Макмагона снова иссякал. — Отдохну немного, пока хоть одна из твоих беременных малолеток не явится сюда, чтобы отдать нам новорожденного, от которого она хочет избавиться. Пока что у нас еще ни одного не было.

— Ты не позволяешь объявить о нашей программе для новорожденных. А то, что их много, так мы об этом знаем.

— Нас обоих упрячут в сумасшедший дом. Слушай, Ларри, окажи мне услугу — найди там внизу что-нибудь такое, чтобы отменить эту идиотскую свадьбу, которую он запланировал. Я слишком стар для таких дел.

— Они уже нашли там кое-что, в чем никак не могут разобраться, — сообщил Макбрайд Йоссаряну. — Эскалатор, который не работает, и они никак не могут выяснить, откуда он идет.

Из дежурного отделения полицейского участка внезапно донесся шум потасовки.

— О черт, — застонал Макмагон. — Как я все это ненавижу. Даже своих полицейских. И твоих беременных мамочек.

Два дюжих парня, оказавшихся дружками, разбили друг другу носы и порвали рты, поссорившись из-за денег, украденных у пристрастившейся к наркотикам молодой черной проститутки, их близкой подружки с белой кожей, желтыми волосами, СПИДом, сифилисом, туберкулезом и симптомами гонореи в начальной стадии.

— У этих ребят из федерального агентства есть и еще одна странность, — доверительно сказал Макбрайд, выйдя вместе с Йоссаряном из участка. — Они не видят ничего странного во всех этих надписях. Похоже, они видели их и раньше.

Они пересекли главный зал автовокзала под диспетчерским контрольным центром, и Йоссарян подумал вдруг о том, что его и Макбрайда изображение появилось сейчас на одном из пяти дюжин мониторов. Может быть, перед одним из

мониторов там снова сидел Майкл вместе с М2. Если он поковыряет у себя в носу, кто-нибудь может увидеть это. На другом мониторе сейчас, наверно, появился рыжеволосый человек в костюме из ткани в елочку, потягивающий «Орандж Джулиус», а может быть, под наблюдение попал и наблюдающий за ним грязный тип в заляпанном дождевике и голубом берете.

— Кажется, они ничему не удивляются, — ворчал Йоссарян. — Единственное, что их интересует, когда речь заходит о свадьбе, так это приглашения для себя и своих жен.

Пожарная лестница была практически пуста, пол — почти чист. Но запахи никуда не делись, воздух был пропитан зловонными испарениями немытых человеческих тел и продуктов их жизнедеятельности.

Шедший впереди Макбрайд осторожно, на цыпочках обогнул одноногую женщину, которую снова насиловали неподалеку от крупной женщины с коричневой кожей и густыми родимыми пятнами, похожими на меланомы; она снова сняла с себя штаны и юбку и протирала спину и под мышками влажными полотенцами, а Йоссарян снова знал, что ему абсолютно не о чем с ней говорить, разве что спросить, не летела ли

она в Кеношу на одном с ним самолете, что было вполне вероятно и о чем не могло быть и речи.

На ступеньках последнего лестничного пролета сидела худая блондинка с дырявым красным свитером, она так же сонно латала грязную белую блузу. Внизу уже лежала в углу свежая куча человеческого дерьма. Макбрайд ничего по этому поводу не сказал. Под лестницей они сделали поворот и направились к побитому металлическому шкафу с ложной задней стенкой и закамуфлированной дверью. Следуя в затылок друг другу, они снова вошли в крохотный тамбур, заканчивающийся выкрашенной в зеленую армейскую краску пожарной дверью с надписью:

ЗАПАСНЫЙ ВХОД
НЕ ПОДХОДИТЬ
НАРУШИТЕЛИ
БУДУТ РАССТРЕЛИВАТЬСЯ

— Они не видят в этом ничего странного, — мрачно пробормотал Макбрайд. Йоссарян открыл массивную дверь, нажав на нее одним пальцем, и снова оказался на маленькой площадке у потолка туннеля, на вершине лестницы, которая вела круто вниз. Проезд внизу снова был пуст.

Макбрайд станцевал что-то вроде коротенькой

джиги на ступеньках-выключателях, отчего спящие собаки сначала проснулись, а потом, даже не тявкнув в знак протеста, отправились назад в неприступное узилище, где они в кромешной тишине проводили свои бессчетные часы. С довольным видом Макбрайд ухмыльнулся, глядя на Йоссаряна.

— А где же громкоговорители?

— Мы их не нашли. Нам пока не разрешают заходить далеко. Мы только обеспечиваем безопасность президента.

— А что это за вода?

— Какая вода?

— Черт побери, Ларри, ведь это у меня должны быть нелады со слухом. Я слышу воду, какой-то сраный поток, булькающий ручеек.

Макбрайд равнодушно пожал плечами.

— Я проверю. Сегодня мы заглянем в оба конца. Мы даже не можем выяснить, считается ли это тайной. И это тоже тайна.

Приближаясь к нижней части неровного эллипса этой части лестницы, Йоссарян заметил, как внизу мелькнули плечи, брючные отвороты и потертые туфли — одна пара потускневших черных, другая — оранжево-коричневатых. Удивление у Йоссаряна уже прошло, когда он,

добравшись до последнего пролета, увидел двух дожидающихся их человек — долговязого, приятной наружности, рыжеволосого в пиджаке из материала в елочку и плохо выбритого смуглого, морщинистого, коренастого в грязном дождевике и синем берете. Вид у второго был угрюмый, слюнявыми губами он сжимал размякшую сигарету. Обе его руки были глубоко засунуты в карманы дождевика.

Их звали Боб и Рауль. Боб не был похож на агента из Чикаго. Но Рауль был вылитый портрет человека, которого Йоссарян видел у своего дома и во сне в Кеноше. Рауль гонял свою мокрую сигарету из одного угла рта в другой, словно мрачно протестуя против каких-либо ограничений на курение.

— Вы были в Висконсине на прошлой неделе? — Йоссарян не смог сдержаться и с видом учтивой невинности не задать этого вопроса. — У отеля вблизи аэропорта в городке под названием Кеноша?

Человек, взглянув на Макбрайда, неопределенно пожал плечами.

— Всю прошлую неделю мы были вместе, — ответил за него Макбрайд, — просматривали поэтажный проект, составленный этой вашей

компанией по поставке провизии.

— А я был в Чикаго, — сказал рыжеволосый, по имени Боб. Он засунул в рот сложенную плиточку жевательной резинки и швырнул на пол смятую зеленую обертку.

— Я вас не встречал в Чикаго? — Йоссарян с сомнением уставился на него, будучи уверен, что не видел его прежде. — В аэропорту?

Человек снисходительно ответил:

— Разве вы не знали бы об этом?

Йоссарян слышал этот голос раньше.

— А вы?

— Конечно, — сказал человек. — Ведь это шутка, правда? Но я ее не понимаю.

— Йо-Йо, этот тип, ответственный за свадьбу, хочет *шесть* этажей под танцы и *шесть* эстрад для оркестров, а еще один держать на всякий случай, если со всеми пятью другими что-нибудь случится, а я представить себе не могу, где они найдут столько места, и вообще не понимаю, что, черт побери, все это значит.

— Я aussi,[95] — сказал Рауль с таким видом, словно его это мало заботило.

— Я поговорю с ним, — сказал Йоссарян.

---

[95] Примечания: 95
Тоже. (*франц.*).

— И что-то около трех с половиной тысяч гостей! А это триста пятьдесят круглых столов. И две тонны икры. Йо-Йо, это четыре тысячи фунтов!

— Моя жена хочет прийти, — сказал Боб. — У меня в наколенной кобуре будет пистолет, но мне бы хотелось делать вид, будто я гость.

— Я об этом позабочусь.

— И moi,[96] — сказал Рауль и выбросил свою сигарету.

— И об этом я тоже позабочусь, — сказал Йоссарян. — Но объясните мне, что здесь происходит. Что это вообще за место?

— Мы здесь для того, чтобы это выяснить, — сказал Боб. — Мы поговорим с часовыми.

— Йо-Йо, подождете, мы проверим.

— Йо-Йо. — Рауль хихикнул. — Мой Dieux.[97]

Все трое посмотрели налево в туннель. И тут Йоссарян увидел, что там на венском стуле сидит солдат в красной полевой форме со штурмовой винтовкой на коленях, а за ним, у стены, стоит еще один вооруженный солдат с более мощным оружием. По другую сторону в янтарной дымке, уходящей вдаль к горизонту, сужающемуся в си-

---

[96] Примечания: 96
Я. (франц.).

[97] Примечания: 97
Бог. (*франц.*).

яющую и исчезающую точку, Йоссарян разглядел двух других неподвижных солдат, расположившихся точно так же, как первые. Они вполне могли быть отражениями.

— А что там? — Йоссарян указал на проход к ПОДЗЕМНЫМ ЭТАЖАМ A — Z.

— Мы еще ничего не нашли, — сказал Макбрайд. — Можете посмотреть, только не заходите далеко.

— Тут есть кое-что еще, très[98] странное, — сказал Рауль и наконец улыбнулся. Он несколько раз притопнул ногой, а потом принялся подпрыгивать, тяжело приземляясь на оба каблука. — Замечаете, мой ami?[99] Здесь нет никакого шума, nous[100] не производим никаких шумов.

Все принялись шаркать, топать, подпрыгивать на месте, чтобы убедиться в этом; Йоссарян вместе с ними. Они ничем не нарушили тишину. Боб постучал костяшками пальцев по перилам лестницы, произведя при этом ожидавшийся шум. Потом он так же постучал по земле, но никаких

---

[98] Примечания: 98
Очень. (*франц.*).

[99] Примечания: 99
Друг. (*франц.*).

[100] Примечания: 100
Мы (*франц.*).

звуков они не услышали.

— Это очень любопытно, — сказал Боб, улыбаясь. — Словно нас здесь и нет.

— А что у вас в карманах? — внезапно спросил Йоссарян у Рауля. — Вы не вынимаете оттуда рук. И в моем сне, и на улице, напротив моего дома, вы их тоже не вынимали.

— Мой член и мои яйца, — сразу же ответил Рауль.

Макбрайд был смущен.

— Его пистолет и его значок.

— Это mon[101] член и mes[102] яйца, — пошутил Рауль, но не рассмеялся.

— У меня есть еще один вопрос, если вы хотите прийти на свадьбу. Зачем здесь стоят ваши часовые — чтобы не выпускать или чтобы не впускать?

Все трое бросили на него удивленные взгляды.

— Это не наши часовые, — сказал Боб.

— Это-то мы и хотим выяснить, — объяснил Макбрайд.

---

[101] Примечания: 101
Мой (*франц.*).

[102] Примечания: 102
Мои (*франц.*).

— Давайте allons.[103]

Они пошли дальше, и их шаги оставались беззвучны.

Йоссарян, направившись к противоположной стене, тоже не произвел ни звука.

Затем он обратил внимание на еще одну странность. Они не отбрасывали теней. И он, пересекая стерильный проезд в направлении узкого помоста из белой плитки, тоже не отбрасывал от себя тени, словно призрак или бесшумный лунатик. Ведущие наверх ступеньки тоже были белыми, а ажурные перильца цвета белка были почти незаметны на чистейшем белом фоне; у них тоже не было теней. И нигде не было видно ни пыли, ни лучистого порхания хотя бы одной пылинки в воздухе. Он чувствовал, что попал в никуда. Он вспомнил обертку от жевательной резинки и размякшую сигарету. Он оглянулся, желая убедиться в том, что прав. Он оказался прав.

Смятой зеленой бумажки, которую швырнул Боб, нигде не было видно. Незажженная сигарета тоже исчезла. Он пошарил глазами и увидел, как зеленая обертка материализовалась на поверхности слоя под их ногами и снова оказалась на

---

[103] Примечания: 103
Пойдем (*франц.*).

виду. Потом она покатилась куда-то вдаль, и ее не стало. Затем вернулась незажженная сигарета. А потом исчезла и она. Они появились из ниоткуда и отправились в никуда, и у Йоссаряна возникло какое-то мистическое ощущение, что стоит ему только подумать о какой-нибудь вещи, как она возникнет перед ним в нереальной реальности, — если бы он подумал о полуобнаженной Мелиссе в комбинации цвета слоновой кости, то она с готовностью возлегла бы перед ним; он подумал, и она возлегла — а если он мысленно обратится к чему-нибудь другому, то первое уйдет в небытие. Мелисса исчезла. Потом он ясно услышал слабые, но отчетливые звуки духовой музыки, издаваемые инструментом на карусели. Макбрайда поблизости не оказалось, и Йоссаряну не с кем было сверить свои ощущения. Вероятно, Макбрайд сказал бы, что это русские горки. А потом Йоссарян уже не был уверен, потому что каллиопа в ритме вальса весело наигрывала мрачную, мощную мелодию смерти Зигфрида из кульминации «Götterdämmerung», менее чем на час предшествующую теме принесения в жертву Брунгильды и ее лошади, разрушения Вальхаллы и погребальному звону по тем великим богам, что всегда были несчастны, всегда страдали.

Йоссарян приблизился к помосту и вошел под своды, миновав мемориальную надпись, свидетельствовавшую о том, что здесь был Килрой. Он с угрызениями совести почувствовал, что бессмертный Килрой тоже мертв, погиб в Корее, если не во Вьетнаме.

— Стой!

Этот приказ, отдаваясь гулким эхом, прокатился под сводами. Перед ними на еще одном венском стуле чуть впереди турникета с вращающимися металлическими прутьями сидел еще один вооруженный часовой.

На нем тоже была полевая форма — темно-красный мундир и зеленая фуражка, похожая на жокейскую шапочку. Йоссарян по знаку часового направился к нему, испытывая ощущение невесомости, малозначимости и неприкаянности. У охранника, молодого парня, были светлые, остриженные под ежик волосы, проницательный взгляд и тонкие губы; Йоссарян, подойдя на расстояние, с которого можно было различить веснушки, увидел, что часовой очень похож на молодого стрелка Артура Шрёдера, с котором он в Европе, почти пятьдесят лет назад, летал в одном экипаже.

— Кто идет?

— Майор в отставке Джон Йоссарян, — сказал Йоссарян.

— Чем могу вам помочь, майор?

— Я хочу пройти.

— Вам придется заплатить.

— Я с ними.

— И все равно вам придется заплатить.

— Сколько?

— Пятьдесят центов.

Йоссарян протянул ему два четвертака и получил круглый синий билет из тонкого картона с рядами цифр, расположенных по периметру; билет был прикреплен к белой бечевке, завязанной петлей. Охранник жестом показал ему, что петлю нужно накинуть на шею, чтобы билет висел на груди. На кармане над кантом было написано имя солдата — А. ШРЁДЕР.

— Там есть лифт, сэр, если вы хотите идти сразу.

— А что там внизу?

— Вы должны это знать, сэр.

— Тебя зовут Шрёдер?

— Да, сэр. Артур Шрёдер.

— Охереть можно. — Солдат ничего не сказал под внимательным взглядом Йоссаряна. — Ты когда-нибудь служил в авиации?

— Нет, сэр.

— Сколько тебе лет, Шрёдер?

— Сто семь.

— Хорошее число. И давно ты здесь?

— С 1900.

— Г-м-м-м. Значит, когда тебя призвали, тебе было около семнадцати?

— Да, сэр. Меня призвали во время Испано-американской войны.

— Это все вранье, да?

— Да, сэр, вранье.

— Спасибо за то, что сказал правду.

— Я всегда говорю правду, сэр.

— Это еще одно вранье?

— Да, сэр. Я всегда вру.

— Значит, это не может быть правдой, да? Ты, случайно, не с Крита?

— Нет, сэр. Я из Афин, штат Джорджия. В школу я ходил в Итаке, штат Нью-Йорк. А теперь мой дом в Карфагене, штат Иллинойс.

— Неужели?

— Да, сэр. Я не могу лгать.

— Ты с Крита, верно? Ты знаешь парадокс критянина, который говорит, что вы, жители Крита, всегда *лжете*? Поверить ему невозможно, да? Я хочу пройти внутрь.

— У вас есть билет. — Охранник пробил одно отверстие в центре билета, а другое — на одной из цифр. Эта цифра соответствовала аттракциону «Человеческий бильярд».

— Я что, не могу пойти на этот аттракцион?

— Вы там уже были, сэр, — сообщил охранник по имени Шрёдер. — В эту рамку встроены аллюминизированные детекторы металла. Не проносите наркотики и взрывчатку. Будьте готовы к шуму и вспышкам света.

Йоссарян крутанул турникет и прошел сквозь рамку-детектор из серебристого металла. В тот миг, когда он проходил, освещение мигнуло. А потом засверкали резкие белые лампы такой мощности, что Йоссарян чуть не упал. Он обнаружил, что находится в ярко освещенном коридоре, сооруженном из кривых зеркал. Жуткий рев оглушил его. Ему пришел на ум томограф, формирующий изображения внутренних органов. И он увидел, что зеркала, гротескно сверкая по сторонам и наверху, по-разному искажают его отражения, словно он превратился в жидкость, в летучую ртуть и под разными углами зрения принимает самые разнообразные формы. Отдельные части его тела были увеличены и удлинены словно для выборочного обследования; его об-

разы множились в нарастающем количестве. В одном из зеркал он увидел свою голову и шею, уродливо деформированные в худосочного верзилу Йоссаряна, тогда как его торс и ноги были коротенькими и толстыми. В соседнем зеркале тело его было чудовищно раздуто, а голова уменьшена до размеров виноградины, превращена в волосатый прыщик с крошечным ухмыляющимся и сморщенным личиком. Он почувствовал, что готов рассмеяться, и новизна этого неожиданного ощущения еще больше рассмешила его. Ни одно из зеркал не повторяло искажения других, а аномалии каждого отдельно взятого зеркала не были последовательны. Его подлинная внешность, его истинная комплекция перестали быть безусловной реальностью. Он был вынужден спрашивать у себя — каков же он на самом деле. И тут земля под его ногами пришла в движение.

Пол дернулся назад и вперед. Он приспособился к рывкам, вспомнив шуточки Джорджа К. Тилью в его старом Стиплчез-парке. Это была одна из этих шуток. Оглушающий шум прекратился. Жар от осветительных приборов обжигал кожу. Сильнее других палила лампа, невыносимо чистейшим потоком белого света ослеплявшая его справа, и еще одна, не менее жаркая, сверкавшая яркими

вспышками слева от него. Он никак не мог найти их взглядом. Когда он повернулся, чтобы попробовать, они переместились вместе с ним и остались на своем месте, и тогда он почувствовал, что пол под его ногами снова начал двигаться, только теперь это была проделка иного рода: если правую его половину дергало вперед, то левую — назад и наоборот; два эти движения быстро сложились в правильный темп размеренного сокращения сердечной мышцы. И по этой дорожке он смог легко продвигаться вперед. Свет стал сине-фиолетовым, и б*о*льшая часть Йоссаряна почернела. Свет стал красным, и какие-то участки Йоссаряна снова потеряли цвет. Когда вернулось обычное освещение, он чуть не упал в обморок при виде собственного ужасающего отражения — бездомного, отталкивающего, грязного и порочного. В другом зеркале с ним произошла еще одна метаморфоза — он превратился в какое-то тошнотворное насекомое, раздувшееся до гигантских размеров внутри хрупкого хитинового щитка; потом он стал Раулем, потом — Бобом, а потом, снова испытав отвращение и испуг, увидел новое свое отражение — неряшливую, коренастую, грязную женщину средних лет с пухлым подбородком и грубым лицом, она преследовала его

в своей красной «тойоте», а потом снова произошла перемена и он обрел тот вид, который, как он думал, был у него всегда. Он торопливо пошел дальше и обнаружил, что в самом конце его ждет еще одно зеркало, стоящее поперек, оно преграждало ему выход, словно толстый стеклянный барьер. В этом зеркале он по-прежнему был самим собой, но черты его лица над его плечами были чертами лица улыбающегося молодого человека — полного надежд, невинного, наивного и дерзкого. Он увидел себя в возрасте до тридцати — цветущая, жизнерадостная личность, ничуть не менее благопристойная и бессмертная, чем самое благородное божество, существовавшее когда-либо, но ныне исчезнувшее. Волосы у него были черные, курчавые и коротко остриженные, он находился в том периоде своей жизни, когда самоуверенно и дерзко продолжал веровать в то, что ничего невозможного нет.

Не колеблясь, он воспользовался инерцией своего движения и сделал гигантский шаг вперед — прямо в зеркало, в само иллюзорное изображение самого себя в виде крепкого парня с полнотой человека средних лет; он вышел с другой стороны седоволосым мужчиной под семьдесят и оказался в просторном парке аттракционов,

развернувшемся перед ним плоским полукругом. Он услышал звуки карусели. Он услышал звуки русских горок.

Он услышал вдалеке веселые крики и визги напускного страха, издаваемые группкой мужчин и женщин в плоскодонке, устремляющихся вниз по крутому порогу, чтобы с плеском остановиться на ровной глади пруда. Перед ним теперь медленно вращался по часовой стрелке идеальный круг волшебной бочки, «Бочки смеха», которая была обозначена номером один в его бело-голубом билете. Обращенные к нему ребра наружной поверхности вращающейся полой камеры были малиново-леденцового цвета и цвета сладкого сиропа для газировки, а по небесно-голубому фону обода среди разбросанных там и здесь белых звезд и рассыпающихся абрикосового оттенка улыбающихся лунных полумесяцев пролетали желтые кометы. Он легко прошел сквозь бочку, держась линии, противоположной направлению вращения, а выйдя, сразу же столкнулся с беседующей парой; в одном из собеседников он узнал покойного писателя Трумена Капоте, а имя другого заставило его насторожиться.

— Фауст, — повторил незнакомец.

— Доктор Фауст? — нетерпеливо спросил Йос-

сарян.

— Нет, Ирвин Фауст, — сказал человек, тоже писавший романы. — Хорошие отзывы, но ни одного настоящего бестселлера. А это Вильям Сароян. Уверен, вы никогда о нем не слышали.

— Да нет же, слышал, — обиделся Йоссарян. — Я видел «Путь вашей жизни». Читал «Бесстрашный юнец на трапеции» и «Сорок тысяч ассирийцев». Ассирийцев-то я хорошо помню.

— Их больше не печатают, — скорбно сказал Вильям Сароян. — И в библиотеках их не найти.

— Я когда-то пытался подражать вам, — признался Йоссарян. — Но у меня ничего не получилось.

— У вас не было моего воображения.

— Многие пытаются подражать мне, — сказал Эрнест Хэмингуэй. Оба носили усы. — Но тоже безуспешно. Хотите подраться?

— Я не люблю драться.

— Многие и ему пытаются подражать, — сказал Эрнест Хемингуэй и показал на Уильяма Фолкнера, погруженного в молчание и сидящего в тесном пространстве, битком набитом беспробудными пьяницами. Фолкнер тоже носил усы. Как и Юджин О'Нил, Теннесси Уильямс и Джеймс Джойс, расположившиеся неподалеку

от тех, кто занимал площадку для страдавших расстройствами психики в пожилом возрасте, выражавшимися в депрессиях и нервных срывах; среди них молча сидел Генри Джеймс с Джозефом Конрадом, уставившимся на Чарльза Диккенса, который примазывался к многочисленной толпе в зоне самоубийц, где Ежи Козински болтал с Вирджинией Вулф неподалеку от Артура Кёстлера и Сильвии Плат. В луче коричневатого солнечного света на фиолетовом песке он увидел Густава Ашенбаха в шезлонге и узнал книгу, которую тот держал на коленях; это было точно такое же, как и у него, издание в мягкой обложке: «Смерть в Венеции и семь других рассказов». Ашенбах поманил его пальцем.

А Йоссарян не смог сдержаться и беззвучно сказал ему: «Пошел в жопу!», мысленно выставив средний палец и сделав неприличный итальянский жест, означающий отказ; он заспешил мимо «Хлыста», «Кренделя» и «Водоворота». Взгляд его ухватил следящего за ним Кафку, который, туберкулезно кашляя, расположился в темной нише под закрытым окном, откуда за ним наблюдал Марсель Пруст; окно это выходило в перекрытый проулок с указателем УЛИЦА ОТЧАЯНИЯ. Он подошел к огороженной чугунным забором горке,

по которой поднимались ввысь рельсы, и увидел название — «УЩЕЛЬЕ ДРАКОНА».

— Черт побери! — воскликнул Макбрайд, которого нигде поблизости не было. — Здесь и правда русские горки!

Затем он оказался у карусели, разукрашенной, продуманной до мельчайших деталей, отделанной зеркалами; на круглом навесе и внутренней стороне карниза красовались написанные на деревянных панелях картины, заключенные в серовато-белые багетовые оправы и перемежающиеся с вертикальными овальными рамами, в которые были вставлены отражающие стекла. Жизнерадостный вальс, который несся из каллиопы, и в самом деле оказался похоронной темой Зигфрида, а в одной из красочных гондол, в которую были впряжены лебеди, гордо восседал пожилой немецкий чиновник в куполообразном шлеме и всевозможных наградах; осанка у него была столь величественная, что его вполне можно было принять за императора или кайзера.

Еще до того как Йоссарян увидел канал, краем глаза он ухватил лодку — деревянное суденышко, в котором, выпрямив плечи, по двое, по трое и по четверо в ряд сидели катающиеся; лодка появилась в поле зрения, двигаясь сама по се-

бе по рукотворному каналу, ширины которого едва хватало для одного суденышка; Йоссарян был у аттракциона «Туннель любви», у входа в который стоял на страже билетер в красном пиджаке и зеленой жокейской шапочке, в руках он держал радиотелефон и компостер. У него были ярко-рыжие волосы и бледная кожа, на спине висел зеленый рюкзак. Кричащие плакаты и сиреневато-рыжеватые картинки соблазняли находящимся в «Туннеле любви» знаменитым музеем восковых фигур, главными среди которых были изображенные в натуральную величину Бруно Гауптман, казненный похититель ребенка Линдберга, и на постели — нагая Мерилин Монро, в мельчайших подробностях возвращенная в объятия смерти, воссозданной во всем жизненном правдоподобии. Знаменитый музей восковых фигур назывался «ОСТРОВ СМЕРТИ». На первом сиденье плоскодонки, выплывающей из мрачного отверстия туннеля, Йоссарян увидел неподвижно сидящего радом с безликим Ангелом Смерти Авраама Линкольна в жесткой, похожей на дымоходную трубу шляпе; казалось, что эти двое держат друг друга за руки. На той же скамейке он увидел раненого стрелка Ховарда Сноудена. На следующем сиденье бок о бок

расположились мэр Фиорелло Х. Лагуардия и президент Франклин Делано Рузвельт. На мэре была сногсшибательная, похожая на ковбойскую шляпа с широкими загнутыми полями, а ФДР щеголял помятой и мундштуком, оба они улыбались, словно живые, с фотографии на первой странице давно исчезнувшей газеты. А на скамейке за Лагуардия и Рузвельтом он увидел своего отца и мать, а потом своего дядюшку Сэма и тетушку Иду, дядюшку Макса и тетушку Ганну, а потом своего брата Ли, и тут он понял, что тоже умрет. Внезапно он испытал потрясение, увидев, что за одну ночь все, кого он давно знал, стали стариками — не постарели, не вошли в лета, а стали стариками! Выдающиеся актеры, звезды его времени, больше уже не были звездами, а знаменитые романисты и поэты его дней для нового поколения ровным счетом ничего не значили. Даже «АйБиЭм» и «Дженерал Моторс», как и Американская Радиокорпорация вместе с журналом «Тайм», были величинами мало заметными, а «Уэстерн Юнион» вообще приказал долго жить. Боги старели, и настало время встряхнуться еще раз. Все умрут, это неизбежно, сообщил Тимер во время последнего их разговора и, проявив несвойственную ему эмоциональность, добавил: «Все!»

Йоссарян быстро миновал «Туннель любви» с его почти-как-живыми восковыми фигурами на «Острове Смерти». Пройдя по белому мостику с перильцами в стиле рококо, он обнаружил, что снова оказался в итальянском Неаполе 1945 года, где стоит в шеренге следом за невозмутимым старым солдатом Швейком и молодым по имени Краутхаймер, изменившим свое имя на Джозеф Кэй, и все они ждут погрузки на пароход возле старой Детской железной дороги Л. А. Томпсона на Серф-авеню за исчезнувшим Стиплчез-парком.

— Все еще ждете?

— А с тобой что случилось?

— Я тоже вернулся сюда. А что случилось с вами?

— Я — Швейк.

— Я знаю. Хороший солдат?

— Ну, насчет хороший я не очень уверен.

— Я думал, что теперь я самый старый, — сказал Йоссарян.

— Я старше.

— Я знаю. Я — Йоссарян.

— Я знаю. Ты как-то раз убежал в Швецию, верно?

— Далеко я не ушел. Мне даже в Рим попасть не удалось.

— Ты не добрался туда? На маленьком желтом плоту?

— Такое случается только в кино. А тебя как зовут?

— Джозеф Кэй. Я тебе уже говорил. Ты почему спрашиваешь?

— У меня память на имена стала плохая. Ты почему спрашиваешь?

— Потому что тут обо мне плетут всякие небылицы.

— Может быть, именно поэтому мы все еще и стоим тут, — сказал Швейк.

— А почему ты не возвращаешься в Чехословакию?

— С какой стати я буду туда возвращаться, — сказал Швейк, — если я могу поехать в Америку? Почему бы тебе не поехать в Чехословакию?

— А что ты будешь делать в Америке?

— Разводить собак. Найду что-нибудь полегче. Люди в Америке живут целую вечность, ведь правда?

— Не совсем так, — сказал Йоссарян.

— А мне понравится в Америке?

— Если заработаешь денег и будешь считать себя богатым.

— А люди там приветливые?

— Если ты заработаешь денег, и они будут считать тебя богатым.

— Где этот сраный пароход? — ворчливо сказал Кэй. — Не можем же мы ждать его целую вечность.

— Можешь, можешь, — сказал Швейк.

— Вот он идет! — воскликнул Кэй.

Они услышали дребезжащий звук устаревших колес по устаревшим рельсам, а потом показалась цепочка выкрашенных в красный и золотистый цвета вагончиков русских горок и начала сбавлять ход на тормозном участке Детской железной дороги Л. А. Томпсона. Но вагончики, вместо того чтобы остановиться, как им было положено, проскочили мимо них и пустились дальше; пока Кэй в растерянности тряс головой, Йоссарян разглядывал катающихся. Впереди он снова узнал Авраама Линкольна. Он увидел Лагуардия и ФДР, свою мать и отца, своих дядюшек и тетушек и своего брата. И каждого из них он видел в двух экземплярах, двух Ангелов Смерти и Сноуденов, и он видел их дважды.

Он повернулся кругом, пошатнулся и, спасаясь бегством, поспешил назад; недоумевая и ужасаясь, он хотел было найти помощь у солдата Швейка, который теперь заявлял, что ему сто

семь лет, но обнаружил только Макбрайда, двух Макбрайдов сразу, вблизи Боба и Рауля, которые в сумме составили четверых. Макбрайду показалось, что у Йоссаряна какой-то странный вид — он шел спотыкаясь и накренясь набок, вытянув вперед в поисках опоры раскачивающуюся руку.

— Да, я себя как-то странно чувствую, — признался Йоссарян. — Позвольте я возьму вас за руку.

— Сколько пальцев вы видите?

— Два.

— А теперь?

— Десять.

— А теперь?

— Двадцать.

— У вас все раздваивается.

— Я снова начинаю все видеть в двух экземплярах.

— Вам нужна помощь?

— Да.

— Эй, ребята, помогите-ка мне с ним. От их помощи не откажетесь?

— Нет, конечно.

28
БОЛЬНИЦА

— Режьте, — сказал нейрохирург на этом последнем этапе его Путешествия по Рейну.

— Режьте сами, — сказал его ассистент.

— Не надо ничего резать, — сказал Йоссарян.

— Чей это тут голос из провинции?

— Ну что, будем продолжать?

— А почему бы и нет?

— Я это делаю в первый раз.

— Так говорила одна моя знакомая. Где молоток?

— Не надо никаких молотков, — сказал Йоссарян.

— Он что, так и собирается все время говорить и мешать нам сосредоточиться?

— Дайте-ка мне молоток.

— Положите этот молоток на место, — дал указание Патрик Бич.

— Сколько пальцев вы видите? — задал вопрос Леон Шумахер.

— Один.

— А теперь? — спросил Деннис Тимер.

— По-прежнему один. Тот же самый.

— Он валяет дурака, джентльмены, — сказала бывшая театральная актриса Фрэнсис Рольф, урожденная Фрэнсис Розенбаум, с годами превратившаяся в Фрэнсис Бич, чье лицо снова соответствовало ее возрасту. — Вы что, не видите?

— Мы его уже подлечили!

— Поесть дайте, — сказал Йоссарян.

— Доктор, я бы уменьшила эту дозировку в два раза, — посоветовала Мелисса Макинтош. — От хальциона у него бессонница, а от ксанакса — беспокойство. Прозак вызывает у него депрессию.

— Она вас так хорошо изучила, да? — усмехнулся Леон Шумахер после того, как Йоссаряну дали поесть.

— Мы с ней приятели.

— А эта ее грудастая подружка, блондинка, кто она?

— Ее зовут Анджела Моркок.

— Так-так. Я предполагал нечто в этом роде. Когда она здесь появится?

— После работы и до обеда; и она может появиться с дружком, который работает в строительстве. Могут прийти и мои дети. Теперь, когда я вне опасности, они, возможно, захотят попро-

щаться со мной.

— Этот ваш сын, — начал Леон Шумахер.

— Тот, что с Уолл-стрита?

— Его интересовал только окончательный приговор. Теперь, когда ясно, что вы не умрете, он не захочет тратить свое время на хождения в больницу. Я ему сообщил, что вы не умрете.

— А я ему сообщил, что вы, естественно, умрете, — сказал Деннис Тимер, одетый в халат и пижамные штаны; в качестве пациента он был веселее, чем в качестве доктора. Его жена, смущаясь, сообщила друзьям, что он проводит эксперимент. — Он пожелал заключить со мной пари: «На сколько поспорим?»

— Вы по-прежнему считаете, что это естественно? — возразил Йоссарян.

— То, что мы умираем?

— То, что умру я.

Тимер отвел глаза.

— Я думаю, что это естественно.

— А то, что умрете вы?

— Думаю, и это естественно. Я верю в жизнь.

— Вы меня не поняли.

— Все живое, Йоссарян, живет за счет того, что живо. Мы с вами многое берем. Нам придется и отдавать.

— На самолете, летевшем в Кеношу, я познакомился с физиком, специалистом по элементарным частицам. Он говорит, что все живое состоит из неживого.

— Это я тоже знаю.

— И вас это не смешит? Вам от этого не хочется плакать? Вас это не удивляет?

— Вначале было слово, — сказал Тимер. — И это слово было *ген*. Теперь это слово — *кварк*. Я биолог, а не физик, и я не могу сказать «кварк». Он принадлежит к невидимому миру безжизненного. Поэтому я остаюсь с геном.

— И в чем же разница между живым геном и мертвым кварком?

— Ген — не живой, а кварк — не мертвый.

— Я тоже не могу сказать «кварк», не испытывая желания рассмеяться.

— Кварк.

— Кварк.

— Кварк, кварк.

— Вы победили, — сказал Йоссарян. — Но есть ли какая-нибудь разница между нами и этим?

— В живой клетке нет ни одного живого элемента. И все же сердце качает кровь, а язык говорит. Нам обоим это известно.

— А микробу это известно? Грибу?

— У них нет души, — высказал предположение хирург-стажер.

— Души вообще нет, — сказал хирург, стажирующий его. — Все это в голове.

— Кто-нибудь должен сказать об этом кардиналу.

— Кардинал это знает.

— Любая мысль, даже вот эта вот мысль — всего лишь электрическое взаимодействие молекул.

— Но есть мысли хорошие, а есть плохие, — возразил Леон Шумахер, — поэтому давайте-ка работать. Вы никогда не служили во флоте с человеком по имени Ричард Никсон? Он говорит, что знает вас.

— Нет, не служил.

— Он хочет прийти и удостовериться.

— Я не служил во флоте. Пожалуйста, не пускайте его ко мне.

— Вы когда-нибудь играли на альт-саксофоне в джаз-оркестре?

— Нет.

— Вы когда-нибудь служили в армии вместе с Солдатом в белом?

— Дважды. А что?

— Он сейчас этажом ниже. Он хочет, чтобы вы к нему заглянули поздороваться.

— Если он смог сказать вам об этом, то это не он.

— Вы когда-нибудь служили в армии с человеком по фамилии Рабиновиц? — спросил Деннис Тимер. — Люис Рабиновиц?

Йоссарян покачал головой.

— Что-то я такого не помню.

— Значит, я, вероятно, неправильно понял. А с человеком по имени Сэмми Зингер, его приятелем? Он говорит, что жил на Кони-Айленде. Он думает, что вы можете помнить его по армии.

— Сэм Зингер? — Йоссарян сел. — Конечно, это хвостовой стрелок. Невысокий парнишка, маленький, худой, с вьющимися черными волосами.

Тимер улыбнулся.

— Сейчас ему под семьдесят.

— Он тоже болен?

— Он приятель пациента, которого я лечу.

— Попросите его заглянуть ко мне.

— Привет, капитан, — Зингер пожал протянутую ему Йоссаряном руку. Йоссарян, радуясь этой встрече, оценивающе разглядывал Зингера — тот был невысок ростом, с добродушного лица смотрели его карие, чуть навыкате глаза. Зингер фыркнул. — Рад снова вас видеть. Я вас вспоми-

нал. Доктор говорит, что с вами все в порядке.

— Вы располнели, Сэм, — добродушно сказал Йоссарян, — немного сморщились и, может быть, стали чуточку выше. Вы были кожа да кости. И здорово поседели, а волосы у вас поредели. Да и у меня все то же. Расскажите-ка мне о себе, Сэм. Что происходило за последние пятьдесят лет? Есть какие-нибудь новости?

— Зови меня Сэмми.

— А ты меня Йо-Йо.

— У меня, пожалуй, все в порядке. Жена умерла. От рака яичников. Так что я сейчас как бы беспризорный.

— А я два раза развелся. Я тоже беспризорный. Наверно, мне придется жениться еще раз. К этому я привык. Дети?

— Одна дочь в Атланте, — сказал Сэмми Зингер, — а другая в Хьюстоне. И внуки есть, уже в колледже. Не хочу усложнять им жизнь заботами обо мне. У меня есть лишняя спальня на тот случай, если кто из них приедет. Я долгое время работал в журнале «Тайм», но не репортером, — многозначительно добавил Зингер. — Я сделал неплохую карьеру, хорошо зарабатывал, а потом меня отправили на пенсию, чтобы для пользы журнала влить в него молодую кровь.

— А теперь эта контора на ладан дышит, — сказал Йоссарян. — Я теперь работаю в бывшем здании «Тайм-Лайф» в Рокфеллеровском центре. Окна выходят на каток. Ты там бывал?

— Конечно, — сказал Зингер, на которого нахлынули теплые чувства. — Я помню этот каток. Я там неплохо проводил время.

— Теперь это новое здание «М и М», там разместилось «Партнерство М и М и Милоу Миндербиндер». Помнишь старину Милоу?

— Конечно. — Сэмми Зингер рассмеялся. — Он нас неплохо кормил, этот Милоу Миндербиндер.

— Вот уж точно. Я жил, как раньше мне и не снилось.

— И я тоже. Потом говорили, что именно он тогда и бомбил нашу эскадрилью.

— И это тоже его работа. Вот еще одно из противоречий капитализма. Это смешно, Зингер. Последний раз, когда я лежал в больнице, откуда ни возьмись появился капеллан, чтобы повидаться со мной.

— Какой капеллан?

— Наш капеллан. Капеллан Таппман.

— Конечно. Я знаю этого капеллана. Тихий такой, да? Он чуть с ума не сошел, когда те два самолета столкнулись над Специей, в одном был

Доббс, а в другом — Хьюпл, и Нейтли и все остальные погибли. Помнишь эти имена?

— Я их всех помню. А Орра помнишь? Он жил со мной в одной палатке.

— Я помню Орра. Говорят, он на плоту добрался до Швеции после вынужденной посадки после Авиньона, как раз перед тем, как нас отправили домой.

— Я как-то ездил в Кентукки и видел его там, — сказал Йоссарян. — Он работал подсобником в супермаркете, и нам особо нечего было сказать друг другу.

— Я был в том самолете, когда мы совершили вынужденную посадку после первого полета на Авиньон. Он сделал все, что требовалось. Помнишь тот случай? Я был на плоту с башенным стрелком, сержантом Найтом.

— Я помню Билла Найта. Он мне все рассказал про тот случай.

— В тот раз ни один из наших спасательных жилетов не надулся, потому что Милоу забрал все баллончики с двуокисью углерода, чтобы приготовить лимонад к мороженому для всех вас в офицерской столовой. Вместо баллончиков он оставлял записки. Ох, уж этот Милоу. — Зингер усмехнулся.

— Ведь вам, солдатам, тоже давали лимонад по воскресеньям, да?

— Да, давали. А потом, ты говорил, перед вторым вылетом на Авиньон он забрал весь морфин из пакетов первой помощи. Это что, правда?

— Он и это сделал. И тоже записки оставил.

— Значит, он торговал наркотиками?

— Мне это не удалось узнать. Но вот чем он точно торговал, так это яйцами, свежими яйцами. Помнишь?

— Я помню эти яйца. Мне сих пор не верится, что яйца могут быть такими вкусными. Я их часто ем.

— Пожалуй, я тоже начну, — решил Йоссарян. — Ты меня убедил, Сэмми Зингер. Теперь уже нет смысла волноваться из-за какого-то там холестерина, да?

— А ты помнишь Сноудена, Ховарда Сноудена? В том авиньонском полете?

— Сэм, разве я могу это забыть? Я бы израсходовал весь морфин из пакета первой помощи, когда увидел, как он страдает. Этот херов Милоу. Как я его проклинал. Теперь я с ним работаю.

— Неужели я тогда все время терял сознание?

— Так мне казалось.

— Теперь это кажется смешным. Ты был весь в

крови. А потом и все остальное. Он не прекращал стонать. Ему было холодно, да?

— Да, он говорил, что ему холодно. Что он умирает. Я был не только в крови, Сэмми, в конце я еще был и в собственной блевотине.

— А потом ты снял с себя всю одежду и какое-то время отказывался одеваться.

— Меня тошнило от военного мундира.

— Я видел, как ты во время похорон сидел на дереве, голый.

— На мне были тапочки.

— Я видел, как к тебе вскарабкался Милоу со своими хлопковыми конфетами в шоколаде. Мы все всегда тебя вроде как уважали тогда, Йоссарян. Знаешь, я и теперь тебя уважаю.

— Это почему, Сэм? — спросил Йоссарян и запнулся. — Ведь я всего лишь псевдо-ассириец.

Зингер понял.

— Нет, не поэтому. Начиная с армии, это не играло роли. Я там подружился с неевреями. И ты за меня заступился, когда тот тип в Южной Каролине начал меня избивать. И в журнале «Тайм» это не имело значения, мне там было совсем неплохо и я водил дружбу с протестантами и познакомился со многими выпивохами.

— Мы ассимилированы. Вот что еще хорошо в

этой стране. Если мы ведем себя, как они, то они нас принимают.

— Там я познакомился со своей женой. Хочешь, я тебе скажу кое-что, Йоссарян?

— Йо-Йо.

Сэм Зингер покачал головой.

— Женившись, я ни разу не переспал с другой женщиной, да мне и не хотелось, и это всем казалось ужасно странным, и девушкам тоже. Только ей это не казалось странным. Вероятно, они думали, что я голубой. С ее первым мужем все было наоборот. Он был бабником, а мне раньше всегда казалось, что и я хотел быть таким. Когда я с ней познакомился, она предпочла меня.

— Тебе ее не хватает?

— Не хватает.

— Мне не хватает семьи. Я не привык жить один.

— И я тоже не могу к этому привыкнуть. Повар из меня никакой.

— И из меня тоже.

Сэм Зингер задумался.

— Нет, я думаю, сначала я тебя зауважал, потому что ты был офицером, а в те времена у меня было детское представление, будто у офицеров в голове больше, чем у всех остальных. Иначе и мы

тоже были бы офицерами. Ты вроде всегда знал, что делаешь, кроме тех случаев, когда терял направление и вел нас через Атлантику. Даже когда ты валял дурака и делал всякие глупости, в них, казалось, было больше смысла, чем во многом другом. Стоять голым в строю, когда тебе вручают медаль. Мы все чуть со смеху не померли, когда увидели эту картинку.

— Я ничуть не рисовался, Сэм. Б*о*льшую часть времени я пребывал в паническом состоянии. Я иногда просыпался по утрам и пытался понять, где я, а потом пытался сообразить, что я, черт возьми, здесь делаю. Иногда я и теперь просыпаюсь с такими же мыслями.

— Ерунда, — сказал Зингер и ухмыльнулся. — И мне всегда казалось, что ты трахаешься сколько хочешь, тогда как остальным это не удавалось.

— Ну уж, совсем не сколько хочешь, — сказал Йоссарян, рассмеявшись. — Больше было трепу.

— Но когда ты сказал, что больше не будешь летать, мы все держали за тебя пальцы. Мы отлетали наши семьдесят заданий и были в той же лодке.

— Почему же вы не присоединились ко мне?

— Нам не хватало смелости. Нас послали домой сразу же после того, как тебя поймали, так что

для нас все обернулось как нельзя лучше. Я тоже сказал «нет», но к тому времени они уже предоставили мне выбор. А что случилось с тобой?

— Меня тоже отправили домой. Они грозились меня убить, посадить в тюрьму, они сказали, что уничтожат меня. Они дали мне майора и отправили домой. Они хотели, чтобы все было шито-крыто.

— Большинство из нас восхищалось тобой. Да ты и теперь, кажется, знаешь, что делаешь.

— Это кто сказал? Я больше ни в чем не уверен.

— Брось ты, Йо-Йо. На нашем этаже говорят, что ты даже затеял роман с одной из сестер.

Йоссарян чуть не вспыхнул от гордости.

— Это уже и туда дошло?

— Нам об этом сказал доктор моего приятеля, — весело продолжал Зингер. — Я помню, что на Пьяносе у тебя тоже что-то было с одной из сестричек, а?

— Очень недолго. Она меня бросила, потому что сочла ненадежным. Беда в том, что если уж ты вскружил девушке голову, то должен кружить ее и дальше. Но это не имеет никакого отношения к любви.

— Я это тоже знаю, — сказал Зингер. — Но ты и

еще пара ребят были с ней на берегу в купальных костюмах в тот день, когда Малыша Сэмпсона разрубило винтом самолета. Ты ведь помнишь Малыша Сэмпсона?

— Черт, конечно же, помню, — сказал Йоссарян. — Неужели ты думаешь, что я мог забыть Малыша Сэмпсона? Или Макуотта, который был в том самолете, что разрубил Малыша на части. Макуотт был моим любимым пилотом.

— И моим тоже. Он был пилотом во время рейда на Феррару, когда нам пришлось заходить на цель второй раз и когда убили Крафта, и бомбардира, которого звали Пинкард.

— Так ты был со мной в самолете и на этом задании?

— Конечно, был. А еще я был в самолете с Заморышем Джо, когда он забыл про запасной рычаг для выпуска шасси. И его наградили медалью.

— Мне тоже дали медаль за Феррару.

— Трудно поверить, что все это действительно было.

— Мне знакомо *это* чувство, — сказал Йоссарян. — Трудно поверить, что я позволил им делать со мной все это.

— Мне знакомо это чувство. Знаешь, странно с этим Сноуденом. — Зингер помедлил. — Я его не

так уж хорошо знал.

— Я его просто не замечал.

— А теперь мне кажется, что он был одним из самых близких моих друзей.

— И я чувствую то же самое.

— А еще я чувствую, — гнул свое Сэмми, — что он — это лучшая часть моей жизни. Мне не нравится, как я об этом говорю. В этом есть что-то безнравственное. Но после него в моей жизни остался случай, нечто драматическое, о чем теперь можно поговорить, и нечто, доказывающее, что та война была по-настоящему настоящая. Люди теперь почти ничему не верят из того, что было; моих детей и внуков не особо интересуют все эти древности.

— Приведи ко мне своего приятеля, и я ему скажу, что это правда. Он здесь с чем лежит?

— Да так, обследование.

— А обследует его Тимер? — Йоссарян покачивал головой.

— Они давно знают друг друга, — сказал Зингер.

— Ах, вот оно что, — сказал Йоссарян голосом, исполненным саркастического сомнения, и Зингер понял, что обмануть Йоссаряна ему не удалось. — Ну, Сэмми, так что же там дальше? Я

так и не научился штурманскому делу, но ориентироваться, вроде, стал получше. Я знаю многих женщин. Я хочу жениться еще раз.

— Я тоже знаю нескольких женщин, но в основном это старые друзья.

— Не женись, пока не почувствуешь, что у тебя нет другого выхода. Пока в этом не будет необходимости, ничего хорошего из этого у тебя не выйдет.

— Я могу еще поездить по свету, — сказал Зингер. — Друзья советуют мне совершить кругосветное путешествие. У меня есть знакомые времен моей работы в «Тайм». У меня есть хороший приятель в Австралии; он давно болен, у него болезнь Гийана-Барре, Он уже тоже не молод, и передвигаться на костылях ему не очень-то легко. Хотелось бы повидаться с ним еще раз. Есть у меня и еще один приятель — в Англии, он на пенсии, а другой — в Гонконге.

— Пожалуй, на твоем месте я бы съездил. Хоть будет чем себя занять. А этот твой приятель, который сейчас здесь, в больнице? Пациент Тимера.

— Его, наверно, скоро выпишут. Он был военнопленным в Дрездене вместе с Куртом Воннегутом и еще одним по имени Швейк. Ты себе можешь это представить?

— Когда-то в Неаполе я стоял в одной шеренге с солдатом по имени Швейк и познакомился там с одним парнем, которого звали Джозеф Кэй. Я ни разу не слышал про Дрезден, пока не прочел об этом в романе Воннегута. Пришли ко мне своего приятеля. Я бы хотел услышать про Воннегута.

— Он его не знает.

— Все равно, попроси его заглянуть, если он не против. Я здесь пробуду весь уикэнд. Ну, Сэмми, хочешь поспорить? Как ты думаешь, мы еще встретимся не в больнице?

Этот вопрос застал Зингера врасплох.

— Это тебе решать, Йоссарян. У меня-то время есть.

— Я запишу твой телефон, если ты мне его дашь. Может, стоит попробовать. Я бы хотел еще поговорить с тобой о Вильяме Сарояне. Ты ведь пытался писать рассказы, вроде тех, что писал он.

— И ты тоже. И что же с этим стало?

— Я попис***а***л и бросил.

— Я тоже бросил. Ты когда-нибудь отправлял свои вещи в «Нью-Йоркер»?

— Я всякий раз мчался именно туда.

— И я тоже.

— Сэмми говорит, что вы спасли его жизнь, — сказал крупный человек в халате и домашних

пижамных штанах; он громогласно и с веселым видом представился как Рабиновиц, голос у него был хрипловатый и твердый. — Расскажите мне, как это случилось.

— Пусть он сам сообщит вам подробности. Вы были в Дрездене?

— Он сообщит вам эти подробности. — Рабиновиц снова задержал взгляд на Анджеле. — А вы, молодая леди, похожи на одну даму, которую я где-то видел, только вот не могу припомнить, где. Она тоже была сногсшибательна. Мы с вами встречались? Раньше я выглядел помоложе.

— Не уверена. Это мой друг Энтони.

— Привет, Энтони. Слушайте меня хорошо, Энтони. Я не шучу. Вы сегодня должны вести себя с ней как с королевой, а если вы будете вести себя с ней иначе, то я обязательно узнаю об этом и начну посылать ей цветы, и вы окажетесь не у дел. Верно, дорогая? Приятного вечера, детка. Желаю хорошо провести время. Энтони, меня зовут Лю. Идите, развлекитесь немного.

— Непременно, Лю, — сказал Энтони.

— Я теперь на пенсии, торгую немного недвижимостью, занимаюсь потихоньку строительством со своим зятем. А вы?

— Я тоже на пенсии.

— Но вы работаете с Милоу Миндербиндером.

— Не полное время.

— У меня есть приятель, который хотел бы с ним встретиться. Я приведу его. А в больнице я, чтобы скинуть вес. У меня небольшие проблемы с сердцем, поэтому толстеть мне нельзя, но иногда я сбрасываю слишком много. Вот и лег обследоваться.

— У Денниса Тимера?

— Тимера я сто лет знаю. А эта миленькая блондиночка, похоже, просто куколка. Уверен, что где-то ее видел.

— Я думаю, вы бы запомнили.

— Поэтому-то я и уверен.

— Болезнь Ходжкина, — доверительно сообщил Тимер.

— Черт, — сказал Йоссарян. — Он не хочет, чтобы я знал.

— Он хочет, чтобы вообще никто не знал. Даже я. А я знаю его почти тридцать лет. Он тянет на рекорд.

— Он всегда был такой? Он не прочь пофлиртовать.

— И вы тоже не прочь. Со всеми. Вы хотите, чтобы все здесь были от вас без ума. Он более открытый. А вы — хитрый.

— Вы коварный тип и слишком много знаете.

Глядя на Рабиновица, Йоссарян видел перед собой высокого, откровенного, крупного сложения, но страшно исхудавшего человека. У него была абсолютно лысая макушка, седоватые рыжие усы и он проявлял агрессивное внимание к Анджеле, выказывая несокрушимую сексуальную самоуверенность, превосходившую и подавлявшую самоуверенность Анджелы. Йоссарян с удовольствием наблюдал, как она наклоняется вперед, чтобы подобрать бюст, как она кладет на колени руки, чтобы не задиралась юбка, как, усевшись, чопорно подгибает под себя ноги. Она столкнулась с такой подавляющей и властной сексуальной раскованностью, которую не могла принять, но не могла и победить.

— А ведь он даже не итальянец, — ворчал Йоссарян.

— Ты тоже не итальянец, но я же против тебя ничего не имею. Дело в том, что я его действительно где-то видела.

— Так вот, мисс Мор, кажется, я вспомнил, — прощупывая ее улыбкой, сказал Рабиновиц, заглянув к Йоссаряну еще раз и увидев Анджелу. — Вы напоминаете мне одну очаровательную даму с прекрасным характером, я видел ее как-

то с одним строителем, с которым у меня были кой-какие дела в Бруклине, неподалеку от Шипсхед-Бэй. Это был итальянец по имени, кажется, Бенни Салмери. Вы тогда любили танцевать.

— Правда? — ответила Анджела, смотревшая на него из-под полуопущенных, покрытых тенями век. — Я когда-то знала строителя по имени Салмери. Не очень уверена, что это тот, о котором вы говорите.

— У вас когда-то была подружка-медсестра, с которой вы вместе снимали квартиру?

— Она у меня и сейчас есть, — уже с большей свободой ответила Анджела. — Та самая, которая здесь дежурила. Это моя подружка, Мелисса.

— Такая миленькая, с хорошим характером?

— Она ухаживает здесь за нашим другом. Поэтому-то он и попал сюда. Она трахается со стариками и доводит их до удара.

— Я бы не хотел, чтобы ты говорила такие вещи посторонним, — с легким упреком сказал ей Йоссарян, когда Рабиновиц ушел. — Ты погубишь ее будущее. И потом, у меня был вовсе и не удар. И мое будущее ты тоже погубишь.

— А я бы хотела, чтобы ты не говорил людям, будто моя фамилия Моркок.

Некоторое время они внимательно смотрели

друг на друга.

— А кому это я говорил?

— Майклу. Этому доктору Шумахеру. — Анджела Мор сделала паузу, чтобы произвести впечатление. — Патрику.

— Патрику? — Удивленный Йоссарян заранее знал ответ, еще не успев задать вопрос. — Какому Патрику? Патрику Бичу?

— Патрику Бичу.

— Вот черт, — сказал он, оправившись от удивления. — Ты встречаешься с Патриком?

— Он мне звонил.

— Тебе придется плавать на яхте. Не думаю, что ты будешь от этого в восторге.

— Я уже плавала. Мне понравилось.

— Ведь у него с простатой не все в порядке, да?

— Сейчас в порядке. Поэтому он больше здесь и не появляется. Ты был близок с его женой. Как ты думаешь, она узнает?

— Фрэнсис Бич узнаёт всё.

— Я не первая.

— Это она уже знает. Она сможет догадаться.

— У тебя с этой медицинской сестрой на самом деле что-то есть, да? — догадалась Фрэнсис Бич. — В этом спертом воздухе я почти чую совокупление.

— У меня это как-то проявляется?

— Нет, дорогой, у нее. Она смотрит на тебя более покровительственным взглядом, чем следовало бы, а когда здесь есть другие, ведет себя слишком уж корректно. Посоветуй ей не каменеть так.

— От такого совета она будет каменеть еще больше.

— А у тебя все еще осталась эта вульгарная привычка, которую я всегда в тебе ненавидела. Как только женщина, любая женщина, поворачивается к тебе спиной, ты смотришь на ее задницу, и во взгляде у тебя появляется такое самодовольство. Это самодовольство собственника. На мою задницу ты тоже поглядываешь, да?

— Я знаю, что всегда это делаю. Но самодовольства я от этого не испытываю. Ты все еще прекрасно выглядишь.

— Ты бы так не думал, если бы у тебя не остались воспоминания.

— У меня есть еще одна дурная привычка, которая покажется тебе еще хуже.

— Спорим, что догадаюсь. Потому что она и у меня есть.

— Скажи, какая?

— Ты уже дошел до той несчастной стадии своего развития, когда не можешь серьезно смотреть

в лицо человеку, не воображая про себя, каким оно будет в старости.

— Не могу понять, как ты узнала.

— Мы были слишком похожи.

— Я делаю это, только глядя на женщин. Это помогает мне терять к ним интерес.

— Я делаю это, глядя на все лица, на которых уже есть признаки старения. Это ужасная и отвратительная привычка. Ее лицо хорошо сохранится.

— Ее зовут Мелисса.

— Скажи ей, что мне она может доверять. Хоть я и богата, гоняюсь за модой и когда-то имела кой-какую сучью известность как актриса. Я рада, что ты женишься не из-за денег.

— Кто это думает о женитьбе?

— Когда я познакомилась с Патриком, то речь шла о гораздо большем, чем о деньгах. Знаешь, я одобряю твое решение. Хотя мне и не нравится ее подружка. Патрик снова стал плавать на яхте. Я думаю, он, может, не только плавает, но и летает от удовольствия. Ну, что ты еще можешь мне сообщить?

— Ничего я тебе не могу сообщить.

— А я ничего не хочу знать, и в этот раз тоже. Я бы чувствовала себя виноватой, если бы он

считал, что я подозреваю. Я бы ни за что не хотела разрушать чье-либо счастье, а в особенности его. Я бы тоже еще хотела быть счастливой, но ты ведь знаешь, сколько мне лет. Наша подруга Оливия может быть исключением из правил. Она не будет часто приходить в гости, но зато наполняет комнату несметным количеством цветов. И каждую открытку подписывает «Оливия Максон», словно это какой-то английский титул и у тебя тысяча знакомых Оливий. Я в восторге от твоей компании по поставке провизии и обслуживанию торжеств.

— Это компания Милоу Миндербиндера.

— Две тонны икры — это божественно.

— Нам бы хватило и одной, но лучше иметь небольшой запасец. Пожалуй, таких развлечений, как эта свадьба на автовокзале, больше уже у меня не будет.

— А для меня это, пожалуй, единственное развлечение. Ах, Джон, Джонни, ты сделал со мной ужасную вещь, — сказала Фрэнсис Бич. — Когда я узнала, что ты болен, я, наконец, впервые в жизни почувствовала себя старой. Ты поправишься, а я уже — никогда. Кто-то стучит. Войдите, пожалуйста. Вас зовут Мелисса?

— Да. Тут к нему еще пришли.

— А меня зовут Рабиновиц, мадам, Люис Рабиновиц, но друзья называют меня Лю. Тут со мной еще кое-кто — мистер Марвин Уинклер, только что прилетел из Калифорнии засвидетельствовать свое почтение. А где наша хорошенькая знакомая Анджела? Марвин, это мистер Йоссарян. Тот самый, который устроит то, что тебе надо. Уинклер хочет встретиться с Милоу Миндербиндером по поводу одного потрясающего нового изделия. Я ему сказал, что мы это устроим.

— Что это за изделие?

— Лю, дай я поговорю с ним наедине.

— Я вас слушаю, Уинклер.

— Посмотрите на мою ногу. — Уинклер был человеком среднего роста и выдающейся полноты. — Вы ничего не замечаете?

— А на что я должен смотреть?

— На мою туфлю.

— А что такое с вашей туфлей?

— Она на уровне новейших достижений.

Йоссарян внимательно посмотрел на него.

— Вы не шутите?

— Я никогда не шучу, если речь идет о бизнесе, — ответил Уинклер, произнося слова с напряжением, словно испуская скорбные вздохи. Голос у него был низким и гортанным, а речь

— почти неразборчивой. — Я слишком долго занимаюсь бизнесом. После войны я изготавливал и продавал излишки армейской пленки. Я был в пекарном бизнесе и прославился как изготовитель лучших в Нью-Йорке, Коннектикуте и Нью-Джерси пышек, покрытых медовой глазурью. Все, что я делал, было на уровне новейших достижений. Я до сих пор изготовляю шоколадные фигурки к Пасхе.

— Вам удавалось когда-нибудь зашибить большие деньги?

— Я неудачно выбирал время. Еще я как-то был в кулинарном бизнесе и доставлял в дома завтраки по утрам в воскресенье, чтобы люди могли подольше поспать. Моя фирма была на Кони-Айленде и называлась «Ферма Зеленый Акр», а я был единоличным владельцем.

— А я был клиентом. И вы мне ни разу ничего не доставили.

— Этот бизнес оказался нерентабельным.

— Уинклер, я устрою вам эту встречу. Не могу противиться. Но я хочу, чтобы вы мне потом о ней рассказали.

— Я не упущу ни слова.

— Мы думали о ботинке, — признался Милоу, — на продажу правительству.

— Тогда вам совершенно точно нужен мой. Он на уровне последних достижений.

— А что это значит?

— Это значит, что он лучший в мире, мистер Миндербиндер, и у правительства нет никаких причин выбирать другой. Взгляните еще раз на мою ногу. Вы видите эту гибкость? Туфля выглядит новой, когда вы надеваете ее в первый раз; когда она постареет, как только вы ее сносите, она выглядит бывшей в употреблении. Если она потускнеет, ее можно почистить или оставить такой, какой она есть, или носить с царапинами, если вам так нравится. Вы можете сделать ее темнее или светлее и даже изменить его цвет.

— Но что в ней особенного?

— Она хорошо сидит на ноге и оставляет носок сухим и чистым. Она способствует защите кожи на вашей подошве от порезов и царапин и других болезненных неудобств при ходьбе по земле. Вы можете в ней ходить, бегать и даже просто сидеть и говорить, как я и делаю это сейчас.

— И она изменяет цвет. Как, вы сказали, она это делает?

— Вы просто вставляете эту волшебную пластмассовую вкладку в отверстие на каблуке, несете туфлю к сапожнику и говорите ему, чтобы он ее

перекрасил в тот цвет, который вам нужен.

— Это похоже на чудо.

— Я бы сказал, что это и есть чудо.

— И вы можете делать их и для женщин?

— Нога есть нога, мистер Миндербиндер.

— Вот только одного я не могу понять, мистер Уинклер. Что такого особенного в вашей туфле, чего нет в моей?

— Она делает деньги для нас обоих, мистер Миндербиндер. Моя — на уровне новейших достижений. Вы посмотрите и почувствуйте разницу.

— Начинаю понимать. Вы очень богаты?

— Мне все никак не удавалось попасть в струю. Но поверьте мне, мистер Миндербиндер, опыт у меня есть. Вы имеете дело с человеком, который изобрел и продолжает изготовлять на уровне новейших достижений шоколадные фигурки к Пасхе.

— Чем же ваши фигурки отличались от других?

— Они были из шоколада. Их можно было упаковывать, доставлять, демонстрировать и, самое главное, есть, как конфеты.

— А разве с другими фигурками нельзя было делать все то же самое?

— Но мои были на уровне новейших достижений. Мы печатаем эти слова на каждой упаковке. Публике не нужны второсортные шоколадные фигурки на Пасху, а нашему правительству не нужна второсортная обувь.

— Понимаю, понимаю, — сказал Милоу, оживляясь. — Вы разбираетесь в шоколаде?

— Я знаю о нем все, что только можно знать.

— Скажите-ка мне кое-что. Попробуйте-ка вот это.

— С удовольствием, — сказал Уинклер, беря конфетку и предвкушая вкусовое наслаждение. — Что это?

— Хлопок в шоколаде. Что вы об этом скажете?

Осторожно, словно что-то редкое, хрупкое и омерзительное, Уинклер, не переставая улыбаться, оторвал от языка липкую массу.

— Я в жизни не пробовал хлопка в шоколаде вкуснее этого. Он явно на уровне новейших достижений.

— К сожалению, мне никак не удается его сбыть.

— Не могу понять, почему. У вас его много?

— Полный склад. У вас есть какие-нибудь мысли на этот счет?

— С мыслями у меня всегда полный порядок. Я

придумаю что-нибудь, а вы отвезите мой ботинок вашему посреднику в Вашингтоне.

— Это будет сделано непременно.

— Тогда рассмотрите такое предложение: отделите шоколад от хлопка. Из хлопка сделайте тонкую ткань для рубашек и простынь. Сегодня мы созидаем, уничтожая. Вы все время соединяли. Сегодня мы растем, становясь меньше. Шоколад вы можете продать мне для моего бизнеса за великолепную цену, которую я дам, получив от вас деньги за мою обувь.

— Сколько пар обуви у вас есть на данный момент?

— На данный момент у меня есть та пара, что на мне, и еще одна — дома в шкафу. Я смогу организовать выпуск миллионов пар, как только у нас будет контракт и я получу вперед все деньги, необходимые для покрытия нужд производства. Я люблю получать деньги вперед, мистер Миндербиндер. Только так я и делаю бизнес.

— Это справедливо, — сказал Милоу Миндербиндер. — Я тоже именно так и работаю. К сожалению, у нас в Вашингтоне теперь есть департамент по этике. Но наш юрист сразу же займется этим делом, как только выйдет из тюрьмы. А тем временем у нас есть наши частные

посредники. Вы получите ваш контракт, мистер Уинклер, потому что договор есть договор.

— Спасибо, мистер Миндербиндер. Можно прислать вам шоколадную фигурку на Пасху? Я могу включить вас в наш дарственный список.

— Да, пожалуйста. Пришлите мне дюжину тысяч.

— А кому выставить счет?

— Кто-нибудь заплатит. Мы с вами прекрасно понимаем, что таких вещей как бесплатный ланч не существует.

— Спасибо вам за ланч, мистер Миндербиндер. Я ухожу от вас с хорошими новостями.

— Я пришла с хорошими новостями, — весело выкрикнула Анджела, влетев в больничную палату в экстатическом ликовании. — Но Мелисса боится, что ты рассердишься.

— Она нашла себе нового ухажера.

— Нет, до этого еще не дошло.

— Вернулась к старому.

— На это нет ни малейшего шанса. У нее задержка.

— Чего?

— Месячных. Она думает, что беременна.

Мелисса с вызовом сказала, что хочет сохранить этого ребенка, а время, оставшееся на то,

чтобы обзавестись ребенком, и у нее, и у него было не безгранично.

— Но как это могло случиться? — сетовал Йоссарян в конце своего Путешествия по Рейну. — Ты говорила, что у тебя перевязаны трубы.

— А ты говорил, что у тебя оперированы протоки.

— Я шутил.

— Я этого не знала. Значит, я тоже шутила.

— Гм-гм, извините меня, — сказал Уинклер, когда Йоссарян уже не мог выносить это дальше. — Нам нужно закончить одно дельце. Йоссарян, я всем вам обязан. Сколько денег вам нужно?

— За что?

— За то, что вы устроили мне эту встречу. Я ваш должник. Назовите вашу сумму.

— Мне ничего не нужно.

— Это справедливо.

29
МИСТЕР ТИЛЬЮ

Безопасно и уютно устроившись после смерти в собственном мире, мистер Джордж К. Тилью, умерший почти восемьдесят лет назад, испытывал удовольствие, созерцая свои владения и наблюдая, как идет время, потому что время не шло. Его золотые часы на золотой цепочке с брелоком из гелиотропа в виде зуба неправильной формы служили ему только украшением; он носил их в кармане жилета и никогда не заводил.

Конечно, между событиями были временные интервалы, но измерять их не было никакого смысла. Обе русские горки — его «Ущелье дракона» и «Торнадо» — и его «Лошадки Стиплчеза», которыми управляли константы силы тяжести и трения, работали от начала и до конца каждого запуска без каких-либо заметных изменений, как неизменными были и прогулки в лодке по воде в его «Туннеле любви». Он, конечно, мог изменять продолжительность поездки на карусели «Эльдорадо» и увеличивать или уменьшать круги «Кнута», «Гусеницы», «Водоворота» и «Кренделя».

Стоимость при этом не увеличивалась. Здесь ничто не портилось. Железо не ржавело, краска не шелушилась. Нигде не было ни пыли, ни мусора. Его рубашка со стоячим воротником всегда была чистой. Его желтый дом выглядел таким же свежим, как и в тот день, пятьдесят лет назад, когда он, наконец, перенес его к себе вниз. Дерево здесь не коробилось и не гнило, окна не перекашивались, стекло не билось, с водопроводных труб никогда не капало. Лодки его не протекали. И дело было не в том, что время замерло. Времени здесь вообще не существовало. Мистер Тилью пребывал в восторге от неизменности, вечной стабильности. Это было такое место, где люди никогда не старели. Здесь всегда будут новоприбывшие, и их число никогда не уменьшится. Это было мечтой концессионера.

Когда он вернул себе свой дом, на земле не осталось ничего, что он бы хотел и не имел. Он был в курсе всего, что происходило наверху, благодаря своему счастливому знакомству с генералом Лесли Гроувсом, который, приезжая по своей железнодорожной ветке на своем частном поезде, периодически заглядывал к нему поболтать и получить удовольствие от предлагаемых развлечений. Генерал Гроувс привозил газеты

и еженедельные журналы, которые просто исчезали в никуда, как и весь остальной мусор, после того как мистер Тилью пробегал лишь те попадавшиеся крайне редко истории, что своей необычайностью заслуживали его внимательного прочтения. Не менее пунктуально — день в день, раз в три месяца — навешал его некто мистер Гэффни, хороший знакомый совсем иного рода, работавший частным детективом и приезжавший узнать у мистера Тилью все, что удастся. Мистер Тилью сообщал ему далеко не все. Мистер Гэффни был весьма примечателен своей благовоспитанностью и манерой одеваться, и мистер Тилью с нетерпением ждал того часа, когда мистер Гэффни переселится к нему навсегда. Иногда генерал Гроувс приезжал с каким-нибудь гостем, с которым, по его мнению, мистеру Тилью следовало познакомиться заблаговременно. У мистера Тилью в избытке имелись знакомства как среди мужчин, так и среди женщин, и он не испытывал никакой потребности в священниках, а потому не почувствовал себя обиженным, узнав, что капеллан, о котором ему рассказывал генерал Гроувс, отклонил предложение быть представленным ему, мистеру Тилью. В большем салоне одного из двух железнодорожных вагонов, где

размещалось элегантное обиталище генерала Гроувса, мистер Тилью имел возможность развлекаться самым необыкновенным образом — глядя сквозь стекло любого из окон и, когда он освоился с пультом управления, рассматривая практически любое место на земле. Обычно ему хотелось смотреть только на Нью-Йорк, в основном на те части Бруклина, о которых он думал как о своем излюбленном месте развлечений и о месте своего упокоения, — это были район гуляний на Кони-Айленде и Гринвудское кладбище неподалеку от бруклинского Сансет-парка, куда его и положили в 1914 году, но, как он мог теперь самодовольно утверждать, всего лишь временно, на отдых.

Площадка, на которой стоял его дом, осталась пустой, на ней теперь расположилась стоянка для приезжающих сюда в разгар сезона посетителей, у которых теперь были автомобили. Там, где когда-то процветала и купалась в славе его сверкающая земля чудес, теперь функционировали объекты, гораздо менее значительные. Куда бы он ни посмотрел, он не видел под солнцем ничего такого, чему он мог бы позавидовать. Его позолоченный век прошел. В конце эры он видел упадок и коррозию. Если Париж, как он любил когда-то повторять, был всей Францией,

то Кони-Айленд летом явно перестал быть всем миром, и он поздравлял себя с тем, что вовремя убрался оттуда.

Он мог играть цветом предметов в окнах железнодорожного вагона генерала Гроувса, мог видеть, как чернеет солнце, а луна обретает кроваво-красный оттенок. Очертания современных больших городов претили его пониманию красоты и пропорциональности. Он созерцал воспаряющие ввысь здания и никому не принадлежащие гигантские коммерческие предприятия, и их вид вызывал у него отрицательное отношение. Люди покупали акции фондов, которые невозможно было увидеть, и эти акции не имели никакого отношения к собственности или управлению. Сам он, в соответствии со своим пониманием масштаба и ответственного нравственного поведения, всегда вкладывал свои силы и деньги только в такие проекты, которые были подконтрольны лишь ему, и с единственной целью — чтобы завладеть тем, что он мог видеть и чем мог владеть, а что касается удовольствия и радости, то пусть их испытывают другие.

Сейчас он был куда состоятельнее, чем бедняга Рокфеллер и деспотичный мистер Морган, отдавшие свои богатства наследникам, а свою

веру — добродушному Верховному Существу, присматривающему за хорошо воспитанным человечеством; теперь они жили, сожалея о содеянном.

Мистер Тилью мог бы им давно об этом сказать, не уставал и в самом деле говорить им мистер Тилью.

Мистер Тилью всегда держал под рукой блестящий новенький десятицентовик для мистера Рокфеллера, который, хотя дней здесь и не было, почти ежедневно приходил к нему клянчить деньги, затеяв запоздалую борьбу за возвращение себе всех тех блестящих новеньких десятицентовиков, что он раздавал направо и налево в тщетных и никчемных потугах завоевать благодарность общества, которая, как понял он теперь, ему вовсе не была нужна.

Мистер Морган, вечно пребывая в ярости и сверля мир своим пронзительным взглядом, был твердо убежден, что случилась какая-то дьявольская несправедливость, жертвой которой он стал по недоразумению. Как заведенные часы, хотя здесь и не было заведенных часов, он неустанно требовал, чтобы ему сообщили, не доставлены ли еще из высоких сфер распоряжения, исправляющие его положение. Он не привык к подобному

обращению, с мрачным удивлением и глупым упрямством сердито напоминал он, когда ему сообщали, что распоряжения еще не прибыли. Он не сомневался в том, что его место на небесах. А он попал к Дьяволу и Сатане.

— Неужели вы думаете, что Бог мог совершить ошибку? — вынужден был, наконец, заметить мистер Тилью.

Хотя недель здесь и не было, прошла почти целая неделя, прежде чем мистер Морган смог найти ответ.

— Если Бог может все, то он может совершить и ошибку.

Мистер Морган кипел от гнева, держа в зубах незажженную сигару — ведь теперь мистер Тилью никому не разрешал курить. У мистера Моргана была колода игральных карт, которую он никому не давал, и хотя часов здесь не наблюдали, многие часы он проводил в одиночестве, раскладывая пасьянс в одной из гондол сверкающей карусели «Эльдорадо», первоначально сделанной для германского императора Вильгельма II. Одна из наиболее бросающихся в глаза колесниц на этом колесе фортуны, которое никогда никуда не катилось, все еще была помпезно украшена императорским геральдическим вен-

чиком. С императором на борту карусель всегда играла Вагнера.

Более теплые чувства испытывал мистер Тилью к двум авиаторам времен Второй мировой войны, одного из них звали Малыш Сэмпсон, а другого — Макуотт; на Кони-Айленд всегда приходило множество отпущенных на побывку моряков и солдат, и в «Стиплчезе» им были рады. Мистер Тилью всегда радовался любому новичку, прибывающему со старого Кони-Айленда; порадовался он и прибытию внушительного новичка Люиса Рабиновица, который сумел освоиться за рекордно короткое время и признал главенство Джорджа К. Тилью.

Мистер Тилью наслаждался в компании подобных добродушных личностей и часто присоединялся к ним, когда те совершали свои головокружительные кульбиты на «Торнадо» и «Ущелье Дракона». Для отдыха и в неустанных инспекционных трудах он часто возвращался по своему «Туннелю Любви», направляясь в темную нору, над входом в которую висели мрачные изображения похитителя, укравшего ребенка у Линдберга, а теперь восседавшего на электрическом стуле, и мертвой Мерилин Монро на постели; он плыл в свой музей восковых фигур

на «Острове Смерти», чтобы, возвращаясь в прошлое, найти там свое будущее. Он не испытывал внутреннего протеста — абсолютно никакого — против того, чтобы занять место рядом с Авраамом Линкольном и Ангелом Смерти, где он, вероятно, окажется лицом к лицу с нью-йоркским мэром по имени Фиорелло Г. Лагуардия и президентом Франклином Делано Рузвельтом в более молодые его годы, с этими смертными из прошлого, которые ждали его впереди, в его будущем. Они появились, когда его время уже истекло, как, например, похититель и Мерилин Монро. Мистер Тилью никак не мог заставить себя сказать, что человек, обосновавшийся сейчас в Белом Доме, был еще одним гаденышем, но не мог он это сделать по той лишь причине, что ни он, ни Дьявол не пользовались неприличными выражениями.

У мистера Тилью было пространство для дальнейшего роста. Под ним находились ледяное озеро и пустыня раскаленного песка, один-два покрытых грязью луга и река кипящей крови, а еще одна — с кипящей смолой. Были там и непролазные лесные дебри, которые он мог прибрать к рукам, если бы знал, что с ними делать; в них росли деревья с черными листьями, обитало

несколько леопардов, лев, трехголовая собака и волчица, но упрятать их в клетки было невозможно, что исключало всякую мысль об устройстве зоопарка. Но его воображение было уже не таким услужливым, как прежде; его одолевали страхи, что он стареет. Когда-то он процветал, используя символы, был привычен к абстракциям. Его аттракцион «Стиплчез» на самом деле вовсе не был стиплчезом, его парк не был парком. Призы на его аттракционах были призами только при условии общего притворства. Продуктом его деятельности было удовольствие. Его «Торнадо» вовсе не был торнадо, его «Ущелье Дракона» не было ущельем. Никто и не считал, что они были тем, чем назывались, а он и представить себе не мог, что бы он стал делать с настоящим торнадо, или подлинным ущельем, или живым драконом. Он не был уверен, что смог бы найти источники веселья в пустыне раскаленного песка, огненном дожде или реке кипящей крови.

Возвращение дома все еще переполняло его гордостью за свое терпеливое упорство. На это ушло тридцать лет, но там, где времени не существует, его всегда оказывается в достатке.

Дом был сооружен из желтого дерева, имел три этажа и чердак под остроконечной крышей.

Никто, казалось, так и не сказал ни слова, когда первый этаж его дома исчез и трехэтажный дом стал двухэтажным. Проходившие мимо жители соседних кварталов иногда все же обращали внимание на то, что буквы на вертикальной части нижней ступеньки вроде бы уходят вниз, как оно и было на самом деле. К началу войны его имя исчезло почти наполовину. Во время войны молодые люди ушли на военную службу, многие семьи повыехали, и мистер Тилью не преминул воспользоваться предоставившейся ему возможностью. После войны никто уже не удивлялся при виде пустыря — ставшего впоследствии автостоянкой — на том месте, где когда-то находился дом. Когда вскоре после этого исчез и его парк аттракционов «Стиплчез», а потом закрылся и кинотеатр мистера Тилью, его имя уже ушло с острова и исчезло из людской памяти.

Теперь, владея всем, чем он хотел владеть, и обитая в собственном доме, он был объектом зависти своих Морганов и Рокфеллеров. Его завораживающие кривые зеркала никогда не искривляли ни его, ни его билетеров.

Вернувшись как-то к себе в офис в конце дня после работы — хотя дней здесь и не существовало, а работы у него не было, — он нашел там

мистера Рокфеллера. Он дал ему еще один десятицентовик и выставил его за дверь.

Эта ничтожная личность никоим, даже самым отдаленным, образом не ассоциировалась с комплексом деловых зданий в Рокфеллеровском центре и с овальной жемчужиной ледового катка. Из высокомерной записки, лежавшей на его шведском бюро, он узнал, что мистер Морган вернется, чтобы еще раз выяснить с мистером Тилью отношения в связи с его, мистера Тилью, новой политикой запрета на курение. Чтобы избежать столь скорой встречи, мистер Тилью снова снял с крючка на вешалке свой котелок, на котором не было ни пылинки. Он распушил лепестки цветка у себя в петлице; цветок этот всегда был свеж и всегда будет свеж. Энергичной походкой он заспешил из офиса к себе домой, тихонько напевая про себя восхитительную тему похорон Зигфрида, которая слышалась с его карусели.

Взбираясь на свое трехступенчатое крылечко, он слегка споткнулся о последнюю ступеньку, чего с ним не случалось раньше. На полке над двумя раковинами у окна своей кухни он обнаружил нечто странное. Уотерфордская хрустальная ваза с белыми лилиями выглядела совершенно обычно, но вода в ней таинственным образом

стояла под углом. Минуту спустя он нашел плотницкий ватерпас и установил его на подоконник. От жуткого удивления мистера Тилью охватила дрожь. Дом стоял неровно. Недоумевая и хмуря брови, он снова вышел из дома. Глядя на крылечко, нижняя ступенька которого в вертикальной своей части несла его имя, он понял, что ватерпас ему не нужен — и невооруженным глазом было видно, что ступеньки перекошены, что накренилась и ведущая к ним дорожка. Горизонтальная линия строки, составленной буквами его фамилии, накренилась так, что нижние закругления последних букв уже скрылись из глаз. Он окаменел от беспокойства. Без его ведома и желания дом снова стал погружаться. Он понятия не имел, почему это происходит.

КНИГА ДЕСЯТАЯ

30
СЭММИ

По неизвестным ей причинам ее отец, казалось, не любил ее в детстве и не проявлял никаких более сильных, чем обычное приятие, чувств, когда она стала старше и вышла замуж. С ее братом и сестрой он был добрее, но не намного.

Она была старшей из трех детей. Мать уделяла ей больше внимания, но не могла смягчить атмосферу дома, в котором ведущую роль играл сдержанный и холодный супруг. Они были висконсинскими лютеранами и проживали неподалеку от Мэдисона, столицы штата, где зимой дни короткие, а ночи черные и длинные, а ветры обжигают холодом. «Он всегда был таким, — говорила в его защиту ее мать. — Мы знали друг друга с тех пор, как начали ходить в школу и церковь». Они были одногодками и оба потеряли невинность в первую брачную ночь. «Нас выбрали друг для друга наши семьи. Такие тогда были обычаи. Не думаю, что он когда-нибудь был по-настоящему счастлив».

У него был свой маленький бизнес — розничная

торговля сельскохозяйственными продуктами, — который он унаследовал и расширил, и со своими работниками и поставщиками, относившимися к нему с приязнью, он шутил больше, чем дома. С чужими он обычно чувствовал себя свободнее. Нет, ничего лично против нее он не имеет, настаивала ее мать, потому что она всегда была хорошим ребенком. Но после смерти отца, тоже умершего от рака легких, обнаружилось, что по завещанию ей не досталось ничего, хотя трем ее детям он и оставил доли, которые в сумме равнялись тому, что было получено ее братом и сестрой; ей же он предоставил лишь полные опекунские полномочия. Она ничуть не была удивлена.

«А я и не ждала ничего другого, — говорила Гленда, вспоминая об этом. — Только не думай, что мне это безразлично. До сих пор горько».

В молодости ее лютеранин-отец, который не имел ни вкуса к музыке, ни склонности к танцам или к каким-либо другим увеселительным глупостям, нравившимся матери — на хэллоуин она делала маски и любила костюмированные вечера, — обнаружил природный дар к рисованию и живой интерес к конструкциям зданий и сложной архитектуре. Но эти так и не раскрыв-

шиеся таланты были никому не нужны в суровых условиях сельской жизни, где доминировал отец еще более непреклонный, чем тот, которым в свое время стал он, где родители вели полную запретов жизнь, еще менее богатую событиями, чем его собственная. Ни у кого и мысли не возникло о колледже или школе искусств, и подавление этих склонностей, вероятно, сыграло критическую роль в становлении этой мрачной личности и причинило ему невыразимые страдания, сформировавшие свойства его характера. Только позднее смогла она понять это и время от времени испытывать к нему сочувствие. Скуповатый, осторожный, но не без крайностей, человек, он еще в начале семейной жизни заявил о своем честолюбивом желании отправить детей в колледж и дал понять, что будет доволен, если они не пренебрегут предоставленной им возможностью. Одна лишь Гленда воспользовалась этой удивительной щедростью, и он всю оставшуюся жизнь выказывал свое неослабевающее разочарование остальными детьми, словно они намеренно оскорбили и унизили его. Он был удовлетворен ее успехами в первых классах, но похвалы его носили критический характер и больше напоминали упреки, что почти не да-

вало ей повода радоваться. Если она приносила домой контрольную по алгебре или геометрии, оцененную в девяносто баллов, вероятно, самой высокой оценкой во всем классе, он, неохотно выдавив из себя похвалу, спрашивал, почему это она не смогла решить одну из десяти задач. «А» с минусом вызывало у него вопросы о минусе, а просто «А» заставляло дуться из-за отсутствия плюса. В его серьезности не было и намека на шутку; ее воспоминания были суховаты.

Просто чудо, что она выросла такой веселой, уверенной в себе, знающей и решительной, а это как раз то, что и было нужно мне.

В начальной школе, получая некоторую поддержку от матери и воодушевляемая энтузиазмом младшей сестры, она смогла занять место капитана команды болельщиков. Однако, еще не преодолев тогда застенчивости, а может быть, будучи необщительной от природы, она никогда всей душой не отдавалась той бьющей ключом жизни, какую вели ее подружки в своем кругу, куда были вхожи школьные спортсмены и их восторженные почитатели. На множество вечеринок и всевозможных сборов она вообще не ходила. Она была на дюйм-другой ниже большинства своих сверстниц, с ямочками на щеках,

карими глазами и волосами медового цвета; в молодости она была худенькой, но с заметной грудью. На свидания она ходила мало, главным образом потому, что чувствовала себя в таких случаях не в своей тарелке, и еще потому, что любые ее поступки давали отцу повод для раздражения. Он злился, если она отправлялась куда-нибудь одна, словно она была виновата в некой непристойности уже одним тем, что уходит; с другой стороны, если она вечерами или на уикэнды оставалась дома, он преисполнялся самоуничижения и обиды, словно им пренебрегали. Он произносил страшные пророчества, предостерегая ее от горьких искушений, которые будут всю жизнь преследовать ее, если она с ранних лет станет «одиночкой», как стал, по его мнению, он сам, от глупости, из-за которой она может упустить имеющиеся возможности, как это случилось с ним. Одиночка было одним из тех слов, которое он произносил особенно часто. Другим таким словом было — *личность*; он пришел к мрачному заключению, что человеку всегда должно причитаться больше, чем он получает. Ни она, ни ее брат или сестра не могли припомнить ни одного случая, когда бы он обнял их.

В сексуальном отношении она не была бойкой.

Однажды на переднем сиденье автомобиля одного футболиста, постарше ее, она, еще и понять не успев, что происходит, позволила ему стянуть с себя трусики, и ее охватил ужас. Она вытащила из ширинки его пенис, но целовать не стала. Когда я принялся ее расспрашивать, она неохотно припомнила, что именно в тот раз впервые и увидела семяизвержение, о котором с почтительной осведомленностью, похихикивая, говорили ее подружки в школе. Я мог бы сказать, что мой интерес объяснялся объективностью пресыщения, если бы не явная двойственность моих чувств: с одной стороны, меня снедало похотливое любопытство, а с другой — я испытывал боль. После происшествия с футболистом она стала более осторожной и делала все, чтобы избежать случайностей и не оказаться где-нибудь наедине с парнем старше ее, уверенным в себе и опытным. Так было, пока в колледже она не встретилась с Ричардом. Ей нравились ласки, и, конечно, она возбуждалась, но не терпела принуждения и грубостей, и, насколько мне удалось выяснить, почти до двадцати лет ее довольно сильные эротические желания и мощные романтические стремления оставались неудовлетворенными и подавлялись с целомудренным, религиозным

рвением.

В первый ее год в колледже ей повезло — она подружилась с двумя еврейскими девушками из Нью-Йорка и одной красивой блондинкой, приехавшей из Топанга-Кэньон в Калифорнии, чтобы специализироваться в музыке. Она была удивлена и ошеломлена их находчивостью, их знаниями, их опытом, их громкими голосами и дерзкой самоуверенностью, их раскованным юмором и смелыми и беззастенчивыми откровениями. Им доставляло удовольствие учить ее жизни. Она никак не могла привыкнуть и каждый раз вздрагивала, слыша, как они, не смущаясь, используют слова из области секса, которые, казалось, были в университете нормой. Но по сообразительности и развитию она им не уступала, как не уступала им в целостности характера и преданности дружбе. На втором курсе эта четверка уже довольно беззаботно жила в снятом ими совместно большом доме. Они и после университета сохраняли связь и все втроем приехали навестить ее в последний месяц. Все они получали из дома больше денег, чем она, но щедро делили все поровну.

Ричард был первым мужчиной, с которым она переспала, и оба остались довольны, потому что

он, гордый своей искушенностью, хорошо сделал все, что требовалось. Он был на два года старше, учился на выпускном курсе и к тому времени успел по крайней мере по одному разу переспать с тремя другими, но никого тогда это не смущало. После этого они встречались в Чикаго, куда она ездила работать летом, потому что у него уже была там работа и он мог познакомить ее кое с кем в тех кругах, в которых вращался сам. У него была работа в региональном отделении крупной страховой фирмы со штабом в Хартфорде; он делал там неплохую карьеру и быстро заслужил репутацию выдающейся личности и предприимчивого человека. Оба были не прочь выпить вечером после работы, а часто и после ланча, и обычно проводили свободное время вместе. Она встречалась и с другими, как делала это и в колледже, и не раз — с коллегами по работе, которые, как она знала, были женаты.

Вскоре после окончания университета она переехала в Нью-Йорк, где он нашел работу в другой компании, получив при этом значительное повышение; она оказалась там в собственной маленькой квартирке и на многообещающей исследовательской работе в журнале «Тайм». А вскоре они решили попробовать жениться.

Она была готова измениться, а он — нет. Мать ее по-прежнему находила его обаятельным, гораздо более обаятельным, чем он был на самом деле; ее отец фыркал, слыша его шутки, и ее начали раздражать его неизменная общительность и дружелюбие, которые стали ей казаться дешевыми. Он много ездил по делам, но даже когда был в городе, часто появлялся дома за полночь, и когда их третий ребенок, Руфь, родилась с врожденным конъюнктивитом, вызванным заражением трихомонадой, она уже достаточно разбиралась в медицине и лабораторных анализах, чтобы догадаться о венерической природе этого заболевания; и его она тоже уже знала достаточно, чтобы сообразить, где он подхватил эту заразу. Не сказав ни слова мужу, она в один прекрасный день отправилась к гинекологу, который и перевязал ей трубы, и только потом она призналась Ричарду, что больше не желает иметь от него детей. Во многом из-за новорожденного их расставание растянулось на два года. Тогда она была слишком принципиальной и не подавала на алименты, что вскоре оказалось серьезной ошибкой, потому что он безнадежно запаздывал с финансовой помощью детям, о которой они полюбовно договорились, да еще и присылал

меньше, а скоро и вообще стал беспросветным должником, когда новые подружки окончательно закрутили его.

Если разговор их затягивался, они непременно ссорились. А когда на сцене появился я, они оба стали с удовольствием поручать мне переговорить с другой стороной. Ее мать приехала на восток, чтобы помочь ей хозяйствовать в большой квартире, снятой на Уэст-Энд-авеню, и Гленда смогла вернуться на работу с хорошим окладом в «Уикли Ньюзмэгазин», работать она стала в рекламно-распространительском отделе «Тайм», где мы и познакомились. Она сидела лицом к низкой перегородке, и я облокачивался на эту перегородку и сплетничал с ней, когда у нас обоих не было никаких важных дел. Она была умнее своего начальника, ответственнее и аккуратнее, но тогда это не играло никакой роли в той компании — в те времена ни одна женщина не могла стать ни редактором, ни журналистом, ни главой отдела. Без меня ей не хватало бы на жизнь и, вероятно, пришлось бы уехать из Нью-Йорка с матерью и тремя детьми. У Наоми и Руфи не было бы времени или денег, чтобы закончить колледж. Не было бы средств на частную школу на Манхеттене или, позднее, несмотря

на превосходную медицинскую программу в «Тайм Инкорпорейтед», на дорогостоящую персональную психотерапию для Майкла, которая в конечном счете не принесла никакой пользы.

Мне и правда не хватает ее, как это отметил Йоссарян во время нашего разговора в больнице, и я не делаю попыток скрывать это.

Мне очень не хватает ее, и те несколько женщин, с которыми я провожу время, — моя вдовая знакомая со средствами и хорошим летним домом во Флориде, две других, мои бывшие коллеги по работе, так и не сумевшие решить свои матримониальные проблемы; все мы уже далеко не молоды, — знают, что мне и дальше будет не хватать ее и что с ними я главным образом просто провожу время от скуки. Я много развлекаюсь, играю в бридж, слушаю образовательные курсы для взрослых и покупаю абонементы на концерты в Линкольн-Центре и в Ассоциации молодых евреев, совершаю короткие путешествия, встречаюсь со старыми друзьями, когда они приезжают в город, занимаюсь своей работой, давая по почте консультации по проблемам облегчения положения раковых больных. Но я всего лишь так провожу время от скуки. В отличие от Йоссаряна, я больше не жду ничего нового и хорошего от

жизни и развлекаюсь уже гораздо меньше после того, как Лю, по выражению Клер, «позволил себе» умереть. Его родные — люди крепкие, и на похоронах никто не плакал, кроме его старшего брата и одной из сестер. Но сам я пролил несколько слезинок по пути домой, после того как Клер рассказала о его последних днях и передала мне его последние слова, а слова эти были обо мне и о моем кругосветном путешествии.

Я вдруг обнаружил, что с нетерпением жду этого путешествия, которое начал планировать, намереваясь, конечно, посмотреть мир, но прежде всего увидеть моих знакомых в Австралии, Сингапуре и Англии, а еще и в Калифорнии, где у меня есть Марвин с женой, племянник с семьей и несколько оставшихся в живых знакомых по Кони-Айленду. Я уже решил, что начну с коротких остановок в Атланте и Хьюстоне, где хочу повидать Наоми и Руфь с их мужьями и моими внуками. Девочки давно уже считают меня своим настоящим отцом. Ричард ничего не имел против того, чтобы я законным образом их удочерил. С самого начала я обнаружил, что психологически отношусь к ним как к своим биологическим детям, и я не сожалею, что не родил собственных. Но дальше этого наша близость не простирает-

ся. Как и в большинстве известных мне семей, удовольствие, которое мы находим во взаимном общении, довольно мимолетное, и вскоре нам становится трудно выносить друг друга. Ричард никогда не проявлял признаков ревности из-за того, что мы так быстро сблизились, и он, как только это позволили приличия, даже перестал выдавать себя за семейного человека. Всего через пару лет у него появились новые жены, а с последней у него родился ребенок.

Я также с нетерпением жду возможности побольше узнать об этой чудаческой свадьбе в автовокзале, Свадьбы конца века, как ее называют Йоссарян и другие; я лишь фыркнул от смеха, когда он сказал, что я буду среди приглашенных.

— Меня как-то ограбили в этом автовокзале, — сказал я ему.

— Моего сына там арестовывали.

— И меня тоже, — сказал я ему.

— За то, что тебя ограбили?

— За то, что я закатил скандал, скандал с истерикой, когда увидел, что полиция ничего не делает.

— Его приковали к стенке наручниками.

— И меня тоже, — сообщил я ему, — и я до сих пор думаю, что ноги моей там больше не будет.

— Даже если тебя пригласят на свадьбу? На такую свадьбу? Куда заказано четыре тысячи фунтов наилучшей белужьей икры?

Не появится у меня желания побывать там. Это один из тех немногих компромиссов, на которые я не хочу идти. Хотя Эстер, той самой вдовушке, с которой я встречаюсь чаще других, «до смерти хочется» пойти туда только для того, чтобы побыть на людях и поглазеть на других.

К тому времени, когда я познакомился с Глендой, ее бесшабашные деньки были уже позади. Иногда я чувствовал себя так, будто меня обошли, потому что меня не было с нею в ту лучшую ее богемную пору, и я не наслаждался тогда ее телом, как это делали другие, о числе которых она не очень-то любила вспоминать, и не наслаждался с ее тремя подружками и другими ее знакомыми девушками. Мысль о вольностях, которые позволяла себе эта четверка, продолжает дразнить мое воображение. Были годы, когда и я тоже давал себе волю — в студенческие годы с девушками из Нью-йоркского университета и Гринвич-Виллидж, а потом — с девушками из «Таймс» и с другими, с которыми знакомился через наших сотрудников, и даже когда два года преподавал в колледже в Пенсильвании — раз или два раза

в каждом семестре на какой-нибудь хмельной вечеринке. И тем не менее, какое-то время до и после нашей свадьбы я все еще оставался импульсивным, тайно ревновал и раздражался из-за ее сексуального прошлого и испытывал ненависть ко всем мужчинам, мальчишкам, к тому футболисту из школы и ко всем, ко всем, кто был ее партнером по разврату. Но особое негодование вызывали у меня те, кто, как я себе воображал, всегда и запросто мог доводить ее до головокружительного оргазма. Мне казалось, что мужские ласки для нее мало что значат. Но они много значили для меня, и к этим негодяям, о которых мне было кое-что известно или которых рисовала мне моя изобретательная фантазия, я должен был отнести и ее мужа Ричарда. В этих унизительных драмах я видел его героем-любовником и непобедимым соперником, и таким и было истинное положение вещей, даже когда я уже списал его со счетов как надоедливого, тщеславного зануду, человека поверхностного и пустого, всегда носившегося с какими-то проектами невысокого пошиба, человека, которого даже Гленда потом считала скучным и несносным. Тот факт, что она длительное время питала страсть к нему и ему подобным, был постыдным воспоминанием,

вызывавшим почти невыносимые страдания у нас обоих.

Я до сих пор не понимаю, как это человек с меланомой был в состоянии продолжать работать, получать повышения, заводить новых подружек и даже обзавестись парой жен. Но Ричарду это удалось. Я всегда думал, что Лю мог бы мне объяснить это, но не хотел, чтобы Лю догадался о том, что понял о себе я: я так и не вырос по-настоящему, даже с Глендой, в том, что касалось умения мужчины обращаться с женщиной.

Первой подружкой Ричарда, которую мы видели, была медицинская сестра, работавшая у его онколога. Она была разбитной бабенкой и все знала о его физическом состоянии, но все же вскоре залезла к нему в постель и отвечала на телефонные звонки в его квартире, словно у себя дома. Следующей была ее ближайшая подружка, которой она его уступила от широты душевной; эта вторая тоже знала о его болезнях, но все равно вышла за него. А пока он с ней расходился, у него одна за другой и одновременно были разные девицы, а потом появилась та, что стала его следующей женой — стройная, умная, из хорошей семьи; она была удачливым адвокатом и работала в крупной фирме в Лос-Анджелесе, куда он,

быстренько собравшись, и уехал, получив там работу даже получше той, что оставил; он обзавелся там домом и еще больше обезопасил себя от семейных притязаний, которые предъявлялись на него здесь. И это были далеко не все его связи, эти он просто выпячивал, чтобы мы о них знали, это были самые привлекательные его подружки, и он просил их звонить ему в нашу квартиру, когда появлялся у нас, чтобы посетить детей в рамках предоставленных ему по разводу прав, если у него вдруг возникало желание воспользоваться этими правами или если он приходил поторговаться из-за денег на содержание детей или обсудить проблемы с Майклом, у которого с возрастом отклонения проявлялись все больше и больше. Ричард уже уехал на запад, когда мы впервые услышали это страшное слово *шизофрения* и со страхом прочитали в библиотеке «Тайм» и подшивках научных материалов о том, *что* в те времена считалось пограничным состоянием. Гленда только посмеивалась над моим почтительным благоговением перед Ричардом.

«Бога ради, он всего лишь торговец и позер, — припечатывала она его, услышав мои завистливые рассуждения. — Если он закадрит сотню женщин, то среди них непременно найдутся две-

три, которые будут считать, что он лучше, чем вообще ничего или чем те козлы, с которыми они себя уже связали. Уж что-что, а зубы заговаривать он умеет, мы с тобой это знаем».

Мы знали, что у него еще сохранились остатки обаяния, хотя и не на наш вкус. Временами, когда на нее находила хандра и у нас поначалу возникали споры за утренней газетой, я ей разъяснял, что к чему и что собой представляет тот или иной деятель, сидевший тогда в Белом Доме: он личность низкая, эгоистичная, тщеславная, неискренняя и лживая, говорил я, так с какой стати было ждать от него чего-нибудь другого? Я так до сих пор и не знаю: тот гаденыш, что сидит там теперь, он более крупный гаденыш, чем два гаденыша, сидевших там до него, или нет; но этот последний должен все же быть очень крупным, имея доверенным лицом Нудлса Кука, а наставником по части нравственности — этого ненасытного паразита с благородной сединой, С. Портера Лавджоя, которого он сам только что и выпустил из тюрьмы, воспользовавшись правом президента на помилование.

Я всегда ладил с Ричардом. В общении со мной и он был вынужден быть приятным и учтивым, а я никогда не давал ему почувствовать уверенность

в том, что ему это удается.

— Организуй ланч, — предложил я вскоре после того, как мы с Глендой начали разговаривать откровенно и уединяться на вечеринках. — И давай я поговорю с ним от твоего имени.

— Чего? — спросила она.

— Что, — инстинктивно поправил я ее.

— О Господи, — взвинтилась она, погружаясь в мрачное настроение. — Знаешь, ты — настоящий педант. Зингер, ты милый, умный человек, но ты ужасный педант!

Именно тогда я впервые и услышал слово *педант* в живой речи. И, наверно, именно тогда, в тот самый момент, я сознательно начал усыплять в себе стойкое внутреннее сопротивление тому, чтобы связывать себя крепкими душевными узами с женщинами, даже с теми, которыми я пылко увлекался. Я боялся не обязательств, а попасть в ловушку. Но, убеждал я себя, женщина, употребляющая слово *педант*, называющая своего бывшего мужа «двуличным» и «самовлюбленным», а помощника менеджера, на которого мы оба работали, — «троглодитом», была из разряда тех, с которыми я не прочь был поболтать, а может быть, даже и пожить, пусть у нее и было трое детей, рожденных от первого мужа, и ро-

дилась она на год раньше меня. Да и то, что она была христианкой, не имело значения. Ребята с Кони-Айленда с ума сойдут, узнав, на ком в конце концов женится Сэмми Зингер — на женщине с тремя детьми, нееврейке, да еще на год старше. И даже не богатой!

У Гленды была еще одна привычка, о которой я никому не говорил, пока она была жива, да и потом сказал одному только Лю, когда мы как-то выпивали вдвоем, я виски со льдом, а он, как всегда, карстейрс с колой: она была сексуальной и смелой, когда мы выпивали или отправлялись куда-нибудь хорошо провести время, она была горазда на всевозможные выдумки, а особенно после того, как мы поженились, конца не было ее неожиданным предложениям и моему восхищенному удивлению, и это продолжалось до тех пор, пока она не заболела и энергии у нее поубавилось. Не раз и не два, когда мы на заднем сиденье машины возвращались с какой-нибудь вечеринки домой с едва знакомыми людьми, она вдруг начинала обниматься, запускать повсюду руки, ласкаться, она заходила все дальше и дальше, и я уж должен был сам из кожи вон лезть, чтобы продолжать ровный разговор с сидящей впереди парой, отпускать неуместно громким

голосом шутки, чтобы как-то обосновать свой громкий и отрывистый разговор и смех, потому что она тоже вставляла свои замечания и отвечала на вопросы, а потом снова принималась за меня, и когда она наконец доводила меня до оргазма, я напрягался изо всех сил, стараясь никак не показать, что у меня не только перехватывает дыхание. Она знала, что оргазм меня одурманивает; так оно и осталось до сих пор. Я медленно начинаю, но продолжается он долго. Лю сказал Клер, что у меня в глазах стояли слезы, когда я вспоминал эти подробности; Клер рассказала мне об этом во время нашей последней встречи за ланчем в ресторане вскоре после смерти Лю и перед ее первым в жизни отлетом в Израиль, где она собирается купить домик на берегу, чтобы отдыхать там одной или с теми из детей, кто захочет туда поехать.

Мы с Глендой никогда не ухаживали друг за другом, и поэтому наш брак был таким, каким он был. Как-то днем она повела меня покататься на каток в Рокфеллеровском центре. Мальчишкой я здорово катался на роликовых коньках, когда мы играли на улице во что-то вроде хоккея, и я так быстро освоился на льду, что она даже думала, будто я ее разыгрываю. Как-то весной

в воскресенье я взял напрокат машину и повез ее и детей на Кони-Айленд, где они никогда еще не были. Я провел их по «Стиплчезу». Они все покатались в «Бочке смеха», повизжали, гладя на свои отражения в кривых зеркалах, а потом я повел их на другую сторону авеню, чтобы показать двухэтажный дом основателя парка, Тилью. Я показал им имя, высеченное на нижней ступеньке, которая погружалась все ниже и ниже и к тому времени уже почти исчезла из вида. Они скептически отнеслись к моему предположению, что дом тоже уходит в землю, а раньше был на этаж выше. Неделю спустя я взял машину побольше, чтобы и ее мать поехала с нами, и мы отправились туда же и по-воскресному рано пообедали в большом ресторане даров моря «Ландис», что на Шипсхед-Бэй. Мы с Глендой в тот раз поцеловались на прощанье, а потом мы поцеловались еще раз, прижимаясь друг к другу, и поняли, что вот сейчас все и началось. Я испытывал сильное сентиментальное чувство к ее матери. Я скучал по своей. Я жил в центре, а Гленда — на окраине, и как-то вечером, припозднившись после коктейля по поводу дня рождения, устроенного после работы для какой-то другой девушки и растянувшегося в долгий ужин, на котором нас

было человек двенадцать, а потом и в поездку в один из гринвич-виллиджских клубов с джазом и танцами, когда у нее не было настроения возвращаться домой, я сказал ей, что она могла бы остаться у меня. Она сразу же согласилась. У меня была кровать с матрацем и диван.

— Это нас ни к чему не обязывает, — успокаивающе сказал я ей, когда мы оказались у меня. — Я серьезно.

— Нет, обязывает, — сказала она со смешливой решительностью. — И не строй ты из себя этакого скромника. Я тебя видела в деле.

И после этого мы редко отправлялись куда-нибудь, не выкроив возможности побыть наедине. Мы ходили в кино, на спектакли, выезжали на уикэнды. Как-то раз она захотела сводить своих девочек посмотреть «Король и я».

— Ты, наверно, хочешь сказать, посмотреть короля и меня?

После секундного удивленного размышления она поняла, что я шучу, и устроила крик.

— Господи! — недоверчиво и одобрительно воскликнула она. — Ты все же настоящий педант, да!? И как тебе все это приходит в голову? Но уж лучше я буду замужем за педантом, чем за сукиным сыном, в особенности, если этот педант

умеет меня смешить. Сэм, время пришло. Переезжай ко мне. Ты и так уже почти живешь у меня, а место там есть. Ты ничего не имеешь против моих детей, проводишь с ними времени больше, чем Ричард за всю свою жизнь. Ты возишь их на Кони-Айленд, возишь их посмотреть короля и меня, и с Майклом ты ладишь лучше, чем все мы. Наоми и Руфь смотрят на тебя снизу вверх, хотя Наоми и сейчас уже выше тебя. И с моей матерью ты ладишь лучше, чем я, когда у меня месячные. И не спорь. Переезжай ко мне и попробуй. А жениться тебе не обязательно.

— Ты знаешь, что это не так. Ты знаешь, что это ложь.

— Не совсем.

Я не был уверен, что хочу видеть ее каждый день.

— На работе ты меня видишь ежедневно. Все уикэнды мы вместе.

— Ты же знаешь, что это совсем другое дело.

— А когда я ухожу, ты меня провожаешь, так что у тебя в офисе будет больше времени, свободного от меня.

Хозяйкой она была не такой хорошей, как моя мать, а готовила вообще средне. Даже ее мать могла приготовить еду получше, но и она была

очень средней кухаркой. Я ей решительно сказал, что и думать об этом не хочу.

Но мы продолжали выезжать вместе на уикэнды, и я начал оставлять у нее дома кой-какие из своих вещей, а когда я провожал ее домой за полночь, мне проще было оставаться у нее, а когда я оставался, мне скоро стало проще, а потом и совсем просто, спать с ней. А у меня дома были ее вещи, и ее сумочка с косметикой тоже, а в сумочке — противозачаточный колпачок. Никому в ее семье мое присутствие уже не казалось в новинку. Только Майкл время от времени проявлял любопытство и мог пробормотать какую-нибудь загадочную фразу или отмочить шутку, но Майкл мог вдруг, ни с того ни с сего проявить любопытство к чему угодно и так же быстро его потерять. Иногда Майкл терял интерес к тому, что говорит, еще не закончив предложения, и менял тему на середине. Все остальные считали, что это у него такая особая манера дразнить других. Он тоже делал вид, что это у него такая манера, но я относился к этому серьезно и уже тогда начал чувствовать, что что-то здесь не так.

Все семейство дружно старалось предоставить нам возможность побыть наедине; вскоре и гостиная стала запретным местом, если час был

поздний и мы закрывали дверь. И это было очень кстати, потому что если мы все еще были под хмельком, то могли тут же в гостиной начать обниматься, а то и закончить там же, и куда летела одежда, которую мы скидывали с себя, знал один Господь.

Вначале и еще многие годы спустя редко бывала такая ночь, чтобы мы, когда уезжали куда-нибудь из дома и оставались наедине, даже если было поздно или слишком рано, не занялись любовью хотя бы раз, даже когда у нее были месячные. Уже позднее мы сбавили темп и слишком часто упускали возможности, потому что она могла впасть в жуткую депрессию и вся погрузиться в свои беспокойные мысли и заботы, которые у нас возникли в связи с Майклом. К тому времени мы вычеркнули Ричарда из наших жизней как нечто совершенно бессмысленное. Нередко она начинала говорить со мной официальным тоном, а потом плакала в моих объятиях, пока мы не начинали целоваться, чтобы утешить друг друга, но даже когда она чувствовала мою эрекцию, мы занимались любовью с другим настроением — заботливо и нежно. Я оттягивал свой оргазм, чтобы обострить ее реакцию, и только потом заканчивал, и независимо от того, получала она

свой или нет, она была рада за меня и благодарна за то, что я еще раз помог ей немного отвлечься от груза наших проблем с Майклом, а груз этот теперь был моим не меньше, чем ее. Я до сих пор убежден, что в жизни не встречал человека менее эгоистичного, более доброго и менее занятого собой, чем она, или менее требовательного и доставлявшего так мало неудобств другим, и я даже представить себе не могу женщину, которая была бы мне лучшей женой и другом, чем она. И это справедливо для всех лет, что мы были вместе, даже несмотря на эскапады Майкла и неизбежное его самоубийство; это справедливо вплоть до того момента, когда она начала слишком часто хворать, мучиться болями в желудке и кишечнике, а доктора после анализов пришли к выводу, что у нее рак яичников, и только тогда медовый месяц закончился.

Таковы были лучшие, в самом точном смысле этого слова, годы моей жизни, и я ни на минуту не испытывал сожаления. Это было даже лучше, чем на войне. Йоссарян понял бы, *что* я имею в виду, говоря это.

Она, как и сказал Тимер, умерла через тридцать дней, слабо сопротивляясь болезни, не чувствуя особо сильных болей, что он и гарантировал, и я

даже теперь ощутил себя его должником, когда снова встретил его в больнице, где он лечил Лю, и с удивлением узнал, что он сам лег на психиатрическое отделение, чтобы снять неослабевающий стресс, вызванный этой идиотской «теологией биологии», которую он сочинял и воздействие которой оказалось слишком сильным, чтобы он мог с ним справиться без посторонней помощи. Днем он продолжал работать, но по ночам спал там в своей палате. Его жена могла оставаться там вместе с ним, но предпочитала жить дома.

Тимер, человек серьезный, трудолюбивый и меланхоличный, тоже был старше меня и, как говорил о нем Йоссарян, стал жертвой собственной войны против рака. Теперь он проникся взглядом на мир, согласно которому живые раковые клетки и вымирающие сообщества являются проявлением одного и того же состояния. Он повсюду видел рак. То, что он видел в клетке, в большем масштабе он наблюдал и в целом организме, а воспроизведение того, что происходило в одном человеке, он находил в целых группах людей. Он придерживался странного убеждения — убеждения, по его мнению, столь же здорового и живучего, как и типичная опухоль из того вида, на котором он специализировался; убеждение

это состояло в том, что все пагубные крайности, которые множились на его глазах, неумолимо проникая во все поры общества, были таким же нормальным и неизбежным для нашего образа жизни явлением, как и известные ему вредные клетки в фауне и флоре.

Деннис Тимер мог, согласно своему излюбленному шутливо-пессимистическому парадоксу, взглянув на цивилизацию, увидеть мир как микрокосм клетки.

— У этих раковых клеток есть еще две любопытные особенности, о которых вам, вероятно, будет интересно узнать. В лабораторных условиях они живут вечно. И у них нет саморегулирования.

— Гм-м-м-м-м, — сказал Йоссарян. — Скажите-ка мне, Тимер, раковая клетка живет так же долго, как и здоровая клетка?

— Раковая клетка и есть здоровая клетка, — таков был ответ, расстроивший всех нас, — если за критерии здоровья брать силу, рост, подвижность и способность к экспансии.

— А она живет так же долго, как и нормальная клетка?

— Раковая клетка и есть нормальная клетка, — последовал обескураживающий ответ, — если брать ее как таковую. Почему вы считаете, что

биологически она должна себя вести как-то иначе? Они могут жить вечно…

— Вечно?

— В лабораторных условиях, в отличие от других наших клеток. Они неутомимо размножаются. Что же здесь нездорового? Они мигрируют, колонизуют и расширяют среду своего обитания. Разве не разумно предположить, что, с точки зрения биологии, в живом мире могут существовать клетки более агрессивные, чем все остальные?

— Гм-м-м-м-м-м.

— А биология всегда делает то, что и должна делать. Она не знает, почему, и ей все равно. У нее нет выбора. В отличие от нас, она не ищет причин.

— Вы оперируете очень крупными концепциями, — двусмысленно сказал я ему.

— Я хочу, чтобы он прекратил это, — сказала его жена.

— Это доставляет мне удовольствие, — сказал Тимер и изобразил на лице нечто, похожее на улыбку. — Радиация, хирургия и химиотерапия — это моя работа. Но погружает меня в депрессию не эта работа. В депрессию меня погружает депрессия.

— Я хочу, чтобы он вернулся домой.

Он был польщен тем, что его коллега по медицине — психиатры — воспринимают его серьезно: они сочли его сумасшедшим, но решили, что это не относится к делу.

Встреча с Йоссаряном вызвала к жизни поток дорогих для меня воспоминаний о войне, пусть это и были воспоминания о горестных событиях, ужасных и отталкивающих, как, например, о раненом Сноудене, умиравшем от холода, и о Йоссаряне, оцепенело блюющем себе на колени. И о том, как я вырубаюсь каждый раз, приходя в себя и видя, что происходит еще что-то такое, на что я не в силах смотреть: Йоссарян заталкивает окровавленную плоть Сноудена назад в рану на ноге, режет бинты, его рвет, он, чтобы согреть Сноудена, укрывает его перламутровой тканью парашюта, словно укутывает похожим на саван одеялом. Потом эта вынужденная посадка с Орром и отсутствующие баллончики с двуокисью углерода, пошедшие на лимонад к мороженому, который Милоу давал офицерам каждый день, а нам, рядовым, только по воскресеньям. Во время расследования этого дела вполне резонно выяснилось, что можно иметь либо спасательные жилеты, либо лимонад, но не то и другое вместе. Вопрос решили в пользу лимонада, потому что

тех, кому нравился лимонад, было больше, чем тех, кому когда-нибудь мог понадобиться спасательный жилет. Была у меня и та аварийная посадка с Заморышем Джо. Ему дали медаль за то, что он привел назад самолет и угробил его без всякой необходимости. А еще медалью наградили Йоссаряна, за второй заход на мост у Феррары, когда Макуотт за штурвалом напевал: «Как я рад, как я рад, мы попали прямо в ад». Йоссарян, видя, как дергается перекрестье в его прицеле, и зная, что промахнется, не стал попусту тратить свои бомбы. Тогда только у самолетов нашего звена оставались шансы поразить цель, и весь зенитный огонь должен был обрушиться на нас.

— Пожалуй, нам нужно зайти еще раз, а? — услышал я голос Макуотта по интеркому, когда мост остался целым.

— Пожалуй, да, — ответил Йоссарян.

— Заходим?

— Давай.

— Как я рад, как я рад, — запел Макуотт, — мы попали прямо в ад.

И мы сделали еще один заход, и разбомбили мост, и увидели, как в соседнем самолете убили Крафта, который в Штатах был у нас вторым пилотом. А потом, конечно, и Малыш Сэмпсон,

его разрубило на куски самолетом Макуотта, когда он валял дурака недалеко от берега на заякоренном плотике. И «Как я рад, как я рад, мы попали прямо в ад», — раздался голос Макуотта в диспетчерской, а потом он сделал неторопливый вираж и направил самолет в гору. И конечно, неизменно Хоуи Сноуден, замерзающий и истекающий кровью всего в нескольких футах от меня, закричавший вдруг: «Мне больно!», а кровь у него все лилась.

И тогда я увидел, что он страдает. До тех пор я не знал, что существует боль. И я увидел смерть. И после этого задания перед каждым следующим я молился Богу, хотя и не верил в него и в молитвы тоже не верил.

Дома никто никогда не проявлял особого интереса к этой войне, к моей войне, кроме Майкла, который через пару минут уже отвлекался на что-нибудь другое. Для девочек это были просто небылицы и истории про путешествия. Майкл внимательно слушал минуту-другую, а потом срывался на вопросы более личные. Как хвостовой стрелок я сидел лицом назад, скорчившись на коленях или устроившись на сиденье, вроде велосипедного. И Майкл, как он тут же признавался, прекрасно себе это представлял, потому

что у него был велосипед с сиденьем и он ездил на нем на пляж, чтобы смотреть на волны и купающихся, а если я сидел задом наперед, то палить я мог только взад или вперед тоже? Майкл, это вовсе не смешно, заворчали девочки. Он ухмыльнулся, делая вид, что шутит. Нет, отвечал я, я мог палить только назад, а вот башенный стрелок, тот же Билл Найт, например, мог засадить из своего пулемета куда угодно. «Ну, это я тоже умею, — сказал Майкл, — так могу засадить — ой-ой-ой. Как зима кончается, мы все раздеваемся и начинаем засаживать… битой куда надо, да?» Девочки всплеснули руками. Гленда тоже. Мне не казалось, что Майкл нарочно корчит из себя клоуна, хотя он с готовностью и делал вид, что так оно и есть, когда его в этом обличали. Мы называли его Шерлок Холмс, потому что он обращал внимание на детали и звуки, которых остальные из нас не замечали; и эту роль он тоже играл с такой же преувеличенной комической театральностью. Он плохо понимал пословицы — я даже представить себе не мог, что такое бывает. Ему было ясно выражение «штопай дыру, пока невелика», но он никак не мог понять, что оно имеет отношение не только к штопанью дыр. Он был совершенно ошарашен, когда Гленда

как-то раз, давая ему совет по какому-то поводу, сказала, что, прежде чем отрезать, нужно семь раз отмерить; он сказал, что у него и в мыслях не было что-нибудь резать. Как и его мать в детстве, он всех слушался. Если его просили, он помогал мыть посуду. Когда школьные дружки посоветовали ему попробовать наркотики, он попробовал. Когда мы потребовали, чтобы он прекратил это делать, он прекратил. А когда его убедили заняться этим снова, он снова занялся. У него не было близких друзей, хотя он, казалось, самым трогательным образом хотел обзавестись ими. Когда ему исполнилось пятнадцать, мы уже знали, что закончить колледж он не сможет. Мы про себя прикидывали, какую бы найти ему работу из тех, что не предполагает тесного общения с другими людьми — лесник, ночной сторож, смотритель маяка, но все это были лишь шутки из разряда самого черного юмора и казавшиеся невероятными прогнозами. Когда ему исполнилось девятнадцать, мы начали гадать — что же нам с ним делать. Решение за нас принял сам Майкл. Первой его нашла Гленда, когда с корзинкой стиранного белья вышла на крылечко. Во дворике дома, который мы снимали на Файр-Айленд, было одно-единственное дерево — приземистая

сосна, шотландская, как нам сказали, — и он на ней и повесился.

У нас сердце обливалось кровью, когда мы смотрели на фотографии Майкла. Гленда ничего не сказала, когда я их убрал, положив в шкафчик вместе с лежавшими там ее фотографиями — капитана школьной команды болельщиков, и ее отца — продавца сельскохозяйственных продуктов. В тот же шкафчик, где лежала моя медаль ВВС, мои крылышки стрелка, сержантские нашивки, старая фотография, на которой мы со Сноуденом и Биллом Найтом сидим на штабеле бомб, а Йоссарян смотрит с заднего плана, и еще там лежала совсем уж старая фотография моего отца с противогазом и в каске времен первой мировой.

Прошло совсем немного времени, и Гленда, которая никогда не болела, начала испытывать какие-то неясные симптомы, которые никак не поддавались диагностированию — синдром Рейтера, вирус Эпстейна-Барра, колебания химического состава крови, болезнь Лайма, синдром хронической усталости, онемение и зуд конечностей и, наконец, расстройство пищеварения и недомогание какого-то уж слишком специфического свойства.

Я познакомился с Тимером через Лю, который посоветовал нам, по крайней мере, проконсультироваться с онкологом, у которого он лечился в связи с болезнью Ходжкина. Тимер просмотрел данные анализов и согласился. Первичное образование на яичниках перестало быть главной проблемой. Образования в других местах могли оказаться посерьезнее.

— Все будет зависеть, — уклончиво заключил он во время первого нашего разговора, — от конкретной биологии ваших опухолей. К сожалению, о природе опухолей яичников можно судить, только когда они начали распространяться. По моему мнению, мы…

— Год у меня есть? — неожиданно спросила Гленда.

— Год? — запнулся Тимер, вид у него был смущенный.

— Я имею в виду хороший год, доктор. Вы можете мне это обещать?

— Я вам это не могу обещать, — сказал Тимер с мрачным сожалением, которое, как мы скоро узнали, было для него типично.

Гленда, задавшая свой вопрос с наигранной, беспечной уверенностью, была потрясена его ответом.

— А шесть месяцев вы мне можете обещать? — голос ее стал слабее. — Шесть хороших месяцев.

— Нет, я вам не могу это обещать.

Она выдавила на лице улыбку.

— Три?

— Это не я решаю.

— О меньшем я у вас не буду спрашивать.

— Я могу гарантировать один, и он не будет таким уж хорошим. Но особых болей у вас не будет. За этим нам придется присмотреть.

— Сэм, — сказала Гленда, тяжело вздохнув. — Привези девочек домой. Нам, пожалуй, нужно составить кой-какие планы.

Она умерла неожиданно, в больнице, месяц спустя, от закупорки коронарных сосудов в процессе приема нового экспериментального лекарства, но я всегда подозревал, что ее смерть стала следствием некоего тайного акта милосердия, о котором мне ничего не сообщили. Йоссарян, который хорошо знаком с Тимером, считает это вполне вероятным.

Йоссарян, крупный, с брюшком, с седеющими волосами, оказался совсем не таким, каким я его себе представлял. Я тоже был не похож на того, кого он предполагал увидеть. Он скорее рисовал себе какого-нибудь адвоката или профессора. Я

удивился, узнав, что он связан с Милоу Миндербиндером; он не удостоил меня похвал за мою рекламную работу в «Тайм». И все же мы пришли к согласию — замечательно было, что мы, благодаря удаче и естественному отбору, умудрились выжить и даже процветать.

Казалось вполне логичным, что мы оба отдали дань преподаванию, а потом занялись рекламой и информацией, где и платили получше, и люди были поинтереснее; логичным казалось и то, что мы оба пробовали себя в художественной прозе, которая возвысила бы нас до уровня элиты — знаменитостей и богачей, — а еще пытались писать пьесы и киносценарии.

— Теперь нам нравится роскошь и мы называем ее безопасностью, — грустно заметил он. — Сэмюэль, старея, мы всегда рискуем превратиться в людей того рода, который презирали в дни нашей молодости. Как ты себе представлял меня до нашей встречи?

— Капитан ВВС, которому все еще третий десяток, он немного чокнутый, но всегда знает, что делает.

— И безработный? — ответил он со смехом. — У нас не такой уж большой выбор, верно?

— Как-то в Риме я зашел в комнату, которую

делил со Сноуденом во время одного из наших увольнений, и увидел тебя на той пухленькой горничной, которая ложилась под любого, кто ее об этом просил, и всегда носила какие-то выцинявшие трусики.

— Я помню эту горничную. Я их всех помню. Она была миленькая. Ты когда-нибудь перестаешь задавать себе вопрос — а как она выглядит теперь? Я представляю это себе без труда, только этим и занят. Я никогда не ошибаюсь. Но я не умею заглядывать в прошлое. Я не могу посмотреть на женщину и сказать, как она выглядела в молодости. Мне гораздо легче предсказывать будущее, чем прошлое. А тебе? Я слишком много говорю?

— Мне кажется, что твоя последняя сентенция похожа на то, что говорит Тимер.

А еще мне показалось, что речь его полна прежнего пыла, и он был рад услышать это.

Вообще-то они с Лю не очень понравились друг другу. Я чувствовал, как каждый из них спрашивает себя: «Чего это он в нем нашел?» В этих больничных беседах есть место только для одной души общества, и Лю при росте шесть футов, а весе, упавшем ниже ста пятидесяти фунтов, трудно было строить из себя этакого экстраверта.

Лю тактично подстраивался под Йоссаряна и его более уравновешенных посетителей, вроде Патрика Бича, широко известной в обществе Оливии Максон со всеми ее смехотворными радостями по поводу двух тонн икры и даже под бойкую блондинку и хорошенькую медицинскую сестру.

Часто мы проводили вечера на психиатрическом отделении у Тимера за разговорами о безумии, демократии, неодарвинизме и бессмертии, при этом присутствовали и другие больные, и все они были сильно накачаны лекарствами и бесстрастно, без всякого интереса смотрели на нас, словно коровы с отвисшими челюстями, и ждали, когда мы наконец придем к каким-нибудь выводам, и в этом тоже было какое-то сумасшествие. Жить или не жить — такой вопрос все еще стоял перед Йоссаряном, и его ничуть не успокаивало, что он уже и так прожил гораздо больше, чем рассчитывал, и, вероятно, согласно теории происхождения видов и благодаря ДНК, переданной его детям, будет, с генетической точки зрения, продолжать долго жить после своей смерти.

— Продолжать жизнь только с генетической точки зрения — совсем не то, что мне нужно, Деннис, и вы это знаете. Введите в меня ген, кото-

рый остановит работу тех генов, что делают меня старее. Я хочу навсегда остаться таким, какой я сегодня.

Тимера при общении с людьми преследовала безумная мысль, почерпнутая им в лаборатории: он знал, что клетки метастаза генетически гораздо более совершенны, чем первоначальная опухоль, они в громадной степени более живучи, ловки и разрушительны. Поэтому ему не оставалось ничего другого, как считать их стоящими на более высокой ступени эволюционного развития и постоянно задавать себе вопрос — не является ли его врачебное вмешательство от имени пациента преступлением против природы, незваным вторжением в уравновешивающие друг друга потоки биологической жизни, которая, как он видел, существует в гармоничном согласии повсюду, где есть живые организмы. И, в конечном счете, он был вынужден спрашивать себя — а что уж такого благородного есть в человечестве, что такого основополагающего?

— Мы ничего не приложили к нашей эволюции, но зато хорошо потрудились во благо нашего упадка. Я знаю, это звучит революционно, но я вынужден рассматривать эту вероятность. Я неодарвинист и человек от науки.

— А я человек от старья, — сказал Лю, который к тому времени уже был сыт больницей по горло. — Именно так я и начинал.

— Нет, Лю, вы начинали в клетке сперматозоида в виде ниточки ДНК, которая до сих пор не знает, кто вы такой.

— Чушь! — сказал ему Лю.

— Именно так, — сказал Тимер. — И все мы всегда именно это собой и представляем.

— Ладно, Деннис, если вам так нравится думать, — сказал Лю, который к тому времени уже был сыт по горло и интеллектуальными разговорами, а на следующий день отправился домой, чтобы там ждать дальнейшего развития событий.

Вообще-то говоря, и мы с Йоссаряном тоже были не очень-то совместимы. Я не слышал ни об одном его сценарии. А у него, казалось, немного испортилось настроение, когда на его замысел пьесы, посвященной семье Диккенса, я прореагировал одной лишь улыбкой, а что касается его мыслей написать комический роман о Томасе Манне и композиторе из его романа, заключившем фаустовскую сделку, то на это я вообще никак не реагировал.

Что мне не нравилось в Йоссаряне, так это, как

мне казалось, его восприятие самого себя как существа необыкновенного и более чем высокомерное отношение к друзьям.

А что мне не нравилось в самом себе, так это моя застарелая привычка смотреть на него снизу вверх. Я был удивлен, увидев среди его посетителей того самого Макбрайда с автовокзала; его сопровождала приятная, ясноглазая женщина, которую он представил как свою невесту. Заглянул человек по имени Гэффни; при виде Йоссаряна на больничной койке он укоризненно покачал головой. Он высказал свое отношение к первородной фаустовской сделке между Богом, который, вполне возможно, был Дьяволом, и первым человеком, который, может быть, был женщиной.

— «Я дам тебе разум, — предложил Создатель, — дам тебе знаний достаточно для того, чтобы уничтожить все сущее на земле, но ты непременно должен будешь воспользоваться этими знаниями». «Договорились! — сказал наш предок, и это стало нашим Бытием». — Как вам это нравится? — спросил Гэффни.

— Дайте мне подумать, — сказал Тимер. — Может быть, это и есть ключ к моей единой теории.

— Возвращайся домой, — сказала его жена.

— Ты с ума сошла? — воскликнул Тимер. — Только после того, как все будет кончено.

Макбрайд был тем самым человеком с АВАП, который дал мне деньги, чтобы я смог добраться домой после того, как меня там арестовали. Приятно было видеть их дружбу с Йоссаряном и их совместную работу над проектом этой свадьбы в автовокзале, куда по подземной железной дороге может приехать сам президент и где среди нескольких других прелатов, призванных совершить брачный обряд, будет и сам кардинал.

— Если тебе предоставится возможность, — тонко намекнул я Йоссаряну, — спроси у кардинала, чьи гены были у Иисуса.

— Тимер тоже хочет это знать.

Я хочу совершить это кругосветное путешествие, пока свет еще существует. На Гавайях живет одна женщина, которая когда-то работала со мной, а еще там есть бывшая жена одного моего приятеля, у которого я покупал рисунки в те времена, когда еще организовывал показы слайдов для продавцов журнальных полос в «Тайм». Теперь она уже давно замужем за кем-то другим. Я бы хотел еще раз встретиться с двумя этими моими знакомыми. Йоссарян советует мне, если уж я буду в Австралии, не пропустить Новую

Зеландию, а в особенности южный остров, интересный своими высокими горами и ледником. Я там даже могу попробовать половить вместе с цаплями форель. Вот еще одно дело, которым я никогда не занимался. В Сиднее живет с женой мой старый дружок по работе; у них дом выходит на залив, а в доме бассейн для упражнений, которые он делает с двадцати девяти лет, чтобы мускулы верхней части тела были сильными, и они уже заявили, что я должен пробыть у них не меньше двух недель. Он лишился возможности владеть ногами, когда его парализовал недуг — называющийся болезнью Гийана-Барре, — вызванный прививкой, которую ему сделали перед поездкой на совещание в Мексику. У Йоссаряна в Сиднее и Мельбурне есть знакомые незамужние женщины, и он сказал, что может позвонить им и отрекомендовать меня. Он предлагает мне заранее послать каждой из них по дюжине красных роз. Он говорит, красные розы — это то, что всегда нравится. После этого я хочу слегать в Сингапур, где теперь живет с мужем одна девушка, которая раньше была ассистенткой; ее муж работает там юристом на одну американскую фирму; оттуда я собираюсь в Гонконг, где у меня тоже до сих пор есть знакомые. А оттуда я полечу в Италию,

только в Рим. Я хочу попытаться отыскать там дом в самом верху Виа-Венето, в котором у нас были квартиры на двух этажах. Я думаю, что в Риме мне теперь может понравиться больше, чем в последний раз, когда я был там, заменяя кого-то другого на скоротечной деловой конференции, но, уж конечно, не больше, чем в мой первый раз, когда я был молоденьким солдатиком, обладавшим волчьим аппетитом к итальянской кухне и переполненным юношеским либидо, зажигавшимся от одной искры и таинственным образом неистощимо возобновлявшимся. После этого я направлюсь в Англию, где еще есть кое-кто из моих прежних коллег. Стыдно, конечно, не заглянуть в Париж, но во Франции у меня больше никого не осталось, и я не думаю, что буду знать, куда себя девать, если поеду туда один. А потом, через семь или восемь недель, я вернусь в свою квартиру в многоэтажке, в дом и в жизнь без того единственного человека, который значил для меня больше, чем любой другой.

Я выбрал безопасные страны и нейтральные авиалинии. Но меня все равно, как шутит Эстер, могут захватить террористы и пристрелить за мой американский паспорт и еврейское происхождение. Эстер, вероятно, выйдет за меня, если

я заставлю себя попросить ее об этом, но только в том случае, если она сможет оставить за собой все свое вдовье имущество. Она настырная и безапелляционная. Нам с нею не ужиться.

Йоссаряну живется получше моего, потому что ему до сих пор приходится принимать важные решения. По крайней мере, так говорит Уинклер, который был у него в больничной палате, чтобы доложить о своей деловой беседе с Милоу Миндербиндером и заключенном между ними договоре на его новые ботинки на уровне последних достижений, — я до сих пор смеюсь, вспоминая те дни, когда мы были мальчишками и Уинклер начинал свое новое, на уровне последних достижений, дело по доставке на дом сэндвичей к завтраку, а я для его рекламных листовок писал текст, озаглавленный МОЖЕТЕ СПАТЬ В ВОСКРЕСЕНЬЕ ДОПОЗДНА! — когда туда же ворвалась шикарная блондинка, принеся Йоссаряну известие, которое должно было потрясти его. На пороге семидесятилетия он оказался перед угрожающим выбором — становиться ему снова отцом или нет, жениться в третий раз или нет.

— Черт меня возьми! — эти слова, как вспоминал потом Уинклер, вырвались у Йоссаряна.

Забеременевшая от него женщина оказалась

той самой темноволосой медицинской сестрой. Всем было очевидно, что у них роман. Если у нее когда-нибудь и возникало желание иметь ребенка, то именно теперь и именно от него. А если она не родит этого ребенка, то скоро они оба будут слишком стары.

— Неужели она не понимает, — увещевал свою посетительницу Йоссарян, — что когда он попросит меня паснуть ему мячик, мне будет восемьдесят четыре?

— Ее это не волнует.

— Она захочет, чтобы я женился на ней?

— Конечно. Я тоже этого хочу.

— Слушайте — и к вам, Уинклер, это тоже относится! — никому об этом ни слова, — приказал Йоссарян. — Я не хочу, чтобы об этом знал кто-нибудь еще.

— С какой стати стал бы я об этом болтать? — спросил Уинклер и тут же сказал мне. — Я знаю, что стал бы делать я, — сообщил он с помпезной миной, которую любит корчить, воображая себя бизнесменом.

— И что бы ты стал делать? — спросил я.

— Я не знаю, что я стал бы делать, — ответил он, и мы оба рассмеялись.

Встреча с Йоссаряном в больнице, знакомство

со всей окружающей его обстановкой, с этой энергичной блондинкой, его приятельницей, и этой беременной медицинской сестрой, которая хочет, чтобы он на ней женился, с Патриком Бичем и его женой, с какими-то таинственными отношениями между Бичем и той блондинкой, а еще между Йоссаряном и женщиной, которая замужем за Патриком Бичем, с Макбрайдом и его невестой, регулярно заглядывающими к Йоссаряну, чтобы поговорить об автовокзале и этой дурацкой свадьбе, которая должна там состояться с двумя тоннами икры, — все это наполнило меня каким-то глуповатым сожалением о том, что я многое упустил в этой жизни, а теперь, когда у меня нет этого упущенного, одного лишь счастья было не достаточно.

31
КЛЕР

Когда оно снова дошло до его желудка, он решил сдаться и позволить себе умереть. Он не мог придумать ничего, что было бы хуже тошн***о***ты. Он, пытаясь рассмеяться, сказал, что мог бы смириться с потерей волос, но что касается другого, то в этом он уже больше не уверен. У него теперь много от чего появлялась эта тошн***о***та. У него была тошн***о***та от рака, от лечения, а потом появилось еще что-то новенькое — сказали «лимфома». Он просто больше не хотел бороться. Каких только болей у него не было. Но он говорил, что тошн***о***та хуже всего. У меня сразу же возникло ощущение, что в этот раз с ним все не так, как раньше. Как только мы вернулись домой, он начал со мной свои уроки по арифметике. Он никак не хотел оставить меня в покое.

— Что больше — восемь процентов или десять процентов?

— От чего? — задала я ему встречный вопрос. — Десять. Какого ответа ты от меня ждал?

— Да? Тогда что весит больше — фунт перьев

или фунт свинца?

— Ты же знаешь, я не совсем дура. Тебе незачем начинать все это сначала.

— Что стоит больше — фунт меди или фунт бумаги?

Мы оба улыбнулись при этом воспоминании.

— Теперь я знаю ответ и на этот вопрос.

— Правда, сисястая? Давай-ка проверим и убедимся. Сколько трехцентовых почтовых марок в дюжине?

— Лю!

— Ну, хорошо, скажи мне тогда, что больше — десять процентов от восьмидесяти долларов или восемь процентов от сотни долларов?

— Дай-ка я приготовлю тебе что-нибудь поесть.

— В этом случае разницы нет. Ты это понимаешь?

— Лю, оставь меня в покое. Ты скоро начнешь у меня спрашивать, сколько будет семью восемь. Пятьдесят шесть, верно?

— Замечательно. Скажи-ка мне, что больше — восемью шесть или шестью девять? Ну, детка? Попробуй. Какая между ними разница?

— Бога ради, Лю, спрашивай меня о том, что я знаю! Как тебе приготовить омлет — пожиже,

покруче, или сделать глазунью?

Он не хотел есть. Но запах сыра всегда вызывал у него улыбку. Он мог съесть всего пару кусочков, но его лицо непременно светлело, и таким способом можно было заставить его отвязаться от меня. Он вроде бы думал, что если я не знаю эту его таблицу умножения, то и все деньги, что он мне оставит, тут же растрачу. Больше в его жизни не было ни скрэбла, ни трик-трака, ни рамми, ни казино, а досмотреть до конца фильм по видео он не мог — тут же терял интерес и засыпал. Он любил получать письма; получая те письма от Сэмми, он радовался, как ребенок. Поэтому-то я и просила Сэмми продолжать их писать. Он не хотел, чтобы его навещали. От посетителей он уставал. Ему самому приходилось их развлекать. А он знал, что и их от него начинало тошнить. Эмиль приходил к нам домой лечить его от всяких других болезней, каждый раз, когда мы считали, что он нам нужен, если только он не отправлялся куда-нибудь играть в гольф. От гольфа он теперь не отказывался ни ради кого, этот наш семейный доктор, даже ради своей собственной семьи. И как-то раз я его и на самом деле здорово отругала. Но он тоже устал. К тому времени мы все устали от Тимера, и я думаю, что и Тимер тоже махнул на

нас рукой. Это его так называемое сумасшествие — просто хитрость. Просто он больше не может выносить своих пациентов, он почти так и сказал об этом Лю. Он думает, будто мы решили, что во всем виноват он. Поэтому мы стали пользоваться больницей поближе к дому, ведь Тимер не мог нам предложить ничего нового. Лю отправлялся туда, когда было нужно, и приезжал домой, когда ему хотелось. Дома он чувствовал себя свободнее, но умереть дома не хотел. И я знала, почему. Он не хотел добавлять к моим несчастьям еще и это. И поэтому, почувствовав, что время пришло, он вернулся в больницу. Все сестры там по-прежнему сходили по нему с ума, молоденькие и пожилые, замужние. В компании с ними он еще находил в себе силы шутить. Этому, может, никто и не поверит — он бы поверил, потому что я всегда говорила, когда это выводило меня из себя, — но я всегда гордилась тем, что женщины всегда находили его таким привлекательным, хотя я и могла здорово разозлиться, когда чьи-нибудь жены в клубе начинали слишком уж открыто вертеться вокруг него, а я видела, как он их поощряет, и задавала себе вопрос — чем же все это кончится. Я в таких случаях любила отправиться в магазин и купить себе самое дорогое платье,

какое можно было найти, а потом пригласить их всех на большую вечеринку, чтобы они увидели, что хозяйка в доме все еще я. На отдыхе я всегда восхищалась тем, как он умеет шутливо завязать беседу с другими парами, с которыми, по нашему мнению, можно было провести время. Но на сей раз с ним всё, действительно, было по-другому, а эти уроки по арифметике могли меня с ума свести. Он сердился, когда я не могла научиться тому, что он хотел; посмотреть, каким у него становилось лицо, когда он закипал, — мороз по коже, а желвак на щеке начинал дергаться, как часовой механизм от бомбы, а потом и я тоже начинала злиться.

— Кажется, он готовится к смерти, ма, — ответила мне моя дочь, Линда, когда я сказала ей, что больше не могу этого выносить, и наш Майкл тоже был здесь и согласился с нею. — Отсюда-то и все эти расчеты и вся эта белиберда насчет банков.

Сама я об этом не догадалась, а ведь я всегда умела читать его как открытую книгу. Нет-нет, сказала я им, Лю никогда не прекратит бороться. Но он прекратил и не стал этого отрицать.

— Хочешь узнать, что думает Линда? — сказала я ему, прощупывая почву. — Она говорит, что

ты, по ее мнению, принял решение готовиться к смерти. Я сказала ей, что она спятила. Никто не принимает таких решений, во всяком случае, нормальные люди, и ты тоже не из таких. Уж кому-кому, а тебе такое пришло бы в голову в последнюю очередь.

— Ах, ты, моя детка, ты моя умница, — с облегчением сказал он, и на какую-то минуту на лице у него появилось счастливое выражение. Я даже думаю, что он и в самом деле улыбнулся. — Клер, я устал с этим бороться, — открыто сказал он, а потом, клянусь, мне показалось, он вот-вот заплачет. — Что проку? — Я помню его голубые глаза, какими бесцветными они стали, и я помню, они внезапно затуманились. Но он не позволил себе заплакать, пока я была рядом, но теперь я уверена, что он плакал, по крайней мере, изредка, когда этого никто не видел, может быть, и не изредка, может быть, все время. А сказал он мне вот что: — Ведь это уже сколько лет длится, правда, Клер? Я дотянул почти до семидесяти, да? Даже Тимер считает, что это очень неплохо. Я больше не могу выносить эту тошн***о***ту, эту постоянную слабость. Сэмми говорит, что правильно тошнот***а***, а не тошн***о***та, но что он об этом знает? Ведь еще совсем недавно я схватил того парня,

который украл кошелек, приподнял его и уложил на капот машины. А что бы я смог с ним сделать теперь? Я не могу выносить этого своего вида — кожа да кости. Поэтому-то я и возвращаюсь в больницу так часто. Я не могу выносить, чтобы ты видела меня таким.

— Лю, не разговаривай со мной так.

— Клер, слушай меня хорошо. Всегда держи побольше наличности в банковском сейфе на тот случай, если тебе понадобится провернуть что-нибудь как можно скорее. В двух этих сейфах ты найдешь кучу денег. Они опечатают сейфы, когда меня не станет, так что абонируй пару на свое имя в двух разных местах и положи туда часть этих денег. Ты же знаешь, я всегда люблю планировать вперед. Дай детям набор ключей, чтобы и у них они тоже были, но не говори им, где эти сейфы, пока не придет время. Пусть они узнают об этом от юристов, но не рассказывай юристам всего. Никогда не доверяй юристам. Именно поэтому я всегда держу двух. Когда они начнут доверять друг другу, избавляйся от обоих. Я тебе об этом никогда не говорил, но у нас есть большой кусок побережья на одном из тех двух островов, он записан на твое имя; и в Калифорнии есть еще один неплохой участок, о котором ты

раньше не знала. Ты его продай, чтобы уплатить налоги на наследство. Партнеру по этому участку можешь доверять. Если у тебя будут какие-то сомнения относительно детей, то в этом можешь доверять и советам Сэмми Зингера. И Марвину Уинклеру тоже можешь доверять. Но пока не припрет, не продавай многоквартирный дом, что мы сдаем. И забудь всю ту ерунду, что мы говорили о домохозяевах. Да одни только монетки, что приносят стиральные машины, стоят того, чтобы держаться за этот дом.

— Уж это-то я знаю, Лю. Я поняла это раньше тебя.

— Ну, конечно. Только тогда скажи мне вот что, если уж ты такая умная: если ты под шесть процентов вложила миллион долларов в облигации с тройным освобождением от налога, то какой доход ты получишь?

— За год?

— Вот умница. Все же есть у тебя голова на плечах.

— Но со стиснутыми зубами. И гримасой на лице.

— Почему же ты не можешь выучить цифры?

— Шестьдесят тысяч долларов, не облагаемых налогом.

— Замечательно. Вот ты какая у меня умненькая. И вот в этом-то и состоит прелесть настоящего богатства. Если у Рокфеллера или кого-нибудь другого есть сто миллионов долларов в этих самых облигациях, то он получит…

— Шестьсот тысяч долларов? Вот это деньги!

— Нет, еще больше! Шесть *миллионов* прибыли в год, и пальцем не пошевелив, к тому же не облагаемых налогом, а это больше, чем мы с тобой когда-нибудь сможем заработать. Ну, разве мир финансов не замечателен? Вот, а теперь, если вместо не облагаемого налогом миллиона у тебя есть только девятьсот тысяч, вложенные под те же шесть процентов…

— Бога ради, Лю, дай мне отдохнуть!

— Подумай. Пошевели мозгами.

— Это будет шесть раз по девять, верно?

— Да, верно, в этом единственная разница. Так сколько денег ты заработаешь в год если шесть раз по девять?

— Ребята посчитают.

— Забудь о ребятах! Я не хочу, чтобы ты от них зависела. Люди меняются, люди сходят с ума. Посмотри на Тимера. Вспомни все эти скандалы и борьбу, что была между Глендой и ее сестрой из-за их фермы, когда ее мать умерла. Ты помнишь,

что было с моим отцом из-за тех одолженных мне десяти тысяч, и ты знаешь, что случилось с головой моей матери, когда она еще и состариться не успела.

Когда его отец одолжил ему эти десять тысяч долларов, чтобы мы могли начать бизнес по продаже и установке бывшей в употреблении сантехники, деньги он выложил наличными, и никто из нас не знал, откуда они взялись или где он их держал до того, как они договорились об условиях и составили бумаги, все официальные и очень законные, согласно которым эти деньги, если отец умрет первым, переходили к Минни, а потом уже ко всем остальным. Бумаги и проценты были обязательны. Старик, старина Морис, никого в жизни не боявшийся, боялся нищеты в старости, а ему уже было за восемьдесят.

Господи, я помню этот старьевщицкий склад так, словно все это было всего лишь вчера. Это было маленькое-маленькое помещение, шириной в гараж для грузовика, а размером с ресторанчик, в который мы с Сэмом Зингером пришли на ланч; грузовичок всегда стоял снаружи, потому что внутри и сзади всегда было полно старья. Груды металла, рассортированного на латунь, железо и медь, и здоровенные весы, такие большие, что

на них могла уместиться кипа газет и всякого мусора с грязью. Чистые газеты привозились из подвалов, куда их складывали привратники всех домов на Кони-Айленде, получавшие за это деньги; эти газеты помещались снаружи больших кип. А внутри могло лежать все, что угодно. В конце дня все они — Лю, его отец, братья, зятья и даже Смоки Рубин и тот черный парень — отмывались под шлангом с холодной водой, чистили ногти, оттирались большой промышленной щеткой и щелочным мылом. А я обычно ждала вся разодетая, готовая идти с ним на свидание.

Единственное, чего он боялся — это крыс, и не самих крыс, а только мысли о них, даже в армии, когда был в Европе, а потом в лагере военнопленных. На бойне в Дрездене, как он рассказывал, все было очень чисто.

Все это, все эти люди и вся эта работа были для меня такими же чужими, каким будет Израиль, если я все же куплю там дом и начну в нем жить. Лю понравилось бы то, что я поехала в Израиль, хотя убедить его поехать туда я так и не смогла, и вообще его трудно было убедить поехать куда-нибудь за границу, где он не знал языка и где не знали, кто он такой. Пожалуй, это самая отдаленная часть мира, какую я, наверно, могу отыскать,

где я смогу жить и дать себе передышку и, может быть, предаваться воспоминаниям, пока буду пытаться найти для себя какие-то новые ощущения в этой земле древней мудрости, где живут люди, в чьей силе духа есть какая-то надежда и смысл.

Меня тоже воспитывали как иудейку, но моя жизнь дома в маленьком семействе на севере штата ничуть не была похожа на то, что я увидела в семье Лю. Мой отец был бухгалтером. А потом стал букмекером, как отец Марвина, и много играл, но всегда носил костюм и рубашку с галстуком и любил такие большие шляпы и модные черно-белые туфли, которые, помню, тогда носили, с такими большими дырочками. Большая, шумная, работящая семья, в которую меня привел Лю, с ее идишем и бруклинским произношением и пугала, и притягивала меня. Как и вся эта простосердечная, крикливая, шустрая группка ребят с Кони-Айленда. Я познакомилась с ним на свидании, которая устроила для меня моя бруклинская двоюродная сестра; свидание это было с каким-то другим парнем, но как только Лю стал заигрывать со мной и дал мне понять, что как бы не против продолжить знакомство, ни у кого другого никогда и нигде больше не было ни одного шанса. Мы прекрасно подходили друг для

друга. Мы никогда с ним этого не обсуждали, но я предполагала, что у меня, вероятно, возникнет желание выйти замуж еще раз, независимо от того, понравилось бы ему это или нет, и я думаю, я все-таки выйду замуж. Мы поженились молодыми, и я всегда была замужем и не думаю, что смогу привыкнуть к жизни в одиночестве, вопрос только в том, удастся ли мне найти человека, который сможет занять его место.

— На меня не рассчитывай, — сказал Сэмми, когда я выплеснула на него все это.

— Ты мог мне об этом и не говорить, — отрезала я. Есть у меня такая привычка — это прозвучало резче, чем я хотела. — Сэм, только без обид, но я бы никогда не смогла разделить с тобой постель.

— Я тоже так думаю, — сказал Сэм, как всегда мягко улыбнувшись, и я была рада, что он не обиделся. — Его трудно будет заменить.

— Уж я-то об этом знаю. Но он завидовал тебе, сильно завидовал — твоей городской жизни. Или тому, что считал твоей жизнью. Даже после того, как ты женился на Гленде, он воображал себе, что ты выпиваешь каждый вечер, волочишься за всеми этими модными девицами в офисе и за другими, с которыми встречаешься по делам рекламы.

У Сэма был очень довольный вид.

— Да что ты, — сказал он, поглядывая чуть самодовольно и чуть пристыженно. — Ни разу после того, как я женился на Гленде. Мне это перестало хотеться, пока она была жива. И потом, Клер, ты же знаешь, Гленда работала со мной больше двух лет, так как же он мог думать, что мне это удавалось? А где ты, по-твоему, сможешь найти себе кого-нибудь, Клер? Может, ты и не знаешь, но у тебя очень высокие стандарты.

Хороших мыслей на этот счет у меня не было. Мне все еще принадлежала большая часть художественной школы в Италии рядом с Флоренцией — такой сюрприз сделал для меня Лю, подарив мне ее на день рождения. Много ли женщин получало такие подарки? Но я не верю итальянским мужчинам вообще, и не могу любить художников только за то, что они художники. Израильским мужчинам я тоже не верю, но они, по крайней мере, честно тебе говорят, что им нужно твое тело на ночь или на полчаса и что готовы прихватить и твои деньги. Мужчин с Кони-Айленда я теперь тоже переросла. Да их никого уже и не осталось. Придется мне врать относительно своего возраста, но как долго эта ложь может сходить за правду?

— Сэм, помнишь старьевщицкий склад на Макдональд-авеню?

Склад он помнил, но из семейства Лю помнил не всех, потому что они были не слишком-то приветливы с чужими, а иногда даже и друг с другом. В том маленьком, тесном домике, который купил Морис, всегда жила по крайней мере пара семей. И они не обязательно любили друг друга — муж его сестры, Фил, сбился с пути и стал для всех хуже геморроя, он даже голосовал за республиканцев вроде Дюи, Эйзенхауэра и Никсона, — но они, как никто другой, горой были готовы стоять друга за друга, включая и зятьев, а потом и меня, когда я начала ходить туда на обеды и ночевать в комнате одной из его сестер даже еще до нашей свадьбы. Упаси Бог было кому-нибудь обидеть меня или сказать что-нибудь невежливое, даже если я была не права. Кроме, может, одного Сэмми, а потом Марвина с их остротами, а потом к ним присоединилась еще и пара других умников, которые все время подкалывали Лю по поводу моих больших грудей. Мне не очень-то нравилось слышать от него рассказы о том, как они подшучивают над моим бюстом, называют меня сисястой, но Лю так и не мог понять — насмешка это или комплимент, как неустанно утверждал

застенчивый Сэмми Зингер. Старик привязался ко мне и вознамерился меня опекать, потому что мой отец уже умер. Он считал меня сиротой. «Луи, слушай-ка меня, слушай меня хорошо, — говорил он ему даже в моем присутствии. — Или женись, или оставь ее в покое». Он не хотел, чтобы Лю оставался ночевать у нас, даже когда моя мать была дома. «Может, ее мать кой-чего и не видит, но я-то вижу».

И Лю слушал его. Он слушал его хорошо до тех пор, пока мы не поженились, и тогда мы принялись за дело и уже почти не останавливались, даже когда он ложился в больницу, почти до самого конца. Лю был гулякой и любил приударить за женщинами, но когда дело касалось семьи, он придерживался строгих правил. Он так никогда и не смог привыкнуть и простить наших девочек за их бикини, короткие юбки и школьные увлечения. Но в этом я с ним была согласна. И еще мне не нравились эти их неприличные выражения. Они разговаривали хуже парней, но им, кажется, и в голову не приходило, что это дурно. Но я не могла сказать им об этом — не хотела, чтобы они думали, что я такая же старомодная, как и отец, пытавшийся их вразумить. Его-то мне, в конце концов, удалось вразумить в Форт-Нокс, когда он

издевался над этим беднягой немцем, которого мы называли Герман-германец, а я пыталась его остановить. Наконец, я его остановила, сказав, что скину с себя всю одежду и усядусь на его тело, прооперированное по поводу грыжи, а Герман-германец, стоящий здесь по стойке смирно, пусть на все это смотрит. Лю воспринял это вполне серьезно, без капельки юмора и наконец-то отпустил Германа. А это было почти после получаса стояния там Германа, которого Лю заставлял рассказывать биографию. В нем просыпалось какое-то низкое чувство, когда дело касалось немцев, и клянусь, мне в буквальном смысле приходилось умолять его прекратить. Но вразумило его в конце концов именно это, потому что один только Лю видел меня раздетой, и я тогда все еще была девственницей. Мы поженились в 1945, вскоре после его возвращения из лагеря военнопленных и операции грыжи. И это было после трех лет, когда я отправляла ему посылки с хорошей колбасой и баночками с халвой и другой едой, которую он любил и которую можно было хранить; я даже губную помаду ему посылала и нейлоновые чулки для бедных девушек, с которыми, по его словам, ему приходилось сталкиваться в Европе. Я была достаточной умной и не ревно-

вала его. Да и все равно большинство посылок так до него и не дошло, а когда он попал в плен, то вообще ни одной не получил.

Боже мой, как они вкалывали на этом своем складе, вкалывали до седьмого пота, увязывая кипы стальной проволокой, которая иногда раскручивалась и была дьявольски опасна. В старике было силы на троих, и того же он ждал от своих сыновей и зятьев, и именно поэтому вопрос о покупке современного оборудования для увязки бумажных кип всегда откладывался на потом. У них были крючья и плоскогубцы для закручивания проволоки, а еще труборезки для водопроводных труб, но самое главное, что у них было, — это их руки. И эти широкие плечи. И Лю был среди них — совсем еще мальчишка, раздетый до пояса, в правой руке он держал крюк и время от времени поощрительно подмигивал мне, пока я помогала им с документами или ждала, когда он закончит, чтобы мы могли пойти погулять. Крюк злобно впивался в кипу — рывок рукой, толчок коленом — и кипа поднималась вверх и опускалась на другую, уже уложенную, обе они подрагивали, и нам это напоминало секс.

Морис знал цену деньгам и не хотел тратить

впустую ни цента. Прежде чем одолжить нам десять тысяч, что нам были нужны, чтобы начать дело, он приехал осмотреть помещение, которое мы хотели снять, — заброшенную фабрику по производству мышеловок, где мышей, к несчастью для Лю, тем не менее, было видимо-невидимо, а арендная плата составляла семьдесят пять долларов в месяц, как раз весь наш бюджет. Он одолжил нам денег — мы знали, что одолжит, — но под десять процентов, тогда как банки давали под четыре. Но он пошел на риск, тогда как банки ни за что не дали бы нам ссуду, а те деньги, что он копил себе на старость, были доступны и для нас, когда в этом возникла необходимость. Шейлок и тот брал меньше, шутили мы над ним, но старика не отпускали тревоги о деньгах на старость. Даже после удара, начав вставать, он просил кого-нибудь из нас отвезти его на склад, и работал, сколько мог.

Лю был шестым ребенком, вторым сыном из восьми детей, но когда я познакомилась с ним, он уже сам принимал решения. Морис рассчитывал, что после войны Лю будет и дальше работать на складе и, может, в один прекрасный день возглавит дело и будет присматривать за всем семейством. А я, как дура, думала, что хорошо бы

ему остаться в армии, но это было абсолютно не для него. У него было несколько тысяч, отложенных из сержантской зарплаты, большая часть этих денег лежала в банке — ему платили и за все то время, что он был в плену, — а еще часть из тех, что он выигрывал и отсылал домой. Отец предложил ему прибавку, чтобы он остался в деле — с тридцати довоенных долларов в неделю до шестидесяти пяти. Лю рассмеялся самым незлобивым смехом, на какой был способен.

— Слушай меня, Морис, слушай меня хорошо, потому что я предложу тебе кое-что получше. Я буду работать у тебя бесплатно целый год, а потом сам решу, какое у меня будет жалованье. Я сам решу, где, когда и как я буду работать.

— Принято! — сказал Морис, чуть поскрежетав зубными протезами. У всех стариков тогда были вставные зубы.

У Лю, конечно, всегда были кой-какие деньги в кармане, чтобы расплатиться с привратником или дилером вторсырья. Иногда в каком-нибудь доме можно было снять паровой котел в рабочем состоянии. Подремонтировать его на скорую руку, а потом продать другому домовладельцу как бывший в употреблении, но в хорошем состоянии. Дефицит предоставлял массу подобных

возможностей, а кроме того, нам доставались и кухонные раковины, трубы, батареи, унитазы — все, что нужно в доме. Не все старьевщики были такими дальновидными, как мы. Привратники — Лю, приходя к ним, чтобы добыть что-нибудь, всегда обращался к ним «мистер» и называл управляющими или интендантами — всегда были не прочь заработать лишний цент на стороне. Вокруг было столько всякого старья, что это натолкнуло нас на мысль открыть где-нибудь за городом, где всего не хватало, бизнес по продаже бывших в употреблении вещей. По-моему, эта мысль пришла первой мне. Время предоставляло нам случай. Больше всего нам требовалось чувство юмора и сильная уверенность в себе, а к тому времени и того, и другого у нас было в избытке.

Мне снова приходится много смеяться, когда я вспоминаю прошлое. Мы оба знали так мало, а во многом я разбиралась лучше него. Я знала, что такое столовое стекло, а Лю ни о чем таком раньше и понятия не имел. Но когда я сказала, что хочу иметь столовое стекло, он постарался приобрести его для нашей первой квартиры. Оно появилось через одного торговавшего вразнос итальянца по имени Роки; Лю заводил знакомства с людьми такого сорта — предприниматель

из разряда «доставал», берущихся за что угодно. Разодет он был всегда в пух и прах, даже когда заходил к нам на склад — как с выставки, и волосы набриалинены. Наша первая машина, подержанная, была куплена нами через Роки. Роки: «Тебе чего надо?» Лю: «Машину». — Роки: «Какой марки?» — Лю: «Шевроле. Цвет волны. Морской, она так хочет», — Роки: «Когда?» — Лю: «В марте этого года». В марте у нас была машина. Это был 1947, а машина была выпущена в 1945. А еще и столовое стекло, о котором Роки прежде тоже никогда не слышал, и я до сих пор помню, каким недоуменным взглядом он посмотрел на меня и как поскреб голову, откинув пальцами на затылок копну курчавых волос. Но больше никаких признаков того, что он никогда прежде о столовом стекле не слышал. А кто тогда о нем слышал? Но на следующей неделе мы его получили в двух разделенных на секции коробочках с фирменным знаком Вулворта — каждый предмет был в оберточной бумаге. И бесплатно. Свадебный подарок от Роки. Ну и ну! У меня до сих пор еще остались кой-какие предметы из этого набора, я их сохранила. А теперь прошло почти пятьдесят лет и — ну и ну! — еще раз, потому что Роки снова возник откуда-то из небытия и

оказался партнером по этому участку земли в Калифорнии, и Лю сказал, что ему можно доверять. Они общались все эти годы, а Лю и словом об этом не обмолвился.

— Почему ты мне ничего не говорил? — пришлось мне задать вопрос.

— Он сидел в тюрьме, — сказал Лю.

Интересно, умеют теперь так крепко дружить? Лю был голоден до жизни, всегда голоден, ужасно честолюбив и всегда был как бы иностранцем в окружающем его мире, частью которого хотел быть, всегда хотел быть в этом мире и частью его. Он тоже мог бы поступить в колледж и учиться ничуть не хуже, чем любой другой, потому что все быстро усваивал, но он не хотел терять время. Его мать тоже меня любила — они все меня любили, — потому что я единственная заворачивала подарки для нее в оберточную бумагу и обвязывала лентой. Я много времени проводила, сидя с ней рядом, хотя мы и не могли толком разговаривать друг с другом. Идиш я плохо понимала, а она говорила почти только на нем, а вскоре у нее обнаружилось то, что доктора назвали затвердением стенок артерий головного мозга, а на самом деле это, вероятно, была болезнь Алцхеймера, и ее вообще почти все перестали понимать. Сегодня,

кажется, у нас у всех болезнь Алцхеймера, если только мы прежде не умираем от рака. Возьмите Гленду, возьмите Лю.

— И моего отца тоже, — сказал Сэм. — И не забудь про инфаркты.

— Я не забываю. Моя мать умерла от инфаркта.

— И моя в конце концов тоже, — сказал Сэм.

Но я все равно сидела с матерью Лю. Моя хитрость была в том, чтобы на все отвечать «да». Время от времени требовалось и «нет», и по сокрушенному потряхиванию головы и какому-то бормотанию я догадывалась, что сказала не то, и когда моя тактика не срабатывала и понимания не возникало, я улыбалась и говорила: «Может быть».

Лю быстро все схватывал, и когда он вышел на ту крупную нефтяную компанию с предложением по установке счетчиков на мазутных обогревателях, он понял, что есть люди, с которыми ему никогда ни о чем не договориться, и места, куда он не сможет ходить, и у нас хватило ума оставаться в наших границах. Он никогда в жизни и не пытался вступить в гольф-клуб для янки, даже когда у него было там немало друзей, которые, вероятно, помогли бы ему в этом. Он получал большее удовольствие, приглашая их к

нам. Мы оба быстро все схватывали, и когда у нас появились деньги на вторую машину, мы купили вторую машину. А когда в моду вошли иностранные машины, которые были лучше наших, мы купили и две иностранные.

Лю никогда не носил вещей из синтетических материалов, никогда в жизни, никаких заменителей. Хлопчатобумажные рубашки, сшитые на заказ, если только этот хлопок не был египетским. Когда, после всех этих войн с Израилем, Лю слышал про Египет, у него тоже начинал ходить желвак на лице. И сшитые на заказ костюмы в ателье, называвшемся «Силлс», когда еще никто не знал, что Джону Кеннеди там тоже шьют костюмы. И самое главное — маникюр, маникюр! Он никогда не уставал делать себе маникюр. Я точно знаю: это из-за грязи на старьевщицком складе, а потом в лагере для военнопленных. В конце, когда он уже и телевизор смотреть не мог, мы так и проводили время за маникюром. Я и педикюр ему делала, а он лежал на спине и улыбался. Мы много этим занимались после свадьбы; это было нашей тайной. Я просила сестер в больнице следить за его ногтями, если они хотят его отвлечь, и они это делали, даже штатные сестры.

— Знаешь, он умер, смеясь, — сказала я Сэму.

— Правда?

— Да. По крайней мере, так мне передали. — Я сказала это специально, и Сэмми подскочил от удивления. — Он умер, смеясь над тобой.

— Из-за чего?

— Из-за твоего письма, — сказала я и тихонько рассмеялась. — Я рада, что ты послал нам это длинное письмо о своем путешествии.

— Ты ведь меня просила.

Я рада, что просила его об этом. Когда это письмо пришло, я читала его Лю по частям, и мы много смеялись. Он взял его с собой в больницу, когда понял, что едет туда в последний раз, и читал его вслух сестрам. А по ночам он мог просить дежурную сестру почитать вслух ему. Сестры там были в восторге от него, могу поклясться, не то что эти капризные, надутые сестры здесь, в Нью-Йорке. Он всегда их расспрашивал про жизнь и говорил им комплименты, замужним с детьми и пожилым тоже. Он знал, как им поднять настроение и сказать то, что нужно, когда у них возникали трудности. «Мэри, скажи своему мужу, чтобы он держал ухо востро, потому что как только мне станет немного получше, ты будешь приходить ко мне на свидания после работы и в свои выходные, а ему пора самому учиться готовить обеды.

И завтраки тоже, потому что иногда по утрам тебя с ним не будет». «Агнес, вот что мы с тобой сделаем. Завтра я выписываюсь. Ты заедешь за мной на своей „хонде“ в пять, и мы поедем выпить и пообедать в „Мотель“ на горе. Возьми с собой на всякий случай все, что может понадобиться, если захочешь остаться на всю ночь». «Агнес, не смейтесь, — добавляла я, потому что сидела тут же, рядом. — Он это вполне серьезно. Я видела его в деле и раньше, и он всегда получает то, что хочет. Именно так я и стала его женой». А путешествие и вправду было очень милым, то путешествие, планами на которое Сэм делился с нами в своем письме.

— Новая Зеландия, Австралия, Сингапур… — похвалила я его. — И еще вдобавок Гавайи, Фиджи, Бали и Таити? Ты все это серьезно?

— В основном. Но не Фиджи, Бали или Таити. Их я вставил для вас двоих.

— Ну что ж, это сработало. Он здорово радовался, представляя тебя во всех этих местах. «Бедняга Сэмми, — он сказал это дежурной сестре, когда она перечитывала ему твое письмо в ту последнюю ночь. Ты ведь знаешь, он умер ночью, а они позвонили мне утром, и это были практически его последние слова, Сэм. — Когда я ему

нужен больше всего, мне приходится лежать в больнице. Этот бедняга отправляется без нас в кругосветное путешествие, а так до сих пор и не научился знакомиться с девушками».

КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ

32
СВАДЬБА

Автоматы развесили четыре тысячи фунтов первосортной икры на порции по одной восьмой унции и уложили на пятьсот двенадцать тысяч ломтиков хлеба, которые вместе с бокалами импортного шампанского разносились тысячью двумястами официантами среди трех тысяч пятисот очень близких друзей Регины и Милоу Миндербиндеров и Оливии и Кристофера Максонов, а также горстки знакомых жениха и невесты. Излишки были предназначены для предоставления вниманию прессы. Некоторое избыточное количество было зарезервировано для обслуживающего персонала. Остатки в ту же ночь были доставлены рефрижераторами в отдаленные приюты на окраинах города и в Нью-Джерси, где на этот день и эту ночь были временно изолированы бездомные и другие обитатели автобусного вокзала. Выселенные таким образом грязные попрошайки, проститутки и торговцы наркотиками были заменены обученными изображать вывезенных актерами, чье исполнение было

признано более правдоподобным и приемлемым, чем поведение исконных обитателей автовокзала, место которых они заняли.

Икра в восьмидесяти художественно оформленных авторских бочонках по пятидесяти фунтов в каждом поступила в цеха Коммерческого подразделения по обслуживанию торжеств компании «Предпринимательство и Партнерство Милоу Миндербиндера». Бочонки были сфотографированы для последующего размещения снимков в популярных шикарных периодических изданиях, посвященных людям с хорошим вкусом и выдающимся общественным событиям масштаба свадьбы в семьях Миндербиндеров-Максонов.

Одетые в черные смокинги снайперы из Подразделения коммерческих убийств «М и М» были предусмотрительно размещены за портьерами в галереях и арках на многочисленных балконах автобусного терминала и получили задание следить главным образом за возможными незаконными действиями снайперов из городской полиции и нескольких федеральных агентств, в чьи обязанности входило обеспечение безопасности президента, первой леди и других правительственных чиновников.

Вместе с икрой и шампанским подавали сэнд-

вичи к чаю, охлажденные креветки, моллюски, устрицы, салат из сырых овощей и печеночный паштет с мягким острым индийским соусом.

С самого начала Оливия Максон категорически заявила, что не допустит ничего вульгарного.

Но ее тревоги рассеял самоуверенный молодой человек за пультом управления компьютерной моделью предстоящей свадьбы, разыгрывающейся, словно она уже состоялась, на мониторах в диспетчерском центре связи здания АВАП, где было установлено оборудование для компьютерной модели с целью демонстрации и предварительного просмотра. Он ринулся к другому из шестидесяти видеоэкранов.

На этом экране после окончания события, которое еще не произошло, знаменитый журналист из одной газетной империи отвечал на вопросы, которые еще не были заданы.

«В этой свадьбе не было ничего вульгарного, — уверял он, еще даже не посетив свадебного торжества. — Я там был. Мне она показалась просто фантастической».

Оливия Максон, страхи которой на минуту улеглись благодаря этой утешительной демонстрации того, что было запрограммировано как неизбежное событие, вновь обрела уверенность

и, порывисто сжав руку Йоссаряна, принялась стрелять еще одну сигарету, гася окурок другой, только что докуренной. Невысокого роста, темноволосая Оливия Максон, морщинистая, улыбающаяся и шикарно худая, как щепка, отнюдь не испытывала радости, узнав, что из-за непредвиденных обстоятельств — сильного удара, постигшего мужа, — она лишилась активной помощи Фрэнсис Бич; не радовала ее и необходимость в большей, чем ей бы того хотелось, степени полагаться на Джона Йоссаряна, с которым она никогда не чувствовала себя уверенно. Фрэнсис большую часть времени проводила дома, оберегая Патрика от нежданных посетителей.

Оборудование в командном фонаре Южного крыла автовокзала между главным и вторым этажами принадлежало Реалтерскому Агентству Гэффни, и беззаботный молодой компьютерщик, просвещавший теперь Йоссаряна, Гэффни и Оливию Максон, был служащим Агентства. Он представился как Уоррен Хэккер. Бордовый галстук у Гэффни был завязан виндзорским узлом. Плечи его пиджака из шерстяной ткани сегодня были квадратными.

Кристофер Максон отсутствовал, так как жена сказала ему, что пользы от него здесь не будет.

Милоу, которому наскучил этот повтор события, происходящего в будущем, вышел на балкон. Отнюдь не чувствуя себя в безопасности вблизи от трансвеститов, стоявших за перильцами наверху и с радостной откровенностью поглядывавших вниз на людей и в том числе, как он догадался, на него, он спустился по эскалатору на главный этаж, чтобы дождаться там Йоссаряна и отправиться вместе с ним на разрешенную им экскурсию по терминалу, в которой он, как считал кое-кто из членов его семьи, должен был принять участие. Теперь, когда доход от его самолета был ему обеспечен, у него в голове были небоскребы. Ему нравилось его «Здание М и М», и он хотел еще. Кроме того, ему не давала покоя мучительная загадка: там, наверху, у него голова пошла кругом, когда на экране монитора он увидел на свадьбе себя самого во фраке; он произносил короткую речь, которой еще не читал, а потом, совершенно не умея танцевать, танцевал с темноволосой женщиной по имени Оливия Максон, с которой только что познакомился. Он не совсем понимал, на каком он небе.

Прежде чем спуститься вниз, он отвел Йоссаряна в сторону, чтобы перемолвиться с ним словом.

— Что еще за херня, — с отсутствующим видом спросил он, — с этой херовой икрой?

— Дело не в деньгах, — проинформировал его Йоссарян. — Все дело в этой херовой рыбе. Но теперь они считают, что выловленного хватит.

— Слава Богу, — сказала Оливия, еще раз услышав эту новость.

В общественных архивах музея искусств метрополитен имелись сведения о прецедентах, с содержащимися в них инструкциями и рекордами, на которые следовало равняться и которые следовало превзойти. Затея Миндербиндеров-Максонов затмит все предыдущие. Даже во время экономического спада страна купалась в деньгах. Даже среди нищеты находилось место для безумного расточительства.

Хотя стояла весна, главный флорист установил в пяти банкетных залах восемьдесят рождественских елок и окружил их тысячами горшочков с белыми нарциссами. На главном и втором этажах Южного крыла для танцев и оркестра было отведено по два помещения, а на главном этаже Северного крыла — одно. Начиная со второй половины дня, прожектора освещали входы на Восьмой авеню и на Девятой авеню, а также менее людные двери на боковых улицах.

Внутри же, благодаря тонированному толстому стеклу в окнах главной наружной стены, протянувшейся на два городских квартала, возникала иллюзия массы солнечного света на витражном стекле. Подкатывающиеся автобусы за окнами было предложено рассматривать как хитроумное приближение к реальному миру. Равным образом был удостоен похвалы как создающий ощущение реальности доносящийся время от времени запах дизельных выхлопов, просачивающийся сквозь естественные облака женской парфюмерии и ароматических веществ, внедренных в вентиляционную систему. Все субподрядные поставщики провизии, флористы и другие организации, заключившие контракты с коммерческой компанией «М и М» по поставке провизии и обслуживанию торжеств, были обязаны подписать конфиденциальные соглашения с Подразделением коммерческих убийств «П и П М и М», и секретность этих конфиденциальных соглашений была широко разрекламирована.

Первый этаж Северного крыла, отделенного от Южного городской улицей, которую предстояло пересечь невесте со своей процессией, был превращен в часовню и банкетный зал для избранных. Осуществление этой перестрой-

ки потребовало удаления массивных лестниц, ведущих на подземный этаж, а также будки справочного бюро и огромной скульптуры, состоящей из раскрашенных двигающихся шаров, занимавшей ранее б***о***льшую часть этажа. Лестницы, будка и скульптура были выставлены под временным навесом в музее искусств Метрополитен в том месте, где обычно находился Большой зал музея, и это привлекло довольно большой поток посетителей и похвальные отзывы критиков. Сам же Большой зал музея за вознаграждение в десять миллионов долларов был отдан взаймы и перенесен в автобусный вокзал. Искоренение из Северного крыла лестниц и скульптуры освободило место для стульев и рядов скамеек из орехового дерева и, что еще более важно, для установки там, в автобусном вокзале, Храма Дендура из того же музея Метрополитен; этот храм с помощью мирных увещеваний под весьма убедительным давлением и платы в еще десять миллионов долларов был также отдан музеем взаймы на один вечер. Именно в Северном крыле вскоре будут наблюдать за реальной свадебной церемонией следящие за ней сейчас в диспетчерском центре связи. В этом пространстве оставалось и место для маленького головного стола для главных

участников церемонии и их двух гостей из Белого Дома, а еще — для шести круглых столиков, рассчитанных каждый на десять персон, наиболее тесно связанных с происходящим событием и со знаменитостями за овальным столом перед колоннами храма. Алтарь внутри Храма Дендура был усыпан цветами и уставлен цветущими канделябрами.

Для раздачи в качестве призов и сувениров на выходе был закуплен один миллион сто двадцать две тысячи бокалов для шампанского. Во всех пяти банкетных залах было развешано огромное количество увитых веточками ивы сказочных люстр различных эпох. К веточкам ивы были добавлены пряди пальмовых волокон, а во всех листочках и на лапах всех восьмидесяти елок были крохотные мигающие лампочки. В качестве скатертей использовались восхитительные гобелены, на которых в шахматном порядке располагались свечи, повсюду были расставлены антикварные клетки с живыми птицами, редкие книга и столовое серебро различных эпох. Густые кусты летних астр в двух тысячах двухстах малазийских горшках, окружавшие все входы в главные залы автовокзала, способствовали превращению половины Южного крыла главного

этажа АВАП в маленький Версаль с тысячами сверкающих в терракотовых горшочках огоньков, изображающих миллионы свечей. В ста четырех витринах по сторонам всех банкетных площадок находились живые актеры, принимавшие позы и изображавшие занятия мошенников, проституток, торговцев наркотиками, бежавших из дому детей, попрошаек, наркоманов и других отверженных, обычно населявших автовокзал. Расположенным в автовокзале магазинам, еще не обанкротившимся и приносящим прибыль, было заплачено, чтобы они работали всю ночь, еще более усиливая новизну окружающей обстановки и атмосферы, и многие гости в перерывах с удовольствием проводили время за покупками. Шестьдесят одна пара привлекательных близнецов женского пола — все, что удалось найти в мире для подобной работы — изображала русалок в пятидесяти с чем-то специально построенных искусственных бассейнах и фонтанах, а тридцать восемь пар близнецов мужского рода выполняли роль герольдов и знаменосцев и предлагали шутливые ответы на задаваемые им вопросы.

Повсюду был одетый в красные пиджаки обслуживающий персонал Администрации порта, готовый прийти на помощь гостям советами и

указаниями. Авиатрансцентр автовокзала оставался открытым для перевозки в три главных аэропорта города тех гостей, которые с обильного мероприятия Миндербиндеров-Максонов спешили на обильные вечеринки в Марокко и Венеции, музыкальные фестивали в Страсбурге и Байрете, на выставку цветов в Челси или на Уимблдонский теннисный турнир в Англии.

Опытные кадровики-администраторы, проведя досконально анкетирование, отсеяли неудовлетворительных кандидатов, оставив только благовоспитанных моделей и актеров из хороших семей со степенями из хороших колледжей; эти модели и актеры были наняты на исполнение ролей проституток обоих полов и других сирых, опустившихся представителей рода человеческого, обычно обитавших в автовокзале и добывавших там хлеб свой насущный; нанятые самозабвенно отдались исполнению своих ролей, проявляя добродушный юмор и подкупающее стремление к здоровому, полезному развлечению, завоевавшему сердца всех гостей в каждой из аудиторий. Сидевшие перед мониторами увидели, как к концу празднества актеры и модели, оставаясь в своих костюмах и продолжая играть свои роли, перемешались с гостями, что стало

еще одним новшеством, значительно усилившим всеобщее веселье.

Другие актеры и актрисы и модели обоих полов, одетые под персонажи знаменитых полотен и фильмов, прохаживались по галереям автовокзала, принимая характерные позы героев, которых они изображали. Среди них были несколько Мерилин Монро, пара Марлонов Брандо в роли Стэнли Ковальски, то там, то здесь появлялся Хэмфри Богарт, была и пара умирающих Дантонов и не меньше, чем две, Моны Лизы, которых узнавали все. На официантах были свободные белые блузы и расшитые туники различных эпох. Подпольный Тотализатор и ресторан «Арби» на втором этаже, а также ресторан «Линдис» и бар внизу были перестроены под фламандские трактиры семнадцатого века и украшены безделушками и предметами искусства той эпохи. В одном из таких антуражей разместился тощий человек с молочно-белой кожей, розовыми глазами и копной медно-рыжих волос; вместо трубки он курил сигарету и смотрел вокруг всевидящим взглядом. Он был одет в брюки с подтяжками и имел при себе туристскую палку и зеленый рюкзак, и Йоссарян, который был смутно уверен, что видел его где-то в другом месте, не мог по-

нять, находится ли этот тип на работе или являет собой продуманный элемент декора. Были там и несколько живых копий с автопортретов Рембрандта и одна Джейн Эйврил. Ни одного Иисуса Христа среди них не было.

После обеда гостям будет предоставлена возможность потанцевать или продефилировать мимо римских и греческих произведений искусства, чтобы купить хлеб Заро в «Хлебной корзинке Заро», или конфеты «Смешной фермер», или лотерейные билеты штата Нью-Йорк, или заглянуть в обувную мастерскую Драго или в один из соковых баров «Тропика», где гирлянды, кисточки и розетки в стиле Директории украшали выложенные из апельсинов пирамиды. Многие никогда прежде не видели пирамид из апельсинов. В центре обеденных столов находились позолоченные листья магнолий и весенние побеги, на мощных колоннах, величественно поддерживающих диспетчерский центр связи, были смонтированы льющие серебряный свет прожектора, а вокруг них роняли свои беловатые струи фонтаны и полоскалось и шуршало на искусственном ветерке множество похожих на паруса вымпелов и знамен корпораций. Один зал, ведущий к посадочным площадкам дальних

автобусных рейсов на Кеношу, штат Висконсин, и к северному полюсу, был выполнен в стиле греческого возрождения и украшен итальянскими гобеленами, японскими фонариками, средневековыми доспехами и резными панелями орехового дерева из французского замка. Напротив этого располагался другой проход на посадку; характерной его особенностью была мебель эпохи Регентства, пухлые ситцевые подушки и резные поделки из красного дерева; все это располагалось за коваными чугунными воротами средневекового дворика. Двор Чарлза Энгельхарда, также взятый напрокат в музее искусств Метрополитен, сверкал розовыми и золотыми огоньками и был украшен пятьюдесятью тысячами французских роз и почти таким же количеством магнолиевых листьев, предварительно погруженных в золотую краску; пол отведенного под танцы зала был на этот единственный вечер разделен на квадраты, вручную выкрашенные в зеленый, желтый, красный и черный цвета.

Сорок семь распорядителей протокола из дипломатического корпуса помогали в тонком вопросе рассадки, принимая все меры, чтобы три тысячи пятьсот гостей расположились точно за

отведенными им столиками, пусть и не всегда к их полному удовлетворению. Основной принцип рассадки, на котором в конце концов решили остановиться, оставлял многих из трех тысяч пятисот разочарованными и недовольными, но в то же время несколько смягчал эти чувства, потому что обиженные видели разочарование других.

Нигде не было никаких главных столов, кроме одного привилегированного — маленького столика, расположенного в Северном крыле перед Храмом Дендура таким образом, чтобы сидящие за ним оказались лицом ко всем остальным; этот столик предназначался для виновников торжества и, конечно, для президента и первой леди, при этом Нудлс Кук занимал место главного администратора страны, пока тот не явился собственной персоной.

Первая леди прибыла раньше, чтобы взять автографы у знаменитостей.

— Не могу понять, куда девался президент, — сказала пребывавшая в нетерпеливом ожидании Оливия Максон. — Пора бы ему уже и появиться.

Некоторым было известно, что президент прибудет специальным скоростным поездом с секретной ветки АЗОСПВВ в Вашингтоне прямо в АВАП. И, конечно, он будет среди последних

прибывших, материализуется как раз вовремя, чтобы, широко улыбнувшись, помахать рукой, обменяться строго ограниченным числом рукопожатий и стать посаженным отцом невесты, чтобы тут же занять место рядом с женихом в качестве шафера М2. Это была еще одна из церемониальных новинок, обещавшая установить стандарт свадебных торжеств, может быть, не исключая даже свадеб членов королевских семей с их вековыми традициями.

Все остальные столы были круглыми, чтобы никто другой не занимал главного места, а стулья были намеренно выбраны демократически одинаковыми. А за каждым из остальных трехсот сорока четырех круглых столов вне Северного крыла разместилось по одному видному общественному деятелю и по одному мультимиллионеру или женщине, замужем за таковым. Мультимиллионеры были не очень довольны, потому что все они предпочли бы сидеть рядом с президентом, а если это невозможно, то с одним из восьми приглашенных миллиардеров, которые вполне осознавали свои метафорические роли божеств, трофеев, предметов вдохновения и декора. Некоторые из миллиардеров на той же неделе купили себе отели на Манхеттене только

для того, чтобы было где принять друзей.

Кардинал просил посадить его с президентом или, если не с президентом, то с губернатором и мэром, одним владельцем какой-нибудь ведущей нью-йоркской газеты, по крайней мере, с двумя из восьми миллиардеров и одним физиком, лауреатом Нобелевской премии, чтобы убедить их обратиться в римскую католическую веру. Йоссарян вместо них подсунул ему Деннис Тимера, чтобы тот разъяснил ему кой-какие факты биологии, одного издателя газеты и одного отвергнутого мультимиллионера, который тщетно надеялся получить доступ к миллиардеру и поболтать с ним с глазу на глаз. Он усадил их за столик, с которого можно было хорошо видеть невесту — на стороне Южного крыла, выходящей на Девятую авеню, недалеко от полицейского участка и столика с Ларри Макбрайдом и ею новой женой, Майклом Йоссаряном и его старой подружкой Марлин, между магазином нижнего белья «Спорт-Пост», вблизи входа в полицейский участок, и «Ореховым домиком Джо-Энн». Там же был и Макмагон, вышедший из своей камеры, чтобы почтить присутствием Макбрайда и его новую хозяйку; на Макмагоне, находившемся на дежурстве, был не смокинг, а парадная форма

капитана полиции.

Макбрайд был записан в очередь на представление президенту за свои выдающиеся заслуги в деле размещения трехсот пятидесяти одного стола для трех тысяч пятисот ближайших друзей Регины и Милоу Миндербиндеров и Оливии и Кристофера Максонов, которые не имели и не хотели иметь близких друзей, и в деле установки Храма Дендура и других монументальных сооружений в пяти сверкающих залах, а также оборудования танцевальных площадок с местами для оркестра. Кроме того, он нес ответственность за координацию деятельности других, специализирующихся в областях, в которых ранее у него не было никакого опыта.

Первоочередной задачей планирования являлась необходимость расчистить проход, чтобы свадебная процессия могла прошествовать почти через все Южное крыло от Девятой авеню до Восьмой авеню, до самой аптеки Уолгрина на углу, где повернуть в сторону от центра города, пересечь по переходу проходящую внизу Сорок первую, а затем войти в часовню и обеденный зал Северного крыла и остановиться перед алтарем внутри Храма Дендура. Храм Дендура, Патио Блюменталя, Двор Энгельхарда и Главный зал

легендарного музея искусств Метрополитен, четыре знаменитые уголка музея, предназначенные для приемов и других общественных и рекламных мероприятий, были на один вечер перемещены в автобусный вокзал и размещены таким образом, чтобы рядом с каждым гостем находился какой-нибудь из этих знаменитых монументов, имевший свою достославную историю в деле служения человечеству на поприще поставки провизии для застолий.

Как это и было предусмотрено Макбрайдом, все гости могли, по крайней мере частично, лицезреть невесту и ее свиту, когда те достигали вершины эскалатора, ведущего с уровня подземки на стороне автовокзала, выходящей на Девятую авеню, и торжественно шествовали в направлении Восьмой авеню, а оттуда в Северное крыло. Этот проход, занимавший некоторое время, позволял осуществить необычную музыкальную программу и таким образом сделать происходящее событие еще более уникальным. Йоссарян с удивлением слушал первые знакомые ноты.

Вступительной темой к свадебной церемонии оказалась прелюдия к опере «Die

Meistersinger».[104]

И именно под первые звучные, торжественные аккорды этой музыки Йоссарян наблюдал, как, паря в воздухе, словно из заоблачной дали, на вершине эскалатора явилась невеста. Музыка, продолжительность которой была достаточной для длительного пути, захлебнулась в небывало жизнерадостных аплодисментах. Ускоряющиеся и изменяющиеся темпы особенно заводили девочек-цветочниц и мальчиков-держателей обручальных колец, которые показали все, на что были способны, когда на две минуты и шесть секунд, необходимых для того, чтобы замыкающие свадебное шествие свернули в проход к боковому выходу в Северное крыло, зазвучала музыка «Танца подмастерьев». В Северном крыле, после того как невеста завершила разворот и пересекла улицу, оркестр церемонно заиграл «Призовую песню» из той же оперы Вагнера, заканчивающуюся на мягкой, трепещущей ноте в тот самый момент, когда невеста попадала в часовню и, наконец, останавливалась там, где с женихом и главными его сопровождающими ее ожидали кардинал, раввин-реформатор и шесть других

[104] Примечания: 104
«Мейстерзингеры» (*нем.*).

священнослужителей различных конфессий. Здесь, в то время, когда произносились необходимые слова, музыка сменилась более тихим рефреном дуэта Liebesnacht[105] из «Тристана», при этом кардинал смотрел сквозь пальцы на то, что эта музыка одновременно божественна и чувственна, а раввин пытался забыть, что она сочинена Вагнером. В этой части церемонии счастливая пара была девять раз объявлена мужем и женой — восемью священниками и Нудлсом Куком, который все еще исполнял обязанности опаздывающего президента. Когда новобрачные отвернулись от алтаря и, прежде чем сойти на площадку для танцев, обменялись целомудренным поцелуем, зазвучали, как заранее сообщил об этом Хэккер, завершающие такты «Götterdämmerung» с их возвышающей душу темой «Искупления любовью».

— Вы знаете эту музыку? — спросил Хэккер.

— Знаю, — сказал Йоссарян, он был удивлен и обрадован и испытывал искушение начать насвистывать под ласковые скрипки и убаюкивающие трубы, подающие голос и замирающие в благолепии финала. — Я сам собирался ее пред-

---

[105] Примечания: 105
Ночи любви (*нем.*).

ложить.

— Он и правда собирался это сделать? — обратился Хэккер к Гэффни и нажатием клавиши приостановил развивающееся действо.

— Нет, не собирался, — отрекся от своих слов Йоссарян, прежде чем успел ответить Гэффни. — Но я думаю, она идеально подходит. Эта музыка умиротворяющая, мягкая, мелодичная, эротичная и несомненно кульминационная и определяющая. — Он ничего не сказал о возникшем у него мимолетном и злорадном ощущении, что на экранах мониторов он видит другой «Götterdämmerung», что лавочка вскоре закроется для всех самозабвенно предающихся веселью участников этого торжества, которых он видит на экранах мониторов, включая и его самого, и Фрэнсис Бич — он видел, как танцует с ней, — может быть, и для Мелиссы, Макбрайда и его новой жены, для невесты и М2. — Вашим гостям это понравится, Оливия. Они пойдут танцевать, напевая себе под нос эту мелодию из «Götterdämmerung».

— Нет, сэр, — покровительственно поправил его самодовольный молодой человек. — Ни в коем случае. Потому что, когда закончится это, мы придумаем кое-что получше. Подождите, вы

еще услышите.

Гэффни кивнул.

— Мне кажется, вы сказали, что уже придумали.

— Это детский хор, — сказал компьютерщик. — По мере того как музыка Вагнера затихает, за ней мягко возникает введенный нами детский хор, которого большинство никогда не слышало. Это ангельская музыка. И в самом трогательном месте начинается комедия — раскаты музыкального хохота, чтобы задать новое настроение, которое, согласно нашему желанию, должно царить всю остальную часть вечера. Это хор смеющихся людей, который вытесняет и заглушает детишек, и мы получаем то, что нужно. Оба хора написаны немецким композитором Адрианом Леверкюном. Вы его знаете?

— Я о нем слышал, — осторожно сказал Йоссарян, испытывая странное ощущение, будто его снова стало раскачивать в такт музыке. — Это герой одного литературного произведения.

— Я этого не знал, — сказал молодой человек по имени Хэккер. — Тогда вы должны знать, каким великим он был. Оба эти хора из его кантаты, названной «Жалобы Фауста», но нам совсем не обязательно сообщать об этом.

— Замечательно, — отрывисто бросил Йоссарян. — Потому что они не оттуда. Они из его оратории, которая называется «Апокалипсис».

Кудесник-компьютерщик сочувственно улыбнулся Йоссаряну.

— Мистер Гэффни?

— Он ошибается, Хэккер, — сказал Джерри Гэффни и пожал плечами, как бы вежливо извиняясь. — Йо-Йо, вы все время делаете одну и ту же ошибку. Это не «Апокалипсис». Это из «Жалоб Фауста».

— Черт возьми, Гэффни, вы опять ошибаетесь. Кому об этом знать как не мне. Я почти пятнадцать лет собирался писать роман об этом произведении.

— Как странно, Йо-Йо. Но вы же собирались писать не всерьез и не серьезный роман.

— Оставьте это «Йо-Йо», Гэффни. Опять мы препираемся. Я провел исследование.

— Вы собирались написать эпизоды, в которых Томас Манн и Леверкюн должны были встретиться, да? И еще сделать Леверкюна одним из современников этого Густава Ашенбаха. Это вы и называете исследованием?

— Кто такой Густав Ашенбах? — спросил Хэккер.

— Один покойник в Венеции, Уоррен.

— Джентльмены, я могу легко разрешить ваш спор, вот здесь, прямо на моем компьютере. Подождите всего десять тысячных секунды. Так, посмотрим. Ну, вот, мистер Йоссарян, «Жалобы Фауста». Вы не правы.

— Ваш компьютер ошибается.

— Йо-Йо, — сказал Гэффни, — это же модель. Она не может ошибаться. Продолжайте свадьбу. Пусть они посмотрят, как она прошла.

На самых больших экранах солнце почернело, луна приобрела цвет крови, а корабли в реках и гавани перевернулись.

— Уоррен, прекратите валять дурака. — Гэффни рассердился.

— Я тут не при чем, Джерри. Клянусь вам. Я его все время удаляю, а оно возвращается. Вот, пожалуйста.

Музыка Леверкюна, как это видел Йоссарян, была исполнена хорошо. Когда затухающие гармоничные такты, завершающие «Götterdämmerung», начали замирать, стал пробиваться детский хор, которого Йоссарян никогда раньше не слышал; сначала это были едва уловимые звуки — дыхание, намек, но постепенно они приобретали собственное значение, выливаясь

в божественное предуведомление о грядущей горестной печали. А затем, когда это мелодичное, мучительное и погружающее в скорбь предостережение сделалось почти невыносимым, в него неожиданно вторглись оглушительные, незнакомые, немелодичные раскаты злобных мужских голосов, в жуткой согласованности разражающиеся безжалостным смехом и еще раз смехом, смехом, смехом, который вызывал у слушателей недоуменное облегчение и огромную, все возрастающую веселость. Аудитория быстро присоединялась собственным смехом к этой варварской какофонии бесшабашной радости, издаваемой всеми громкоговорителями, что и задавало верную ноту для праздничного настроения к торжественному вечеру, которое подкреплялось едой, напитками, музыкой и еще более оригинальными изобретениями и эстетическими деликатесами.

Йоссарян присутствовал при этом и, потрясенный, увидел, что тоже смеется. Он укоризненно покачал сам себе головой, когда Оливия Максон, стоявшая рядом с ним в диспетчерском центре связи автовокзала, увидев, как смеется вместе с ним в часовне Северного крыла, сказала, что это божественно. Теперь у Йоссаряна выражение

было сокрушающееся сразу в двух местах. Принимая брюзгливо-отстраненный вид, он хмурился и в том месте, и в этом. Заглянув в это будущее, Йоссарян испытал шок, когда увидел себя во фраке; он никогда в жизни не надевал фрака — облачения, обязательного для всей мужской части элитной группы в Северном крыле. Вскоре он уже танцевал неторопливый тустеп с Фрэнсис Бич, потом по очереди — с Мелиссой, невестой и Оливией. Теперь, разглядывая себя — молчаливого, безропотного и услужливого — на предстоящей свадьбе, Йоссарян вспомнил о том, что часто ему не нравилось в самом себе: на самом деле он никогда не испытывал особой антипатии к Милоу Миндербиндеру, считал Кристофера Максона парнем свойским и покладистым, хотя и находил Оливию Максон неоригинальной и скучной, полагал, что она вызывает раздражение лишь в тех случаях, когда высказывает безапелляционные мнения. Он придерживался абстрактного убеждения, что ему должно быть стыдно, и еще одной абстрактной идеи, что еще более стыдно ему должно быть из-за того, что ему не стыдно.

Он сидел с Мелиссой и Фрэнсис Бич за столиком, с которого мог перекинуться словом с Миндербиндерами и Максонами, и неподалеку от Нудлса

Кука и первой леди, ожидающих прибытия президента. Стул, зарезервированный для Нудлса за столиком по соседству со столиком Йоссаряна, был свободен. Анджелы, которой отчаянно хотелось прийти, не было, потому что Фрэнсис Бич воспротивилась ее приходу.

— Мне самой не нравится это чувство во мне, — призналась Фрэнсис Йоссаряну. — Но я ничего не могу с собой поделать. Господь свидетель, я сама делала то же самое, и не раз. Я делала это и с Патриком.

Танцуя с Фрэнсис, к которой он по-прежнему питал то особое, разделенное дружеское расположение, что можно назвать любовью, он чувствовал только кости, грудную клетку, локоть и лопатку, никакого тебе наслаждения от соприкосновения с плотью, и ему было неудобно обнимать ее. В равной мере неумело танцуя с беременной Мелиссой, чье затруднительное положение, упрямство и нерешительность доводили его в настоящий момент до белого каления, он возбудился от первого соприкосновения с ее животом под платьем цвета морской волны и загорелся похотливым желанием еще раз увести ее в спальню. Сейчас Йоссарян вперился взглядом в ее живот, пытаясь понять, увеличилась ли его

округлость, или же меры, призванные привести его в нормальное состояние, уже были приняты. Гэффни насмешливо поглядывал на него, словно опять читал его мысли. Фрэнсис Бич на свадьбе отметила разницу в его реакции и погрузилась в скорбные размышления о грустных фактах своей жизни.

— Мы не довольны собой, когда молоды, и не довольны собой, когда стары, а те из нас, кто отказывается быть недовольным, вызывают отвращение своим нахальством.

— Вы вложили в ее уста очень неплохие мысли, — задиристо сказал Йоссарян Хэккеру.

— Мне тоже нравится. Мне это подсказал Гэффни. Звучит вполне реалистично.

— И не может звучать иначе. — Йоссарян бросил на Гэффни злобный взгляд. — У нас с ней уже состоялся этот разговор.

— Я знаю, — сказал Гэффни.

— Я так и думал, хер вас побери, — беззлобно сказал Йоссарян. — Извините меня, Оливия. Мы употребляем такие слова. Гэффни, вы продолжаете за мной следить. Зачем?

— Ничего не могу с собой поделать, Йоссарян. Вы же знаете, это моя профессия. Я не создаю информацию. Я ее собираю. И не моя вина, что я

вроде бы знаю все.

— Что будет с Патриком Бичем? Ему не становится лучше.

— Ах, бедняжка, — сказала Оливия, вздрогнув.

— Я бы сказал, — ответил Гэффни, — что он умрет.

— Перед моей свадьбой?

— После, миссис Максон. Но, Йо-Йо, то же самое я бы сказал и о вас. Я бы сказал это обо всех.

— И о себе тоже?

— Конечно. Почему я должен быть исключением?

— Вы не Бог?

— Я занимаюсь торговлей недвижимостью. Разве Бог не умер? Я похож на мертвеца? Кстати, Йоссарян, я тоже собираюсь написать книгу.

— О торговле недвижимостью?

— Нет, роман. Может быть, вы мне поможете. Он начинается на шестой день творения. Я расскажу вам о нем попозже.

— Попозже я занят.

— У вас будет время. С вашей невестой вы встретитесь только в два.

— Вы снова женитесь? — Оливия была в восторге от этой новости.

— Нет, — сказал Йоссарян. — И у меня нет ни-

какой невесты.

— Женится, женится, — ответил Гэффни.

— Не слушайте его.

— Он еще не знает, что с ним будет. А я знаю. Уоррен, продолжайте эту свадьбу.

— Он все еще не появился, — озадаченно доложил Хэккер, — и никто не знает, почему.

До сих пор все шло без сучка, без задоринки, вот только президента все не было.

Макбрайд прилежно, без устали отыскивал места парковки для автомобилей и координировал их прибытие с прибытием и отправлением рейсовых автобусов, направляя многие из них на пандусы и к воротам третьего и четвертого этажа. На одной тысяче восьмидесяти парковочных мест в гаражах наверху разместилась большая часть из почти тысячи семисот семидесяти пяти ожидавшихся лимузинов. Большинство из них были черными, а остальные — жемчужно-серыми. Другие машины направлялись на парковку на противоположной стороне авеню, где на тротуаре теснились торговцы шашлыками и жареными каштанами и стойки чистильщиков обуви, владельцы которых — веселые черные и шоколадные старики — нередко проводили там теплые ночи, засыпая на своих рабочих местах

под пляжными зонтиками. Они пользовались раковинами и туалетами автовокзала, игнорируя бессмертные творения Майкла Йоссаряна, недвусмысленно запрещавшие «курить, сорить, мыться, стирать, попрошайничать, приставать», заниматься оральным сексом и совокупляться. Многие, пересекавшие авеню, чтобы войти под протянувшийся на целый квартал навес из металла и тонированного стекла, находили непристойные уличные сценки увлекательными и полагали, что они были срежиссированы специально для них.

Фотографы на всех улицах перекрыли все подходы к автовокзалу, словно собираясь взять его приступом, а журналисты понаехали из других стран. Всего было аккредитовано семь тысяч двести три представителя прессы, которым выдавались соответствующие пропуска. Это был рекорд для американской свадьбы. В качестве гостей приехало сорок шесть владельцев иностранных издательств.

Приглашения на торжественное мероприятие рассылались в прямоугольных и негнущихся — потому что они были изготовлены на платиновой основе — конвертах, и только Сэмми Зингер из главного списка в три тысячи пятьсот гостей

отверг приглашение, вежливо сославшись на запланированное еще раньше путешествие в Австралию. Йоссарян проникся к Сэму Зингеру еще большим уважением. Секретные агенты Рауль и рыжеволосый Боб и их жены были под рукой в качестве охраны, а также и в качестве гостей. Йоссарян намеренно сослал их за дальние столики на почтительном расстоянии друг от друга; сейчас же он, кипя благородным негодованием, увидел, что на грядущей свадьбе, разворачивающейся перед ним в настоящем, оба они, тем не менее, расположились за одним с ним столиком во внутреннем святилище Северного крыла и что в такой близости от него им не составляет никакого труда продолжать свою слежку за ним и в то же время наблюдать эпическое представление, частью которого стали они сами, и что Джерри Гэффни, которого не приглашали, вместе со своей женой оказался среди гостей и тоже сидел за одним с ним столиком! Кто-то где-то отменил распоряжения, не поставив его в известность.

Как и предполагалось, наезд лимузинов начался ранее, чем предполагалось. К восемнадцати часам прибыли многие, не желавшие упускать возможность попасть под объективы фотографов до того, как начнется наезд персон более важных.

И многие из прибывших заранее, а среди них была и первая леди, горели желанием увидеть все своими глазами.

Для издателей журналов мод это был настоящий праздник.

Женщинам помогло заблаговременное заявление Оливии Максон, предупредившей, что «ни один наряд не будет слишком нарядным». Кроме того, они были благодарны за памятку, составленную ведущими модельерами, сообщавшими об основных направлениях в своих грядущих коллекциях. Следствием этого стала великолепная феерия наимоднейших фасонов, которые с исключительным блеском воссоздавались на фотографиях, а дамы уверенно участвовали в этом празднике и как зрительницы, и как зрелище. И хотя почти две тысячи присутствовавших женщин демонстрировали самое разнообразное понимание моды, ни одна из них из моды не выбивалась.

На них было все, что угодно — от обыденных нарядных костюмов до бальных платьев; они прибывали райским, переливчатым ливнем украшенных индийским бисером льняных полотен с золотыми заколками; преобладала светлая палитра, диапазон которой простирался в основ-

ном от цвета слоновой кости до бледно-розового и цвета морской волны. Излюбленным рисунком для шифоновых юбок или кисейных платьев с подбитыми кромочками и шелковых жакетов были пятна леопарда. Женщин в длинных вечерних платьях била дрожь, когда они видели, что многие другие женщины тоже надели длинные вечерние платья, в особенности, если хрустящие бледные шелка украшала нежная вышивка. Короткие юбки тоже были из поблескивающего шифона. Жакеты были сшиты из розового, оранжевого и зеленовато-желтого атласа с пуговицами не в виде шляпок от гвоздей, а из искусственных бриллиантов, а широкие черные верхние юбки point d'esprit[106] спереди заканчивались выше колен, а сзади волочились по полу; те, кому хватало духа сделать правильный выбор, особенно гордились своими эротичными фривольными вязаными вечерними одеяниями.

После шампанского, икры и коктейлей и задолго до того, как появились невеста и М2, огни во всех крыльях автовокзала в приготовлении к таинству притушили, и все расселись вокруг ближайшего из пяти помостов, чтобы послушать,

---

[106] Примечания: 106
На грани разумного (*франц.*).

как одаренная скрипачка возраста молодой мадеры и четыре ее двойника играют в каждом из залов капризы Паганини. Отличить подлинную скрипачку от двойников было невозможно, и тем, кто угадывал, призов не присуждалось. Кристофера и Оливию Максон можно было видеть во плоти, а также в большую, чем натуральная, величину, на огромных, как экран кинотеатра, телевизионных экранах кабельной сети. Они располагались в первом ряду в глубине справа на главном этаже Северного крыла, и все гости там и во всех других местах вдруг заметили, что единственный прожектор был, казалось, расположен таким образом, чтобы его луч падал прямо на Оливию, которая сидела со сцепленными руками и застывшим выражением экстаза на своем знаменитом лице. Как это видели находящиеся в диспетчерском центре связи на экранах, передающих самые свежие новости, текущий будущий выпуск «Ю-эС. Ньюс энд Уорлд Рипорт» писал о ней как о «королеве нового общества». И, как они видели в киосках автовокзала, которые оставили открытыми специально для них, «Тайм, Уикли Ньюзмэгазин», напишет, что «Оливия Максон — принцесса нового общества, а автобусный вокзал — ее дворец».

Тот факт, что свадьба, соединяющая две семьи миллиардеров, — событие из ряда вон выходящее, подчеркивался церемонией со свечами, решенной в шикарном стиле «белое на белом»; все платья десятков женщин и маленьких девочек в свадебной процессии были созданы Арнольдом Скаази. На самой невесте было платье из белой тафты желтоватого оттенка, изящно вышитое золотом, со шлейфом длиной двадцать семь футов. Тюлевая тафта невесты была закреплена тиарой, усаженной бриллиантами и жемчугом. Подружкой невесты была бывшая мисс Вселенная, которую невеста видела впервые. Ее сопровождали двадцать девушек с золотисто-каштановыми волосами и сорок — с соломенными, они были выше и великолепнее, чем сама бывшая мисс Вселенная в ее одеянии подружки невесты; все они были в белом, прошитом золотом муаре желтоватого оттенка. Сто двадцать детей в возрасте до двенадцати лет, делегированные друзьями и членами обеих семей, были одеты девочками-цветочницами и мальчиками-держателями обручальных колец. Мать жениха, Регина Миндербиндер, чувствовала себя не очень уютно в авторском платье бежевого цвета, тогда как Оливия Максон в бледно-розовом

атласном платье с многочисленными оборочками, отделанными десятками тысяч мелких жемчужин, с ее огромными темными глазами, вздернутым носиком и в сверкающих не ограненных изумрудах, украшавших ее белую шею, выглядела просто потрясающе.

Невеста и ее сопровождение тесным кружком собрались внизу в багажном отделении автобусной компании «Грейхаунд». Здесь персональные кутюрье и художники-гримеры искупали, причесали и иными способами подготовили к грандиозному событию эту молчаливую девицу и ее полную свиту, состоявшую из мисс Вселенная, шестидесяти сногсшибательных подружек невесты и ста двадцати цветочниц и держателей колец. Они, растянувшись в длиннющие шеренги, своевременно заняли свои места у основания синхронизированных эскалаторов и по музыкальному сигналу, выверенному до долей секунды, шагнули на эти поднимающиеся лестницы, которые вынесли их наверх к нетерпеливо ожидающей публике. Торжественные, волнующие фанфары величественных вагнеровских аккордов известили об их вознесении на главный этаж Южного крыла, а когда невеста, повисшая на руке своего приемного дядюшки Кристофера

Максона, шагнула вперед, ее появление было встречено церемонными, уважительными аплодисментами тех, кто сидел за столиками у полицейского участка вблизи магазина нижнего белья «Спорт-Пост» и «Орехового домика Джо-Энн» и увидел ее первым.

Под прелюдию к «Die Meistersinger» и «Танец подмастерьев» невеста и Кристофер Максон, к огромному облегчению всех присутствующих, безукоризненно провели свиту из ста восьмидесяти одного человека вниз, в центр Южного крыла к аптеке Уолгрина и повороту, ведущему к выходу на улицу, на которой было приостановлено движение пешеходов и машин — даже автобусы были направлены по другим маршрутам, — а потом, под сентиментальное оркестровое исполнение «Призовой песни» они прошествовали в Северное крыло и, наконец, в часовню и Храм Дендура.

Когда церемония была выполнена в мельчайших деталях и закончилась леверкюнова интерлюдия детского плача и жуткого смеха из «Апокалипсиса» — конечно же, это был «Апокалипсис», и то, что Гэффни утверждал иное, было просто абсурдно, — множество площадок, трансформированных в банкетные залы, наполнились

тихой музыкой. Затем последовали весьма степенные, старомодные танцы, а приглашенные тем временем разыскивали свои места и готовились к первому обеду — второй обед был задуман как ошеломительный сюрприз! Три тысячи пятьсот близких друзей Миндербиндеров и Максонов кружились и выгибали спины под музыку баллад между переменами блюд, включавших вареного лосося в желе из шампанского, трио, составленного из телятины, ягнятины и цыпленка, орцо с порчини и ранними овощами. С этими главными блюдами подавались Кордон Шарлемань Латур 1986 года и Кристальное Шампанское Луиса Ройдерера 1978 года.

Продолжительность музыкальных композиций составляла двадцать минут. Десятиминутные паузы между ними были заполнены красочным действом, в котором участвовали музыканты всех групп, переходившие на другую из пяти площадок, чтобы играть для другой публики. Они поодиночке двигались вверх и вниз по эскалаторам, не выбиваясь при этом из ритма настолько, чтобы это было заметно кому-нибудь, кроме них самих. Официанты с подносами, передвигавшиеся вверх и вниз за музыкантами, подергивали в такт плечами и бедрами, а помощники официан-

тов, появляясь то здесь, то там, словно их носил ветер, бесшумно очищали столики и уносили объедки из здания к огромным мусоровозам, ожидающим на пандусах; мусоровозы, как только их полностью загружали, уносились со специально предусмотренных для них парковочных мест между автомобилями-рефрижераторами, с которых на максимальной скорости сгружали новые съестные припасы. Многие приверженцы старины, пребывая в прекрасном расположении духа, следовали вверх и вниз по эскалаторам за музыкантами, танцуя собственный танец и напевая собственную мелодию, которую называли «Хали-гали». Вскоре оркестры после каждой смены площадки начинали играть «Хали-гали». Повторы по спутниковому телевидению этой части торжества давались в ускоренном темпе, что создавало эффект немого кино, в котором люди совершают торопливые, дерганые движения, а Милоу Миндербиндер, во фраке, усатый, с вымученной улыбкой на лице, многим, не знавшим его, казался похожим на Чарли Чаплина.

Сразу же за вареным лососем в желе из шампанского, трио, включавшим телятину, ягнятину и цыпленка, орцо с порчини и ранними овощами, перед кофе и десертом по выбору, на каждый сто-

лик были поданы по три замороженных блюда шербета из сока манго и оранджа в форме больших египетских сфинксов, отличавшихся друг от друга только лицами: у одного из них было лицо Милоу Миндербиндера, а у другого — Кристофера Максона, копировавшее последнего в точности, вплоть до незажженной сигары. У третьего египетского сфинкса — все пришли к ошибочной догадке, что у него будет лицо президента — было незнакомое лицо человека, позднее опознанного как некто Мортимер Саклер. Не многие теперь знали, кто такой Мортимер Саклер, и эта хитрость была воспринята как еще одна пикантная шутка вечера. Неожиданно женский голос по системе оповещения сообщил: «Из-за затора на третьем маршруте прибытие и отправление всех рейсов задерживается».

Аудитория снова разразилась громким смехом и аплодисментами.

Не успели пирующие прийти в себя после этого приступа смеха, как, к их радостному изумлению, подали первую перемену еще одного полного обеда, или ужина-сюрприза. Он состоял из омаров, за которыми подавали фазаний бульон, за которым подавали перепелов, за которым подавали вареную грушу в сахаре. Этот ужин, как

сообщил по системе оповещения восторженный анонимный голос, принадлежавший громкоголосому церемониймейстеру, подавался «за счет дома». То есть, он ничего не стоил Максонам, а был оплачен родителями жениха, Региной и Милоу Миндербиндерами, желавшими таким образом продемонстрировать свою любовь к новой невестке, неумирающую дружбу к ее приемным дядюшке и тетушке, Кристоферу и Оливии Максонам, и свою глубочайшую признательность всем присутствующим, взявшим на себя труд отозваться на приглашение. После вареной груши в сахаре, когда подошло время для краткого, к этому времени еще не написанного спича Милоу, присутствующие в диспетчерском центре связи увидели, как Милоу выступает со своей речью; с чопорным видом проговорил он похвальное слово своей жене: «У меня замечательная подруга жизни, и мы сильно влюблены друг в друга. Я никогда раньше не делал этого микрофон, но есть только один способ сказать об этом. Йе-еху».

Он повторил это еще три раза для трех других комплектов телевизионных камер и микрофонов, каждый раз с трудом произнося слово *Йе-еху*. Кристофер Максон, чье круглое лицо сморщилось в улыбку, был в своей речи более конкретен: «Моя

мать всегда учила меня: „Не говори людям, что ты их любишь, показывай им свою любовь“. И вот так я и хочу сказать „Я люблю тебя“ моей жене, Оливии, которая сегодня вечером внесла такой огромный вклад в развитие нашей экономики. Все, кто говорят о спаде… а, да ладно».

Сидевший за одним, из дальних столиков Южного крыла мэр города Нью-Йорка под жидкие аплодисменты поднялся со своего места, чтобы сообщить, что Оливия и Кристофер Максоны только что пожертвовали автобусному вокзалу десять миллионов долларов на сооружение кухни для подобных мероприятий в будущем и еще десять миллионов музею искусств Метрополитен за их щедрое сотрудничество, выразившееся в предоставлении для данного события Храма Дендура, Патио Блюменталя, Двора Энгельхарда и Большого Зала.

Оливия Максон вскочила, чтобы заявить: «И не удивительно — после всего этого! Я никогда не видела, чтобы мой муж с таким удовольствием делал пожертвования какому-либо заведению».

Потом появился свадебный торт, над которым не один месяц в поте лица трудились легионы кондитеров и учеников в кафе «Чайный кекс», расположенном в следующем квартале на

Девятой авеню у Тридцать девятой улицы. Аплодисменты, звучавшие чуть раньше, не шли ни в какое сравнение со спонтанным проявлением визгливого восторга, взорвавшегося при виде свадебного торта, который вкатили на подъемнике, опустили и раскрыли перед аплодирующей публикой на большой, отведенной под оркестр, площадке в Южном крыле у помещения «Au Bon Pain»,[107] в котором раньше размещался банк и где был высокий потолок. Торт представлял собой удивительное сооружение из взбитого крема, сахарной ваты, глазури и воздушных слоев легчайшего продукта сродни амброзии на масле с мороженым и приправленной ликером шоколадной начинкой в невиданных ранее количествах. Свадебный торт имел в высоту сорок четыре фута, весил тысячу пятьсот фунтов и обошелся в один миллион сто семнадцать тысяч долларов.

Всем было жать, что его нельзя сохранить и выставить в музее искусств Метрополитен.

Самой невесте разрезать торт было не по силам, потому что у нее не хватало роста.

Зрелище нарезки торта соответствовало величию всего события: группы гимнастов и акроба-

---

[107] Примечания: 107
«У хорошего хлеба» (*франц.*).

тов в белых трико и розовых корсажах из Цирка Братьев Ринглинг и Барнум энд Бейли, гастролировавшего тогда на Мэдисон-Сквер-Гарден, всего в нескольких кварталах от автовокзала, рассекли его сверху донизу. Торт подали на трех тысячах пятистах тарелках, каждая из которых была украшена сделанными из сахарной ваты побегами молодого горошка. Фарфор был от Споуда, и его выбрасывали вместе с объедками, чтобы сэкономить время и не нарушить плотного графика подвозящих провизию грузовиков и рейсовых автобусов, которые, не сталкиваясь между собой, прибывали и убывали без перерыва. Торта было более чем достаточно для трех тысяч пятисот гостей, и оставшиеся восемьсот фунтов нарезались на блоки и скоростными рейсами отправлялись в приюты для эвакуированных нечестивцев, чтобы они наполнили свою утробу, прежде чем взбитый крем и начинка из мороженого растают и сгниют.

Лимузины и грузовики, доставлявшие продукты и вывозившие мусор, использовали лишь половину из четырехсот шестидесяти пяти пронумерованных ворот терминала, и их движение было синхронизировано с расписанием прибытия и отправления автобусов сорока компаний,

число рейсов которых составляло две тысячи в день, а число ежедневных пассажиров достигало двухсот тысяч. Отбывающим пассажирам был предоставлен бесплатный билет как стимул отбыть побыстрее. Прибывающих пассажиров направляли прямо на тротуары, к подземке, такси и местным автобусам, и казалось, что они тоже являются рассчитанными частицами общего движения в хитроумной пантомиме.

Хотя и предполагалось, что президент задержится, чтобы избежать обмена любезностями со всеми остальными тремя тысячами пятьюстами гостями, однако его опоздания на саму брачную церемонию и на начало окончания двух обедов не ожидалось. Не подготовившись и не отрепетировав это действо, Нудлс Кук неохотно играл роль шафера, он также принял невесту от Кристофера Максона и передал ее М2. Он сделал все это, но вид у него был совсем не президентский.

Йоссарян в диспетчерском центре связи вполне отчетливо видел, как он во фраке собственной персоной наблюдает за Нудлсом Куком, который, нервничая все больше и больше, поглядывает на него за его столиком, а потом на свои часы. У Йоссаряна в обоих местах одновременно в разный час и в разный день тоже голова шла кругом от

удивления. В обеих точках он слышал, как первая леди жалуется Нудлсу Куку на трудности, которые она испытывает, пытаясь узнать о том, что на уме у президента. Наконец, он понял Нудлса Кука и в одиночестве поднялся со своего места.

В главном билетном зале Южного крыла находилось произведение прославленного скульптора Джорджа Сегала; это творение состояло из трех фигур, имевших высоту в три человеческих роста, и символизировало автобусных пассажиров — двух мужчин и одну женщину, направлявшихся к дверному проему. Йоссарян знал, что под покровом ночи три фигуры были заменены тремя вооруженными агентами секретной службы, известными своей выносливостью и хладнокровной выдержкой и призванными изображать собою увезенные статуи. При них были спрятанные воки-токи, и они целый день простояли недвижно, слушая информацию из Вашингтона относительно местонахождения и предполагаемого времени прибытия самого почетного гостя.

Йоссарян притормозил около одного из них, изображающих статую, и спросил sotto voce:[108]

---

[108] Примечания: 108
Приглушенным голосом (*итал.*).

— Где он, хер его побери?

— С какого хера мне знать? — ответил агент, едва двигая губами. — Спросите у нее.

— Этот хер моржовый не выйдет из своего кабинета, — сказала женщина, совершенно не двигая губами.

Информации, объясняющей задержку, не было.

А празднество тем временем продолжалось. Координация многочисленных перемещений оборудования и провизии, а также подразделений персонала была задачей, требующей не меньшей точности, чем военное вторжение в зону Персидского залива, при этом уровень допустимой ошибки здесь был ниже. Опытные вашингтонские специалисты по тыловому планированию были откомандированы для совместной работы с Макбрайдом и администраторами из Комитета по планированию фирмы Милоу Миндербиндера по поставке провизии и обслуживанию торжеств.

Стратегия была спланирована в штабе фирмы и реализовывалась в ее кухнях и цехах, а также в просторных ресторанах музея искусств Метрополитен и в многочисленных близлежащих продовольственных магазинах со складскими

помещениями и обрабатывающим оборудованием, привлеченным для такого крайнего случая. Поскольку создатели здания АВАП не предвидели будущего развития бизнеса по обслуживанию торжеств и поставке провизии, они не предусмотрели кухонь, что обусловило необходимость заключения союзнических отношений с находящимися поблизости многочисленными учреждениями общественного питания.

В день торжественного события главные поставщики провизии начнут, как это видел Йоссарян, и в самом деле начали, как это тоже видел Йоссарян, прибывать на автовокзал задолго до восхода солнца, и внутренние помещения всех этажей, которые предполагалось использовать, были заняты вооруженными людьми в штатском и закрыты для пассажиров.

В семь ноль-ноль тысяча пятьсот рабочих расположились на предназначенных для них местах и приступили к действию.

В восемь ноль-ноль в помещении фирмы Милоу Миндербиндера по поставке провизии и обслуживанию торжеств была запущена сооруженная специалистами инженерных войск сборочная линия по производству канапе и других малых сандвичей, а также по нарезке копченого лосо-

ся и подравниванию ломтиков. Работа эта не прекращалась, пока не были приготовлены и отгружены четыреста восемьдесят тысяч этих чайных сандвичей.

В восемь пятнадцать первоначальные ударные группы в обеих точках были усилены шестью-десятью поварами, семьюдесятью электриками, тремястами флористами и четырьмястами официантами и барменами.

В восемь тридцать команды начали чистить пятьдесят бушелей устриц и пятьдесят бушелей клемов, варить двести фунтов креветок и готовить пятьдесят пять галлонов приправы.

В девять ноль-ноль на автовокзал начали прибывать столы, стулья и прочие предметы мебели, а электрики и сантехники приступили к осуществлению необходимого и значительного объема работ, тогда как в фирме Милоу и музее искусств Метрополитен шинковщики налегали на овощи для салатов, с рекордной скоростью нарезая тысячу связок сельдерея, тысячу пятьсот фунтов морковки, тысячу один кочан цветной капусты, сто фунтов цуккини и двести фунтов красного перца.

В десять ноль-ноль над всеми проходами к пандусам автовокзала, над всеми дверьми со

всех сторон и над всеми главными входами торжественно всплыли все сто пятнадцать тысяч воздушных шариков с надписью НОВОБРАЧНЫЕ.

В полдень электрики закончили развешивать специальные люстры.

В тринадцать ноль-ноль были доставлены и ненавязчиво установлены в заранее определенных местах переносные туалеты. Всего этих переносных туалетов — выкрашенных в самые модные цвета сезона — было более трех с половиной тысяч, больше чем по одному на каждого гостя; туалеты устанавливались за ложными витринами шляпных бутиков — для дам, и галантерейных бутиков — для мужчин, и гости с уважительным восторгом людей, понимающих толк в подобных делах, отмечали, что ни один из них не касался туалета, который ранее был использован по назначению кем-нибудь другим. Стивидоры, водители и инженеры-сантехники мгновенно и невидимо — через задние двери — уносили бывшие в пользовании туалеты на машины, доставлявшие их на баржи, поджидающие на Гудзоне; с отливом баржи ушли в океан и там втихомолку сбросили свой груз, что открылось только день или два спустя; эти предусмотрительно закупленные индивидуальные унитазы стали

еще одним гвоздем программы этой светской вакханалии, и многие гости украдкой возвращались туда еще раз просто ради новизны ощущений, как ради забавы возвращаются на какой-нибудь аттракцион в стерильном Луна-парке. «Почему никто не додумался до этого раньше?» — этот вопрос можно было услышать повсюду.

В четырнадцать сорок пять плюс десять секунд, в точном соответствие с заказом были доставлены пять тонн льда, а когда часы пробили пятнадцать ноль-ноль, двести официантов, а потом еще двести, когда первые прошли на свои места и освободили дорогу, а потом еще двести, когда предыдущие прошли внутрь и рассосались, начали накрывать столы, а тем временем остальные шесть сотен, которых держали в резерве, охлаждали белое вино, воду и шампанское и оборудовали пункты снабжения для ста двадцати баров на главном и втором этажах, а также и на просторном третьем этаже, где на ночное время были запрограммированы громкая музыка и дикие танцы.

В шестнадцать музыканты начали устраиваться на своих эстрадах в танцевальных залах.

К семнадцати часам было установлено и надежно закреплено пятьдесят десертных буфетов,

и свои позиции на обзорных точках автовокзала заняли еще тысяча двести или больше секретных агентов муниципалитета, федерального правительства и Подразделения коммерческих убийств «М и М». На улице находились грузовики с дежурными отрядами национальной гвардии на случай беспорядков, причиной которых могли стать протестующие группы и которые могли бы диссонировать с праздничным настроением торжества.

После подъема, спуска и нарезания свадебного торта снова последовали танцы и поздравления. Во время нескольких заключительных сцен все перемешались в Большом зале музея искусств Метрополитен, куда нанесли еще множество столов со сладостями из сахарной ваты.

Там, прежде чем все гости разделились на меньшие, более интимные, почти заговорщицкие группки, был предложен ряд тостов за Миндербиндеров и Максонов и было произнесено несколько коротких речей. «Жадность — вещь хорошая», — заявил один делец с Уолл-стрита, занимавшийся рискованными биржевыми операциями. «В расточительстве нет ничего плохого», — хвастливо сообщил другой. «Пока есть, что расточать, почему бы и не покрасоваться?

Ничего безвкусного в плохом вкусе нет», — прокричал еще один, и его остроумие было встречено аплодисментами.

«Это событие принадлежит к числу тех, — заявил представитель бездомных, — которые наполняют гордостью за то, что ты бездомен в Нью-Йорке».

Но он оказался самозванцем — представителем одной рекламной фирмы.

О формальном окончании празднества возвестило сентиментальное повторение «Искупления любовью», которое прозвучало в исполнении всех пяти оркестров, скрипачки с четырьмя ее двойниками и в оркестровой записи, и тогда многие из присутствующих, бесстыдно сцепив руки, принялись шумно напевать эту мелодию, словно исполняя без слов новейший эрзац старинной «Как давно это было» или другого бессмертного фаворита «До новой встречи».

Для тех шалопаев и сорвиголов, которые решили задержаться и побродить по коридорам второго этажа, или провести ночь за танцами, или предаться каким-либо другим прелестным развлечениям, предоставляемым автобусным вокзалом, был предусмотрен третий обед, подававшийся в каждом из дополнительных пунктов

обслуживания, остававшихся открытыми всю ночь; как это явствовало из текста на экранах, оставшихся гостей ожидало:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕНЮ
Fricasse de Fruits de Mer
Les trois Rôti Primeurs
Tarte aux Pomme de Terre
Salade á Bleu de Bresse Gratinée
Friandises et Desserts
Espresso.[109]

Йоссарян, не успевший прийти в себя после чтения дополнительного меню, вздрогнул еще раз, увидев, как, стоя в своем фраке между Милоу Миндербиндером и Кристофером Максоном, говорит в камеры сетевого телевидения: «Эта свадьба была кульминационной точкой целой эпохи. Не думаю, что кто-нибудь из нас доживет до другого такого события».

«Вот дерьмо собачье», — сказал Йоссарян во

[109] Примечания: 109
Фрикассе из даров моря.
Три варианта жаркого из ранних овощей.
Картофельная запеканка.
Салат с сыром «обле-бресси» на поджаренном хлебе.
Лакомства и десерты.
Кофе-эспресс (*франц.*).

плоти, надеясь, что его лаконичная ирония будет замечена.

Не было ни малейшего сомнения в том, что в этот вечер Миндербиндеры и Максоны способствовали выдвижению автобусного вокзала Администрации порта в число ведущих залов для проведения торжеств на период до окончания старого и начала нового века. Всем уходящим вручалась красочная брошюра, изданная АВАП совместно с музеем искусств Метрополитен, с которым у АВАП было теперь так много общих интересов. Всего за тридцать шесть тысяч долларов любой желающий мог зарезервировать место для проведения торжества в любом из двух заведений.

Предполагалось, что большинство гостей покинет торжество в час ноль-ноль. Так оно и произошло, и один миллион сто двадцать две тысячи бокалов для шампанского были быстро розданы в качестве сувениров и выходных призов. Более молодые и энергичные остались на автовокзале побродить, поесть и потанцевать до упаду на верхних этажах под записанную музыку, которую обеспечивал бодрствовавший всю ночь диск-жокей. Те, кто никак не мог заставить себя уйти, отправились спать на прочных, чистых

лежаках в отдельных кабинках, установленных в залах продажи билетов, или улеглись на одной из пожарных лестниц, где на площадках и ступенях были разложены новые, не бывшие в употреблении матрасы. Когда они проснулись, в соковых барах им был предложен свежий оранж, а в кафетериях — блинчики с яйцом. Лестницы были очищены и тщательно вымыты; в воздухе пахло не дезинфицирующими средствами, а лосьоном после бритья и авторскими духами. Для пожарной лестницы была нанята одноногая женщина с костылем, которая бродила туда-сюда, жалуясь, что ее изнасиловали, но она была второразрядной актрисой с хорошеньким личиком, на которое была наложена фирменная косметика, и стройной ногой в фирменных колготках. Крупная, грациозная черная женщина, всем своим видом напоминавшая мать большого семейства, с родинками, похожими на меланомы, и глубоким контральто напевала спиричуэле.

К четырем тридцати двадцать восемь транспортных компаний Коза Ностры, заключивших через вашингтонскую Коза Лору субподрядные контракты с Подразделением коммерческих убийств «П и П М и М», вывезли остатки мусора, а к шести ноль-ноль, когда появились первые

обычные пассажиры, все в автовокзале уже было как обычно, кроме отсутствия бродяг и бездомных, которых задерживали в принудительной ссылке до тех пор, пока не будет обеспечена гарантия полной безопасности.

— Это было дальновидно, — сказал Гэффни, одобряя краткую речь Йоссаряна.

— Не могу поверить, что это говорил я.

— Вы этого еще не говорили. Итак? — вопросительно добавил Гэффни, пока они смотрели, как на мониторе как-то устало рассасываются толпы еще не успевших собраться в автовокзале людей, бледными отражениями убывающих в те места, откуда они еще не пришли. — Миссис Максон, кажется, довольна.

— А значит, и ее муж будет доволен. Мне нравится вся эта вагнеровская музыка. Но я не могу удержаться от смеха. Вы считаете, что концовка «Götterdämmerung» вполне подходит для данного случая?

— Да. А вы бы предпочли реквием? — В темных глазах Гэффни загорелись искорки.

— Оно снова чернеет, это чертово солнце, — небрежно сказал Хэккер и рассмеялся. — Я, кажется, никак не могу избавиться от этого.

— Оно не может чернеть, — сердито сказан

Йоссарян, у которого Хэккер снова вызвал раздражение. — Если бы почернело солнце, то почернели бы и небеса, и вы бы не смогли его увидеть.

— Да? — молодой человек приглушенно хмыкнул. — Смотрите.

Йоссарян посмотрел и увидел, что на центральных экранах солнце и в самом деле почернело на небе, которое оставалось голубым, луна снова стала красной, а в гавани и примыкающих бассейнах все суда — буксиры, баржи, танкеры, сухогрузы, коммерческие рыболовные траулеры и самые разнообразные прогулочные катера — снова оказались перевернутыми.

— Это глюк, — сказал Хэккер. — Мы называем это глюком. Придется мне над этим поработать.

— Я видел еще один глюк, — сказал Йоссарян.

— Вы имеете в виду президента?

— Он так и не появился, да? Я его не видел.

— Мы никак не можем вытащить его из кабинета. Вот, посмотрите сами. — Йоссарян узнал помещение перед Овальным кабинетом в Вашингтоне. — Он должен выйти оттуда, потом его должны везти в АЗОСПВВ, где он должен сесть на суперпоезд. А вместо этого он все время выходит в другую дверь. Он идет в игровую комнату.

— Вам нужно перепрограммировать вашу модель.

Хэккер снова приглушенно хмыкнул в напускном отчаянии и предоставил возможность отвечать Гэффни.

— Мы не можем перепрограммировать модель, Йо-Йо. Это же модель. Вам придется тогда перепрограммировать президентство.

— Мне?

— Он сейчас как раз там, — сказал Хэккер. — Что у него такое в этой игровой комнате?

— Спросите у Йоссаряна, — сказал Гэффни. — Он там был.

— У него там видеоигра, — сказал Йоссарян. — Она называется «Триаж».

КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ

33
АНТРАКТ

Милоу быстро утратил интерес к происходящему, исчез куда-то по делам и был уже за пределами автовокзала — а не под его надежной крышей вместе с Йоссаряном, — когда раздался сигнал тревоги.

— Где мистер Миндербиндер? — спросил Макбрайд в тот момент, когда Йоссарян вышел на площадку, где Макбрайд стоял вместе с Гэффни.

— Уехал прикупить еще несколько небоскребов в Рокфеллеровском центре, — ядовито сказал Йоссарян. — Или построить собственный. Он хочет, чтобы все небоскребы принадлежали ему. — Когда они спускались по чугунной лестнице, Йоссарян думал о том, что в один прекрасный день эти жуткие собаки, зашевелившиеся снова, могут в действительности оказаться там; вот это будет сюрпризец к финалу! Макбрайд возбужденно сообщил ему, что они нашли все лифты. Майкл и его подружка Марлин устали ждать и ушли глубоко вниз вместе с Бобом и Раулем. У Макбрайда было и кое-что еще для показа Йосса-

ряну. — И насколько же это глубоко — «глубоко вниз»? — насмешливо спросил Йоссарян.

Макбрайд нервно хихикнул и уклончиво бросил через плечо:

— Семь миль!

— *Семь миль?*

Эти крики удивления забавляли Гэффни.

— Да уж, это лифты что надо, — продолжал Макбрайд. — Скорость подъема — миля в минуту, скорость спуска — сто миль в час.

— И у них и эскалаторы есть, на всю глубину. Говорят, они уходят вниз на сорок две мили!

— Гэффни? — сказал Йоссарян, и Гэффни медленно кивнул. — Гэффни, Милоу расстроен, — шутливо сообщил ему Йоссарян. — Полагаю, вам это известно.

— Милоу всегда расстроен.

— Он боится.

— И чего же он боится сегодня? Контракт свой он получил.

— Он боится, что не получит за свой «Шшшшшшш!» столько, сколько Стрейнджлав получит за свой самолет, потому что запросил слишком мало. А его самолет даже летать не будет.

Так резко остановившись на лестнице, что Йоссарян столкнулся с ним, Гэффни, к полному

недоумению Йоссаряна, уставился на него, утратив весь свой апломб.

— Не будет? Почему вы так думаете?

— А что, будет?

Гэффни вздохнул с облегчением.

— Он летает, Йо-Йо. На мгновение мне показалось, будто вы знаете что-то, неизвестное мне. Он уже летает.

— Это невозможно. Он не будет летать. Они дали мне слово.

— Они нарушают свои слова.

— Они мне обещали.

— Они нарушают свои обещания.

— У меня есть гарантия.

— Она не действительна.

— Она в письменном виде.

— Подшейте ее к своему досье по Закону о свободе информации.

— Не понимаю. Они обошли Стрейнджлава?

Гэффни рассмеялся своим беззвучным смехом.

— Йоссарян, друг мой, они и есть Стрейнджлав. Они, конечно же, перемешались. Исключая различия в именах и компаниях, разве они не одно и то же? У них есть самолеты, находящиеся в воздухе годами.

— Почему вы не сказали об этом раньше?

— Кому? Никто у меня не спрашивал.

— Вы могли бы сказать мне.

— Вы не спрашивали. Мне нередко выгодно утаивать информацию. Иногда знание — это власть. Одни говорят, что совершенное оружие пойдет на пользу моему бизнесу, другие говорят — нет. Поэтому-то я и здесь сегодня. Чтобы выяснить.

— Какому бизнесу?

— Конечно, торговле недвижимостью.

— Торговле недвижимостью! — издевательским тоном сказал Йоссарян.

— Вы никак не хотите мне верить, — с улыбкой ответил Гэффни, — и тем не менее, вы думаете, что хотите знать истину.

— Истина сделает нас свободными, да?

— Нет, не делает, — ответил Гэффни. — И не сделает. И никогда не делала. — Он указал на Макбрайда. — Идемте, Йо-Йо. У него есть еще одна истина, которую он хочет вам показать. Узнаете эту музыку?

Йоссарян был почти уверен, что снова слышит по громкоговорителям леверкюновы пассажи из опуса, который никогда не был написан; он слышал сочную оркестровую аранжировку, исполняемую рубато, легато, вибрато, тремоло, глиссандо и ритардандо, мелодичную обра-

ботку для массового потребления, без всякого предзнаменования ужасной кульминации, без малейшего намека на нее.

— Гэффни, вы не правы насчет Леверкюна. Это из «Апокалипсиса».

— Теперь я это знаю. Я проверил и понял, что ошибался. Не могу вам передать, насколько мне неловко говорить об этом. Но готов поспорить, я знаю, о чем вы собираетесь спросить теперь.

Тем не менее Йоссарян спросил:

— Вы ничего не замечаете?

— Конечно, замечаю, — сказал Гэффни. — Мы здесь не отбрасываем теней, а наши шаги не производят шума. А вы ничего не заметили? — спросил Гэффни, когда они догнали Макбрайда. Он имел в виду не охранника в нише перед лифтом. — А?

Он говорил о Килрое.

Килрой исчез.

Слова на его пластине были стерты.

— Килрой умер, — сообщил Макбрайд. — Я полагал, что должен сообщить вам об этом.

— Я так и думал, — сказал Йоссарян. — Есть много людей моего возраста, которых эта новость расстроит. Вьетнам?

— Нет-нет, — удивленно ответил Макбрайд. —

От рака. От рака простаты, кости, легких и мозга. Ему поставили диагноз — естественная смерть.

— Естественная смерть, — скорбно повторил Йоссарян.

— Могло быть и хуже, — сочувственно сказал Гэффни. — Но, по крайней мере, Йоссарян-то жив.

— Конечно, — с дружеской сердечностью сказал Макбрайд. — Йоссарян все еще жив.

— Йоссарян жив? — повторил Йоссарян.

— Конечно, Йоссарян жив, — сказал Макбрайд. — Может быть, нам вместо старой стоит сделать на стене эту новую надпись.

— Конечно, только надолго ли, — ответил Йоссарян, и тут раздался сигнал тревоги.

Макбрайд непроизвольно вздрогнул.

— Это что еще за чертовщина? — Вид у него был испуганный. — Это похоже на воздушную тревогу.

Гэффни закивал головой.

— Мне тоже так кажется.

— Подождите-ка меня здесь! — Макбрайд уже бежал к охраннику. — Сейчас я выясню.

— Гэффни? — с дрожью в голосе спросил Йоссарян.

— Я тут мало что знаю, — мрачно ответил Гэфф-

ни. — Может быть, это война. Час триаж.

— Давайте-ка выбираться отсюда поскорее к чертям собачьим. Бежим на улицу.

— Не сходите с ума, Йоссарян. Здесь мы в гораздо большей безопасности.

КНИГА ТРИНАДЦАТАЯ

34
ФИНАЛ

Услышав сигнал тревоги и увидев, как замигали цветные лампочки на механизме, президент порадовался за себя — наконец-то он сумел хоть что-то привести в действие; он откинулся к спинке кресла и сидел, излучая самодовольство, пока его не осенило — ведь он не знает, как остановить то, что запустил. Он без всякого результата нажимал одну за другой все кнопки подряд. Он уже был готов позвать на помощь, как помощь сама ворвалась к нему в лице Нудлса Кука, толстяка из Государственного департамента, чье имя ему никак не удавалось запомнить, его худенького помощника по прозвищу Тонкий из Национального совета безопасности и генерала из ВВС, недавно повышенного до председателя объединенного комитета начальников штабов.

— Что случилось? — завопил генерал Бингам; на его лице застыло выражение ужаса, к которому примешивалось недоумение.

— Она работает, — сказал президент, ухмыльнувшись. — Видите? Точно как и эта игра.

— Кто нас атакует?

— Когда это началось?

— Нас что, кто-то атакует? — спросил президент.

— Вы запустили все наши ракеты!

— Вы подняли в воздух все наши самолеты!

— Я? Где?

— Повсюду! Вот этой красной кнопкой, которую вы все время нажимаете.

— Этой? Я не знал.

— *Не трогайте ее больше!*

— Откуда мне было знать? Верните их всех назад. Скажете, что я извиняюсь. Я это не нарочно.

— Мы не можем вернуть ракеты.

— Мы можем вернуть бомбардировщики.

— Мы не можем вернуть бомбардировщики! А что, если они отплатят нам той же монетой? Мы должны сначала стереть их с лица земли.

— Я этого не знал.

— И нам придется еще послать наши бомбардировщики второго удара на тот случай, если они захотят ответить после нашего первого.

— Идемте, сэр. Нам нужно спешить.

— Куда?

— Под землю. В убежища. Триаж — вы что, не помните?

— Конечно, помню. Я в него играл до того, как переключился на эту штуку.

— Черт побери, сэр! Чему это вы улыбаетесь?

— В этом нет ни хера смешного!

— Откуда мне было знать?

— Скорее! Мы принадлежим к той категории, которой нужно выжить.

— А жену я могу взять? И моих детей?

— Ну, тогда и вы останетесь здесь!

Сбившись в кучу, они бросились прочь и забились в ожидающий их цилиндрический спасательный лифт. Толстый, которому поставил подножку С. Портер Лавджой, тоже успевший добежать к лифту в последнюю минуту, ввалился внутрь вместе с вцепившимся ему в спину Лавджоем, похожим на взбесившуюся когтистую обезьяну.

Сняв со своих темных волос разогретые светло-голубые бигуди почти под цвет ее глаз, подкрасив помадой губы и воспользовавшись прочими косметическими средствами, словно собираясь куда-то на вечер — у нее были основания хотеть выглядеть наилучшим образом, — Мелисса Макинтош приняла решение попытаться за ланчем с Джоном Йоссаряном принять то решение, которое считала правильным, и тем самым положить

конец их спору о том, что делать дальше — идти ли ей на назначенный прием к акушеру, чтобы сохранить беременность, или к гинекологу и принять меры, чтобы прервать се. Она и понятия не имела о том, что где-то в мире может происходить что-то ужасное.

Она очень быстро догадалась о его нежелании жениться еще раз. Она угостилась еще одной шоколадной конфеткой из фунтовой коробочки, стоявшей так близко под рукой. Эта коробочка была получена ею в качестве подарка от больного бельгийца и его жены в тот день, когда тот покинул больницу, оставшись живым после почти двухлетнего пребывания там. Зная о своей склонности всеми фибрами души прикипать к людям и желая освободиться от всех других забот, чтобы выпутаться из собственного затруднения, она с облегчением встретила известие о том, что бельгийцы улетают к себе в Европу.

Йоссарян мог привести ей весьма основательные возражения против того, чтобы ему обзаводиться еще одним ребенком.

Они не производили на нее никакого впечатления. Аргументировать он умел лучше и быстрее ее, а поэтому, по ее разумению, и хитрее. Себе и своей подружке, Анджеле, она признавалась, что

не всегда может ясно мыслить и не каждый раз, заглядывая в будущее, оказывается абсолютно правой.

Однако она ни в коей мере не считала это слабостью.

У нее было кое-что, чего не было у Йоссаряна — уверенность, вера в то, в конечном счете для хороших людей, вроде нее, все должно кончаться хорошо. Теперь, после инсульта у Питера, даже Анджела, устав от порнографии и работы, начав толстеть и волноваться из-за СПИДа, принялась с грустью говорить о возвращении в Австралию, где у нее все еще оставались друзья и семья, а в приюте для престарелых — любимая тетушка, которую она надеялась посещать. Если уж сама Анджела начала думать о презервативах, то значит, и она в скором времени оставит секс и выйдет замуж.

Йоссарян все напирал на свои годы и почти провел ее еще раз — она поздравила себя с тем, что не уступила ему — всего два дня назад.

— Я ничего такого не боюсь, — решительно сообщила она ему, выпрямив спину. — Если что случится, мы сможем прожить и без тебя.

— Нет-нет, — почти со злобой поправил он ее. — Представь, что первой умрешь *ты*!

Она не пожелала развивать эту тему. Мысль о малютке-дочери, оставшейся в этом мире с одним только отцом, которому перевалило за семьдесят, была клубком слишком запутанным и распутывать его у нее не было никакого желания.

Она знала, что права.

Она не сомневалась, что финансовая помощь Йоссаряна будет вполне достаточной даже в том случае, если она против его воли сделает то, что считает нужным, и они больше не будут жить вместе. В глубине души она знала, что уж в этом-то на него можно положиться. Конечно, теперь он реже, чем на первых этапах их отношений, испытывал приступы безумной страсти. Он больше не дразнил ее предложениями отправиться вместе в магазин за нижним бельем, а в Париж, или Флоренцию, или Мюнхен за подобными покупками он ее так и не свозил. Теперь он посылал ей розы только на день рождения. Но и она стала менее темпераментной, с раскаянием и предчувствием дурного подумала она, и время от времени ей приходилось рассудочно напоминать себе о том, что для чувственных радостей, каковые вначале были для них обычны, ей следует быть более сладострастной в любви. Когда Анджела спросила ее, она призналась, что он, кажется, больше ее

не ревнует и не проявляет интереса к ее сексуальному прошлому. Он даже в кино ее больше почти не приглашал. Он уже без всякой злобы и почти без досады сказал ей, что у него никогда не было женщины, которая после продолжительной любовной связи с ним желала бы любовных ласк с такой же частотой, что и он; это, по его словам, относилось и к нынешнему периоду его жизни. Она порылась в своей памяти, пытаясь разобраться, распространялось ли это на других мужчин, с которыми она была в дружеских отношениях. Но что касалось этого вопроса, то и он теперь не усердствовал как прежде, чтобы доставить ей наслаждение, и его мало беспокоило, если он видел, что попытки, предпринятые им в этом направлении, не приносят никакого результата.

Она считала, что все это не имеет никакого значения.

Мелисса Макинтош знала, что права, и не находила ничего плохого в своих желаниях. Она была из тех женщин, которые руководствуются «шестым чувством», как ей нравилось называть свою догматическую интуицию, а ее шестое чувство говорило ей, что если она будет терпеливой, будет твердо стоять на своем и оставаться терпимо гибкой, он в конечном счете, как и всегда,

согласится на любое ее желание. В этом вопросе о ее ребенке у него были сильные аргументы. А у нее был один и слабый, но его было вполне достаточно: она хотела родить этого ребенка.

Мысль о том, что Йоссарян может даже и не появиться в ресторане, где она собиралась продолжить этот разговор, не приходила ей в голову до того момента, когда она, перед тем как уйти, окинула взглядом свою маленькую квартирку. Но она, вместо того, чтобы задуматься о том, что может крыться за такой необязательностью, тряхнула головой и прогнана эту мысль, приводившую ее в безотчетный ужас.

Она надела туфли на высоком каблуке, чтобы выглядеть получше, и быстро вышла, соблазнительно зацокав каблучками.

На улице, недалеко от угла, куда она направлялась, чтобы взять такси, она, как и предполагала, увидела ремонтные грузовики компании «Эдисон Консолидейтид»; рабочие вгрызались своим инструментом в асфальт, чтобы ликвидировать аварию или сделать какие-нибудь усовершенствования. Они всегда были там, эти рабочие из электрической компании, ей казалось, что чуть ли не с начала времен; она торопливо прошла мимо, цокая своими высокими каблучками. Она

была занята мыслями о предстоящем трудном разговоре и почти не обратила внимания на то, что небо было темнее, чем обычно в это время дня.

Проведя так много времени в больнице, пациент-бельгиец, наконец, выписался и теперь летел назад в Брюссель и на свою административную должность в Европейском Экономическом Сообществе. Он с юмором говорил о себе как о «пациенте Европы». Чувствовал он себя неплохо, обладал кипучей энергией, хотя и похудел и в значительной мере утратил былую силу, потеряв одну голосовую связку, легкое и почку. Врачи рекомендовали ему отказаться от алкоголя, и он, покинув больницу, в течение двух недель амбулаторного наблюдения ограничивался вином и пивом. Он, удовлетворенно посапывая, вдыхал сигаретный дым через небольшое отверстие в шее, которому не позволяла зарастать пластиковая имплантированная трубочка, предназначенная для отсасывания и интубации, а когда у него возникало желание повалять дурака, он через это отверстие мог и говорить. Курить ему запретили, но он решил, что такое курение не в счет. Его шаловливая, веселая жена, радуясь тому, что он вернулся к ней живым, тоже курила

для него. Она умело складывала губы трубочкой и, затянувшись своей сигаретой, игриво посылала тонкие струйки дыма точно в хирургическое отверстие с его пластиковым цилиндриком и съемным колпачком. Более того, если они находились у себя, они обнимались, целовались, щекотали друг друга и пытались заниматься любовью. К их радости и удивлению, им это удавалось гораздо чаще, чем они рассчитывали совсем незадолго до этого. Теперь он обычно прятал от постороннего взгляда свою катетерную вставку, надевая рубашку с высоким воротником и завязывая большой узел на галстуке или нося аскотский галстук, шарф или живописный шейный платок. Он обнаружил в себе слабость к тканям в горошек. Этот пациент Европы только свою жену посвятил в еще одну тайну: он был абсолютно убежден, что никакие меры, предпринимаемые им, его коллегами или какими-либо организациями экспертов, не окажут сколько-нибудь длительного положительного воздействия на экономическую судьбу его континента или Западного мира. Человек почти не мог влиять на события, происходящие с человечеством. История пойдет своим путем, независимым от людей, которые ее делают.

Покидая больницу, эта парочка устроила маленькое торжество в его палате и подарила всем сестрам-сиделкам и другим работникам больницы по бутылке шампанского, по фунтовой коробочке шоколадных конфет «Смешной фермер» и по пачке сигарет. Они бы и деньги им дали, каждому по сто долларов, но администрация больницы возражала против денежных даров своим сотрудникам.

Пациент-бельгиец и его жена обычно покупали себе билеты первого класса, но каждый раз часть пути предпочитали проводить в креслах второго, где, сидя рядом, они могли курить и, прижавшись плечо к плечу и бедро к бедру, предаваться под покровом одеял сомнительным шалостям, игриво лаская гениталии партнера и доводя друг друга до оргазма.

Возвращаясь над Атлантикой на этот раз, они самодовольно расположились в своих креслах первого класса и смотрели кино, комедию, в тот момент, когда была объявлена тревога, о которой они не знали. Оба они не придали никакого значения многочисленным вихревым облачкам, которые на их глазах стали раскручиваться следом за невидимыми телами, летящими быстрее их самолета; они стали появляться на небе выше

и ниже их после того, как экран почернел, лампы в салоне засверкали неистовым светом, а шторы на иллюминаторах были подняты. Направляясь на восток, навстречу ночи, они ничуть не взволновались, увидев, как чернеют небеса. Солнце за ними сделалось серым, как свинец. Одновременно с выходом из строя видеомагнитофона что-то, вероятно, случилось и с внутренней системой громкой связи. В наушниках не было слышно музыки и никаких других развлекательных звуков. Когда в передней части салона появилась стюардесса с микрофоном в руках и попыталась оправдаться за временные неудобства, ее слова не дошли по назначению. Когда пассажиры в шутливом напускном раздражении жестами призвали к себе других обслуживающих салон членов экипажа и те склонились над ними, чтобы выслушать их вопросы, голоса пассажиров не произвели ни единого звука.

Деннис Тимер тревоги не услышал, а кардиналу, которого ранее посвящали в некоторые подробности планов катастрофы, о ней не сообщили. Многим позвонили по телефону, но среди них не оказалось ни этого ученого мужа, ни этого пастыря душ. Поскольку теперь не было ни малейшей возможности защитить граждан

от нападения, никаких общественных укрытий более не предусматривалось, а посеять страх и отчаяние предупреждением, которое может оказаться ложным, если предполагаемый ядерный контрудар так и не будет нанесен, считалось непродуманным политическим шагом.

Когда тревога была объявлена, извещены, собраны в одном месте и допущены вниз были только те немногие привилегированные счастливцы, которых отобрали заранее. Это были люди, обладавшие редкими способностями, которые считались необходимыми для увековечения под землей нашего образа жизни. Они были отысканы и быстро препровождены к замаскированным входам в жаростойкие лифты специальными командами преданных полицейских подразделений АЗОСПВВ, в которые входили как мужчины, так и женщины, до наступления этого момента истины даже и не задумывавшиеся о том, что сами они не входят в число избранных и представляют собой расходуемый материал.

— С вами говорит Гарольд Лавджой, и вы будете счастливы узнать, что я и мои ближайшие коллеги благополучно добрались до места и мы сможем и в дальнейшем предлагать вам наши блестящие связи и советы и нашу высокопарность самого

высокого качества, — сказал разборчивый голос по системе громкоговорящей связи. — Президент опаздывает, и сейчас здесь всем командую я, потому что я знаю больше других. Наши ракеты стартовали, и я гарантирую, что мы успешно достигнем нашей цели, как только определим, в чем состояла наша цель при их запуске. Нам пока не известно, ответят ли нам территории, по которым мы наносим удар. Чтобы уменьшить их возможности, мы теперь подняли в воздух все наши бомбардировщики первого удара. Скоро мы прервем радиомолчание и дадим вам послушать. А пока, уверяю вас, что мы предусмотрели все. Наше сообщество, проявляя жизнестойкость, уже показало себя на высоте, а точнее будет сказать, на глубине сорок две мили, и мы и дальше будем функционировать гладко и демократично, пока все вы будете делать то, что говорю я. С военной точки зрения, мы в безопасности. У нас здесь имеется персонал, необходимый, чтобы уцелеть после ядерного контрудара наверху, если таковой будет нанесен. У нас есть политические лидеры, профессиональные чиновники, врачи, интеллектуалы, инженеры и другие технические специалисты. Что еще нам нужно? Все тайные входы сюда задраены нашими специальными

отрядами АЗОСПВВ. Если у кого-либо из тех, кому повезло оказаться здесь, возникнет чувство неудовлетворенности и он пожелает выйти отсюда, то это ему будет позволено. Это свободная страна. Но никому без специального разрешения не будет позволено войти сюда, и никто из оставшихся в живых не будет допущен к нам, пока я не приму такого решения. Мы в достаточной мере обеспечены всем, что может понадобиться рассудительному человеку, живущему по совести, и время, которое мы можем здесь провести, практически ничем не ограничено, пока вы все будете делать то, что говорю я. У нас здесь есть самые разнообразные рекреационные возможности. Мы продумали все. А теперь — последние новости. Перед вами новый председатель моего объединенного комитета начальников штабов с сообщением о военной ситуации на настоящий момент.

— Соотечественники, — сказал генерал Бернард Бингам. — Откровенно говоря, я не больше вашего знаю о причинах, по которым должна была начаться эта война, но нам всем прекрасно известно, что эти причины были весьма основательны и что наше дело правое, и наша военная операция увенчается полным успехом, как и все

операции, проводившиеся нами ранее. Наши ракетные противоракетные части находятся на боевом дежурстве и, вероятно, достигают невероятного успеха в борьбе с ракетами противника, который, возможно, дождем обрушил на нас удар возмездия. Наше самое сильное место в настоящий момент — это наши тяжелые бомбардировщики. У нас их сотни для нашего первого удара, и мы немедленно собираемся поднять их в воздух в качестве чисто превентивной меры. Вам сейчас будет позволено услышать мой разговор с командующим нашими аэрокосмическими силами. Я включаюсь. Алло, алло. Вызывает Бингам, Бингам, Бингам, Берни Бингам, я говорю из нашего подземного штаба на складе Бен энд Джеррис в Вашингтоне. Ответьте, ответьте, командующий, пожалуйста, ответьте мне.

— Häagen-Dazs.

— Благодарю вас, командующий Уайтхед. Где вы?

— На высоте пятьдесят две тысячи футов в нашем летающем стратегическом командном пункте над географическим центром страны.

— Отлично. Отдайте приказ вашим подразделениям продолжать в том же духе. Время сейчас — критический фактор. А потом смените дис-

локацию.

— Мы уже сменили дислокацию, как раз когда я вам докладывал.

— Значит, теперь ваши данные не точны?

— Они были не точны и раньше.

— Отлично. Докладывайте о появлении всех вражеских ракет и самолетов. Мы введем вас в курс дела, когда вы все вернетесь.

— Прекрасно, сэр. Куда мы должны вернуться?

— Гмммммм. Возможно, возвращаться-то вам будет некуда. Кажется, об этом мы не подумали. Вы вполне могли бы приземлиться на уничтоженных вами территориях. Продолжайте, как запланировано.

— Вы уверены, генерал Бингам?

— Абсолютно, командующий Уайтхед.

— Häagen Dazs.

— Бен энд Джеррис. Доктор Стрейнджлав?

— Это было великолепно.

— Вы уверены, доктор Стрейнджлав?

— Абсолютно, генерал Бингам. Мы все предусмотрели. Но сейчас я должен извиниться перед всеми вами, потому что об одной маленькой вещице мы все же забыли. — Он продолжил, намеренно глотая слова в самоуничижительном и шутливом извинении. — Мы не взяли сюда с

собой женщин. О, я могу себе представить, как все вы, мужчины в расцвете сил, хватаетесь за головы и начинаете стонать, изображая напускное страдание. Но вы подумайте о склоках, которые начались бы здесь уже сейчас. Я не уполномочен давать официальные рекомендации, но наш главный врач напоминает мне о том, что воздержание всегда оказывалось превосходной заменой слабого пола. Другими вполне адекватными заменителями женщин являются мастурбация, фелашио и содомия. Мы рекомендуем презервативы, огромные запасы которых вы найдете в ваших аптеках и супермаркетах. Чтобы поддерживать численность населения на необходимом уровне, нам, возможно, придется впустить сюда некоторое количество женщин, если только кто-нибудь из них останется в живых. Что касается священнослужителей, то, кажется, у нас есть некоторое количество от всех наших главных вероисповеданий. Пока мы их не обнаружим, у нас имеется человек, не верящий ни во что, и он готов удовлетворять духовные потребности людей всех вероисповеданий. Что касается исхода, то я прошу вас не беспокоиться. Мы предусмотрели все. После нашего первого удара у нас есть секретные наступательно-оборо-

нительные самолеты, готовые для второго удара, чтобы атаковать и уничтожить все оружие, которое не было уничтожено нашим первым ударом и может быть использовано против нас. Единственное, чего вы должны страшиться, это самого страха. Мы почти абсолютно уверены, что нам почти не о чем беспокоиться благодаря нашим новым старым моделям старого нового бомбардировщика «Стелс», моего собственного «Б-Страшного бомбардировщика Стрейнджлава» и «Шшшшшшш!» Миндербиндера. Газет здесь не будет. Поскольку все сообщения будут даваться официальными источниками, у вас не будет никаких оснований им верить и они будут сведены к минимуму. Häagen Dazs.

— «Шшшшшшш»!? — Йоссарян был ошеломлен.

— Я же вам говорил, что они будут летать.

— Гэффни, что будет дальше?

— Я отрезан от моих источников.

Спуск в лифте на семимильный уровень со скоростью сто миль в час занял почти пять минут. Остальной путь до конечной отметки должен был занять еще минут двадцать, и они решили какую-то часть проехать на эскалаторах.

— Вы умеете угадывать? Где все это кончится?

Ответ у Гэффни был.

— Там же, где и началось. Так говорят физики. Об этом-то я и напишу, если все же сяду за свой роман. Он начинается после обеих историй создания Адама и Евы. Вы знаете, что их две?

— Знаю, — сказал Йоссарян.

— Вы бы удивились, если узнали, скольким людям это не известно. Моя история начинается в конце шестого дня творения.

— И куда движется?

— Назад, — торжественно заявил Гэффни, раскрывая эту задумку для своего романа так, будто тот уже произвел фурор. — Она движется назад, в пятый день, как кинофильм, который крутят в обратном направлении. В начале моей истории Господь превращает Еву в ребро и вставляет его назад в Адама так, как об этом говорится во второй версии. Он просто, словно их и не существовало, стирает Адама и Еву из своего воображения, как об этом говорится в первой. Он просто уходит их, а вместе с ними весь скот и других тварей и гадов ползучих, созданных в тот шестой день. В мой второй день, у него это пятый, назад забираются птицы и рыбы. Потом исчезают солнце и луна, а вместе с ними и другие огни на тверди небесной. Потом со сцены исчезают фруктовые деревья и вся растительность третьего дня, воды

стекаются воедино и суша, называемая землей, исчезает. Это был третий день, а на следующий он уничтожает твердь, которая называлась небесами и была установлена посреди воды. А потом, в первый день, у меня это шестой, исчезает и свет и не остается ничего, чтобы отделить тьму от света, а земля снова становится безвидной и пустой. Мы вернулись в самое начало, когда еще ничего не было. Потом я делаю очень ловкий ход, заимствуя из Нового Завета. Вначале было слово, и слово было Богом, помните? А теперь мы, конечно, забираем и слово, а без слова нет и Бога. Ну, что вы об этом скажете?

Йоссарян ядовито ответил:

— Детям это понравится.

— А фильм из этого получится? Как раз для сериала, ведь там все начинается заново через два или три миллиарда лет и повторяется все в точности до мельчайших деталей.

— Гэффни, я столько ждать не могу. У меня наверху беременная подружка, у которой, если я ей позволю, скоро родится ребенок. Проедем на эскалаторе еще пару миль, что-то я не доверяю этому лифту.

Глядя вниз в направлении движения, Йоссарян вдруг не поверил своим глазам. Он не сразу нашел

очки. Но даже и в очках он не сразу поверил увиденному — тому, что двигалось на него снизу.

Услышав сигнал тревоги, генерал Лесли Р. Гровс, скончавшийся от сердечного заболевания в 1970 году, решил, не щадя жизни, нестись вниз, к раскаленному центру земли, где, насколько ему было известно, жара стояла как в преисподней, но эта жара все же не шла ни в какое сравнение с температурой ядерного взрыва или с той температурой, которую будет выделять капеллан, если и дальше с таким же успехом будет эволюционировать, генерируя ядерную смесь трития с дейтеридом лития, и достигнет критической массы.

— Не бейте его! Не хватайте его! Не касайтесь его! — пролаял он приказ, исполняя долг перед своей страной и проявляя в последний раз доброе отношение к капеллану, который отказался идти с ним и спастись. — Смотрите, чтобы он не перегрелся. Он может взорваться.

Увидев, как улепетывает генерал, все его ученые, техники, инженеры и обслуживающий персонал тоже бросились кто куда, и, если не считать вооруженных солдат на своих боевых постах у всех входов, капеллан остался один.

* * *

Когда поезд дернулся и остановился, капеллан увидел, как сверкающий ледяной каток в Рокфеллеровском центре выпал из его картинки, а окружающие его небоскребы начали раскачиваться на видеоэкране, а потом замерли, неустойчиво накренившись. Как-то раз некоторое время назад капеллан видел здесь Йоссаряна, переходившего улицу рядом с более молодым человеком, который вполне мог быть его сыном; он видел, как они уселись на заднем сиденье длинного жемчужно-серого лимузина, колеса которого, казалось, оставляли за собой кровавые следы, а какая-то зловещая, костлявая личность с зеленым рюкзаком за спиной и с тростью, злобно скосив глаза, следила за ними. Найти Йоссаряна еще раз ему не удалось даже у музея искусств Метрополитен, куда он переключался несколько раз и замирал в ожидании. Ему не пришло в голову поискать Йоссаряна в автобусном вокзале Администрации порта, когда он переключился туда, задумчиво разглядывая комплекс зданий. В первый раз в Нью-Йорк он приехал на автобусе и попал в город, выйдя из автобусного вокзала. Воспоминания об обратных поездках домой, в

Кеношу, теперь болью отзывались в его сердце. Три вечера в неделю он наблюдал, как его жена медленно направляется к вдове, живущей по другую сторону улицы, а потом — как они едут на машине в пресвитерианскую церковь, чтобы провести время за бриджем в компании, состоящей в основном из мужчин и женщин, потерявших спутника жизни; он наблюдал за ней с горечью, потому что больше не был частью ее жизни.

Когда поезд остановился и каток выпал из картинки, он услышал донесшиеся снаружи громкие голоса и шаги и догадался, что что-то случилось. Он ждал, что кто-нибудь придет к нему и скажет, *что* он должен делать дальше. Не прошло и десяти минут, как он остался совсем один. Генерал Гроувс был откровенен.

— Нет, я хочу выйти отсюда, — решил капеллан.

— Там, может быть, идет война.

— Я хочу домой.

— Альберт, да совершите вы хоть один безумный поступок! Неужели вы никогда не совершаете безумных поступков?

— Я уже совершил. Настолько безумный, что вот-вот взорвусь.

— Это тоже неплохая шутка! А я сделаю все, что

смогу, чтобы расчистить вам дорогу. — Вот тогда-то капеллан и услышал, как генерал, прежде чем броситься прочь, прокричал свои последние команды.

Осторожно, нерешительно вышел капеллан из вагона. У него были с собой кой-какие деньги, полученные от генерала, а еще ему вернули его карточку с номером социального страхования. Он покинул поезд последним. Чуть поодаль увидел он ряд показавшихся ему новехонькими эскалаторов. Он был совершенно один, если не считать охранников в красных полевых мундирах, зеленых брюках и коричневых ботинках. Охранники с оружием в руках расположились у всех входов и в начале и конце эскалатора, работающего на спуск. Путь наверх был для него открыт. Никто его не задерживал.

— У вас могут быть затруднения, если вы захотите вернуться, сэр.

Ступив на эскалатор, капеллан сразу же стал сам подниматься по движущимся ступеням, потому что хотел как можно быстрее попасть туда, куда собирался. Переходя со ступеньки на ступеньку, он увеличивал скорость подъема. Добравшись до верха, он, следуя стрелке, направился к цилиндрическому лифту с прозрачными

стенками; когда он нажал верхнюю кнопку, лифт начал подниматься с такой скоростью, что у капеллана сразу же перехватило дыхание, а все нутро ушло вниз. Сквозь прозрачные вертикальные стенки он увидел площадку для гольфа, а потом парк аттракционов с русскими горками и чертовым колесом; на обслуживающем персонале были пиджаки того же красного цвета, что и на солдатах специальных подразделений. Он миновал шоссейную дорогу, по которой двигались военные грузовики и легковые машины с гражданскими. Он миновал железнодорожное полотно с мобильными ракетами и еще одно с вагонами-рефрижераторами, на которых было написано ВИСКОНСИНСКИЙ СЫР и МОРОЖЕНОЕ БЕН ЭНД ДЖЕРРИС. Когда лифт минут через двадцать остановился, капеллан увидел еще пару новехоньких эскалаторов. Там, куда вывез его один из них, он сел в еще один лифт и опять нажал верхнюю кнопку. Потом он снова поднимался на эскалаторе. Он чувствовал, что позади остались многие мили пути. Он совсем не устал. Гладя все время вверх, он вдруг, не веря своим глазам, столкнулся взглядом с Йоссаряном, который по другому эскалатору быстро двигался вниз; они уставились друг на друга во взаимном

узнавании.

— Что вы здесь делаете? — воскликнули оба.

— Я? Что здесь делаете *вы*? — ответили оба.

Они разъехались и стали удаляться друг от друга.

— Капеллан, не выходите отсюда! — закричал Йоссарян, обернувшись и приставив ко рту сложенные трубочкой ладони. — Там опасно. Война. Спускайтесь вниз!

— Идите вы в жопу! — крикнул капеллан, недоумевая, откуда вдруг у него взялись эти слова.

Когда эти слова сорвались с его губ, он вдруг почувствовал, что им внезапно овладел дух свободы, который показался ему фанатичным. Поднявшись в последнем лифте, он обнаружил, что стоит лицом к проезду, заполненному транспортом и спешащими пешеходами; увидел он и крутую лестницу из кованого чугуна, уходящую вверх короткими пролетами, которые переходили в закругляющиеся площадки; заканчивалась лестница платформой перед выходом с массивной металлической дверью. Поднимаясь по этой лестнице, он никак не прореагировал на взрыв безумного собачьего лая у себя за спиной. Наверху находился охранник. На двери были написаны слова:

ЗАПАСНЫЙ ВХОД
ВХОД ЗАПРЕЩЕН
В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ ЭТА ДВЕРЬ
ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАКРЫТА И ЗАПЕРТА НА ЗАСОВ

Охранник не сделал ни малейшей попытки остановить его. Даже напротив, он услужливо вытащил задвижку, сдвинул засов и распахнул дверь. На посту с другой стороны стояло еще два охранника. Эти тоже не препятствовали ему. Он обнаружил, что проходит сквозь металлический шкафчик в какое-то маленькое помещение, вроде служебного, а оттуда — в коридор под лестницей, уходящей над его головой вверх, а потом он увидел выходную дверь, ведущую на улицу. Сердце у него екнуло. Сейчас он увидит свет, сказал он себе, и поспешил навстречу темному дню, минуя в углу маленькую кучку дерьма, на которую бросил лишь беглый взгляд.

Он был у автобусного вокзала, на нижнем уровне боковой улицы, откуда отправлялись автобусы. Один из них, с уже работающим двигателем, был готов отправиться в Кеношу, штат Висконсин. Он оказался одним из трех пассажиров. Удобно устроившись на своем месте, он

высморкался, откашлялся, прочищая горло, и с облегчением тяжело вздохнул. Каждый раз, когда автобус останавливался, чтобы пассажиры могли перекусить, он настойчиво звонил домой, пока, наконец, жена не ответила ему. Посадочная платформа находилась под широким навесом, и капеллан ничуть не удивился сумеречному свету. Но когда они миновали туннель и оказались на шоссе, выяснилось, что и под открытым небом ничуть не светлее. Без особого любопытства он посмотрел сквозь стекло вверх, на солнце, и увидел, что и само солнце пепельно-серо и заключено в черный круг. В пасмурную погоду в Висконсине он несколько раз видел такое солнце за массой облаков. Он не заметил, что сегодня облаков нет.

На заседании редакции «Нью-Йорк Таймс» — на этих ежедневных заседаниях определяли верстку первой страницы предстоящего выпуска — было решено предсказать неожиданное солнечное затмение, что вынудит телевизионных ведущих принять решение сообщить о нем.

Фрэнсис Бич, посвятившая себя в первую очередь заботам о больном муже, давно уже перестала обращать внимание на то, что там решает

«Нью-Йорк Таймс» или любая другая газета, если только речь не шла о модах. На закате своих лет она ничуть не удивилась, обнаружив, что снова безумно влюблена в Йоссаряна. Подняв глаза от книги и сняв очки, она благодушно, с горькой улыбкой сожаления заключила, что их прежнему роману не хватало борьбы и драматизма. Ни один из них по-настоящему не испытывал потребности друг в друге. Беда их отношений была в том, что не было у них никогда никакой беды.

Клер Рабиновиц испытывала непримиримую антипатию ко всем своим попутчикам по рейсу компании «Эл Ал», которым она летела в Израиль, чтобы собственными глазами увидеть летний домик на побережье, неподалеку от Тель-Авива; она уже сделала первый взнос с условием, что ей будет предоставлена возможность выбора. В салоне первого класса или в зале ожидания у выхода на посадку, где, убивая время, она прогуливалась из агрессивного любопытства, она почти никого не встретила. В самолете не было ни одного мужчины, хоть какого угодно возраста, путешествующего с семьей или в одиночестве, который мог хотя бы приблизиться к тому стандарту, который она с гордостью установила для себя. Здесь не было ни одного, кому бы ее Лю

не мог дать сто очков вперед. Сэмми Зингер, который теперь был в Калифорнии или на пути в Австралию или на Гавайи, предостерегал ее, что это может случиться, и она выслушала его предупреждение как комплимент. Когда она с кем-нибудь — с детьми или с Сэмми — говорила о Лю, она никогда не говорила о нем как о своем Лю. Но когда она думала о нем, он по-прежнему оставался ее Лю. Она медленно пересиливала свое нежелание признать, что воссоздать прошлое будет уже невозможно. Она приняла, как само собой разумеющееся, что все остальные на этом рейсе тоже были, как и она, евреями, даже те, кто выглядел по-американски и казался атеистом.

Когда они на восходе солнца пересекали Средиземное море, ничто не предвещало какой-либо новой катастрофы. В сводке новостей промелькнуло сообщение о том, что где-то там, внизу, нефтяной танкер столкнулся с крейсером. Она была не в настроении, и ее ничуть не волновало, что это может быть заметно по выражению ее лица. Еще одна причина ее тайных разочарований крылась в том, что пока она не испытывала того чувства, на которое рассчитывала: направляясь в Израиль, она не чувствовала, что едет домой.

Вскоре после того как зазвучал сигнал трево-

ги, мистер Джордж К. Тилью почувствовал, как затрясся его мир. Он увидел, как в его Стиплчез-парке остановилась отключенная от электросети карусель «Эльдорадо»; ее изящные вращающиеся платформы с сидящим тут же императором замерли. Он с удивлением обнаружил, что исчезли и два его пилота времен Второй мировой войны, словно их кто-то отозвал. Его знакомец по Кони-Айленду, мистер Рабинович с расстояния смотрел на застывшие механизмы, словно прикидывая, сможет ли он исправить повреждение. Нахмурившись, мистер Тилью направился к себе в кабинет. Он потер рукавом свой котелок, прежде чем повесить его на крюк. Он почувствовал, как гнев в нем остывает. Депрессия снова вернулась к нему.

Его встреча с высокими властями — с Люцифером, а может быть, и с самим Сатаной, у которых он собирайся потребовать объяснений в связи со странным поведением своего дома, — снова будет отложена. Никаких сомнений в том, что его дом погружается вниз без его на то разрешения и благословения, не оставалось. Точными замерами губительное погружение было обнаружено. Оглядывая теперь из-за шведского бюро свой дом, он увидел, как тот прямо на его глазах резко

пошел вниз. Он еще и понять не успел, что же это происходит, как весь нижний этаж исчез. Его трехэтажный дом стал теперь двухэтажным. Он еще продолжал недоуменно взирать на происходящее, когда сверху, все усиливаясь, начал лавиной сыпаться всякий мусор, а потом стали падать большие комья земли, камни и всевозможные глыбы. С грохотом и скрежетом в его дом врывалось что-то новое, на что он никак не рассчитывал. Он увидел болтающиеся электрические провода. Он увидел разорванные листы железа. Он увидел трубы. Он узнал громоздкое днище с плотным плетением рефрижераторных трубок, закованных в кристаллическую таящую ледяную шубу.

Его подавленное настроение улетучилось.

Он увидел японца в красном пиджаке и на коньках, отчаянно цепляющегося за кромку пола.

Это был каток из Рокфеллеровского центра!

Он не мог сдержать улыбки. Он увидел, как побледнел, задрожат и в панике бросился бежать мистер Рокфеллер. Голый мистер Морган, склонив голову и рыдая, упал на землю и начал молиться. На императоре тоже не было никакой одежды.

Мистер Тилью не мог сдержать смеха. Под

солнцем нет ничего нового? Вот здесь, перед ним происходило нечто новое, он получал урок, который прежде считал абсолютно невозможным. Даже ад был не вечен.

Йоссарян не верил своим ушам. Где капеллан так хорошо научился говорить «Идите вы в жопу!»? К тому времени, когда Йоссарян добрался до низа этого эскалатора, капеллан был уже на его верху и исчез из вида. Гэффни начал говорить Йоссаряну, что им лучше вернуться к лифтам, чтобы спуститься к Макбрайду и другим, но тут снова раздался голос Стрейнджлава, заявлявший, что им нечего опасаться, кроме нехватки портных.

— Мы забыли кое-что еще, и у некоторых из нас в штабе весьма помятый вид. У нас есть утюги, но нет никого, кто знает, как ими пользоваться. У нас есть материя, нитки и швейные машинки. Но нам нужен кто-нибудь, кто умеет шить. Кто-нибудь меня слышит? Если вы умеете шить, отзовитесь.

— Häagen Dazs. Я умею стирать и гладить. Мой офицер-оружейник — сын портного.

— Немедленно направляйтесь сюда к нам.

— Слушаюсь, сэр. Как мы можем до вас добраться?

— Об этом мы тоже недодумали!

— Гэффни, — сказал Йоссарян, когда им оставалось еще десять миль до самого низа. — Сколько мы здесь пробудем?

— Все мое будущее может лежать здесь, — ответил Гэффни. — Когда мы спустимся до конца, я покажу вам кое-что. Это на озере под Вермонтом на полутора акрах неподалеку от подземной площадки для гольфа и хорошей лыжной трассы на территории Бен энд Джерри, если вы собираетесь покупать.

— Сейчас? Вы полагаете, что я собираюсь покупать сейчас?

— Человек всегда должен заглядывать в будущее, говорит добрый сеньор Гэффни. Это домик на берегу, Йо-Йо. Через пару месяцев вы сможете утроить ваши деньги. Вы должны его увидеть.

— У меня не будет времени. У меня назначена встреча за ланчем.

— Вашу встречу можно отложить.

— Вероятно, я захочу прийти на нее.

— Если это действительно война, то все планы отменяются.

— И свадьба тоже?

— Когда с неба сыплются бомбы? На самом деле теперь, когда эта свадьба записана на пленку, она

нам больше не нужна.

— А сейчас с неба сыплются бомбы?

Гэффни пожал плечами. Спустившись после заключительной поездки в лифте по длинному эскалатору до самого низа, они узнали, что это неизвестно и Макбрайду. Отчаянная парочка секретных агентов, понятия не имевших, чем себя теперь занять, тоже не знала этого.

У Стрейнджлава, чей голос раздался снова, ответ был.

— Нет, никаких бомб над нами пока не обнаружено. Это приводит нас в некоторое недоумение. Но нам, здесь находящимся, нечего опасаться. У единственных военно-воздушных сил в мире есть бомбы, которые могут проникнуть на такую глубину, не взорвавшись раньше, и все эти бомбы принадлежат нам. Мы предусмотрели все, кроме разве что некоторого количества парикмахеров. Пока мы ждем, нанесет ли кто-нибудь по нам ответный удар, нам нужно несколько парикмахеров, даже один нас устроит. Если меня слышит хоть какой-нибудь парикмахер, пусть немедленно отзовется. Мы предусмотрели все. Через две-три недели все наши службы начнут функционировать, если вы будете подчиняться моим правилам. Если кто-нибудь из вас чувству-

ет, что ему будет затруднительно следовать моим инструкциям, то прошу его немедленно последовать этой моей инструкции и покинуть нас сегодня. Сейчас генерал Бингам пошлет все наши «Б-Страшные» и «Шшшшшшш!» для нанесения второго удара, но сначала мы должны получить подтверждение того, что у них на борту нет портных и парикмахеров.

Рауль нахмурился и сказал: «Merde».[110] Долговязый, с копной рыжих волос, веснушчатый Боб выглядел гораздо менее жизнерадостным, чем обычно. У обоих были семьи, о которых они теперь волновались.

Макбрайд тоже волновался.

— Если там, наверху, война, то я не уверен, что хочу остаться здесь.

Майкл же хотел остаться, а Марлин была с ним согласна, и Йоссарян не осуждал его.

Есть потребность в сапожнике, сообщил Стрейнджлав.

— Merde, — сказал Рауль. — Этот тип набит merde.

— Да, мы все предусмотрели, но об этом мы тоже забыли, — продолжал доктор Стрейнджлав

---

[110] Примечания: 110
Дерьмо (*франц.*).

с деланной ухмылкой. — У нас здесь склады забиты этими великолепными ботинками на уровне последних достижений, но рано или поздно их нужно будет чистить и ремонтировать. А кроме этого, мы предусмотрели все. Мы можем жить здесь вечно, если вы будете делать то, что я вам говорю.

Они находились рядом с платформой железнодорожной станции у узкоколейки; Йоссарян был уверен, что ему уже приходилось видеть такие пути прежде. Малые габариты туннелей допускали движение поездов только небольшого размера, и все это по масштабу напоминало аттракцион в Луна-парке.

— Вот идет еще один, — крикнул Макбрайд. — Посмотрим, что он везет на этот раз.

Он подошел поближе, чтобы получше рассмотреть появившийся в поле зрения маленький ярко-красный локомотив, который подавал сигналы, двигаясь с умеренной скоростью. Это был электровоз, но на крыше у него торчала алая труба, украшенная полированной медью. Задвижку гудка, привязанную веревкой к рукоятям управления, открывал ухмыляющийся машинист средних лет, одетый в красный форменный пиджак с круглыми погончиками АЗОСПВВ.

Маленький электровоз катился вперед, таща за собой несколько открытых узких пассажирских вагончиков, в которых по двое в ряд сидели люди. И снова Йоссарян не мог поверить своим глазам. Макбрайд в безумном возбуждении показал на две фигуры, сидящие в переднем ряду первого вагона.

— Эй, я где-то их видел! Кто они такие?

— Фиорелло Х. Лагуардия и Франклин Делано Рузвельт, — ответил Йоссарян, абсолютно ничего не сказавший о двух пожилых парах, которые сидели с его старшим братом на следующих сиденьях.

В следующем вагончике он узнал Джона Ф. Кеннеди с женой, сидевших за бывшим губернатором Техаса тоже с женой, которые в тот день были в одной машине смерти.

А в вагоне за этими бессмертными на скамье в одиночестве восседал Нудлс Кук, у которого был загнанный, потерянный и полумертвый вид; перед ним сидели два правительственных чиновника, которых Йоссарян помнил по выпускам новостей. Один был толстый, другой — тонкий, а бок о бок за ними на последней скамейке третьего из трех вагонов сидели С. Портер Лавджой и Милоу Миндербиндер. Лавджой говорил, считая

что-то на пальцах. Оба были оживлены, а Милоу еще и улыбался.

— Я готов бы был поклясться, — сказал Йоссарян, — что Милоу остался наверху.

Гэффни сложил губы в единственное слово: «Никогда».

Именно в этот момент Йоссарян и решил прийти на назначенную встречу с Мелиссой. Он не хотел оставаться здесь со Стрейнджлавом и всеми остальными. Гэффни был потрясен и решил, что Йоссарян сошел с ума. Такого развития событий он никак не предвидел.

— Нет-нет, Йо-Йо, — Гэффни покачал головой. — Вы не можете выйти отсюда. Сейчас это бессмысленно. Никуда вы не пойдете.

— Гэффни, я ухожу. Вы снова ошибаетесь.

— Но вам все равно далеко не уйти. Долго вы не протянете.

— Посмотрим. Я попробую.

— Будьте осторожны. Там, наверху, опасно.

— Здесь, внизу, опаснее. Идет кто-нибудь со мной?

Макбрайд, словно только того и ждал, выпрыгнул вперед и присоединился к Йоссаряну.

— Без меня вам никогда не найти выхода. — На ухо Йоссаряну он признался: — Я волнуюсь о

Джоан, как она там одна.

Гэффни решил дождаться поступления более полной информации.

— Я сейчас знаю достаточно, чтобы не рисковать.

Майклу тоже не хотелось рисковать, и Йоссарян не стал осуждать его и за это.

У Боба и Рауля было слишком много разведданных, и они не могли рисковать собой, когда в этом не было необходимости, а о своих семьях они с таким же успехом могли беспокоиться и снизу.

Увидев, как Йоссарян уезжает от него на эскалаторе к лифту, чтобы попасть на ланч с беременной подружкой, Майкл, у которого роман отца вызывал одновременно гордость и смущение, равнодушно и хмуро решил, что один из них, а может быть, и оба они умирают.

Йоссарян, беспокойно шагавший вверх по эскалатору, чтобы как можно скорее попасть наверх, вдруг ощутил радостный прилив пробудившегося в нем оптимизма — более свойственного Мелиссе, — и внутренней, глубокой убежденности в том, что ничего дурного с ним не может случиться, что ничего плохого не может случиться с порядочным человеком. Он знал, что это чушь, но в глубине души он также знал, что будет

подвергаться не большей опасности, чем она, что они, все трое — он, Мелисса и маленький, — уцелеют и будут жить благополучно и счастливо до самой старости.

— Häagen Dazs.

— Что это он там сказал? — спросил авиатор Малыш Сэмпсон, расположившийся в задней кабине невидимого и бесшумного досверхзвукового атакующего бомбардировщика.

— Твой отец, случайно, не был сапожником? — ответил пилот Макуотт. — Ты, случайно, не сын парикмахера?

— И шить я тоже не умею.

— Тогда нам придется лететь. Нас ждет еще одно задание.

— Куда?

— Я забыл. Но нас поведет инерция. Наша инерционная система наведения всегда приведет нас на место.

— Макуотт?

— Сэмпсон?

— Сколько лет мы уже вместе? Два? Три?

— Больше похоже на пятьдесят. Сэмпсон, знаешь, о чем я жалею? О том, что мы никогда не говорили толком.

— Ты сам только что сказал «толком».

— Что это там внизу?

— Дай-ка я взгляну на свой радар. — В направлении, почти перпендикулярном их движению, виднелись четыре параллельных инверсионных, словно прочерченных мелом, следа реактивных двигателей. — Это воздушный лайнер, Макуотт. Пассажирский самолет, направляющийся в Австралию.

— Интересно, что бы почувствовали его пассажиры, если бы узнали, что мы здесь, снова летим на задание… Летающие призраки в небесах.

— Макуотт?

— Сэмпсон?

— А мы должны лететь еще раз?

— Наверно, должны, а?

— Правда?

— Ну да.

— Да. Я думаю, должны.

— Как я рад, как я рад, мы попали прямо в ад!

У Сэма Зингера не было никаких иллюзий. В отличие от Йоссаряна, он не питал надежд найти себе какую-нибудь пассию и снова влюбиться. Уступая без сопротивления жестокой необходимости жить одному — необходимости, перед которой он оказался, не имея другого приятного выбора, — он не был выбит из колеи немилости-

вой судьбой. Он обсуждал это будущее с Глендой, которая, несмотря на свое крайне тяжелое состояние, беспокоилась о его будущих одиноких годах больше, чем он сам.

Он встречался с друзьями, стал больше читать, смотрел по телевизору новости. У него был Нью-Йорк. Он ходил на спектакли и в кино, реже — в оперу, непременно включал у себя дома чудесную классическую музыку на одной из коротковолновых радиостанций, почти каждую неделю один-два вечера играл в бридж в компаниях соседей, вроде него; они были похожи друг на друга и уравновешены. Каждый раз, слушая Пятую симфонию Густава Малера, он преисполнялся душевного трепета и удивления. У него была его общественная работа в агентстве по помощи раковым больным. У него было несколько приятельниц. Пил он не больше, чем прежде. Он быстро научился есть дома в одиночестве, покупая блюда на вынос, на ланчи и обеды ходил в близлежащие кофейни и ресторанчики, и трапезы его мало походили на пиршества; сидя один за столиком, он читал книгу, или журнал, или свою дневную газету. Время от времени он играл в пинокль со своими еще оставшимися в живых знакомцами по Кони-Айленду. Он все еще не

находил себе места. Вечерами, если только у него возникало желание, он тут же уходил из дома.

Пока что его кругосветное путешествие доставляло ему огромное удовольствие; огромное удивление вызывало у него овладевшее им чувство благополучия и приступы сильного удовлетворения. Хорошо было снова оказаться вне стен его квартиры. В Атланте и Хьюстоне, посещая своих дочерей с их мужьями и детьми, он, наконец, дошел до той стадии, когда начинал чувствовать пресыщение их компанией еще до того, как они начинали проявлять признаки растущего беспокойства из-за его присутствия. Вероятно, это возраст, извинялся он каждый раз ранним вечером перед уходом. Он останавливался в ближайшем отеле и ни в коем случае не у них. В Лос-Анджелесе он обнаружил, что давняя гармония их отношений с Уинклером и его женой продолжает оставаться такой же безмятежной. Они все трое уставали абсолютно одновременно. У него было несколько хороших встреч с племянником и его семьей, и его просто очаровало раннее развитие и красота детей. Но он должен был признаться себе, что его и всех молодых взрослых, с которыми он встречался, разделяло больше, чем целое поколение.

Покинув Нью-Йорк, он похвалил себя за то, что взял плейер, кассеты и несколько книг серьезного содержания, требовавших прилежного чтения.

На Гавайях днем он загорал и закончил перечитывать «Миддлмарч». Заранее зная, что ему ждать от этой книги, он смог сполна ею насладиться. За два проведенных там вечера он один раз обедал с бывшей женой своего старого приятеля и ее новым мужем и один раз — с женщиной, теперь одинокой, с которой работал когда-то в журнале «Тайм» и с которой была знакома и Гленда. Пригласи она его к себе домой, чтобы он провел с нею ночь, он непременно согласился бы. Но она, кажется, не догадывалась об этом. У Лю или Йоссаряна это получилось бы лучше.

Он с нетерпением ждал двух недель в Австралии со старыми, добрыми друзьями, которых тоже знал по работе в «Тайм». Он, не колеблясь, собирался остановиться в их доме в Сиднее. Один раз он был там вместе с Глендой. Его приятель ходил теперь на металлических костылях. Много времени прошло с тех пор, как они приезжали в Нью-Йорк в последний раз. Каждый день перед завтраком он тридцать или шестьдесят раз — Сэм точно не помнил, сколько — проплывал из конца в конец узенького бассейна под открытым небом,

расположенного на той стороне дома, что выходила к гавани, и еще тридцать или шестьдесят раз вскоре после завтрака, что позволяло ему поддерживать мускулы тела в хорошей форме и передвигаться на костылях и в машине с ручным управлением, в которой он ездил с тех пор, как сорок лет назад болезнь сделала его паралитиком. Начиная с бедер и выше, тело у него, наверно, до сих пор было сильным, как у штангиста. У них было пятеро взрослых детей. Сэму очень хотелось увидеть и их тоже. Один фермерствовал на Тасмании, и они собирались слетать туда на пару дней. У второго было ранчо, третий занимался исследованиями в области генетики в университетской лаборатории в Канберре. У всех пятерых были семьи. Никто не был в разводе.

Сэм покинул Гавайи на австралийском лайнере глубокой ночью и должен был прибыть в Сидней на следующее утро после завтрака. Он почитал, выпил, поел, поспал и проснулся. День занимался серым рассветом, и солнце, казалось, не спешило вставать. Внизу лежала густая масса облаков. Тот свет, что все же появился, не смог пока подняться над низким горизонтом и оставался тусклым. По одну сторону небо было синим, цвета морской волны, а вдалеке на нем низко висела желтая,

похожая на недружелюбные часы луна; по другую сторону небо казалось свинцово-черным, и цвет у него был почти угольный. Высоко над ними он увидел снежные инверсионные следы, которые, направляясь на восток, пересекали курс их самолета в каком-то призрачном боевом порядке и двигались быстрее их; Сэм решил, что это утренние маневры самолетов какой-нибудь военной части. Экипаж в своей кабине впал в некоторое замешательство, когда сначала вышло из строя радио. Но другие навигационные системы работали нормально и причин для тревоги не было. Ранее промелькнули неопределенные сообщения о том, что где-то внизу нефтяной танкер столкнулся с сухогрузом.

Вскоре Сэм Зингер включил свой плейер с записью Пятой симфонии Густава Малера. Слушая эту музыку в очередной раз, он обнаружил и оценил по достоинству и кое-что новое. Эта замечательная симфония все время открывала для него новые свои тайны, и, слушая ее, он каждый раз испытывал наслаждение этой невыразимой красотой, она была величественна и загадочна своей таинственной способностью надолго оставаться в памяти, своей гениальностью, так глубоко затрагивавшей человеческую душу. Он с

нетерпением ждал, когда заключительные ноты последней части завершатся торжествующим финалом, чтобы поставить все с самого начала, и снова отдаться всем этим захватывающим ритмам, которыми наслаждался сейчас. Хотя он и знал свою реакцию и всегда готовил себя, каждый раз предвкушая это чувство, он неизменно погружался в колдовское очарование траурной благозвучной мелодии, так мягко проникающей в настораживающие звуки рожков, открывающих первую часть, такую мелодично траурную и еврейскую. Следующая затем короткая часть в форме адажио была так прекрасна, как только может быть прекрасная мелодичная музыка. В последние годы он ценил в музыке главным образом грустное, предпочитая его героическому. Теперь самым большим страхом, преследовавшим его в квартире, где он обитал в одиночестве, был страх, охватывавший его при мысли о том, что он может там сгнить. Когда он расположился поудобнее, чтобы почитать, не выключая музыку, на коленях у него лежало дешевое издание восьми новелл Томаса Манна. Желтая луна приобрела оранжевый оттенок, а вскоре стала красной, как заходящее солнце.

БЛАГОДАРНОСТИ

Если бы я не решил опубликовать этот роман без вступительного слова, то посвятил бы его своей жене Валери и, как и раньше, своей дочери Эрике и сыну Теду. Я бы распространил это посвящение на супругов Марвина и Эвелин Уинклер, и на Марион Беркман и на ее покойного мужа, Лу, моих друзей с самого детства, к которым я испытываю благодарность не только за их поддержку, помощь и сотрудничество.

Майкл Корда стал моим грозным и идеальным редактором, отзывчивым, критическим, откровенным и чутким.

Одна из глав этого романа, по забавному совпадению это была глава, названная «Данте», была подготовлена и написана, когда я находился на озере Комо, в Италии, будучи гостем исследовательского центра Белладжио при Рокфеллеровском фонде. Удовольствия и удобства там были ни с чем не сравнимы, и мы, Валери и я, благодарны всем за гостеприимство и предоставленные нам возможности, мы благодарны и за те теплые дружеские связи, которые установили

там и сохранили до сего дня.

ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. 5. *Перл-Харбор* — военно-морская база США на Гавайских островах. В декабре 1941 года японская авиация внезапным налетом уничтожила большую часть американского тихоокеанского флота, базировавшегося в Перл-Харборе. На следующий день США объявили войну Японии.

Стр. 6. *День перемирия* — прежнее название Дня ветеранов. Празднуется 11 ноября в честь окончания Первой и Второй мировых войн и в честь участвовавших в этих войнах ветеранов.

День поминовения — празднуется 30 мая в память всех погибших во всех войнах американцев.

Джордж К. Тилью — Джордж Корнелиус Тилью, предприниматель, основатель (в 1897 году) и владелец парка аттракционов «Стиплчез». Следует отметить, что роман Хеллера историчен в том смысле, что его действия развиваются на фоне реальных географических декораций и событий, а за вымышленными героями маячат фигуры реальных исторических персонажей. Например, описываемый ниже пожар в парке аттракционов

действительно имел место в 1907 г., а предприимчивый владелец устроил аттракцион из еще дымящегося пожарища, вывесив у входа объявление: «Вход на пожарище за 10 центов». Списана с жизни и торговая марка Джорджа Тилью — ухмыляющаяся физиономия с частоколом зубов, которую можно было увидеть на многих улицах Кони-Айленда. Реален и кинотеатр «РКО», действовавший на Кони-Айленде в тридцатые годы.

Стр. 8. *Я сочувствовал Йоссаряну…* — В романе «Лавочка закрывается» читатель встречается с постаревшими на пятьдесят лет героями романа «Уловка 22» (в более позднем издании — «Поправка 22»). В настоящем переводе имена героев сохранены в транскрипции первого русского издания. Однако в отношении главного героя, названного в первом и последующих изданиях «Уловки 22» «Йоссариан», сделано исключение: его фамилия теперь имеет вид «Йоссарян», что объясняется следующими соображениями. Поскольку национальность героя в «Уловке 22» была определена как «ассириец», у читателя и, вероятно, у переводчиков странная фамилия вполне увязывалась со странной национальностью. Лишь на страницах романа «Лавочка закрывается» Хеллер сообщает некоторые подробности происхожде-

ния своего героя, в частности, почти в начале называет его «истинную» национальность — «армянин». После такого уточнения национальных корней героя переводчику пришлось придать его фамилии традиционный для русского языка вид армянских фамилий с окончанием на «-ян». Кроме того, частое упоминание в романе «Лавочка закрывается» фамилии и произведений известного американского писателя армянского происхождения Вильяма Сарояна наводит на мысль о том, что фамилия главного героя — анаграмма фамилии Сароян.

Стр. 11. *Манфред фон Рихтхофен* (1892–1918) — известный немецкий летчик, герой первой мировой войны.

Стр. 14. *Густав Ашенбах* — герой новеллы Томаса Манна «Смерть в Венеции». Эта новелла и ее герой будут неоднократно упомянуты на страницах романа Хеллера.

…он обнаружил перед собой пожилого солдата по имени Швейк и человека, который сменил свою семейную фамилию Краутхаймер на Джозеф Кэй, чтобы не казаться чужаком в своей культуре. — Любопытно это указание Хеллера на родство своего героя с героем романа Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка».

Несколько раз на протяжении романа, как и в данном случае, Хеллер делает довольно прозрачный намек на самого себя (Джозеф Кэй). Однако вполне в духе стилистики Хеллера эти самоупоминания намеренно избыточны: и Краутхаймер, и Джозеф Кэй, и Джои Хеллер (который будет назван позднее, см. примечание к стр. 216) — лишь отражения Джозефа Хеллера и, конечно, не равны ему.

Стр. 15. *Перл Бейли* — известная американская певица 50 — 60-х гг.

Стр. 16. *…мужчина шестидесяти восьми лет.* — Йоссаряну во время действия романа «Уловка 22», то есть в 1945 году, двадцать восемь лет. Действие романа «Лавочка закрывается» происходит пятьдесят лет спустя, однако Йоссаряну не семьдесят восемь, как следовало бы ожидать, а всего шестьдесят восемь лет. Можно предложить несколько объяснений такому помолодению героя, но, пожалуй, наилучшим образом это делает сам автор. См. примечание к странице 254.

Стр. 21. *Вашингтон Ирвинг* (1783–1859) — американский писатель и историк.

Стр. 24. *«Медикеар»* — в США федеральная программа страхования больничной помощи и добровольного медицинского страхования для

людей старше 65 лет.

Стр. 25. *…и ничуть не менее любвеобильны.* — Намек на то, что в фамилии Стрейнджлав присутствует слово «любовь» (love).

Стр. 29. *Социальное обеспечение* — пожизненное страхование и пенсионная программа для престарелых, осуществляемые федеральным правительством на средства фондов, образующихся из обязательных отчислений некоторых компаний и групп нанимателей.

Стр. 38. *Герберт Гувер* (1895–1972) — американский государственный деятель. В 1924–1972 гг. — бессменный директор ФБР.

Стр. 38. *Отец Кофлин* — католический священник, получивший широкую известность в 30-е годы за свои проповеди, транслировавшиеся по радио. Эти проповеди подчас носили пронацистский и антисемитский характер.

Стр. 39. *Все пожароопасное было завернуто в асбест…* — Обратим внимание на это упоминание асбеста, признанного впоследствии канцерогеном. Тема болезни века — рака — присутствует во многих произведениях Хеллера.

Стр. 44. *Автобусный вокзал Администрации нью-йоркского порта.* — Администрация нью-йоркского порта была учреждена в 1921 году.

В ведение Администрации вошли аэропорты Нью-Йорка, портовые сооружения, транспортные магистрали, тоннели — все, что связано с любым видом транспорта в радиусе 25 миль от статуи Свободы. В ведении Администрации находится и автобусный вокзал, расположенный на Манхеттене.

Стр. 47. *Нью-Йорк, Большое яблоко, имперский город имперского штата.* — Большое яблоко и имперский город — прозвища города Нью-Йорк, как имперский штат — прозвище штата Нью-Йорк, подчеркивающее особое положение этого штата.

Стр. 50. *На вершине моей волшебной горы…* — среди многочисленных литературных аллюзий романа Хеллера — произведения Томаса Манна, чей роман «Волшебная гора» будет еще не раз упомянут Хеллером.

Стр. 57. *…номер… социального обеспечения* — номер, который присваивается каждому американцу в системе социального обеспечения (см. примеч. к стр. 29).

Йо-Йо — в переводе с английского «болван, тупица».

Стр. 59. *Кеноша* — небольшой портовый город на озере Мичиган в штате Висконсин. В аме-

риканском языке топоним «Кеноша» наряду с некоторыми другими обозначает далекое, провинциальное местечко.

Стр. 67. *Это становится похожим на старину «Стелса».* — «Стелс» — стратегический бомбардировщик на вооружении армии США. «Стелс», благодаря своей форме и использованным в нем материалам, «невидим» для радаров.

Стр. 71. *...в стиле нуво арт деко...* — нуво арт деко — «новый декоративный стиль».

Стр. 79. *...ее зовут Анджела Моркок.* — Йоссарян в свойственном ему стиле играет словами: в варианте «Моркок» эту фамилию можно перевести на русский как «хочу больше», или «хочу глубже».

Стр. 80. *...плебейской наружности с рюкзаком и туристской палкой...* — Йоссаряна преследует не только образ Густава Ашенбаха, но и еще один персонаж из новеллы «Смерть в Венеции»: появляющийся перед взором Ашенбаха на несколько мгновений в дверях часовни рыжеволосый человек с рюкзаком.

Стр. 82. *Социопат* — человек, испытывающий враждебность к обществу.

Стр. 90. *«Пурпурное сердце»* — медаль, которой награждаются за ранение.

Стр. 92. *Дампстеры* — название машин для

вывоза мусора.

Стр. 94. *Любопытный Том* — человек, который испытывает сексуальное удовлетворение, подглядывая за другими. Персонаж английского фольклора. По преданию, владетельный муж леди Годивы наложил тяжкие повинности на жителей Ковентри, пообещав отменить их, если его жена проедет обнаженная через весь город. Любопытный Том подглядывал за леди Годивой и внезапно ослеп.

Стр. 110. *Каллиопа* — старинный клавишный музыкальный инструмент.

Стр. 112. *Теперь к нему регулярно наведываемся Джон Д. Рокфеллер выпросить десятицентовик…* — Широко известно, что Джон Рокфеллер сделал свои миллионы в начале XX века на нефти. Менее известен тот факт, что его филантропическая деятельность включала и раздачу при посещении церкви новеньких десятицентовиков, которые заказывались специально для этой цели.

Стр. 113. *Кони-Айленд, который на самом деле вовсе не был островом…* — Кони-Айленд переводится «заячий остров».

Стр. 116. *ФДР* — Франклин Делано Рузвельт (1882–1945), 32-й президент США (1932–1945).

Стр. 119. *Бюльжская битва* — последняя немецкая наступательная операция во Второй мировой войне на Западном фронте. Наступление немцев началось 16 декабря 1944 года и развивалось на территории Бельгии до января 1945 года.

Стр. 120. *Воннегут из Индианы* — прообраз этого персонажа — американский писатель Курт Воннегут (р. 1922), с которым читатель еще неоднократно столкнется на страницах романа Хеллера.

Стр. 131. *Пинокль* — карточная игра.

Стр. 153. *Болезнь Ходжкина* — по имени английского врача Томаса Ходжкина (1798–1866), первым описавшего эту болезнь, характеризующуюся прогрессирующим воспалением и разрастанием лимфатических узлов на шее, под мышками, в паху и т. д. Одна из разновидностей рака.

Стр. 155. *…водитель…рассказал нам, что сам он из Венеции, а брат у него гондольер.* — Хеллер снова возвращает читателя к новелле Томаса Манна «Смерть в Венеции», в которой образ венецианского гондольера, доставляющего главного героя с парохода на берег, предвещает трагическую развязку.

Стр. 160. *Олбани* — столица штата Нью-Йорк, где находится резиденция губернатора и все ад-

министративные учреждения штата.

Стр. 163. *Нудлс он и есть Нудлс.* — «Нудлс» — по-английски «лапша».

Стр. 164. *…в вашингтонской Коза Лоро.* — Хеллер обыгрывает самоназвание мафии — «Коза Ностра», что в переводе с итальянского означает «наше дело». Названием «Коза Лоро», что переводится как «их дело», Хеллер клеймит вашингтонские коридоры власти.

Стр. 166. *В жеребьевке все зависит от везения.* — Призыв в армию в годы Вьетнамской войны осуществлялся на основе так называемых «призывных лотерей».

Стр. 168. *В задуманной им пьесе, перекликающейся с «Рождественской песней», он собирался изобразить Чарльза Диккенса и его многочисленную родню… когда это семейство пребываю в крайнем разладе…* — «Рождественская песня» (1843) — рассказ Диккенса. Если семейная жизнь в творчестве Диккенса была возведена в некий этический идеал, то личная семейная жизнь писателя не сложилась, что было для него тяжелым потрясением. Сложные отношения Диккенса с женой и его связь с актрисой Эллен Тернан привели, в конечном счете, к разводу.

Стр. 169. *…уходил корнями в роман «Доктор*

Фаустус» Томаса Манна и строился вокруг юридического спора о правах на вымышленный и зловещий шедевр для хорового пения, созданный Адрианом Леверкюном… — герой романа Томаса Манна «Доктор Фаустус» — композитор Адриан Леверкюн, чья музыка, по замыслу автора, гениально отражает катастрофу, случившуюся с германским обществом и германской культурой в 20—30-е годы.

Стр. 176. *Геттисбергское сражение* — одно из сражений Гражданской войны в США. Произошло 1–3 июля 1863 года у города Геттисберга. Северяне под командованием генерала Мида, одержав победу над южанами, тем не менее понесли тяжелые потери и не смогли развить наступление.

Стр. 179. *Антиетамское сражение* — одно из сражений Гражданской войны в США. Произошло 17 сентября 1862 года. Не привело к победе ни одной из сторон.

Битва при Булл-Ране — одно из сражений Гражданской войны в США. Произошло 21 июля 1861 года. Один из командиров южан получил после этого сражения прозвище «Каменная стена» — за стойкость.

Стр. 184. *А ваш великий американский юморист высмеивал Библию, с пренебрежением относил-*

ся к христианству… — имеются в виду прежде всего такие произведения Марка Твена, как «Христианская наука», «Дневник Адама», «Дневник Евы», некоторые главы из книги «Простаки за границей».

Стр. 195. *Когда Иван Грозный… завершил строительство Кремля…* — согласно легенде Иван Грозный повелел ослепить строителей собора Василия Блаженного (не Кремля), чтобы те не смогли построить где-нибудь в другом месте сооружения, равного этому.

Стр. 208. *Вы помните там рыжего человека с тростью и зеленым рюкзаком на спине…* — см. новеллу Томаса Манна «Смерть в Венеции».

Стр. 213. *Сэл Гепатика, Экс-Лакс* — слабительные средства.

Стр. 214. *Панчбол, ступбол и стикбол* — разновидности игры с мячом.

Казу — духовой музыкальный инструмент.

Стр. 216. *Законы о минимальной заработной плате и детском труде тоже стали подарками от ФДР в рамках его Нового курса…* — Имеется в виду получившая название «Новый курс» программа экономических мер по выводу страны из депрессии, успешно осуществленная президентом Франклином Делано Рузвельтом.

Когда Джои Хеллеру из дома напротив… — См. примечание к стр. 14.

Стр. 226. *Уоррант-офицер* — категория младшего командного состава в армии США.

Стр. 234. *Я читаю чуть не всю ночь напролет, как сказал поэт…* — имеются в виду начальные строки поэмы Эдгара По «Ворон»:

> *Как-то в полночь, в час угрюмый, утомившись от раздумий,*
>
> *Задремал я над страницей фолианта одного…*

(Перевод М. Зенкевича)

Стр. 244. *Я знаю, что означает «терминал».* — Значение этого слова — «граница», «предел», «конец».

«Волшебная гора» — роман Томаса Манна.

Швейк — герой романа Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка».

Стр. 245. *Джозеф К.* — герой романа Франца Кафки «Процесс».

«Улисс» — роман Джеймса Джойса.

Стр. 247… *Йоссарян никак не мог вспомнить, что находилось в аду под ледяным озером…* — среди множества литературных аллюзий романа — и «Божественная комедия» Данте. По дантовской

космогонии, ледяное озеро — центр Вселенной, а в центре ледяного озера — вмерзший в него до пояса Люцифер.

Стр. 248. *Их взгляды встретились, и Йоссарян сразу же подумал, что видел его раньше — на Северном кладбище в Мюнхене…* — снова и снова возвращается навязчивый образ незнакомца из новеллы «Смерть в Венеции».

Стр. 252. *Он читал рассказ писателя но фамилии Сароян…* — Вильям Сароян (1908–1981) — известный американский писатель, автор романов и многочисленных новелл. (См. также примеч. к стр. 8.)

Стр. 254.

— *Через сорок лет?*

— *Почти пятьдесят, Майкл.*

— *Ты сказал: сорок.*

— *Видишь, как быстро пролетают десятилетия.* — Этот диалог довольно любопытен с точки зрения объяснения «помолодения» Йоссаряна (по сравнению с Йоссаряном из романа «Уловка 22») на десять лет. См. также примечание к стр. 16.

Стр. 257. *…и эта радость, что водворяется наутро…* — скрытая цитата из Библии: «…вечером водворяется плач, а на утро радость» (Псалом 29:6).

Стр. 265. *Вы уверены, доктор Теллер?* — Этот участник дискуссии далеко не случайно носит фамилию Эдварда Теллера, американского физика, одного из создателей атомного оружия.

Стр. 276. *Сансет-Стрип* — часть бульвара Сансет (бульвар Солнечных закатов), проходящего от центра города к океану. Сансет-Стрип находится к западу от Голливуда и является центром ночной жизни Лос-Анджелеса.

Стр. 280. *Возглавлял «Проект Висконсин» генерал Лесли Р. Гроувс, ранее возглавлявший «Проект Манхеттен»…* — Лесли Ричард Гроувс (1896–1971) — реальный исторический деятель, генерал армии США, во время второй мировой войны — руководитель проекта по созданию первой атомной бомбы, имевшего кодовое название «Проект Манхеттен».

Стр. 294. *Марио Пьюзо* — известный современный американский писатель, автор романов о мафии.

Сто. 296. *…звали его Воннегут, он еще потом книги писал.* — См. примечание к стр. 120. На последующих страницах Хеллер описывает разрушение Дрездена авиацией союзников. Эта сцена заимствована им из романа Курта Воннегута «Бойня номер пять».

Стр. 300. *…Воннегут… так и написал об этом в своей книге…* — в романе «Бойня номер пять».

Стр. 308. *Адлай Стивенсон* (1900–1965) — американский государственный деятель и дипломат, в 1960–1965 — посол США при ООН.

Стр. 310. *«Götterdämmerung»* — «Гибель богов», опера Рихарда Вагнера из цикла «Кольцо нибелунга».

Стр. 311. *Брукнер* — Антон Брукнер (1824–1896), австрийский композитор и музыкант, один из крупнейших симфонистов XIX века.

«Кольцо» — речь идет об оперном цикле «Кольцо нибелунга» Рихарда Вагнера, в который входят «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов».

Сто. 313. *Смитсоновский институт* — научное учреждение, основанное на средства, завещанные английским химиком и минералогом Дж. Смитсоном.

Стр. 316. *«Сакс», «Секрет Виктории», «Фредерике из Голливуда»* — фешенебельные магазины в Нью-Йорке.

Стр. 318. *«Тристан»* — имеется в виду опера Р. Вагнера «Тристан и Изольда».

Стр. 321. *«Лоэнгрин», «Мейстерзингеры»* — оперы Вагнера.

Стр. 331. «La Bohéme» — опера итальянского композитора Джакомо Пуччини «Богема».

«Das Reingold» — «Золото Рейна», опера Р. Вагнера.

Стр. 349. *«Häagen Dazs»* — в переводе с датского «добрый день»; так называется фирма по производству одного из самых дорогих в США сортов мороженого.

Стр. 353. *Аэроплан Линдберга* — Чарльз Линдберг (1902–1974), американский летчик, в 1927 году совершил первый беспосадочный перелет из США во Францию.

Стр. 368. *Трумен Капоте* (1924–1984) — американский писатель.

Ирвин Фауст (родился в 1924) — американский писатель.

Стр. 369. *Эрнест Хемингуэй* (1899–1961) — американский писатель.

Юджин О'Нил (1888–1953) — американский драматург.

Теннеси Уильямс (1911–1983) — американский драматург и прозаик.

Уильям Фолкнер (1897–1962) — американский писатель.

Джеймс Джойс (1882–1941) — ирландский писатель, один из столпов авангардизма.

Генри Джеймс (1843–1916) — американский писатель и историк литературы.

Джозеф Конрад (1857–1924) — английский писатель, автор неоромантических романов.

Ежи Козински (1933–1991) — американский драматург и сценарист.

Вирджиния Вулф (1882–1941) — английская писательница и литературный критик.

Артур Кёстлер (1905–1983) — английский писатель и философ.

Сильвия Плат (1932–1963) — американская поэтесса.

Марсель Пруст (1871–1922) — французский писатель.

Стр. 370. *Бруно Гауптман, казненный похититель ребенка Линдберга…* — речь идет об одном из первых в современной истории случаев киднеппинга; у летчика Чарльза Линдберга (см. примечание к стр. 353) был похищен ребенок, похититель потребовал выкуп за его возвращение. Был пойман и впоследствии казнен подозреваемый в похищении, некто Бруно Гауптман. Ребенок Линдберга так и не был найден.

Мерилин Монро (1926–1962) — знаменитая американская киноактриса.

Авраам Линкольн (1809–1865) — 16-й президент

США (1861–1865).

Фиорелло Х. Лагуардия (1882–1947) — американский политический деятель, мэр города Нью-Йорка (1933–1945).

Стр. 375. *Ричард Никсон* (1913–1996) — 37-й президент США (1969–1974).

Стр. 394. *…затеяв запоздалую борьбу за возвращение себе всех тех блестящих новеньких десятицентовиков, что он раздавал направо и налево…* — см. примечание к стр. 112.

Стр. 395. *…похитителя, укравшего ребенка у Линдберга…* — см. примечание к стр. 370.

Стр. 397. *Уотерфордская хрустальная ваза* — г. Уотерфорд известен по расположенному там заводу по производству хрусталя.

Стр. 399. *Хэллоуин* — канун так называемого «Праздника всех святых», вечер 31 октября.

Стр. 409. *«Король и я»* — популярный в 50-х годах мюзикл, шел на Бродвее с участием известного актера Юла Бриннера.

Стр. 433. *Шейлок* — персонаж комедии Шекспира «Венецианский купец», это имя стало нарицательным для обозначения безжалостного ростовщика.

Стр. 440. *Он представился как Уоррен Хэккер* — «хэккер» на профессиональном языке компью-

терщиков обозначает программиста, умеющего создавать более или менее полезные программы, но обладающие определенными дефектами, компьютерного взломщика.

Стр. 442. *Храм Дендура* — часть стены древнеегипетского храма, выставленная в музее «Метрополитен» (см. также примечание к стр. 444).

Стр. 443. *…пара Марлонов Брандо в роли Стэнли Ковальски…* — Марлон Брандо — знаменитый американский актер, исполнивший, в частности, и роль Стэнли Ковальски, героя пьесы Т. Уильямса «Трамвай-желание».

Стр. 444. *Хэмфри Богарт* — известный американский актер.

Джейн Эйврил (1868–1943) — известная балерина, изображена на знаменитой картине Тулуза Лотрека в костюме змеи.

Стиль Директории — стиль в искусстве, характерный для эпохи французской революции конца XVIII в.

Стиль эпохи Регентства — стиль в искусстве, характерный для эпохи несовершеннолетия французского короля Людовика XV (1710–1774), занявшего французский престол в 1715 г.

Двор Чарльза Энгельхарда, Патио Блюменталя

— реальные экспонаты музея «Метрополитен». Фигурируют здесь, как и храм Дендура (см. примечание к стр. 442), в связи с тем, что администрация музея и в самом деле устраивает для желающих обеды и приемы в интерьерах этих экспонатов.

Стр. 447. *«Танец подмастерьев»* — из оперы Р. Вагнера «Мейстерзингеры».

Мальчики-держатели обручальных колец — на американской свадьбе обычно присутствуют два мальчика, несущие кольца жениха и невесты.

Стр. 456. *Арнольд Скаази* — современный известный модельер, у которого одевались многие знаменитости.

Стр. 459. *Мортимер Саклер* — известный меценат, жертвовавший крупные суммы музею «Метрополитен».

Стр. 461. *Фарфор… от Сноуда* — «Сноуд» — известная английская фирма по изготовлению фарфора, основана в 1861 году.

Стр. 462. *Джордж Сегал* (родился в 1924 г.) — известный американский скульптор и художник.

Стр. 463. *Клем* — разновидность промысловых моллюсков.

Стр. 484. *…земля снова становится безвидной и пустой.* — Согласно Бытию (1:2), до акта творения «Земля была… безвидна и пуста».

Стр. 497. *«Миддлмарч»* — самый известный роман Джорджа Элиота — псевдоним английской писательницы Мэри Энн Эванс (1819–1886).